



---

А. М. Пересел

Александр  
ТЕРЕХОВ

# ИЗБРАННОЕ

---



МОСКВА «ТЕРРА» - «TERRA» 1997

Александр  
ТЕРЕХОВ

# ИЗБРАННОЕ

---

*Зимний день начала  
новой жизни*  
повесть

*Мемуары срочной службы*  
повесть

*Летопись лета*  
повесть

*Рассказы*

*Письма русского  
путешественника*



МОСКВА «ТЕРРА» - «TERRA» 1997

УДК 882  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
Т35

Художник  
**М. ПЕТРОВ**

**Терехов А.**  
Т35 Избранное. — М.: ТЕРРА, 1997. — 592 с. — (Литература).

ISBN 5-300-00832-X

В сборник включены произведения молодого талантливого прозаика Александра Терехова. Прекрасное знание автором современной российской жизни, злободневность тематики его повестей и рассказов делают их интересными для самого широкого круга читателей.

УДК 882  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 5-300-00832-X

© Издательский центр «ТЕРРА», 1997

Зимний день начала  
новой жизни



От окна тянуло осторожной, процеженной рамами стужей, и он чувствовал ветер легким немением руки, вздрагиваньем стекла, и он хотел убрать руку под одеяло, но засыпал; и опять поднимался из сна, вынесенный мягкой водою на отмель, — в несколько дыханий умещалось мотание задубевшей в жуть половой тряпки на балконной веревке, шершавой от инея, волнистое провисание штор и рука, немеющая рука.

Руку, нужно убрать руку — он выдыхал это, отталкиваясь от смерти, приближаемой будильником, несъедобным вкусом зубного порошка, пуговицами и петлями, шнурками, бантиками, скрежетом дворницкой лопаты, шагами, извилистой очередью в столовой и хрипом простуженной кассы, и полнейшей памятью о себе и всех и всем, — и он выдыхал, будто гасил этим больничный свет мертвой зимы и настойчивый ветер, бинтующий нечувствительную руку — не надо пока...

Он вздрогнул вдруг, когда в ванной с костяным треском посыпались в раковину зубные щетки, мучительно задержался кран, пытаясь прокашлять комок в своем длинном заржавленном горле, и, наконец, прорвался ровный, нарастающий шелест воды.

Окно загородила уборщица — он увидел шалашик платка и мятый подол синего халата, и ему сделалось стыдно, как всякому, застигнутому чужими во сне, с мокрым пятнышком на наволочке, в детском малодушии жалкой позы, и в нищей мольбе изогнутой рукой.

— Вот как запишу твою фамилию, — обещала уборщица, оглядывая углы. — Эх ты!

Он проснулся на фамилии, но захотел выдохнуть и ее:

— Грачев, — и стал облизывать зачерствевшие, нерастягивающиеся губы, сглатывая немоту.

— Ведь написано! Рус-с-ским языком! — кричали из ванны, усилив воду — струя вдарила прямо в спусковую горловину с победно яростным клекотом. — Написали: с ванны все вынести! Шестого травим тараканов! С утра! Хоть трусы с батареи снимали б! Ладно араб какой, а то — русские ребята. Такой гадюшник! Тараканы эскадронами ходят! Дуть, не буди, ну его в задницу. Дуся, помрет — авось умнее будет...

Уборщица пропала из комнаты, освободив серый оконный простор с дерганиями тряпки на балконной веревке, уже слабыми, погрузневшими, как последние судороги повешенного. Грачев выдохнул еще, отпуская голову в белую трясику с клеймом прачечной, едва успев втащить в пододеяльный жар страдальницу руку и налечь на нее и придавить, греться, греть, не видеть, как уборщица, приложив ухо к паркету, как беглец, выслушивающий топот погони, превратив свое тело в основанье для Медного всадника, запускает дряблую ладонь под кровать, выживая с коротким, неприятно стеклянным стуком бутылки — его сберкнижку.

Она была потом еще раз, на вдохе: стояла, отдыхая поводя головой после многоэтапного вставания, и платок ее съехал на затылок, и Грачев видел пыльные, как свалывшийся тополиный пух, волосы, зачесанные к ушам туда и сюда, оставившие посреди широкий, непристойно исподнего цвета пророб.

— Скока бутылок... — она держала их на отлете, схватив за горловины, как гроздь убитых птиц, в ванной качали насос, он скрипел, и коротко пшикала смерть насекомых. — Я точно запишу фамилию. И коменданту. Живо полетишь из общаги. Пинком под зад. А то: выжрут и спят. Выжрут и — спят.

— Грачев, — и он опять оттолкнул выдохом ждущую его жизнь и смерть, вместе с рыжей пылью, поползшей занавесом от бутылок, и вонью тараканьей отравы.

А потом что-то застряло между подрагивающих ресниц и шевелилось, барахталось, как муха в стакане, — он проснулся, раскрыв глаза, это был таракан, он полз по прыщавой пустыне обесцвеченной холодным бликом стены, медленно, наверно, слабее, но пытаясь быть повыше, прежде чем сорваться. Надо было вставать. Надо вставать.

В столовой Грачев ел, согнувшись к борщу.

Оцепенев, будто собрался топиться в тарелке с кляксой сметаны и строгим вензелем общепита, чуть не засыпал, держась за тяжесть ложки между пальцами.

За стеклянной стеной толстогубые мужики тянули из лопухого фургона мускулистую тушу, ухватившись за снежные мослы — ему казалось, что их губы, морща к носу наждачную щетину, тянутся к заледеневшему мясу, и отпадают эти губы, как гнилая кожура, обнажая мокрые нетерпением костяные зубы, жар слюны, клонят головы вниз — Грачев выронил ложку.

Это только утро дня, еще до вечера — пропасть светла, до сна еще пропасть темна, и все, что может случиться, это: тарелки, под которыми потеет поднос, ноздреватый хлеб, шаги по линолеуму, вечные лица пустых разговоров, книга, поворачивающаяся спиной на пятой странице, молитвенное оцепенение видеозала, вечерние крики, песни, глаза, поседевшие на сгибах карты, чье-то согласное, мягкое, почти нечеловеческое тело, набуханье земли, почерневшей

после полива в цветочном горшке, и влажный, неясный вздох ее под плавной струей из графина, — бессмысленность, неизбежность всего — и стаканов олимпийскими кольцами на столе, и равномерный лепет бутылки, и все это еще раз, но чуть уже по-другому, хотя и так же, и спать. И весь этот день, этот день.

Грачев выпрямился, упершись ладонями в стол, встал конвейер с грязной посудой, замолкла очередь на раздаче, стих кассовый аппарат, негритянка в просторном халате вошла в раздевающий луч света, остановилась, все повернули головы и бросили жевать, устал гудеть молочный плафон.

Грачев очень внятно сказал:

— Сегодня, в этот день, я начинаю жить по-новому. Да.

Он ждать не будет, будет жить.

Это значит — идти по снегу, под снегом в институт.

И в комнате Грачев распахнул шкаф — одежда подстерегала во мраке, расположившись рядком, как вечерняя компания в вонючем подъезде: джинсы заставят идти вприпрыжку; костюм принудит ко-солапить и прямить спину, и быть уверенным; свитер облапит липким неводом, и это будет мягкий плен, и будешь ворочаться в нем, доступный любому удару, как бескостный безрукий мешок.

Грачев выбрал костюм, и тот полетел на кровать беззвучной легкой тенью, как прирос.

Грачев смыкал дверцы у шкафа, чуть дыша, боясь разбудить невыбранное, чтобы оно не ломанулось жадно рвать из него свою долю.

И он сказал себе: мы начнем.

Начнем, он стал лицом к зиме, к ее студеной сорной пасти, в которой заперли ветер. Начнем, он, ежась, натягивал рубашку, и пальцы поочередно боролись с пуговицами, он понимал, что ждет его, и говорил:

— Ну, давайте, давайте, ну.

Он заправлял излишки рубашки в брюки и все ждал, пробирался в чаще звуков к вонючему оку норы, отводя в стороны и заламывая лишние ветки: шипение водопроводных сочленений, редкую капель смывного бачка, ставящую точку после немых предложений, хрупкие коготки снега, царапающие стекло.

Ну! Заваленная мусором и объедками паутиная длинная пазуха за шкафом, ну начнем!

И коротко, нагло хрустнуло, бухнув кровью в лицо, лезвием пресека дыхание... И хрустнуло еще — уверенные, исполняющие свои дела, не считающие его живым шажки, рядом, в двух шагах, готовые выбраться на свет так же неуклонно, как хрустнуло еще раз!

Грачев резиновыми пальцами хватанул с качнувшегося стола стакан и зажмурившись, метнул его в черную щель, за шкаф, боясь даже глянуть туда, и отпрянул.



Там что-то дернулось, бумажно, пыльно, темно, шелохнулось, ему почудился писк, утекающий, остренький писк — и все, а он тяжело дышал у окна, перед небритой мордой зимы, видя, как ветер гложет наспех забинтованные березы, облепленные обугленными поцелуями.

Замок два раза щелкнул с аккуратной паузой, качнулась дверь.

— Чего не спитесь? — сказал сосед, Шелковников, он был с пробежки, его кеды поскрипывали, и он изнурительно высмаркивал нос и харкал в ванной, над трупами тараканов.

— Не май месяц, так вот, тара-та-ра, — теперь он расчесывал короткие, редкие кудряшки, глаза его надулись напряжением и сухо поблескивали, как стекло, — даже моргал с усилием, будто делал знак.

— Опять крысы, — пробубнил Грачев, обернувшись.

Шелковников нехотя положил на место его расческу и теперь орудовал в голове пятерней, поглядывая на соседа между пальцев.

— Да? Может, это я ключ в замке... Пошевелил?

Грачев глянул на него прямо и помотал головой: нет. Нет.

— Ну ты размышляй со мной, вместе, — глухо звал его сквозь снимаемую олимпийку Шелковников. — Ежели б они были. Вот тут. За шкафом. То мы бы их увидели, верно? Хоть бы раз, верно?

Он на коротких ногах подкатил к шкафу и сунул за него голову и продолжал замогильно оттуда:

— Ведь нету! Ни разу. А почему ты заладил: крысы? Может, она одна? Один. Хотя — шестой этаж. Откуда?

Ушел к себе на половину и кричал:

— А может, ты больной? И ведь спишь плохо от этого, верно? Ну а если есть — чего так бояться? Это ж — твари. Они нас боятся! Сидят по норам и трясутся! А ты сам трясешься. Как крыса, ха-ха, ха, ой.

И заткнулся, листая страницы и напряженно сопя при чтении.

Грачев оглядел свои ноги, поднес к лицу ладони — от них был свет, как от древесных стружек, он коснулся ими головы и, спохватившись, упрятал свое тело в пиджак. Подумал и твердо продвинулся к шкафу: он посмотрит сам. Он топнул при этом сильно и грозно. Если встреча и суждена, то не сейчас, сейчас — случайность, не тот повод, он топал еще.

Шелковников страдальчески вздохнул и презрительно пощыкал.

И Грачев, как воровскую, тишайшую руку, пустил свою голову в карман за шкафом.

Там было просторно, мог бы на бок прилечь человек, с краю свет вымывал горелые спички, гнутый чайник, которым дрались на втором курсе, рыжий веер газет, молочные пакеты, взрезанные с угла, две пластмассовые урны с продавленным дном, лохмы ржавого шпагата, комки бумаги, сгнившие огрызки вперемешку с окурками, свитки плакатов, а дальше — темень и горы чего-то еще, скрывающие пол, из-под которого приходит это...

И он осторожно подался назад, прикрыв глаза, будто нес от чернильницы перо, боясь сронить каплю.

— Ба-бах!

Грачев резко дернулся, бухнувшись головой о стену и шкаф, мигом вспотев.

Шелковников просиял. Он стоял буквой «эф» и даже насвистывал.

— Это я. Ну как там? Глубоко?

И хохотнул, утирая пальцем под носом.

— Наблюдал за тобой и вспомнил, ха-ха... У нас на призывной комиссии... Парнишка такой. Ему сестра в халате говорит: раздвиньте ягодицы. А сестра такая: губки, глазки. Он раздвинул, нагнулся — она смотрит. А он повернулся и спрашивает: «Ну как там? Не видать моей деревни?»

И он пустил свой отрывистый смех жестяными тарелками в потолок — они разбивались над головой и стекали крошечком по углам.

Грачев медленной рукой вел по лбу — пот, мокро, все стучит внутри.

— И ты... Как медсестра, в зад, верно?

Еще он быстро глянул Грачеву через плечо, мыкнул:

— Ну да, живем мы, конечно, — и ушел к себе, читать. Он собирался качать мышцы, ему надо было знать все про диету.

Грачев подождал непонятно чего и прошел следом.

— Ну что? — как спросонья буркнул Шелковников. — Денег нету. Я читаю. Видишь же.

— А что она ему сказала?

— Кто?

— Медсестра. Тому парню. Который на комиссии.

— А, отправила его на освидетельствование в психушку. Чтоб не шутил. Понял? Я думаю — может, и тебя туда? Подумай. Когда уйдешь — дверь прикрой.

— Я давно хотел тебе сказать, что ты скотина, — скучно выговорил Грачев. — Я три года хочу тебе это сказать. У тебя та часть, что жует, в два с половиной раза больше, чем та, что думает. Цени. Этого тебе никто не скажет.

Шелковников поглаживал грудь, где у него через определенное время начнет прорастать и наливаться курганами сила, и отвернулся в сторону, к стене — там на плакатах напрягались скользкие и разлапистые, как коряги, культуристы.

— Иди поспи, — почти шепнул он. — Или выпей. Или поплачь ночью в подушку. Ведь больше ты ничего не можешь. Береги горло от крыс — отгрызут. Мумия!

И еще крикнул через стену:

— Там в ванной, в стакане — не вода. Это растворитель, пятна чистить. Смотри не хлебни, понял?

Грачев кулаком пхнул дверь, поозирался и, ломанув стеклышко, ткнул твердым пальцем кнопку пожарной сигнализации: ну!

Он топил в стену этот черный глаз, чувствуя, как смертно бьется он, тяжелой кровью стучаясь, стучась в палец, наружу: так, так, так...

По длинному коридору худосочный сквозняк перекатывал свалывшуюся в комья пыль, и все спали, только в читалке, на другом краю, громко, как в лесу, перекликались люди, — сирены не было.

Он отпустил кнопку, хмыкнув: тихо, так тихо и пошел, шлепая тапками, бросив за спину понапрасну погибшее стеклышко — оно клюнуло стену и сухо и длинно скользнуло в пыль...

Администратор отсутствовал. Из читалки бросали комки бумаги, целясь в бумажный мешок. Сухим костром пыль подлизывала стены.

Грачев постоял у читалки, подышал и крикнул неприятным голосом:

— Администратор тут?

Из читалки вылезла задом толстоногая аспирантка, вытянув за собой сильными рывками коробку из-под телевизора, набитую мусором. Коробка упиралась, но аспирантка живо смяла ей бок — и отшвырнула к стене.

— Нету, — отчеканила она, подтягивая пузатые штаны к низкой груди. Майка у нее была с алым мотоциклистом, тот мчался, застряв шлемом как раз в ложбинке.

Она стукнула ногой по коробке, не отозвавшейся, и крикнула в читалку, усилив, будто свитую из канатов, шею:

— Симбирцев, может, хватит? Передых?

Грачев продрался впритирку к ее округлым штанам в читалку.

— Да нет там администратора! — гаркнула ему вслед.

В читалке, застеленной одеялами оконного света, у открытой морозной форточки столбом торчал Симбирцев, близоруко морщился в тетрадку — очки лежали на столе, лягушачьи уставившись в потолок.

— Ну? Убедился? Теперь — все? Иди, — мазнула сильной рукой тащившаяся за Грачевым аспирантка. — Ну иди-иди.

Грачев уселся получше на скользкую крышку стола, не спуская глаз с аспирантки, — ее основательный пористый нос опалаял возмущенным дыханием потную губу, чуть заштрихованную пушком.

— Ну, ну не мешай ты, будь человеком, а? — попросила она убеждающе, зацепив ладонью воздух.

— Что? — звонко выпалил Симбирцев и потянулся за очками, макнул в них лицо и по-куриному дернул голову вперед. — А? Ого, Грачев. Это Грачев, Нина. Привет!

— Привет.

— Даже в столовой тебя не вижу. Ты и не ешь, быть может? Все спишь? Это — Нина Эдуардовна, а это вот — Грачев.

Грачев кивнул, предварительно соскользнув со стола, и забрался обратно. Аспирантка с ожесточением терла пальцы, вычищая пыль.

Симбирцев размеренно, словно считая шаги, походил, строго взглядывая на покорно сникшего Грачева, как на подследственного, и официально промолвил:

— Я действительно очень давно тебя, братец, не наблюдал. Все спишь? Или — лежишь и обдумываешь? А? Ну скажи.

Аспирантка встрепенулась, нервно чмокнув губами, и проговорила:

— Так. Мы работаем сегодня еще? Так. Или — уже все?

— Ни-на! — воскликнул Симбирцев. — Милая Нина! Сейчас. Безусловно! Безусловно — да. Работаем! Мне и так ведь, слов нет, неловко, что вот на ваши плечи, женские плечи, падает, так сказать, этот труд. Среди этой пыли. И грязи. Скверно! Я даже не знаю! Если бы не вы!

— Ну ладно, — буркнула Нина, смягчившись. — Я пойду. Так. Там покурю, позовете.

— Я даже не знаю, как мне вас, — вдогон попричитал Симбирцев, обернулся к Грачеву, взгляделся и спохватился, — ах да... Итак: спишь или все же — обдумываешь? Я думаю, что прав я в своей догадке? Да? Ведь неспроста... ты? Да. Можешь не отвечать. Для меня — ясно. Не-со-мнен-но. Точно так. Но, братец, если даже то, что с тобой, — это просто так, и спишь, то я готов завидовать тебе. И таким, вот Шелковникову, к примеру. Если вы — вот так, и больше вам ничего не надо — значит, вы знаете о жизни что-то такое, чего я не знаю. Что позволяет не замечать ни жизни, ни смерти. Может статься — это счастливой. Хотя я не счастья, как ты понимаешь, ищу.

Он снял очки и, сжав их, как мертвую стрекозу, продышал прямо в щеку Грачева:

— Но все же. Вот так жить... И ничего не меняя?

— Ну почему же, — Грачев зажмурился от зевка. — Вот сегодня как раз я решил многое изменить. А чем это вы тут занимаетесь, ребята? Что созидаете? Летучий штаб оперативного отряда? Склад одноразовых шприцов? Самоокупаемый публичный дом на базе рабфака и первого курса?

— Видишь ли, — серьезно объяснял Симбирцев. — Мыслится такая штука — некий культурный неформальный центр как интегрирующее начало будущей независимой ассоциации студентов и молодых ученых, то есть база нового поколения, обладающего совершенно широкими, что ли нравственными границами на основе свободы. И только на основе свободы. Которые смогут оторваться от всего, чистые. Ядро будущего дерева общества. Мы расшевелим всех, — он довольно рассмеялся, и очки его заблестели, — мы собьем этот жир! Разбудим сначала наших, потом закрутится. И пойдет — кругами по воде. Хватит, думается, терпеть общий сон. Ждать больше нечего, от прошлого мы рванули уже достаточно далеко. Народ же гибнет. Мы тут разбираемся, а ты знаешь, между

прочим, что здесь сплошь бутылки да, извини меня, презервативы... Скверно! Сгореть со стыда перед Ниной можно, честное слово... Знаешь, сколько она для меня делает...

— И я бы на твоём месте её отблагодарил, — у Грачева лодочкой на губах качнулась узкая усмешка, — да, скопленья... — он нагнулся к полу, разгребая бумажную кучу, оглядываясь на смутившегося Симбирцева. — А ты по-прежнему? Братец? Лекции на заводах и фабриках? Доклады в научном обществе? Ученый совет. Борьба за чистоту в буфете. Контроль над парткомом. Контролируешь? И красный диплом? В партию ни в какую не вступил?

Симбирцев протирал краем майки очки, показывая впалый живот.

— Мы за беспартийное общество, — пояснил он, — партком меня уже не волнует. А что касается диплома... То ты же знаешь, сколь ничтожно для меня значение... Что с тобой?!

Грачев швырнул от себя пыльную синюю тетрадь и как-то всхлипнул, вздернув плечами, его шатнуло, как на ветру.

— А? — испуганно побледнел Симбирцев.

— Вот. Вот это.

— Что? Это? — нагнулся Симбирцев к тетради. — Это? Да? Да черт его знает, конспекты, что ли, чьи? Да что с тобой такое?

— Что вот это, что вот это, вот это, — спешил горячо Грачев и показывал на обложку. — Вот это!

— Да конспекты это чьи-то! — громче, громче повторял Симбирцев. — Ты можешь сказать? Сказать ты можешь? Меня-то за чем толкаешь? Да ты кончишь ломаться, черт тебя раздери!

— Что вон там на обложке! Что вон там на обложке?! Ну-ну, вот на пыли! Ну ты, очки свои протираешь, нет?!

— Вот, черт, швыряет, а тут и без него, — Симбирцев потащил тетрадь на свет и кривил губы, разворачивая её: так этак. — Ну, пыль!

— Ну а на пыли!

На крепко запыленной обложке узорчатой тропкой тянулись чистенькие отпечатки лапок, как крохотные цветочки с растоптанными и вмязаными в землю лепестками, карабкались, тянулись уверенно, лишь чуть срываясь, чиркая радужным росчерком в сторону на пыльном плотном небе. Тетрадь потяжелела и запрыгала в руках, словно по ней цапало, перебиралось, переваливалось мягкое, скребущее, с круглым пляшущим окончанием, изготавливаясь к прыжку, продолжению пути.

— Грызун, — заключил Симбирцев и прочувствованно продолжил, — вот видишь, до какого бедственного и ужасающего состояния довели мы, молодые, свой быт. Скверно! Даже в читальном зале! Ладно уж в столовой. Я по утрам в столовой подрабатываю — вот стою сегодня, прямо сегодня, у мойки, такой деревянный настил под ногами и вдруг чую — что за черт...

— Ну не надо же! — умолял Грачев, — Ну не надо!

— Да что, братец? Ты крыс, что ль, боишься?

— Нет. Нет, но вот что: мне нужна твоя помощь. Вот сейчас мне очень нужна твоя помощь, ты помоги мне, — Грачев пятился, до самой стены, шупая пальцами подбородок, стискивая кожу, ткнулся в стену и сполз на пол, утомленно вытянув ноги вперед.

В коридоре ходила туда-сюда курящая аспирантка, усмирив свою опделенную плоть, внизу, в зиме, под ветром и снегом летучим, спешили люди, с размахом проскальзывая языки заледеневшего асфальта, и торопились к трамваю — тот глотал их и, трезвоня невидимыми колоколами, которых нет, уносился прочь меж голых, как рыбы кости, деревьев, и на смену ему звенел другой...

— Я готов, — мигом присел ошарашенный Симбирцев. — Ты же знаешь: на самом деле я тебя очень уважаю. Может, внешне только игра некоторая есть... А так... Я с первого курса понял, что ты — сильный лидер, я всегда тебя поддерживал, прислушивался. И очень пожалел, удивительно и обидно было, что ты... тогда... ушел. Это на тебя Шелковникова влияние. Он вообще — алкоголик. Хотя, может быть, ты не очень сейчас пьешь, братец?

— погоди ты, — процедил Грачев, — обожди. Ты вот что. Ты мне помочь можешь? Сразу говори. Без трескотни! Только без завываний. Ты, интегрирующее начало, можешь человеку помочь?

— Да, могу! Слов нет. Но странно как-то просишь, просишь и — так говоришь... Обидно.

— погоди ты, — Грачев оторвал руки от лица, оставив на нем малиново пылающие полосы, перемеженные белыми бороздами. — Короче, что делать? Что делать? Так, время — это сегодня. Сегодня вечером. Место — в моей комнате. Мы: ты и я, отодвигаем шкаф. Сначала включаем свет и сильно пошумим. И отодвигаем шкаф — весь мусор сразу оттуда, кучей, в сторону, к стене, а может, и сразу вынесем...

— А еще можно пол вымыть... — подсказал горячо Симбирцев.

— погоди ты! Так. Дальше. Берем пустые бутылки. В эти пустые бутылки мы набиваем бумагу. Рваную. Разную. Любую... Бутылки нужно взять большие, у нас есть. Как можно больше. Можно молочные — у них шире горло. Далее: поджигаем бумагу. Она горит. Дым из горлышка идет, а мы бутылки туда, в дыры, вниз горлом! И дым туда, вниз, под пол. В общем, прикидываем: доступ воздуху есть? Есть. Да. Дым идет в дыру, это два. Они, может быть, полезут с других дыр, но не у нас! Не у меня! Они не высидят! В дыму!

— Да кто? — кротко вставил Симбирцев.

— Далее. Может быть, дым, часть его, будет скапливаться в комнате, а мы сразу изначально открываем окно. Если это и будет, то совсем недолго, — еле слышно рассуждал Грачев, пошевеливая переплетенными пальцами. — Это вряд ли будет дольше, чем четверть часа... Правда, есть вариант. Вдруг дыра у нас глухая? Другие выходы завалены? Или выше по уровню, и дым раньше заполнит их? Даже если просто — их много и кто-то из них ломается наружу к нам, сквозь дым... Ну вот тогда и нужен ты.

Возьмешь гантелю и с этой гантелей у самой дыры. Запомни, смысл в том, чтобы не дать ей даже высунуться полностью. Точно в голову! Но быстро. Она ведь будет ошалевшая от дыма. Она — мигом! Ка-ак выпрыгнет! Они вообще-то очень могут прыгать, и все будет зависеть от тебя. Поспевай. Лишь бы ты ее не упустил, тогда мы с ней не сладим. Она может кинуться прямо на нас, на ноги, полезть по одежде, цепко так, шустро, — Грачев вдруг хрипло запнулся, сжав рукой горло, утопив подбородок в грудь, стиснув зубы, раздышался и заключил. — Я все продумал. Если сильно в комнату дым, и наружу... Мы сами в дыму, и дальше, мы дверь, если, начнут стучаться, мы все равно не откроем. Главное — выдержать время. А ты убьешь ее. Вот! Вот: не оглушить. Убить. Быстро прихлопнуть. Вот куда девать потом, не подумал.

— Да кого?! — заорал Симбирцев.

Грачев незнакомо увидел его, увлажнил языком губы и шепнул на выдохе:

— Крысу. Только тихо...

Симбирцев кивнул. Еще покивал, уточнил:

— Гантелей. По башке.

— Да, — Грачев сомкнул веки.

— И прихлопнуть. Насмерть, — Симбирцев заключительно кивнул и добавил себе под нос, — ага, за-анимательно, — и со вздохом перебрался к бумажной куче, попинал ее ногой и принялся разбирать на ровные стопки.

— Погоди! — вдруг спросил он. — А кто же даст гарантию, что вылезет она в единственном числе?

Грачев сидел сторбившись, будто стены давили на плечи.

— Хотя не страшно, — ответил себе Симбирцев. — Вылезать-то они будут по очереди, гуськом, так сказать. По одному. Главное, братец, равномерно распределить удар, не прослабить, верно я понимаю задачу?

И он позвал неожиданно сочно:

— Нина!

Покачивая тяжелыми боками, вошла серьезная аспирантка, и он объявил:

— Ну что ж, продолжим, коли вы не устали. Сегодня еще пару мешков и достаточно, так полагаю. Чуть подмести придется, видимо. Еще до конца недели пыль поглощаем, и можно будет организовываться, документы оформлять. Еще Сидоров и Коваль обещались подойти после обеда. Я думаю, есть смысл устав обсудить. Я тут понабрасывал ряд тезисов. Обсудим с товарищами.

— Володя, пора вам уже перекусить. Вот вы себя не видите, а вы такой бледный. У меня даже сердце сжимается. У меня, правда, не густо, но тушенка есть, чай горячий. Все не в столовой желудок портить. Пойдемте, я только за хлебом сбегаю, — умоляюще выговаривала аспирантка Нина. Когда она сидела, то была совсем колобок.

— Чуть позже, — Симбирцев неуклюже отодвинулся от ее магнитного притяжения и взобрался на стол поближе к Грачеву.

Аспирантка побагровела от навалившегося молчания. Паркет под ее ногами стонал так, будто она переминалась на клавишах пианино.

Поэтому она встала и неуклюже почесала в голове.

— Я знаю, что ты не шутишь, — протяжно сказал наконец Симбирцев. — И тебе, видимо, больше некого просить. Но все-таки. Позволь мне отказаться. Все это, понимаешь ли... довольно... Не думай, что противно! Раз это так важно для тебя, я готов не считаться с противностью. Это довольно-таки, как бы... Б-болезненно.

— Нет, — шевельнул губами Грачев.

Симбирцев повнимательнее глянул на него.

— Нет?

— Я могу. Я могу не любить их. Их! И защищать себя. От них, — Грачев с натугой поднялся на ноги и потряс головой: все плыло перед ним, напитавшись жаром.

— Вероятно, — согласился Симбирцев. — Не болезненное. Хотя я и не про то пытался высказаться. Просто я давно тебя не встречал. А сам все ждал и ждал. И ждал... Вот, кстати говоря, мы тут с Ниной Эдуардовной раскапывали, возились и, пожалуйста, — обнаружили вот такую старую штуковину, сейчас, я прочту тебе, я это не выбросил, как я мог бы это выбросить. Это мне дорого очень. Поймешь почему, сейчас.

Симбирцев распрямил мятый листок, хрупкий, как ночная бабочка, и зачитал, прерывисто, высоким голосом:

— Отчизна наша охвачена нравственной гражданской войной. Поколение отцов расколото трагическим противоборством — они уничтожают друг друга. Одни защищают свое прошлое, свою шкуру, вторые — возможность прошлое перечеркнуть. Жестокость и безнравственность людей, узнавших о не замеченных ими страданиях и не почувствованных ими унижениях, намного превосходит жестокость людей, пострадавших безмерно. Они убивают друг друга. Им опять нужна высшая правда, без разницы какая — лишь бы высшая. Их взоры обращаются за помощью к нам. Товарищи, сверстники, братья мои, в этот тревожный для Родины час...

— Да не читай ты мне эту муть!!! — долбанул кулаком в стену Грачев.

Аспирантка охнула. Стена отозвалась слабым гудением.

— Муть? — осекся Симбирцев. — Муть?! Может быть. Но ты все равно: ты послушай. Пускай для тебя это муть, а вот мне в свое время это казалось важным, большим, честным!.. В этот тревожный для Родины час мы не должны стать очередным преданным поколением. Нас не должны поставить на колени, в строй к себе люди, привыкшие убивать друг друга. Молодые объясняют свои ошибки убеждениями, старики объясняют свои убеждения ошибками — избавимся от убеждений! Останемся людьми живы-



ми, вечными. Мы будем жить. Смерть возьмет свое без нас. Жизнь отстоит свое без нас. Нам не нужна больше правда, она в грязи и крови. Мы будем истиной. Мы станем первой генерацией новых людей, которые ничем никому не обязаны и ничего не должны, свободны и выше даже терпения, свободны не замечать ничего. Мы станем первыми прямыми наследниками ломаной нашей истории, и ветры всех веков будут вольно засеять нас своим семенем со всех сторон, вольно... Вот так. Еще вот... Хватит мучить себя мифами о неотданном долге: ничего этого нет. Есть только мы. А мы будем жить. Вот... И дальше: мы — люди с наследственной усталостью в глазах, и в этом наше бессмертие, мы рыцари вечной жизни... Все!

Симбирцев сложил ровно листок, проглаживая сгибы со старательной силой, упрятал его в карман и прокашлялся до слез, сдававших жалкими его глаза за очками.

— Володя, вы это уже читали мне, — подала голос заскучавшая аспирантка.

— Ведь это ты писал! Еще на первом курсе! Тогда! — лающе бросал Симбирцев. — Мы могли! Я и сейчас не сдался, ты это хорошо знаешь, я верю, и руки мои не опустились... Я ищу нового, рывка. Но тогда я ходил вообще... Как с чемоданом динамита. Казалось: вот все взорву! Все! А ты взял и сдох! И я понять не могу — почему. Ну, дураки не понимали твою стенгазету, посмеивались, но ведь сколько было нас, тех, кто хотел быть... Быть! Я ждал, что ты всех и сведешь... в тесное... сплотишь... что пойдём... Но что же случилось тогда?

Грачев прошелся к двери, обитой фанерой с волнистыми разводами и короткими матерными лозунгами, и там остановился.

— Я так и не могу понять... Что случилось тогда, — старательно повторил Симбирцев.

— Ничего.

Аспирантка подняла понурую голову на Грачева.

— Совсем ничего не случилось? — уныло уточнил Симбирцев, изучая слоистый паркет.

— Нет. Почему же. Случилось... Случилось — ничего, — Грачев передохнул и добавил: — Тебя ждать? Вечером?

— Да нет! Я все думал, что ты еще придешь. Что ты не просто сдох, а тебе надо что-то понять, получше взглядеться, проникнуть, и что ты еще будешь с нами, придешь, позовешь, укажешь, я этого ждал.

— Я и зову, — очень глухо отозвался Грачев. — Пойдем.

— А, ладно. Хватит тут, — громко заключил Симбирцев. — Иди ты хоть куда... Нина Эдуардовна, а мешки у нас еще остались?

Грачев слабо отворил мир за дверью, полый рукав бесконечного коридора с пустыми колясками и двумя настенными телефонами, он еще улыбнулся:

— А с девушками будь повнимательней. Не злоупотребляй бескорыстием и энтузиазмом.

Уже в коридоре — уходил, отдалялся, а в спину сочно бабахала аспирантка:

— Это он что сказал? Про кого? Что-о-о? Это на что, интересно, намек? Это как — ничего особенного? При вас женщине практически сказали низость. Да! А вы думали, сейчас честью своего имени уже никто не дорожит? Я не позволю, чтобы разное... тут... унижало и пыталось тень бросить, сопляк! Это наглое, ленивое... Слов нет!

У администратора пили чай.

Свет протекал сквозь сдвинутые желтые шторы холодной песочной массой, шторы мерно покачивались, двигая едва приметные тени на стенах, на сваленных в уголке подушках, дряблых и открытых неряшливым седым пухом, как старческие щеки; на кипах одеял, разноцветных и тесных, как напластования горных пород, на конфискованных нелегальных чайниках, задиравших печально носы, на теннисном столе, где кружили хоровод разномастные чашки, опоясав две банки консервов, ощерившихся зубастыми пастями, и пожилую шершавость полбуханки хлеба.

Люди, убивавшие тараканов, ждали чай за теннисным столом, на дне студенистого неба, в которое вмерзло солнце осколком хряща, в середине зимы, убивающей голубей с кровавой икринкою глаза, в стране навьюженных сугробов, в которой земля всегда ближе, а неба нет, где лезут из труб неторопливые дымы и нет ни капли голубого и зеленого, и нет разницы: стоять или идти — везде будет зима и обветреет лицо, и будет корчиться земля на отпотевших венах теплотрасс.

Кружки были пусты, и не кипел из лучших лучший чайник, зато грудастая администратор с ресницами, намазанными до комков, протягивала единственному мужчине зеленоватую бутылку с качающейся тяжелой кровью и распорядилась:

— Открывай, Никола-чудотворец, один ты мужик.

— Да как ее? — нежно, как женскую шею, гладил емкость лысый мужик, и уши его, напрягаясь, толстели, а усталые женщины были похожи на аптечные пузырьки в белых косынках, и узоры на их халатах читались, как сухие гроздьи рецептов на латыни, они охали, оглаживая намаявшиеся ноги, основательные, как опоры рояля, и им за шторами было тепло, и пахло хозяйственным мылом, и ломко скрежетал подоконник под птичьими лапами, ищущими приюта.

Администратор тронула пальцами в перстнях морщинистую шелку меж сдвинутых воедино тесным платьем грудей, и глаза ее блеснули:

— А дальше, Матвевна?

— Грязш-ша кругом, — отмахнулась старушка, сухонькая, как замерзшая на бельевой веревке тряпка. — На лошадях не вывезешь. И хоть бы совесть кого кольнула, а то вить.

— Да не это! — всплеснула руками администратор. — Забыла, что ли? Ну зашли вы в 806-ю, а там?

— Что там? Да спят, и все, — пробормотала старушка, оглядывая окружившие ее расслабленные улыбки.

— Девка с девкой?

— А то? Повернулись друг к другу задницами и — спят.

— И голые? — замирающе выстонала администратор, вытягивая шею.

— Накрыты были, — отрезала старушка и болезненно сощурилась на лысого. — Да ладно, Николай, не мучайся. Лучше выбросим ее, раз такое дело.

Лысый вгонял штопор рывками, с боязливо искаженным лицом, как крутил ручку адской машины, косясь за спину, в остренькую щель меж маревом штор: цела там зима или нет?

— Кто ж такие, в 806-й? — кусала губы администратор, — Кулакова, что ли, с Евстафьевой? Ах, мать твою, что девки творят! — и она моргнула сально сладкими глазами.

С тугим, коротким чмоком пробка вырвалась из узких губ бутылки, и бутылка отправилась по кругу, кланяясь в пояс каждой чашке и в каждой чашке полоская поочередно свой пенистый чуб.

— Лишь бы не было войны, — внушительно пожелала администратор.

— И здоровья. Всем здоровья, — растерянно поозирившись добавила запоздало старушка, когда все уже пили, открыв голые шеи.

— Дай хоть, Николай, я тебя поцелую, единственного мужика, опору нашу, — тяжело высунулась из-за стола администратор.

— Не трогай его, Верка! Жена Колькина в больнице. Ему и так повалить, можа, кого-нибудь хочется, — закудахтала старушка.

— А я поэтому и целую, — рассмеялась администратор.

Лысый Николай покорно приблизился, чуть прихрамывая, и подставил щеку.

— А-ах! Слать! Вот — мужик, — крикнула администратор и смахнула оставленную помаду с покорной щеки. — Живет у вас в санэпидемстанции один. Как в малиннике!

— Уж такой малинник, — крикнула старушка. — Отойди от нее, Николай, она заманит. Расскажи давай лучше, что дед тебе сказал, которому болячки показывал.

— Вчерась ходил, — потрогав толстоватый нос, по-детски напевно сказал Николай. — Четвертной отстегнул. И потом еще...

— Ну, чего он сказал-то? — подогнала его старушка. — Ну ты, шевели языком, прям блаженный какой, затынул тут.

— Стою. А он молчал. Решаю: все, на корню я сгнил. Ему, видать, и сказать это противно. Сам испугался. Стоит, крихтит, тужится. Как зарычал: а ну стань к оконцу, сиволапый!

— Это он тебе? — ахнула администратор.

Лысый печально похлопал глазами на нее, глотнул и продолжил, уставясь в чашку:

— Прямо сразу засадил: у тебя, кроме страшного, камни в почках и голова ушиблена камнем в малолетстве. От жадности помер твой папаша. Орет: правду говорю, сиволапый? Я ответил: не врешь пока, в точку, голова ушиблена, и камни... Отец колхозный огород сторожил, огурцов без хлеба поел много очень, и дизентерия его прибрала совсем. Ага, он сказал, сечешь? Выдул ты вчера три стопаря водки, из закуски только семечек погрыз, а спать тебя мотнуло прямо при отхожем месте... Вся полностью правда!

Старушка потрясла согнутым пальцем с отсветом на плоском ногте.

— По зрачку определил. Так японцы. Затем и на свет выводил. Высветить.

— А я чирикнул: про родных! Он: про каких таких тебе родных; ты, сиволапый, ты считай, что их уже нету совсем. Сын далеко, в отъезде, а только жена-то уходит еще дальше, уж так далеко, что не жди. И не вернется она. Не ожидай свиданья больше. Вот. Значит.

Кто-то заткнул рукой вздох и ах, все потупились, оправляя подола на раздутых отечностью коленях.

Лысый Николай покосился на всех, как курица на червяка, и сосредоточился опять на чашке, озадаченно жмурия глаза.

— Не сдыхай! Не сдыхай! Мне рявкнул, в угол пересадил, на морду бросил красный лохмот с бахромой, вроде как от знамени, молитвы две прочел. Лохмот снял. Глаза открой! И харкнул прямо в глаза, густо. Все, камни выдут с почек. И иди отсюда. А сам он у киоска стеклотары крутится, ниткой пробки достает, пьяндышка с виду.

— И камни... Да? — администратор прихватила ладонями спелые щеки.

— Ага, — подтвердил Николай. — С утраца. Даже слезу пролил. Больновато.

— И ушел? Пошел? — подозрительно нахмурилась старушка. — И это все, что ли?

— Не-ет, — вдруг усмехнулся Николай и шлепнул ладонью по коленке. — Я выложил вмиг: предскажи про державу! Как жизнь устроится? Вот так. В лобешник. Какой примется и останется вид. Куда повернется, за что зацепится? Нельзя мне без этого!

— Это я понимаю! — обняла всех взором администратор. — Мужик! Мне даже опять захотелось тебя поцеловать, очень.

— У него вся морда перекривилась: ах ты грязь черноземная, зимний лапотник, аж булькает. Точно и подлинно желаетшь узнать? Отвечаю: да! Давай тогда деньги. Пятьдесят. Выложи.

— Пятьдесят? — качнуло вперед слушательниц, выпучились глаза, разомкнулись рты. — Полста?

В дверь осторожно побарабанили.

— Я полез в карман. Достал. Отслонявил — на! — запаленно дыша, доложил Николай, и усмешка переползла его рот, он набу-

хал плечами и шеей. — Возьми, но! Но всю самую правду. Чтобы точняк! Как будет? Будущее зарисуй, план. Я хочу про весь этот грядущий момент все представить верно. Вот что после меня? Что потом? Даже без меня. Ну? Скажи? Говори, а то...

— Да говори, твою мать, что ты жилы тянешь?! — передернулась старушка. — Ну!

Николай глотнул сильно воздух и, уставившись в штору, стал твердить с радостным ожесточением:

— Вот и попомните, что он сказал: будет лучше, если будет хуже. По земле по всей дороженька ковровая проляжет, прокатится, кровавая, и придет по ней гость невиданный, только никто его не увидит. Ровно через три лета хорошо очень настанет с продукцией цельномолочной. Картошку — выйдет указ — не есть и вырыть всю, и не садить. В следующей пятилетке потащится от Коломны ледник: тыща километров одна длина, толщина — тыща метров, протащится и достанет до Загородного шоссе там, где винный магазин, и мост обрушит, поезда запоздают многие. У проводницы поезда с путевым обходчиком случится при этом интимная близость, и тот, кто родится потом, в президенты выйдет, и знак у него особый будет на голове — спираль металлическая, как родится, так и будет в голове воткнута. Ледник потает, хлопка станет завалиться, а в России откроется в народе страшный радикулит от сырости, ходить будет и кричать от шага каждого. Через десять лет на Чукотку сядет тарелка. И всех чукчей заберут. Покормят и выпустят. С мехами станет получше. А потом, еще через пять годов, — с юга покатит орда узкоглазых, резать и жечь, языки человечьи только жрать будут, особенно пожилых и партийных. И будет их сто раз по сто миллионов тысяч, саранчой полезут, земли не увидишь, мочой всю Аравию затопят. Пики у них острые и ножницы, все верхом на быках. И одни бабы. Только без грудец. И органы все мужицкие. И религия у них новая: все жрать, всем спать. И повалят они с жаркого юга, рекой, морем, океаном бескрайним, докатят до наших границ, изготовятся к атаке — да вдруг и стинут без следа, ищи и плачь.

— Так... Во намолол, так, а с президентом-то что нынешним? Застрелится? Про конец света ничего не говорил? — пролепетала обескровленными губами администратор.

— Вот и доживать так, — перекрестилась суровая старушка. — Все на нас, ничего не минет.

— А из президента кровь пойдет. Будет писать — из него кровь хлыщет. Примется говорить — тоже хлыщет. Думать начнет — снова льет. Только если спит — почти нет. И устроят ему спаленку, и все условия. Чтобы все время спал. Раз тока в год будут подкрадаться, чтобы указ подписать, скажут: «кушать», он рукой шевельнет — кровка брызнет, подписал, значит, давайте. И про конец света сказал, так сказал: к глубокому сожалению, будет не с того конца, а пока экономьте стройматериалы и живите.

Женщины обмерли.

Опять нетерпеливо и требовательно стукнули в дверь.

Администратор еле повела тяжелой головой в сторону двери и продолжила царапать стекло на столе разогнутой скрепкой, хмыкнув:

— Ну и наплеал он тебе. Алкоголик.

Николай плеснул из чашки в иссохшее до песчаной жесткости горло и с жуткой силой навалился на лосося из банки, озабоченно и размеренно сопя.

— А я считаю: это — все правда, — бодро лягнула старушка. — Точно так будет, глянете. Ну и ничего, как-нибудь. И не такое бывало.

Тишину снова раскололи озлобленно резкие удары в дверь.

Администратор мутным, как спросонья, взглядом всмотрелась в каждого, убедилась, что бутылка канула за дальний стеллаж, и отозвалась вяло:

— Кто там? Слуша-ю!

— Грачев, — ответили подземельно.

— Это мальчик с этажа, — поняла администратор, истомленно потянувшись на стуле. — Открой там, Матвевна, тут и так уже не продохнуть.

Грачев прилип к стене, угадывая в салатовой двери смутную свою тень, кулак ныл — он больше не стучал, он раскусывал зубами тугую, вязкую зевоту и наблюдал спины, вылезавшие из комнат и бредущие сонно в столовую.

Сыто, послеобеденно цыкнул замок, тронулось враскачку его сердце — вот сейчас мы начнем; крохотная, как иссохшая между зимними рамами муха, старушка позвала:

— Ну зайди.

Там пили чай, сплотившись тесней локтями, разморившись от спертости, роняя о чем-то неразборчивые слова, единственный мужик, основательно и надолго лысый, старательно жрал, не отдыхая: то хлеб, то консервы, то хлеб.

— А, это Грачев, — протянула администратор и томительно пощелкала язычком. — Давно-о не был. Ну, шторы там еще не пропили?

Брови ее упруго переламывались в усмешке, как тугие пружинки.

— Вера Александровна, — серо произнес Грачев. — Мне надо крыс отравить.

Его душило желтое облако, растущее от штор и тяжелое законным присутствием ледяного снежного ветра. Он нетерпеливо вскинул голову: ну как?

Старушка рассыпчато хихикнула, шлепая лысого по спине:

— Что, Никола, подъял? А и за работу пора. И для тебя работка нашлась. По твоей профили. Это тебе не у Верки под боком греться. Давай. Не бойся.

Лысый, не разогнувшись, обтер сморщенным платком бледный тонкогубый рот и коряво полез на выход, ощупывая пузатые карманы синего пиджачка.

— Куда? — только и обернулся он у порога, задержав на Грачеве слезливо-голубые глаза.

— Четыреста двадцать вторая, — подсказала выбравшаяся следом администратор, оправляя юбку и оглаживаясь, и довольно окликнула. — А ты, Грачев, ну-ка пойдй сюда... Стой, лучше я к тебе...

Сильно ставя каблук и раскачав на шагую тяжелую выпуклую юбку, она настигла Грачева и, вкрадчиво и переменчиво улыбаясь, расправила ему ворот рубашки сладко пахнущей материнской рукой:

— Вот и мужика у меня распоследнего уводишь, да?

Грачев видел то шею, то грудь и редко, искоса, как из-за дерева, подсматривал в лицо, заглядывал в колыхающееся перед ним.

— Чудо какое, и крыски у вас завелись, достали... Неудивительно, по такой грязи. А у тебя самого, — она ступнула ближе, тесней, — ничего там не завелось, нет? Не ползает? Что ж ты, хоть бы пришел разок.

Ее зубы выпускали душный воздух — прямо в шею Грачева, ошейником, и трудно глотать.

— И Шелковникова твоего не дожدهшься. Все вы меня забыли. Да? А мне докладывают, от тебя рано Машка с Виткой шла. Ты, смотри, уже с двумя? Уже сам не знаешь, что придумать? Не хватает тебе чего-то, не хватает, хороший ты мальчишечка, но что-то тебе не хватает, ищешь, — уже пошептывала она, и глаза ее дрогнули и поплыли в жирной тягучей влаге, и губы перекатывались медузами на волне. — И как ты, справлялся? Ты по очереди или успевал сразу, пустил бы меня посмотреть. Дурачок ты дурачок, это тебе потому не хватает, что девчонки они, малолетки, чего они знают? Что могла та же Машка от одного негра набраться? Ну-ну, ты стой, не падай... А? Ты не знал про негра, что ли? Нет? А как ты думал? Всем жить-то хочется. Надо, край надо мне тебя просвещать, продолжить, надо мне за тебя посерьезней взяться, жалко мальчишечку, мучаешься, а то так и проспийшь-то свои денечки...

— Надо бы, — отдельно подтвердил Грачев. — Хорошо.

— Зайди. Хоть просто поговорить. За жизнь. Как раньше. Ты ж любил мне раньше глаза открывать, наставлять, учить, хоть так зайди, — уходила она, бросая через плечо, каблуки ее били линолеум. — Николай, если пить будут предлагать, — не смей! Там все алкоголики и развратники. Четвертый курс же. А четыре года в общега — как десять лет в публичном доме!

Она захохотала, а потом грохнула в комнату, сыто и дружно, и Грачев пошел, а лысый ждал его статуей у двери. Грачев шел, и голова его вползала раздутым языком в тесный колокол и билась,

терлась, влипала во влажные, щекокушие, потные стены, ворочалась, изнемогая в клейком водовороте, и он с хрипом дышал, изредка выбираясь на воздух.

Шелковников спал, лицом в подушку, растопырив локти якорем и посвистывая на выдохе.

Грачев притворил дверь на его половину и указал пальцем:

— Там спят.

— Понял, — отозвался лысый, потрогав острый свой нос. — А где...

— За шкафом, стена, там вон.

Лысый свободно прошелся до шкафа, окунул за него по пояс, пошуровал совершенно молча в мусоре ногой, выбрался и, кусая губу, уставился на голое тело на плакате.

— Мож-т, мыши? — отрывисто спросил он.

— Крысы, — тяжело выговорил Грачев, он сел на кровать, заставляя себя читать расписание занятий. — Это — крысы.

— Но почему такая уверенность? — возмутился лысый, прометнулся по комнате, заметно хромя на левую ногу, так споро, будто у него была под ногами бочка. — Видел? Хоть раз?

Грачев нехотя поднял голову, запрятав глубже глаза.

— Я чувствую... Кроме этого — постоянные шорохи. Мыши так не смогут. Лезет. Так сильно, что разрывает на своем пути, продирается.

— Ну-у! Это мыш-то не сможет! — оскорбился за мышей лысый. — Со страшной силой сможет! Ведь ночь — все шумит сильнее, чем может. За шкафом тута — как рупор, усиляет, орет. Это мыши — несомненно. Крыса, она не скрытно. За ней сила. Она хорониться не станет!

— Я, я почти видел... ночью. Чувствовал, точно!

— Ну как возможно это, — чу-ять?! — раздраженно крикнул лысый, уселся на стул, потер хромую ногу и уставился прямо на Грачева. — Я, я тоже порой много чего всякого чувствую, но не надо слишком воспринимать-то, искренне очень. Смерть, к примеру, или жизнь. Это губительно слишком это понимать... Чувствовать! Крыса — это не то, что эмоцией или мозгой схватишь... Разве это таракан? Это — сила, огонь! Ее ведь не спрячешь. Да неужели она — она! — будет там отсиживаться? — и он, пригасив голос, опасно покосился на шкаф. — Это же слепая. Сле-пая злоба. Она тебя не видит.

И лысый тщательно нюхнул воздух:

— Душ-шно у вас!

— Да вы боитесь, что ли? — тихо нагнулся к нему Грачев и потер зацепившие щеки. — Не надо, что вам-то? Я испытывал. Вот была ночь, и я спал, и сон. Шелковников, сосед мой, шутник, веселый, — и будто он съел яблоко и огрызок мне, сюда, на плечо. Влажный, такой тяжеловатый, — с запинкой вышло последнее слово, он крепился.



Лысый что есть сил тянул к нему по-птичьей скособочившуюся голову.

— Я проснулся от этого. Ну и — действительно: вот что-то на плече, как бы — сидит, и как бы, — Грачев изогнулся, заледенев лицом, и пугливо повел в воздухе рукой по-над шеей. — Как бы — ближе уже к шее, шекотно так, чуть. Я подумал: вот сволочь. Это я про Шелковникова. Что он там положил? Огрызок. Потянулся к лампе — включу, а это, это — раз! — пропало, раз — скак-нуло так, на животе, здесь, так легонечко толкнулось и дальше, уже по полу, по полу, царапчатый такой клубочек, так и покатился: црап-тап-тап и црап-тап-тап, и црап-тап-тап и прямо вонзился — а-ах! — под шкаф, в бумаги, продрало, и дальше, сквозь пол, под пол — ноги мои уже на полу, вскочил — и дошло до ног потрясение от того, что провалилось, что-то, под пол... пол...

Грачев смолк, изучающе осматривая набитые карманы лысого, острый его подбородок, выцветший шпагат рта, нос, прохладный, как ручка холодильника, и безжизненно вытарщенные глаза.

— Я-а... — силло сказал Грачев, — я-а, потом я еще подумал, думал, вспоминал: вот рот иногда, во сне, открывается рот...

— Стой, — едва слышно попросил лысый, — завязывайте свои истории.

Он коротко вытер под носом и с отвращением принял:

— Да что смердит-то у вас?

Грачев пожал плечами, повел взглядом вокруг — ничего неизвестного нет.

— Пьяный был тогда? — устало спросил лысый.

— Был.

— Ну вот и ясно все, понятно.

— Я нашел следы. На обуви, на черной. Как цветочки такие, из пыли — там же пыльно, у них. Редкие следочки. Широко лапки ставила. Или большая. Наверное, большая. А я ведь по ночам камни кидаю. Отражаю. Вот тут, в коробочке — я это из щбенки выбрал. Сплю, а рука в коробочке... — Грачев улыбнулся себе. — Если ты ведешь огонь на испуг, так сказать, с целью создания паники — тогда камень пускается по паркету, вскользь: гремит. Когда влетает уже под шкаф непосредственно — цели уже нету, сокрылась. Если на поражение цели непосредственно, тогда надо метнуть! Низко и сильно. Тогда достигается бесшумность и появляется надежда на поражение. Но все это трудно, — и он вдруг качнулся к лысому, и глаза его беспокойно заискали что-то на безмолвно слушающем лице. — И знаете, вот что странно до ужаса. Она, она ведь раньше — боялась куда как больше! Сразу, сразу — пырск! И нету, и нету, мигом. А теперь — будто недовольная, вызнала, что ли, что я — один? Запишит, как забьется даже... Вы, наверное, знаете, приходилось, как они так, так по-писки-ва-ют? Вгрызается в камень! А вот я и думаю: а если выскочит? Она ведь очень-очень быстрая — раз! Озлобится, так? И в потемках разве я услежу когда? И сможет скакнуть, скак-нуть,

как пружинка. Ага? Знаю, я продумал: самое уязвимое у меня горло, да? И она цеп-кая, вцепится, это сколько коготочков-то сразу — не оторвать! И еще беда — скользкая. Рукам неудобно. Правда, за хвост можно рвануть, да он тоже беда — все виться будет на стороны, или в кольцо. И скользкий, в выделениях, наверное, а уж чтоб до пасти достать...

— С-стой!!! — прошипел лысый, и рот его безобразно расплылся, желая вдохнуть, он хватал корявыми пальцами горло свое, мял его с силой, срываясь пальцами, и забрал наконец в себя вдох, задышал глубоко и жадно, как спасшийся.

Грачев даже не посмотрел на него — он вслушивался.

Лысый забегал опять по комнате, похожей на гранату. Спотыкнулся в узком, как ручка, коридорчике об обувь, распустившую шнурки сомовьими усами, сунулся в журчащий санузел совместного типа, дальше — назад, в комнатку: кровать, стол без единой газеты и книги, разбитый шкаф у стены, оперенный лохматыми щепками отстающей крашеной фанеры и посеребренный паутиной.

Сквозь грязное окно горбатился пышный воротник заметенного снегом подоконника, мертво торчала пивная палатка, люди дубели на трамвайной остановке.

Безмолвия не было на этом пресном зимнем свету: сталкивались, бились два дыхания, болезненно противно подсвистывал Шелковников из-за стены, крихтел дряхлостью паркет, ветер отвешивал упругие пощечины окну, и темное, неясное, нутряное копошение обитало в мусоре за шкафом.

Грачев сидел, понурился голову, — будто ждал.

— Ничего, ничего, дружок, — подбодрил его лысый, никак не решаясь сесть, и поежился, спросив наконец с надеждой:

— А сосед? Ни разу не слышал? Вот видишь, — чуть не подскочил от радости лысый и расправил плечи. — А мож-т и мыши. Под кроватью что тут у тебя?

— Обувь, сумки, варенье, учебники, — доложил Грачев, как на обыске, и вздохнул, словно после пролитых слез.

— Ничего, ничего, дружок, нормально, — лысый тяжело присел и со смертным оскалом обозрел подкроватное содержимое, подергивая носом. — Чего ж воняет-то? Туфельки, что ли, пардон, конечно? Или варенье давнишнее, бомбажное? Вообще, конечно, под кроватью все держать — не дело. В тумбочку хотя бы, или на шкаф, выше, — свет копился до масляной густоты на поляне его лысины, он тащил голову вдоль пола, бормоча. — Коробки тут какие-то, не по нашему написано, утюг вот — тоже зря, ох, сожжете вы общагу, запылает, шарфик тут какой-то позабыли, бросили, а он уже и заплеснел, ну-ка... — он резко отпрянул, отпрыгнул к стене, как ошпаренный, и глянул оттуда на дрогнувшего Грачева белым и очень спокойным лицом.

Грачев привстал. Ноги его залила упругая, горячая зыбь. Он, заикаясь, спросил, голос его слабел и сох:

— Что? Что там? Под... Да что там...

— А вы все правильно излагали, товарищ, — тоненьким голоском отозвался лысый и отвернулся к окну, сцепив ручки на животе. — А ежели вас интересует текущий момент, то мне требуется пакетик целлофановый. И что-нибудь такое... Картонки, что ль, кусок, поплотней. Хорошо, в общем, вам тут спалось.

— Б-большой пакет? — Грачев широко шагнул от кровати и прижался к стене сутулой спиной, почти сомкнувшись плечом с лысым. — Что там?!

— А? Пакетиком интересуетесь? — отрешенно пищал лысый. — Размером да как бы под буханку хлеба. Такой, примерно. И картонку. Чо там у вас, насморка нету? Нет? Вообще — нормально нюхаете? Ха-ха...

— Картон? Картон, есть, но вот там только, — показал Грачев под кровать и все пытался успеть заглянуть лысому в лицо, как в уходящий поезд. — Что вы там увидели?

— Из-под кровати картону не надо, не надо. Усопших чего уж тревожить, — лысый улыбнулся и подхихикивал без передышки. — А может, хотя бы совочек для мусора? Хотя что я... Вы ж не подметааете, зачем вам, чего это я спросил... Так может, хоть случайно завалился где? Совком очень бы удобно — прах транспортировать, вынос тела осуществить.

— Совок? Есть. В ванной, там...

— Ну так и неси скоренько, хах-ха, сделаю тебе доброе дельце...

— Что там?

— Уже ничего. Почти совсем. Ты сходи за совком-то. И пакетик, и пакетик мне скорей найди, да быстрее, а то передумаю, сам, один останешься.

— А вам, наверное, мусоропровод понадобится...

— Совершенно точно проникаешь. Это очень не помешало бы. Все землю не рыть, на экспертизу не везти. Земля мерзлая, да и где попа в эту пору достать, хах-ха... Да и какой веры-то, ха-ха...

— Недалеко, у лифта, последняя дверь слева, вот там мусоропровод, в конце...

— Желаете показать, проводить? Мож-т, вместе? Вам и приятность должна прочувствоваться, все одной поменьше. Мож-т, мамка ихняя скончалась. Им все навестить хотелось, а вы — каменюкой в мордасы, ха-ха... В наилучшие родственные чувства. А то бы вместе? Один пакетик держит, другой совочком — этот шарфичек, ха-ха... С хвостиком. Я, может, первый раз из-за тебя... паскуды, довелось-таки увидеть, узреть, настигло-таки...

— Я пойду, выйду, схожу к товарищу, задание надо узнать...

— Бегите, бегите, а через пять минуток уже возвращайтесь. Мне совок и пакетик дай. Да не дрожи ты так! Зато с каким ароматом спал, молодец! И не месяц уже, какой там! — вон, как гаранка, уже сохла, до белого, кости и кишение уже... И я тебе правду главную говорил: прятаться они не будут. Они этого не терпят совсем! Это мы, дурачье, думаем, что они потом

по ночам, что боятся, испуг в них живет — чепуха! — им просто так удобней, режим такой, для дела способней, да им весь мир — нора! Это уж нам приходится... Ах, старая, старая, красиво помирать любила, повыше, на воле, под человеком, на стопочке книжек: история, философия да научный атеизм, и хвостик свесить, как шарфик такой, пушистый, ха-ха, да-а, и живете вы, ребята...

Грачев спрятався, забился на лестничную клетку, где шелестели вверх-вниз сонно зевающие лифты и по-комариному дребезжали лампы, расплескивая маслянистое серебро электричества, он жался к окну, как к спасательной проруби, — по окрестным крышам гуляли мутные потоки взвихренного снега, обламывая вниз наметенные козырьки и царапая себе бока о черные, железные антенны.

Холод, как вата, — он впитывал, и внутри полезли в медленный рост кости, распирая тело, натягивая, как холст на тесный подрамник, сохла влага в глазах, и в птичьи когти смерзались пальцы, и он ссыхался в посох, прямой и впалощекый, готовый вонзиться в путь.

— Ого! Какие люди! И без охраны!

Толстогубый рабфаковец Хруль подкосолапил к нему, больно шлепнул ладонью в ладонь, хохотнул, махая руками, не зная, куда деть упругую силу, заключенную в недра сияющего, как павлинье перо, спортивного костюма, брови его взлетели и порхали на крохотном небосклоне розового лба, а губы подрыгивали в круглой щелястой улыбке:

— Не спится? В школу собрался? Иди поспи — и все пройдет!

— У тебя нету кошки? — спросил Грачев.

— Была, — заскучал Хруль и хрустнул пальцами. — Кот. Кузя у меня, кот. Да ты видел. В столовую на пайку жрать вместе ходили, тут, за пазухой. Жрали вместе. Понимаешь, да, сбросила сволочь какая-то с шестнадцатого этажа. Твари. Хоронили вместе с Асланом. Где потеплей, на теплотрассе... Аслан, слышь, ты помнишь, как Кузю хоронили?

Чеченец Аслан, отчисленный со второго курса, выступил из-за угла, коричневым, широкий, в снежной рубашке под дешевым черненьким костюмом, зацепил острым нездоровым взглядом Грачева и, тесно собрав мокрый рот, лоснящийся, как асфальт на подтаявшей дороге, заковырял в зубе белой спичкой.

— Не кот был, а тварюга... Люблю.

Хруль пришлепывал ладонями по задку, приседал, шерстил куцую волосню на голове, оглядывался на злого Аслана, смеялся и, еще улыбаясь, спросил:

— Ну а ты куда счас? Жрать? В школу?

— Я пожрал, — ответил Грачев. — Пойду. Надо тут с одним посчитаться тут...

— Давай. Будут трудности — зови. А мы — жрать! — и Хруль опять шлепнул ладонью о ладонь. — Счастливо!

Грачев пошел, наращивая скорость, не сгибая деревянной спины, пустой, как черепные глазницы.

Лысый повернулся к нему и легким мимолетным движением уже оказался рядом, чуть задрвав подбородок и странно помягчев лицом.

Грачев начал:

— Все?

— Все, упокой душу...

— Теперь мне надо в институт. Давайте быстрее, если можете, как травить?

— Это — семечки в конверте, съедобные, можете сами погрызться, коли скука случится. Три дня и три ночи раскладывайте их на местах вылезания. Так прикормим и приучим всех, все соберутся к вам, и окрестные, ближние, дальние... На четвертый день разложите вот эти, другой конверт, яд. Ночь спите, утром — всю падаль — вон, тщательная уборка, грязь вымыть, мусор лишний вынести, вычистить, дыры заложить кирпичами, обшарить все закоулки, умирать могут, где угодно, и потом вонь пойдет... Пищевые отходы больше в комнате не оставляйте, сгниете. Ясно? Денька три придется еще терпеть. Четвертая ночь будет веселой.

— Оставляйте только яд, — бросил Грачев.

— Возможно и так. Но — малый эффект. Немного уложите, жаль. Конкретно ваших, может, убьете, и то — не всех. А соседи могут навестить, придут. Хотя... Все равно — придут. Будьте спокойны.

Они разом переглянулись и качнули друг другу понимающе головой.

— Все. Закончили. Спасибо, — и Грачев стал обуваться.

Лысый бережно приземлил на стол белый конверт почтовый с синей рисованной марочкой и коротко спросил:

— Физик, да?

— Я географ, — ответил Грачев и пошел в коридор за курткой, — и сейчас я очень тороплюсь.

— Это ясно, понял. Да вам надо еще и семечки раскласть. Соседа хоть предупредите — пощелкает.

Грачев остановился напротив лысого и внятно сказал:

— Я. Тороплюсь.

— Хорош-ш, — изучающе прошептал лысый. — Собран! Молодец. Молод! Ха-рошее слово «молод» — как молотом. Сильно бью! А я вот намучился одной загадкой, задачкой вернее, Она хотя больше из физики, по разумению моему, но, может, почувствуете моим страданиям-то?

Грачева потянуло до смерти уснуть, он изнуренно ощупывал сыпучий бок конверта, с усилием сопя.

— Земной шар — это задачка — бурим насквозь посередке. И магму эту и ядро, и всю остальную чертовню, такую шахту бурим — сквозь, вы усекаете? Пусть покрытие в ней специальное. Чтоб не расплавилось. И широкую такую шахту — это важно. Сделали, да. Глянем теперь под ноги у шахты — небо под ногами, с той стороны. Целая смехатория и можно использовать под аттракцион, или всерьез — как транспортную артерию... Но меня не это долбануло. Бросим туда человека — и тогда? Посвистит ведь туда? С возрастающим ускореньем? И что с человеком-то потом? — воприл лысый, умоляюще выкатив глазки.

— Его разорвет, — глухо отозвался Грачев. — При такой скорости разорвет.

— А мы в скафандр обрядим. Формы ему соответственно придадим, обтекаемые, — затараторил лысый, прерывисто дыша. — Это я все продумывал, это еще мне доступно. Ну а вот дальше? Что? Неужто выпулит с другой стороны? В космические пустоты? Или сила тяжести не даст? А ведь не даст... Не даст! Стормозит, паскуда, нижняя половина то, что верхняя придаст, спружинит, загасит, сожрет. И обратно он полетит — вверх. И опять — тормозить его будет. Вниз полетит. И дальше уже качельками — верх-низ, верх-низ, и все тише так, тише и тише... Пока не замрет вовсе, совсем. Так? Ведь так выходит? И тогда повиснет? В середке? Как семечко в яблочке? Посередине ядра, магмы, коры земной? Поболтает ножками, как муха в стакане, волн понапустит и — висит? Как на перине такой небесной, подземной — меж небом и небом, во все времена: ночью и днем, зимой, летом и — нигде. Ведь так? А? — спрашивал, задыхаясь, лысый, еще раз заливаясь певуче. — А? Да? Я выдержать этого не могу. Невозможно так, невыносимо ведь. Так ведь не можно, Господи? — стонал он, припадая на левую ногу и заглядывая, заглядывая Грачеву пытливо в лицо. — Ну, скажи, скажи, не молчи только, а?

— Это к физикам. Я не могу, — твердо ответил Грачев. — Ничего в этом не понимаю. Мне надо уйти.

— Не трогает, — сипло подытожил лысый и смахнул со лба росистый пот. — Молод и высок. Не дотянешься. Не допускает он к себе. Гигиена.

Грачев присел у шкафа и единым махом выплеснул из белого конверта сыпучий веер в мрачную, черную щель, скомкал конверт и бросил туда же, вослед, в глубины.

— На здоровычко, — заключил лысый. — Жалею только, что рассыпью. Искать бедняжке придется. Вдруг не наберет с одного раза смертного, намучается. Пойду водички захлебну.

— Там в стакане растворитель, не трогайте, — крикнул ему Грачев и, побросав в сумку тетради, утопил голову в шапку и ступил в коридор. Лысый уже поджидал его там, нетерпеливо облизывая мокрые губы.

— Жаль, что упредили-то, про стаканчик, — ухмыльнулся лысый.

— Все, довольно, кончено, — объявил Грачев и обхватил пальцами дверную ручку.

— Все ведь это случается у вас от угла зрения, — деловито заметил лысый. — Чуть сдвинулся уголок — и уже не остановишься. Уж в этом-то вы согласитесь? Даже если взять, к примеру, подлую вечность. Смотря ведь какой уголок заломить. Подлая вечность — это когда мы померли, а все живут, живут, живут и живут себе. А подлейшая! — когда мы померли, кто-то там еще пожил и потом — все, конец! все кончилось, сгорело, в прах космический и — ничего... Ах, это все разные уголочки, но все равно — уголочки же. И поэтому вам бы, товарищ, к нам в санэпидемстанцию надо работать идти. Потравим, походим, половим — и обвыкнетесь. Даже замечать скоро перестанете, слово даю, надеюсь, знаю... Ну чего вам здесь?

— Нет. Все, иду.

— Доказать что-то хотите? — кисло осведомился лысый. — А напрасная суета только это все... хоть, быть может, уголок мною взятый, не так благородно крут, как душе вашей привычно. Ну тогда, раз смелы... Хотите об руку уйдем — вообще? Ну к чему дальше-то ломаться? Трава да снег, что с этого нам? Отметились и освободимся. Поучаствовали и — ладно.

— Нет, — опять сказал Грачев и захлопнул дверь. — Спасибо.

— Пожалуйста, не увидимся, — бормотал лысый и, словно споткнулся, перегородил Грачеву путь, раскинув руки поперек, пугалом.

— Хватит, — процедил Грачев. — Все, пообщались, затыкайтесь.

— И последнее, — осенним листом шелестнул лысый. — Вот не пожалею для вас. Это — ценность. О подобном для себя — мечтаю очень, но достать страшуся. Счастлив, что хоть сам могу вам помочь. Это на случай, если уж совсем станет невмочь и поумнеть сразу захотите, осмелеть, вернее...

И сунул Грачеву под нос короткий свисток, вырезанный из сухого лозняка.

— Еще не надоело? — рявкнул Грачев.

— Это — на край, если уж совсем стало немого, — не слыша его, рассказывал лысый. — Когда поймете сразу, что пора, мол. И посвистите. Но не сильно. Поиграйте так, с переливчиком, пальцем тут в прорезь, подправляйте... И — они все выйдут, все-все, все, кто рядом случится, а потом и дальние потянутся. Разом, увидите — придут на мою пищалочку! Очень, очень, обещаю вам, это пригодится. Поиграете, потешите, их и потянет из нор, это для них сладенько... Это когда избавиться совсем захотите, поймете... Берите!

Грачев взял в пальцы теплую кору веточки лозы, сжал, как гильзу, свисток и спрятал в карман, пояснив:

— Лишь бы только отстал.

— Ага. Ну конечно. Только этого не стыдитесь, — убеждал его лысый, шипая пальцами нос, — это водоворот, хочешь высо-

чить — пускай утянет на дно, а там толкнись, а еще лучше — там останься — без разницы, без разницы. И вы этим проникнетесь, точно. Уголок у нас с вами разный, но если уж заломлен, то уж покатымся.

Грачев не слышал его — он шел в институт.

И он радовался каждому шагу, таранящему душную стену тепла, нудной капли водопровода, шорохов подземных, шелеста бумажного, царапанья, писка, окон в чужеземье — он шел туда, навстречу зиме...

Челюсти лифта сдерживал черняво заросшими руками чеченец Аслан, он востепенел, но Грачев — мимо, по ступеням, ногами, вниз, вниз, ему захотелось идти самому, а из коридора вдруг выпрыгнул сильно подобранный Хруль, бросил в руки чеченца запеленутый курткой угловатый сверток и тяжелым звериным скачком переметнулся в лифт, толкнув вперед чеченца, и они уплыли вверх, на высшие этажи, по своим делам, а внизу вахтерши заседали письмами частые ячейки для почты, как пчелы соты, кутались в платки и грузно приподнимали в дыхании грудь под тесными фуфайками.

И открылись двери, и под ногами разлетелась шершавая ледяная шелуха, и мерным занавесом потекло вниз целлофановое крошево снега, и небо вращалось в затылки домов косматым брюхом, и жизнь ласково покидала лицо и ладони — белела и теряла упругость кожа, — он шел, и строгие вороны в серых фартуках, ломко цокая коготками, переступали по запорошенным крышам машин, и становилось уже больно застуженному лицу, но счастливо — не думать ничего, уходя прочь.

Он оглядывался на непривычное издали общежитие, он давно не выходил отсюда, и его сглотнул трамвай, а потом и метро повело его в чрево узкой тропинкой, обсаженной белыми, как комки вербы, лампами, слева и справа, внутри которых огненной гусеницей тлела и изгибалась нить накаливания, свет меловыми языками лизал стены, и подвывали поезда, унося Грачева дальше, — отогрешися руки болели, на ноги ставили чужие сумки, тяжелые, с нерусскими буквами, от солдат пахло сапогами, и кукольная девушка читала книжку, взволновано не замечая его упрямых, бессмысленных глаз, толкались, падали, кричали друг другу, перекрывая вой, отгораживались газетами — Грачев недоуменно рассматривал заголовки и сфотографированные морды, щелкали перевозимые лыжи, и деловитые дети вспархивали на освободившиеся места, он поискал девушку, девушка выходила, обмахнув иноземным веером парфюмерии, и он потом гадал, думал: а во что же она была одета?

И тащил вверх эскалатор к белесому пятачку, будто к солнцу, внутрь, и люди были окаменевшими за грехи словами, криком, исторгнутым белой глубокой глоткой метрополитена, а ноги уже



ждут неподвижной земли и шагов, зависящих лишь от тебя, — вырвался!

И вон он, институт, уже на горке, от него скользят быстро, а наверх брести — мучение, но Грачев почти бежал, прижимаясь к заснеженной обочине, дорога вздувалась синеватыми наплывами льда — он торопился наугад, еще не зная времени и расписания, но на всякий и обязательный случай, не поднимая головы, лишь изредка пряча подмороженное ухо в воротник, затупляя медленную боль, впивавшуюся острыми зубками.

И он уже улыбался на древних ступенях крыльца тому, что ногу лизнул собачьим языком горячий воздух из выхлопной трубы подкатившего такси, что день растащил мохнатую утреннюю хмарь на косые пряди снегопада, затвердевшие сугробы и черную кору щетинистых изморозью деревьев, и небо стало, как голубой асфальт с легкими морщинами облаков, похожими на вьюжные разводы свежесметенного снега, что выгрузился из такси очкастый бело-брысик с холеными щеками и распечатал переднюю дверцу — и майским простоволосым деревом, сгустком сирени, тычущейся в стороны пушистыми перстами, запорошенная волосами, как снегом, — поднялась, выросла девушка и двинулась к крыльцу, расталкивая березовыми, нагими почти ногами тяжелые полы серебристой грузной дубленки, согнав с лица детскими пальцами прядь, как легкую тень; извергая глазами синеву, она двигалась, и рот ее цвета закисающего варенья клубил в воздухе кусты роз, вырастающие в шиповники, чуть разомкнувшись, как птичий клюв в весенней, песенной истоме, — она приближалась, покачиваясь, как высокий букет, который свесился через плечо, едва минаясь запретным телом с волнистой, тесной одеждой, — Грачев держал мертвыми пальцами дверь открытой — она протекла рядом рекой, над которой стремительной птицей, чиркнувшей воду, пронеслось бесплотное слово: «Спасибо».

Спасибо!

Белобрысый очкарик протащился вслед, громыхая каблуками и рассуждая звучным мужицким голосом.

Спасибо!

Грачев пустил захлопнуться дверь, растер пальцы и вдруг с радостным изумлением взгляделся в ладони свои: сильные, чистые, крепкие, они смотрели на него человеческими лицами, распахнутые навстречу, — и он рассмеялся чуть слышно, прихлопнул с удовольствием ладонями, глотнул холода побольше и отворил дверь — начнем.

В раздевалке он осматривал уши. Они высунулись в стороны толстыми сыроежками и налились кровью. Через снимаемые шубы и текущие полосатые шарфы серчала невидимая гардеробщица:

— Не. Не суй мне свою дубленку. Не приму! Что? Вот так и носи. Не запаришься. Хоть куда иди. Одна вот точно такую сдала.

Затаскали потом, тридцать тыщ стоит! А я что, всех помнить вас должна?! Номерок дала — обязана выдать, все... Сидеть и молиться, что ли, на нее...

Грачев протиснулся на голос — кругом встряхивали мокрые шапки, как бубны, — гардеробщица уже отвернулась, закупорив задом окошко, а по радио пикало время, и он вторил ему: так, так, так.

Грачев сунул в замурованное окошко куртку, подставил ладонь под белую серьгу номерка и опустил на скамью.

Он откровенно рассматривал, торопясь, эту девушку — всего немного внезапно громких сердцебиений, — пока она прямо уходила, не видя земли, всплывая уверенной тенью вверх по ступеням, по просеке, покорно образуемой людьми, цельная и недостижимая, как знамя.

Белобрысый, пытаясь дотронуться до ее равнодушной руки, лениво чеканил:

— Я ж говорил. И с кем тут говорить? Как кабана стричь. Визгу много, а шерсти мало.

Грачев оцепенел ненадолго, в странном томлении, но тут перед ним стали расчесывать жидкие волосы над угристыми лбами и дешево мазать губы, он ссутулился от чужих лиц и побрел наверх, именно по левой лестнице — там, где прошла эта девушка.

Из Ленинской аудитории вещал сухопарый голос озлобленного человека, Грачев приостановился с болезненной гримасой, как у кабинета зубного врача:

— Интеллигенция России всегда разрывалась между подвигом и предательством, которые непрестанно менялись местами и одеждой и манили спасением народа. И теперь для интеллигенции русской все едино: погибнуть ради своей и общей напрасной чести или предать ради животной жизни своей. Нет разницы! В этом нет больше разницы! Нельзя вести народ или идти за народом. Либо вести народ — либо бежать за толпой...

Расписание обещало лекцию, захрипел звонок, Грачев заспешил в аудиторию.

Он взбирался повыше вдоль рядов, отмеряя: раз-два, где бы сесть; раз-два, из аудитории выгребались сонные остатки некоего курса; раз-два, он искал место без огрызков и фантиков, без надписей «Девочка, а что ты умеешь?»; раз-два, вот тут.

Посреди аудитории. Напротив доски. Окна, перепончатые, как стрекозиные крылья, — слева и справа, и он сидел, как ангел, ожидая свой курс, сошедший, и прятал это от себя. Но как все-таки все удивятся, что он пришел!

Потом он прикрыл плаза — будто спит, и смотрел в мягкую изнанку век на белесые подрагивающие пятна и полосы, и потоки, повернул голову к окну и — сливочный туман сменил тьму — в аудиторию прорвалось солнце широким неводом.

Зашаркали шаги первого человека — неспешащие и уверенные. Грачев покойно дышал, умиротворенный светлым днем.

Шаги помялись внизу и неожиданно, внушительным скрипом забралась на кафедру — там прочертил ножками пол неудачно расположившийся стул, и кафедра вздохнула, приняв в свой стакан человека.

Грачев открыл глаза — это был лектор. Задребезжал звонок.

— Ждем пять минут и начинаем работать, — жестяным голосом объявил лектор. — Ни единой души не допущу больше! Пусть хоть плачут...

Грачев, поместив подбородок на кулак, наблюдал, как лектор перебирает листы своих ветхих записей, словно грязные ошметья капусты в овощном, протирает платочком маленькие черные очки; сильно покраснев, освобождает доску от легкомысленных меловых записей молодецким размахом тряпки и наконец застывает за кафедрой: ну-ну.

Это оказался высоченный седовласый мужик в хорошо глаженных брюках.

Воздух побледнел от наплыва облаков, и перестала струиться золотая пыльца от стен вековой аудитории, померкло.

Грачев вытащил из-под стула сумку и отправился к выходу.

— Да, — подтвердил седой. — Даже: шесть минут уже. Ладно. Но куда же вы, коллега? Располагайтесь, располагайтесь поближе, и скорей начнем! Но слово я свое сдержу: никто больше сюда не зайдет! — он бодро подбежал к длинным дубовым дверям и засунул ножку стула в дверные ручки, очень довольный собственной молодцеватостью. — Не пушу! Ни одного боле.

— Никто и не придет, — равнодушно бросил Грачев и нехотя сел в третий ряд.

— И не надо! — живо отозвался лектор. — И не надо. Для меня, если по совести, гораздо приятней одна светлая и заинтересованная голова, чем сто недорослей. Которые придут на лекцию поиграть в картишки! Отоспаться после пьянки, выпивона, так выразимся! Или потискать коленку своей девки! — заключил он с задорным наслаждением. — Ну-те-с, — обозначил он начало. — Я полагаю, вам лучше записывать. Важность сегодняшней темы... Которая в некотором роде краеугольный камень... Тем более — по профилю специальности. Да и просто многое даст в смысле общей культуры. Поблагодарите потом, вспомните.

Грачев с протяжной тоской глянул на лектора, запустил руку шарить в пустой сумке. Вытащил меж пальцев лоскуты засаленных бумажек, выбрал которая почище — конверт материнского письма.

— Листочек-то я дам, дам, — лукаво рассмеялся седой, волосы его были зачесаны тугой волной. Он уже полез в свой портфель.

— Не надо. Уже есть. Я нашел. Уже есть бумага, спасибо.

— Есть, да? А то смотрите — у меня целая кипа, уж чего-чего...

— Есть, уже есть. Все нормально.

— Прежде чем приступить к обозначенной теме, мне бы хотелось, чтобы вы увидели ее явственно... В обрамлении эпохи, кото-

рую нам довелось пережить, — и лектор сделал паузу, давая возможность записать.

Грачев, досадуя, прочистил горло и обреченно заскрипел пишущей ручкой зигзагами по конверту, прямо по образцу заполнения индекса.

— Можете сокращать по ходу, — разрешил лектор. — Чтобы уместить. У нас еще час, почти... Много успеем. Итак, крах советской цивилизации... этот крах советской цивилизации... стал мало заметной, но тотальной и окончательной трагедией вашего прежде всего поколения. Невозможность возвращения... утеря национального... искажение человеческого... нежелание будущего... Ах, я это понимаю слишком хорошо потому, что нам, моим прекрасным и великим сверстникам, борцам, страдальцам, изгоям, титанам угнетенного духа, довелось пережить в свое горькое время нечто близкое... Это близкое...

Грачев приноровился и пустил стержень по одному и тому же маршруту, без усталости углубляя в бумагу зубастую, как мелкая пила, слепую бороздку.

Лектор остудил ладонью жар благородного лба и подвел итог:

— Вышеизложенное для контекста... Прямо так отчеркните от основной темы... Отчеркнули? Хорошо, теперь... так... Как вы помните, тема прошлой лекции...

Грачев подождал, потерпел, удивился тишине и, подняв глаза, обнаружил, что последнее предложение заключается не точкой, а знаком вопроса. Лектор поощряюще мотал ему головой: ну, ну.

— Я не был, к сожалению, на прошлой лекции, — твердо ответил Грачев.

— Ага? — сник сразу лектор и, смотря в пол, продолжил. — А предпоследней? Вспомните, не сочтите за труд...

Грачев спрятал в сумку конверт и ручку, раскинул руки в стороны и признался сквозь утомленный зевок:

— Я вообще как-то нерегулярно посещал этот курс.

— Должно быть, тяжелые заболевания хронического характера, — участливо предположил лектор. — Напряженность студенческого быта. Непростая общественно-политическая обстановка. Заботы по воспитанию грудных младенцев... Ну, ну а хотя бы — одну лекцию? Ну порауйте, а? Ну — одну. Всего! — Он быстро вскинул глаза, блеснув очками и потупился снова. — Нет? Нет... Да-а. А... А осмелюсь ли я спросить вас хотя бы о названии точном читаемого мною курса? Ну а хотя бы — приблизительно, как? Вообще? А?

Грачев смотрел на него в упор.

— Да, я понимаю, что вам не стыдно совершенно, это мне ясно, ясно, чего уж... — объяснил лектор. — Я даже думаю, что излишним было бы интересоваться у вас моим именем или цветом учебника... И я не шучу, а уверен, что вы не очень тверды в сегодняшнем числе или даже в названии учебного заведения, где я имею честь преподавать. Но меня, как вы понимаете, это не оби-

жает — вы хоть это-то понимаете? Но не соблаговолите ли вы объяснить мне одну штуку, ну совершенно не постигаемую разумом моим... Что происходит с вашим курсом? — И он вскинул на Грачева вытаращенные глаза.

Грачев подсчитывал про себя: а сколько же он не писал матери? Он теребил ремень сумки: сколько же, сколько же? Вот был снег или еще нет?

— Вы могли бы незамедлительно переадресовать этот вопрос и мне, — признался лектор, выбрался из кафедры и ухватился за первый ряд. — И это, может статься, справедливо. Но загадка участи поколения для меня разрешима, — он перебрался на ряд Грачева и плюхнулся рядом на стул, загудев Грачеву в ухо, — если я вижу хоть что-то. Хоть что-то! Но я ничего не вижу!

И он оцепенел, сжав сильными руками колени.

Двери дернули снаружи, подергали, стул, замыкавший их, позорно рухнул на паркет и, белобрый очкарик засунул голову в аудиторию, кого-то пряча за спиной. Он брезгливо глянул на лектора, на Грачева и исчез, известив крепким басом невидимого спутника:

— И тут ничего не читают, побродим, найдем... Где же наши?

И его ботинки громыхали размашисто и резко и были оправой для колющего кожу людскую острого перестука тонких томных каблучков, клюющих без запинки, но будто со вздохом воздушным в паузе — Грачев стер со щек колючий озноб плавными пальцами.

Лектор сильно подышал, откинулся назад и сунул ноги под передний стул, как Грачев.

— У вас хороший одеклон, — серьезно заметил Грачев. — Вот и перстень вы носите на пальце. Недешевый, да? Мне кажется, что у вас все схвачено и без нас, все хорошо.

— И презираете, и не верите, и все вы знаете про меня наперед. — Лектор с усилием прокрутил на пальце перстень. — Я ведь ищу уверенности. Почувствовать себя звеном в цепи. И я хочу знать, что такое вы. Ну пусть вы — пустота. И я знать буду, что вы пустота. Но только не неизвестность... Вы мальчик, вы даже понять не можете, как это связано с такой штукой, как смерть.

Грачев засунул ладони под затылок, потянулся, смочил краешком языка губы, подхватил сумку и пошел на выход.

— Не убегайте так, коллега, — слабо попросил в спину лектор, — мне ведь даже вас припугнуть нечем... Что вам до моего экзамена... А вы хоть чего-нибудь боитесь?

Грачев томился у дверей, сквозняк из коридора тыкался в его спину сухим текучим хоботом.

— Или все — ничего? И в этом здании для вас — тоже? Ничего? — Лектор воздел руки к пожилой пенной люстре и привстал. — Да? Ничего? А вот для меня, старого дурака, по-вашему, день счастлив, лишь когда я обмакну себя в тишину этих стен, подымусь по этим усталым ступенькам. Все время мое драгоценное — время до звонка, когда свобода: можно слушать скрип паркета... Вы хоть

раз, один раз слушали этот дом?! — закричал он Грачеву, и губы его корчились, — Когда люди здесь — он мертв, каждый размазывает его на себя... Но вот когда тишина, ну хоть бы глоток ее... И в этот миг начинаешь осознавать, так... недоступность всю этого дома, равнодушие даже его ко всему, в чем мы копошимся, — здесь великие голоса Белинского! Гоголя! Достоевского!.. Здешний воздух сродни чему-то незримому, неошутимому, тому, что растет неприметно для нас, что в ряду с жизнью и смертью, что есть духовный скелет... А теперь я хочу услышать ваш голос, ну ответьте, коллега, громче, сразу, быка за рога, — что вы думаете о смерти? Как бы вы хотели умереть?

— За нашу Советскую Родину, — кратко ответил Грачев.

Лектор выбрался из ряда и оказался совсем близко к нему — нос к носу. Грачев смотрел на мраморного Ленина за его спиной.

И добавил:

— Очень хорошие у вас духи. Одеколон.

Лектор отвернулся трудно и выдавил:

— О чем я с вами, кто вы... Но я вот что скажу, хочу вам это сказать обязательно. То, что вы сейчас пытаетесь, — это не так. Это даже не так, как вы думаете, нет... Не надейтесь. А в вас, милый друг, — слишком много животного. Вы слишком любите жизнь, а это черта животных — сонных, трусливых, жующих, не знаю с кем даже сравнить. Вот для этого вы родились и росли, и готовили себя — только для этого.

Грачев еле кивал готовно его словам, потом кивал просто — без слов, потом поперхнулся и не согласился:

— Нет. Тут чепуху сказали. Лично я себя готовил в контрразведку. Очень люблю книжки про разведчиков. И мечтал стать полковником КГБ. По возможности — почетным чекистом. Ага, вот вы спросили: почему?

— Я не спрашивал ничего.

— Охотно поясню вам, коллега. Первое: почему именно в контрразведку? Потому, что с языком было неважно, да и боязно как-то: двадцать лет на чужбине без отца и матери... Они нежные у меня очень. Тем меня и испортили. Это очень опасно: правильным быть мальчиком. Не вообще — правильным, а вот именно — мальчиком. И как без жены двадцать лет? Она здесь страдать да стареть, я там страдать — разве дело? Романы без любви — это ведь разврат и позор. Нельзя врать, можно жить и спать с человеком, только когда его любишь и доверяешь. В любви главное — это стоит и вам записать: доверие. И второе. Почему — полковником КГБ? С этим проще. Просто нравилось. Полковник КЭ ГЭ БЭ. Сильно. До сих пор нравится...

Грачев переместился еще ближе к дверям, там обернулся и объявил парадно:

— А вот кстати. На тему: а хорошо бы! По существу жизненной линии!

И заголосил с зловещим подвыванием, взметнув руки к люстре:

— Ах, хорошо бы! И ах, хорошо бы! Ах, хорошо бы, коллега, стать графом и покутить в гусарах, стрельнуть на дуэли человек пяток и укатить к маменьке в деревню — и жить в глуши! И равнодушно взирать на гостей! И уклоняться от сватаний! И пилиться с холодным отчаяньем в камин, и ни черта не хотеть. А с утра, — Грачев сноровисто оседлал стул, сделал важную рожу, — скакать на лошади, по полю, и чтоб — пар валил, и ехать тихо-тихо назад, чувствовать ветер, молчать и морщить от снега лицо, и пройти, не раздеваясь, в кабинет, и застыть посреди, оглянувшись пустыми глазами на вопрос слуги: когда обед? И спать, проваливаясь в перине. Избегая мучений. Не сльвя ни оригиналом, ни либералом, а только человеком, который понял, что своего места не найти, и поэтому чужого — лучше не занимать. — Грачев отпихнул надоевший стул и громко закончил вверх, под своды вековые, непонятно кому: — Мне кажется, я бы смог так. — Голос его съезжился, и он поник, махнув пыльным взором по отчужденно напрягшемуся лектору.

Лектор рассовывал в портфель бумаги, потряхивая серебристой гривой.

— Мне вообще кажется, что вы — мой брат, — проговорил тускло Грачев. — Глупость ведь, но ведь топчемся у друг друга на костях.

Лектор ушел, не сгибая спины, высокий, как маяк, мерцающий седым огнем, строго по середине коридора, не махая портфелем.

Грачев косолапо взошел на кафедру и голову свою склонил — как у гроба; был слышен ветер, сиплый от простуды, — ветер был в заунывной мольбе, и трещали мелко оконные рамы, а Грачев прислушивался и вздыхал — тяжело, устало, по-детски, — снова вздыхал и носом жалко шмыгал, заходил в страдании ветер, и срывался на острых, зубастых наледью карнизах белых крыш, похожих на перевернутые лодки.

— Какие люди. На трибуне! — пробрался в аудиторию украдкой рабфаковец Хруль, неожиданно раздувшийся в тесном костюме-чике.

Грачев накренился вперед, подставив шею невидимому палачу, и покачивал головой в тиши.

— зуб болит?! — гаркнул Хруль. И сам смутился от неожиданности.

Грачев повернулся к нему и длинно выговорил:

— Аа-а... Хруль. Хруль. Хруль-чик. Хру-Хру. Хру-уль...

— Аха-ха, — начал подхохотывать весь подобранный Хруль. — Ха-ха.

— Крыши, Хруль, — протягивал Грачев. — Кры-иши. — Он сам слушал голос свой. — Пустые, белые... Была бы воля — жил бы на крышах. Была бы воля — да вот зима.

— Ха-ха, — потряхивался толстогубый Хруль, и губищи его шлепали, — ха-ха...

— Зима вот. Устал, — сдавленно признался Грачев. — Сухой земли хочется. С девочкой хорошей познакомиться. Чтоб молчала — и не скучала. Чтобы сидела на кровати напротив — и ничего от меня не ждала. И на фортепьяне играла... А я бы носки вязал в кресле, да? — Грачев еще раз со стоном нутряным вздохнул и, покачиваясь, спустился с кафедры, сморщился и звучно решил:

— Идти надо. Ну а ты?

— Я, — разом отозвался Хруль.

— Ну а ты, Хрулек?

— Я — Хруль, так... Учиться пришел.

— Есть какие-то проблемы? Сложности? Пожелания трудящихся? Письма и жалобы? Хлынул поток телеграмм? Какие расклады в моей державе? Откель супостаты?

— Ха-ха, — выкашливал Хруль, глаза его были тверды, как камешки.

— Идти должен, — сказал с напором Грачев. — Увы, боярин, мне пора...

— Конечно, учиться надо, учеба, — поддержал Хруль. — Курсовичок вот у меня, надо. А коллоквиум! У нас такая падла ведет — силов нету. Жрет прямо с дерьмом. Слушай, Грачев, ну а чего ты так сегодня рано встал, ходил? Вдруг пошел куда-то? — торопился он за Грачевым вслед по коридору.

— Учиться надо, учиться и учиться, — говорил упорно Грачев.

— Учиться? Ну да, ясный веник, — вторил ему Хруль. — А счас куда? Куда пошел?

— Жрать, в буфет.

— В общаге чего не пожрал, там... Слышь, да стой, ты! Мать твою...

Грачев круто развернулся:

— Ну что?

Хруль насупил брови, и голова его завращалась по сторонам, выглядывая что-то по закоулкам, губищи терлись друг о дружку, обнажая в слюнявом просвете два массивных резца, широких и желтоватых, как прокуренные ногти.

— Ну ты, вот глян, утром сегодня... Шел куда-то, да? Ну помнишь, нет.

Грачев видел, как тесно его шее в тугом охвате новенькой рубахи.

— Ты, это, — мямлил Хруль. — Я тебя тогда видел, ну ты помнишь, а ты там стоял, а потом пошел, одетый, потом. Ну Аслан тогда еще... видел, утром, ну ты...

— Да, — подтвердил спокойно Грачев. — И я видел.

— Что видел?! — выпалил вдруг Хруль и сжался в тугой пружинящий столбик и процедил. — Ну чего ты видел?

— Видел, как вы магнитофон тырили, — бесстрастно сообщил Грачев, — у араба, наверно...



Хруль, бессильно улыбаясь, осматривался по сторонам.

— Что ж вы так шаганулись-то от меня? — так же безучастно спрашивал Грачев. — Ну кто ж так ворует? Ведь пора научиться. Не впервой ведь... Спокойненько надо так. В ящичке с-под пива. Бутылочек положить, чтоб гремело. Покурить у лифта, спокуха такая, а вы... Устроили метания, перебежки, эх! — и он страдальчески зевнул. — Сынки!

Хруль раздавленно сглатывал, машинально ковыряясь в ухе, наливаясь горячей кровью.

— Счастливо. Пойду я, — сообщил ему Грачев.

— Так теперь что? — отрывисто пролаял Хруль, глаза его не мигали. — Мать твою... А? Как будем расходиться?

Грачев пожал плечами:

— Да ладно, чего там. Купите мне бутылку водки. Да и все.

— И все, да?

— Да.

— Совсем? Поклянешься? Что никогда? Заикнешься?.. Ну что ты молчишь, скотина?

— Я пойду, Хруль, — опять зевнул Грачев. — Жрать и спать. Счастливо тебе, милый.

— В буфет?

— Туда. Я же говорил. Спрячь свои зубки. Счастливо.

— Иди, — весомо сказал Хруль. — Иди, — и он остался стоять, и расстегнул с большой натугой верхнюю пуговицу, рванув ее что есть сил, пустив на волю красную, рыжлую шею, и стонуще выматерился, качая сокрушенно головой.

Грачев побрел по коридору, косясь на пустые крышки, на подоконниках курили и смеялись молодые, от буфета тянуло теплой душистой выпечкой и противным кофе с молоком, и Грачев уже представлял на подносе две слоистые булки с маком, марципан, два стакана виноградного кисленького сока и самое-самое большое яблоко — желтое, в серую крапинку, из чужой земли, суховатое, как прессованная вата, поглощаемое аккуратными укусами, оставляющими бессочный беловатый срез — и это не то, что наш «белый налив»: мягкий, с коричневыми родинками и синяками от падений, разваливающийся на зубах, открывая с веселым треском зернистую блестящую внутренность, окропляя губы мокрые пенным соком, или «антоновка» — зеленая громада, без единой морщины, литая, с глухим внутренним сердечным отзвуком от щелчка, никогда не червивая, с гранитной неподатливостью укусу, кислая, особенно вначале, легко набивающая оскомину и заставляющая морщиться...

Его поймал за локоть у буфета мордастый парень с комсомольским значком, он когда-то давно знал Грачева, но тот тупо осматривал костюм, галстук, значки, мордастость, не в силах решить: профком этот мордастый, комитет комсомола или что-то еще.

— Ну хоть тебя, слава Богу! Грачев, друг, сколько у тебя сегодня пар? — трубил мордастый. — Вот сдай, пожалуйста, денюжки на Таджикистан.

И его морда свернулась набок. В буфетную дверь немой, переливающейся рыбой протекла в серебристой пышной дубленке, с неясным лицом под сенью привольных волос — эта девушка, и медицинский отблеск буфетного кафеля заголил и напитал теплотой ее сильные плотные колени, сменяющие друг друга в поступи гладкими волнами.

За ней протопал неотвязный очкарик, смачно рассуждая.

— Можно сказать, что без юбки совсем, — облизнулся мордастый. — Вот это ножки, ах! И ведь кто-то, ах чтоб тебя, — ведь спит же кто-то с такими бабами! И не мы с тобой! А вон та очкастая задница. Ведь такой бы на курс хватило, а все кому-то... Как идет! Левой пишет, правой зачеркивает. И рожа нездешняя: с вечернего, что ли, такой цветочек перевелся? — мордастый сообразил, что за истекшее время Грачев что-то мигнул уже утвердительно ему и стремительно продолжил:

— Знаешь: землетрясение в Таджикистане, жертвы, дети, разрушения, женщины и старики. Все по рублю собирали. Ты тоже ведь сдавал, да? Вчера все перечислили, а сегодня 418-я группа донесла — четвертак. Вот ты давай сдай, я совсем — замот, дыхнуть некогда, веришь, учебников еще не брал, совсем закрутился, давай сдай, ага, ладно? Ну ты понял, да? Любая сберкасса, прямо любая, там у общаги есть, где почта, ну ты знаешь, ну ты сдашь, ага, да? Ну ладно, тут в конвертике, ну ты давай, держи, побежал, давай.

И повернулся к Грачеву гладкой спиной, а в пальцах Грачева оказался конвертик: синяя рисованная марочка, чистые графы, картинка с флагами и профилями и почему-то волнующая, плотненькая женщина у нижней кромки — он с удовольствием ощущал ее.

Он столик выбрал любимый — у высокого окна с овальным верхом, по-старинному утопленного глубоко в стену, кинул на подоконник сумку и глядел исподлобья, редко дыша, как эта девушка несет от стойки к столику кофе, стакан — словно свечу у груди, едва ступая, меняя ладочки — горячий кофе, и как пьет потом, будто целует, украдкой, стесняясь, оберегая широкие рукава дубленки от крошек и луж на плохо протертом столе, и застывает смутным взором над всеми, поверх, за его любимое окно — там качают черными рогами деревья — она это видит; у Грачева стало тесно крови в голове, он купил себе что-то и глотал большими кусками, не узнавая вкуса.

Из очереди выбрался и направился к нему кудрявый и развеселый сосед Шелковников, приветственно жмурясь Грачеву, хорошо отоспавшийся, за ним семенили две студентки в длинных провинциальных юбках и мохнатых одинаковых свитерах. Шелковников загрузил себе полный поднос, студентки тащили только сок.

— Ал-петит не испортим? — осведомился Шелковников с середины буфета. — Так и знал; найду здесь! Загонишь его на лекцию! Ага! Девочки, сюда, тут сгружаемся.

У студенток широкие толстощекие лица раскалялись румянами.

— Это — Ирка, а это — Ольга. Они — заочное отделение, — церемонно представлял Шелковников, составляя с подноса тарелки: засохшие щепочки сыра, горку холодного пюре с горелым кругом жареной колбасы. — Они, девочки, первый раз в Москве, верно, девочки? Или нет?

— Ты нас не оскорбляй! — махнула на него рукой, унизированной тонкими браслетами та, что потолще. — Мы — третий курс!

— Я говорил, девочки, не в том смысле, что вы — девочки, а в том, что думал — первый раз в Москве, а раз нет, то какие обиды, — с наслаждением чмокал губами Шелковников, грызя сыр. — Я никого не хотел обидеть.

Студентки дробно рассмеялись, выставив подковками острые, мелкие зубки, сок плескался в их руках, от них круто разлило духами.

— А поселили их неподалеку, совсем неподалеку, — плел быстро Шелковников, азартно подмигивая Грачеву. — И чайник уже запасен, пора и гостей звать, верно? Всухую никакая сессия не пойдет, верно? Смазать бы надо! А?

— А вы-то где живете? — напористо спросила опять та, что потолще. — А то все про нас, а вы?

— Мы — хорошие ребята, мы — ребята-акробаты, — бойко частил Шелковников. — Ваш этаж. Вы — от лифта налево, мы — от лифта направо. Самый конец — 422-я! Не путайте с чеченцами, знаете, Аслан такой, черный, знаете? Он в начале — 402-я, а мы в конце, где окошко и огнетушитель, представляете? А это — вот самый товарищ Грачев, учитель и вождь, вот он!

— Ой, а он нам столько про вас наговорил такого, — пропела толстая. — Что уж...

— И такого прям, ну тако-о-ого, — подтягивала вторая, и глаза ее маслились остреньким распутным любопытством. — Даже боязно стоять рядом, такой вы...

— Это он шутит так, — важно сказал Грачев и, посмотрев, допила та девушка кофе или нет, сухо осведомился, — девчонки, ну так как насчет перепихнуться?

Шелковников задохнулся ломтем колбасы и поспешно забулькал соком.

Студентки осеклись, разом побагровели, дохлебали скорей сок и, устроив поудобнее сумки на плечах, ушли, стуча вперебой каблуками, презрительно фыркнув на прощанье.

— Да девочки! — воскликнул умоляюще Шелковников, простирая вслед свободную от вилки руку и досадливо крякнул. — Вся малину обложил! Как с утра начал — так и дурешь. И ведь такие хорошие бабы, эх да что с тобой баландить?! Да ты хоть знаешь, сколько они с собой жратвы навезли? Колбаску, огурцы — все домашнее, орехов — мешок. Самогона... Три литра самогона! И ведь голодные, как собаки, — очень хотят. Как кошки лезут, эх!

Ну да ладно, хоть ты и сволочь, — утешил себя Шелковников, — все равно. Наши будут.

Грачев оглянулся опять: белобрый очкарик уже вцепился в сумочку этой девушки, но все рассуждал, поводя руками, а она крепко сжимала пустой стакан, бережно, как букетик, и посматривала в сторону — надо нести на мойку.

В буфет завалились Хруль, Аслан и еще пара смазанных лиц. Хруль радостно махал им рукой, бурчал что-то, кивал, хохотал — все они разом смотрели на Грачева. Он почувствовал — темный ветер осенил его лицо и плечи, его покрыла тень. Стало слышным всеобщее желание, плеск воды на мойке, звяк монеты о тарелочку у кассы, шорох ветра за окном, шепот крови испуганный.

— Ты бы сходил к администраторше, — вымученно улыбнулся Грачев, осушив стакан сока. — Просит.

— Сам сходи, — скривился Шелковников. — Ты ее раскоцегарил, ты и утешай, верно? Уже мхом заросла, а все не наестся... А муж живет и не знает, женись так, твою мать... Как же она меня достала, тошнит, вспомню — тошнит. Гора сала, все висит, тьфу! И все чего-то про жизнь говорит. «А ты доволен жизнью? Есть у тебя радость?» Тоже мне — цветочек, да ну ее! И все ты выпендриваешься. Есть же хорошие крепкие девки, голодные, дают, ничего не надо. Кончится сессия — поедут к мужьям и деткам. У толстой, что Ольга, — двое детей. Ну чего ты их обидел? Вот на хрена? Тебе что — уже ничего не надо? Только в крыс пулять? Да на кого ты все время пялишься?!

Белобрый устал выступать и потащил сумку к выходу. Девушка меж столиков пробиралась к мойке.

Грачев бросил:

— Ну ты давай, — и понес свой стакан туда же.

Застолье Хруля смолкло и напряженно глядело в стаканы и тарелки.

А Грачев сначала увидел бледную до просвеченности руку, утврждающую на цветастой, желтой, красной, зеленой клеенке стакан, только руку, а потом вздымающейся медленной волной поднялось и несло навстречу лицо, растущее, плывущее, закрутившееся и распавшееся от напряжения в стороны от чистых, пронзительно синих до крика глаз, и маленький твердый подбородок взлетел на выдохе вперед на тонкой белокаменной шее, и вся она напиталась движеньем, неостановимым, чтобы плыть и дальше без него, не видя, протекать мимо ладным стремительным телом чужим, навсегда.

— Ничего у меня сегодня не получается, — признался ей Грачев.

Он перегораживал ей путь. Он понимал, что все его сокровище — это крупинки от ее жизни, крупинки, крохи от ее волшебных дней, непредставимых вечеров, огромных, как простые судьбы, ночей, великих таинств пробуждений, неохватимого простора весен вечных и лет, и только крупинки — ему, пока она не

догадается, что надо обойти его, и обойдет, лишь шаг в сторону и вперед.

— И тут еще вы, — говорил он спеша. — Как отблеск от... Хотя я во все такое не верю. И вы, наверное, то же самое — неправда. Но ничего поделаться не могу... Пока вижу — не могу прямо взглянуть. Как в пропасть — голова сразу кружится.

Она споткнулась на нем, опалив взглядом запоминающим, удержала смутный порыв губ, ступила немного в обход, еще тревожно и болезненно заглядывая в его лицо, шагнула еще, еще раз, и ушла, скрывшись за спиной легким бесплотным звуком.

Шелковников сочувственно развел руками и присвистнул:

— Куда уж нам к красивым бабам!

Грачев сунул стакан в мойку и шепнул:

— Вот так. Так.

И он опять отправился к расписанию с безучастностью пенсионера, осматривающего пионерский лагерь, — навстречу решительно вышагивал Симбирцев с тремя соратниками — очки его млечно потели от стужи, полы куртки величаво расплывались в стороны.

— Братец, сегодня у курса аттестация по теории социализма, — сердито бросил он Грачеву. — Не пройдешь — стипендию снимут, понял? В 316-й или 333-й, глянь по расписанию.

В расписании аттестация не значилась. Грачев изучал его строчка за строчкой, уже чувствуя присутствие за спиной гнетущего ожидания.

Это был Хруль.

— Чего ты там вычитываешь? — спросил Хруль.

— Аттестация, говорят, — раздраженно пояснил Грачев. — А что?

— Да то. Говоришь — разойдемся? — сипло спросил Хруль. — Так думаешь?

— Разойдемся, — и Грачев упорно досказал, — бутылку мне купишь и — живи, порхай и ползай.

— Не нравишься ты мне. Нормальный вроде, а гниешь внутри, все не так говоришь, чего-то гнешь, все не в строчку, — прошипел недоверчиво Хруль. — Вот нет, чтобы по-людски... Не, не хочешь ты по-людски. Ну посмотришь.

Грачев отошел на онемевших ногах в сторону 316-й аудитории, глупо что-то насвистывая.

Из 316-й выбрался взъерошенный мужик и с отвращением заглянул в зачетку.

— Аттестация? — уточнил Грачев.

— Она, — подтвердил мужик. — Ух, проститутка!

— Баба принимает? Сильно сажает, да?

— Не то слово. Стерва, — потряхивал головой мужик. — Аспирантка, а дерьма из нее лезет, как из профессора. По всему курсу мутузит, на датах ловит...

— Списать можно?

— Мастер спит. Давай за последний стол, там учебник, бу-мажки какие-то бабы оставили, пошаришь. Но аспирантка — это просто облом какой-то, ну валяй. Ты не видал, в «Российские вина» очередь стоит?

Грачев помялся у двери, подержал рукой грозный холод дверной ручки, ухмыльнулся и сильно постучал: так, так, так.

Четыре товарища гнулись за столами слева и справа, как гребцы на галерах, прикованные к веслам. Пятый сидел на стуле, словно на колу, с лицом подвергнутого клизме и невнятно булькал что-то по-бульдожьки подобравшейся аспирантке.

— Вы ничего не знаете! — с отвращением резала аспирантка. — И списать пытались, все, все, ну все, не надо мне ничего говорить, недоноски просто какие-то, все! Вон!

Товарищ заерзал, будто на сковороде:

— Я читал, памяти просто нет никакой: ребенок болеет, спать не дает. Может, я по кусочкам отвечу?

— По кусочкам ты будешь туалетную бумагу рвать — аспирантка переправила зачетку в помертвевшие руки товарища, — тот пошатался к двери слепцом, аспирантка повернулась к скромно ждущему очереди Грачеву.

Это была Нина Эдуардовна. Утренняя аспирантка из читалки в общаге.

Грачев, очень глупо ухмыляясь, пятился назад и наскоро объяснял прерывистым голосом:

— Я — следующий раз. У меня содоклад на другой кафедре и курсовой коллоквиум, я просто зашел предупредить, очень жаль, следующий раз, уж тогда...

— А что? А? Что там мальчишечка говорит? Что? Малышик, а ты знаешь, сынулька, что сегодня последняя сдача? И сдают те, кто уже пытался по одному разу? А? Что? Ах, ты масечка ненаглядная, — плотоядно облизывалась аспирантка, и лицо ее смерзлось в глыбу льда. — Через час я вообще ведомости закрою! И сдам в учебную часть. Набегаешься без стипендии! Очень уверен, да? Раз ждал до последнего. Ну что, так, может, без подготовки, а? Гений времен и народов? Рулевой и кормчий, умник?

— Да нет, отчего же, хотелось бы суммировать как-то мысли, — канючил Грачев, внушительно шевеля глазами товарищу за последним столом, — тот что-то интимно пощупал у себя между ногами и пересел к стене, освобождая место.

— Сядь. Готовься, — позволила Нина Эдуардовна и, наслаждаясь, улыбнулась. — Вот тут будет удобно.

И показала на свой стол.

— Легче припомнится, — объяснила она, клацая зубами. — Все, что знаете.

Грачев сел камнем, у аспирантки над бровями крепились гневные ямки. Грачев смотрел на ее шелушащиеся от стирок пальцы с дешевеньким колечком и ярким до неряшливости лаком, он успокоился совсем.

— Ну-ка не списывать там! — громыхнула аспирантка, и позади что-то трусливо трепыхнулось.

— Готов? А? — осведомилась она у Грачева. — Время, время. Так, товарищи, этот студент первый раз и очень спешит, я думаю, позволим ему без очереди, согласны? Итак, мой ученый друг, о чем бы вы хотели нам поведать? — она развалилась на стуле, который страдал под ней всеми суставами. — Ну, товарищ, но только не надо нас задерживать, мы ждем, все ждут вашего слова... Ну хотя бы какую тему вы затронете? Как? Неужели совсем ничего? Какая жалость! Я так мечтала вас послушать, наслышана, наслышана... Ведь так надеешься услышать приличный ответ.

Грачев помалкивал, тело аспирантки томилось в одежде, как тесто в кастрюле, ему всегда было очень жаль таких женщин — просто женился бы на всех сразу, пожалел и утешил, в коридоре постукивали каблуки, не сужденные ему никогда.

— Без-образно подготовлен курс, — скорбно вещала аспирантка, — что за люди, не человеческие лица, а рожи... Ни гордости, ни желания честно работать, ни стремлений, ни честолюбия, начнут что рассказывать про себя, так только пошлости и разврат, да морду кому в кровь разбили, а если увидят кнут — только подлизаться да унизиться. Срам! И курс на курс похож — одно и то же, улучшения никакого, только хуже. Сидят и хвалятся только своей грязью. Неужели так приятно вот сидеть и знать про себя: я — балдей! я — дурак! Даже помечтать не можете, а только прижмешь — сразу плакать да каяться. Ни мечтаний, ни порыва, вам даже судьба-то своя и та безразлична. Только пожевать. И поразвратничать, обидеть честную девушку какую-нибудь. Да в вас мужского-то ничего вовсе нет.

Позади иронично покашляли.

Грачев пошевелился и негромко проговорил:

— 4 мая 1805 года во рву Венсенского замка был расстрелян герцог Энгийенский, захваченный на чужой — баденской территории по вздорному обвинению в причастности к заговору роялиста Жоржа Кадуля. Россия резко протестовала против этого злодеяствия — это стало формальным предлогом для обострения отношений с Францией — так в русскую жизнь ворвался Бонапарт.

— Это очень по теме, — прервала его аспирантка со вздохом.

— Много лет спустя, в изгнании, в своей «Настольной книге наблюдений за природой и атмосферой острова Эльба императора всей Франции Бонапарта Н.» он записал примерно такое: «Меня спрашивают, с каким чувством я вырывался из снегов России... Пожалуй, это был стыд. Там, вдали от любезного Отечества, понял я цену себе, душе своей и сердцу. Столкнувшись с огромным, бескрайним отображением своим, я с потрясшей меня четкостью осознал, что я — ничтожество. И я бежал. С этой землей нет надобности воевать — она не способна принять чужое надолго, и верно — эти люди слишком искренни, и в порыве своем быстро устают и умирают, и убивают. Их нельзя победить — у них нет

дна, они опускаются ниже любой низости, но им всегда есть откуда вернуться. Это единственное место в созданном Богом мире, где поражения и победы совпадают — им не нужны герои, они их не хоронят и не хранят, я понял все про себя, но земли этой постичь до конца не сумел, и бежал, и быстрые кони понесли меня к Березине».

— Так, затыкай — нанюхались! Издеваться решил? Я ведь не буду разбираться — дурак ты или больной, отведу к декану, да и все, — завелась Нина Эдуардовна, довольно поглядывая на ожидающих своей участи товарищей. — Лапшу оставь себе. Девушкам на уши вешай, если они у тебя есть. Только языком трепать, разные лживые сказки плести высокоумные, а по предмету я от тебя, милый, ничего не услышала. Работать не умеете, так послушаешь, и руки тянет помыть с мылом, как...

— Отхожее место почистили...

— Вот! Да! Сам сказал. И сам понимаешь, а сделать ничего не можешь, — аспирантка полезла в ведомости. — Так. Грачев, Грачев, это какая у нас группа, так, стыд какой, четвертый курс... и так заниматься, переучился, что ли, был вроде на виду, вот как вас общага ломает... Так, ну какая группа-то твоя, а?

— Четыреста четвертая.

— Как? А ты группу свою точно помнишь? Не путаешь?

— Четыреста четвертая.

Аспирантка залистала с поскучевшим лицом его зачетку, убедилась и кинула ее через стол Грачеву:

— Иди отсюда! И здесь напелл! Только и знают, что расписание безобразничать. Хоть объявление на дверях прочел бы! Идиот. Твоя группа сдает в Коммунистической аудитории, сколько времени украл, дожил — читать не может, сиди тут и слушай бредни его, псих какой-то... Недоумок. Та-ак, кто следующий? А это что там в парту бросил? Как ничего? А я подойду, подойду: что здесь? Уберите колени, студент, ну! Да что вы — со мной бороться будете? Что вот это? Вот это — я спрашиваю. Ничего? Ах, ничего, раз ничего — так берите ваши вещи и идите отсюда, нет, ничего не знаю, не знаю, вон, вон, стыдно, стыдно в вашем возрасте, да, да, тем более, поговори еще, да, хорошо, всего доброго...

Грачев стоял в коридоре. На подоконнике курил чеченец Аслан и уверенно смотрел на него.

Грачев почувствовал свои ладони липкими, сунул их сохнуть в карман и, сгорбившись, отправился искать свой курс — чеченец шел следом.

День переламывался надвое, снег валил коровьими ресницами, и в сиреневых тенях копилась вечерняя тьма и ночь. Грачев шел под ровными сводами, как в чреве вымершего чудовища незапамятных времен, по этажам острова вчерашнего века, где его никто не оставит, он не хотел вечера, возвращения, но шел в Коммунистическую аудиторию, что было все равно — в этом направлении.



Он еще выдумывал: не спуститься ли ему во двор, где есть лавки, подсоленные наледью, и ветер ручной в окружении стен, и меж черных коленей скорбных деревьев, у которых внутри, пусть скромное, но все равно — тепло, течет, копится и ожидает в терпении великом, и где совсем нет людей и не так зримо одиночество, но там еще ржавый бак с паршивой, вонючей второй мусора вокруг и в нем что-то ворохнулось серое — или под ветром, или само, — Грачев наклонился к окну с лихорадочной, обреченной зоркостью, прося силы, жмясь ногой к дебильно горячей жизнерадостности батареи — но это был голубь.

Голубь лазил по мусору, перебирался повыше, не взлетая, пешком, и копал ногами, как безрукий, пропитания ради.

Грачев потрогал в кармане свисток из дерева лозы, достал и обнял губами иссушенную теплую кору: не получилось сразу, но затем прорвалось и выросло — с комариного нутья на ветровую жалобу, свист взлетел и пал. Грачев спрятал, испугавшись, свисток и пошagal скорее, обходя углы, заглядывая под батареи, прислушиваясь, что за спиной — за спиной следом шел чеченец Аслан, и весь мир будто разворачивался навстречу и тащился, придвигался неотвратно, как ледник.

Коммунистическая аудитория с древним балконом и тающим эхом, негусто засеянная людьми, шевелилась и потрескивала, как остывающий костер, преподавателя не было, зевали, дремали, ржали, ерзали, три отличницы с натруженными глазами и задницами переписывали друг у дружки конспекты и страшились аттестации. Симбирцев, лишившись где-то своих соратников, ожидал отстраненно, с видом принца на городской свалке, и опять что-то нудил во втором ряду белобрый басистый очкарик, и ладони его порхали, как две ошипанные птицы, а та, что слушала его, освободив круглые плечи из дубленки своей серебристой, даже не увидела Грачева, улыбалась сфинксом; все, кто не дремал, ржал, зевал, смотрели на нее — будто оттуда шел свет; Грачев поднялся к Симбирцеву и кивнул вниз, на нее.

— Да, — подтвердил Симбирцев. — Очень даже. Положить на плечо и отвести на сеновал. Больше, но мой взгляд, ни для чего не годна. Проститутка. К нам с вечернего только такие и переводятся.

— Вы простой очень человек из народа нашего, товарищ Симбирцев, — сказал Грачев и успокаивающе помахал чеченцу Аслану, суетливо озиравшему аудиторию. — Раз в короткой юбке, красивая и не с тобой — значит: проститутка. И если не очень похожа на мужика — тоже проститутка. Но вот в этом цветке как раз больше возможностей найти и откопать мечту. И ослепление. И даже озарение. И что-то такое, ну вы понимаете, коллега, — рассуждал Грачев, хитро поигрывая бровями.

— И у ней, братец, гораздо больше возможностей оказаться тварью.

— И это тоже. А твой соратник — скромный аспирант Нина Эдуардовна — оч-чень крутой товарищ.

— Она — хорошая, — Симбирцев подобрел. — Хорошая. Но очень трудно с ней работать вдвоем. Знаешь, личный фактор у нее, как-то э-э...

— Обострен?

— Угу. А это мешает работе. Скверно! Она — живая женщина. Это я понял. Ей хочется рожать, мужа супом кормить...

— Борщом.

— А ничего не выходит, черт побери. Сколько я ни содействовал — и дельных товарищей вроде рекомендовал, а все — неудачно. Жалко девушку. Очень жалко, опускается она потихоньку, совсем духом упала. Мне уже думается, что она готова уже на все, лишь бы начать свое, женское, существенное, с ее, конечно, точки зрения... Я думаю, этого нельзя презирать, я это вполне понимаю. Но в работе — просто беда. Вечером пишу — сидит и сидит у меня в комнате. Уже не могу — спать хочется, говорю: идите, Нина, мне ложиться пора. Нет, я еще немного посижу, может, понадобится, что помочь, Да нет, говорю, не надо...

— Это с твоей точки зрения.

— И сидит. Чего сидеть-то?!

Грачев поморщил лоб и предложил:

— А может, взять тебе этот фактор и сгладить?

Симбирцев не отвечал.

— Конечно, вы, коллега, можете этот вариант предложить и мне, но мои силы на исходе, я и не смогу, а вот вы. Взять и сгладить! Ничего другого у нее уже не будет, чего ждать? Ты к ней вроде неплохо относишься. Ну потерпишь, в крайнем случае. Хотя я не думаю, чтобы это было так невыносимо неприятно и омерзительно. Зная твой образ жизни, я прикидываю, это и тебе было бы очень удобно, спать будешь ложиться пораньше... Тем более — для пользы общего дела.

— Ты заткнешься наконец?

— Пожалуйста, но ведь ей же счастье!

— Люди так не поступают.

— Это тупые бараны так не поступают. Коллега, рассудим: ты за руку ее берешь? Когда приветствуешь? Или когда пересекаете оживленную автостраду? Берешь, я надеюсь, не хам же ты немый. А в щеку поцеловать можешь? Чуть? Я думаю, да, и не вырвет. Да она симпатичная девчонка, о чем мы говорим. Так это — то же самое: одна часть твоего тела касается, скажем так, другой части уже ее тела — ну почему вышперечисленное возможно, а последнее — нет? Это же, как рукопожатие, но с гигантски возросшей эффективностью. Я бы сказал даже — самое искреннее и доверительное рукопожатие, возможное только между истинными товарищами, даже соратниками, что мы имеем в твоём случае. В этом подлинная простота и пролетарская культура. В этом самая большая человечность, стать простыми, как правда, человечными, как жизнь. Она останется тебе на всю жизнь благодарна. Ты, так сказать, вольешь в нее уверенность в силу и жиз-

ненность женского природного начала, ну сколько ей еще в девках сидеть? Она мигом изменится, образумится — мигом себе жизнь устроит, только шорох будет стоять, ты носом шмыгнуть не успеешь — кадра себе найдет. Так дай же ей ее главное оружие, не томи девку! За что ей пропадать? За твои великие идеи? За то, что ты дурак? Ну чем она, если без деталей, хуже хотя бы вот этой, — Грачев указал вниз и закончил завистливо, — а хороша, сволочь, цену знает — хоть бы раз оглянулась. И почему она к нам раньше не перевелась!

— Не ори ты так, скоморох! — Симбирцев поозирался разозленным взором. — Все не так. Не так, как ты говоришь. Желание голое — это ее внешнее, одежда, а внутри-то она — все равно надеется, что будет единственный, тот самый, супруг, который оценит ее чистоту. Может, она думает, что это буду — я. И она положительно знает мою порядочность, что я без серьезных намерений никогда не позволю себе покушаться... Грачев, я порядочный человек!

— У тебя, коллега, есть единственная в жизни возможность, — твердил веселый Грачев, — без идиотских планов студенческих ассоциаций и союзов подлинно нравственно свободной молодежи с работой на будущее нации, без всего этого, сейчас, почти моментально, я надеюсь, сделать человека счастливым! Своими, если так можно выразиться, руками! Вот где подлинное историческое творчество. А что касается ее иллюзий... Ну что ж, ей даже легкое потрясение, прозрение, накопление мудрости будет только на пользу огромную. Надо только-только немножко так ее подтолкнуть, последнюю такую точку махонькую поставить, а уже дальше! — с новой строки! Новыми буквами! Я! Люблю тебя! И подпись: жизнь!

— Подтолкнуть?

— Ну конечно.

— Чуть-чуть?

— Ну а как без этого? Исцеление через боль. Надо уметь жертвовать мелкими личными потерями. Можно ли говорить об идеологической целомудренности, когда речь идет о судьбе человека? Тут где-то с большой буквы, потом расставишь.

— Ты последний подонок, Грачев!

Они отвернулись друг от друга, а в аудиторию на коротеньких ножках вбежала седенькая тетенька в пушистой теплой кофте пыльного цвета и с раздутой хозяйственной сумкой в руках. Она уже с порога запричитала:

— Ой, дождались, ребятки, ждут меня, старую, а я бегу, я бегу. Знаю: ой опаздываю, сейчас, быстренько, в этот троллейбус — да разве влезешь... Опоздала — виновата, и так уж спешила, думала — не дождутся меня, уйдут, разбегутся, а вот молодцы, умнички, ждут.

— Еще эта древность приперлась, — долбанул кулаком по коленке Симбирцев. Грачев рассмеялся и уселся поудобней.

— Садитесь ближе, ребятки, кучнее, — тетка засучила рукава, открыв руки серые и высохшие, как заплесневелые батоны.

Народ с кряхтением собрался в комок, поближе к ее столу, а тетка уперлась дряблыми кулачками в стол, сильно запрокинув голову, и проговорила, закусывая губу в паузах:

— Товарищи, я преподаю свой предмет вот уже скоро тридцать семь лет. Вот вы улыбнулись, да? Да, это, конечно, много. Вам трудно это понять, вы ребята молодые... Это, можно сказать, вся моя жизнь. Жизнь сознательного человека. И коммуниста. Сейчас, в последние годы, многие оценки и углы зрения существенно меняются, вы знаете об этом... Я не могу сказать, что была к этому полностью готова. Это трудно невероятно. Не-ве-ро-ят-но. Это — тяжело. Хотя даже и в те годы я понимала, что мы очень часто формально подходим к своей дисциплине, старалась как-то оживить учебный процесс, предлагала, вводила новшества. Не все, к сожалению, удалось. А что-то и удавалось, были активные студенты, интересные диспуты... Но я все равно свою вину чувствую, я переживаю, мне жутко трудно порой...

Симбирцев смурно посмотрел по сторонам — на коленях листали серые учебники, шушукались, хихикали; три отличницы, вспотев, сидели истуканами, белобрысый очкарик, снисходительно улыбаясь, продвигал руку за прямую спину своей спутнице, — Симбирцев закрыл лицо руками.

— Я — виновата, — с усилием повторила тетка, глаза ее искали себе приюта поверх голов, на древнем балконе и синеватых окнах. — Мне важно сказать это вам. Сегодня я начинаю учиться вместе с вами, и буду стараться только помогать. Все-таки опыт есть. Аттестация сегодня пройдет как свободная дискуссия. Жизнеспособен ли социализм? Вы, пожалуйста, говорите, что хотите, без всяких стеснений, а я послушаю. Кто будет активен — тому аттестация. Я хочу, чтобы каждый определил свою позицию.

Она опустила, как упала, на стул, но подумала, и встала мишенью опять:

— Ну так что, ребятки?

— Вот мне кажется, что в исторически конкретных условиях нашей страны социализм был необходимым этапом, — вывела преданно одна из отличниц. — Была произведена культурная революция, облик страны преобразила индустриализация, в войне была одержана победа, несмотря на ошибки и ошибочные извращения...

— Хватит молоть чепуху! — важно крикнул белобрысый очкарик; и со всех сторон вяло потекло:

— Какая там жизнеспособность, нам нужно, как в Швеции, такую модель, чтоб народ зажил.

— Но сначала пусть коммунисты ответят!

— А мне мажется, мы из дерьма никогда не вылезем, загнали нас в коммуну, сделали народ рабами — самый настоящий фашизм, и мололи людей, гноили, пока от красного не отмоемся — жить не сможем как люди.

- Да и так не будем никогда, провели на нас опыт...
- Да ты чё, земляк, плохо живешь?
- А ты сравни жизненный уровень, а у нас? Если взять только

мясо...

— Ну и езжай туда. Я смотрю, у тебя там родственников уже небось хватает.

— Нужен сначала свой Нюрнбергский процесс, посадить их всех. Можно даже не вешать — выдать толпе. Кто принес к нам эту заразу?!

— Чтоб полетели и партбилетами зашелестели.

Грачев, воодушевляясь, блеснул глазами и крикнул, косясь на Симбирцева:

— А судьи кто? Агенты либеральной буржуазии! Товарищ не знает диалектики!

Тетка чуть встrepенулась на его крик и опять смежила веки.

— А народу — колбаса чтоб была, и автобусы пусть по расписанию ходят, а это можно просто...

— В двадцать четыре часа!

— А ты народ, что ли? Ты по себе не суди!

— А мне кажется — России нужен свой путь.

— Да хватит молотъ, какой там путь, уж лучше, как Сингапур. Пока ищем, вечно нам кто-то на шею сядет, до сих пор партию скинуть не можем, кто будет отвечать за все? Я это хочу спросить!

— Надо ехать отсюда на хрен, чего ждать. Пусть голое место, японцы до ума доведут, не бросят.

— Ну о чем разговор, партия уничтожила народ, самые лучшие силы, пока партия есть — всегда палки в колеса, надо просто аккуратно выявить всех этих, сторонников, коммунистов и отодвинуть отовсюду. Пусть не трепыхаются!

— Где ты столько людей для этого возьмешь?

— Я сам готов, а чего?

— Лучше поздно, чем никогда! Мягко стелют, да жестко спать! — привстал Грачев. — Лучше меньше, да лучше!

— Социализм — изначально власть черни, подонков и грязи, — небрежно разъяснял белобрысый, его соседка даже не обращивалась на говорящих. — И только с нашими холоуями и дураками мужиками можно было такое сотворить. Надо объяснить нашему быдлу, что оно — быдло, что единственное, чего быдло боится, — это плетка, что убийца Ленин сделал из страны тюремный барак, надо вытравливать из крови все коммунистическое...

— Я уже слышать не могу про этого лысого и картавого...

— Плюс электрификация всей страны.

— Леш, а ты читал, что он был больной? Врачи определили.

Это Плеханов сразу разглядел.

— Ага, и с Мартовым они разноухались из-за этого.

— Немцы купили и завербовали, а дальше уже винтовки и евреи...

— Да ладно...

— А что? Нет, а что, имею право! Разве не правда? Ты вон почитай!

— Управляя державой... это позор!

— У нас в архиве американцы нашли любительский кинофильм, где на Капри Ленин, Троцкий и голый Каганович играют в карты на животе какой-то бабы. Плохое качество, но подлинность уже установили. Да им жрать да пить надо было!

— А тебе не надо?

— Наша сила в заявлении правды! Шаг вперед — два шага назад! — выпалил это Грачев, успокоился и приземлился на место, испытующе глянув и безжизненного Симбирцева.

— Отдайте посылочки детям, а себе сколько оставил?

— Небось не подышал.

— Куда не ткнись: плакат и его морда. Надо собрать все в одну кучу вместе с книжками да пожечь!

— Странно, что про туалеты ничего не писал.

— Писал: партия — это ум, честь и совесть нашей эпохи!  
Ха-ха.

— Пусть сидят и молятся на бюсты. Похудеют-то без пайков, ножки без привычки заболят-то от дорог.

— Я б на каждой улице сделал пивбар.

— И баб. Вообще — публичный дом, это лучше.

— А пока бутылок даже нельзя сдать.

— И купить.

— Ничего не изменится, как были азиатами...

— Азиаты сейчас как раз — очень хорошо.

Вторая отличница, устав тянуть руку, осмелела и встала сама, пролепетала:

— При всей противоречивости этой личности, сложности международного положения того времени, особого характера русской революции и неоднозначности развития производительных сил и производственных отношений, уникальности сложившейся ситуации и совокупности индивидуальных качеств...

— Спасибо, — вдруг дребезжащим голосом сказала тетка. — Спасибо.

Она провела смутной ладонью по лбу. Нашла неуверенной рукой стул за спиной, придвинула его ближе, уселась. Поправила сумку рядом и потерла руки с сухим шелестом. Потрогала часы, глянув на время. И занесла после долгого припоминания сегодняшнее число в ведомости, шумно сопя носом и обижаясь на ручку — та плохо писала.

В тишине стало слышно, как тихонько плачет третья отличница — она так и не успела хоть что-то вставить.

Тетка раскладывала ведомости шеренгой, подправляла, чтобы получились ровные ряды, перекладывала, меняла местами, если номера групп лежали не в порядке возрастания. Затем занялась ручкой. В сумке нашелся ненужный измятый рецепт, и она, трясая головой, пустила ручку плясать по нему, пока та наконец не сда-

лась и не засочила из себя фиолетовую кровь — тетка удовлетворенно оставила ручку в покое и большими глазами провела по аудитории.

Все смотрели на нее.

Все ждали.

Она прокашлялась, подбородок у нее часто задергался, но она справилась с ним.

Грачев обмяк, он видел в коридоре чеченца Аслана — тот слушал нетерпеливо переминающегося Хруля. Хруль тыкал ногой батарею. После аттестации надо возвращаться в общагу. И еще. Сдать деньги на Таджикистан. Донесла деньги 418-я группа. В Таджикистане вздрогнула земля. Им придется начинать все сначала. Бедные таджики! И представители других национальностей.

Еще длинный день, еще жить. И еще в общаге.

Под ногами у него тускло отсвечивала пыль, лежали обрывки бумаги и ржавый яблочный огрызок. Там были щели в паркетe, а ботинки широки, как ступени, и готовы принять на себя текучий когтистый прыжок — внутри все накренила и протащила внезапная тошнота, и он поджал онемевшие ноги, наливая их резиновой, неживой силой.

Симбирцев освободил лицо от ладоней — лицо его было пористо и бледно, как подвальный росток.

— Я-а, ребятки, — протянула вдруг тетка, и тишина стала снежной, все были под сугробом, трудно дыша, все глохли, немели, глотая открытыми ртами. — Я-а-а... Очень довольна. Вашей активностью. Молодцы.

Народ скрипнул, зашуршал, заголосил, перелился дружной рябью. Грачев и Симбирцев не шелохнулись.

— Скоты, — обронил Симбирцев.

— Мне трудно дается все это, — она вжала сложенные ладони в сухую грудь. — Я все пропускаю через сердце, надо многое успевать прочесть, услышать, сейчас столько нового, полезного... для нас. Я-а, а у меня сейчас, еще такая история — у меня умирает мама, и так это все накладывается, что...

— Дура, — шепнул Симбирцев. — Господи, дура.

— Все не просто, а Ленин — Ленин был единственным человеком, которому я поклонялась, которого я любила всем существом своим, всем...

— Телом, — добавил кто-то немедленно, и народ заржал и радостно задвигался.

— Дура, какая дура, — твердил неслышно Симбирцев, у него словно болели зубы, он вминал в щеку пальцы и глухо рычал. Грачев, застывше, улыбался.

Тетка жалко поморгала и прошелестела:

— Особенно мне понравились вот этот товарищ, этот, — показала она, по-доброму улыбаясь, на белобрысого. — Вот, вот вы, вот еще, активно работали, — последним был Грачев. — Хорошо готовы ребята, подкованны. Много читают. Ориентируются. Мыслят

оригинально. Это очень радует. Есть, значит, кому нас сменить, растет смена... Но вот двоим я поставить не могу ничего, — этими оказались Симбирцев и немедленно зарывавшая третья отличница. — Ну зачем же так переживать? Надо было в семестр добросовестней заниматься, на лекции ходить. Раз чувствуете, что нет навыка самостоятельной работы, мало читаете — тогда ходите на лекции, записывайте, занимайтесь. А как вы думали? Не заниматься, не посещать и сдавать наравне со всеми? Так не выйдет, товарищи. Нет.

Отличница стала перекатываться по столу, комкая в пальцах убористые конспекты и разрывая колготки о занозистый стул.

— Теперь. В зачетки я буду проставлять по очереди. Сразу все не идите, толпой.

Вниз, к ее столу потянулась жизнерадостная вереница.

Эта девушка поднялась, расправив хрупкие мальчишеские плечи, легкие руки отбросила волосы назад, подставив скупому зимнему свету сильную выпуклую грудь — девушка сошла вниз, махнув чуть рукой белобрысому, наклонилась на миг к тетке, та отпустила ее кивком, и вышла вон, наружу, вздрагивая сладострастно плывущим телом, она билась, как сердце, когда шла и слепила.

— В туалетик, — мертво сказал Симбирцев. — Пошла твоя... Тоже отмолчалась.

— Что? А? — встrepенулcя вдруг белобрысый по только ему слышному зову. — Понял, сейчас, принесу! — схватил в охапку дубленку и полетел следом, также отпросившись у тетки умоляющим шепотом.

— Или покурить, — передумал Симбирцев.

— Вовка. Я хочу сказать тебе одну штуку. От сердца, — сказал Грачев. — Но только ты не обидься.

— Я не обижусь.

— Погоди, погоди ты, не зарекайся... Я об этом очень много думал, прежде чем понял. Все последние четыре года ушли на обдумывание. Я очень непросто пришел к итогу. И мне очень трудно все это тебе сказать.

— Я все равно не обижусь. Что бы ты ни сказал.

— Правда?

— Правда.

— Я мог бы и не говорить, но этого тебе больше никто не объяснит, если не я. Короче, я понял причину твоих поражений в жизни.

— Говори.

— Только не обижайся, ради Бога.

— Говори!

— Заниматься надо в семестр, — проникновенно произнес Грачев, — на лекции ходить. Не бывает так, чтобы не заниматься и сдавать.

Симбирцев обратил к нему суровое лицо, подождал, пока он кончит смеяться, и твердо сказал:



— Я все равно в это твоё не верю. Играй-играй, но ты устанешь. Мы все равно одинаковые. Покойники, самоубийцы. Лежали в могилах, а вдруг пришли и раскопали, разрыли и сказали: выстрел, которым вы себя убили, жизни лишили, — был холостой. Живите теперь! И ты тоже на этом...

— Нет уж. Я давно уже здесь не живу. Вы, коллега, ломитесь в пустую квартиру. Не стоит.

— Врешь! Сидишь, притаился на чердаке и ждешь, пока все плюнут да уйдут, тогда и слезешь: копать и свое отбирать. И вообще пошел ты к черту!

— Я пошел. А с посещаемостью ты подумай. Надо заниматься. Как теперь без стипендии?

И Грачев, помахивая зачеткой, отправился вниз.

Седая тетка гнула закатным солнцем над столом, руки ее с дряблой, шершавой кожей тяжело лазили по зачеткам, как две старые голые ящерицы по черным, синим, красным камням, и вписывали в графы одинаковые числа и буквы. Она будто спала. Не видя, не слыша.

— Вера Павловна, — позвал Грачев, — Вера Пална.

Она задрала лицо, сощурилась на него, как на яркое.

— Давайте аттестацию всем поставим. Уж больно ребята расстраиваются.

Отличница рыдала из последних сил, впечатляюще сотрясаясь плечами. Две другие деловито переписывали ее конспект.

— У вон того парня жена ушла, оставила на него троих детей, тещу, тещя и свою бабушку, все в одной комнате. Он спит в ванной, валетом с тестем. Сторожем подрабатывает в морге. Как ему без стипендии? Отравится с горя, упаси Бог. Крысиным ядом.

— Но ведь... Это ведь будет как-то нечестно по отношению к другим товарищам. Они же не готовы. Не совсем, то есть, — стыдливо покраснела Вера Павловна.

— Честно! Они прекрасно готовы, просто болезненно скромны и нет навыков ораторского мастерства, трудно им высказываться в свободной дискуссии. Давайте у остальных товарищей спросим. Посоветуемся.

— Ребята, ребята, послушайте меня, — закудаhtала Вера Павловна, — мне сейчас в голову поступила одна мысль. А что если мы поставим аттестацию всем? У этих студентов, я не могу тут говорить, у них особые обстоятельства... Даже ночевать негде. Я не буду вдаваться... Ну как?

Народ одобрительно завопил.

— Ну хорошо, идите и вы.

Отличница, сорвавшейся с привязи бочкой с квасом, понеслась к столу. Симбирцев безучастно покинул тоже свое место.

— А вы... Какое-то знакомое лицо, — как в забытьи шептала Вера Павловна Грачеву.

— А я у вас в спецсеминаре был на первом курсе — помните, все про коммунизм-то без устали? А вот этот товарищ, что одино-

кий семьянин, — он даже, по-моему, первое место на конкурсе научных работ брал, тоже крупный теоретик, Энгельс.

Тетка сонно помигала и вывела Грачеву в зачетке необходимые буквы.

И тут, будто ветром в окно надутая штора, в аудиторию вступила эта девушка — шаг ее укорачивался, медлил, таял, и она остановилась солнечным пятном и беспомощно обожгла синим взглядом Грачева и тетку, — волосы ее могучей белокурой пеной разбились с налету в брызги о плечи, она что-то выговорила, слова какие-то, напевы, как камешки стукнули в колодце сухом, внизу, звонко.

Грачев разозлился на свой юный стыд и отвернулся совсем, помещая зачетку в карман.

А она еще что-то говорила, пропела, громче — глотку аудитории перехватил спазм.

— Что там? А? — сварливо переспросил Симбирцев, указывая тетке в зачетке нужную графу. — Что там у нас стряслось?

Грачев в неловкую раскачку переместился к дверям.

Девушка дотронулась до щеки рукой, сухой и чистой, как соновая стружка, и отчетливо-звонко спросила у всех:

— А где моя дубленка?

Тетка спросила у аудитории:

— Какая дубленка? Так, я всем аттестацию поставила, а вам, девушка? А где беленький такой мальчик?

— Дубленку твой мужик следом вынес! Так ты ж его сама позвала за собой! — рявкнул Симбирцев, помахал вразнобой руками, крикнул: — Да ты хоть его знаешь?! — и вдруг закатился булькающим горьким смехом в бездонной тишине.

Девушка растерянно отшатнулась — лопатки дрогнули крыльшками чуткой бабочки на ее тонкой спине.

Грачев покашлял, посмотрел на свои ногти, чесанул за ухом и бросился что есть сил бежать по коридору, врезаясь грохотом под белоснежные своды, пронзая тенью застекленную зиму и снег, пятнистый от теней надвигающейся ночи, в конце споткнулся: куда? вниз? вправо? вверх? куда? — а его уже обогнали, обдали, смели, обошли бешеным топотом все отчаянные мужики курса, разлетелись вверх, вниз, направо к телефонам, а его пихнули, оттолкнули, и он пошатнулся, разжевывая смущенную усмешку, и побрел направо, к расписанию, потом — вниз,пил газировку, борясь с газом и отворачиваясь для этой цели в сторону от стакана, морщился, вернулся вверх за сумкой, а там уже клокотала и фыркала толпа и ужасался клювоносный неловкий декан, — Грачев обходил всех, прятал глаза, укутывал себя в куртку, забирался в нее, смотрел с тупостью на конверт в Таджикистан — надо перевести, пусть пытаются жить еще, и двери предательски выпустили его, холодно бухнув, но он повернул еще во двор, там прижался к стене, пуская, приглашая в себя стужу — черные деревья кружили хоровод, с немой болью всплеснув заледеневшими ветвями, и три человека

загородили ему волю: Хруль, Аслан и еще мужик — он был с ними в буфете.

Грачев отпустил из рук сумку и глянул на них: ну!

— Не замерзнешь? — прошипел Хруль, и рот его перекашивала ненависть.

— Ну так чё, чё, — полез вперед, как и полагалось, третий, и Грачев уже прикидывал, что первым ударит он, незнакомый, смуглый, и почесал рукой бровь, закрываясь локтем слева, но начал Хруль — тычком в подбородок, — Грачева бросило на стену, и в этом был плюс, и он толкнулся от нее, рванул от горла обезьянью лапу чеченца и, сберегая время, без размаха, пустил кулак снизу вверх, незнакомому мужику в челюсть — у того мотнулась голова, и он шатнулся, но устоял, устоял. Грачев еще успевал — встретил локтем в лицо напрыгнувшего Хруля, но Аслан уже хватанул из-за спины, за горло душил локтем, Грачев сильно качнул затылок назад, метя в зубы Аслану, но незнакомый очень грамотно засадил ногой ему в живот, лишь слегка прикрытый руками, и дальше оставалось только беречь голову, подставляя бок или спину, вслепую отмахиваться, уже не видя удара, угадывая, или с ослеплением боли — нет, но все же он стоял, упал потом, когда они бросили и пошли уже в сторону разом и оставили Хруля — тот заглядывал в лицо с прежней мукой и неуверенностью и выпрашивал все:

— А может, тебе что-то надо, Грачев? Ты попроси, хватит играть, давай по-людски...

— Ничего, — хрипел Грачев, ломая в себе желание ударить, вцепиться в это лицо, хотелось этого до визга, и он сдерживал, сдерживал себя. — Бутылку водки мне купите. Это — обязательно. И будете спокойны, пока захожу.

— Паскуда, ты в руках нас держать хочешь? — плачуще запричитал Хруль. — Хрен поверю тебе! Бутылку! Ты хочешь, чтобы мы тебя кончили?

Грачев направился заплетающимися шагами к лавке, сумка тащиась следом на ремне, как прикованное к каторжнику ядро. Он нес свою боль, как грудного ребенка — у груди, близко, двумя руками, с нежной и бережной заботой.

— Так ты хочешь, чтоб мы тебя кончили? — переспрашивал непонятливо и плаксиво Хруль, а потом ушел в сторону, сгинул, а Грачев опустился на простонавшую лавочку, не стерпел и сполз на колени, вцепился крючковатыми пальцами в снег, сжимая, сгребая его в скользкие, мокрые стручки — пальцы немели, он потащился к дереву, к корням, ботинки пропахивали след за спиной, ткнулся носом в кору, омертвевшую, отжившую, перебархтался на спину, охватил горло тесней воротником и лежал, сотрясаясь припадочной дрожью, он знал теперь все, это мерзкое ясное все, что будет с ним после, обязательно, и он уже не сможет не думать, а думать сможет уже только об этом, бояться, кружить, толкаться, умирать, вымирать — это разодрало небеса, — а он все выжимал из себя морды чеченца, Хруля, страшную, потную память о боли и точное пред-

начертание ее еще, еще раз, и не раз, и всегда невыносимо внезапно и жутко, как и вечное ожидание ее и запах общаги, и всю неправду подлую того, что он лежит здесь, на снегу, и на щеках противной мухой касанье снежного паденья — его все равно здесь не оставят, и это все неправда, нет, разодралось серое небо на две половинки и полезло навстречу, в удар, и снег повалил навсегда, наглухо заметая. Он разлепил холодными, как сырое мясо, пальцами веки, прозрел — на лавочке, рукой достать до него, брезгливо убрав ноги под себя, смотря в пустое, сидела эта девушка, страдальчески ровно, как крест на могиле, внезапно доступная, живая и белая, и почти не причастная призрачной вуали дыхания от теплых своей трогательной темнотой, маленьких, будто клубящихся, ноздрей.

Грачев завозился у нее под ногами, изнеможенно утвердил себя стоять, хватаясь за посеребренную снегом кору, укрыл ее плечи курткой и рухнул рядом на лавку.

— Какая встреча, — сипло высказался он и забился в стонущем кашле, выкашливая из себя обрывками в шатких паузах. — Ну стырил он дубленку. Дак и хрен с ней... Жива-здоровая... Что еще надо... Не плакать же. Переживете. Ерунда... Тьфу!

Из сумки, несчастной, как павшее на землю старое, разоренное гнездо, он выковырял яблоко запасенное, схватил невесомую, святую руку, разломил ледяной кулачок на пальцы-веточки и зажал в них яблоко.

— Вам, — и пояснил. — А я тут... Немножко отдыхал.

Он замолчал и вдруг с воровской, торопящейся сладостью, обречая ненасытные свои глаза захватить это не уходящее лицо, растекаясь и забываясь сам в этом жадном завоевании, походе, святотатстве, будто впивался иссохшими устами и впитывал в себя, запечатлевал пушистые, выгнутые гусеницы бровей, ползущие в стороны друг от друга под сенью детских, мокрых от снега прядок белокурых, что лозняком спускались и клонились над чистой заводью гладкого лба, он растирал себя в прах, пыль в скольжении по твердому, по-оленьи вздернутому носу, то спускался по нему к тугому сжатию влажного рта, способного переливаться, как пламя, и напрягать складочки-морщинки в обесцвеченных уголках, то взмывал к страданию тихих глаз, под искристо играющими, как точильный круг, веками, к их поразительно нездешнему зрению и недоступности, к бесстрашному в своей силе обнажению души — две летящие синие частицы, пойманные птицы, две капли от этого грядущего, блаженного, божественного, возможного обнажения всего; он, задыхаясь, гладил глазами своими тягуче оформленную мякоть этих пьянящих чистым ног, округлую плоть и силу этих коленей — он смаргивал растроганные слезы с ожесточением к себе, к поплывшему в голове и разбухающему солнцем в осеннем тумане порыву дотронуться, коснуться легко, как снежинка, этих запретных розовых ровных полей жизни чужой и всесильной, он стиснул руками плечи свои и бормотал, не слушая себя, борясь:

— Вы сами ж знали... Осторожно надо было... Он и на студента не похож... Хотя, чего... Видный мужик... На таких, как вы, и липнут, надо осторожно... Вы с вечернего к нам, да? А он вам врал, что студент?

Яблоко отсутствующе вывалилось из ее бесчувственных пальцев, как созревший и павший плод, и пальцы остались несомкнуты, кувшинкой.

Он не дал яблоку убежать, стряхнул с его желтого бока снег и сунул в карман куртки, безумя от того, что яблоко там, в кармане, коснулось прямо тела ее, вот тут, вот этого, он говорил уже внятней, заставляя себя припомнить, что он есть, что его ждет, и все вокруг:

— Я знаю, что вы здесь не из-за дубленки и этого скота. Вас гонит от себя толпа, это наше быдло, что сразу лезет за пазуху глазами, словом, под юбку... Я знаю, что вам это противно. Я ведь вижу вас. Почти всю. Но вот это «почти»... А вдруг то, что я вижу, это и есть всего лишь «почти» — жизнь здорово накалывает нас на этом, да-а...

Он успокаивался и мерз, и говорил все привычней, обычное свое, со стыдливим презрением озирая перепаханный им снег, сохранивший черно-белые страдания тела:

— На всякий случай. Мне хочется пошире разъяснить вам сказанное в буфете. Про то, что не верю я во все это. Вы — гордая, вас это и обидеть могло. Вернее — разозлить. Если гордая. И обидеть, если вы — то, что я готов выдумать про вас. Я говорю в расчете, что обидел. Ну так вот. Я как-то перестал уважать любовь. Если прикинуть, в ней что-то слишком много крови. Это — то же самое, что революция. Прыжок во времени, сопряженный с угрозой гибели участников и окружающих. С исполняющейся угрозой. Любовь, как и революция, бывает вечная, мировая или в отдельно взятой семье. Вечная любовь — это постоянная агрессия, постоянное перенесение ее на чужие земли и державы, это неизбежное снижение ценностей, идеалов. Это соревнование с собственной дряхлостью и низведение революции до чисто силовых, физиологических упражнений. Постоянный поиск и война со временем не придает глубины переживаниям — некогда, некогда. Это — огнем и мечом. Как-то нехорошо, не выходит, да?

Девушка не шелохнулась.

— А если строить любовь в отдельно взятой семье? Настоящую любовь. Это очень скоро станет постоянным террором, физическим и моральным. Это муки постоянного возрастания и изменения требований, репрессии в любой миг, издевательства, это изнурение. Это — изнурение. Мне вообще стало казаться, что революции, и все, чего мы так хотим, — это не очень нормально, это нездоровье... Да и кругом этого нет совсем... Только называется... Остались два или три идиота, имевшие несчастье поверить и пытаться осуществить, вот и я. Ладно. И вы молчите. Вы ведь все знаете, — он с неприязнью покосился на холодное лицо. —

Вы знаете, что молча вы весомей. И так неподъемны, а если молчите — вообще от людей мокрое место. Меня одно всегда донимало: а сами вы понимаете, что мы можем выдумать про вас? Или для вас это необъяснимо, но естественно? Как дождик? Молчите? Молчите-молчите, все правильно. Все верно. Вот, а это уже по вашу душу.

Во двор закатывал «уаз» милиции песочной расцветки и, проскользывая на льду, поехал за угол, искать главный подъезд, шуганув пару ворон, терзавших что-то, вмержшее в лед. Вороны равнодушно покачались на ветках и по очереди слетели вниз работать клювами.

Грачев опять покосился на летящее это лицо. Глаза больше не пускали корни в ее детскую кожу с алым внутренним светом, и он проворчал:

— Оценил. Можете расслабиться. Высидели, даже не посмотрели. Не хотите даже унизиться до того, чтобы сказать: мне пора. Пойдете, сейчас пойдете. Дублинка как-никак. А это верно, что может стоить — тридцать тыщ?

Он даже не поднял лица — знал, что не ответит.

— А скорее всего — дура, — хлестнул он, примерившись. — Набитая дура. Вы даже не допускаете мою вселенную. Вы заранее, с тупостью самки, уверены, что я — кусок мяса, слепленный по известным вам законам. Хотя я в отношении ваших глазок и ног делаю самые щедрые допущения.

Она точеными пальцами вдруг промокнула что-то у глаз.

— Ну наконец-то. Хоть что-то, — жестко добавил Грачев. — Уже все, все, мы заканчиваем, а то мне что-то уж больно захотелось вас обнять, и вообще, — он поднялся, застегнул и отряхнул от снега сумку, гася делом дрожь в руках. — Вы даже сами себе не представляете, как ломаете людей. Посидел рядом, и уже жутко захотелось промеж скулежа и серьезного втиснуть еще что-то обязательно хорошее про себя, лично про себя. Хоть как зовут. Чуть даже не ляпнул. Сразу торопиться. Встреча — как лифт, мой этаж скорее вашего. С собой не возьмете. И я останусь. И вы никогда не узнаете, как мне было тесно жить сегодня. Не сердцем, не башкой — воздухом. Дышу — тесно. Не дышу — нет, почти. И хотелось за вас зацепиться, так. А, кроме хорошего, я о себе могу сказать следующее: у меня есть замысел романа эпохи...

Во двор вышли ленивый мужичок с канцелярской скукой на лице и жирный милицейский сержант, сильно мерзший и задиравший от этого плечи, будто пытаясь взлететь из черных глыбистых ботинок, слепо топчущих снег.

Товарищи вращали головами в поисках. Грачев приветствовал их взмахом руки и радостно стал заканчивать:

— Хотя о романе позже. Главная цель моей мыслительной деятельности — это притеснение смерти. Которой я шибко боюсь, эту тварь. Правда, не хочется помирать. Все драндулеты и соплежуи до

меня в чем видели спасенье? Или врать себе, что ее нету. Или смирать себя тем, что и жизни нету — становись скелетом в пещере и бубни, что все — тлен. Либо вообще ни о чем не думай и гуляй себе, как солдат в захваченном городе, которому на грабеж и баб вся жизнь. Все это от трусости. Лично я создал подлинно наступательный путь к спасению. Первое. Вы могли бы даже записывать, между прочим. Или хоть дрыгните ногой, чтоб я знал, что вы не спите. Кстати, пока не забыл: хотел бы я поглядеть на ту сволочь, что с вами спит. Ну вот, первое — это радикальное улучшение памяти, обострение ее до предела, схватываете? Человек сможет очень славно путешествовать в себя и жить там, в любимых местах, вчера и позавчера, далее — ежедневно. Уже пространство пошире наше, а? Он сможет даже там, в не сейчас, и помереть, и даже не сообразить, что конец фильма. Это только первое, для разгона. Главное и второе: наша боевая задача и лозунг насущный: сделать жизнь вечной. В чем трудность? Вечность — сущительное единственного рода. Для вечности: жизни и смерти быть не могут. Это ясно, да? Сейчас совсем приблизятся озабоченные вашей пропажей правоохранительные органы — вы уж тогда не забудьте мою курточку оставить, у меня сегодня знаменательный день, столько нового, но без куртки нельзя. Хочу в гробу лежать одетым, в форме не похоронят, нельзя. Вернемся к нашей теме. Вывод прост: надо уничтожить совсем вечность смерти — все, что ее обуславливает, и Вселенную в том числе. Останется только жизнь. Принцип ясен? Я могу повторить для особливо малограмотных и сопливых. Как это технически? Ерунда, время есть, продуруем. Но уже ясно, что от потомков придется отказаться — они рождаются из вечности смерти, а этого не будет. От предков откажемся тоже, и об этом я думаю с особенным удовольствием, эти ублюдки, я имею в виду девятнадцатый век, нас здорово накололи. Мы как-то недооценили, что вылезли они все из шинели и все мыслишки и стоны их привели к кокардам и погонам, и единственное, чего они добились, — это ухайдакать Бога и купить маршальскую шинель быдлу. Сказали нам: счастливо оставаться — и укатили по Тверской к своим Ростопчиным да Волконским, да Смирновым — я бы на эту хотел особенно глянуть. А мы остались и век пускали слюни, считая себя победившими продолжателями их дела, а половина — считая себя угнетенными продолжателями их дела, а когда все рухнуло, то у нас в кармане — вековая пустошь, мы, дурачье, все кроили из их запаса. Предков мы тоже уничтожим. Останемся только мы. Кроме нас пусть не будет ничего. Даже взрыва. И тогда мы будем вечны. И вы. И, конечно, я. Н-да, понесло, редко случается. Ну так, возникнет желание или станет, не дай Бог, плохо совсем, хотя куда вам до этого, да все равно — заходите в общагу. 422-я комната. Комитет по борьбе с вечностью. Грачев. Ничего не обещаю. Даже чая. Что я вам могу дать? То, что я обычно предлагаю девушкам, к вам никакого отношения не имеет, увы. Да вы не расстраивайтесь так из-за этой дубленки! У нас

ведь какая милиция! Найдут вмиг! Чтобы правоохранительные органы, да мордой в грязь? Да — никогда! Они — руку на пульсе, а ногу — в стремя...

— Ну чё? — зло спросил достигший лавочки окоченевший сержант, — чё сидеть-то?!

— Это ваше? — подключился мужичок. — Похитили? Пойдем бумажки писать... Где он тебя снял-то? Знаешь его?

— Ушами хлопают, — сокрушался сержант. — И сидит... А ты чё?

— Я — ничё, — с достоинством ответил Грачев. — Посторонний прохожий. Случился тут между делом.

— Что случилось? — лоб сержанта нахмурился.

Девушка коряво поднялась и сторбленно, как голая, пошла между ними, сняла на ходу куртку с плеч и оставила ее на нижней толстой ветви попавшегося ей навстречу дерева.

Грачев добрался, неуверенно улыбаясь, до куртки, подождал и бережно окунул лицо свое — как в быстрые струи ручья — в еще теплую, еще душистую, еще нежную ткань подкладки, впитавшую в себя горький, непонятный, несужденный ответ; он чуть дышал, ощущая, как тает это тепло, этот запах и это прикосновение, и дожидался смиренно этого до последнего, сдавшись и повторяя непонятливо вслед:

— И кто же спит с такими бабами? Неужели кто-то спит с такими бабами? Мне кажется, что ними вряд ли кто-то спит...

Этот город — большой и вроде открытый, куда хочешь — иди, но ни земли, ни деревьев, ни рек, ни холма хоть пологого, ни оврага, ни птицы, ни человека и ни шага напрямую, чтобы срезать, а все углами костлявыми по набитым снегом, перетоптанным в грязь подземным переходам со студеным отсветом туалетного кафеля или тротуарными рабскими тропками — обгоняя, огибая, уступая, пропуская и все вдоль машинного шелеста и мельканья, мертвого и пыльного, как камнепад, и куда вроде хочешь иди, да везде — то же самое, так же, да и зимой — чего гулять? — зимой самое теплое: путь к дому к кратчайшей прямой; и большой вроде город, а что остается, кроме ступеней под землю, ожидающей немоты постанывающих вагонов и общаги, крышу которой уже лижет вечерняя хмарь, а это только кончается день света, а надо еще будет пережить день тьмы и обитаемую и бессонную в общаге половину ночи и тогда только — лечь, и все.

И куда еще можно шагнуть в большом городе, что толку в красивом, промерзшем гулянии и бестолковом задирании башки, внутри останется то же самое, паршивое, неотвязное, но что поделаешь, если тошнит от метро, за время которого у тебя украдут остатки света и ты выйдешь на своей станции уже в ночь, так пусть хоть день уходит на глазах.



Грачев упрямо ожидал троллейбуса, опустив зачерствевшее лицо, сонно моргал, будто припоминая и потряхивая головой, когда снег чирикал по лицу или ложился на щеки — за спиной снег умирал на подогретом изнутри асфальте под буквой «М», там часто шамкали двери, и вновь чуть оживал под ногами асфальт смутным внутренним землетрясением, сердцебиением.

Чеченец Аслан недовольно расхаживал вдоль остановки, обижаясь на ненужные троллейбусы, катившие потоком, и откровенно улыбался Грачеву — лучше было бы ехать в метро — и быстрее, и теплее. Грачеву было тошно смотреть в эту сторону, и он разглядывал урны, ноги, ворон с серыми платками на плечах, сумки, портфели и хотел засыпать и хоть внешне забываться только в своем, независимом, неподвластном ожиданиям и страхам тела.

Аслан в троллейбус залез сразу следом, даже чуть коснувшись грудью его спины. Грачеву казалось, что при этом должно было пахнуть рыбой или псиной, или чем-то похожим, и он, не дыша, уселся у окна, залепленного ледяными чертополохами, сунул руку греться к телу, ближе, и наткнулся на конверт: что? А, это таджикское землетрясение. Грачев старательно рассмеялся для всех, из последних сил, чтоб без напряжения и обычно — так это денежки в Таджикистан.

Троллейбус поехал через мост, все удаляясь от Кремля, и еще через мост, поменьше, подчищая остановки и облегчая свое нутро, Бог миловал от немощных старцев, инвалидов с протезами и костылями, матерей с младенцами и дев с животами — внутри было довольно покоя воздуха и мягких сидений, Грачев скреб ногтями плотную злую изморозь на окне, стряхивал ее под ноги, за спиной разговаривали и целовались:

— А ты помнишь Светку Сурину?.. Ну Славка, ну-у... Подожди, ну чего ты, ну? Она сапоги принесла, ей большие. Знаешь, черные, примерно как у, видишь, тетки, что вошла, но на шпильке, такие, на каждый день.

— Ну бери.

— Ага. Дороговато. Крестной, что ли, сказать? Пускай подарят мне на день рождения с матерью, все равно что-то искать, так чем искать, лучше, наверное...

— Крестная, может, и одна подарит. Она вон на свадьбе не особо бросалась: конвертик и все. А кричала больше всех.

— У нее это есть. Вот еще, знаешь, Светке шапку какую пошили, вот так здесь, да посмотри ты, боярка тут такая... Да погоди ты, да дай хоть скажу... Да Славка!.. Ну!

— Да что?

— Ничего. Сам знаешь чего!

Грачев показался себе старым, грязным, вонючим, заросшим и пьяным, и это было хорошо, и он прикрывал глаза, чтобы видеть в окрестных лицах свое отображение, и с напрасной силой сжимал кулаки, удивляясь, что у него ничего особенно не болит, и если бы забыть, то ничего как бы и не было, и не будет.

К нему подсади, привалившись мягкой шубой, набитой плотью внутри, и он замер совсем.

— Спишь? Не заболел? — и прокладная ладошка покрыла его лоб.

Грачев обнаружил рядом одну из новых подруг Шелковникова с заочного отделения, которую потоньше, она уже натягивала на ладонь белую варежку с синим резным узором, спешно сжимая круглые и розовые, как у ребенка, губы.

— А били тебя за что? Я курила в туалете — глянула: летает наш Грачев, нахал. Так ему и надо — да вру, вру. Наоборот: хотела выручать, крикнуть, да они быстренько справились. За что?

— За глупость.

— Так умней. А то ведь не отстанут. Жизни не дадут.

— И не поумнею. И уже не отстанут.

— Ну чё ты сразу скис? Друзья у тебя есть, соберешь, дадите им... Может, и так отстанут. И чего тебе не поумнеть?

Грачев объяснил серьезно:

— Хоть что-то я должен оставить себе. Ведь не все же до конца... смерти. Хоть мне что-то можно? Надо кончик оставлять до последнего, за него можно все вытащить обратно. Но за этот кончик уже ничего не жалко, лишь бы он был.

— Ты про что? — не поняла, которая потоньше, пробила с натугой талончик, рассмотрела, нахмурясь, расположение дырок на талончике, заправила его в варежку белую узорчатую и грустно вздохнула.

— Откуда вы? — другим голосом спросил Грачев.

— Белгород. Говори — «ты», что ты как...

— С мужем живешь?

— И с бабушкой. Ну прописались мы у бабушки, стоим на расширение. Она жена погибшего, чего-то там обещают, пока вместе.

— Нет детей?

— Подождем. Бабушка ведь не вечна.

— Понимаю. А ты?

— Работаю, взяла неполный день, свободный график, муж — в конторе.

— И как муж?

— Очень хорошо. Всегда на работе. Если не сразу взял телефон — значит, читает газету. Если нет на месте — значит, обедает. А так всегда на работе, все очень хорошо.

— Мечтает накопить на машину, пьет пиво по субботам...

— Хватит, я тебе и так достаточно сказала, не лезь...

— Хорошо, красавица... А чего ты на троллейбусе?

— Потому что дура, в «Гименей» поехала глянуть, что есть. Встала в очередину, гляжу — ба-альшая такая очередина, вьется, с четвертого прямо этажа аж вниз. Кажется, час отстояла, все волновалась: по записи или нет. А это, оказывается, в туалет стоят. Дура! А долго ехать?

— Уже скоро, — Грачев поперхнулся и попросил, — давай, красавица, сойдем. Погуляем.

Она просветлела и согласилась мигом:

— Давай. А тут есть, где хлеб купить? Мне Олька сказала хлеба взять...

Они выбрались из троллейбуса, все было уже темней, холодней и бесполезно. Грачев мрачно интересовался:

— Олька... Это, это твоя подруга, да? — и опускал голову, скучал, ему уже не хотелось гулять и ждать.

— Ну как... На сессию вместе ездим сдавать, готовимся. Это как? Вроде подруга.

Троллейбус укатил дальше, холодно щелкая усами по проволоке. Грачев откровенно жалко огляделся — Аслана не было. Чеченец поехал сразу в общагу, и в этом освобождении было что-то обидное, но Грачев перебарывал это и радостно хмыкал и, повернувшись к девушке, осторожно тронул пальцем кончик ее носика:

— А тебя как зовут, кнопка-красавица?

— Ира.

— Ирка, а зачем тебе высшее образование, когда любой, кто тебя видит, знает наперед: эта красивая женщина лишь для того, чтоб ее любить и как можно скорей, и отдавать зарплату, и делать с ней совместно детей. И ни для чего больше. Тебе надо жить легко-легко, поняла? И пошли в твой хлебный, красавица.

— Я поняла, чего ты спросил за Ольку, — довольно тараторила она, поспешая следом, раскинув руки для устойчивости. — Нет, я, конечно, не все в ней одобряю: вот то, что она так от мужа гуляет. Даже в Белгороде. Что негры ей нравятся, тряпки она очень любит, но ты не думай, она не проститутка, она добрая по-своему, знаешь, как поет!

В хлебном она закупила витые рогалики и батон, за баранками и сухарями стоять не захотела.

Они остановились еще у общаги, под снегом, у сотен окон на виду.

— Не хочешь идти? — слабо спросила Ирка. — Ну, заяви на них в милицию, а чего? Чё в этом такого?

— В этом много всего. Это будет хуже для меня.

— Ну не ходи.

— Некуда больше.

— Это вам-то некуда? В Москве живете — кафе, музеи, театры, артисты выступают — до самой ночи разгуливай! Красная площадь, куда хочешь! Вы ж счастливые!

— Да. С этим да. Но у меня тут беда — крысы преследуют... Если иду вечером, — из бака мусорного — шур-шур-шур — лезет и через дорогу так... Бегом, перетекает. Трамвай вечером, едет, фарами светит — а там, бежит такая: серая, серенькая, торопится. В метро — из-под лавки. Сядешь на лавку — а она: прямо по ногам. Не дают мне жить. Покоя не дают... Все чего-то хотят от меня.

— Так это со всеми же! — Она схватила его за руки. — И со мной так же! Получается, и меня, что ли, преследуют? Глупости какие. Вот только вчера, встала утром...

— Уходи, ладно...

— Если тебе туда совсем нельзя — к нам приходи. Олька... может, вечером куда пойдет. Я чаем напою. У нас там еще что-то может остаться. Все равно приходи, хоть поговорим, просто так. Экзамен у нас только послезавтра.

Грачев тряс головой: да, да, да. Ему казалось, будто тряслась вся общага.

Он еще постоял внизу один: снег редел, совсем зачах и перестал; раньше времени, добавив серости, зацвели чахоточные фонари цепочкой, и холодной желтой водой наполнились окна соседних домов и общаги, перечеркиваемые качающимися тенями, ветер силлся, леденел — стало просто невозможно стоять, и Грачеву пришлось пойти.

Лифты увезли наверх людей и не спешили возвращаться.

Вахтерши собрались кругом над черным дипломатом, хмуро, как у гроба покойного товарища, — Грачев стал к ним поближе, скорбно соединив руки, словно на гражданской панихиде.

— Час уже нету! — ныла косая вахтерша с черной пацаньчьей головкой. — А говорил: сейчас-сейчас. Сказал: документ забыл. За пропуском пройду и — назад. А этот портфель оставляю в залог, вернись. Гарантия, двести процентов. Вот скока было, он ушел, без десяти, и сейчас скока там, ой, отсвечивает, сколько? — ну без восьми — уже час прошел, больше? И нету.

— Зачем брала, Холопова? А вдруг бомба? Подорвется, и кранты? — кряхтела седая бабища в толстом, похожем на блин платке, и даже подняла зад и отбежала к стене.

— Да ну тебя, — махнула на нее другая бабулька. — Не петришь, так и не болтай! Тогда б тикало. Тики-тики. Ну раскрывай, Холопова, — так и будем, что ли, до утра ждать? Ищи его теперь, обормота. Да он и не вернется небось, пустой тебе и сунул, вернется он, ага, размечталась — и ожидающе, недобро покосилась на Грачева, — тот принялся читать поверх всех инструкцию пожарному наряду: номер первый расчета...

Косая повернулась лицом в угол, чтобы поймать глазом Грачева.

— А у тебя-то пропуск есть? Стоишь тут... — пискнула она подозрительно и рот оставила открытым, будто пропуск должны были положить в него.

— Это наш, — толкнула ее под локоть толстая в платке. — У меня уже все эти морды... В памяти навечно. Ну открывай давай, раз такие дела, чего теперь выжидать, высиживать.

У лифтов заклубилось шевеление, началась перегруппировка, знаменовавшая возвращение блудных кабин, и Грачев переместился туда, в гущу событий, — он уже согрелся, расслаблялся, а

вахтерши засунули согласно три головы в беззубую пасть дипломата, погрузив туда же немедленно и ручки.

— Книжки... Скока тут. Да нерусское все. По-каковски это? Еврей он, что ли? А фамилия, как у грека, все на «ос». А эти книжки — про белых голубей, погля-ань, ах, прелесть птица, как люблю, прям невозможно...

— Не там глядите, ну вон, в кармашках, там паспорт или что... Двести процентов! Нашла? Что? Фотокарточка? Дак это вроде и не он. Ага-га-га, подписано, вон оно как: «На крепкую память от незабвенного брата Саши. Счастливого пути». Брат это его. Старший, наверное. Ишь какой лобина. Компьютер. Двести процентов! И ведь скока книг понабил! Как только носит. Как порядочный. Должен вернуться, такой вернется, не оторва какой... Или аспирант? А мы влезли... Чек там, в книжке записной? Инициалов нету?

— Из магазина «Ганг» блокнотик. Просим посетить священную Индию. Только стишок какой-то записан. Ведь грамотный. Вообще поэт, может быть.

— Ох, Господи Боже ты мой, закроем, что ли, скорей? Разорется щас, если застанет, развоняется. Двести процентов!

— Не бойсь, Холопова. Обманул он тебя? Обманул. Ты его обождала? Обождала. Нет? Нет. Ты должна принять меры к установлению личности: мало ли, кто это. И никаких. Ну, зачти стишок.

— Читаю: «Мой друг, коль хочешь жить кудряво и ввысь над Родиной взлететь, ты обходи, не будь раззявой, хворобу, стариков и смерть!»

— Ой, очень верно, не убирай, я спишу потом. Так душевно. Деду моему понравится, он же летал. Ввысь над Родиной! Одним словом: держитесь, ветераны. Берегите свое здоровьице. Давайте, девки, закрывать, а то не приведи Господь, хлебнем досыта, ежели вернется. Может, даже и не русский.

— Закрывай живей, Холопова, не терпится все тебе, час да час, тут пока вверх-вниз подынешься, скока время надо, ну задержался просто парень, такой разве к девке пойдет? Ты глянь, сколько книг, такому разве гулять? Обожди, что тут-то, во у стеночки, в журнал обернуто... А, так-так, вот она! Ах ты!

— Что тама?

— А водочка. Пол-литра! Сосун вонючий, а туда же, как совесть хватило, пропуск он забыл, такие головы позабыть готовы, лишь бы выжрать, с кем попало...

— А все «извините» да «простите», а я в глазенки его сразу глянула, так и решила: мразь он, да и все тут, Порядочный разве такую вещь на чужого человека оставит?

— Это он точно за девкой побег. Двести процентов! Она ему пропуск у знакомого сыщет, он и вернется за своей бесценной, коблище такой, морда отъевшаяся. Такой небось не работает. Только по шлюхам нашим, прости меня, Господи, грешницу, бегать.

— Холопова, ты чего ждешь? Вызывай оперотряд, надо засаду, и возьмем.

— Ах, паразит. Поматросить его и отбросить.

— Доверяй, но проверяй!

Раззавились сразу три лифта. Грачев зашел в последний.

— А ну. А ну, а ну, ждите! Оп! — Лифт плавающе колыхнулся, и двери, провисстав, сомкнулись. — Как, Грачев, отучились?

От администратора Веры Александровны в лифте накалялось все, она хохотала беспорядочно и громко и жаловалась, подрагивая мясистыми щеками:

— Денек, ох, ну ты понимаешь сам. Утром — тараканы. И крысы твои. День — белье сдавала, вообще свихнешься скоро с этой прачечной. Все по счету надо, все по счету. Еще Салих этот ходит и ходит, достал уже совсем: магнитофон его куда-то уплыл. А я что? Камера хранения? Сейф несгораемый? Изнасиловал уже. Почти, мать моя родная, женщина, так, какой там? Шестой? Товарищи, вот тут мы выйдем с молодым человеком, выходим-м-м...

— Отучился? — Лицо ее жарко плыло, и она прыскала, втихую прижимая его к стене. — Отдохнул ты? И сил набрался? Да? Ведь да? Ну только не будь таким. Я хочу, чтобы сегодня ты был совсем другой, другой, — и ткнулась в него с мягкой, властной силой, стиснула зубы и выдохнула, — о-ох, — и сразу отпрыгнула назад, дальше, в угол, приглашая, надеясь, зовя к себе. — Студент, это вы что себе позволяете? Как вы себя ведете, студент? А? Я вот маме вашей напишу. Как же не совестно вам, распротуды вашу мать? Ох, Господи. — И она визгливо расхохоталась, дробно, а потом пожаловалась еле слышно, сквозь спрятавшие лицо руки, — это ты меня сделал такой. Своими разговорами. Если б ты меня не трогал, если бы ты меня не подобрал, если бы ты мне про меня не рассказывал — я бы, может, при корнях бы и осталась, среди людей бы жила себе и жила, крепко бы стояла... Я бы крепко стояла, я бы себя ценила. А теперь все, не могу, как последняя... Сама понимаю, вижу! И стыдно, да не могу! Деньки мои ведь уходят, все скорей деньки мои уходят, не могу так, хочу, хочу, я хочу еще, мне надо, а я уже такая старая, а сколько времени ушло, а ничего почти не осталось, я хочу, хоть немного, мне немного, ну ладно, так. Ну ладно. Мне тут надо еще на восьмой, по делу, понял? Ты не думай, нос не задирай. Я тебя не специально встречала. И не думала. Приходи к ночи ближе, когда ключи от читалок сдадут. Как всегда, короче, чего я тебе объясняю... Хотя, может, забыл? Давно ведь не был, ах как давно...

И она побежала почти на восьмой — ноги ее поскользили по лестнице, как щедрый солнечный луч, темнеющий в подоле, и она все-таки не выдержала и жалко, стонуще вскрикнула:

— Да хоть придешь ты сегодня, а? Ну не молчи ты, камень! Я ведь по-боевому настроена. У меня огромные планы на сегодня!

Грачев кивнул и силно подтвердил:

— У меня тоже.

Она всхлипнула, помахала рукой и побежала наверх, шаги ее отдавались на лестнице, как капель среди зимы.

Он вступил в коридор и остановился. Руки его повисли без дела. Коридор был пуст до его двери — насквозь.

Он покорно прошелся еще вперед, за комнатенку мусоропровода и телехолл, и опять передохнул, ожидая, сдавшись.

Никто не дернулся, никто не шаркнул, никто не шепнул, никого.

И он резкими, подневольнo свободными шагами ворвался в коридор, и перед ним, как маяк, трясся и рос кровавой плевкой огнетушителя на стене у его двери. Он сломал, задавил свое презренное тело и заставил последние, явно уже спасительные шаги до комнаты почти ползти — лениво, вразвалку, рассеянно.

Коридор остался свободным.

Хотя это ничего не значило. Они могли ждать и в комнате. И теперь коридор был уже землей родной, и добрая старуха-зима за стеклом аварийного выхода уже утешала обещаниями хвои и металлическим пламенем елочных украшений, прорастающим сквозь тяжесть и муть позднего послепраздничного пробуждения, и не пугала смертной дрожью паршивых собак и властью последнего глотка стужи внутри павших птичьих тел.

Грачев отпер дверь с пронзительным скрежетом. Распахнул. Нет. Он помедлил и заглянул в ванную. Наступил на хмельно заплетающегося по полу таракана и деревянной рукой отдернул клеенку, прячущую ванну. У ванны было ржавое, рыжеватое слоями дно.

Он торопливо вошел в комнату, бросил сумку на кровать, сильно смял руками подушку, ударил в нее кулаком. Скинул куртку, шапку — развесил их в коридорчике, размеренно двигаясь и поворачиваясь.

Посетил половину Шелковникова. Тот спал, угнетенный учебой. И Грачев на цыпочках вышел.

Закрыв на надежные два оборота дверь. Скинул сапоги, повесил на стул пиджак и прилег ничком на кровать. Чтобы очень проголодаться, надо хорошо поспать.

Чтобы заснуть, надо сначала лежать на животе. Потом четко — на правом боку и всей массой. И в заключение — на спине с легким, чуть обозначенным, левым креном — на сердце чуть-чуть.

Часы стригли ножницами жизнь, и это мешало. Грачев расстегнул ремешок, добавил часам завода, выдвинул из-под стола стул и, закрывая глаза, опустил часы на стул, от себя, подальше, не слышать.

Часы легли неровно. Странно выгнулись. Он поправил их лучше, уложил, тербил и коснулся пальцами мясной холодной упругости под короткой щекочущей шерсткой.

На стуле, свесив толстый дохлый хвост, лежала крыса.

Грачев выронил часы.

Потом переполз в угол кровати. Немного посидел, глядя в сторону.

Встал, в носках подошел к двери, близко, вплотную. Кругом стало тесно, и руки его полезли по двери, по одежде, скользкой и чужой. Он схватил шапку и заткнул ею короткий животный вопль. Посмотрел в нее, будто там должно что-то остаться после. Выронил шапку. И, крадучись, разбежавшись, ударил ногой, задохнувшись яростью и болью, стул и зверино отпрыгнул сильно к двери, толкнулся в нее и осел на колени, сжав пальцами разламывающуюся ступню и раскачиваясь, утопая в коричневой духоте, лизавшей и отпускавшей лицо, грудь, живот, зудевшей в ногах и плавившей ступню, которая разбухала кровяными ударами вздыбившегося тела.

Он еще оглянулся. Стул от удара врезался под стол, вскинувшись на задние ножки, — а что-то серенькое, седоватое, пушисто-плесневое съехало совсем назад и упало бы, вывалилось бы, да зацепилось окаменевшей лапкой за спинку, свесив пыльный хвост и все толстое, что за ним, что за ним.

Больше не оглядывался. Он стал ходить спиной вперед. Спиной вперед прошел к Шелковникову. Тот спал и спал. Грачев захотел позвать его, разбудить, но не смог вызвать из себя даже шепот. Он вернулся к дверям, пробовал говорить, но шипел:

— А, а-ааа, аа-аа, аааа...

И он увлекся уже, и стал покачиваться в такт, поворачивать и отпускать дверную ручку, и она поскрипывала в такт его шипенью, и наступало такое время, когда темнеет разом, будто сваливается занавес, и сразу мало что видно, особенно под крышей, и он опустился на колени, стукнувшись головой о дверь, и разводил руками, раздирая и распутывая сумерки вокруг себя, теснившиеся, густевшие жарким и липким колоколом, он мучил голову поворотами, теряя в кружении все, отлепляя лицо от глухих клейких стенок, и только пробовал речь, будто пел:

— Ааааа, аааа, аааа....

И моргал глазами, раскаленными, как сухие камешки у костра, и задыхался.

Он придумал еще спрятаться в ванной — включить там свет и даже, может, полезть в воду, в воду залезть, и встал, охнув от боли, так больно сразу, но тут звучным хрустом просел мусор за шкафом — не все! — опять! — наступало время их, а может, оно и кончалось, и наступало время агонии, убивавшее не только убитых, когда все равно хочется увидеть мир свысока, весь, хоть со стула, умирая, — и он бешеными, нечеловеческими руками отпер дверь и выбрался, вырвался в полутьму коридора, а там дуло по ногам, низко, и он передернулся и еще раз, оперся на стекло: темные комки людей топтали белую тошноту зимы, пересекали желтые лужи света, не поднимая головы, гнали от себя понурых бесшумных собак, деревья теснились к домам грудями черных кос-



тей, и мрачно звали смоляные подъезды, но там же есть батареи — у них можно согреться, но можно согреться и без этого, здесь: надо только походить, размять — стынут ноги на голом полу, он обернулся — а к нему уже шли.

— Вот. Легко на помине! — празднично сказал Хруль. — Как ждал. Чего в носках? Закаляешься спортом?

Грачев убирал и убирал что-то пальцами с лица, с шеи, груди, перехватывал уже готовые что-то шептать жалкое и пустое губы, но голова его блуждала: пол линолеум темный светлее узор пыли огнетушитель Аслан кнопка сигнализации еще черные фигуры стекло ночь зима трамвай Хруль киоск потолок плафон дрожь вечер вдох течение крови конец коридора время выдох его дверь номер 422 плинтус пол линолеум вниз...

— Пошли так, — сказал незнакомый и смуглый. — Поговорим.

Они потом толкнули его в комнатку, где отвесил железную губищу мусоропровод над рассыпями объедков и отбросов и дырявыми урнами.

Грачев пришел за ними, как привязанный, как шарик воздушный, шатаясь и послушно. У порога он еще забылся и стал поворачивать туда и сюда, и тогда его просто толкнули, вправили в нужное русло, а он не стал приближаться к стене, он расположился посреди, зябко растирая плечи и поджимая постепенно, справедливо пальцы на ногах — погреть, как коготки, — ступня болела уже много меньше, и здесь было как-то теплей и суше, а где-то за стеной шелестели лифты и говорили люди, которые ехали на свои этажи.

А они не закрыли даже дверь, не прятались, и оттуда был свет, и Грачев смотрел только туда, только, теряясь, не замечая, пытаясь отмирать от всего этого вокруг.

— Мужик, — окликнули его опять, и он стал рассматривать незнакомого, смуглого, с очень дорогим крепким запахом, — Грачеву даже захотелось подойти поближе, когда его позвали, — как маленькому. — Мужик, я не понимаю, в чем наши проблемы?

В мусоре зашевелилось, ожило, бумажно заворочалось, выбираясь наружу, тошнотворно, мерзко, душно, и Грачев уже просто опустился, сел на пол и, опираясь за спиной руками, пополз к стене, отползал от мусора подальше, держа старательно ноги впереди — оттолкнуться, пихнуть, хоть что-то...

Незнакомый и душистый шел за ним следом, наступал, надвигался, у него обувь была лакированная и поблескивала.

— Кыса. Кыса-кыса-кыс, — тревожно позвал Хруль, сложив пальцы манящей щепотью. — кис-кыс-кыс...

Кошка в мусоре подобралась, устроила опорные лапы прочнее и смотрела на него стеклянно, противно обнажая влажные десны, а потом перепрыгнула мягко к стене, там, где Грачев, и смурно стала тыкаться пуговичным носиком в дыры и щели.

У Грачева вдруг, намокли и пролились каплями глаза. Он постарался отвернуться и подмоченным голосом шептал:

— Кыс, кыс...

— Слушай, мужик, — говорил незнакомый на чистом русском, — какие у нас с тобой могут быть проблемы? Я не вижу, от кого тут ждать проблем. Ты — мразь. Ты сам это знаешь. У тебя пасть твоя вонючая не откроется. Потому что не может она открыться, тебя же нет, мразь, пусто. Зачем ты что-то хочешь из себя ломать? Тебе уже нечего ломать, быдло.

Он чеканным щелчком выбросил из кулака широкое лезвие, осветил им, посверкал чистым, едва искристым отсветом и направил обратно сильной небольшой ладонью.

Грачев подтянул покучнее колени и начал пошептывать кошке опять «кыс, кыс, кыс», и гладил ее по лысоватой макушке одним пальцем, у него перестали ползти по щекам слезы, и теперь на лице холодком таял сквозняк. Кошка перебралась к нему ближе и неодобрительно оглядывала присутствующих.

Свет заслонил сутулый Симбирцев с набитой мусорною урной. Он прошел меж всех опорожнить ее в мусоропровод, никого не видя — он был без очков.

— Тебя нет. Тебя уже нету, — спокойно сказал незнакомец. — Я хочу, чтобы ты это подтвердил.

И выдвинул вперед лакированную чистую обувь:

— На. Лижи.

Симбирцев все никак не справлялся с урной — видно, газета на дне подмокла и прилипла, — он стучал урной о мусоропровод, как шахтер кайлом, опасливо озирая действующих лиц.

Грачев ожил. Поставил ладони на прожженный окурками линолеум и потянулся губами вниз. Зажмурился плотней глаза. Как напиться, вниз. Но там уже ничего не было.

Четверо вышли и удалялись, пересмеиваясь. Они медленно удалялись и громко смеялись.

Симбирцев плюнул на противность и запустил руку в урну, вырвал зловонную газету, как язык, и плавно окунул ее в мусоропровод, словно пакетик заварки в чай. И ушел. Ушел.

Темнота седела, бледнела, расступалась. Кошка молчала напротив зримого и светлого куска коридора.

Невидимый, лопотал, общаясь, негритянский кружок у лифта, будто пел и плясал. Из дальней комнаты в коридор перекатали вопящую коляску, утешали, качали, и она, поскрипывая сочленениями и надрываясь беззубым ртом, поехала: туда и сюда, туда и сюда, туда.

Кошка ватно стала на все четыре и подкралась к двери — прислушалась и принюхивалась у порога, и хвост ее дергался, как щекотка на двери, в которую ломятся.

Кошка вернулась к стене и присела. У нее была маленькая плешивая головка. Теперь кошка стала урчать. В коридоре были еще гитарные мучения и смех, всегда долгий и противный женский смех, не устающий, волнами.

Больше ничего не было.

Вернулся Симбирцев, уже в очках, и включил свет, обнажив заплывающее, голое, грязное, отечное, рваное. Лысая, пострадавшая от оспы лампочка трудила с пенсионерским усердием.

Кошка и Грачев страдальчески жмурились и отводили лица в сторону от света — больно.

Симбирцев убрал свет и вернул покой.

— Симбирцев, — внятно произнес Грачев, — принеси мне сапоги. И пиджак. Пожалуйста, — он прижал к себе мягко кошку и вытащил из кармана свисток. И свист струился в спину Симбирцева еще долго, слышно, прерывистыми тонкими выдохами.

Туда и обратно Симбирцев прошелся неспешно. Пиджак уложил на Грачева, сапоги поставил у ног, предварительно разобравшись: правый — левый?

— Что происходит там? — осведомился Грачев.

— Там гости, — сообщил Симбирцев, — бабы. Про тебя спрашивали, где.

— Гости, — повторил со старческой основательностью Грачев, разглядывая, как сел на ногу сапог, притопнул. — И веселье.

— Это у Шелковникова, — уточнил Симбирцев.

— И у меня. То же самое.

Грачев снова сунул в губы свисток из дерева лозы и пронзительно засвистал.

Кошке это не нравилось. Кошка подползла низко к дырище под плитусом и воинственно напряглась, ерзая задними лапами и скаля нетерпеливо пасть.

— Действует, — слабым голосом заключил Грачев и похвалился перед Симбирцевым свистком. — Видал? — а потом упрятал его в карман.

— А ты ужинал, братец? — вежливо спросил Симбирцев.

В столовой волнистым зимним дымом из фабричной трубы терпела очередь, раздавшаяся к вечеру доевшими домашние припасы заочниками, белохалатой «скорой помощью» и сиреневой милицией, и постоянно подпитывалась подползающими друзьями, сокурсниками, сокурсниками, однофакультетниками. Замыкающий — очкастый первокурсник в тоще обвисших спортинках — устроился уже на стуле и конспектировал книжку метрах в ста от раздачи.

Грачев посмотрел, как в пропасть, на его нежную шею с младенческим пушком и спросил:

— Ну как книжка? Про разведчиков?

Первокурсник убрал его одним вопросом:

— А вы будете стоять?

И Грачев немедленно тронулся с места, — пошел в сторону и приземлился за стол к близняшкам-баскетболисткам с биологического факультета. Баскетболистки клевали из своих тарелок, как две долговязые цапли, с выражением лиц, ясно свидетельствуя-

шим, что столичный вуз нисколько не поколебал фундамент развития, заложенный подготовительной группой детского сада.

— Сиди здесь, — махнул ему Симбирцев и пошел, как четки, перебирать очередь в надежде на знакомое лицо.

Грачев сначала, задрав голову, смотрел в рот одной баскетболистке, потом из справедливости — другой. Баскетболистки испуганно примолкли, вцепившись глазами в тарелки, и принялись скорее дожевывать свою капусту, украдкой, вслепую отщипывая хлеб и утирая повлажневшие лбы.

Потом Грачев смотрел на балкон, где было кафе и ужинал с компанией Хруль, улыбался ему и откусывал лакированные сосиски.

— И-ых! Аг-х!!! — подавилась баскетболистка и забилась в гавкающем кашле, стонуще вдыхая в себя и жалко вминая в широкое ровное пространство меж плечами тонюсенький пальчик.

Теперь Грачев даже не знал, на кого вперед смотреть. Столько событий.

Баскетболистка вдруг скрепилась, перехватив себя накрест костлявыми руками, вздохнула неприметной грудью, и ее разодрал заключительный разрывной кашель, отправивший Грачеву на рукав задержавшийся в горле осколок капусты.

Грачев впился глазами в этот неожиданный подарок, немедленно встал, как вырос, вровень с обомлевшими баскетболистками, уничтожил салфеткой оскорбление полученное, скомкал салфетку дрожащей рукой и сухо отчеканил:

— Ну... Знаете ли... Сему быть неприлично!

Баскетболистки убежали, бросив все.

Грачев равнодушно очистил стол.

Симбирцев притащил поднос, доложил:

— Тебе повезло. И запеканки хватило. И сметаны. Наешься. Там только капуста еще... Да ты что, братец?

Грачев схватил его за шею и нагнул ближе к себе, к лицу, рядом, у него стал морщиться подбородок и прыгать уголки рта, он вспомнил и увидел, что очки у Симбирцева были все те же, с первого курса, оттуда, и он узнал их, как забытого медвежонка в дальней кладовке — с полуоторванным ухом, с бахромой серых ниток и запахом уже незнакомым, он не мог даже глядеть прямо и говорить, слова терялись, обижали, предавали, — он виновато и жалко улыбнулся и ослабил руку.

— А вот, братец... Я уж думал, ты... А вот, — бодро начал Симбирцев, сам смешавшись, высвобождая шею. — Вот наша спательница. Давай, двигайся...

Аспирантка Нина Эдуардовна разложила на столе свои тарелочки, тщательно протерла салфеткой все вилки, хлеб у каждого переместила с подносов на тарелочки и добавила:

— Можно кушать.

— Это моя невеста, Грачев, — надрывно сказал Симбирцев, — Нина.

Нина Эдуардовна быстро опустила глаза.

Грачев колупнул вилкой угол запеканки, стукнул вилкой по краю тарелки, еще зачем-то раз и поздравил жующим ртом:

— Я поздравляю.

Они ели — откусывали и глотали, запивали, жевали, глядя в разные стороны.

— Братец, слушай меня. Друг, — жарко сказал Симбирцев, — я ничего не знаю — ты молчишь. Скажи: чем мы можем тебе помочь? Но прежде всего. Я думаю, надо обязательно обратиться в милицию.

Грачев стал есть побыстрее.

— Ты, как обычно, накрутил себе чего-то вокруг. Для тебя в обращении в милицию столько всего... Трудного, значительного. Я уверен, что ты называешь это доносом и готов себя презирать за одну такую мысль. Ты такой. Но, умоляю тебя, брось всю эту чепуху, это надо сделать обязательно, несомненно. Кого тут предавать? Скажи мне: что тут предавать? Нет тут ничего такого... Просто порядочность. Отделить себя от грязи. Защититься. Сохраниться: не бояться, если виноват! Надо быть просто порядочным, не вдаваясь в глупые мелочи. Свободно порядочным! Это же так легко! Понял? Что вообще-то случилось? Кто они?

Нина Эдуардовна вежливо приостановила жевание и поправила прическу. Симбирцев неуклюже установил руку на плечо другу. Грачев выковыривал из стакана сметану.

— Друг, — важно ответил Грачев, — у меня сегодня большой день. И я рад, что вы со мною. Сегодня мне поручили сдать на почту деньги, собранные нашими студентами на помощь пострадавшему от землетрясения народу Таджикистана, — он помолчал и решил, — и видит Бог, я сделаю это! Разрази меня гром. И еще раз: спасибо вам, ребята.

— Видимо, я... Ты видишь же... — в щеки аспирантки плеснуло алым.

— Сиди! — бросил Симбирцев. — Слушай, Грачев. Глупостям приходит конец. Я начинаю тебя ненавидеть всем существом своим. Ты понял, что вот это — самый близкий мне человек... И ты не смей так! Если хочешь общаться со мной. Кому ты нужен? Я только по доброй памяти...

— Ничего нет, друг, — перебил его Грачев. — А козни дьявола рассыплет Христос духом уст своих. Все мечты твои я знаю: хочешь, чтоб озлился я на соблазвившихся в вере и обещавших крестным целованием служить... Чтоб в этом была моя кручина. И чтоб бил с тобой кнутом за разные лживые сказки. И урезал языки за невежливую речь. Но что это за мудрование? Тебе это надо, все остальное выдумываешь, врешь. А ничего только этого нет. Теперь есть только вечное житье. В этом сердце биться должно. А ничего другого нет совсем. Есть еще, правда, подпольные и шуршащие вопросы, об которых ты в курсе. Но черт его знает, может, и они связаны как-то с вечным житьем? Просто шлются нам казни ужас-

ные такие. Мы или хребет им перешибем. Или обвыкнемся. Согла-симся на финишную прямую и плиту с двумя датами и глупой фотографией человека, который думал, что на него смотрит весь мир, а на самом деле — он один смотрел в спину мира. Но я еще стою на корне, на основе своей, можно не замечать многого. Но нельзя всего терпеть. Человек терпит всю жизнь: больше, тяжелее, страшнее и дальше, смиряется, все подлизывается к жизни. А жизнь все равно не может его вытерпеть даже в самом размазанном виде. И все эти святые да страстотерпцы — черви земляные. Они уже в земле. Не надо терпеть, нельзя сдаваться. Я, умная и замечательная девушка, я очень не хочу умирать. И даже смешно, но — именно сейчас. Мне это не нравится. И я не собираюсь. Я что-то придумаю. Или напишу роман эпохи. А то, чему вы, мой разлюб-безный Симбирцев, случились свидетельствовать, соратник мой и апостол, — это ничего, так. Мелкая провокация, искушение. Глав-ное: не открывать ответный огонь, ни шагу не уйти с основного русла. А остальное... Всего самого доброго. Желаю счастья личной жизни. Поздравляю праздником. Целую Тосю. Приветом Юрий.

Грачев заглянул на балкон — там было пусто уже, уборщица переворачивала стулья. Он поднялся и пошел хоть куда-нибудь, но к себе.

— Дурак! — крикнул Симбирцев. — Прощай!

А на этаже все еще заливался визгливый смех, пляшущие негры и орущая коляска уже убралась.

Грачев понял потом на ходу, что смеются в его комнате, у него там весело, задумался и выкрикнул вперед, в коридор:

— Ура-а! Пришла полнейшая свобода!

В обозначившейся краткой тишине из дальней комнаты вылезла беременная пятикурсница и утиной раскачкой понесла на кухню обугленную сковороду.

В его комнате ржали без устали, на дальней половине, у Шелковникова.

Грачев через коридорчик пробрался на свою половину, постоял, послушал у шкафа, принялся и пройти не смог — задернул с омерзением шторкой стол и окно, и кровать — лишь бы не видеть, он решил прятаться в ванной — там был беспощадный свет, он поправлял волосы, сверяясь с зеркалом, снова принялся — чем-то воняло. Нашел — вонял растворитель. Шелковников оста-вил его утром в граненом стакане на полочке под зеркалом.

Грачев пристроился на краю ванны, бухнул пяткой в ее бок — ванна эхом гудела, но слабо, умирая. Он поводил пальцем по кро-шащимся бороздкам известки меж кафельных плиток: вниз, углом влево, углом вправо.

Шелковников за стеной надрывался:

— Возьми там карты... На полке! Девочки, по пять копеек? Верно? Я или под деньги, или на раздевание. Как, Ольга? Ты

серьезный товарищ — вот какие бока тут у нас. Сколько же ты на себя напаялила? Мерзнешь, а? Да ладно! Да я просто потрогал, да ладно тебе. Ой-ей-ей, да чего она, Ир? Ну что за дела, чего ломаться-то, верно?

Оказывается, баб было две. Это просто они смеялись по очереди.

Грачев перебрался тяжело в ванну, отгородился клеенкой и принялся располагаться поудобнее. Можно лежать. А вдруг из крана капнет? Если сидеть — то верхняя горловина для спуска воды мешает. Лучше сидеть, но повернуться в другую сторону.

Он накрыл ладонью лоб, отнял ладонь и опять, уже лучше приложил. Отвел руку снова и ударил, двинул что есть сил себя по лицу, обжегшись придушенным вздохом, и тихо попросил:

— Не думай. Не думай.

Теперь он лег на бок и постелил под голову носовой платок, для порядка.

Смеяться стали реже и неуверенней, все больше вскрикивали и деланно ойкали.

В Грачева потянулся, потек холод, просачиваясь через платок, от железа, от студеного, голова будто всасывала его и тяжелела, но теряя плоть свою и боль, и он ждал растворения совсем, ухода — и ему мешало только дыхание его: больное, поношенное, как у склонившегося над кроватью матери.

В комнате глухо охали кровати, шептали, пыхтели, прыгнули на пол, простучали, и кто-то забежал в ванну, и следом еще.

— Так. Ну-ка пусти!

— Да что ты, Ирка? Чего ты испугалась? Сколько можно-то...

— Ты не понял, что ли? Я тебе говорю: ну-ка, убрал свои руки, вымой сначала!

— Ну убрал, успокоилась? Ну чего ты орешь? Зубы у тебя лишние? — это был Шелковников.

— Тебе что, Ольки не хватит?

— погоди, ты чего сюда пришла? Чай пить? Я о тебе забочусь, дура ты. Как приедут из своей деревни и выламываются... Не первый год ведь ездешь. Чего строить-то из себя? Не пробовала вместе — попробуешь, хоть образуешься немного, верно? Чего ты испугалась?

— Не трогай ты меня!

— Все свои, распробуешь — чего стесняться? Он потом подойдет. Он тоже это дело уважает, и не то...

— Пусти, ну пусти, — и она вдруг рассмеялась. — Ну какой же ты липкий!

— Это ты — слишком сладкая. Ну, правда, что испугалась? Взрослые люди, верно? Все понимаем. Ой, ну зачем так-то?

Она плакала, бормотала устало:

— Так... Ты выйди. Мне просто... тут надо. Я пока здесь. А потом приди, скоро. За мной.

— Все! Все понял. Все нормально, Ирочка, все будет красиво. Как в фильме. Я только Ольке скажу, быстро. Ты раздевайся и

мойся. И мы к тебе придем. Сначала я один. Занырну к тебе, верно? Как в фильме, давай, сейчас, ага.

Шелковников убежал нервными скачками. После короткой вспливающей паузы дверь ванной выпустила кого-то, и входная дверь сделала то же самое, и по коридору убежали быстрые ноги, без остановки.

Ванная осталась относительно пуста.

Грачев поворочался и пьяно приподнялся, утихомиривая в глазах закружившуюся жаркую муть. Сел на задний бортик и включил воду. Сделал потеплей, переключил на лейку. И принялся смывать в дырку тараканы трупы и освежать разводы грязи на дне.

— Я! — ввалился в ванную Шелковников. — Скажи мне: давай! Я иду. Ты уже хочешь этого, да? Да?!

Затрещали пуговицы и молнии.

— Олька придет, — рычал Шелковников, путаясь в штанах. — А мы красиво, как в кино, я тут видел. Как шведы и шведки, верно? И что тебе Грачев, он это... по болезни занимается, а я — по любви. А-ах, ах, сейчас. Ждешь, а? Ты меня ждешь уже? Ты! Меня! Ждешь?!

Грачев вяло качнул лейкой вверх и брызги перелетели через клеенку.

— Уй-уй-уй, — подпрыгнул Шелковников за клеенкой. — Я, оох, мых, аа-ах, сейчас я до тебя доберу-усь! Ну, ты только позови меня! Ты только скажи, чтобы я захотел. Нежно так... Чтобы эстетика была, культура, мы — как боги...

Грачев призадумался и сделал воду погорячее — ванную запрудил пар.

— Ты зовешь меня, милая? Дурочка моя! Трусиха! А? Ждешь? Все будет нормально, красиво, у меня тут такие сюрпризы, ты таких никогда и нигде, все четко, ах, все отлично, ага-га-га и где тут наша кисочка, что там она от нас прячет, а-аа? — и он отвел трепетной рукой клеенку с ванны, — ну!

Грачев переключил воду на кран, перекрыл совсем, чтобы было тише, и деловито спросил:

— С чего начнем?

И оценивающе сощурился.

Шелковников уронил руки, он горбился, будто сдувался.

— Как ты меня достал, — простонал он. — Как ты меня достал. Он синел на холоде и прятал глаза, будто плакал, и крикнул назад, слышав шлепанье босых ног:

— Не ходи сюда! Эта тварь ушла!

А потом Шелковников полез в зеленые трусы и размеренно, сонно говорил без выражения:

— Иди к себе. Живи там. Не мешай мне. Я тебе не мешаю. Сиди у себя. И делай, что хочешь: хоть с Ирккой, хоть с крысами. Кидай камешки. Но только не приходи ко мне. Я больше морду твою не переносу. Падаль. Не заходи ко мне. Не прячься больше у меня. Я не могу морду твою видеть.



— Нет. Я тихо посижу у тебя. Мне нельзя к себе. Так получилось, я не буду смотреть. Последний раз.

— Нет. Не посидишь. Уходи. Страшно тебе? Все равно: иди. Ты меня достал своими психами. Ты все выворачиваешь. После тебя уже ничего не надо. Хоть в коридоре живи. Ко мне нет, я не хочу, живи с крысами. Крыса!

Шелковников скромкал оставшуюся одежду и зашлепал тапками к себе на половину.

И истошно завыл уже оттуда:

— Ну что тебе от меня надо-о?! Что! Надо?! Козел! Скотина! Зайдешь — получишь в морду! Хватит! Падаль! Крыса! Сиди там! Молчи — и не лезь!

Там вздрогнули кровати.

А потом Грачев стал громко двигаться, натягивать куртку и пытался напевать, чтобы не слушать потемки и не знать ничего о своей кровати, углах, норах и стульях, ничего больше у него нет, он все куртился у дверей, то прикрывая глаза, чтобы вслушаться, то напевая, чтобы не слышать, и себя тоже не слышать, глянул в зеркало в ванной и споткнулся о совок, схватил его и веник тоже, веник потрескивал в отчаянно сильной руке: он вертел ими в воздухе и держал, как русский царь — скипетр и державу, и все примеривался: как? смести веником со стула на пол? А уместится ли на совке? Так, чтобы можно не глядя, не видеть. Не коснется ли хвост руки? Куда потом? Потом? Нести по коридору? В мусоропровод? Жечь? Она одна?

Ворвался и размазал его в прах сыпучий свистящий шорох, высушил страхом рот, и он обреченно угнул голову и сжался, сильнее: ну откуда? идет? Началось? Что? Но это было из-за двери. Вкрадчиво шелестело, еще раз. Из-за двери.

И он пинком распахнул дверь, долбанув ею по чьей-то руке, протянутой постучать, и там, за дверью, ахнули, всхлипом, как ночная, тяжелая вода под низким мосточком, едва.

Грачев, обмирая, вглядывался, уже зная все, и ему хотелось сейчас, сразу, вмиг не быть, отсутствовать, стореть на глазах, и он отодвигал ногой веник и совок, выпавшие из рук, отодвигал их с возможного пути, а сам просто перегораживал его, косолапо топтался и наконец сокрушенно всплеснул руками своими:

— Вы... — и выдалил постыдную, горькую детскую жалобу, — но мне даже некуда вас пригласить...

Она прижимала к груди ушибленный кулачок. Плащ ее, смоляной и поблескивающий, как ночная автострада, смоченная дождем, шуршал деревом кленом над сырой лавочкой, когда до снега еще — время телефонных звонков и молчания в трубку, печальных томящих гуляний, маеты, запаха астр и делимости жизни школьными звонками...

Эта девушка, эта девушка, с белокурым бременем волос, тянувшим голову назад до гордого взлета подбородка, его девушка теперь, он не мог даже видеть ее, пришедшую, чтобы как-то быть его,

он не смог устоять на таком ветру, его потащило, он звал ветер сам, оживил эту плоть и вызвал к себе, рухнув, переломившись, провалившись, как сухая, неверная ветка под невиданной птицей, и свирепел, и смеялся:

— А как же дубленочка? Нет? Так и нет, не нашли? Да-а... Так плащик теперь поберегите.

И тут же свалился на колени от одного детского вздоха ее, и посыпалось из него ревушими рыдающими кусками и стаей:

— Не уходите! Мне очень этого надо, я сейчас уберу, у меня небольшой беспорядок, там. Мне — чуть времени, все приготовлю — посидим, хоть немного, я провожу потом, не бойтесь только, не бойтесь, все так сложно, страшно, я потом скажу, я сейчас уберу — уже не имеет это для меня значения, если вы. Быть может, что вы это... И сами сможете потом понять, что вы... Вы даже начинаете это понимать, раз пришли ко мне, свет мой, пришли. Немного времени? Есть же, правда? Подождите!

Но она, незамечающе, уже вступала в комнату, мимо, мимо него, не коснувшись, но все равно — обдав собой, дурманом, и он дернулся за ее спиной, но не мог двинуться с места и только размахивал руками и умолял:

— Стойте, не надо туда, я же прошу обождать, мне минуту, не больше. Ну куда вы? Не проходите, там стул, не садиться, просто стул, он... запачкан, я прошу вас, только об этом — не надо туда! Ну зачем вы так сразу! — а она шла дальше, мимо, на дальнюю половину, а там уже взревел бешено до брызга слюны Шелковников:

— Да ты отстанешь от меня сегодня, сволочь поганая?! Я тебе что сказал? С крысами сиди! А? Что? Кто? Какой араб, деточка? Ты мне не моргай. Я тебе не врач-гинеколог. Глаза протирай перед употреблением и храни на ночь в стакане с чистой водой. Это — 422-я. А 402-я — это другой конец, по левой стороне. Уши чистить тоже по утрам — на спичку мотайте ватку и в марганцовку. И катись отсюда скорей, все! Спасу нет!

Она вышла, другая, с переменной, плащ ее скрежетал, уходя, как стрекозиные жесткие крыла, — Грачев стоял подальше от нее, в углу и насовывал на голову шапку.

А из 402-й, вдали, к ней вышел тот, незнакомый и смуглый, душистый, оказывается, араб, он красивый мужик, он засмеялся, она что-то рассказывала ему громко, а он говорил, отвечал горланно и все сгибался, нагибался, целовал руку, нагибался, ее приглашая, — проходите, там играла хорошая, бьющая музыка, и она, эта девушка, канула в комнату, пока Грачев шел по коридору на выход, а туда же пришла свита: Хруль, Аслан и кто-то еще из телехолла, там кончился, что ли, фильм, и музыка в комнате стала другой и погромче, сменили, что ли, кассету — намечались танцы, ну что ж, а на улице густой дробью засеял снег, небо поглотило, сожрало дома и dorosло до неба родной провинции: небесного поля, скатерти, всего бескрайнего над небольшим земным, — ночь все

оседала пластами, крошечней к макушке, она льнула к земле, смешаться, быть вместе.

Впереди торопилась девочка за мамой, она доела мороженое, смяла стаканчик и отправила его в снег — палочка выскочила из него на лету и упала отдельно. И что-то было еще. Вот еще.

Он выстоял очередь, читая плакаты и требования, и ему кричал устный, но женский рот:

— Нету, кассира нету, больная. Я? Что я? Техработник. А тебе это надо? Лучше рот свой закрой. Сам и иди на такую зарплату. Что? Чтоб я дерьму такому «вы» говорила? А-ха-ха, а-ха-ха... Ага, по тебе видно, что... Да он пьяный! Знаешь что? А вот то. Иди и не воняй, ага. Подождут твои гаджики, хватит с них.

Он поднялся на второй этаж, где был переговорный пункт, и час прождал, согнувшись над чистым бланком телеграммы: куда, кому, серия.

— Алло, — сказал он в кабине, — мама!

— Очень плохо слышно, — надтреснуто кричала мама меж бульканий и хруста в мире. — Ты так рано звонишь, в середине месяца, я совсем не ждала. Тебе хватило денег? Ты стипендию получал? Ты себе ничего не покупал? Ой, опять прерывает, да что же это там, совсем не слышно, алло... алло? Да что ты будешь делать...

— Мама, я хочу приехать, — он потом уже кричал, отвернувшись от ждущего народа. — Может быть, я приеду скоро. Не знаю когда. Может быть, мне приехать?

— У тебя что-то случилось? Что. У. Тебя. Случилось? Я хотела передать тебе картошки, хоть мешок, тебе надолго, никак на договорюсь с Гвоздиками, они мешок хотели дать. Ты говори громче, пожалуйста, да что же за связь... Ты не мерзнешь сейчас? А? Не слышу. В чем ты ходишь на ногах? На ногах! А носки шерстяные? У вас каникулы будут? Когда? Приедешь?

— Нет. Да. Да! Да хорошо все. Слышишь? Все хо-ро-шо! Нормально. Как здоровье твое? Как себя чувствуешь, а? Поняла?

— Как раз завтра сдаю анализы, ана-ли-зы... Сдаю. Да мне тут надо. Надо. Потом скажу. Хорошо, что ты сегодня звонишь, завтра не застал бы. Тебя больше не призывали на сборы? Нельзя говорить? А ты ходишь на занятия?

— Конечно!

— Не пропускай. Трудная сессия? Ой, да что там все время прерывается, ничего же не слышно. А почему ты мне больше ничего не пишешь про эту девочку, беленькую, как она... Наташа?

— Лена.

— Как?

— Ле! На!

— Ты куда-то уплываешь.

— Наташа.

— Да, Наташа, ты привет ей передавай. Может, ты с ней приедешь? Побудете, да?

- Может быть.
- Передавай ей привет.
- Хорошо.

— Что? Алло! Алло! Вот теперь слышишь, да? Теперь хорошо. Похоронили Серегина дядю Толю, ты помнишь его, из десятого дома? Алло!

Мир подвинул ноги, обрушился, пал и — все. Лишь треск и гудение пчелиное, раздраженное, злое.

Грачев еще звал:

— Алло, алло! Мама! Алло.

Выглянул, утирая теплый кислый пот, из кабины, на ветерок. Никто не смотрел на него. Телефонистка, как муху в кулаке, слушала наушники, потом перебирала пальцами цифры, превратив диск в карусель, частила притворно тонким голосом далекой дежурной и отсчитала звонко ему недоговоренную мелочь — полтинник, нету связи, нету, нету.

На выходе он разодрал конверт для Таджикистана и искал на стоянке такси нужное, и нашел.

— Но тока шампанское, — было неловко безлицему за полупущенным стеклом, — давай тока отъедем.

Грачев основательно вытапывал себе место в глубоком снегу под кустами, может быть, сирени, и хватил прямо из горла, но полезло, потекло, напыжилось, до обидных слез.

— А что, нету стакана? — дед с белой бородой и в галошах на валенках застучал длинным посохом по ветвям, где было когда-то оставлено для желающих: нет, нету, нету.

— Может, в снег сронили, оглоеды. Давай тогда с рук, — и дед соединил руки в ковшик. — Лей. Хвать-хвать-хвать... Эх. Держи ты, плотней, ну... Да-а, вот доживешься так — ничего уже не надо, приходите меня и берите, прошло и не заметил. Ну чего ты? Да брось. Какой молодой, и киснуть. Через чего? Какая ерунда все эти бабы. Все равно — жизнь дерьмо! И все. У меня и хлеб где-то был... Ты не бросай бутылку. Зачем? Давай сюда, так. Спасибо тебе. Счастливый тебе путь — оборота не будь! Да ты глянь, где дорога, — чего кусты ломать?

— Это не вы дипломат оставили? — жалко спросила у него на вахте косяя, повернувшись к нему ухом, будто опасаясь удара. — Не оставляли?

— Да наш это, Холопова. Да от него уже и шлейф хороший, называется, вышел на полчаса, ясно зачем по морозу, эх.

— И куда же он делся? Свалился на мою голову, чтоб у него ручки отсохли, и шишка выросла на голове, и язык отсох! Сколько ждаты-то?

Он не пил самогон у заочницы Ирки, а час что-то ел и молчал, наедался, густая кровь текла только к голове, копилась и готовилась брызнуть и вырваться — ему тяжело было держать голову прямо.

— Ты представляешь. У нас такое расписание плохое, — щепетала Ирка и выбросила недоеденное за шкаф, и теперь его немедленно потащило в коридор, он коченел там, стоя, она все говорила ему:

— Тебе плохо, Грачев? Выпей чуть-чуть. Я всегда так, и плачу. Милый ты мой, как же ты улыбаешься? Хоть раз? Хоть по-доброму. Пойдем, ты ляжешь, отдохнешь, тебя отпустит все это. Олька вон ушла куда-то давно, — она становилась рядом, тепло прижималась, мягкая, мертвая. — Слушай, а как у тебя с литературой? А с философией? Ты должен со мной заняться. У нас такие контрольные, ты посмотришь.

— Я — географ. Я — открыватель новых земель.

И она хохотала и трепала его по голове поцарапанной рукой.

Он стоял внутри своего тела, сгибаясь под ношей его, ища его горло руками, но тело всегда прыгало на спину, отовсюду, ни рессничной толщины не давая ему оттаять от общей, единой глыбы своей, он играл с ним и подыгрывал, следовал, утешал, наслаждал, но всегда следом, украдкой высчитывал нужную часть и враждебное, — отмерить, отсечь, но оно росло едино, безгранично, не разделяясь, переливаясь, перетекая — он дрался с ним наугад. А тело играло с ним, вынося на неизбежное, хоть он грозил у его лица свистком из дерева лозы, которое вечно мочит космы в реке и никогда — на кладбище, он знал цену прочности пола и досок, плинтусов и линолеума и он мог, чтобы все полезло и поползло, поскакало хвостатыми мячиками, цепкими пружинками вихлястыми, и он рос, он очень хотел и пытался расти, оторваться от до поры сладкой и капризной, но навсегда — мертвой темницы, а тело не пускало его выше головы и на крысиный волос, и все, что осталось у него безбольного — из забытой поры, единой и нераздельной и счастливой, из безумия и незнания времени и судьбы — это руки, которые пеленали его в одеяло.

Для здорового дневного сна на веранде детского сада пеленали в одеяло. И он лежал спокойно, но уже зная это, и начинал кричать, как только первая сила перехлестывала и делала близкими колени, а вторая захлестывала еще и туже стягивала, и он кричал, давась и задыхаясь, и ему казалось, что каждым своим червячьим усильем он затыкивал себя туже сам, и оставался от него только голос и ощущение невыносимости и потери, растирания себя, он орал на мирно спящей веранде и сдавались они — его распутывали, отделяли от прочих, чтоб не мешал, и он ждал всех в группе, один, сказочным и вольным хозяином всех игрушек, в которые уже не хотелось играть, и знал, что потом будет то же самое, и опять эта мука еще пожить, вывернуться, увернуться от предчувствия этой последней, конечной тесноты навсегда — вот эти руки, вот это одеяло, без лица — все, что у него оставалось.

— Не прижимайся ко мне, — и он отпихнул ее. — Мне тесно.

— Ну, как хочешь. Страдать не буду, — с зычным равнодушием сказала Ирка и ушла, но заявили счастливые и румяные

Шелковников и Оляка — они очень хотели есть, и Шелковников спрашивал, не все ли он пожрал и выпил тут без них, и не терял ли время даром, а потом отвел его подальше и стал хихикать:

— Праздник сегодня в общаге. День открытых дверей. 402-я угощает. Вон тот мужик новый, смугляк, из 402-го скосил в Интуристе под араба и снял проститутку на валюту, провел ее через вахту, а она спутала к нам зашла — вот эта, и морда знакомая. Где она сегодня мелькала? Теперь они до утра ее не отпустят. Там столько народа-а, только шорох стоит. Прямо конвейер, платный. Аслан приходил звал, и тебя звал. Я, как видишь, уже не у дел, не могу ничего, мне бы до кровати доползти и эту тварь спихнуть, верно? А ты сходи, или тоже уже? Ха-ха... А надо было нам ее тормознуть, цап за шею — она же не пикнет, да кто знал, и у меня нервы были расшатаны... Но какая баба, и для всех, или сходить? Хоть посмотрим.

— Я пойду спать, — и Грачев сдался и пошел за телом своим в читалку, сел за спину тонкошему очкастому первокурснику, который читал по сорок минут и десять минут ходил у окна, разводя руки в стороны и приседая гусем, — в столе он хранил коржик на ночь, а Грачев тонул в стеклянном отсвете стола, уложив на него гаечными ключами руки и шел на попятную, сдавался и обыденное думал.

Первокурсник, двигая остренькими лопатками, перевертывал страницы и скудно отщипывал от заветного коржика для подкрепления. В изумившем его юную душу месте он крикнул:

— Но это же неслыханно! — и впервые обнаружил существование Грачева в пространстве.

— Тебе, кажется, лучше пойти в другую читалку, дружок, — решил и сказал в лоб Грачев. — Это будет славно. Ко мне сейчас придет в гости девушка сюда. Нам надо поговорить.

Шея первокурсника из сиреневой стала пунцовой, и перелиставаемые страницы зашумели, как гуси-лебеди.

Грачев подошел после печального вздоха и захлопнул его книгу, проговорил, как заученное:

— Извини, сынок. Я жду девушку. Хотя ты мне и очень нравишься. У тебя нет брата?

Тот оскорбленно сгреб свои манатки и уже на выходе задиристо выпалил:

— Ты не думай! У меня — красный пояс по карате!

Грачев прочувствованно сказал:

— Я так и знал, что вы благородный юноша. Коржик не забыл?

Потом он убрал утомляющий свет и сел додумывать свое до конца, по-кошачьи оцепенело и бессмысленно уставившись на черную дорогу, на разъезды такси на круглой площади у подъезда.

Дальше он повел себя к администратору. За десять шагов уже витал испуганный голосок:

— И он — ну зачем, Господи! — прямо ко мне. Как выбрал! И ведь не задрипанный какой — борода, усы. Я, как почувствовала,

и от него так — бочком, бочком, а он догнал, догнал. Уж не знаю: чем я ему так приглянулась? — размышляла в комнатке администратора косоглазая вахтерша, почесывая с ожесточенным видом шиколотку, скрытую мужским синим носком. — И обращается вежливо: забыл свой пропуск. Не имею морального права без него пройти. Оставляю в залог дипломат и немедленно возвращаюсь. Очень скоро. «Рэ» — не выговаривает. Точно — не русский. Может, еврей? И родинка тут на лбу. Вот тут. И с концами. Мы дипломат, дуры, разобрали — личность определяли. Бутылку водки нашли, а пока разбирались — ей уже кто-то ноги поприделал. И что я ему, несчастная, скажу? Как объясню? А если и вправду придет? Как начнет судить, так спасу нет... Ох, ну так как теперь мне, Вера?

Вера отдыхала под низким торшером. Мягкая и желтая, и тянула, томясь:

— Не знаю, Холопова. Я только в прачечную выходила. Ты сама знаешь, как там: все по счету надо, руками. Видишь, сижу: пошевелиться нету сил, ноги мои не ходят, поняла? Не видела я никого. Один чернозадый только донимал целый день, разве отобьешься — ходит и ходит, изнасиловал меня своим магнитофоном, — ну не брала я его! Ой, Грачев...

Косая упорхнула, чуть не вывихнув шею в попытке поймать взглядом гостя.

— А вот ты, — и она отправила руки свои в него — гладить плечи, грудь, волосы, стесняясь себя и дыша щекотно в его губы, касаясь, вставляя. — А вот ты... Не вытерпел. Рано же еще, Грачев.

— Вера, дай мне ключи от читалки.

Она осеклась, по-детски, явно, но руки свои унять не смогла, и они все что-то разглаживали и поправляли, трогали и ластились, и улыбка качалась на ее губах, как на коромысле: тяжело, робко, она спрятала губы в ладони, в дряблую кожу, и оттуда шевельнулось неясное:

— Не придешь?

— Приду. Ну при чем здесь это?! Я же сказал сразу. — Грачеву казалось, что он читает стихотворение. — Друг ко мне приехал. Это он дипломат на вахте забыл, выпил...

— И ты с ним.

— И я. Ему отлежаться надо. Я в читалку матрас брошу — он поспит, а то у Шелковникова гости.

Она печально взглянула на него и полезла в стеклянный ящичек за ключом.

— Вер, дай тогда заодно и дубликат от 402-й, чтобы два раза не ходить. Он там вещи оставил, когда нас ждал, а они в кино пошли, а вещи его у Аслана, я сейчас возьму и принесу, ладно?

Она протянула ему два ключа с картонными бирочками.

— Грачев, что там сегодня в 402-й за проходной двор? Только и слышу: дверь — хлоп да хлоп! и орут, как оглашенные, перепились, что ли? Нового к ним поселили — так и зажили весело. Что там у них, день рождения? Ты не был? Они видео, что ли, купили?

— У них тоже гости. День рождения. Гуляют. Ну пока.

— Пока. В двенадцать. Я тогда буду совсем готова. Сейчас, извини, не товарный вид. Не ждала. Никак косую не могла спихнуть.

— Вот видишь. Хоть какая-то польза от меня. Пока.

Он примостился на полу у лифтов и развернул выуженную из урны газету. В Перу избранное правительство было левоцентристское. Интересно, что там еще...

Лифты катили все веселее, и чаще мелькали проходящие ноги: в одиннадцатом в видеосалонах на третьем, восьмом и двенадцатом этажах самый смачный, последний сеанс.

Они опять прибыли стайкой: Аслан, Хруль, их смуглый начальник и еще пара смазанных лиц.

Хруль покинул компанию, объявив:

— Я лучше в теннис.

И убежал вниз, не увидев Грачева.

Остальные угрюмо и величаво ждали.

Грачев прервал изучение предвыборной речи сенатора из Вологды на первой полосе и затолкал газету обратно в урну, поглубже.

— Эй, Асланчик, — сказал он так, чтобы услышали все.

Обернулся только Аслан и в вопросительном презрении поднял брови:

— Тут у вас есть баба общего пользования. Я тоже хочу.

Аслан сронил изо рта пенистый плевок подальше и развел руками:

— Это деньги большие стоит, Грачев. У тебя нету таких денег за прокат. Это очень хороший товар, это о-очень дорогое удовольствие.

Смугленький цепко посмотрел на Грачева и разжал красивый рот:

— Можно. Этому можно. — Иди — попользуйся. Только быстро! Быстрей, быстрей...

Грачев, не торопясь, обогнул этих людей и выдавил:

— Большое спасибо.

— Беги, — толкнул его в плечо Аслан и грозно указал глазами на смуглого. — А то ведь Ваня передумает, а ну бегом, ну!

Все сдержанно посмеялись Грачеву в спину.

Дверь 402-й на стук отпер мигом какой-то мальчик с их курса в беленькой футболочке, синих спортивках и пушистых шерстяных носках.

— Грачев? И ты решил? Кого угодно ждал, ну тебе зачем это? А? Ты что? Вот это да?! Глазам не верю! Ваня сказал, что клонут прежде всего мальчики да малоопытные. Это ведь такая гуманитарная помощь — для малоимущих. И ты?

— Мне даже бесплатно, — вполголоса сказал Грачев, взглянув на прикрытый вход на дальнюю половину.

— Да? Ванечка сказал? Ну давай. Я тут вроде — конвой, торчу, а куда она денется? Раз попалась — так терпи. Читайте, видишь,



да ты посмотри, что ты головой вертишь, видишь, что читаю — «Клима Самгина»! Ты читал, нет? Вот паскуда какой — третий том грызу! Затылок уж ломит! Вот наворочал! А на экзамене, говорят, любят это спрашивать, ты не слышал? Уж и забыл, что в начале было, про что... А волна первая схлынула, и никто что-то больше не идет. Я Ванечке скажу: если и дальше так — так пусть ее лучше на биофак отдать, во второй корпус — чего зря будет простаивать? А народ они голодный, могут на неделю ее взять, круглосуточно и посменно. Хотя, если честно, я вот лично — не стал. Знаешь — мне, Грачев, мне вот как-то противно! Не принимает моя душа.

— Ванечка — это кто? Смуглый такой?

— Рабфаковец, сибиряк, ты знаешь, какой четкий парень! Я как на него смотрю — я все тебя вспоминаю: это какая смена идет! Теперь можем уйти спокойно — жизнь веселая без нас не кончится. Мы погудели как следует, и они погудят! Если бы ты видел: ведь он с ней по-английски, ручку целовал, чаем поил, а потом ка-ак сунул по морде — бац! И на пол швырнул — нате, пользуйтесь! В нем точно твой размах!

Грачев нервно поигрывал наружным шпингалетом на двери в ванную. Из ванной вышел свежееумытый, вяло ухмыляющийся товарищ.

— Ну хоть теперь-то все?! — воскликнул с шутливым ужасом мальчик-конвоир.

— Все! А жаль.

И товарищ ушел. Мальчик запер дверь, предварительно попросив отработавшего свое в коридоре:

— Ты там скажи: кто еще хочет — пусть идут.

И обратился к Грачеву:

— А то — скучно, а так хоть, как видео, только без изображения. Хотя некоторые просят смотреть. Но все равно — мне противно как-то, не могу. Грязь! Как захожу — тошнит. Ну ладно, ты давай, не буду портить тебе аппетит. Музыка включить?

— Чуть-чуть, — показал размер музыки пальцами Грачев, щелкнул по синей книге в руке мальчика в беленькой футболке и ступил на дальнюю половину.

— С музыкой все как-то веселее, — рассудил он, навалившись плечом на дверь за собой.

Настольная лампа со свернутой шеей плескала в шторы для большего уюта тусклые и пыльные пригоршни света, шторы, волнистые, как стиральная доска, плотные и тяжелые, тянулись сорваться с крючков, проломить пол, землю, и первым делом он развел в стороны шторы, освободив их от страшной тяжести ночи, — развел влево и вправо, порознь.

И он нагнулся смотреть над снежной рекой, половодьем, но ничего не увидел — не было отзвука привычного, течение подхватило его, и он видел теперь только поток — нет берега, нету. Он уже не останется здесь.

Грачев откупорил форточку:

— Душновато... у вас. Надышали.

Он отодрал от крышки стола лакированную щепочку и стал возить ею по столу, скрести, потом разломил и тут огорченно сунул палец в рот: вытаскивать, выкусывать засевшую занозу.

На низкой кровати с чуть смятым покрывалом синего цвета, украшенным скромным русским узором, сожженным, обугленным пнем торчало длинное гнущее тело, все пряча под себя: руки, ноги, кожу лица — все смятое, болезненное, разбитое, чуть скомканное, подбранное в кучу, узлом.

— Вы думали: высококвалифицированно поработаю на экспорт. Парам-пам-пам. Прам-пам... А получился как бы — коммунистический субботник. Да, — Грачев прислушался к перемещениям за дверью и длинным усилием потушил лампу. — Я даже поверил сейчас, что дубленка, правда, стоила тыщ так... Много. Еще больше! Да. Да. Господи, ну какой же надо обладать нравственной силой, чтобы несмотря на не-вы-но-си-мую! утрату — встать в тот же самый день к станку! Выйти на смену. Не подвести товарищей. Не сдать, наперекор трудностям. Да. Я всегда боялся величия русских женщин. Вообще — это именно то, на чем я свернул себе шею: ожидать от женщины какого-то пути, избавленья, да еще такого, какого не всякий может быть достоин, и надо еще стать кем-то... Ах, как жаль. Бывает, да. Я думаю, хватит сидеть. Одевайтесь, обувайтесь. Ничего чтобы не забывать, внимательней.

Он заново прислушался у двери. Мальчик наконец выбрал в записях музыку, чем-то дорогую ему, и завел что-то бесполое, тягучее и постанывающее, юное.

— Ну, все? — оглянулся Грачев. — Так, а где плащик, душа моя?

Она уткнулась безмолвно в свои колени, обтянутые черным, непрозрачным, на плечах было что-то кожаное, с плечами, туфельки поблескивали.

— Плащик — это наше слабое место, сударыня, — попытожил Грачев. — Я сейчас вернусь.

— Ты все? — встрепенулся ему навстречу мальчик, взволнованно косясь ему за спину. — Или противно стало? Не смог? Тошнит, да?

На плаще мальчик сидел и даже укрывался — и тепло, красиво, у плаща хорошая подкладка.

— Сделай чуть-чуть погромче, — попросил Грачев.

— Ну, Грачев! Ну воображала, вот сволочь! — развеселился мальчик и напутствовал его революционно сжатым кулаком. — Ну! С музыкой вперед!

— Ага, спасибо! — бодро откликнулся Грачев и возвратился на исходную позицию.

— План боевых действий, — начал Грачев. — Милая, боевые действия мы будем вести следующим образом, — он подтащил ее грубо к себе, поставил рядом и смахнул прохладной рукой волосы с ее глаз, он захотел увидеть два синих цвета, два влажных про-

блеска над светлым и чистым дыханием, она выпрямилась в стройную, как в дерево, и он вдруг дернул за ближнюю долгую прядь, чтоб увидеть безобразную гримасу и криво расползшийся рот, но она просто коротко всхлипнула и покачнулась, как от ледяного ветра.

— Чуть пошустрей, — пояснил он, — чтоб шевелиться. Я, — и он ткнул в себя пальцем, — выхожу. Дверь, вот эта, остается открытой. Потом я громко говорю: иди сюда! — он повторил: — Иди сюда. И ты, — он указал, не коснувшись, на нее, — очень быстро идешь на выход. Дверь там тоже уже открыта. Дальнейшие ваши действия — в коридор, сразу направо. Направо, вот эта правая рука, да? Дальше — за стеклянные двери, заметили, когда шли? Или летели на крыльях любви и не замечали, нет? Там есть, есть стеклянные двери — за них, и там уже слева табличка — «Читальный зал». Читать все таблички не надо, я не сомневаюсь в вашей грамотности. Просто запомнить: первая дверь налево за стеклянными дверьми. Там ждать меня. У тебя, милая, две задачи: быстро через комнату и быстро по коридору до читалки. Если трудно это на каблучках — снять, тогда уж босиком. В коридоре бежать, если только окликнут, а так — спокойно, уверенно, по своим делам. Если боитесь со мной или не хочется — Бога ради. Ждать осталось недолго. До утра. Скучно не будет. Скоро кончится сеанс у видео, и товарищи прибегут толпой с новыми силами закреплять полученные навыки в самых отчаянных вариантах, вы же понимаете наш народ — вы покажите, как надо, а уж до совершенства мы сами доведем, лучше всех. Махните теперь своей растрепанной головой, что все поняли и делаете быстро все, как сказал, ну!

Она чуть кивнула, прижимая ладонь к щеке и нагнулась к туфлям расстегнуть пряжку, мягко опершись на него — Грачев швырнул от себя эту руку, и она рухнула на пол, испуганно сжавшись.

— Это я так. Отвлекся на несущественные детали, — разъярил Грачев. — От полноты душевной. Сняли туфельки? Ага. Готово? В правом кармане у меня ключ от комнаты, в левом — от читалки, все хорошо, плывем дальше. Команды готовятся на выход. Всего доброго, мы начинаем,

— Ну что? — замаслились глазки у мальчика. — Быстро ты... Насладился? Аж грохот стоял. Я думал: пойти, что ли, поглядеть? Еще будешь?

— Пусть в ванную сходит, — кисло сказал Грачев. — Не могу я так.

— И я говорю, — горячо подхватил мальчик. — Противно! Я ведь тоже пробовал, а не могу — сразу противно! Не смог от этого, сколько пробовал, заходил — не могу, падаль же! Продажная женщина ведь. Не могу отвлекаться от этой мысли, и не получается потому. Сил просто нет.

— Пойду приготовлю ванну, — сочувственно помигав, сказал Грачев, заслонил себя ванной дверью и отпер наружную дверь торчащим в замке ключом, ключ зажал в кулаке, сильно.

Мальчик грустно читал дальше, выставив в стороны тонкие малиновые уши.

— Даже видеть теперь ее противно, да ну ее! — признался мальчик задрожавшими губами. — Просто растоптал бы!

Грачев вздыхал.

Тут Грачеву в спину пахнуло холодным, нездешним. Это просто настезь открылась входная дверь, кто-то открыл. Или это сквозняк.

Это был Аслан.

— Фильм из-за вас не посмотрел, какой фильм! Какие там бабы! Эй, ты чего не закрываешься, а? — крикнул он мальчику, — Грачев-ов! Мне Ванечка сказал, что ты девку уведешь. Прислал посторожить. Сколько мне хлопот из-за тебя, а?

Мальчик, запутанный книгой и музыкой, тосковавшей под ухом, слабо отреагировал и бессмысленно улыбался.

Аслан присел на стул и заправил спичку меж толстых губ:

— Ну, ты успел? Нет? Чё ты телишься тут? Все, так иди, сколько тебя ждать, показать надо, как делать?

— Хочу в ванну ее сводить, — и Грачев поспешил в ванную, пустил воду по сильнее, заставлял себя улыбаться, хмуриться, напевать, дергать плечами, разгоняя изматывающую скованность ожидания прыжка, его все тащило дальше, тянуло.

Осторожно, как крышку гроба, он расшатал и вынул из-за унитаза доску, скрывающую водопроводные сочленения, поискал там рукою: горячая — холодная! С натугой завернул холодный вентиль, до упора.

Поместил бесшумно доску на место. Вода, накаляясь, зашипела и закашляла в ванну, вздымая брызги и пар, делая тяжелым дыхание.

Грачев вернулся к Аслану, повстряхивал мокрыми руками, сея брызги на пол, и раздраженно спросил:

— Что у вас с водой? Нет холодной, что ли?

— Ты что? — раскрыл рот Аслан. — Я же стирать сегодня собирался. Бабки тараканов сегодня травили — была холодная. Эти твари кран, что ли, сорвали. Мало им девки — им и помыться еще здесь, — он выплюнул спичку и бодро отправился в ванную.

Грачев тронулся следом, как привязанный, неотвратимо прикованный к круглому большому затылку, будто покрытому вороньим крылом.

Аслан рывками раскручивал синий кран и матерился, обжигаясь, пряча лицо от воды, блестя зубами.

Грачев, не глядя, за спиной, открыл входную дверь и украдкой выглянул: только у телефонов кто-то курил, а так — простор, зеленая улица.

— Иди сюда! — позвал Грачев в комнату и упруго шагнул в ванную, освобождая сразу правое плечо, и толкнул Аслана, тот удержался, обернувшись, закинув назад черный подбородок, уже понимающе оскалившись, и Грачев, танцующе крутанувшись, тя-

желым змеиным языком выпустил из себя правый кулак, добавив ему длины и силы поворотом всего тела туда, в теплое, в тупую короткую боль, до ожога, до ощущения — свалил, сломал и отпрыгнул назад, чтоб не цепляться зазря, и живо защелкнул шпингалет снаружи, столкнувшись с ней, — она несла туфли в руках, как пару котят, толкнул ее в коридор:

— Иди!

Метнулся в комнату.

У мальчика был опарашенный вид.

— Быстро встать! — крикнул Грачев.

И мальчик вскочил.

Грачев выдернул на себя плащ и вылетел в коридор, на два оборота запер дверь за собой, слыша уже, как отлетает с мясом шпингалет, державший ванную дверь, после первого же удара плечом, но он спешил уже по коридору, и ему крикнули вслед, непонятно кто:

— Куда ты ее, Грачев?

Он захлопнул за собой стеклянные двери и зарычал ей, метавшейся меж мусоропроводом и читалкой:

— Сюда!

И впихнул ее внутрь, в читалку, закрыл на замок дверь и теперь уже остановился, сник, опустил на груды бумаг, не разобранных утром Симбирцевым, и шепнул легонько:

— Садитесь. Теперь мы сидим тихо-тихо. Как мыши.

Уже обрушилась ночь.

Напротив, через одноэтажную столовую, как панель солнечной батареи космического корабля, выгибался чешуйчатым парусом на ветру второй корпус общаги. Комнаты светились пестро, каждая — в свою силу и цвет, и только кухни, лестницы да читальные залы протыкали белый корпус казенно одинаковым мерцанием.

Если быть терпеливым и всматриваться, то вот — головы тихих, читающих над столами у окон, вот синевато пылает жар на шторах от телевизоров, вот мигает цветомузыка для танцев или прихотливой любви, а вот сидят рядком люди и пьют чай и кто-то лезет взять сало в сумке за окном, а кто-то курит у открытой форточки и окурок выстреливает наружу, а вот там — спят, или просто — стало больно от света, стекают тени по лестницам вниз, на кухнях спорят и машут руками, решают, а вон там вдруг зажглось окно, и кто-то стал посреди, уперся во что-то и ни с места, тяжело ему, а вон в той читалке одинокий мужик подпрыгивает и бьет ногой стену, постоит, подпрыгнет и вдарит опять, и на него лучше не смотреть, не ждать, что будет, когда он пробьет, и все погаснет или все загорится, а дом, кажется, тащится дальше, а зима протягивает вокруг него снега и земли, уползая в свое родное кочевье, а дом оттесняя на последний краешек, на обламывающийся под добравшимся до него человеком краешек света.

Слева за стеной шипела и звякала сковородами кухня, справа — разновысоко кашлял мусоропровод и клекотал длинным горлом, проглатывая свою жратву, и смешно, скоро перестукивали консервные банки — и там, там, там и — все. В коридоре вспыхивали голоса и путались шаги, дернулись в читалку, плечом налегли на запертую дверь и шипели друг другу слова, потом постучались и шушукались опять, будто ветер гнал и переворачивал на пыльной дороге иссохшие листья — коричневые, завернувшиеся и ребристые, как остовы умерших кораблей.

Дом тащил за собой, а зима и ночь — это то, что теперь покидало, и нельзя остановиться, нащупать привычное, корневое, и катило, и переворачивало, и поддувало, и гнало, и шушало, сыпалось, он поднял глаза на немо выгнутую спину:

— Вы можете сесть посвободней, даже ложитесь, тихо. Они могут подождать еще за дверью, а могут просто бегать и искать. Лучше побыть здесь часов до пяти. Можно до четырех, можно. Они тогда уже махнут рукой и полягут спать, все до одного. Это самое лучшее время. Самое нестрашное. Самое. Здесь мы спокойно переждем, вот только...

Он пополз на четвереньках и потрогал острые края дыр под плинтусом, заглядывал в дыры.

— Вот только крысы, крысы... Вы, вы не слышите, нет? А я вот всегда почему-то слышал. Они обязательно здесь. Нет, не бойтесь... Просто теперь что-то случилось с моим слухом — не слышу, я не слышу. Но вы поможете мне, да? Скажете... Что за черт... Не слышу совсем их... А? Или нет? Вот странно, — он бросил ворошить бумагу. — Ни одной дохлой. Мне бы хотелось сейчас найти одну, а не видно... Нигде. Там? Нет. Не видать. Ладно.

Он прилег к ней близко, чуть коснувшись, соединившись, и отодрал обложку от попавшейся под локоть книжки.

— Вот вам. Будет надо — надергаем еще. Если они придут, полезут из нор, и вы испугаетесь — бросите, раз! Они спрячутся, быстренько. Сейчас лежать, ждать, да, так, а это что тут у нас за ерунда? — он выворотил из-под головы деревянную раму. — Портретик попался, а чей? Ого-го. И как несвоевременно, просто беда. И к стене теперь не могу отвернуть, сердце мое заболит, если уж и я так... Как ребенка обидеть. Я лучше — здесь поставлю. Пусть посмотрит на нас. Зарегистрирует наши отношения, хоть какие-то. Пусть у него на прощанье останется это в глазах, отцу на прощанье от сына на краткую память. А странно, что он один. У вас там не околачиваются в поле зрения еще двое? Нету? Беда. Мне еще больней видеть его одного. Втроем они не такие сироты. Нет, мне надо меньше на него смотреть, а то я обязательно не выдержу. И мой разговор с вами перейдет в разговор с ним, а при вас это будет довольно странно, учитывая вашу профессию... И еще я обязательно расплачусь. Я последнее время, когда темно и относительно одиноко, довольно гм-м... слезлив. И кажется, это уже начали замечать товарищи невидимые мои, подчиненные, ждущие меня...

Хотя — ерунда. И если начну слезы лить, чтоб не теснило внутри — вытеку весь, и вы сядете в лужу из меня, и растаете — я буду горячая лужа, лучшая в стране, из лучшего в стране человека... Отвернусь-ка я от греха. Но тогда мне тебя не очень будет видно. Пожалуйста, милая, спуститесь чуть-чуть, ко мне, мне так будет удобней. — Он притянул ее за плечо, и голова ее легла к нему на грудь, как еще одно сердце, пальцы его робкими корнями вползли в эти волосы, как в снег, и замерли, примерзли там. — Когда ты так — ты как будто ко мне пришла... Ведь так и есть на самом деле. Ну за исключением некоторых деталей... Эх, не надо мне было пробовать. Раз пробуешь — значит, не уверен, а жизнь — это не слишком просторное место для опытов. Время, время не позволит, вся его паскудная и паршивая суть, что оно всегда против. Я только раз единственный дернулся, а оно уже подстерегло, сломался, поплыл, встал в строй, подравнялся в затылочек впередиపోмирающего товарища... Но я... Я, я ведь действительно очень захотел, чтобы ты пришла, хоть когда-нибудь... Так непривычно это говорить. Сказал — а так непривычно. Я давно стесняюсь чего-то искренне хотеть. Вот не хотеть — другое, другое совсем дело, и то — в относительном одиночестве и темноте, в слезливом настроении — вот тогда: не хотеть. И вот если бы ты пришла, если бы ты, милая моя птица, пришла... Я бы бросился рассказывать тебе, тебе, этому сердечному слову — тебе, как уходит жизнь, как тихо, будто боится, что ее заметят. Как проходит лето, не оставляя вкуса вишен на губах, и все труднее забываться едой, всем, что я называю — едой. Когда ты забываешься и с телом заодно. Как умирают заживо, не замечая того, но плача, родитель, и как хрустят кости, когда растут, когда проживают свое. Когда ты не веришь, что все это так, но торчишь у школы, надеясь, что разомкнутся школьные стены и возьмут тебя обратно... И как обязательно сбывается то, чего хотел, но только тогда, когда всего этого — уже не надо. И как трусливо хочется ухватить эту жизнь, как есть, за скользкий хвост и побежать уже дальше легко, пробежать, пролететь, не касаясь пола, в подполье, там пробежать, — он гладил и целовал ее душистые, как постель новобрачных, волосы, а свободной рукой бросил книгу к стене, в тень. — Не бойся их. А — вообще ладно. Пусть уж. Нам они не мешают. А я даже не знаю, сколько они живут и сколько рождается за один раз. Боялся знать... Ну вот. И я завидовал деревьям, а потом и это перестало устраивать. Жить как дерево, расти — это признать пределы человеческого понимания, и все бессильно разводят руками, и ты разведешь — что поделаться, а ничего не поделаться. Мне этого не надо. Я не могу на это согласиться, не мог. Ты же понимаешь меня, любимая, птица — ты залетела ко мне в комнатку, ты должна это чувствовать, женщины этого не боятся, они ближе к деревьям. Если понял я этот лист, его планы и обряды... И я хочу на другую страницу. Мне не надо того, что будет обязательно! Это не бунт. Просто здесь я ничего делать не буду, сложу руки и просижу. Мне

всегда казалось, что все, что есть — это не все. Это еще не все! А где-то прячется полет и праздник мод, и путь туда не мозолью, и не мозгами, и не службой, не вилянием хвоста... Надо просто понять, поверить, понять и сбежать туда, даже если в самозванное...

Она поджала ноги под себя и прижалась к нему крепче всем пьяным телом своим — он приподнялся и бросил снова что-то к стене, не глянув: пропало там или нет, и легко, воздушно сказал:

— Ты не бойся, любимая, они не осмелятся теперь. Теперь они боятся меня, нас. Хотя в этом... Мне даже тяжело объяснить тебе, что в этом... Тогда ты точно испугаешься. Насмерть. А тебе уже не надо ничего бояться. Мы посидим и выйдем, когда будет нестрашное время. Вот еще, ведь мне теперь не придется писать свой роман — я им болел все последние времена, это был, как плотик. Я думал: напишу, отрублю канат, пусть плывет без меня, а я на заветном берегу, уже насовсем и — вперед! К уничтожению вечности! Но раз теперь — мордой в свободу, так и писать ничего не надо. А это была такая... воспевающая и довольно грустная штука. Книжка про разведчиков. Я расскажу коротко. Как анекдот. Это и есть что-то типа анекдота. Всегда хочется придумать какое-то другое оправдание замкнувшейся судьбе, — и он швырнул забившую в полете страницами книгу, мимо портрета, в беспокойную сторону. — Я — только сюжет. Да там больше ничего и нет, без единой мысли. Послушай, ты сразу все поймешь, мне кажется...

В год Московской Олимпиады чекисты погружают в собственную страну секретную сеть, «алмазную цепочку». «Цепочка» — самые проверенные, самые преданные делу партии и народа, юные, сильные, умные офицеры. Главное, что это действительно — соль нации. Бескорыстные, честные, искренние, светлые, которые любят революцию и Ленина, как лицо своей матери, как дыхание любимой, как голос ребенка своего. Их долго-долго отбирали, со школы, воспитывали, обучали, их отбирали из гор — крохи, песчинки. Может быть, их всего сто, сотня. «Алмазная цепочка» должна раствориться, вращать в жизнь, жить обычными гражданами, получать профессии, работать, любить, растить детей, петь песни, копить деньги, стариться и даже во сне не вспоминать, что они — «цепочка». И так многие-многие годы. И может быть, даже — всю жизнь. Но только если потухнет пламя нашего святого дела, если падет рубиновая звезда со Спасской башни, и черная толпа потащит ленинское тело из мавзолея, если опять время вернется вспять, и победит нажива и жирные руки, а не великая идея справедливости и равенства — тогда они получают весть и оживут, поднимутся. И «алмазная цепочка» неугасимым жаром запылает под исполинской грудой уставшего верить пепла, и пусть их — сто, крохи, но эти крохи — алмазные, и они начнут все снова. Они помогут несдавшимся, вернут веру усомнившимся, уничтожат пришельцев и предателей и сделают все, о чем скажет им весть. «Алмазная цепочка» — это страховка и завещание. Тогда, в то время, дорогой читатель, очень любили писать потомкам прочувствованные посла-



ния, подписывать их со светлыми надеждами и замуровывать их в стены новых клубов, тело громадных плотин, основания величественных памятников — такое было это время. Но так вышло, что потомки из коммунистического будущего оказались мертвыми даже раньше отправителей. А сила несбывшихся мечтаний — это самая добрая сила. Она убивает только тех, кто мечтал. «Алмазная цепочка» — это воскрешение мечты, это спасение душ чистых детей-мечтателей, так мне казалось. «Цепочка» делится на звенья по пять человек. Один из пятерых — старший. Только он знает своих соратников. Больше никто не знает никого. Весть о воскрешении должны получить старшие. Старший одного звена и есть герой романа.

И вот проходит так лет двадцать, — сбывается все плохое и даже хуже и дальше, и новая жизнь уже давным-давно укрепилась, и другая держава на этой земле, все позабыто и на все старье — плевать. Да и все, в общем-то, довольны, не воюют, жизнь вся на другой бок. Она не лучше, жизнь эта, но просто — другая, на другой бок. Кто-то, конечно, попереживал, старики особенно обижались, но обвыклись и померли. Дураки, которые метались, тоже успокоились. А молодежь весело себе живет и не нарадуется, А вести никакой что-то нету... И герой уже устает ждать, уж очень тяжеловато. Живет-то он неплохо, но не может иногда среди ночи понять, кто же он? И боится вообще забыть о том, кто же он на самом деле. Ему определиться надо, твердое под ноги, а то годы идут, случится что — так и померешь в чужом гробу, оплаканный чужой женой и чужими детьми и провожаемый чужими товарищами по работе и перечислением чужих заслуг. Он уже так измаялся ходить раз в полгода на улицу бывшего Шверника и осматривать рисунок на боку ларька «Пиво». А потом и ларек снесли! А телеграммы из Селятина о нормах отпуска бельевых веревок на душу населения что-то, никто не шлет, когда ж весть-то будет? Чего ждать, пора говорить... И отчаивается этот мужик, мучается год, и ломается что-то внутри, переступает он священную клятву и, страдая жутко от этого, начинает искать отцов-командиров, чтоб задать единственный вопрос: вы что, уснули? Одним себя оправдывает: за общее же дело страдает, не за себя, поэтому и рвение, а внутри все равно его грызет: а так ли?

Через еще не померших пенсионеров-отставников, через десятые руки он вылавливает на приемном пункте стеклотары сменившего три имени выпивоху-деда. Деду наливают за то, что он суровой ниткой достает провалившиеся в бутылку пробки, а был дед председателем КГБ. И герой представляется по форме, кается, что нарушил уговор, готов понести кару страшную, но все-таки: чего ждем? За что боролись? Дед плачет, сморкает сопля в кулак, клянется, что знать ничего про цепочку не знает. Затея эта была глубокой тайной. Руководил ею единолично и обособленно от всех другой генерал, а его еще в одна тысяча девятьсот восемьдесят третьем году задавил насмерть колхозный бугай Утес в сарае дерев-

ни Ефросимовка Солнцевского района Курской области. А все документы и планы чекисты пожгли, дотла, в подвальной котельной, когда кулаками стали в двери стучать, все успели, пепел на поля вывозили — хорошо удобряет.

И тут герой мой начинает догадываться, что вести нету только потому, что некому ее отправлять по секретным путям, некому воскрешать ждущих героев-мучеников. Что потеряно невероятное количество драгоценного времени. И что все пойдет прахом на Земле и даже во Вселенной (а он не верит во множественность обитаемых миров) — везде все пойдет прахом, если он, именно он, не поднимется в полный рост. И все, что у него есть, — это четыре соратника, которые тоже ждут вести уже двадцать лет. Но вести от него. И что же дальше? Чем кончится его проклятое прозрение? Отнявшее у него силы и сон! А? Верно, ну конечно, — он решается начинать сам. Но вот что его мучит: должен ли он сказать алмазным соратникам все, как есть? Всю отчаянность их положения? Довериться? Они ж не просто люди — бойцы, алмазики... Или не рисковать, не признаваться и помалкивать? И делать вид, что весть послана свыше? Он опять страдает, опять он мучается днем и ночью, изводит себя, что нерешительностью он теряет спасительное время... И, конечно, конечно, — он решается солгать... И вот вроде правильно, мудро он все делает — а ему тяжелей и тяжелей все становится, нет легкости... А это страшно, когда нету легкости. Давит, отрывает от людей еще больше и дальше, ох как было ему тяжело и как же его ломало... И второе размышление его донимало: а что же делать? С чего начать? Он двадцать лет жил разглядыванием звезд, он жил человеческой, другой жизнью, и его почему-то страшно не тянет складировать оружие, размножать листовки, занавесив одеялом кухонное окно, чтобы домком не придрался за нарушение режима экономии; как-то не тянет составлять программу и тезисы, максимумы и минимумы, очередность целей и характер событий. Что-то ему не хочется затевать что-то длительное, на всю жизнь протяженное и скрытное, двойное. Он двадцать лет и так скрывался, уже досыта, куда больше-то. Теперь самое лучшее — уж отмучиться разом, да так, что на весь мир! Он боится, что надолго его не хватит — нести тяжесть одиночества среди всей Вселенной, такого одиночества, что никто никогда полной правды и не узнает, не будет светлого единения и прощания... Да и потом: не может он взять ответственность начала, ведь тогда на его совести будущее всего человечества... А вдруг он скажет: пора! А будет еще совершенно рано, вдруг неверно определит гегемона и не найдет возможного компромисса с потенциальным союзником, и союзника-то этого не углядит? Не проявит гибкости и не дернет за слабое звено, именно за которое и надо-то дернуть? Он ведь не выдающийся ум. Хотя он очень хороший. Соль нации. Одна песчинка соли.

И он придумал такое: пусть его пятерка провернет что-то оглушительное и именно такое, чтобы остальные девяносто пять сорат-

ников поняли: ждать нечего, это и есть весть, мы начинаем, дорогие товарищи. Он разрабатывает именно такую операцию, обмысливает ее в деталях, утверждает сам для себя и после этого начинает страшный свой обход. Он набирает заветные телефонные номера и голосом ожившего и все-таки пришедшего кошмара крошечного приказывает: мы начинаем, оживайте, вставайте, я вас зову. Он ждет их вечером на пустыре, среди разломанных гранитных обломков мавзолея, они идут к нему, приближаются — каждый со своей стороны света: один польсел, другой — располнел, третий испортил зрение и уже в очках, кто-то стал очень богатым — приехал на машине, кто-то беден и скромно одет — инженер, техник, врач, потравщик колорадского жука, один угрюм, другой зол, третий равнодушно-холоден, четвертый очень нервничает, он виноват — у него четверо детей, детей у звеньев цепочки должно быть самое большее двое, не больше.

И они рассматривают друг друга: так вот кого объединила пятачка, пытаются припомнить, были ли знакомы в годы учебы, встречались ли в этой жизни. Но молчат. Это очень печальная сцена. Они пытаются друг друга узнать, но при этом понимают, что это не особенно нужно. И четвертый не выдерживает, он кричит, что все, что он им сейчас скажет, это — безумие, безумие, только безумие, что все они старые люди, другие люди, что народу ничего не надо, ему нравится новая кормушка, что все, во что они верили — это ложь, обман, мертвые слова, ошибка, наносы грязи пусть и на чистом теле и что не надо, ничего не надо, кому нужны их жизни, надо жить и все тут, надо расходиться, хватит, он ничего не хочет больше слушать, это безумие, безумие, только безумие...

И они молчат и слушают его, слушают и при этом опять понимают, что это тоже ненужно и неинтересно, непонятно, для чего они должны слушать то, что он говорит сам себе и что они давно знают сами, но только еще лучше, потому что знают это про себя. Только герой мой ему вяло так отвечает, просто мямлит: но ведь ты двадцать лет... Двадцать лет! Ты молчал, тайлся и ждал моего прихода, ждал звонка или забытого дипломата на вахте. Мне очень странно, что ты не рад. Странно. Всем могу сказать только одно: если вы откажетесь — воля ваша, я пойду на дело это один. Мне хочется легкости... Вы можете уходить, о вас никто не знает. Про себя он отметил, что даже хочет этого. Никто только не ушел, стояли все по местам, как и стояли! Ну тогда слушайте, сказал он, поставленную Центром задачу: завтра на рассвете мы нападаем на караул номер шесть охраны мясокомбината города Одинцово и разоружаем его. После чего мы забаррикадируемся в холодильной камере, где собрано мясо для новогодних заказов жителям России и, угрожая размораживанием и взрывом, требуем прямой эфир на радио и телевидении для обращения к нации. Говорим, что хотим. Все. Больше от нас ничего не требуют. У других пятерок свои задачи, у нашей — эта. Сделаем и можем отдыхать, все. А что будет после? Это спрашивает четвертый. А что будет, если прямой

эфир не дадут? Мы разморозим мясо и взорвем холодильник... Что же дальше? Да нас же просто отдадут толпе, нас разорвут на куски голыми руками. Какой смысл в этом диком задании? Нас не так много, чтобы жертвовать сразу пятерыми! Что за нелепая демонстрация. Герой отвечает устало: видимо, так надо. Это наша доля общего долга. Сделаем, и наше задание закончено, и все свободно от дальнейшей борьбы, если, конечно, нет особого желания, хотя мы себя засветим операцией, и для Центра будем бесполезны... Не знаю, мне в таком нашем применении, краткосрочном и одноразовом, видится очень много выгод. Давайте расходиться. Сбор через три часа. Не забудьте взять с собой партбилеты, до свиданья. Но все равно — это безумие, говорит четвертый. Герой отвечает: мне кажется, безумие наоборот — кончается этим. И все расходится.

Дома они долго слушают дыхание спящих детей, пишут странные жестокие слова на бумаге, спокойно отстраняют рыдающих жен, что есть сил обнимают седых матерей. Их не узнают — они какие-то другие. Они и сами не могут понять, почему им так легко. Горько, жутко, муторно, но есть освобождение и легкость и есть воскресение в пустоту. Будто встают среди ночи на кладбище из могил и сразу ложатся в другие.

Ровно в пять утра, это самое лучшее время для нападения, они молниеносно врываются в помещение караула номер шесть мясокомбината города Одинцово; но караула нет — как выяснилось потом, он пьянствовал в гостях у соседнего фермера. Они крадутся в помещение другого караула, но тут их замечает юрисконсульт комбината — он подъехал к комбинату на машине, чтобы забрать мясную тушу, переброшенную через забор для него. И вдруг он видит чужих людей на ведомственной территории и понимает, что это — воры. Юрисконсульт поднимает на ноги всю охрану, и пятерку блокируют во дворе бронетранспортерами мясокомбината. На них бросают спецназ, пятерка сражается с поразительным ожесточением, хоть и голыми руками, не забыта выучка прошлых лет, есть что показать молодым — они убивают человек шесть, хоть и сами все изранены, а один из них — даже убит. Убит четвертый, который многодетный. В суматохе и скоротечности боя трудно было заметить, каким образом он пал на поле брани.

Их судят в двадцать четыре часа, и присяжные утверждают справедливый приговор — расстрел. А четверо ждут в камере своей смерти, в каменном сыром склепе, где бегают крысы, много-много крыс, трое очень спокойны и смиренны — ничего особенного для них не произошло, — Грачев приподнялся и подложил ей под голову руку и взгляделся — она не спала, она только мерзла, он укрыл ее пиджаком и прижался теснее, ближе, губы его шептали в губы, — и вот тогда герой и не выдержал — ему слишком страшно умирать так, молча. Да и совесть грызет его благородное сердце, вообще — он устал. И он во всем признается. Что он по своей собственной воле поднял их на ноги. Что никакой вести не было и не будет никогда. Что то, что они сделали, — оказалось бесполез-

но. Что все напрасно и все зря. Намешалось все, и вышло нехорошо. И ему жутко не хочется умирать так, он искал только легкости, а все выходит наоборот, но вот теперь он им сказал и — счастлив, он сказал это все, и ему стало легче. Теперь же он не один, правда? И он вдруг смеется: громко-громко. А товарищи его воют от ярости, рыдают в тоске, они катаются по каменному сырому полу меж бегающих крыс и режут от отчаяния, и крысиные хвосты лезут им в рты, а они этого не замечают — им невыносимо умирать так и понять это именно сейчас. А герой счастлив. Даже тогда, когда они убивают его. Он только шепчет напоследок холодеющими губами: четвертого я не убивал. Это, товарищи, кто-то из вас. С коммунистическим приветом — и улыбается еще, на прощанье.

Трое расходятся по углам каменного подземелья и не смотрят друг на друга. И нет сейчас на свете людей ненавистней друг другу, чем они, им кажется, что он сходят с ума, они не могут ни говорить, ни плакать, ни кричать друг при друге, их сдерживает ужасная, точная общность их положения — они не могут даже думать теперь.

На рассвете их выводят во внутренний двор тюрьмы. Напротив них изготавливается к стрельбе взвод солдат. Сверху на них смотрят телекамеры прямой трансляции и многотысячные трибуны со зрителями. Им зачитывают еще раз приговор и коллективные телеграммы фермеров, бизнесменов и продюсеров. Он стоит в белых рубахах, и офицер командует солдатам стрелять и взмахивает кнутом.

И вдруг первый кричит:

— Да здравствует социализм! Да здравствует Ленин!

И второй кричит:

— Мы победим! Да здравствует коммунистическое Отечество свободных и счастливых людей!

И смеется навстречу пулям.

И третий подхватывает:

— Революция бессмертна! Завтра взойдет наше солнце!

Они стоят рядом, обнявшись, они хохочут, и выстрелы расцветают кровью на их рубахах, они падают, помогают друг другу встать и падают теперь уже — навечно, умирают, но лица их счастливые, светлые, легкие, летящие...

Грачев смолк, и ладонь его плавно-невесомо скользнула по ее мягкой, дышащей щеке.

— Вот и весь романчик... Что-то такое невыразимо грустное... В духе Грина. Вот вы спросили меня: а что же будет потом? Оживет ли «алмазная цепочка» и закрутит ли революцию? Или нет? Не знаю. Меня это даже не особенно волнует. Это ведь роман эпохи именно потому, что совершенно неважно, что будет потом. Мне просто очень нравится концовка. Хоть очень грустно.

Когда я перечитываю ее про себя, кажется, что внутри меня завелось болото, и комары сосут сердце. Нестерпимо, когда думаю про это... Просто не могу. И вот рассказал, и жалко стало. Значит, точно уже не напишу, не судьба, значит. Да? Да. И что тебе еще сказать, любимая моя? Что ты красивая? Что казалась мне в тебе сила, которая манила еще со сказок — понимаешь, стучится уже в двери смерть, ломится, а она говорит тебе: спи спокойно, добрый молодец, утро вечера мудренее... Тут не было возможности и мгновенья без страха прожить, а она сказала — и можешь, оказывается, уснуть. А она всю ночь сидит и прядет, шьет, варит — а утром спасает. Это я потом уже подумал, что если она его спящего убьет, — это тоже спасение, ведь уснул-то он счастливым, да? Да. А мне скоро надо будет уйти, ладно, неслышное мое дыхание? А ты побудешь здесь, ключ в замке. И выйдешь, когда ночь станет нестрашной и пустой, — это и будет часов пять. Старушки только будут под окнами собирать бутылки, и дядя дворник выйдет на работу с лопатой железной. Запомнила, птица моя растрепанная, да? Да. А ты ведь оказалась совсем как я, в конце концов сделала меня таким же, и зачем ты только пришла... — его губы тонули вниз, навстречу дыханию влажных, набухающих губ, как летучее зерно седого одуванчика на подмокшую душистую обочину, напитанную ночным дождем, кружась, теряясь и тая, утопая, напутствуя руки в плавание, в трясины, в горячее, — а она вдруг извернулась суматошно, вырвалась, перекадилась в сторону, красиво лизнув волосами бумаги и хлам, ударила его с плачем ногой, острым, каблуком, отшвырнула с плеч пиджак и забилась подальше скорей, в самый угол — собралась в ком, выставив колени вперед, тревожно задышав.

Грачев остался сидеть на коленях, прижимая рукой там, где угодил ее удар, он вынес эту руку в сиреневый зимний свет, будто ждал увидеть на ней кровь, и растерянно выдавил:

— Мне надо пойти.

— Грачев, — лениво позвал голос Ванечки из-за двери, — мне кажется, что ты здесь со своей любовью. Ты не хочешь открыть и кое-что мне объяснить?

Грачев на цыпочках подскочил к окну и насунул пиджак. Резанул ключом утепляющую бумагу, окно радушно зевнуло и пустило в читалку зиму и ночь.

Он смахнул на пол комки грязноватой ваты, провисшие с распотрошенной рамы, спугнув шелохнувшееся и запищавшее в углу серое — за портретом посыпались листы, холст внизу раздувался и шевелился, укрывая протискивающиеся тела; и полез задом за окно, боязливо размещая ноги снаружи, отчетливо бросая в читалку:

— Шалава. Тварь. Грязная подстилка. Паскуда. Животное. Ничтожество, не смей и думать, скотина, о себе, как о человеке, и не смей даже думать что-то обо мне, сволочь! Паршивая тварь!

Справа, распахнув жаркие и шумные окна, парилась кухня, и Грачев крохотными, шаткими переступами двинулся вправо, еле

умеща ноги на узеньком выступе плиты и крепко перехватывая скрюченными пальцами гибкую жесьть подоконника.

На полпути он остановился, успокаивая сердце и кровь, распределив руки между подоконниками читалки и кухни, и цедил, задыхаясь, себе:

— Не думай! Не думай, тварь такая! Не вздумай...

Теперь надо было вниз, нужен был другой этаж. Нижняя кухня светилась тоже, но ей было славно и без сквозняка — окон там не открывали.

Грачев отделил ставшую чугунной ногу от краешка тверди и спустил ее вниз, усердно приседая и косясь наливающимся кровью лицом за спину, — достает до окна, нет?

Когда нога достала до окна, он дал волю лицу передохнуть, посмотреть, что же сверху — сверху была только одинаковая стена и траурная кайма крыши, по сторонам были руки и подрагивающие тяжело подоконники, и теперь он стукнул ногой в светлое нижнее окно: раз, раз, раз и медленно поджал ногу обратно, чтоб не мешать открыться окну и не сорваться от усиленного движения.

Он подождал, развлекая себя суховатым инеем на стене, темнеющим и мелеющим под его дыханием, еще не было холодно, еще было жарко, и снова посмотрел вниз: окно не открывали. Могло никого там и не быть. Или люди орут, веселятся, болтают, гремят посудой, шумит вода...

И он опять погрузил свою ногу вниз и стукнул было уже стекло, как вдруг подтаял и стерся спасительный край под опорной ногой, она съехала, слетела, жестоко дернув все тело вниз, к земле, отдавшись ударом до головы и предательски поползших пальцев, и он повис, гася этот удар, извиваясь, как флаг на ветру, и наперекор непрерывно скользящим пальцам, онемевшим на жести, перехватывая судорожно, с кряхтением, по очереди: левую, правую, левую и опять правую и уже заглядывал вниз на мусорные контейнеры и отсутствие сугроба, уже решая в миг падения качнуться назад, как можно сильней, чтоб хоть на ноги, и это было единственное, что позволило ему визжащее, испаряющееся во влажную смятку тело...

И тут с протяжным стенаньем на нижней кухне отворилось окно, и кучерявая негритянская голова высунулась на свет Божий.

— Шалава, — не успокаивался Грачев. — Просто грязная подстилка, — и ступил потихоньку на оконную раму. И она выдержала.

Негр, не обнаружив ничего заслуживающего внимания в окрестностях и пространствах отдаленных, потянул раму на себя для дальнейшего сохранения тепла.

— Мужик, — хрипел Грачев. — Милый!

Глаза негра сверкнули снизу, как два куриных яйца.

— Убрал башку, я сказал, Подставь плечо. Или руку. Руку! — лающе приказывал Грачев.

Негр потрясенно сморгнул и спрятался.

Грачев потерпел, покоряжился, и вторую ногу устроил к первой, боясь лишней раз шмыгнуть носом на придавленно замершей раме, и стал изучать свою опору. На раме пониже верхнего края торчал запирающий окно крюк. На него можно было попробовать наступить.

Грачев погрел движеньем одну ладонь, другую, ладони, спасшие тело, ощущал выступ, предавший ноги. Он еще ждал чего-то, уже злясь на себя: нечего было ждать, и намокшая рубаша теперь выстудилась и ледяно трогала спину, внизу скопилась тройка запоздалых ходоков, наблюдавших за его подвигами и геройствами.

Он разозлился на себя еще сильнее, ступил ногой на крюк и начал спускаться: перебросил руку единым движеньем с подоконника на стену, на крохотный выступ плиты, другой перехватился за оконную раму, смертно качнувшись спиной в пустое, скрипнув пальцами на стене, а потом уже и второй рукой за раму, и качнул ноги, повисшие вперед, и упал на кухонный пол, неуклюже перевернулся на четвереньки, попытался встать, но ничего не получилось.

— Ой-ей-ей, прыг да скок, прыг да скок...

Грачев поднял голову.

Негр возил в кастрюле ложкой и одобрительно покачивал Грачеву ночной своей головой.

— Что ты варишь? А? — сразу спросил Грачев, разминая колени и запястья, возясь по-паучьи на полу.

— Ой-ей-ей, — настаивал негр, похоже просто напевая на свои своеобразные темы.

Грачев поискал и нашел: достал из угла полную урну и, страдальчески ахнув, разогнулся.

— Сейчас посолим.

Негр прекратил песнопения на русские мотивы, и ложка его совершала в кипящей кастрюле погрузневшие круги.

В кухню прошлепала черная девочка, кучерявая, как спираль электроутюга. Она протянула негру в тарелочке соль и сердито посмотрела на Грачева.

Негр ущипнул соль, не глядя, почти касаясь носом кастрюли, и потом этой рукой обнял девочку за шею. Она заглядывала в кастрюлю и стучала о плиту смородиновой коленкой, острой, как локо-ток.

Грачев убрал урну на место, закрыл окно за собой и на цыпочках вышел, подмигнув девочке.

— Ой-ей-ей, — весело запел на кухне негр.

По лестницам сползали, вздымались и перемешивались потоки зрителей веселых видеосалонов. Грачев поднимался, хоронясь за спинами, чуть не тыкаясь носом в загорелую поясицу, лезущую наружу меж майкой и физкультурными трусами.

Читалка — налево от лифта, он свернул с толпой направо, к администратору, обгоняя медленных, и поймал за локоть заочницу



Ирку, слушавшую яростно чем-то увлекшегося и истощенного мудростями первокурсника-каратиста, обосновавшегося теперь с книжками в коридоре.

— Ирина, — внушительно позвал Грачев, — на пару важных слов.

Первокурсник неумело и гневно сплюнул себе на тапок.

Ирина упиралась и подхихатывала, он ласково и глядя подталкивал ее в спинку, первокурсник глядел теперь так, будто у него уводили маму.

— Тебя тут искали-бегали. Как с цепи посрывались, — смеялась Ирка и оборачивалась, наваливаясь на Грачева спиной, чтобы круче выгнуть грудь. — А Шелковников все с этой шлюхой Олькой у нас, пьяный совсем. И Олька хороша — оба! Хотя заведи его. А ты когда хоть освободишься? Сколько мне тебя ждать?

— Очень скоро, если не будешь больше пить, — пообещал Грачев, взял ее за плечи и посмотрел сумрачно на сразу отвернувшегося первокурсника. — Ирина, я должен вас предупредить. Будьте осторожны, он — несовершеннолетний.

И завернул к администратору, привычно запер за собой дверь, свет в комнатку сочился откуда-то из-за стеллажей, и позвал тихо:

— Вера. Вера.

За стеллажами готова была постель — два уложенных на пол матраса, запорошенные слипающимся и жестким после прачечной бельем. Рядом на полу желтела лампа, выжигая на морщинистом паркете золотистую округлость. На столике, на застекленных фотографиях детей горным массивом вспучилась салфетка, скрывая пахнущее консервами и еще чем-то горячим.

Она плакала прямо с краю, у занавески, не бросая сигареты и ломко улыбаясь лилово раскрашенными губами, в черном воздушном до прозрачности платье, не прячущем белья, она плакала, тербя на груди медальон с чем-то религиозным, и стряхивала пепел в выпитый стакан. Увидела его и потянулась вниз — воткнула с сухим целующим звуком чайник в розетку.

— Все воюешь? Тут прибежали, как оглашенные, ключ от 402-й спрашивали — запер, что ли, там кого-то? — буднично рассказала она, разглаживая платье на сильных коленях.

Грачев наклонился и остановил ее руки, и она заплакала опять, уже уткнувшись в него.

— Сама не знаю... Прямо сама не знаю. Сижу, как дура, и плачу — все в голову лезет. Вот тебя жду. Жду и жду. Шаги слушаю. А ну и что? Дальше что будет? Потом?

— Вера.

— Да что Вера?! Что ты, мальчишка, мне можешь сказать? Вера Александровна сама все знает, сама все сделала, как захотела... Чего ж теперь голосить: получила — ни конца ни краю не видно, жду и жду. Тут еще у Кольки нашего лысого жена в больнице померла.

— Я не смогу сегодня, Вера. Правда, я очень хотел. Но все не складывается.

Она бросила сигарету и мужским голосом, не прервавшись, продолжала:

— Да ну тебя совсем. Так другой сможет, да ты вообще хоть не приходи никогда. Ну разве я об этом? Вот скажи мне, ты кто у нас будешь?

— Географ, открыватель земель.

— Пусть. Ну и за каким ты меня открыл? Что ты ко мне прицепился тогда? Любопытно было со старухой? Только? И ладно бы просто взял, а говорил со мной зачем? Ты все мозги мне забил своей смертью, время уходит, уходит... Ты разве мужик? Да ты не мужик! Что ты мне дал? Ничего. Только взял. Я думать после тебя перестала: ни вчера, ни завтра. Все порхаю, гуляю — лишь бы не думать. А я — мать, Грачев. Ты понял? Я — жена в конце концов. Я бабкой скоро буду, вот о чем мне думать надо! Вот чем жить! Зачем ты это сделал со мной? Да убери ты свои руки... Ты ничего не понял. Ты о своем. Ты все во что-то играешь, тебе никто не нужен всерьез, тебе все нравятся — лишь бы мимо проходили. Ладно, уходи, не майся. Там в коридоре уже ждет с первого курса. Нежный такой мальчишка. Я люблю теперь таких... в очках. А тебе, милый мой, уже пора дипломчик писать, заканчивать, да? Ну что тебе еще? Чего ты хочешь?

— Вера, если кто-то постучит, дверь открой. И сразу садись за стол.

Вера Александровна насмешливо цыкнула, повела головой в сторону и, потянувшись, вытряхнула пепел из стакана в урну.

В дверь вежливо стукнули два раза.

Грачев беззвучно укрылся занавеской.

Вера Александровна подняла брови и тяжело поднялась, оправив сзади платье, будто отцепляя репы, и пошла враскачку открывать. Сразу вернулась за стол и достала свежую сигарету.

— Добрый вечер, Вера Александровна, — накатило начал свеженький и смуглый Ванечка. — Вы так сегодня обалденно выглядите. Не обижайтесь, Бога ради, но так хочется застрять у вас на целую ночь.

— Застревай, пожалуйста, — хладнокровно оторвала губы от сигареты администратор. — Ну чего надо, Ваня?

— Ключики от читалки — на четвертом, пятом и шестом. Где-то учебник мой посеяли, брали, затаскали и вспомнить не могут, а тут зачет завтра, сессия на носу. Что делать... Буду искать по всем читалкам, прочесывать.

— Ваня, читалки работают только до двенадцати. И у меня после двенадцати отдых, я день отработала, ты понял? У меня, может, ноги не ходят, знаешь, как сегодня в прачечной с бельем? И Салих ваш с магнитофоном. А из-за тебя я должна еще сидеть и дожидаться тебя, в свое время для отдыха. Дня тебе не хватило! — свирепо бубнила Вера. — Достали уже все совсем, у одного магни-

тофон, к другому друг приехал, той белья не досталось, ты теперь... На! Но чтоб десять минут, и тут был. А то я сама посмотрю, что там за учебник ты ищешь. И с кем, — и она сунула ему три ключа, зевнула утомленно и покосилась за спину.

Грачев выступил из-за занавески и согнул чуть руки, горячие от бега крови.

Ваня повернулся. Он разглядывал ключи — те ему дали или не те. И вдруг он почувал, что в темноте перед ним кто-то есть, он прищурился, и Грачев ринулся вперед, отбил руки с прозвеневшими ключами в сторону, придвинулся плотнее еще и коротко, резко саданул поддых, в мягкое, вздрогнувшее, мясное, сквозь одежду.

Ваня вскрикнул, нелепо, истошно, мотнулся назад, ослепнув от боли, раскрывшись, и Грачев ступил за ним, впритирку и без перерыва: левой в лицо, а потом, вслед посильней и весомей — правой, уже по падающему, вдогон.

Ваня рухнул подкошенным, сбив раскинутыми руками карандашницу и календарь со стола, и здорово приложился затылком.

Администратор печально смотрела, как отражается в синей, застекленной ночи багровая муха ее сигареты.

Грачев подождал, пока Ваня решит открыть глаза, и сунул к его лицу поближе свой сапог.

Вера Александровна, недовольно побряхтывая, нагнулась подбирать с пола рассыпанные карандаши.

Ваня повозился на полу, выдохнул пару раз, простонал что-то невнятное и упавшее, и сел, и трогал не своей будто рукой морщившееся лицо здесь и там, и затылок, там, где болело.

— Мразь, — сказал ему Грачев. — Я отпустил ее давно. Но для тебя этим не кончится. Еще не все.

Ваня увидел его с трудом, его изнурял свет и боль, и несмело, презрительно он говорил:

— Ну... Ну вот зачем ты себе портишь жизнь? Совсем ведь испортил. Ну зачем, а? — и махнул рукой, оскалившись: — А, ладно... Иди теперь. Еще посмотришь, увидишь. Посмотрим. Беги теперь.

Вера Александровна перегнулась через стол и протянула вниз руку:

— А ну-ка, дай ты мне эти ключи. А то ищи потом, ходи.

В коридоре, как мумия, застыл первокурсник. Грачев, проходя мимо него вдруг поинтересовался:

— А вот вы, кстати говоря, не знаете: правду говорят, что сифилис лечится в две недели?

Первокурсник закрыл за очками глаза.

Внизу у столовой гудели лампы и влажно дрожали отражением на каменном полу, вытертом шваброй уборщицы; долготерпеливые товарищи ждали очередь на междугородный телефон-автомат, пересыпая чешуйки мелочи на ладони, уборщица перетаскивала ведро

дальше и опять начинала тереть, спрятав в карман потерянный теннисный шарик, теннисный стол стоял пустой, но сетка еще натянута и лежали ракетки: розовая и синяя, и Грачев подошел поближе.

Хруль сидел на скамеечке с тихонькой маленькой девушкой, ждущей телефон, и, ероша лапой прическу, живо болтал, постукивая кроссовкой о пол: та-да-дах, та-да-дах...

— Кот, нет, вы, девушка, не поверите, а я — честное слово! Кот был, урчал вот так: ур-ррр, хах-ха, так. И бока, такие вот, толстые бока, они вот так вот ходили, вот так вот — бочонок, правда! Но лени-ивый, лежень, и побродяга! Ночью не усидит. Тыкаю мордой в дыру: крысы, Кузя, крысы нас едят! Не-а, только ночь, к дверям подходит и орет: мяв! Мя-а-ав! Мья-а-ав! — Хруль быстро посмотрел, как Грачев берет ракетку со стола и шлепает ею по ладони. — Я его с вот такого вот выкормил, как мама. Соску из тряпки делал. Ведь ночей не спал, грудью почти что кормил, ха-ха, — Хруль оперся поудобней на скамеечку и запечалился, — и бросили с шестнадцатого этажа. Рука поднялась у кого-то, эх. Похоронили. Как кошки теперь без него... У него же потомства... Толпы! Давал, короче, шороху, котяра. А теперь — конец, все, отгулялся. Вот Грачев его помнит. Чего тебе, Грачев? Сыграть хочешь? А мы тут шарик куда-то закатили.

Тихонькая девушка возвела на Грачева чистые погрустневшие глазки, свежо разомкнув малиновый рот. Грачев посмотрел на ее подбородок с припудренными прыщиками, почесал ракеткой за ухом и, опуская ее, взрезал рукоятью Хрулю в лицо.

Потом он поспешил в сторону выхода. Он поглядывал на свою тень, телесную, уверенную, на стеклянных стенах столовой.

У девушки рот расползся пошире. Она, откинувшись к стене, смотрела, как Хруль сидит на полу, поднимает ладони к лицу, и навстречу ладоням капает безводная, темная кровь длинными каплями, и Хруль вытирает где-то там, на лице, где он прячет, сгибаясь, к полу, а на ладони остается размашистый мазок красного, жирного, и кровь роняется еще, — а Хруль вытирает ее, трогает что-то на себе и мычит, когда под пальцами — хруст, и сразу капает сильнее и вытирает накопившееся на руках об пол, оберегая сверкающий красиво костюм, спортивный костюм.

Девушка вскрикнула, будто разорвалось, рвануло что-то живое, и уборщица грохнула ведром, и побежали люди от оглохшей телефонной очереди, а Грачев, выйдя на стужу и ночь, глядя в снег, побежал на трамвай, мягко толкая дорогу ногами и скользя, и заглатывая смертельно уверенную ледяную ночь, и она поджигала там внутри все, и все там горело ровным, обманчиво невысоким пламенем и немело.

Черные рельсы, вцепившись в снег, сияли сталью, за мостом у «Вино—водка» менялся светофор, и были огоньки.

Грачеву приспичило, и он нашел за ларьком «Пиво» круглые дыры в промерзлой, незанесенной снегом земле и направил в дыры облегчающую струю, довольный.

Из дыры в тень ног выбралась скачком сначала голова, потом продолговатый комок и вытащился хвост, скользнув между ног. Грачев смело улыбался и наводил порядок в штанах, а крыса докела до кустов, присела, потом перебралась, смешно раскачиваясь на ходу, подальше, мелко семеня, даже остановившись, как от холода.

Грачев выбил из сугроба ногой затвердевшую глыбу и, вцепившись в нее, припустил что есть духу за крысой, пробиваясь сквозь ветер с отчаянным радостным посвистом.

Крыса постелилась к дому, в укрытие, толкнулась в глухой угол у крайнего подъезда, и он накрыл с широкого размаха этот угол ледяной глыбой и вдруг, передернувшись, полетел обратно, подбил на скользком одну ногу другой, свалился на бок, вскочил скорей и понесся дальше, высоко поднимая ноги, словно чувствуя на штанах цепкий, шевелящийся мелкий вес, шарахаясь от теней человеческих следов на снегу, и в трамвае, уже когда ехал, все смотрел в окно на высвеченные обочины, наблюдал — но за ним никто не гнался.

И трамвай, теплый, подрагивающий, вез его дальше вместе с похожим на монаха железнодорожником в форме, и Грачев растопыривал на коленях пальцы, поднося их ближе, оглядывал ногти, тут же обкусывая неровности и лишнее. Если подносить ладони ближе — они темнеют, если дальше — они собирают свет и копят его в сальных бороздах и сгибах — они меньше согревались, они хотели под рубашку, к горячему — но там уже было не то, и ладони были жалки так, что Грачев отвернулся, покусывая губы, тер плаксивые глаза и стылые, холодные и грязные бока, и волосатые ноги с единственным изгибом под черепастым коленом.

Трамвай повторял плавные, карусельные, ласковые повороты и ехал на гору с присвистом, считая остановки взмаргиванием дверей, и Грачев считал остановки тоже, и вышел на пятой, сразу побежав к синеватой табличке «89-е отделение милиции», мимо машин с зарешеченными задними пассажирскими окнами, по белому снегу, за тяжелую дверь с толстым и круглым стеклянным глазком. В коричневом коридоре пахло предбанником в конце дня и паршивым, подобранным с пола куревом, там дальше шумно дышала, как мученик астматик, рация, за окошком спал дежурный затылок, и рыжеусый милиционер, сграбастанный черным полушубком, крутил на пальце гибкую дубинку, как черт свой хвост.

В камере беседовали две головы:

— Так я там скотник.

— Скот-ник? А ты хоть знаешь, сколько у коровы сисек?

В камере что-то стали складывать на пальцах. Чмокнули сверху часы, и рыжеусый милиционер тронул дубинкой плечо Грачева:

— Кого ты ищешь? Друг, что ль, его? — и показал дубинкой в камеру. — Не запарился в пиджаке?

В камере продолжали общаться:

— Так что потянуло-то?

— Что потянуло? А вам на что это? Я ж признал, подписал...

— Ну мне для интереса.

— Психологии тебе хочется? Так ты налей мне бокал пива, я тебе всю психологию точно представлю.

— Ты знаешь, что, — тронул Грачева рыжеусый милиционер, — ты подойди к тому, что в камере допрашивает, он справа, и скажи: товарищ генерал...

— Не надо! Не надо, Зускин. Не трогай парня, — устало сказал из-за окошка дежурный с красными пятнами на щеках, — ну что там?

— У нас в общежитии украли магнитофон у араба из 411-й комнаты, — выговорил ровно Грачев и откинулся на острые ключицы батареи, до боли, к теплу.

— А тебя раздели? — спросил рыжеусый.

— Это он, чтоб побыстрее. Бежал, — раздумчиво зевнул дежурный и крикнул в камеру: — Вылезай, Бескровный.

Из камеры появился лобастый из-за ранних залысин парень в сером костюме и покрутил круглой головой:

— Что? Что такое?

— В общаге магнитофон дернули, — поведал ему рыжеусый Зускин. — У араба. Вот этот пришел рассказать.

— А араб? — тонко спросил лобастый Бескровный, выпучив голубые круглые глаза с крохотными острыми ресницами.

— Араб боится, — объяснил Грачев, помолчал, отчужденно уставившись на Бескровного, подтолкнул себя и тяжело досказал все, что хотел:

— Я знаю, кто украл. Я их видел. Я покажу.

— Ваши? С общаги? Сколько их? Где живут, знаешь? — пищал Бескровный. — Во сколько?

— Наши, двое... Нет, трое. Я все знаю, покажу. Утром, часов в одиннадцать.

— Чего ж ты столько ждал? — весело спросил Зускин. — Давно бы взяли. А что за магнитофон?

Одиноким постоялец камеры протиснул нос и губы меж железных прутьев:

— Хлопец, у тебя курить нема?

— А? А-а, — вскрикивал в захрипевший телефон дежурный. — Так они выехали уже! Я говорю: вы-е-ха-ли! Уж-е! Что? А? А я откуда знаю? Ну давай.

— погоди, слышишь ты, — нагнулся к окошку Бескровный, и из-под его пиджака вылезла кобура. — Я протокол вот на этого запер в сейфе на втором. Да ты понял, что на втором? А? Вот там, ага. Ты чай пил? Есть у нас кто из ребят? И Хиснутдинов ушел?

Зускин звонко шлепнул дубинкой по его заду и моментально отвернулся к плакату с разборкой пистолета Макарова.

Личность в камере старчески отстраненно улыбалась и сминала покучной пальто, изготовляясь для сна.

Бескровный хватанул грозно кобуру и погнался за Зускиным по коричневому коридору, тот отпрыгивал и отбивался шапкой.

— Бескровный, — монотонной сиреной канючил дежурный. — Ну поехай с парнем. Давай. Араб напишет, посмотришь, и ребята подъедут как раз. Давай, ехай с парнем.

— Небось бабу хочешь в общаге снять, — тыкал Зускин дубинкой в бок закидывающего на шею шарф Бескровного. — Кудрявый ты наш.

— Я тебя убью! — грозился и прижимал подбородком шарф, влезая в пальто, Бескровный и говорил стиснуто дежурному: — Чай без нас не пей. Пожевать оставь.

— А что жевать? — уныло спросил дежурный, оглаживая припухшее лицо. — Мыши все печенье съели.

Зускин простучал дубинкой батареи и, скрипя сапогами, отправился к машине, крикнув на выходе:

— Ну где ты там, герой?!

— Иду! Иду! — откликнулся Бескровный, заправляя безвольные руки в теплые перчатки.

— Да не ты, коряга. Герой!

Грачев поднял себя и выставил из-за угла:

— Это я. Иду.

— Ни кола, ни двора... Ни хрена, — жаловался в потолок обитатель камеры. — Поехали. По ровненькой дороженьке. Товарищ дежурный, а чё, вправду мыши, что ли, есть?

Машина, размазавшая Грачева в совсем чужого, ехала быстрее, чем он ждал, и все, что было, это — белые цифры и стрелки под рулем, ныряющие тропинки света от фар, елочные игрушки, качающиеся в такт над головой, пружинящее сиденье, запахи жаркого машинного чрева и не отдохнувшей обуви, гомоса.

— Ну так что у тебя со Светкой? — поглядел на Бескровного Зускин.

— Да ничего. Ничего я в ней пока такого не нахожу. Да ты сам знаешь. Жениться для меня — это проблема.

— Так погоди. Тебе тесть ключи от машины показывал? Да? Дачу он строит? Построил почти? Сколько там соток?

— Двадцать.

— Во! Двадцать соток! Ну и чего ты думаешь? Женись — это любовь! В гости зовет?

— Вчера ходил.

— Папашка еще в захват шеяку не брал? Маманя продолжительно не целует? Со Светкой внезапно не запирают? Или ты

садишься спиной к дверям и не снимаешь верхней одежды? Шапку в руках держишь?

— Иди ты...

— А по мне: Светка — стильная девка. Я бы на ней женился. Кормить будет, стирать, спину на ночь почесывать. Не надо будет по обшлагам ночью ездить баб искать — одни плюсы...

— Ты рули лучше, советчик. Тебя послушаешь вообще все мрачно, и ни черта не хочется, все вывернешь!

Зускин напел что-то и доложил:

— Хочу к вам в угрозыск. У вас хоть швабода. Первый корпус?

— Да, — подтвердил Грачев и взялся за железный клюв дверцы, которую надо будет открывать, когда все начнет кончатся и надо будет потечь дальше, расти, не отмечая уже границ, прямо в потолок, во тьму. Грачеву хотелось подушки, одеяла, жалующихся, запыхавшихся вздохов ветра в окно, мерной раскочки бельевой веревки и забвения в тепле, и пока его тащило, он пытался даже подремывать на ходу, прежде чем это будет потом и тогда, когда вынесет и на что-то поставит, а Бескровный сошел с сиденья на пустые ступени общаги и велел величавой рукой рыжеусому Зускину ждать, а потом уже, если что... А вахта спала и пробуждалась тяжело после многих и частых ударов и глядела сквозь стекла, закрываясь руками от света, отодвинув от глаз пушистые пыльные шали, а косая в вязаной шапочке ковыряла ключом незажившую ранку замка, отпирая...

— Этаж? — и лобастый Бескровный показывал удостоверение и не видел Грачева, а этаж был четвертый и весь спал под солдатскими одеялами с тремя белыми лычками в сторону ног, на подушках впалогрудых и хилых, отправляясь на сонных лыжах поскользнуть вдоль краешка последнего, откуда когда-то придется лететь, — никто не слышал, как шли их ноги, никто не видел, как важно ходит лобастый человек с коричневой папкой в руке и Грачев, и никого не разбудил равнодушный, дежурный стук в дверь.

Потом они застучали по очереди. Грачев помогал, торопя, ускоряя, ища глубины и странно забывая, зачем это все затеяно, а внутри шаркали, окликали друг друга, просили вставить, рядились, кому вперед, и тот, кому вперед, сидел очумело на краешке сна, как сушился, и его звало назад и трудно отпускало — он спотыкался на обуви и шарил ладонью по белесой, вытертой вокруг выключателя стене, гася сон.

— А кто там? — донеслось.

— Он что? Не знает? — жарившийся в пальто лобастый вглядывался уточняюще в Грачева и заорал: — Это из милиции!

— Салих дома? — выжал из себя Грачев, и его гнул к земле собственный голос, двигал к стене, мял и душил невыносимым стыдом.

Открыл длинный негр в тельняшке и чесал ушастую голову и мямлил:

— Здроста-ти.



— Салих, — четко сказал лобастый с коричневой папкой, сверяя правильность нужного имени по Грачеву. — Тоже, что ль, спит?

— Салих! — и забулькал негр в комнату, уставше согнув колено и покачивая дверью, закончил чем-то вопросительным в конце — в ответ ему кричали птичьи и горячо, прерывисто, недовольно.

— Ни можит ийти. Спит. Устал очень сильно.

Негр с намеком пошевелил дверью.

— Это что за ерунда? — запищал лобастый, уже взмокнув. — Хищение у этого Салиха было?

Негр опять обратился в глубины комнаты, но запнулся на переводе «хищение» и пошел сам в сонную тьму.

— А при каких обстоятельствах случилось? — затараторил лобастый, озлобляясь. — Отсюда брали? Из комнаты? Ты точно видел? А как сам оказался тут?

Грачев смел с лица неотвязное, липкое, мутное и словно провалился в комнату, отстранив негра, с громыханьем отталкивая с пути занавески, вскрикивающие женские плечи, стулья, коробки, нащупал лампу, засветил всему миру — и какой-то старик араб испуганно взметнулся на кровати, моргая редко, как счетчик в такси.

— Салих. Са-лих, — твердил Грачев в это старое лицо. — Салих!

— Вон там, вон там, пожа-ста.

За шкафом уже был свет, и художавый Салих гордо ожидал гостей, опираясь плечами на стену, увешенную цветными картами, палестинскими флагами, небритыми черными портретами с червячками арабской вязи, крепкими руками, сжимающими автоматы, и написанными на разный манер ручкой и красками словами «Абу Нидаль».

Лобастый значительно опустил на стул и с облегчением растегнул пальто.

— Салих, — закончил Грачев путь, — у тебя украли сегодня магнитофон. Я знаю этих людей, кто взял.

Лобастый одобрительно улыбнулся Салиху, вытащил из папки нетронутый белоснежный лист бумаги и испытал ручку — она писала исправно.

Грачев гладил рукой по плакатам, лицам, флагам, автоматам, словам, стене.

— Это я думал, что украли, так, — живо воскликнул Салих, подняв обе руки. — Но ребята просто послушать брали. У нас комната просто открыта была. Тараканов травили. Наверно, не закрыли. И я подумал: украли. А они вот сейчас почти принесли. Это наши ребята, у них день рождения, музыку слушали. Я сначала думал: украли. Но я никою искать не просил. Завтра думал. Да это и не страшно. Еще куплю, я не просил ничего. Зачем? А потом принесли. Это с нашего этажа. Наши ребята. Они послушать брали. Зачем тут милиция? Смешно, я не звал.

— Да ясно, ясно, ладно, — поглядел тускло в сторону лобастый и засунул бумагу в коричневую папку, шелкнул тугой кнопкой, застегнул. — Спите! Это вот просто чересчур бдительный товарищ суматоху поднял. Проявить себя захотелось. Отличиться, — в глазах лобастого наметились дымящийся чай и кожаный лежак у батареи, и он быстро покидал комнату. — Спите, спокойно тут вам... Извините, разбудили.

— Спасибо! — выкрикнул на всякий случай араб в спину властям. — Но только я не просил никого, зачем мне это надо, магнитофон там какой-то...

Ну вот, ну вот, темно-белесыми клавишами на полу через одну, так падает в пол свет, ноги в тени, ноги на свету, когда идут и смотришь на них; засохшим, раздавленным после питья крови комаром висят на стенах тушители огня, и ветерок, который зимой везде, тербит на плетеной веревочке гвоздик — раз-раз, раз-раз, на черном ошейнике огнетушителя, этим гвоздиком надо проткнуть засохшую дырочку, откуда хлынет пена, если будет дымить, падать и пылать, и побежать тогда на аварийную лестницу, если ты не в пожарном расчете и не должен крутить телефон по самым коротким номерам и кричать о себе и о том, что...

— Машину сгоняли — раз. А бензин денег стоит — два. Но за спрос денег не берут — три. Ты разберись сначала сам. Ты во всем разберись сначала сам. А потом иди к людям. Ну давай, все. Спи теперь, высыпайся.

Ну вот, ну вот. Сон сперва ставит колени на грудь, колени, как свежие метлы, густые, упругие, сон — дворник, он не душит, ему так удобней места — он метет: начиная с груди — к подбородку и выше, к глазам, выметая из них жизнь и биение дня, а потом доходит до лба и всего, что с ним, разметая теснение и вечную боль, перетряхнув всего прощальным движеньем — жив еще? Проверая крепость узлов на плоту и укладку привычной поклажи, и сон начинается сгущением места, смирением шага, настойчиво-мягко, и всюду мягко, куда ни толкнись — не больно, а мягко и тепловато, но глухо насовсем — никуда, никогда, и теснит, как и день, теснит, кутает, обездвиживает...

А когда лобастый достиг машины, он уже злой, ему в тепло надо и спать скорей, он сегодня сутки, а потом — домой, ну что еще...

— Что еще?

— Это они просто узнали, что я пошел... Догадались и отдали... Они крали... Вам надо знать их фамилии... Они наверняка не первый раз... Ведь есть что-то еще у нас по краям...

Рыжеусый милиционер Зускин ждет лобастого, курит. Его угостил сигаретой Аслан — никому не спится. В их глазах постельное тепло и податливость бабушкиных перин, а ночи сломали хребет на сегодня, и земля хоть немножко вздохнет, приподнимет чуть-чуть эту тьму от себя, теперь нестрашное время...

— Знаешь, герой... Ну ты зайди тогда ко мне, мы потолкуем, что и как. Знаешь, давай прямо завтра. Так, но завтра я отсыпной.

Ну тогда послезавтра в десять. Сразу после развода или лучше тогда после двенадцати, если я не уеду сразу. Ты вообще дежурному в любом случае сначала звони, предварительно. Или сразу тогда с начала следующей недели. Тогда точно. Чтоб я до отпуска успел. А если не сможешь, тогда прямо сразу после... Ты звони предварительно в любом случае! Зускин!

Ну вот, а рыжеусый прощально жмет руку Аслану, и они вместе улыбаются ему, и он один улыбается им, и машина заводится радостно, будто стояла и едва терпела; когда же заведут, чтобы поехать сразу в гараж, где все есть. Все, что надо, там есть.

Чеченец комкает заросшей ладонью зевок и душит, как птицу, толкает ботинком сосульку, и хлопает дверь, он ушел по делам.

А рыжеусый кричит:

— Спокойной ночи, герой! Хвалю за службу.

Когда уезжает машина от тебя, то лучше смотреть на ее огоньки. И кажется, что будто она и не уезжает, а просто ветер ухватил искры из костра, распотрошив головешку, и несет их дальше, пока не загасит их угол, глотая машину, и не надо смотреть на нее: вот, вот еще можно крикнуть! вот еще можно догнать и стукнуть в кабину рукой — ну что же?! Вот еще можно взметнуть руку, и могут заметить, что ты... А вот.

Ну вот опять хлопает дверь и очень понятно, чьи каблукки простучат по тебе, как кровь, отдаваясь в нарывающем месте, там, где все силы телесные — любимые камни на шее, встают на дыбы, чтобы пожить и поесть; женщины пахнут травами, не смертью, тем, чего не будет и неправда, что могло бы; они уходят, когда ночь становится нестрашной, и спины их прямы, им не за что благодарить на прощанье. Когда уходит женщина, тебе остаются плечи и волосы, она не оборачивается, и остается еще рыжая родинка на шее, которой не коснуться губами тебе, хоть сейчас — рядом, достать можно, и словно ее не было, словно у тебя взяли все, женщина уходит, становясь из женщины тенью, фигурой, дальним стуком каблукков на черной недоброй дороге, там ловят такси, где дремотный задний диван и колыбельное качание до дома, где утру можно перегордить путь шторами и все еще можно успеть.

— Ну ты пойдешь спать? Или я закрываю, — вопрошает косая вахтерша, и ее тоже зовет ласковый диван и угрожает медицински неумолимый будильник. — Не поймали воров, нет? А? А я даже тебя и не помню: ты наш или не наш? А?

Когда дом ждет тебя за спиной — это как пасть. Он дышит в спину часто.

— Я пойду.

Ну что же, ну вот, какие у нас остались еще упражнения на дом, для долгого и доброго здоровья надо ходить по ступенькам ногами, пешком, напрягая колени, не склоняясь под незримым мешком на горбу, передыхая на вершине и придумывая себе смысл куда-то идти, еще шевелиться под тем, что свалилось, телесным, победным, и опуститься на пол у крутых упругих человеческих ног,

у теплого мячика живота, спрятав голову на этом дурманящем троне.

— Я пьяная. Мне так легко, — шептала заочница, припадая губами, касаясь податливой грудью. — Мы так весело загуляли у нас. Так здорово получилось. Ребята такие хорошие пришли. Я так смеялась, у меня даже живот заболел, вышла посидеть, отдохнуть, не могу смеяться. Ты не можешь понять. Я ведь живу только здесь. Совсем мало, так мало. Пробежит — и полгода опять ждешь. Живешь только тем, что вспомнишь. Ну молчи. Я все про тебя знаю. Ты думаешь, что я... молчи, я знаю. Нет, я не это. Я просто хочу пожить. Мне ведь так мало надо. И потом еще полгода ждать. Живешь тем, что вспомнишь! Молчи. Мне так мало надо, что даже ничего ни у кого не надо отбирать для меня. Мне хватит вот так, вот того, на что другие и не позарятся. Ну почему я этого не могу? Так мало радости. Не говори мне ничего, а то я буду плакать, ты не должен мне ничего сейчас говорить. Я сама знаю, что ты хочешь сказать. А я не хочу это слышать. Я себя жалею, а ты меня — нет. Ты и себя не жалеешь. Тебе в монахи надо. Не смей мне что-то говорить. Ты поспи вот здесь, у меня, отдохни, ты намаялся, я на тебя посмотрю, пока меня не позвали. Что ты там увидел, а?

— Во мне один сон... Давно уже. Еще маленьким совсем был. Когда болел и в школу не ходил, тогда и снился. Сейчас не болею почти — не снится. Редко так... почувствуется внутри, даст понять, что есть, стукнется затылком об лед. Тихонько — стук! У меня еще, ляжешь спать, нога болела, не сильно, под коленом, ложишься — начинает болеть, я сразу: мама! Мама мне завязывала коленку шалью — щекотная такая, горячая, без одеяла можно спать, нога согревается, сон идет, засыпаешь сразу быстро, не болит, утром шаль сбилась, ищешь под одеялом, на полу. Утром. А сон был — ничего точного нет, та-ак, ветер, что-то просторное такое, не тесное, в общем, ряд каких-то залов, туда, туда, туда, двери распахиваются, распахиваются, а там, в самой нутри, дальше совсем: живое идет, приближается, как бы женское платье, руки тут впереди сложены, на животе, идет, стоит, стоячее, наверное, все-таки, но приближается. Или ты приближаешься, втягивает. И вроде так все нормально, видишь все это, все нормально, а сам вдруг очень точно понимаешь, что это не так. Или так, но тогда все, что видишь, это и подтверждает, что есть что-то страшное, страшнее уже ничего и быть не может, то, что выдержать нельзя, такое невыносимое и уже неотвратимое, что будет обязательно, это ты прозрел и увидел, и больше не сможешь видеть эти залы, не помня, что на самом деле, на самом-то... И тут — раз! И вместо всего! На миг! Уже все чавкающее, ворочающееся, тошнотворное, склизкое, низкое — то, что ты и думал, подозревал, понял, и твое оно навсегда, на! А потом — раз. Не дало тебе уплыть — и опять залы, двери, и ты вроде не помнишь и не знаешь, но уже видишь какую-то дрожь во всем и уже предчувствуешь: сейчас опять будет то, извиваешься, и это то — наступает! И так повторяется, каруселью,

раз за разом. Раз за разом, раз... Теперь не снится. Только лба рукой коснется, подует, когда угодно, без всего этого, но так, что понимаешь — именно это... Раз за разом.

— Молчи, молчи. А? Да что?! Да здесь я, Оль! А? Зачем? Прямо сейчас? Умрете, что ли, без меня? Иду... Да сейчас! Мне надо пойти сходить. Что-то там Олька. Она там одна. Я через десять минут уже вернусь. Ты меня здесь сиди и жди. Ты мне еще расскажешь, сиди только!

Ну вот, что же тебе осталось рассказать, а все и так, а ты иди, а вот далее? Дальше можно, хоть закрыв глаза, без ошупи, просто расслабься, и потянет, унесет в нору свою, в свою темень и шорох и запах чужого помета, а потом призовут наконец, а пока еще стены, дверь и скрежет замочный, и спиной можно дверь подпереть, хоть на миг.

Он прошел до кровати, отодрал шелухой одеяло, как с поспевшего плода, расчистив до белого, снежного. Серая крыса свисала со стула и мешала садиться и посмотреть, когда уже уйдет ночь. Когда уходит ночь, не надо этого видеть, лучше спать в нестрашное время, а то можно поверить, что это надолго.

В дверь просились стуком твердо, сильно, не скрываясь, им нечего было ждать.

Он заправил к чему-то кровать, постоял над ней, как над могилкой, понуро, и отпер.

— Сколько можно! Всю ночь тебя жду, — раздраженно бросал очкастый соратник. — Не спи тут из-за тебя. Таскай на себе гантели, качай руки. Ну что ты вылупился, братец? Пришел я! Как договаривались, как просил! Выкуривать и бить гантелями по бошкам. Вот перчатки даже медицинские. Нинка дала. Чтоб гигиена. Черт с тобой, братец. Хочешь — так получишь. Ну что ты стал, как баран? У тебя все готово?

— Не надо. Уйди отсюда. Все потом.

Замок щелкнул весело, и ночь незаметно оказалась жиже, просветившись над крышами серой полоской, ну что-то вот было еще, что еще, что-то такое, он держал и вертел будильник: на сколько же ставить? на когда, скажите, я не опоздаю, не опоздал? А хвост растет, как будто не из крысы, а из-под, а у смерти особый оскал до десен, и он ушел уже в ванную, где свет, как южное солнце, где стакан с растворителем, отравой под зеркалом, где никого нет, так, что на будильнике, кого же будить, он не вытерпел, ожил, выхватил швабру и, слепо тыкая, сбил серую плоть со стула на пол и затолкал в глубину, под кровать, куда уже никогда не заглянет, и выронил швабру, пораженный через дерево в руку холодеющей округлой упругостью мертвечины и тления, в дверь поскреблись, хитро, спрятавшись, обманчиво: откройте нам, откройте...

Он закрылся в ванной, включил воду, подвел руки под нее и не слышал, уговаривал, помнил еще себя, не слышал.

Приоткрыл дверь, нет, не ушли, ох скребуться: откройте, пустите, ну ладно, чего уж вам?

Он долго стоял и подслушивал, нет, не уходили, все скреблись: ну что же, ну как же.

Он взялся за холодное ушко ключа и там замолчали, чутко услышав. Он распахнул дверь.

— Ну куда же ты ушел? — обнимала сама себя женщина. — Я же сказала: сиди. Пошли скорей. Оля с ними ушла, я одна теперь. Ну пошли. Ну пойдем. Оля, пойдем.

— Нет. Я потом. Я приду, сейчас, чуть попозже, уйди, пожалуйста, ладно?.. Уйди.

Он запер дверь серьезно, на два уверенных поворота, потолкал — надежно, крепко. Это можно потом. Вообще можно много еще успеть. Было б время. Так, что нам нужно? Черный целлофановый кулек — это раз. Черный? Черный. Чтоб не видно насквозь, чтоб не видеть. Швабра есть. На полу. Ее подобрать. И еще совок. Тоже есть. Жалко, что короткая ручка, надо будет поосторожней. Так все, что надо, есть же! Хорошо! Пока все спят, можно ко всем незаметно присоединиться. Он стал шарить шваброй под кроватью: бумажки, пыль мышинными валиками. Вообще пусто. Забилось, наверно, у стены. Туда, ага, зацепило что-то. Поближе, поближе-с. Нагнулся, взгляделся: кажется, то. Теперь совок поставить у самого края, под кровать. И заводим шваброй. Смотреть можно в сторону. На совок надо точно попасть, не промахнуться, не разойтись. Заведем, разогнемся, возьмем этот кулек, в него пересыпем, не дай Бог коснуться, и туда, за окно. Там попадет на лед, уберут, найдут. Дядя-дворник. Пробуем шваброй, поближе, попал? Нет... Что? Что?

А это просто стучатся. А дверь предательски грохочет в ответ. Тело кричит, что здесь, здесь. Вот надо бы унять. Упрятать. Черт, ведь осталось всего ничего. Это бывает, что так не везет. Ну вот теперь еще совок шмякнулся из рук — это, как назло. Теперь точно знают — здесь. Дернулся он, шевельнулся. Пугливо. В норке. Так, мы оставим пока швабру. Что ж они так эту дверь. Хоть не надо бы ногами. Просто очень спешат. Не прячутся — они догоняют. Незаметно спешат — когда уходят.

Он пробрался к дверям — там клевала пол штукатурка и оседала пыль, так били эту бедную дверь женского рода и терпения. Так, он коснулся шкафа — за него? Там можно переждать. При-сесть. Накрыться бумагами, коробками, да и кто будет искать? Торопятся же. Он поместил ногу на мягкое, поддающееся, прожимаемая до дна. А что-то прошуршало и умелось под пол, под доски, но не очень глубоко. Ненадолго. Он отошел, слушал еще — не ошибка? Мешал стук, уж очень редкие паузы — что тут можно услышать, не один ведь колотит человек, уж очень часто.

Его звало в стороны, как пьяного, глотал слова, растекалось лицо, надо держать. Вот куда? Они бросили стучать, не ушли, рвут со стены огнетушитель, спешат. И теперь, без стука, слышно: дышит за шкафом, дышит, живет, в этом пыльном, невидном, ворочается. Нет, ничего такого не слышно... Но вот дыхание есть, присутствие тел, спешат, тоже поторапливаются.

Вот ударили в дверь — сразу тяжело и весомо, огнетушителем. Дверь вскрикнула хрустом, передернулась тишиной, так, время, вот еще можно в ванную. Там очень яркий, южный свет. Он тихо задвинул шпингалет, на потом. Пустил воду. Пусть течет. Сделал теплую, чтоб не совсем уж жара, разулся и полез в ванну, задержался клеенкой, ах, стеснительно, в одежде, носки липнут, брюки тоже, начинается, тепло, тесновато, теснит. Кругом железо и еще вода. В общем, это очень безопасно. Сильно бьют, но теперь пореже. Еще недолго совсем. Крохи. Вот он я. Вот мои руки, черные, обгорелые, незрячие, вот он я, это я, а что в кармане? В кармане твердое, как пуля, смешно, а что это? А это свисток из лозняка, на нем морщинистая кора, в нем запах тины, реки и скрежет камышей на ветру, он теплый для губ, он быстро становится чем-то твоим, продолженьем.

Он засвистел сначала коротко: вот-вот-вот. Потом стал дольше, на все дыхание, сквозь рокотанье воды и обессиленное горячим телом: во-во-во-о-от, во-во-о-от... Ревела вода, а он свистел, дверь умирала, ее били поддых и держали руками, тряслись ее губы с номером комнаты, сжатые туго, а за стеной сыпуче полезло, как ветер, несло по бумагам, паркету, песчанно скрежетало, растекалось по углам, искало зов, перевернуло и покатило к стенке порожнюю банку, там когда-то было варенье, но очень давно, не осталось и запаха для него, для них — осталось, началось шевеленье и бег, перебежки, визги, все ближе к дверям, не держась уже, громче пища, требовательно царапаясь и мешая друг другу, копясь, собираясь, подтягиваясь, ошалело отрываясь от массы и носясь широкими кругами от пьянящей свободы, ломаясь в дверь беспокойным, некормленным стадом, стаей, потоком к потоку, на свист, били в дверь, царапали, визжали, кусались, друг на дружку вспрыгивали, слоями, ему стало жарко и душно, он устал, потянулся за граненым стаканом под зеркальцем и глотнул, смочил пересохшее горло, сколько мог, — дверь закричала с виноватой мухой, падая назад, раскинув перебитые железом руки и выбросив смертно искусанный язык замка.

Свисток упал в воду и закачался у белой стенки, намокая потихоньку от брызг.

У медсестры Арины Семеновой молодого человека звали Юра. Он был постарше ее лет на шесть. Юра встречал ее после дежурства по средам на месте, где давно уже не было Сухаревой башни.

Арина переодевалась, загородившись дверцей шкафа, на которую дежурные врачи наклеили развратные календари и, путаясь в джинсах, — косилась тревожно на грудастых и томных красоток.

— Семенова, там не помочь? — крикнул дежурный врач на ходу. — Не хочешь пообщаться? Теплый лежак в дежурке к вашим услугам.

— Ага, — сказала Семенова, — разбежалась. В белых ботах по буфету.

— Давай, пиши бирочки. Еще один врезал.

— Так Машка уже пришла, — Арина сорвала с головы колпак и вытащила из сумки красную расческу.

Маша зашла, шаркая тапками, села и навалилась полной грудью на стол:

— Девки говорят, ты сегодня с негром воевала?

— Это не смена, а... И негр. С проституткой выпил — у нас очнулся. Ни проститутки, ни брильянтовых запонок, ни тыщи долларов, и руки к лежаку привязаны. По-русски — ноль. До обеда дотерпел и устроил переворот, руки вырвал, капельницу схватил, двумя помирашками отгородился и долдонит: вызывайте посла. Я ему, как попугай, со словарем: вы в реанимации. Он рукой на решетки показывает: почему? Еле уложили. Задержали все, это не смена, а...

К сестрам заглянул голый мосластый дед, держа ладошки на паху.

— Это что еще за... — вяло спросила Маша. — Ищешь, дед, где женское отделение?

— Дочки, мне бы курнуть бы.

— А ну немедленно ложитесь! Вчера он травился — сегодня курить! — заорала Маша. — Жить захотелось! А что завтра попросишь? Бабку? Ложитесь немедленно! Арин, сколько сегодня ушло?

— Четверо. Дежурный достал — пиши бирочки, да пиши бирочки. С утра начали, — как искусственное дыхание вырубилось. Мне что: аппарат шумит да шумит. А он и не качает. Дергались, дергались, стала обед разносить, а уже — все, первый врезал. А потом весь коридор заставили. Еще если кто, и ставить будет негде.

— Не приставал Феклистов? — тихонько спросила Маша.

— Да ну его. Ты ж знаешь. Он просто так пройти не может. Там снег идет? Тепло? Зря я дубленку...

— Ты с Юриком?

— Ага.

— Ну как?

— Да так же. Что: как? Вот хотела пораньше уйти — девку-самоубийцу привезли, орет, никак не успокоим. Дурдом: один доллар предлагает, другой как заныл: жить хочу, жить хочу, а потом все про алмазную цепочку хочет предупредить, кто про что... почитать взяла, да разве считаешь, другой орет: выпить ему. Сейчас! Не присела за день, загоняли. И чего я, дура, дубленку... Теперь — только что: опять бирочки пиши. Это я тебе оставила, разберешься. Ну, давай.

— Аришка, — загадочно пропела Маша и подперла голову рукой, — ну-ка, глянь, подруга, на меня. А ты часом не беременная?

— Да ладно тебе, Маш! — покраснела Арина. — От Святого Духа? Он знаешь какой? Случайно за руку взяла: сто потов сошло. Он с мамой живет, знаешь какой? Побежала. Давай.



— Пишите бирочки, — крикнул из палаты дежурный.

— А кому, Валентин Борисыч? — откликнулась Маша.

Арина помахала девчонкам из приемного и побежала на улицу, перебежала, успела на зеленый, дорогу и дальше уже пошла, следя за походкой. Пришла она первой. И стала похаживать, поглядывая на остановку.

Обычно он приезжал троллейбусом «Б».

Вот всегда он опаздывал!

Мемуары срочной службы



## РОТА

### *Вступление*

Рота на разводе обрывает лепесток за лепестком, как глупый цветок ромашка, терзаемая мнительным влюбленным, и старшина поет-рычит арию. «Послеобеденную», безжалостно прореживая ротные шеренги:

— Рот-тэ! Рр-р-ясь, сир-на! Заступающие в ночь на боевое дежурство, выйдтя из строя! Нараву! Самк-ысь! Смена, заступавшая с утра, выйдтя из строя! Нале-ву! Самк-ысь! Наря-а-ад!.. — ну и так далее.

Оставшиеся на дне старшинского сита бывают отнюдь не золотыми самородками, радующими глаз старателя, но тихими пасынками случая. Этих троих-четверых могли запросто оставить слоняться по роте под видом бесконечной армейской уборки, которая рано или поздно кончается фатально неизбежным сбором у телевизора и долгим его лицезрением, постепенно переходящим в полное упоения зрелище, выражающееся в подозрительно плотном прищуре глаз и безмятежно ровном дыхании, что вызывает бурное извержение старшинского красноречия, который призывает в свидетели Бога (чаще всего — Божью мать) и разгоняет всех телефилов на тяжкие работы-каторги, и те надолго прилипают к дальним кроватям в темных углах, с материнской заботой кропотливо придавая им идеальный вид (кантики, плоскости, однолинейность полос, кубическая форма подушки), и очень скоро их движения становятся медово-тягучими, и головы вдруг роняются на грудь, как изрядно перезревшие подсолнухи...

Но чаще всего бильярдные шарики случая, оставшиеся на дне плаца после развода роты, загоняются в менее приятные лузы: чистят бесконечные росчерки тропинок в снеговом море под совиным присмотром старшины из незаледевшего уголка окна, постигают премудрости вычистки навоза в свинарнике, моют водой плац, а потом до отбоя сапожными щетками разгоняют воду из образовавшихся луж или дряют унитазаы до такой трагической степени, пока на глади фаянса не выступит собственное отображение, в чем, вне сомнения, поспешит удостовериться старшина... мраки, в общем...

А если кому повезет — он отправится в овощерезку и в роту вернется в полвторого ночи с вялым лицом и пористыми, как тыль-

ная сторона шляпки гриба моховика, руками от воды. И долго будет приставать к дневальному с неистовым требованием выдать ему немедленно штык-нож, чтобы он, овощерез, мог тотчас поклясться самой страшной клятвой на крови, что он и все его многоликое потомство до 19-го колена никогда в рот не возьмут этого мерзкого продукта, чье имя — картофель, пусть вся рота будет в свидетелях — дай штык-нож, урюк!

А дневальный, обидевшись на «урюка», робко повышает голос, вызвав философское подрагивание верхней губы у спящего дежурного по части, и картофельный бунтарь одиноко и сломленно отплывает в синие от дежурного освещения сумерки, роняя круглые, как картофелины, слова, что нет, никогда, никто отроду не будет есть эту фигню, чертовню, потрясая порезанными ладонями звездной картошке неба, не по-уставному зырящей в отпавшем углу светомаскировки на окне...

## ДУРАЧОК

### *Из рассказов ефрейтора Смагина*

В лазарет я попал в первый раз и поэтому никак не мог избавиться от настороженного оцепенения, вызванного желанием сразу, с первого шага, не допускать промахов и ошибок, которые бы поставили меня в зависимое положение от кого-либо, — желания в армии чрезвычайно обостренного и вневременного. Армия учит ценить независимость.

И сосед по койке мне сразу не понравился. Он как-то очень живо воспринял факт моего появления и говорил, вернее, указывал с делом и без дела:

— Ты ложись здесь, здесь ложись, слышишь? Тумбочка твоя — эта, верхнее отделение. Скока — служишь? Салага, значит... Иди пока белье получи, понял?! Да брось ты свой мешок... Что встал-то, как столб?

Я сначала следовал его суматошной речи, но потом решил, что дальше — больше, и лучше раньше, чем позже, и резко выпрыгнул из предложенного ритма: мешок с туалетными принадлежностями и затрепанной «Роман-газетой» подчеркнуто небрежно швырнул на койку и лениво подошел к окну, оперся на подоконник ладонями и стал смотреть вниз на черный от пыли снег, косолапую ворону и малыша с лопаткой, ее неуклонно преследовавшего.

Моя равнодушная спина привела соседа в раздражение.

— Иди, иди, встал чего? Уйдет сестра-хозяйка, что делать будешь? А тут и пайка скоро. Главврач заметит на обходе, что ты без пижамы, — мигом тебя в роту отправит. Ты слышишь, нет?

«Сейчас окажется, что я своим стоянием подрываю обороноспособность», — зябко подумал я.

— Да ты чё? Оглух? А?

Он дернулся в кровати, чертыхнувшись, достал запропастившийся тапок к зашел ко мне.

— Да что увидел-то там?

Он заглянул вниз, потом, засуетившись, попытался глянуть с моего места и наконец запричитал в ухо:

— Да ты чё? Слышь, что говорю? Встал чего? Иди, куда говорят. Слышь, что говорю? Встал чего? Иди, куда говорят. Слышь? — последнее слово он прокричал.

Я обернулся и сурово смотрел прямо в него. Способ испытанный: дураков, а мой сосед был, несомненно, из вышеозначенной породы, приводит в полное недоумение.

Он был мал и худ, со впалощеким прыщеватым лицом и изогнутым трамплином носом. Голубые глаза под сдвинутыми к переносице бровям смотрели с изумленным вопросом. Волосы цвета сухого камыша он аккуратно зачесывал набок, организуя справа беленькую канавку проборчика.

— Ты чё?.. — он выругался, определяя мое состояние. — Припук, что ли? Может, тебе подъем устроить в полвторого ночи?

«Ага, устроишь», — холодно процедил я про себя, не отрывая от него упорного, пристального взгляда, ожидая, когда же до него дойдет, что этим я выражаю лишь одно — недоумение. Презрительное недоумение.

— Ты чё молчишь-то? Идиот... Стоит и молчит, — выдавил он смешок. — Стой, стой... — он еще раз деланно засмеялся и зашипел, уже отходя: — Душ-шара!

«Все. Увял, — понял я и пожалел про себя: — Жалко, что не ударил. Я бы врезал... Я бы...»

Сосед ушел, не хлопнув дверью, но нервно как-то преодолев дверной проем.

Я шевельнулся, подошел к кровати, сел, уткнул голову в кулаки, стал слушать, как бьется мое сердце, как стрекочет железный кузнечик часов. Я сидел, сопел, слушал и устало думал: «Я, правда, наверное, псих... Я — псих... Это правда, наверное... Больное, издерганное чувство суверенитета... Чушь несую, ведь чушь... Псих просто». И слушал, как сердце бьется глухо и далеко в теле.

Весь день я ходил, оглушенный абсолютным бездельем, тишиной и покоем. Так скорый поезд резко тормозит на перегоне — и птичий разнобой с нежным шелестом листьев начинает проникать сквозь изумленный скрип сжатых тормозом колес, напоминающий о скорости, опалявшей душу. Этим скрипом, несостоятельным и пустячным напоминанием, был мой сосед по койке Шурик Шаповаленко, рядовой второго взвода нашей роты — взвода охраны, обеспечивающего в гарнизоне пропускной режим.

Шаповаленко мрачным взглядом встречал каждое мое появление в палате, сразу замолкал, а когда говорил я, напрягался и дергал уголками тонких губ, чуть пофыркивал и качал головой, выражая бездну презрения к моим донельзя глупым и пустячным словам. Он рассказал всем больным, что я — писарь, и не вылезает

из канцелярии, и службы не видел. Я спокойно смотрел на это. Не разозлился даже, застав его читающим мой военный билет, разысканный в тумбочке.

«Жур-на-лис-с-ст», — прочитал он мою доармейскую профессию и со злой, гадливой насмешкой бросил билет на кровать.

Я не разозлился. Напряжение, заполняющее душу человека в армии, в жестоком коллективе мужчин, непримиримом к слабостям и скупом на внимание и доброту, — это напряжение разжималось с каждым блаженным, пьянящим часом безделья. А демарши Шاپоваленко — это была чепуха, мелочи, пустяки по сравнению с этим морем свободы и отдыха, которое япил, задыхаясь.

Мой поезд тормозил.

Спать я пошел в полдесятого, оставив без внимания предстоящий фильм.

— Эй, журналист, подъем! Подъем, членкор! — затряс меня за плечо Шاپоваленко.

По голосу было понятно, что он собирается балансировать на грани шутки: то ли сам трус, то ли увиденный фильм был веселый.

Я был не склонен шутить. Сел в кровати, внимательно посмотрел на часы: убедившись, что время — двенадцать, лег к стене лицом, так и не удостоив взглядом моего будильщика.

— Подъем, подъем! Эй, членкор, подъем, — загнусавил он, пытаясь раскатать меня, как застрявшее бревно. Я был совершенно безмолвен и равнодушен к его потугам. Тогда он уцепился за мое плечо и принялся тянуть, силясь меня приподнять и раздражаясь отсутствием реакции. Потом наклонился и крикнул в ухо, чуть коснувшись его губами:

— Падь-ем! Журналист, подъем! Давай поднимайся!

Я глаз не открывал. Он сел на меня и стал подпрыгивать.

«Сколько угодно», — подумал я.

Служил он на полгода больше меня, и ему полагалось так поступать, а мне полагалось подчиняться. Но мой поезд сильно затормозил — я демонстрировал полное презрение к шнурку.

— А может, ты умер? — хихикнул он и просунул свою ладошку к моему лицу. Шлепнул по щеке.

Легко так шлепнул. Обычно. Обычно так и бьют. В грудь или ладошкой по щеке. Чтоб не осталось синяков. Это точно — не остается.

Но он шлепнул меня слегка, играясь, что ли.

Мне надоел скрип поезда. Я хотел слушать лес и птиц, хоть ненадолго.

Я сел в кровати. Шурик, улыбаясь в темноте, стоял рядом.

Я аккуратно протер глаза, отвернул одеяло, выпростал ноги, нащупал ими тапки, засунул рубашку в кальсоны, встал и, еще не разогнувшись, схватил Шاپоваленко за ворот, и рывком дернул к себе. Я жал его горло, осознавая, что, пожалуй, не понимаю, что сейчас делаю и зачем.

Он изумленно и зло вскрикнул:

— Ты чё, журналист?! — И уцепился своими клешнями за мои руки, слабо пытаясь их разжать. — Ты чё-о? — хрипел он и дергал головой, не догадываясь ударить меня по лицу. Тогда бы я отбросил его на кровать, а когда бы он стал подниматься, ударил бы его кулаком справа. И еще, еще! А он не догадывался, что вместо жалких попыток разжать руки надо просто ударить.

Я отшвырнул его, страхнул с ног тапочки и сел, выдохнув душный, бешеный воздух из легких.

— Псих... А все-таки поднялся... Все-таки я тебе подъем сделал, — заныл, тяжело дыша, Шаповаленко.

«Все. Значит, не ударит. Все, значит...» — скучно понял я и лег, накрывшись с головой.

Шурик стал тоже укладываться, смеясь и рассуждая тоненьким голосом. Когда улегся, помолчал и сказал, заложив руки за голову:

— Журналист, вот ты напиши книгу обо мне, а? А? — еще раз квакнул он. — Я понимаю, я тебя мучаю...

Я криво усмехнулся: видимо, Шаповаленко не знал, как могут мучить друг друга равные и хорошие люди, — его потуги были смешны и мелки, и сам он уже вызвал гадливую жалость.

— Вот ты напиши обо мне!

— Книжки пишут о людях, которые представляют интерес для всех, — выговорил я правильную фразу.

— А моя жизнь тоже всем интересна. Всем ведь интересно прочитать про жизнь обыкновенного человека.

— А твоя жизнь не интересна никому. — Я подсластил пилюлю. — Как и большинство других. О тебе в лучшем случае будут помнить твои внуки, а правнуки уже забудут. Через сто лет уже никто не вспомнит. И никогда не вспомнит. Солнце через миллиарды лет сожжет Землю... и о всех никто не вспомнит — пыль будет от всех, от всего... От Ленина и фараонов... И кому какое дело до тебя — соринки в этой жизни. — Мне хотелось, чтобы его мелкая душонка замерла перед холодом вечности.

Как замирала моя.

— Соринка, хм... Моя жизнь? Да что ты знаешь, журналист, о моей жизни? — сказал он надуту, как в кино, подумал, что еще сказать, булькнул горлом и отвернулся к стене.

Я засыпал, испытывая чувство, уже знакомое мне: что-то ложится и давит на душу.

Это бывает, когда услышишь чужую исповедь — не захочешь, а заглянешь в чужую душу. Будто грязной ногой на белый чистый лист. И ничего так вроде не произошло — а будто ржавчина неведомо-неподъемно легла на душу, и уже не знаешь, как прогнать это чувство. Его выписали утром.

Я даже не знал об этом, просто издали, со спины увидел его сутулую фигуру с опущенной головой. Он долго оправлял шинель перед зеркалом, потом постоял перед ним, а затем уже зашагал к дверям. Там Шурик опять притормозил, открыл дверь, бегло оглянулся востроносым бледным лицом — и дверь хлопнула. Все.

Ушел человек, и постель его заправлена, будто никто там не спал. И время равнодушным ветерком выдует его из памяти. Уже выдуло.

А не знал я о том, что Шаповаленко выписали, потому что с утра пораньше отправился на электрофорез. «Иди сейчас, — таинственным шепотом убеждал меня фельдшер — ефрейтор Клыгин. — Там молодая сейчас...» И улыбался так, что сжатые губы превращались в ведерную дужку.

Ефрейтор был высокий и статный, с золотистым бобриком волос и румяным лицом. Его знал весь гарнизон, и весь гарнизон в нем души не чаял за вечные приколы и прорывающуюся порой доброту в предоставлении тихой гавани лазарета для приятеля, у которого в роте настали черные дни и которому надо отсидеться, переждать, пока все затихнет. Доброта фельдшера проявлялась только для немногих избранных. И о нем говорили с завистью и уважением, увидев его широкоплечую фигуру в щегольски заглаженной шинели, когда он приходил в столовую за пайкой для лазарета.

Жилось ему хорошо. В свою роту он приходил только спать, а в лазарете чудил вовсю: играл в прятки, салочки, жмурки с больными, ржал так громко, что часовые на проходах оглядывались, улыбаясь на санчасть. И спал после обеда, сместив кого-нибудь из больных с койки. Жилось ему хорошо. Медслужба — медовая служба. Так говорили в гарнизоне. Ибо одна из любимейших тем у солдатского кружка — кому хорошо служится. И тогда в рассказ густо вкрапляется вымысел и возникают фантастические истории о том, как кому-то обалденно хорошо. Завистливые глаза-слепы и не любят прозы, и, может быть, не так уж хорошо жилось ефрейтору Клыгину, но мнение такое бытовало прочно.

А еще служил он дома. В своем родном городе. Как он сюда попал, одному Богу известно. Но дома — это уже здорово. И часто заходили к нему в санчасть с «гражданки» знакомые приятельницы, волнуяще и тревожно смеялись с ним в запертой изнутри ординаторской, а затем проплывали бесплотными видениями мимо задеревеневших вдруг больных. Считалось, что Клыгин, как и всякая знаменитость мужского пола, незаурядный специалист по амурным делам, и поэтому если он говорил, что надо идти на электрофорез именно сейчас, то именно сейчас и следовало идти.

Я пару раз стукнул пальцем в дверь с нужным номером на табличке и зашел в кабинет, шаркая тапочками по линолеуму. Процедура была беспорядочно заставлена цветами в горшках и кадках, снесенными сюда из ремонтируемых кабинетов. Кабинки для процедур оказались пустыми, врача тоже видно не было. Я взял в руки песочные часы и перевернул их. Песок потек.

Дверь кого-то впустила, и листок с направлением был незамедлительно вырван из моих рук, сложенных за спиной. Девушка в белом халате быстро прошла к столику и, упершись кулачком в



бок, заглянула в направление. Я лишь мельком увидел короткие темные волосы, полные алые губы, накрашенные глаза и сразу стал глядеть вниз на ее белые сапожки и заправленные в них фирменные джинсы. Хорошие такие джинсы.

— Идите туда, — по-женски аккуратно выговорила она, дотронувшись легко до моей вздрогнувшей руки.

Я ссутулился еще больше и зашагал к указанной кабинке, четко ощущая свою деревянность; вроде и недавно в армии, но как-то напрочь разучился смотреть на девушек прямо. По этому поводу на ум почему-то приходит дикарь, держащий в руках хрустальную вазу, — хорошо-то хорошо, но с дубиной оно сподручней.

Я опустил на лежак, стесняясь своего сероватого белья, и стал смотреть в потолок, когда девушка деловито уложила мне на грудь пластину, придавила ее мешочком и чем-то щелкнула.

— Сейчас должно покалывать. Как горчичник. Хороший горчичник, не старый, — прояснила она ситуацию.

— Слишком сильно. Можно и поменьше, — шевельнул я губами.

— Ой, какой ты у нас слабак, — привычным голосом сказала она и, передвинув что-то на пульте, уплыла за шторку, оставив мне облако духов, будоражащих воображение.

«Я не слабак. Я избалованный, — беседовал я с ней про себя. — Какая разница? Слабак принимает любое положение в жизни так, как его преподносит судьба, а избалованный хочет в любом положении обеспечить себе максимум комфорта. Избалованный лучше, чем слабак. Он предприимчивей», — говорил я с собой, занимаясь тем, чем занимается в армии каждый. Когда нельзя ответить вслух, отвечаешь про себя. Это дает иллюзию равенства. Если не можешь быть человеком вслух, пытаешься быть человеком про себя.

— Подъем! Ты что, псих?

Черт. Угораздило задремать. Ну и, конечно, я дернулся «по подъему» как следует. Все-таки рефлекс отработан. Все с груди полетело на пол, а я, как дурак, ищу табурет с «хэбэ».

Она стояла и, сдерживая смех, глядела, как я зло натягиваю нижнюю рубашку, пижаму, быстро оправляю простыню на лежаке и, выпалив «спасибо!», выхожу, оценив попутно в зеркале два помидора, имевших когда-то честь именоваться моими ушами.

— Ну как Аллочка, членкор? — разулыбался Клыгин. Он любил поговорить, а я умел слушать и поддакивать понимающе и союзно, поэтому болтать со мной ему нравилось.

— Да-а, — смущенно выдавил я, всюю разыгрывая свой обычный для Клыгина образ, самый выигрышный для себя, — образ провинциального тюфяка, чья безнадежная простота у всякого вызывает желание взять этого малого под великодушную опеку.

— А ты думал! — радостно продолжил Клыгин. — Только после училища. Цветной телевизор — взгляда не оторвешь. А в медучилище с этим делом просто... Она, правда, с таким видом

ходит... дескать, хрен допросишься. Вроде бы, гы-ы. Но я бы — давно! Но папа у ней... Начмед гарнизона!

Я глупо-изумленно округлил глаза, испуганно выдавил:

— Да-а-а?

— Ага! — залился Клыгин. — Ты, членкор, наверное, уже и глаз положил. А здесь я — пас, табу. Гы-ы.

После обеда мою спину украсили грибницы банок, и я пластом залег в кровать бороться со сном и слушать треп младшего сержанта Вани Цветкова — «замка» комендантов (зам. командира комендантского взвода). Цветков трепался про всякую чепуху.

— Тут до тебя Шурик Шаповаленко лежал, шнурок из нашего взвода. Застал ты его? Как он тебе? Странноватый? Это еще фигня. Он дурачок. Бамбук. С него вся рота укатывается. Налепили ему кличку — ефрейтор. Он когда на третьем проходе стоял, Ланг решил пошутить и говорит ему смеха ради: «Шурик, тебе ефрейтора дают, ребята с коммутатора слышали, как командир роты об этом трепался». Он, дурак, обрадовался, побежал к Вашакидзе в каптерку, у него лычек выпросил и за ночь на посту наклеил. Утром в столовую на пайку так с лычками и пришел. Тут его Петренко, есть у нас такой «дедушка» авторитетный, и остановил. Ты что, говорит, шнурок драный, припух, что ли? И хрясь ему оба погона! С корнем. Петренко, знаешь же, такой бичуган, шахтер, а Шурик что... млявота... стоит, глядит, моргает, и губы дергаются. Бамбук млявый. Рота на всю столовую ржала. Завтрак на пятнадцать минут задержали.

Я заученно улыбался в смешных, по мнению рассказчика, местах, а поскольку Цветков был человеком необычайно восторженным, то делать это приходилось через каждые два предложения.

«Спал бы сейчас да спал», — эта мысль вздыхала во мне с каждой улыбкой.

Но Ваня выехал, видимо, на хорошо раскатанную колею, и телега нашего разговора (вернее, его монолога) никак не могла из нее выбраться.

— А тут влюбился. Я почему его все время на третий проход ставлю? Там Аллочка на работу ходит. Оценил биксу в процедурной? Ну, вот она ему и понравилась — не хило, да? Так, знаешь, то словечком перемолвится, то улыбнется... А он важный и надутый становится, когда она проходит, весь из себя — начальник охрененный... Дергается аж от важности, поэтому и ефрейтора мечтал-то получить, ага... И привязался к Вашакидзе: дай ее фотографию. Когда пропуск в гарнизон оформляют, то сдают две фотографии, одну в пропуск, другую в строевой отдел, а Вашакидзе и там заведует. Ну, Вашакидзе ему отвечает: «Я тебе, Шурик, фотографию дам, но ты накорми меня в буфете». Так и сказал. Чудил, может... Смотрит — после обеда Шурик приносит, — Цветков, весело задыхаясь, округлил глаза, — две бутылки «пепси-колы», бутылку «фанты», беляшей с мясом штук пять и трубочек с кремом — короче, во-от такой кулек. Потом после этого только застиранные ворот-

нички подшивал — денег у него на чистую подшивку не было. Ну, он у меня за это по нарядам полетал... Бамбук.

Я втиснул в паузу все понимающую, солидарную улыбку. «Спал бы да спал».

— Вся рота, конечно, знает, в кого Шурик ухондохался по уши. Только он с прохода — сразу его Баринцов или Коровин подзывает, сажает рядышком и говорит: «Ну, Шипа (так его еще в роте зовут), как Аллочка?» Он краснеет, молчит, пот сразу вытирает. А деды укатываются — вот дурачок! А ее дом во-от здесь, крайний, через дорогу от гарнизона, и окна на третью проходную. Шипа вечно на ее окно пялится, думает, раздеваться начнет, что ли? Бамбук. Она, может, за вечер раз в окне и мелькнет, а Шипа на морозе всю ночь торчит, стекленеет, а подменный в тепле бичует. Как на смену с Шипой идти, от желающих отбою нет — кто ж не хочет всю ночь в тепле. Ну вот Вашакидзе с Лангом Шипе и говорят: «Алка, как шла с работы, просила зайти насчет книжек каких-то, если сможешь». — Глаза у Цветкова блестели, как две льдинки на солнце.

А у меня затекала шея от непрерывных поворотов головы в сторону собеседника для подачи обратной реакции, и было неудобно лежать: то ли Клыгин плохо накрыл меня одеялом, то ли просто тело затекло... и что-то глухое, серое растекалось внутри.

— Насчет книжки, ага. Тогда в процедурке ремонт был — Алка сидела в библиотеке, и Шипа, соответственно, там сидел. Они сказали, значит, а Шипа выдохнул так, будто ему под дых кулаком сунули, и как метнулся через дорогу. Прямо к дому. Вашакидзе с Лангом переглянулись — шары вот такие — и бегом за ним. Еле догнали у подъезда. Обратно чуть ли не волоком тащили, да Шипа особенно не упирался. Понял, наверное. Только борзанул слегка — подлецы, говорит. Ну, ему Ланг показал подлецов. Завел в кубрик вечерком, въехал раз по рогалянику — Шипа враз все тумбочки пособирал.

— Цветков! Товарищ младший сержант, — трагическим голосом сказал Клыгин, просунув голову в палату. — Идите в регистратуру, сестра отлучилась. Оттуда — ни ногой. Хватит членкору лапшу на уши вешать.

Я постановывал, когда Клыгин сдергивал банки с моей спины. Не столько от удовольствия, сколько оттого, что Клыгин ждал этих стонов и был доволен, их услышав. «Все. Спать. Этот бамбук меня заколебал. Хватит рассказов про дурачка. Что я, помойная яма, что ли?»

Но Клыгин, освободив мою спину от полона, плюхнулся на кровать Цветкова и, закатив глаза, пропел:

— О дайте мне поспать хоть один час в сутки!

И немедленно заржал, скосив глаза на меня в ожидании поддержки.

Я вяло улыбнулся.

- Что тут тебе Цветков рассказывал? — осведомился Клыгин.
- Да... про этого... вот тут спал... Шаповаленко, кажется?
- Про Шипу? Оборжесся, да?

Да, оборжесся, кивнул я. Очень смешно и весело. Дураки и созданы для смеха. Ты его мордой в грязь, а он еще и пузыри пускает.

Смех! Ну как не посмеяться над салабоном. Иди сюда! Дембель, давай! Не понял? Дембель, давай! Больше повторять не буду. Как «что делать?» Иди и спрашивай у салабонов. Все спят? Буди! Не знают? Ладно, мужик, дедушка тебе объяснит, не дай Бог, ты после этого не сделаешь. Когда услышишь эти слова, надо побежать и через минуту принести дембель — быстро и без суеты. Понял? Дембель давай! Ну? Припух? Служба медом показалась? Дедушек не уважаешь? А потом... Кулаком в грудь или ладошкой по лицу — и шагом марш в туалет, чтобы я утром зашел и удивился — все сияет. Атракцион. Комната смеха. Первый год службы — без вины виноватые. Второй — веселые ребята. Это справедливо, более справедливо, чем многое в жизни, где все вперемешку: радость и боль. Одному — сплошная радость, так много, что уж и не в радость она. Другой, как мишень перед удачливым стрелком: что ни удар, то в цель. Слепо. Несправедливо.

Здесь куда лучше. Год боли. Год счастья. Гарантируется. Только та ли радость, что чужой болью рождается? Только тот ли человек, которого выпускают на волю после года жизни «про себя»? Говорил ли он после этого вслух? Не входит ли в кровь это рабское смирение, когда спокоен, видя, как кого-то бьют: слава Богу, не меня, тем и счастливы, тем и жив? Когда знаешь: за тебя — только ты.

Бред. Проклятая поляна, на которой застрял мой поезд... когда хочется крикнуть добрым и старым спутникам — сердцу своему, памяти, душе: «Выходите! Ведь мы пока стоим! Ведь «это» — пока позади. Ведь можно пожить немного вслух, можно вдохнуть этот воздух, можно посмотреть на небо», — но не оживает поляна. Неужной громадой стоит на ней поезд — дитя движения, и зябкими, призрачными видениями сереют за окнами равнодушные лица пассажиров. Мы скоро поедem; мы скоро поедem, и лес, спокойный и морщинистый, опять станет стеной, и облака — трамплины наших надежд и мечтаний — будут болезненно и никчемно мелькать за окном.

Бред. Неужто это не антракт, неужто это первое действие? Неужто в прологе детства нам показывали лишь костюмы, гримерные добра и света, шадя от жестокой пьесы, где Бога нет, а значит, нет единой цепочки от события к событию, от человека к человеку, нет награды доброте и нет суда жестокости и злу. Неужели, слеп человек? Изначально слеп? Неужто это и есть жизнь? Неужели там, на далекой, как Эльдorado, «гражданке» все так же в основе — только наряжено в красивые одежды? Господи, голова пухнет... Неужто это не антракт, не чулан, а дорога, дорога, и мы едем, едем, едем... Проклятая санчасть.

На обед нам дают кашу, а утром — масло. И что бы ни случилось — утром будет масло, вкусное и белое. А вечером я вспомню толстую Ирку, машинистку нашей редакции, как я ее мял в подъезде, с силой шаря руками по юбке, и влажными от пота пальцами лез под толстую кофту-олимпийку, а она противно визжала, совершенно не сопротивляясь, а еще сильнее вдавливаясь в меня своим тугим тревожным телом. Вернусь — мне родители купят куртку «алюска» и джинсы. И я буду много зарабатывать денег и построю дом в лесу. Большой и красивый. И буду в нем один. Один. И никакой поезд не добросит до моего дома гудок через лес. Никакой. И буду читать детективы и стихи. И выброшу телевизор, и забуду, я все забуду. А в тумбочке у меня осталась еще одна карамелька. Было две — а я одной угостил Цветкова. Дурак. Но эту еще можно съесть, хотя она, должно быть, немножко подтаяла и придется слизывать сладкое с фантика. Карамель «Сливовая». Лишь бы Клыгин не заглянул в тумбочку — тогда он сделает сладкие глаза и веселую рожу, и я отдам ему карамельку с улыбочкой и даже довольным видом. Когда приедет папа, он еще больше привезет. Скорей бы он приезжал. Как цирк бродячий, добрый и старый, как посол той страны, которая называется прологом, из которой все мы эмигранты.

Лишь бы Клыгин не заглянул в тумбочку.

Клыгин уже минут десять что-то рассказывал, не обращая внимания на мое подчеркнутое бесчувственное лицо.

— Он, Шипа, в санчасть ходил каждый день. Уж и не знал, чем заболеть — чтобы лечь. Ко мне приставал — ну положи да положи... Нашел родного, дурак. Ну и допросился. Сыпь у него объявилась на ногах и заднице, болячки, знаешь, такие, такие, хлопьями. Его и определили к нам на десять дней. Зеленкой мазали — ну, болячки и заживали чуть-чуть. Он, знаешь, как процедур нет, все по первому этажу курсировал: вдруг Аллочка из кабинета выйдет. Знаешь, как щенок у двери зимой: и боится, и хочется, гы, трется-трется, отскочит, облизнется и опять трется, скулит. Я его как подкалывал... По утрам мне нужен один человек за пайкой идти. Все, конечно, фиг вам, хрен добудисься... А Шипе я всегда так говорил, — Клыгин сделал серьезное, вкрадчивое лицо, — Шурик, — он не выдержал, прыснул, но потом снова построил вкрадчивую рожу, — я говорю... Шурик, тебе Алка привет передавала. Он как вскинется: «Правда?!» Глаза, как кокарды. Я говорю — правда, конечно. И он после этого со мной и за пайкой ходил, и тарелочки мыл, как миленький. А потом что-то достал меня своей тупостью, и мы его с Ваней Цветковым стали мочить. Шипа очередную книгу грызет, чтобы скорей можно было ее в библиотеку таранить, к Аллочке поближе... Я, знаешь, к нему подсаживаюсь под бочок и шепчу: «Да шлюха она». Он молчит, но вижу — краснеет. Еще раз: «Да ведь шлюха она!» Он голову поднимает и мне шипит: «Не смей!» Это мне! Мне, отцу родному, так шипит! И дальше еще: «Она выше этого. А вы — дрянь». Буранул, да?

Я абсолютно понимающе кивнул.

— И подушечкой себе грызло закрыл, чтобы больше меня не слышать. Мы с Цветковым быстренько его заломали: руки за спину, ноги тоже, разложили и давай ему в каждое ухо орать: «Шлюха! Шлюха она! Она мне давала! Ему давала! Вон тому давала и этому! Всем давала! Дырка она!» Шипа дергается, хрипит. Потом со мной, наверно, дня два не разговаривал, а потом надоело парашу мыть — стал подлизываться. И тут как раз из лазарета вылетел. Главврач на обходе сказал: болячки вроде поджили, надо бы Шاپоваленко прогревания, и Шипе курс на пять дней прописал. Шипа бросился к главному: может, без этого как-нибудь? А главному все пофигу: «Клыгин, — говорит, — проследи»... И Шипа сразу сник. Все говорил: мне мать должна три рубля прислать, я тебе пайку хорошую куплю. Все в роту звонил: пришло письмо или нет? Потом вообще мне свою парадку предложил: возьми, говорит, из дружбы. Я, говорит, скажу старшине, что потерял. Я смеялся: вычитать же будут! Он подумал: маме напишу, она поймет, насобирает. Как демобилизуюсь — отработаю, все ей отдам, жить для нее буду... Нужна мне его парадка. Он вон какой хилый — разве мне налезет? Короче, знаешь, я его встряхнул за шкиботник и толкую: «Чмо на лыжах, если завтра же не полетишь на процедуры, я Алке все скажу, что ты в нее того... По уши. Вопросы, товарищ ефрейтор?» Знаешь, он сразу утих. Утром из роты прихожу в шесть пятнадцать, он уже в кровати сидит, не спит. Все утро молчал. После пайки я его и повел. Смотрю — он идет, как будто шило в зад, аж скулы выперли. Я значит, его завел, Аллочке бумаги, его — в кабинку. Лег он на живот. Спускай, говорю, кальсонь, показывай хозяйство! Он, знаешь, так нехотя, через силу будто, спустил. Я — хлоп! — его по ляжке. Вот, говорю, наш леопард пятнистый. Аллочка свет поставила, носик сморщила. Говорит: «Сережа, не уходи, своего пациента сам обслужи, пожалуйста». Шипа все положенные десять минут тихо, как мышка, пролежал, а потом сразу к главврачу. И тот его выписал. Я уж думал, что он стучать побежал, но все тихо... Так и не знаю, что он там плел... Но — все тихо, так вот... Ну что, бум спать? Бум! Бум! Бум.

Я перед тем, как заснуть, светло подумал, что когда-нибудь стану дедом — буду ходить расстегнутым, в кожаном ремне и в сапогах гармошкой. Я буду дедом авторитетным и научусь важно говорить салабонам, которые будут меня ужасно бояться и называть «зверь»: «Ты что, опух? Службы не понял, душа драная?! А ну — бегом в туалет, чтоб через пять минут прихожу и вижу в умывальнике свое отражение!» И — кулаком по грудяхе. Чтоб синяков не оставалось. А до этого еще дней триста. И я стану дедом. Хозяином жизни.

Утром я шел на электрофорез. Мрачно что-то было. То ли спал плохо, то ли зима скупко дает свет. И медленно время идет.

— Членкор! Членкор, блин... — шнурок из нашей роты Коробчик аккуратно манил меня пальцем.

Я подошел, чуть не захлебнувшись омерзением и тоской, безысходностью.

— Что мы тут делаем? Забил на службу болт? Сачкуем?

Я смотрел на кончики больничных тапок, опустив руки вдоль тела.

— Что молчим, милый?

— Н-нет, — язык еле отлип, — у меня пневмония.

— Что у тебя? — скривил морду Коробчик.

— Воспаление легких. Пневмония.

— Что, умный, что ли, до хрена? Да?

— Нет.

— Как служба? А?

— Как у курицы.

— Почему медленно отвечаем? Охренел?

— Я не медленно.

— А почему это — «как у курицы»?

— Где поймают, там и...

— День прошел...

— Слава Богу, не убили — завтра снова на работу.

— Громче.

— Слава Богу...

— Так-то. Выздоровливай скорее. Мы тебя в роте очень ждем.

Туалеты мыть некому.

Я почти радостно улыбнулся. Хлебом не корми — дай туалет помыть. Но понравиться не удалось.

— Чего оскалился, чама? Скажи: я чама.

— Я чама.

— Завтра я тебе работу принесу. Будешь мне альбом делать.

Ясно?

— Да.

— Иди. Мало тебя били. Но ничего. Еще исправимся.

А все-таки ко мне придет папа. Когда я был маленьким, он качал меня на коленях, а теперь он пожилой и иногда плачет, когда ко мне приезжает, но старается, чтобы я этого не видел. Я тоже плачу, а он это видит. Дома он начальник. У него много подчиненных. Но теперь ему стало трудно полноценно работать. Потому, что он часто ездит ко мне.

Он привезет мне варенье. Вишневое. Я люблю грызть косточки.

— Здравия желаю.

— Здрассти...

— Мне сюда?

И еще — колбасы. И пирог яблочный в целлофановом кульке. И денег. Я ему говорю: не привози денег. А он привозит. Может, говорит, что купишь себе. А их все равно занимают. Но я ему не говорю. Вру, что много себе покупаю. И котлеты привезет, и печенку. Он всегда много привозит. Я страшно объедаюсь — стараюсь съесть все, чтобы в роту не нести. Он тоже иногда ест со мной. Все-таки с дороги, проголодался. Но мало ест. Украдкой. Будто стесняется.

— Ложись, что сидишь?

Папа как-то мне сказал, что я возмужал...

— Сейчас будет покалывать.

«Папа, я не возмужал, я постарел».

— А ваш плешивый что не приходит?

А старики — это тоже дети, только дурные, слабые, дурачки...

— Я говорю, что плешивый ваш не приходит? Выписался, что ли?

«Он не плешивый», — сказал я про себя. Потом подумал, поднялся на локте и сказал:

— Он не плешивый, — себе под нос. А пластинки даже не слетели с груди — я чуть-чуть привстал. И видел только ее спину.

— Он не плешивый, — громко сказал я.

— Что? — спросила она, что-то записывая.

Я взял и сел. Пластинки шлепнулись на пол.

Я огляделся: куда бы дать выход звенящей, зудящей дрожи рук и души? Толкнул цветочный горшок. Он чуть качнулся и устоял.

Лежак был теплый и хотелось лечь обратно.

— Он не плешивый! — крикнул я и толкнул горшок изо всех сил. Руда скользнула, но горшок все же упал, выплеснув язычок земли на линолеум. Белое пятно запестрило и резким бабьим голосом плюнуло: «Это что? Такое?»

Я встал и пошел, потом побежал, никак не теряя эту чертову черную дрожь, дернул занавеску с двери, смел какие-то склянки со столика и, не увидев себя в зеркале, выпрыгнул в коридор. Изо всех сил побежал... Потом были руки из огромной волны выросшей дрожи и чей-то голос перед огромной волной, «что вот-вот накроет:

— Какой молодой и такой нервный... Кем хоть был до армии?

Я выдохнул последнее:

— Человеком.

## ДЕМБЕЛЬ В ОПАСНОСТИ

### Эпос

Небо застыло сегодня над землей, морщинистой, как мозг, ви-той шапкой облаков...

«Десять секунд, чтобы принять удобное для сна положение. Если после этого будут скрипы, после третьего скрипа будет: «Рота, подъем!»

Дела, как у картошки осенью, — если не съедят, то посадят.

Когда Бог раздавал дисциплину — авиация была в воздухе.

«Дембель неизбежен, как кризис империализма», — сказал молодой солдат, и слеза упала на половую тряпку.

«...Не падая своей крови и самой жизни...»



«Это не порядок, товарищи. Это — пар-родия! Надо заправлять свою постель так, чтобы ваша мама приехала и сказала: «Это что? Это постель моего сына?! У меня дома стол письменный — ну точно такой же ровный! Нет, даже не такой, у меня на столе вот тут такая кривоватость, сын постоянно сюда банку с пивом ставил, а тут совсем другое дело!»

Мы хотим всеобщего счастья, а достижимо ли это? Вот так живешь-живешь, не успеешь оглянуться, а чайник уже свистит. Ещё порточки не надел, а харчишки уже отъел.

— Смотри, об этом никогда не говори. Особенно в бане.

— Почему?

— Шайками забросают.

Дембель в опасности! Пайка стынет. Зашивон. Зашить. Зашиться.

Ну и репа, хрен промажешь!

Так и не надо стучать себя пяткой в грудь и говорить... Что кто захочет сказать — пусть поднимет правую клешню.

Лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор. Какая разница? Одна дает, другая дразнится.

— И давно не пишет... И вообще она уже наверняка сейчас какая-нибудь Петрова или Сидорова, или Череззаборногузадерищенская.

Ты был еще в проектах, а я уже в армаде пахал.

Зеленые фонтанчики травы сквозь прелое одеяло палой листвы и синее июльское небо сквозь витражные переплетения веток.

## ЗАШИВОН РЯДОВОГО КОЗЛОВА

### *Хроника*

Козлову никогда не снились сны.

И ночь проходила пусто и незначительно. Как тонкое коромысло ложилось на плечи, колыхая на концах два ведра: подъем да отбой.

Когда крикнули «подъем!», он мигом слетел с салабонского второго яруса, но проснулся лишь тогда, когда намотал правую портянку.

В коридоре включили свет, и сонный младший сержант Ваня Цветков с повязкой дежурного по роте разгуливал по проходу, заложив руки за спину, покрикивал хриплым ото сна голосом: «Выходи строиться!» — и кашлял. Глаза у Вани были большие и черные. Он был молдаванин — самый авторитетный шнурок в роте.

Салабоны выбежали и образовали первую шеренгу, сразу замерев. Цветков обратил свой угольный взор на окна: убедившись, что салабоны Попов и Журба, спавшие рядом, не забыли поднять светомаскировку, Ваня мрачно сказал от нечего делать:

— Каз-лов.

Козлов не шелохнулся — глядел перед собой. Шнурки не торопясь одевались, сохраняя на лицах солидные выражения. На нижнем ярусе закричали пружинами первые деды.

Цветков устало поморгал на Козлова и, не найдя, что сказать, пошел дальше.

День начался.

Перед строем быстро прошагал замполит — худенький востроносый старший лейтенант Гайдаренко. Поглядев налево и направо, он звонко выкрикнул:

— Где Вашакидзе?

Все осоловело глядели внутрь себя; времени было пять. Подняли на час раньше ввиду помывки в бане. Замполит первый раз проводил это ответственное дело, заменяя приболевшего старшину. А Вашакидзе был каптерщик, и рота без красной авоськи с мочалками и старой наволочки с коричневыми брусками мыла в баню следовать никак не могла.

Гайдаренко устал выискивать в сонных шеренгах чернявую шелую каптера и недовольно спросил, тряхнув головой:

— Дежурный по роте, где Вашакидзе?

Ваня расцепил руки за спиной и медленно дотронулся сложенными в щепоть пальцами до расстегнутого подворотничка, подержался за него — застегнуть или нет — и опустил руки, закрыв ворот подбородком, а руками скользяще погладил ремень по окружности.

— Ну-ка, сбегай кто-нибудь, по-резвому, за Вашакидзе, — прошипел он первой шеренге.

Салабоны все застыли взглядами мимо дежурного, хотя им очень хотелось переглянуться.

— Ну что, сбегать некому уже? Постарели все? — С правого фланга выступил на полшага замкомвзвода первого взвода сержант Петренко, натягивая китель на игривую синенькую футболку.

Петренко был самый жуткий дед. Шнурки за глаза называли его «зверь».

— Иван?! — полувопросительно пропел Петренко.

Цветков выкатил глаза:

— Попов и Козлов... вашу мать, бегом за Вашакидзе!

Они побежали в сторону туалета. Вашакидзе любил после подьема подремать в одной из кабинок.

В туалете весело пела вода — кардан (шофер) дежурной машины Коробчик набирал в ведро кипятка, заодно опустив в раковину для ног свои костлявые ступни.

В Коробчике было метр девяносто четыре, и под настроение он не раз брался выяснять у командира взвода старшего лейтенанта Шустрякова, не полагается ли ему, боевому шнуру Коробчику, двойная пайка. В роте его звали Хоттабыч за огромный крючковатый нос-шнобель.

Попов прошелся вдоль кабинок, заглядывая в каждую запотевшим прыщеватым лицом с толстоватыми бескровными губами, наконец, у самой дальней он замер и сказал Козлову шепотом:

— Здесь.

Козлов, по привычке сгорбившись, встал рядом. Попов качнул головой в сторону кабинки:

— Скажи ему...

Козлов надул губы и отвернулся в сторону:

— Сам скажи, чего я...

«Козел», — сказал про себя Попов и тихо проговорил:

— Вахтанг.

Потом еще:

— Вахтанг...

Когда он хотел еще раз сказать, Вашакидзе из кабинки гортанно каркнул:

— Пошел на хрен!

— Вахтанг, там замполит зовет, рота стоит, — обрадовался Попов, что Вашакидзе проснулся.

Каптер подтвердил адресование Попова в известное место.

Попов бесшумно цыкнул, оборотившись к Козлову. Лицо у Попова было как кусок мяса — пористое и розоватое, соломенные остатки волос распластались по большой неаккуратной голове. Откликнулся он на «ж...» и моргал при этом белыми противными ресницами.

— Замарал, Вахтанг, рота ждет, понимаешь-нет? — зычно крикнул Коробчик-Хоттабыч, заглушая воду. — Хочешь, чтоб Гайдаренко сюда притопал?

— Молчи, сынок! — выпалил из кабинки Вашакидзе.

— Сынок у тебя в штанах, — пропел Коробчик, с наслаждением шевеля пальцами ног под горячей тугой струей воды.

— Ж..., — сказал наконец Вашакидзе.

— А?

— Хрен на! Ты... вот что... Ты один?

— Нет. Козлов здесь, — быстро сказал Попов, и Козлов не успел сделать шаг назад, а только взметнул умоляющие круглые брови и выкатил каре-черные глаза, безвольно разлепив губы.

— Тада ты, ж..., иди скажи этому раздолбаю, что я сейчас иду. Слышь?

— Ага.

Попов быстро улизнул.

— Козлев?

Тот откликнулся только со второго раза: задумавшись, он глядел под ноги и пощипывал пальцами щетину на подбородке — щетина была просто беда. Когда Козлов брился с вечера, к утру у него был вид подзаборного забуддыги — морда была черная. И поскольку поутру салабонам ходить в туалет нельзя, а электробритва Козлова стояла уже довольно давно, он брился обычно до подъема, укрывшись одеялом, насухую, но сегодня этого не сделал,

так как был четверг и баня — утреннего осмотра не предвиделось, оставалось только избежать всех дедов и шнуров, и тогда все будет нормально, главное — дожить до смены.

Так думал Козлов, пощипывая подбородок большим и указательным пальцами.

— Козлев, мать...!

— А?

— Хрен на! Спишь, милый? Принеси мне бумаги и смоешь потом. Давай.

Козлов сделал уже четыре размеренных шага, вспоминая, где он видел старую газету, когда Коробчик, исковеркав свой голос, прошипел, отдаленно похоже на Козлова:

— А пошел бы ты на хрен!

Козлов в ужасе оцепенел на выходе, жалко улыбаясь Хоттабычу.

Раздалось звяканье — очевидно, потрясенный каптер выронил ремень из рук, и он тяжелой змеей немедленно скользнул в очко.

— А-а?! — фальцетом крикнул раздавленный услышанным каптер.

— Хрен на! — безапелляционно отрубил Коробчик.

Дверь кабинки мигом распахнулась, прозвенев сорванным шпингалетом.

Держа одной рукой штаны, другую — на отлете, красный Вашакидзе орал:

— Козлев, родимый, ходи сюда! Ходы сюда!

Козлов стоял с дрожащей улыбкой на устах, с надеждой смотрел на Коробчика, хотел что-то сказать, но слова застряли где-то в животе противным нытьем, а Хоттабыч переламывался надвое от хохота, чуть не макая свою голову в ванну, визжал и причитал:

— Да он же на тебя болт забил! На тебя — боевого шнура! Сынок отца послал! Понимаешь-нет?

Вашакидзе глядел на окаменевшего в немом отчаянии Козлова и на щербатый хохот Коробчика, тяжело дышал и наконец понял:

— Ты-и... Дух! Хоттабыч, тварь нерусский! Обизяна!

— О... Кто бы говорил. — Махал ручищами довольный Коробчик. — Ты сам давно с дерева слез?

Возмущенный каптер принялся грузно усаживаться на облюбованное очко, а Козлов вышел на цыпочках из туалета.

Ваня Цветков считал уже роту третий раз — не все деды еще встали, а замполит, отчаявшись найти Вашакидзе, пронзительно выкрикивал на левом фланге дежурного водителя Коробчика.

— Козел, Козел... Ну-ка запрыгнул в строй! — пробурчал кто-то из не вполне проснувшихся шнурков третьего взвода.

Козлов развел правой рукой в сторону, опустив подбородок в надежде, что он так кажется менее небритым, и разлепил толстые губы:

— Я к Вашакидзе... ему там... надо. — Суетливо, еще больше ссутулясь, как от занесенной плетки, он выудил из-под вешалки с

шинелями старую газету и, размахивая худыми, костистыми руками, зашмякал сапогами к туалету.

Вашакидзе столкнулся с ним на пороге и царственно прошагал мимо, величаво глядя перед собой.

Козлов просочился мимо мотающего портянки Коробчика и спустил воду в кабинке, повертел с сожалением в руках ненужную газету и медленно засунул ее в жестяной синий кармашек, напряженно слушая шум воды в умывальнике. Лицо его даже заострилось, но маленькие глазки сохранили прежнее, обычное для Козлова выражение — будто всегда болели, и поэтому он постоянно шурился, наваливая на глаза жесткие черные брови, при этом в уголках рта собирались небольшие горькие уголочки-ямочки.

Просто так скользнуть обратно не удалось.

— Козел, слышь... — Коробчик с удовольствием притоптывал ладно севшими на ногу сапогами сорок шестого размера. — Так ты чё, опух? Фанера, что ли, толстая? Служба замучила? Да? Постарел? Или репа толстая стала? А?

Козлов закинул до упора голову в безнадежном, тяжком предчувствии, дрожа веками и жалко обнажив между губами желтоватую кромку зубов. Он даже ничего не смог сказать, только потряс судорожно головой, вжавшись в стену и не отрывал взора своих глазок-семечек от грозно насупленного Коробчика.

— Да ты че, Сашк... Че ты? — вдруг обнял его Коробчик. — Я шучу, Козлов, ты ж видишь? Ты ж у меня первый друг, самый боевой салабон! Ты же дедом будешь авторитетным! Слышишь?

Козлов сжал губы и растроганно заморгал. Коробчик быстро закрутил вентиль — ведро уже наполнилось истомленно дымящейся водой, брякнул дужкой:

— Давай, Сашк, отволоки до машины. Помоги, брат.

Козлов по-доброму сверкнул глазами и даже что-то пробормотал благодарно, уцепил ведро и потащил его, оберегая правую штанину от шального выплеска.

— Иван, хватит считать! — крикнул, уморившись торчать на левом фланге, Петренко, и первый взвод гурьбой повалил на улицу: салабоны проскальзывали вперед, дальше шли, смеясь и подталкивая друг друга на заледеневшей лестнице, шнуры, замыкали, все как один исполненные мрачной погруженности в себя, обвязав шею полотенцем, дедушки.

Козлов отпер ведро и быстренько заскочил в крайнюю слева салабонскую колонну.

— Где шлялся, Козлов? — тихо спросил в затылок коренастый Журба.

Козлов обернулся и торопливо проговорил:

— Да так... знаешь Коробчика? Вот с ним... поговорили. Знаешь, парень такой хороший. Ну, поговорили, в общем, так хорошо.

Дверь хлопнула, и рота приосанилась — замполит, оглядев народ, бодро побежал к машине.

За ним, выбрасывая длинные ноги, вышел Коробчик. Шапка идеально прямоугольной формы, достигнутой в результате долгих, упорных растяжек ее ленинскими томами из ленкомнаты, чудом висела на затылке Коробчика. Шинель, по длине лишь немногим уступавшая нескромному пляжному халатику, была не застегнута на два верхних крючка, открывая молодецкое горло Коробчика, смело белевшее на морозе в окружении местами свежего подворотничка, подшитого отчаянной стоечкой. Коробчик гордо подал ногой случайную ледышку в сторону переминающейся с ноги на ногу роты и, чиркнув сапогом по заледеневшей тропинке, грохнулся на зад, деликатно открытый распахнувшимися полами шинели. Шапка повисела, задумавшись, на его затылке и, решившись, прыгнула в желтовато-ноздреватую промоину, вырубленную самим Коробчиком пару часов назад вследствие его млявого нежелания подниматься в туалет и трогательного стремления позаботиться о разнообразии быта дневальных. Рука Коробчика, метнувшись к голове, застала там лишь сиротливо обнаженную макушку.

Рота дружно заржала, заструив в колючее ночное небо бодрый серебристый парок.

Коробчик обронил несколько веских слов, тяжело встал, согнулся за шапкой и, отряхивая с нее снежную пыль, укоризненно покачал головой на переламывающегося в окне от смеха Ваню Цветкова, яростно сплюнул и отдельно отчеканил:

— Это какая тут скотина здесь воды наплескала? Ты, Козел? Ну, дух, вешайся!

Вытащили белье — его нес расчетливый салабон Кожан, решив таким образом проникнуть в баню раньше роты и несколько кошунственных мгновений понежиться под душем.

У сержанта Петренко сделались стальные глаза.

— Кожан! — хрипло рыкнул он.

Кожан чуть не выронил тюк.

— Ну-ка метнулся в строй!

— Игорь, я ведь... белье, замполит сказал, — заканючил Кожан.

— Я что сказал, мать твою так! — заорал Петренко и обернулся на салабонскую колонну. — Журба, тащи белье.

На лице Кожана сияло блаженство, когда он вручал белье молчаливому Журбе, просто всю жизнь мечтал об этом, и как это благодетель сержант Петренко догадался снять бремя с души...

Машина унесла гордый профиль Коробчика, и заледеневшего замполита, и Журбу с бельем в сторону бани, и рота, ведомая Петренко, пошагала вслед.

Салабонская колонна четко печатала шаг под чутким присмотром шнуров, поддерживавших резвость хода хорошим пинком в сгиб ноги соседа-салабона.

Козлов шагал, сжимался от диких обыденных угроз шнурков, сильно топал — все было, как обычно: морозная ночь, тяжелая, смутная голова, мерные взмахи рук, редкие, дрожащие от стужи

огоньки домов; эта обыденность была всегда порукой нормальному течению жизни — монотонного серого конвейера, и этот конвейер полз вперед со скоростью двадцать четыре часа в сутки, и все было как всегда, но его, Козлова, жизнь уже выделила и поставила поперек общего течения — его осенил неумолимый рок пошива, и он в привычных деталях скупого бытия искал злоещие, тревожные признаки нового положения — ему казалось, что в своей колонне он отстал от переднего соседа, а задний отстал от Козлова и, таким образом, он, как на ладони, как мишень — жалкая и обреченная; ему казалось, что в строю прорастает шелестящий шепоток о нем, о Козлове. Хоть и не разобрать слов, да чего их разбирать, чего уж ясней — пошился, готовится расправа, кара, казнь, муки несметные...

Дождавшись, когда деды зашли в парную, заняв законные душевые, а шнуры разобрали мочалки и лучшие куски мыла, салабоны на цыпочках потянулись за тазиками, стараясь особо не греметь.

В бане говорили мало — все размякли, ушли в себя, не находя кругом знакомых фигур, не узнавая никого и оглушаясь порой кошмарной мыслью, что несравненный сержант Петренко в голом виде очень похож со спины на писарчука салабона Васю Смагина; блаженно теплая вода не давала закрепиться, пустить корни ни одной мысли в голове, напоминала о доме, о прошлом, и у всех был одинаковый взгляд — безучастно-грустный, и было тихо.

Козлова никто не успел припахать, пока он выжидал своей очереди за водой, и он ушел в самый угол, боясь оглядываться по сторонам, и присел между Журбой и Смагиным.

— Козлов, иди спину потри.

У Козлова отвисла нижняя губа, но это был не Коробчик. Спину он тер горбоносому чернявому Джикия, который был из Тбилиси. Как на грех, к земляку подошел налитый важностью движений Вашакидзе.

— Козлев! На, возьми. В роте отдашь чистыми, — и сунул Козлову пару длинных махровых носков.

Козлов хитроумно сразу из парной направился получать белье, не заходя в раздевалку. Мыть парную его не оставили, и теперь он тихо брел по коридору в банную каптерку, где выдавали белье, и прикидывал, что, когда он вернется в раздевалку, дедов там будет уже поменьше (деды любят после баньки покурить по морозцу), а шнуры, которым курить еще рано, разопрев, переместятся на лестницу проветриться — и можно будет спокойно вытереться, если, конечно, упрятанное в рукав полотенце уже кто-то не отыскал и не вытер им ноги, но и тогда полотенце можно будет использовать, если положат его рядом с местом, где взяли, а не швырнут под ноги...

Замполит оглядел мокрого Козлова.

— Ты чего не вытерся?

— Я? Забыл... Потом вытрусил, — привычно пробормотал Козлов, протягивая робко руку, словно боясь, что по ней ударят, за кальсонами и портянками.

— А что в руке?

В руке были носки, и Козлову стало холодно.

Замполит уже расцепил его пальцы и, присвистнув, оглядел, как на грех, ярко-красные носки.

— Чьи? — устало спросил Гайдаренко.

— Мои, — тихо ответил Козлов, напряженно подумал, что бы еще сказать для правдоподобия, с трудом вздохнул и добавил:

— В портянках холодно... ну, и я...

В глазах внимательно считавшего грязные портянки Кожана бушевал смех — в носках запрещалось ходить даже шнуром, Вашакидзе нарушал этот запрет в виде исключения как особа приближенная к каптерке.

— Вот что, Козлов, — решил замполит. — Сейчас вы одевайтесь — и в машину. Приедем в роту — сразу ко мне. Разберемся.

Как одевались, собирали в узлы грязное белье, увязывали его, Козлов не запомнил — вокруг рушился мир, земля таяла под ногами, и вся прежняя жизнь неумолимо и жестоко перечеркивалась, и не будет к ней возврата: главное, не стучать, как это делает Раскольников. Замполит ломает... из нарядов не вылезу... на губу посадит... Вашакидзе убьет... А Коробчик?..

Все мешалось в голове, все было плохо, очень плохо, беспросветно.

Машина обогнала роту с четко шагающей салабонской колонной, деды даже руки на карманов не вытащили, игнорируя угрозы пальцем замполита из окна. Замполит попросил остановить машину, но Коробчик с каменным лицом и ужасающе выпученными глазами объяснил, что останавливать машину по такому гололеду он не будет ни в коем разе, под трибунал идти с замполитом ему не улыбается, он еще в отпуск не съездил, кстати, товарищ старший лейтенант, вы не намекнете командиру взвода старшему лейтенанту Шустрякову, что можно и обязательно нужно отпустить в отпуск отличного водителя рядового Коробчика за беспримерный героизм, проявленный во время перевозки личного состава в суровых зимних условиях? А машина прыгала на ухабах, и Козлов лишь вымученно улыбнулся Кожану, зловеще протянувшему:

— Ну, Козлов, теперь — вешайся...

Рота была пустой, и шаги по проходу между кубриками звучали весомо и гулко. Козлов с Кожаном отволокли в каптерку грязное белье, и теперь Козлов стоял посреди прохода с застывшим, растерянным лицом. Большая беда не просто удар, мало того, что разорван кусок жизни, это как разорванное звено — большая беда делает ненужными и все последующие звенья.

Вокруг бушевало счастье: удалось приехать на машине в роту, можно было быстренько заправить постель, побежать почистить сапоги на лестницу, а заодно и спрятаться на чердаке, дождавшись



построения, а потом соврать, что замполит заставил что-то делать на улице, — это был первый случай такой удачи за девять месяцев службы рядового Козлова, самого чмошного салабона из всей роты, а он стоял посреди казармы с отекившим лицом, и глаза его глядели тяжело и горько.

— Козлов... — дежурный по роте Ваня Цветков вяло манил его пальцем, развалившись на кровати в темном углу нижнего яруса.

Козлов подошел, подбрасывая коленями полы длинной шинели.

Ваня был разбит бессонной ночью, проведенной в каптерке за картами, и кровать под ним провисала на полметра.

— Значит, так... — сипловато объяснил он. — Пока рота не пришла, иди помой там туалетик, а потом, если успеешь, прометишь лестницу. Давай. — Ваня бессильно смежил ресницы и уже на десерт добавил: — Тока... смотри... чтоб Гайдаренко не пошил... а то втащит тебе и мне... по самое некуда, а-ах-ах-хах, — зевнул Ваня, поудобнее устраивая смуглую щеку на подушке.

Хлопнула дверь в каптерку, и сочный голос замполита возвестил:

— Коз-ло-в! Ко мне!

Козлов качнул головой и, согнувшись, пошел в каптерку, сутулый и неуклюжий.

Ваня Цветков, нахмурившись, глядел ему вслед, на всякий случай опустив ноги на пол.

Кожан закладывал тюки с грязным бельем в деревянный шкаф, замполит что-то вписывал в толстую ведомость, изможденно и подолгу зевая. Увидев Козлова, он брякнул ручку в пластмассовый стаканчик и, сцепив руки в кулаки, уткнулся в них острым носом.

Кожан томительно долго ухватывал тюк, взбирался с ним по шатающейся лестнице-стремянке, открывал со скрипом желтую дверцу, водружал в шкаф тюк, подбивал его, чтобы тюк в одночасье не обордюжился на голову замполиту, и слезал за следующим тюком.

Козлов глядел под ноги, страшись глядеть на Гайдаренко.

Кожан наконец убрал все белье и с вопросом в глазах оборотился к замполиту, тот суетливо замахал руками: иди-иди. И Кожан ушел, поглядев мимо напрягшегося Козлова.

Дверь хлопнула.

— Та-ак, — сказал замполит.

Помолчали.

— Что у тебя такие сапоги сбитые? — вдруг поинтересовался Гайдаренко. — Старшина тебе новые выдавал, нет?

— Выдавал. Так точно, — кивнул Козлов и, наморщившись, стал смотреть на свои разбитые сапоги, которые он уже носил второй срок подряд, так как новые, выданные старшиной два месяца назад, как раз подошли деду Коровину, который в них нацелился идти на дембель.

— Видать, много ходишь, — улыбнулся ему замполит. — Ишь, как сносил.

Козлов поглядел на Гайдаренко, но улыбнуться не посмел.

— Так кто тебе сказал стирать носки? — выпалил замполит. — А? Ну, чего молчишь?

Козлову было жарко в шинели, он опасался за свой чернеющий подбородок, боялся замполита, и тоска была в каждой клеточке его полноватого тела — ему очень захотелось выйти в спортгородок и постоять в уголке за брусьями, упершись лицом в мелкую железную сетку, хранящую январскую стужу, и моргать, дышать, смотреть на ворота гарнизона, пропускающие машины, и, когда дневальный зазевается, можно будет увидеть кусочек жизни: редких прохожих, апельсиновый бок замызанного автобуса и что-нибудь еще, если повезет, посмотреть фотографии сына, попытаться услышать его голос, увидеть, коснуться, заплакать...

Замполит молчал и смотрел на свои руки. Надо было отвечать.

— Никто... Я сам... Это мои носки.

— Хватит! — Замполит вдруг бешено хватил кулаком по столу так, что пластмассовая карандашница взлетела на воздух, загремев содержимым. — Хватит! — искривил рот замполит, вскочил, грубо швырнул в сторону стул, прошагал стремительно к Козлову, глянул в его опущенное лицо, завернул за спину и уже оттуда заговорил с затаенным стоном: — Да вы готовы все на себя взять! Все, только свистни... Водку на смене нашли в чьей шинели? Попова, конечно. И Попов, как миленький, твердит: моя водка, для себя брал, выпить захотелось... Да? Ты думаешь, я слепой? Думаешь, дурак? Вас мордой в грязь, вам продыха не дают, вас бьют каждый вечер... Ты думаешь, я не знаю, как это Журба умудрился с лестницы упасть, что челюсть сломал, — я знаю! Я бы всю эту грязь... своими руками!!! Ты слышишь? Душил бы по ночам! — Замполит потряс судорожно сжатыми кулаками у лица вздрогнувшего Козлова. — А вы терпите... Годик потерпите — потом другие потерпят? Так? Не качай головой, не качай — все вы так сначала: все, дескать, зверье, а я не буду, я перетерплю, а сам не буду. Будешь! Еще как. Кого больше мучают, тот больше всех и зверствует потом. Тот потом кровушки всласть насосется... Но ты первый год проживешь, как свинья, а второй — как мясник, а человеком никогда не станешь!

Замполит перевел дух и снова сел за стол, быстро пробарабанил пальцами по крышке и, не поднимая лица, продолжил:

— И ты думаешь, это когда-нибудь кончится? Не-а. Думаешь, станешь шнурком — все изменится? Не-а. Ну, умываться будешь по утрам, если кто-то будет грязным ходить... Ну, туалеты мыть не будешь, если кто-то другой будет мыть. Бить тебя реже будут, если кого-то ты будешь бить каждый день. Ты, лично ты! Ну, еще подошьешься стоечкой, крючок расстегнешь, если деда рядом не будет. Мне в спину что-нибудь пошепчешь. Но душой-то тварью и останешься! И даже дедом станешь — все равно в душе ты — тварь! И на «гражданке» чуть копнут — а ты гнилой. Согнули!

Тебя заставили — ты заставил, это одно и то же, значит, в жизни тебе вдолбили: ты — ничто. А ты решил, если так, значит, есть еще меньше тебя ничто — и ты его можешь согнуть. Да? А чуть больше сила — значит, ты опять ничто, опять что-то должен, уже не человек. Понял?!

Козлов мелко подрагивал, сжатый тесной шинелью, как лимонад в бутылке. Ему страшно хотелось в туалет. Он всегда оглушался чужими криками и сразу забывал, про что говорили только что.

— Ну хорошо. — Опять вскочил замполит. — Хорошо. — Он подошел к двери, поплотней ее прихлопнул и стал говорить совсем тихо, прижавшись спиной к шкафу слева от Козлова: — Ты боишься стать стукачом... Пойми, стукач — это тот, кто стучит свой призыв. Подглядит что и где, если сам сторона, и бежит ко мне, докладывает и в увольнение просится — у меня таких хватает, хватает... Чего говорить — есть. Но тебе-то что здесь стучать, какая тебе тут может быть выгода? Против тебя допустили внеуставные отношения... Надо карать! Немедленно и максимально жестоко виновного! Ты прав! Ты, понимаешь, прав! Но ты слабый человек... Ты боишься — хорошо... Ты мне скажи, кто он. Я больше тебя ни о чем другом не спрашиваю, ничего. И я выдержу время, слышишь, — время, месяц! И потом накажу. Такой момент найду, такую возможность... И вдвое, втрое жестче — он взвост! Взвост. А ты... Ты скажешь, что сейчас рисовал бирки для тетрадей политподготовки. Скажешь: припахал, мол, замполит, такая вот сволочь... А? Кто?.. А?

Козлов мученически повел шеей, сглотнул и выдавил:

— Это я... Это носки мои. Сейчас холодно...

Замполит помолчал и шмыгнул острым носом.

— Ну что ж... Значит, пусть все по-прежнему: живите не улыбайтесь, вечером ни шагу из кубрика, не дай Бог, засмеетесь громко, не дай Бог, дни неправильно сочтете... Все чепуха, конечно, ерунда, мне деньги платят, рота отличная — чего еще... Вот только, знаешь, Козлов, вечером дома сидишь, дети играют на полу, — сыновья у меня... Двое. А я вот, Козлов, думаю: зачем у меня сыновья родились? Как же я их в армию провожу? Умереть легче, чем представить. Вот и не спится ночью. Ведь бьют же сейчас кого-то. Кто-то сейчас плачет. Да, Господи, ты посмотри на себя, на всех салабонов со стороны, хоть сколько вам: восемнадцать, девятнадцать, ну сколько угодно, а все — дети; думаешь: одного сейчас оставишь — сядет на пол и расплачется... Как дети мои. Это потом вы взрослеете, когда кровь пить научитесь, тогда, конечно, откуда только все берется... Но ведь сейчас же мучаетесь, значит, было в вас что-то... понимаешь, что-то от матерей ваших, от справедливости, от чистоты, что ли... И мучаетесь, что отнимают это, — вот за это мне страшно. А бьют... Что ж, все дрались по молодости, но не так, чтобы по очереди всех и без толка. Только бы крови напиться... Но ведь болит же что-то в вас, болит... — Замполит неловко улыбнулся, будто Козлов узнал что-то, делая-

щее замполита жалким и ничтожным, обнял сам себя руками, поскрипел тугой кожей сапог и свежо, отчужденно сказал:

— Вы понимаете, Козлов, что за нарушение формы одежды, выразившееся в ношении носков, я имею право объявить вам наряд вне очереди, а без труда найдя еще более веский предлог, определить вас на гауптвахту, если носки действительно ваши.

Козлов горестно покачал головой. Да, он все понимает.

— Ну иди, — вздохнул Гайдаренко. — Иди, Козлов...

Когда дверь закрылась, он прошептал:

— Коз-зел!

Когда в каптерку, крадучись, заглянул Вашакидзе, замполит сидел за столом, спрятав лицо в ладонях, и без выражения смотрел на длинные ярко-красные носки, разостланные на столе.

Вашакидзе для пробы подошел к окну и стал копаться в ящике для тряпья, что-то напевая. Замполит не шелохнулся.

— Случилось что, Евгений Степанович? — затаив дыхание, спросил каптер.

— А... так, — болезненно качнул головой замполит, — бывает. Подумаешь так — как все у нас кругом... Грязь да грязь. Хоть вой. Будто одни скоты кругом. Так, знаешь, все...

— Как так? Как так? — оживился каптер. — Люди кругом... Правда-а!

Замполит грустно хмыкнул и улыбнулся Вашакидзе из-под руки.

— Эх, грузин ты мой, грузин, вот уволишься, поедем с тобой в Тбилиси вино пить... жить. И не думать — жить, короче. Поедем?

— Ага. А как же? Почему же нет? — радостно закивал горбатым носом Вашакидзе. — О чем речь?

Замполит, печально улыбаясь своим мыслям, прошел к двери и обернулся:

— Вон те носки, выбрось их куда-нибудь...

Вашакидзе поджал губы и вытянул шею, разглядывая носки, затем опустил лицо и еле слышно, себе под нос, проговорил:

— Зачем выбрасывать? Себе возьму, — и вкрадчиво скосил глаза на замполита.

Замполит подумал и, не расставаясь с туманной улыбкой, блуждавшей по губам, произнес:

— Ну возьми. Они стиранные как раз. Да и холодно сейчас. А что... возьми. Возьми.

Козлов испуганно глянул издали на Цветкова, потягивающегося посреди прохода, прижмурился и пошагал мыть туалет. Драгоценный момент был упущен — рота приползла из бани, туалет был полон дедами.

Козлов выдраил дальнюю кабинку и повернулся полоскать тряпку. На подоконнике курила троица: каптер Вашакидзе, первый ротный зашивон дед Коровин и Ваня Цветков.

— Ну что, Козлов... Как замполит? — смеялся Ваня.

— Маладец, маладец, — похвалил Козлова Вашакидзе. — Воин!

Цветков успокоенно пробормотал что-то типа: «Ну ты тут порядочек...» — и улепетнул, оставив свою сигаретку Коровину, — тот распустил в улыбке алые губы:

— Козлов, а скока тебе лет?

— Двадцать семь, — без радости ответил Козлов, стягивая тряпкой воду с кафеля.

— Не коммунист, нет? А дети есть? — Коровин уже обрел пару слушателей.

— Есть. Сын, — ответил Козлов и раскрыл рот, чтобы назвать имя, и подумал даже, как придется доставать грязной рукой фотографии из внутреннего кармана, — обычно просили показать, но Коровин уже заключил:

— А мне вот девятнадцать. А я — человек. А ты — козел!

Все засмеялись. И Козлов тоже.

В строй на завтрак Козлов метнулся среди последних.

В тот момент, когда замполит ставил в строй рыжеватого затюканного бойца, обряженного во все новое, — в часть привезли первого духа.

— Товарищи, это рядовой Швырин. Он пока один из своего призыва. Возможно, будет водителем, а пока дневальным по смене. Пойдет в третий взвод. Надеюсь, примете его в свою дружную семью, — нудно твердил Гайдаренко.

— Пусть вешается! — крикнул кто-то с левого фланга.

Гайдаренко устало поморгал в ту сторону, но ничего не сказал. Дневальный заорал:

— Рота, строиться на улице для следования на прием пищи!

В столовую салабоны и новенький дух Швырин зашли последними. Замполит кричал, чтобы немедленно всем садиться. Салабоны подходили к столам, шептали: «Разрешите?...» Дедушки из педагогических соображений или ввиду занятости жеванием рта не обозначали своего согласия — салабоны стояли скорбными столбами. Гайдаренко лично усаживал их на пустые стулья. Некоторые любимцы дедушек садились раньше, но тут же неслись за хлебом, горячим чайником или белой кружкой, поскольку дедушка вдруг обнаруживал на доставшейся ему выбоину эмали, что не соответствовало общественному положению дедушки русской авиации.

Козлова замполит сунул последним вместе с духом Швыриным за стол к трем грозным дедам: сержанту Петренко и ефрейторам Мальцеву и Баринцову. Баринцов был сволочьё для салабонов; все ненавидели его жиденький чубчик на выпуклом лбу, спеленькие губки и лукавый взор, его волны дикой злобы и странную отстраненность от результатов собственного зла. Мальцев был спокойный худошавый парень — бить особо не бил, но следил за общей пахотой строго.

Козлов разлил всем чай по строгой очереди: Петренко, Баринцову, Мальцеву, себе и духу. Сел.

— Видишь, Козлов, боец твой пришел, — медленно сказал Петренко.

Козлов тупо улыбнулся.

— Кто из ваших будет ветеранить его раньше приказа — убью! — также медленно добавил Петренко, обещающе косясь на внимательного Кожана, разместившегося за соседним столиком. — Шнурье пусть присматривает, а вы — убью!

Петренко посмотрел на Швырина. Тот не гнулся к столу, как все салабоны, даже откинулся назад, старался спокойно есть. Но вся столовая говорила о том, кому можно его угнетать — у него было серое лицо, и хлеб ломался в руке.

— Сколько там осталось мне до приказа, Козлов? — осведомился Баринцов.

Козлов мигом осмотрелся — Баринцов уже сожрал масло — его день уже прошел, отнял из вчерашнего один и доложил:

— Семьдесят три.

— Семьдесят три, Козлов, семьдесят три, — расплылся Баринцов. — А скажи мне, Козлов, мил друг, а вот кто у нас в роте, если очень крупно подумать, самый большой любитель котлет?

Мальцев ухмыльнулся, Петренко топорщил усы и шептал:

— Как ты достал...

— Я не знаю, — еле ответил Козлов, удерживая на лице изю всех сил улыбку.

— Я скажу, скажу, друг мой. Это — я, ефрейтор Баринцов. Давай сюда свою котлетку. Поторопись это сделать, грязный зашивон, иначе я не заступлю на боевое дежурство по обеспечению безопасности полетов нашей авиации, как любит говорить твой лучший друг замполит Гайдаренко, с которым ты сегодня полчаса беседовал в каптерке с глазу на глаз, давай!

Козлов улыбнулся и все еще выжидал, внутренне молясь, что сейчас подойдет замполит, — котлеты давали раз в неделю. Это был праздник.

— Хреновый ты товарищ, Козлов, — огорчился Баринцов.

— Да что ты... Возьми, — сдался Козлов, старательно глотая горлом. — Я и так не хотел. Я не люблю...

— Не люблю... А кто скулил, когда Коровин котлету забрал на седьмое ноября, — заметил Петренко. — Чмо ты паршивое, а не мужик!

И он пошел к выходу, придавая взглядом бодрость движениям позднее всех начавших трапезу салабонов. Мальцев доцедил чай, со стуком утвердил чашку на столе и облизал губы:

— Сашка, а ты скажи. Вот ты шнуром будешь — станешь салабонов ветеранить — нет?

— Он не станет. Они вообще никто не будут. Никто, — хмыкнул Баринцов, дожевывая котлету.

— Пусть сам скажет, — довольно произнес Мальцев. — Ну?

— Не буду, — осторожно дернул плечом Козлов. — Зачем?

— Ага, — удовлетворенно крикнул Мальцев и тоже направился к выходу. За ним, сделав остающимся смешные глаза, — Баринцов.

Швырин вдруг располовинил вилкой свою котлету и сунул половину в тарелку Козлову. Тот, ничего не говоря, начал есть.

— А чего ты пошелся?

— Так, — поморщился Козлов.

— И так у вас всегда? — выдавил дух.

— А чего? — обиделся за роту Козлов. — У нас клево. Ты еще у других не видал. У нас часть отличная...

Козлов встал и неожиданно для себя улыбнулся:

— Душ-шара.

Пожрав, деды и шнуры набились в ленкомнату наблюдать любимые задницы в аэробике. Салабоны всеми силами изобразили уборку кубриков. Козлов, хитрый Кожан, писарчук Смагин и дух Швырин ровняли по нитке белые полосы на синих одеялах в первом кубрике. Ровнял один Козлов, боязливо озираясь на гогочущую ленкомнату и бормоча себе что-то под нос. Писарчук Смагин, ошивавшийся при штабе и любимый дедами за доступ к бумаге, клею, туши и красивый почерк, хитро устроился верхом на табуретке: со спины было несомненно, что Вася недремлющим взором отслеживает никогда не уловимую единую белую полосу, а с лица оказывалось, что Смагин топит на массу самым похабным образом, пуская слюни на полотенце дедушки Коровина.

Кожан рассматривал содержимое вещмешка Швырина, успев попросить несколько иголок, конверт и семьдесят копеек денег, и потом объяснил, как надо грамотно спрятать подшивочный материал:

— Ты суй его в наволочку. В самую глубь. Сюда поближе ложи самый-самый грязный подворотничок. Дедушка руку сунет — там грязный, а глубже руку и не просунет, понял?

Козлову стало обидно, что Кожан, а не он наставляет духа, и он прошел мимо них, поправляя ножные полотенца на кроватях, и исподлобья глянул на Кожана:

— Чего это ты... С духом... Здесь.

Кожан усмехнулся и плюнул Козлову на сапог.

— Козлов, зашивон, а ну прыгай в строй! Убывающая смена строится! — заорал первый вырливший из ленкомнаты озабоченный и возбужденный аэробикой Ваня Цветков. За ним топала сапогами, двигала стульями, шумела огромная, грозная масса.

Козлову стало страшно.

В строй запрыгнуть он не успел. Вечно дневальный зашивон дед Коровин показал глазами на ленкомнату, и Козлов скользнул туда расставлять стулья.

К машине он бежал, подкидывая коленями шинель, когда весь взвод уже погрузился в установленном порядке: у края — дедушки,

по бортам и на задних лавках — шнурки, на полу — салабоны и дух Швырин. Провожавший смену Цветков добавил Козлову пинка для скорости в помахал рукой кардану Коробчику:

— Смотри, осторожней ехай, мать твою... Зашивона везешь!

Козлов забрался в самый угол между Журбой и Поповым.

Машина тронулась, люди качнулись, привалившись друг к другу плечами, толкнувшись затылками в брезент. Козлов тоскливо думал о предстоящей смене — может быть, все обойдется? Бывают же и хорошие смены; думал, что сегодня край как надо побриться, что хорошо бы, если Коробчик не сразу вылезет из машины, когда приедем на приемный пункт, чтоб можно было потихоньку, пока народ будет прыгать в снег, улизнуть, а потом он перестал думать, пытался увидеть через головы край дороги, а видел только плывущие по сторонам черные ветки с ключьями осыпающейся снежной ваты.

— Козел! — позвали из темноты.

Звал Петренко из угла.

— И ты, дух... Идите сюда.

Петренко стало холодно в углу на голой лавке и он ради смеха усадил под себя Козлова и Швырина, а сам устроился сверху. Последнее время он был не в духе: любимая девушка перестала писать, а дембель находился еще в приличном отдалении. Подпрыгивая на четырех коленках, Петренко крутил головой с грозными кошачьими усами.

У самого борта среди матерых дедушек втиснулся боевой шнурок Ланг. Ланг старался что есть мочи унаследовать жестокою славу Петренко, и Петренко, чувствуя это, его не любил.

Ланг курил. В машине и при дедушках это не поощрялось.

— Ланг! Хватит дымить! — рявкнул Петренко.

Ланг после отчетливо выдержанной паузы обернул свое низкое рьяное лицо со злобным крысиным взором и сигарету изо рта устранил.

Петренко сплюнул и, устроившись поудобнее, выудил сгибом локтя из-за спины голову Швырина:

— Ну что, сынок, послужим?

— Да, — стиснутым голосом ответил Швырин.

В машине примолкли, откровенно смотря на этот диалог. Только салабоны не поворачивали головы, чтобы не обнаруживать даже тени хоть какой-нибудь заинтересованности и страха, — кончиться это могло чем угодно. Ланг, улучив момент, сунул сигаретку опять в зубы.

— Все будешь делать, сынок, — весело и печально заговорил Петренко, — когда время твое придет. Шнурье вонючее будет тобой заниматься. Ты не смотри, что салабоны сейчас такие тихие и с тобой — улыбочки... Станут, еще станут шнурками, тогда все... Но только носки не стирай. Даже если это гнилье заставлять будет — нет, и все!

Швырин почти не дышал, смотрел куда-то вверх.



Петренко еще мгновение сжимал его шею, ожидая или ответа, или еще чего, потом встал и, качаясь, с дурашливыми взвизгиваниями в шутливими падениями на сидящих протиснулся к борту. Там он плюхнулся на колени Баринцова, ласково его обхватившего, и глянул прямо на Ланга.

— Что, шнурок, я невнятно сказал — не дымить?

— Петрян, ты... — Начал Баринцов поглаживать Петренко по бокам. Но тот, уже злобно ошетилив усы, с размаху хрястнул Ланга по морде и вопросительно рыкнул: — Ну?

Ланг поднял с замызанного пола шапку, долго укреплял ее на затылке, подобрал поудобнее шинель и принялся смотреть за борт.

В наступившей тишине было слышно, как поет матерную песню в кабине Коробчик.

— Ну, салабоны, вешайтесь, — вдруг медленно отчеканил Баринцов из-под Петренко.

Это было понятно. Зло не уходит куда-то. Оно стекает вниз.

Дежурный по части старший лейтенант Шустряков минут пять ржал до потери пульса над лиловым синяком Ланга, удивляясь, как он мог звездануться о борт машины при повороте. Ланг смущенно улыбался и озабоченно матерился в кулак.

Шустряков обнял дежурного прапорщика и отправился с ним в дежурку играть в нарды, озабоченно глянув на Петренко:

— Ну, ты, давай тут, в общем.

Смена заступала, передавая наушники, сообщая ротные новости, показывая, где спрятаны запретные для чтения на боевом дежурстве газеты и журналы, где поймана и растерзана насмерть почти седая крыса.

Козлов оглядел свой телеграфный аппарат, передал в штаб, сколько и кого заступило, заполнил журнал дежурств и стал с размахом готовить грандиозную уборку, надеясь, что, может, все и обойдется — ведь бывает. Он вытащил старые ленты, рулоны отработанной бумаги, стал готовить их к сжиганию, мел щеткой стол, потом запросил штаб разрешить взять один из параллельных аппаратов на профилактику.

Совершенно успокоенный и обмякший Петренко минут пятнадцать сонно поспрашивал рабочие и запасные частоты и слышимость, а потом уныло задремал на пульте дежурного по радиосвязи.

Приемный пункт был бетонной коробкой среди соснового леса. От него тянулись две тропинки: одна через автопарк к КПП, другая к туалету, который был малопривлекательной для достижения целью по морозу и особенно ночью, поэтому деды, которые по обыкновению спали на дежурстве прямо в наушниках и не желали разрушить прогулкой свой дремотный настрой, справляли естественные надобности прямо в сугроб. Дневальный по автопарку, после того как рисовал углем на бетонной стене цифру оставшихся до приказа дней, брал лопату и шел засыпать свежим снежком желтые вымоины под окнами приемного пункта.

У Козлова место было самое плохое из всех салабонов — лицом к окну. За окном вообще-то красиво — заснеженные елочки, и лес, и антенны, около которых обычно похаживал салабон, отгоняя шваброй радиопомехи, донимавшие заскучавшего деда. Вся беда была в том, что Козлов сидел спиной к залу и не мог видеть, наблюдают за ним или нет, можно расслабиться или надо пахать что есть сил, — прихотилось в любую секунду ожидать чего угодно: удара, крика, угрозы — поэтому он никогда не разгибался от стола, чтобы даже случайно не глянуть в окно, и старался все время выискивать себе работу, которой было очень немного, но самое главное — Козлов все время прислушивался. Его большие острые кверху уши вытягивались еще больше, он просчитывал каждое слово, шорох, вздох — он постоянно готовил себя ко всему, что могло случиться. И он даже не слушал — он чувствовал спиной. Если посмотреть на него со спины, казалось, что Козлов — горбатый.

Ефрейтор Мальцев был на смене подменным и поэтому бичевал на просторе, ласково поглядывая на шурящихся от яркого света салабонов, — не спят ли? Он покурил у окошка, и упал, наконец, на железный ящик с документами рядом с телеграфом Козлова и потерял редкие волосики на сразу взмокшем лбу телеграфиста.

— Убираешься, Сашка?

Козлов кивнул и попытался отвернуться.

— И не бреемся чего-то?.. — грустно заметил Мальцев. — А чего?

Козлов побагровел, трогая, будто бы удивленно, лицо:

— К-как? Только вчера, вечером, быстро растет... эх.

Мальцев сокрушенно качал головой, постукивал сапогом о ножку стола.

— Вот скажи мне, пожалуйста, Сашка, кем ты был до армии?

Козлов не смог понять: пронесло — нет?

— В библиотеке работал, книжки приходили — получал... Распаковывал, брал на входящий, ставил на инвентарный, картотеки заполнял, расставлял, выдавал, каталоги... Уничтожал старые. Сжигал, вот.

Он плел что-то, а сам думал, что Мальцев, в сущности, добрый человек — единственный, кто не бил стукача Раскольникову, и вообще сильно не бьет...

Мальцев внимательно слушал. Потом спросил:

— И интересно?

— Ну как... Книги...

— И ради этого стоит жить?

Козлов примолк и растерянно улыбался.

— А тебе, Сашка, не стыдно жить?

Козлов стал тереть щеткой уже совершенно чистое место и чувствовал спиной, что из-за соседнего передатчика на них внимательно смотрит Кожан.

— Может быть, ты там библиотекарь попарывал? Нет? Жаль, — почему-то огорчился Мальцев. — Жаль. А ведь ты — женатый! Ведь ты солидный мужчина! Ведь у тебя ребенок, пацан, да?! И тебе не стыдно жить? И тебе не стыдно жить?!

— А... Чего? — открыл рот Козлов.

Мальцев улыбался, улыбка дрожала на его лице, чуть удивленно и гадливо.

— Я... — объяснил Козлов.

— Закрой пасть, — скривился Мальцев. — При чем здесь ты... Кожан, сколько там осталось?

— Семьдесят три! — откликнулся Кожан.

— А косинус угла альфа?

— Семьдесят три.

— А два плюс два? А сколько дней в году? А сколько температуры на улице? — Мальцев уже поднимался с места, сладко потягиваясь.

— Семьдесят три!

— Ефрейтор Мальцев, — окликнул его разомлевший у жаркого передатчика Баринцов, — замените ефрейтора Баринцова.

— За щеку! — вкрадчиво ответил Мальцев, но менять пошел, скорбно и подчеркнута оглянувшись на Козлова. У Козлова дрогнула губа — это конец, ничего Мальцев не забудет, ничего.

Баринцов швырнул мясистые наушники Мальцеву и громко заинтересовался:

— Бичи, а кто сегодня дневальный?

— Журба, — сказал Кожан.

— Козел, бегом за ним, — бросил Баринцов, взяв у Ланга сигаретку, встал к окошку.

Козлов широкими шагами вылетел из зала, по дороге черпанул ладонью воды из-под крана в умывальнике, увидел испуганного себя в зеркальце: что-то начиналось, что-то было уже в воздухе, нагретом работающей аппаратурой. В этой неотвратимости была и сладость — больше ждать было нечего.

Журба и дух Швырин долбили лопатами желтые пятна на сугробах. У Журбы было умиротворенное, тихое лицо, и Козлову стало неловко произнести те слова, которые он не мог не произнести. Он даже молчал поначалу, просто стоял на крыльце и ежился от падающего снега. Журба что-то тихо сказал Швырину, и оба улыбнулись.

Тут Козлов на это обиделся.

— Ты... Это? Чего тут? Про меня? Тебя там Баринцов зовет скорее и тебя, — добавил он почему-то и Швырину до кучи и поторопился назад, чтобы не подчеркивать, что он, Козлов, привел этих двоих, пусть будет — они сами пришли.

В зале Козлов сразу заметил, что у Попова, сидевшего у дальнего передатчика, красное лицо, а Кожан сидит, чуть не спрятав голову под стол.

Баринцов стоял у телеграфа и оттуда швырнул Козлову линейку:

— Козлов, на тебе гитару. Поиграй. Только струны не оборви.

Козлов поймал на груди линейку и стоял, не зная, что делать теперь, боясь подойти на расстояние выброшенной руки.

— Иди сюда, — зашептал Баринцов, глядя ему прямо в глаза. — Иди.

У Козлова заплясали губы, и все тело зачесалось от пота. Он часто моргал и тер ладонью лоб, опустив голову и шмыгая.

— Иди сюда, чмо!

Козлов выдавил два шага, чуть боком, плечом вперед, заранее потирая ладонью грудь.

— Играй, — просто предложил ему Баринцов. — Играй на гитаре. Только струны не оборви.

— Как? — вскинул брови Козлов. — Я ведь... Не умею.

— Вот так, чама, — показал рукой Баринцов. — Рукой по струнам. Раз и два.

Козлов, ищуще глядя на Баринцова, стал теревить пальцами линейку, прижав ее к грузному телу.

Баринцов быстро отошел от него и громко объявил от подоконника, взяв в руки воображаемый микрофон, увидев, что Журба и Швырин вошли в зал:

— Я вот с чего тащусь — как у нас бичи стали жить... Уходят хрен знает куда. На смене — бардак. Дедушек уже ни в хрен не ставят. Месить их никто не месит. Мы в свое время огребали дай боже — вот Мальцев и Петрян помнят, но потом и кулаки ободрали об салабонские морды — зато порядок был. А теперь шнурье вонючее очень добренькое стало, уж очень скоро все забыли, да что там — сами уже стали огребать от салабонов. Чести никакой, гниль... Ты, Джикия, забыл, как тебя месили? Про Ланга я не говорю — проститут, а не боевой шнур, только воротничок расстегнуть и перед старшиной пройти, и все!

Баринцов празднично светился, будто осуществляя какой-то торжественный религиозный ритуал, — косился на сонно ухмыляющегося Петренко.

Шнурки сидели красные и злые. Салабоны старались заниматься делом. Только Попов часто вытирал под носом и болезненно озирался.

— Вот Козел пошился... И хоть бы что! Журба ошивается неизвестно где с духом — и никого это не колеблет? Да они скоро вас припахивать начнут, шнурье! Ладно, Петрян, пойдем курить, что нам с ними баландить...

Петренко натянул на плечи шинель и потопал за Баринцовым, на выходе басом заключив:

— Ланг, ты понял, мля, уборочку здесь...

Журба и Швырин как стояли, так и остались стоять посреди зала в шинелях, вертя в руках шапки, опустив румяные от мороза физиономии.

За окном падал снег — там не было ветра. Снег был пушистый и чистый.

Ланг встал и зашипел Джикия:

— Ты чего сидишь? Опять я один, что ли?

Длинный Джикия стал вылезать из-за стола.

— Несите ведра, щетки, все, короче, — приказал Ланг покорному Журбе и, покрутив головой, почему-то спросил: — Ну что, Кожан, притих? — и отвесил ему щедрую пощечину, после которой Кожан мощно приложился лбом к приборной доске и хитро пустил слезу, внутренне ликуя — он отметился!

Длинный Джикия затеял содержательную беседу с Поповым о правах и обязанностях молодого воина, в ходе которой Попов пару раз присел на пол, прижимая к себе что-то руками, предельно затянул ремень, выколол иголкой прожитой день в календарике у Мальцева, с выражением прочел пару стихотворений из школьной программы и в заключение исполнил самостоятельно на два голоса грузинскую народную песню «Сулико».

Козлов сидел, не поворачиваясь, теребя грязными руками карандаш. Он ждал очереди.

— Ну а ты, Козел? Как жизнь? Пошиваемся, да, что вонючее? — Ланг выпучил глаза, вытянулся в струнку, покачиваясь на носках.

Ланг был прямо за спиной, и Козлов, чувствуя это, выронил карандаш и приподнялся. Он чуть привалил плечи вперед и закрыл глаза, прошептав что-то, сдерживая рыдания.

Ланг почти без замаха врезал ему промеж лопаток, и Козлов, готовно сломавшись в коленях, обрушился на пол, на смятые рулоны бумаги, крупно вздрогнул всем телом, как в агонии.

— Чмо, — гадливо пробормотал Ланг, осторожно оглядел зажмуренные глаза Козлова и пошел навстречу бледному от ужаса Швырину, припершему ведро с дымящейся водой.

Над Козловым мертвенно гудело дневное освещение, а если чуть скосить глаз — можно было увидеть кусочек окна с летящим белым снегом. Он тужился вздохнуть, шевелил губами, опускал подбородок — и не мог, хоть тресни. Ему было блаженно легко: свое на сегодня он уже получил, в роте это тоже узнают, что салабонам первого взвода сегодня устроили крутой разбор, что зашивон Козлов свой пошив искупил честно — не плакал, как дешевка Кожан, — теперь осталось только подышать, а вот это не получалось.

Ланг пинком перевернул ведро, и вода дрожжами языками поползла во все стороны. Один язык легко лизнул мокрую от пота голову Козлова, и он еще раз попытался встать.

Ланг схватил Журбу за шиворот и заорал в его побледневшее лицо:

— Три минут! — пол чистый! Если нет — языком будешь лизать, понял? И ты, дух, тоже — языком! Быстро!

Журба и Швырин бросились с тряпками на пол. На стене электронные часы транжирили время. Над Козловым склонился Мальцев, жующий печенью, крошки летели Козлову прямо в лицо, и он ежился от их корябающих прикосновений.

— Есть что на улице делать? — неторопливо спросил Мальцев.

— Вот... Бумаг собралось — жечь надо, если... — промямлил Козлов, кисло глядя на Мальцева: ведь он уже чист, что еще?

— Бери свои бумаги и иди на хрен отсюда, и не приходи, пока все не кончится, — также неторопливо продолжил Мальцев. — Ну!

Козлов приподнялся, встал, опершись на стол, расправил тяжело плечи и вдавил в себя полновесный, робкий вдох. Он поскребал в охапку отработанную нагрузку и пошагал к дверям, обходя пластающихся по полу Журбу и Швырина, провожаемый ненавидящим взглядом Кожана. Мальцев проводил его по коридору, а потом отстал и вернулся, из зала донесся какой-то глухой и сдавленный стон. Мальцев скучно посмотрел на часы — медленно время идет.

Козлов просунул руки в шинель, утвердил на голове шапку и, сжав зубами ремень, ногой долбанул дверь. На крыльце торчал Баринцов, справляя естественные надобности себе под ноги.

— Чтой-то холодно, Сашк, — пожаловался он, взясь с пуговками. — Чё там у нас, порядок?

— Вроде да, — выдавил Козлов, застегивая крючки в надежде, что сейчас Баринцову станет холодно и он уйдет.

— Сколько там время? — быстро поинтересовался Баринцов.

— Семьдесят три,

— Ага. Уже скоро, да, Козлов? Уже быстро.

— Конечно, скоро, — подхватил Козлов. — Чепуха какая осталась, дома скоро будешь. Дома.

— Угых, — зевнул Баринцов что есть силы. — Я ведь таксист, Козлов... Я ведь — на машине по Свердловску, ты представляешь?

— Здорово, — кивнул Козлов. — А я вот в библиотеке, входящий, на инвентарный, каталог, так, в общем...

Баринцов потряс головой, сдерживая очередной зевок.

— Во придурок... Вот сказал — ни хрена не понял. Возьми-ка ты ломик и на парашу — там сталактиты и сталагмиты уже задолбали — сколько можно? Смотри, Шустрякову под ноги не кидай! И подальше, чтоб весной не завоняло — когда мой дембель подойдет. Давай!

Зимой туалет был неприятным местом — туда направляли только зашивонов. В каждом из трех иллюминаторов-отверстий намерзали огромные горы дерьма, а все стены покрывали льдистые потоки с вмерзшими обрывками газет и окурками. Чтобы почистить туалет серьезно, нужно было часа два.

Козлов расслабил ремень — кругом ведь никого не было — и стал искать относительно чистую газету, чтобы в ней разносить отбитые куски, которые надо разбрасывать между деревьями в радиусе метров ста, чтобы весной не завоняло.

Зато — один. Зато — никто не придет. Зато можно будет посмотреть лес, на серебящуюся снегом сосновую кору, на ветки, которые колышутся от вороньих перелетов, просто постоять среди тишины, сдвинув шапку на одно ухо.

В лесу Козлов обычно вспоминал сына, он даже чуть распрямлялся. Он представлял, как будет потом гулять с ним по парку, как сын, конечно, узнает его, но будет сначала бояться, а Козлов будет улыбаться, показывая эти деревья, это небо, этих птиц, будет чувствовать в ладонях тонкие, невесомые ручки, с мягкой кожей и крохотными ноготками, он слышал его слова, его голос, его вопросы и видел себя, он слышал это незнакомое чудесное слово — «папа» и говорил себе: «Это я», и смеялся, и рос; он придет к нему, он дойдет, чтобы уткнуться в это невыносимое пространство между плечиком и головой, чтобы почувствовать себя защитой этого тепла и дыхания...

Почистить зимой туалет — это два часа, а потом он уйдет к заброшенной яме и будет жечь нагрузку, размотав длинные рулоны бумаг, будет ворошить костерчик березовой веткой, наблюдая, как взлетают в воздух мерцающие созвездия тлеющей бумаги и кружатся над головой, сжимаясь и чернея, невесомые, как грачиная стая за окном, и потом он достанет, наконец, и посмотрит фотографию сына — совсем один, совсем.

— Эй!

Козлов обернулся.

У входа в туалет стоял Швырин без шинели. Он принес вылить ведро грязной воды. Уборка, видимо, продолжалась.

— Ну? — сказал Козлов.

— Ничего... Так. Я вот думал — приду, а ты повесился, — прошелестел Швырин.

— Я-а? — удивился Козлов. — Почему?

— Ну так... просто подумал. Прихожу, а ты — висишь. Я даже бежал сюда — так испугался.

— Ты сам повесишься, погоди еще, — пообещал Козлов и тут же испугался, не пожалуется ли Швырин кому-нибудь из шнурков насчет этого обещания, исходящего от салабона, и добавил вдогон: — Ну как там, на смене?

Швырин молча вздрогнул от холода. Ему не хотелось возвращаться.

Козлов вдруг понял это и разозлился так, что чуть не выступили слезы.

— Иди, — прошептал он. — Иди. А то... замерзнешь.

Это был его лес. Это был его покой — и нечего было примазывать.

Швырин внимательно посмотрел на него и, согнувшись, пошел по тропинке к приемному пункту, украдкой что-то смахивая с глаз.

А Козлов стал долбить ломом первую кучу. Лед поддавался, и острые брызги летели во все стороны и в глаза.

Вечерняя казарма была тиха и спокойна, день кончался.

— Товарищ дежурны... — Поднял скрюченную морозцем руку к шапке, сваленной на брови, сержант Петренко. — Смена в количестве...

— Ладно, ладно, — махнул ему рукой старлей Шустряков. — Раздевайтесь... Дневальный, чего там у нас сегодня по телеку?

Взвод двинулся к вешалкам вместе с облачком морозного воздуха сквозь шумящую людьми жаркую казарму.

Деда со шнурками сразу завернули в ленкомнату — глядеть фильм. Салабоны сбились кружочком в темном кубрике чистить бляхи на ремнях — под таким предлогом можно было снять ремень — и разговаривали про свое.

— Ну что, огребли сегодня? — спросил писарчук Смагин. — Нет? Без жертв?

— Да какое там огребли... — зевнул Кожан. — Больше воплей. Ланг — это тебе не Петрян. Козлов вон огреб, как всегда...

— Петрян — это такая скотина... — прошептал вдруг Попов.

— А ты, что ль, лучше? Вчера кого посылали деда на парашу? Так на хрена меня еще позвал? «Деда сказали...» А никто, я уверен, меня и не посылал, на хрена так делать?! — вспыхнул Кожан.

— Как не посылали, как это, — зачистил обиженно Попов. — Баринцов мне сказал: «Возьми Кожана с собой...»

— Да ладно — затыкай, ведь знаешь же, скотина, что никто спрашивать у Баринцова не пойдет, вот и треплешься.

— А мне кажется, что Петренко справедливый, — вдруг сказал Козлов, сидевший в стороне.

— Ты чмо, Козлов, — спокойно ответил ему Кожан. — Ты думаешь, если меньше бьет, значит, справедливей? Он меньше бьет, но сильнее. Но он и видит больше. Ланга наколоть — как два пальца обсосать, а Петряна... Да Петрян сейчас может поиграть в добренького, он свое отзверствовал, увидел бы ты его шнурком, я бы глянул, как бы запел...

Попов внимательно оглянулся на проход между кубриками и зло прошипел:

— Мне лично... По мне уж лучше деда — все поспокойнее, лишь бы не это шнурье вонючее. Стану шнуром — хрен разговаривать с ними буду. Выступить — нет, но и разговаривать не буду.

— Посмотрим, посмотрим, — улыбался в темноте Смагин. — Дух как там? Начал службу понимать?

— Дух что... Дух как дух — он свое еще огребет, — подтвердил кому-то невидимому Попов, который даже шапку пытался носить на манер Петренко, надвигая на брови, — он, я гляжу, не особо напрягался сегодня.

— Ты на себя погляди со стороны, чама, — буркнул Журба.

— Козлов, — мягко позвал с тумбочки дневальный дедушка Коровин, но почему-то передумал. — Нет, кто там... Попов, давай-ка туалетик: порядочек там, давай, давай...

Попов тихонько и витиевато выматерился и отправился бесшумным шагом в туалет, не оглядываясь, чтобы ни с кем не встретиться глазами, чтобы не быть припаханным еще раз.

Все примолкли.



— А вот чего ты такой дурной, Козлов? — спросил Кожан. — Тебя ведь даже салабоны на хрен будут посылать через семьдесят три дня. И говорить-то толком не умеешь: как ляпнешь что — никто не разберет, что к чему. Какой из тебя шнурок?

— Я не буду припахивать, зачем? — осторожно ответил Козлов.

Все прыснули.

— Посмотрим, увидим, — вздохнул серьезный Смагин. Он внимательно смотрел, как Козлов пытается присмотреться во мраке к детскому лицу на фотографиях, приподняв горбатые плечи, кривя губы.

— Ть-фу! — сплюнул Кожан. — Ну что это за человек? Чмо! Душара! Позор для всего призыва!

Фотографий у Козлова осталось всего две. Поначалу их было больше, но они пошли по рукам и даже пропали — их разглядывали на смене, в столовой, по вечерам, потом лицезрение «Козлова ребенка — козленка» уже приелось и про них забыли. Козлов, когда был дневальным по автопарку, подобрал под столом в слесарке эти две оставшиеся фотографии — на одной был полуоторван уголок, на второй сыну Козлова были подрисованы карандашом усы и всякая ерунда — Козлов все это аккуратно стер и теперь уже старался никому фотографий не показывать без необходимости.

По коридору, выбрасывая костлявые ноги, как цапля, прошаркал Джикия. Он внимательно впялился в темноту, пытаясь разобраться, кто там сидит в сразу страдальчески притихшем салабовском кружке, и наконец опознал самого длинного:

— Журба, иди-ка там Попову помоги, быстрее, — и пошел себе дальше.

Журба закусил губу, цыкнул бессильно и пошел в туалет так же, как и до него Попов, — не оглядываясь и быстрым шагом, но ему повезло меньше.

— Журбик, курить с фильтром, — озадачил его утомленным голосом отдыхающий после наряда Ваня Цветков.

Салабоны безмолвствовали, как заведенные, натирая тряпочками и без того сияющие бляхи.

— Внимание, рота, заходим в ленкомнату для просмотра программы «Время!» — объявил Коровин, вложив в эту фразу всю свою молодую силу.

Салабоны вскочили, подпоясались и потащились с табуретками в ленкомнату.

Деды заняли места за столами, салабоны двумя колоннами уселись в проходе: в затылочек, плечом к плечу, соблюдая равнение и строго вертикально держа спину. Шнурье развалилось сзади — в каре, наблюдая поведение салабонов.

Салабоны преданно смотрели телевизор. Поворот головы разрешался лишь в случае, если запоздавший дедушка вытащит из-под тебя табурет или шнурок в контрольных целях спросит, о чем это там говорится.

Программы «Время» бывают разные: когда диктор один говорит — это мрак, уснуть можно запросто. Козлов старался даже не моргать: его еще ни разу не били за сон на программе «Время», и ему не особенно хотелось. Он тянул шею к телевизору, вслепую натирая до огненного блеска бляху Баринцова — тот дремал рядом.

— Козел, — это звал Коробчик из-за спины.

Козлов обреченно повернулся, прощаясь с возможностью лечь спать вовремя и спрятать свою щетину.

Коробчик сонно моргал меж Вашакидзе и Лангом, смотревшими скучно.

— О чем там? — спросил Коробчик.

— Семьдесят три.

— Ма-ла-дец! — похвалил Вашакидзе. — Воин!

— Ну а вообще? — не унялся Коробчик.

— Индустриализация — фактор интенсификации прогресса, — обомлев, выдавил Козлов. — Перестройки.

Коробчик секунду подумал и махнул головой — давай, смотри дальше.

Козлов продолжил драить бляху с ожесточением, испуганно отметив, что Мальцев, прослушав этот диалог, улыбнулся довольно нехорошо.

— Рота! Выходим строиться на вечернюю поверку! — завопил замогильным голосом Коровин. — Хватит смотреть!

Петренко выключил телевизор, и все повалили на выход, салобоны тащили по два стула и на ходу равняли столы.

Шустряков высунулся из своей каморки и позвал: •

— Петренко, это... Проводи без меня. — И спрятался обратно играть в нарды с Коровиным.

Петренко притворно вздохнул — сколько можно, вышагнул вперед, оглядел строй и опустил усы в папку со списком личного состава.

— Шнурье, а ну позастегнулись, — прошипел Баринцов.

Шнурки сдержанно, но поголовно выполнили пожелание товарища — синяк Ланга сиял всей роте.

— Рота, равняйся! Смирно! Слушай список вечерней поверки!

Козлов с ревностным ужасом не сводил глаз с Петренко, слыша, как за спиной развлекается Баринцов:

— Попов, как только скажут «Вашакидзе» — ты скажи: «Повесился».

Попов пытался улыбнуться, но пара весомых тычков в спину доказала, что улыбаться тут нечему.

— А ты, Козел, когда Мальцева вызовут, ответишь: «На очке!» Ты понял, Козел?

Козлов похолодел, он даже оглох и не слышал голоса Петренко.

— Ты чё, Козлов, опух? Ты тока попробуй не скажи. И чтобы громко!

Козлов не мог себе представить двух вещей: как он это скажет и как он этого не скажет. Что с ним будет и в первом, и во втором случае, он представлял очень хорошо — у него защипало глаза от пота и покрылись испариной ладони.

Но Петренко осточертело читать папку, и он швырнул ее на кровать, не дойдя до своего взвода:

— Рота, разойдись, готовимся для отхода ко сну!

Деда и шнурки отправились в туалет, а салабаны которым до этого права осталось семьдесят три дня, ломанулись к кроватям — надо успеть быстро лечь и стать незаметным, надо нырнуть в эту белую прорубь, и тогда, даже если понадобится, будет жалко, быть может, будить, и тогда удастся вырваться в сон — день кончался, он умирал.

Козлов даже ремня снять не успел.

— Козлик! — ему счастливо заулыбался Коровин.

Козлов покорно пошел за ним в бытовку.

— Вишь, туалет ты сегодня вечером не мыл, — даже как-то торжественно объявил ему Коровин. — Хоть и пошил, а не мыл, да?

Козлов тупо посмотрел на красный коврик на полу бытовки, на редкие белые нитки на нем, серые мысли стояли внутри — подмести, что ли?

— Ты вот неглаженный, — погладил его по плечу Коровин. — Давай-ка, погладься. Сейчас все спят, народу никого. У меня во взводе завтра строевой смотр — я как раз твое «хэбэ» и надену, да? Ты понял? Как погладишься, будешь раздеваться: свое «хэбэ» мне на табурет, а мое — тебе, хорошо? Ну, давай тут. Если кто из шнурков скажет, что делать, — посылай, скажи: Коровин припал, нельзя отлучаться.

И Коровин ушел, похвистывая и развлекая себя этим.

Козлов долго, старательно, как привык, выглаживал «хэбэ», даже примерил его перед зеркалом — вышло здорово. У него стала тяжелой голова, он встал к окну, он боялся идти к кровати, он ждал, пока уснут даже самые мучимые бессонницей деда, за окном ничего не было видно, он просто опирался ладонью на фотографии сына, которые он вынул из своего «хэбэ», чтобы Коровин не носил их на себе, и смотрел в свое отражение, пощипывая пальцами щетину — вот и побриться бы сейчас, да за станком не выйдешь, он стоял в одной натальной рубаше между своим и коровинским «хэбэ» — он глаженное аккуратно держал в руках, чтобы не сбить стрелочки, ему было холодно, он ежился и сам того не заметил, как на его лице очутились слезы.

В бытовку, гуляя, зашел Мальцев — внимательно потрогал свое лицо перед зеркалом, мельком глянул на Козлова и сказал:

— Ты, Козлов, главное, не стучи, понял? Все пройдет. И ты будешь шнурком. Думаешь, мы не получали? Ого-о... А Петрян, ты думаешь он не получал? Ты же солидный мужик!

Козлов даже не обернулся на него — у него уже не было сил бояться и что-то изображать.

Постояв еще, он решил, положил «хэбэ» на табурет Коровина, но дальше дошел только до кубрика второго взвода — хватился фотографий, они остались в бытовке на подоконнике. Козлов втянул голову в плечи и пошагал назад меж кровати согнутой, костлявой тенью, тяжело покачивая руками: вперед — назад.

В бытовке света уже не было — бытовку уже поглотила ночь. Он шарил рукой по подоконнику, нагибался к полу, а сам думал о чем-то другом: что зимой как-то холодно, но потом будет, наверное, тепло.

Бытовка была пуста.

Он вышел в коридор, не в состоянии понять: куда теперь идти, вот куда ему теперь?

Тихо и ночь, Господи...

— Козлов.

В желтой рамке открытой двери туалета курил дух Швырин — еще не пуганный, не избитый, бледный, одинокий дух.

— Ты не спишь?

— Да. — Козлов медленно подошел к нему. — Знаешь, вот вспомнил, фильм такой дубовый был, хрен поймешь, там еще деревья как-то называются не по-нашему, хотя... Я просто за фотографиями вернулся в бытовку, оставил. Куда-то делись, две...

— Две?

— Две.

— Мальчик?

— Сын мой.

— На одной написано: «Дорогому папе. Мне три года. Я очень тебя жду».

Козлов просто кивнул и отвернулся.

— Я не знал, Козлов. Я их с мусором сжег только что. Коровин сказал: уберись там, в бытовке. А они валялись, старые... Там еще угол оторван.

Козлов кивнул.

— Только что. Я просто не знал. Напиши, пусть еще пришлют. Сфотографируют.

Козлов стоял в ночи, как черная свеча, едва поблескивая смоляной печалью глаз. Ветер ударялся в гладкую щеку окна со смутным стоном.

— Я пойду, — просто сказал Швырин и кинул куда-то бочок. — Первый день, — и выдал измученный вздох. Он сделал два шага, и вдруг Козлов чужим тонким голосом произнес:

— Стой, дух!

Швырин сунул руки в карманы и повернулся.

Козлов подошел к нему в упор и, подрагивая плечами, заикаясь, выдал:

— Ты что, опух? Ты что это при мне куришь, а? Постарел? Зубы лишние, а?

Он не мог даже посмотреть Швырину в глаза, лицо не поднималось, залитое страхом и тоской.

— Ты придурок, Козлов, — твердо сказал ему Швырин.

Он очень понуро ушел, и где-то в третьем кубрике скрипнула кровать — все.

Надо было бриться, без этого завтра — смерть.

Козлов поторопился за станком, почти ничего уже не видя, пытаясь вспомнить, отчего же так паскудно внутри, ведь все прошло, все ведь кончилось, но его тормознул веселый голос Вани Цветкова, который отоспался днем и теперь развлекал неспящих дедов анекдотами:

— Козлов, шагом марш сюда! — скомандовал Ваня.

— Мужики, давайте из него деда сделаем!

— Давайте!

— Мужики!

Все полезли с кроватей, расталкивая соседей, будя всех на свете — это было редкое удовольствие и всеобщая радость, — Козлова обряжали в сержантский китель Петренко, и сам Петренко поправлял у него значки на груди, опоясали его кожаным дембельским ремнем с искусно обточенной бляхой, он еле влез в ушитые сапоги Баринцова, ему щедро расстегнули воротничок, а потом и китель на груди — так ходят деда, ходи, Козлов, — спустили ремень чуть ли не до колен, нацепили на затылок шапку, долго засовывали руки в карманы и учили ходить, цокая подковками, руки сами вылезали из карманов, Козлов никак не мог на это пойти — в карманах! Уж больно не привычно, все толпились вокруг него, вся рота, его водили по казарме, вот наш дед! Деда хохотали до слез, шнурки прыскали, салабоны тоже не спали, хихикали из-под одеял, Козлов шагал по проходу, бессмысленно улыбаясь всем, готовый немедленно вырвать руки из карманов, они даже дрожали, его вертели и рассматривали, ему кланялись в пояс, обнимали деда и заискивали шнуры, хлопали по плечу — «Сашка!», и он ходил так дальше, потихоньку привыкая, ходил так без устали, пока роту не стало клонить в сон, и рота уснула — уснул дневальный Коровин на тумбочке, засопел носом дежурный по части, а он так все ходил туда-сюда по проходу, уже что-то блаженно говорил сам себе, уже не вынимая рук из карманов, он улыбался всем вокруг, он так любил эту пьянящую тишину и свободу, он так ходил, видя кругом одни белые простыни и спящие детские счастливые лица, так похожие на лицо спящего где-то далеко его сына, он улыбался этим лицам, ему хотелось целовать каждого и петь, он старался громко не шаркать, ему совсем не хотелось спать, ему хотелось взмахнуть большими руками и засмеяться на весь нестерпимо белый свет, побегать по проходу, крича что-то дикое и несуразное, он даже ускорила чуть шаг и чуть ли не прыснул, его будто звал чей-то голос — его сына, и он повторял одно и то же: «Я иду, я приду. Я иду», и так он ходил, и остановился посередине казармы, и тихо сказал себе под нос, улыбнувшись:

— Спят чего-то все.

— Сколько там?

— Полвторого. Скоро Ростов... Там — двенадцать минут.

— Ну тогда там покурим и уж тогда — на боковую, топить на массу. Я сразу и оденусь, чтоб не мотаться тогда, так?

— А тельняшка у тебя откуда? Ты десант, что ль?

— А как же, ты как думал?

— У меня братан тоже десант, хых, рассказывал, как ихний комбат молодых прыгать учил. Приехал на аэродром — для него пособирали тех, кто с первого и второго раза не прыгнул. Он им сказал: «Хрен с вами. Сегодня прыгать не будем, чего вас мучить без толку? Парашюты просто уложите, полетаете хоть, к самолету привыкните». И мигнул бортинженеру. Те пособирались, парашюты нацепили, полетели. Минут двадцать или сколько там прошло, бортинженер втихаря дымовую пашку запалил, в салон подбросил и завопил: «Пожар!» Так те чуть выпускающего не смели — так бросились к выходу!

— И такое бывало, бывало. Наш, правда, комбат так не делал. Он у нас дубовый был. Все хитрил. Будто самый умный. На лагерных сборах инженеры сопли жевнули — двести литров спирта спонерили, как и не бывало, — что делать? Никто и не видел: кто, куда и с кем. Комбат меня притянул. Я был комсомольский бог средних размеров. «Ну, чего творить будем по факту хищения?» Я говорю: «Не знаю». Мне чего — я того спирта не пил... Хорошо, говорит, тебе объясню, как надо народ колоть. Выступи завтра на построении и скажи: по трагической случайности спирт поступил отработанный, от летчиков. Спустя двое суток после потребления начинаются необратимые изменения в организме. В восьмидесяти процентах врач части гарантирует смертельный исход. Сразу после построения в медсанчасти начинает действовать анонимный чрезвычайный прием — каждому употребившему надо до пяти вечера получить укол. Ввиду необычности ситуации командование репрессий производить не будет — вот так скажешь, — и никому ни слова о нашем разговоре. Я никому ничего не сказал — какое мое дело, я того спирта и не пробовал. На построении выступил. И что ты думаешь — хоть бы один! Ни одного человека! Никто не пришел!

— Это у нас такой старшина был — искатель. Перед Новым годом мужики пронесли с берега две бутылки водяры. Кинулись — куда прятать? Слили все в бачок с питьевой водой: чин чинарем. Заявился старшина прямо тридцатого — стал рыскать. Все перерыл, плюнул. Пошел по второму разу: «Ну не может быть, — говорит, — чтобы вторая батарея в Новый год и без водки. Быть такого не может». Искал, искал, все кругом столбами стоят — шевельнуться нельзя. Весь аж взмок и — где тут у вас водички попить? Все разом носы повесили — все! Он нацедил из бачка

кружку, хлебнул, на всех дико посмотрел, быстренько допил, кружку грохнул и пулей из кубрика. Думаем, ну все, сейчас с замполитом вернется драконить, ан нет, ни хрена.

Так и не вернулся.

— Так, а это что у нас там такое? Ростов уже, что ли?

— Похоже. Ну что, идем покурим?

## СУДЬБА ЕФРЕЙТОРА РАСКОЛЬНИКОВА

*Житие, составленное  
мл. сержантом Мальцевым*

Я не мучаюсь.

Я очень хорошо и спокойно живу. Имею крепкий сон, не жалуясь на аппетит, и во всем другом — у меня все нормально. Для меня все просто. При всем своем равнодушии я хочу жить лучше, тише, что ли... А иногда перед сном, когда все тело тает, становясь невесомым, незначительным, — тогда вот растет душа, расплзается внутри, набухает — я чувствую ее, как широкую, жаркую ладонь на солнце, чувствую отчетливо, до последнего сгиба на пальце, до крохотной занозы...

Я даже слабо помню уже эти старые заборы, на которые опирались мои руки, переваливая тело куда-то, — ну, например, в сад, на траву, да не смогу я уже сейчас забраться в чужой сад — мне этого не надо. Остались только занозы, а с ними — голоса, лица и что-то еще, похожее на ветер, что ли, на его неясные, смутные дуновения, и все это не течет и поэтому — не кончается, а просто — мешает чуть-чуть: лица, голоса, ветер...

Вот тогда, по вечерам, я приваливаюсь к столу и рука моя бездумно рождает слова, цепляет их в строки — я отгораживаюсь этим частоколом, я не люблю сплошной белый цвет, я выжимаю себя, и меня меньше всего волнует все остальное — это мое, после этого легче мне, без этого я легче постарею и спокойно буду замечать морщины и неотвратимые перемены лица моего; только для этого — вот моя правда.

И судьба ефрейтора Раскольниковова — это не любопытная история и не события, интересные для всех, — это то, от чего я хочу быть свободным.

Я вспомнил все это после нашей дурацкой встречи в начале июля в этом году. Это было в Москве, я целый день бегал по магазинам — искал жене сапоги, а когда до поезда остался час, встал в очередь за колбасой в небольшом магазинчике недалеко от Павелецкого вокзала. Очередь донимали мухи и жара — вентиляторы, вяло машущие своими лопастями на потолке, не спасали, поэтому окна открыли настежь.

Я торопился: хотел купить еще масла и поглядывал на часы на столбе, которые были видны прямо из окна.

Под часами, недалеко от трамвайной остановки, стоял худой длинный парень в очках и вертел в руках букетик каких-то цветов, три тюльпана, кажется. Я думал о жене, мы ждали тогда второго ребенка, поэтому я думал еще о цветах и о том, а что вот за девушка, интересно, у этого парня. И тут он увидел свою девчонку. Я понял это потому, что он схватил свои очки и сунул их в карман. И я тотчас узнал его — это был Раскольников. Раньше он ходил без очков, и раньше я не знал, что у него красивые каштановые волосы.

Я обернулся и сказал старушке, упирившейся мне в спину животом: «Я отойду», — и медленно вышел на улицу. Через дорогу Раскольников дарил своей девчонке цветы — я совсем ее не запомнил, она тогда его чмокнула в щеку. Я не хотел к нему подходить, но мне было важно, чтобы он увидел меня, и громко свистнул, сложив ладони на затылке.

Раскольников покрутил головой, пропустил трамвай, разделявший нас, и только тогда прищурился и отпустил руку своей подруги — теперь он узнал меня, и пусть он не видел все до капельки выражение моего лица и глаз из-за своей близорукости, но он узнал меня и понимал, что я его вижу отлично, поэтому он смотрел в мою сторону спокойно и открыто, не шевелясь; вот мы и встретились с тобой, Раскольников.

Он что-то скомканно сказал своей спутнице — хотел бы я знать, что он ей сказал! Вышло странно: я хотел увидеть его лицо именно в тот момент, когда он поймет, что я — это я, когда он разом вспомнит все, а теперь я увидел это и не знал, доволен я или нет его спокойствием.

Он думал, что я сейчас подойду. Он уже думал, наверное, что он скажет мне в ответ и что скажу я. Он бы стоял, наверное, так целый час, да я вот только торопился и поэтому повернулся и пошел покупать свою колбасу с пустой головой. Когда глянул из окна — они уже уходили за угол. Спина у Раскольникова была прямая. Ничего ведь не произошло.

В армию меня призвали осенью 1983 года с третьего курса Политехнического института, я тогда еще мечтал делать ракеты, мне казалось, что я взрослей и серьезней желторотых пэтэушников с крашеными лохмами и дешевыми цепочками на груди, — поэтому на пересыльном пункте я держался от всех в стороне, а от этого было еще тоскливей. Вокруг военкомата гудела пьяная толпа, люди карабкались на деревья, тащили за собой каких-то отчаянных баб, пытались преодолеть забор, толстый прапорщик гулял взад-вперед у забора и угощал пучком крапивы самых отчаянных — те визжали и матерились, с деревьев кричали: «Кусок!»

Через двое суток привезли команду свердловчан — на соседних нарах расположился улыбающийся Серега Баринцов. Быстро выяснилось, что он тоже был студентом политеха, только его отчислили со второго курса за пьянку, и до призыва он полгода работал таксистом. Его, как и меня, никто провожать не приехал, и мы скуча-



ли вдвоем, слонялись по углам пересыльного пункта, жгли мусор и ветхую листву, на ночь рассказывали друг другу анекдоты — так засыпать было веселей, не тянуло на слезы.

На место службы поезд шел двое суток — это была очень неприятная поездка, тошно вспомнить. Все напилось, в тамбурах было не продохнуть от кислого запаха рвоты, белья у проводниц не было, зато была водка за двадцать рублей. Я в ту пору пил умеренно, и Баринцов особенно не налегал, если наливали — пил, но сам не покупал: деньги берег.

На вторую ночь я проснулся от пинка в бок — три еле живых от выпитого пэтэушника хотели получить от меня деньги, очень нужные им сейчас. Вагон был мертвый — спали все, я вяло отшучивался, тогда один из просителей показал мне из кармана нож. Я, честно говоря, собрался уже плюнуть и полезть за деньгами, но тут сверху прыгнул Серега и заорал матом на весь вагон, чтобы все убирались отсюда скорей и не мешали ему спать. Парни как-то быстро убрались и легли спать, даже проводница пронеслась по вагону сонной крысой, я, на всякий случай, не спал, боясь ножа, а наутро все вместе очень смеялись, вспоминая ночную сценку. И пэтэушники тоже смеялись.

Баринцов был, что называется, дошлый. Он первым четко узнал, куда нас везут, на кого будут учить. Он единственный сохранил неприкосновенно свои съестные припасы, и первые три дня в учебке мы пировали с ним по ночам, пока все остальные, чутко прислушивались к соседнему жеванию, с мукой вспоминая каждый недоеденный кусок, выброшенный в вагоне, а солдатская солянка и водянистая картошка с черными комками в горло еще не лезли.

Кроме того, Баринцов не трепался про своих баб, как все остальные, не умел рассказывать матерных анекдотов, а больше всего любил с наслаждением поспать и поесть — и его все сразу очень полюбили. И я им даже чуть гордился, как старшим братом. Может, он чувствовал это и опекал меня.

Нас определили в первый взвод, где старшим через неделю назначили основательного шахтера Петренко. Примерно недели через три, когда стало уже холодать, старшина повел нас на склады — выбирать шинели. Взвод стоял по росту, дышал в затылок друг другу, все уже в шинелях, а старшина, прикусив губу, вымерял специальной палкой расстояние от земли до шинели, чтобы было по уставу. Для легкости старшина называл всех «Вася». Только ребят из Средней Азии по-другому — «аксакалы».

Он скомандовал мне:

— Ну-ка, Вася, поменяйся-ка шинелью с вот этим Васей.

И мы отошли в сторону с лысым пареньком с испуганными большими глазами. У паренька было такое нежное лицо. Ему моя шинель пришлась впору, мне его оказалась длинновата.

— Ну, ладно, тебе еще подыщем, — махнул рукой старшина. — А ты поди запишись, фамилию...

— Раскольников, — сказал парень, дотронувшись рукой до лба.

— Убийца, что ли? — хмыкнул Петренко, писавший фамилии и размеры. — Топором старушку по балде?

Вот так мы встретились.

Первое время в учебке постоянно хотелось есть. Баринцов часто мечтал перед сном, как бы он съел, обязательно один, буханку хлеба, батон колбасы и два литра смородинового варенья, — он это переносил весело.

У меня было хуже.

Я начал ненавидеть людей. Сколько буду жив, я буду ненавидеть солдатскую столовую первых дней: торопливое расталкивание людей на пути к столу, пугливый подсчет: сколько народу на лавке — не лишний ли, команда: «к раздаче пищи приступить!» и — мгновенный выброс руки: кто вперед, кто первым выдерет из буханки серединный, самый толстый кусок, тревожное нытье с протянутой тарелкой: «Клади больше! Мало!» и сразу потом — быстрее-быстрее есть первое, чтобы раньше схватить черпак, чтобы успеть наложить себе второго еще с мясом, а не с салом, и потом захватить добавку с первого, которую сразу брать было нельзя, могут не оставить второго, потом дочистить без остатка бачок, соскрести кашу с половника, схватить сахар, два куса — мигом в карман, локтем придержать хлеб, не слушая, кому там хватило, кому нет, и глотать скорее чай, косясь, не оставил ли кто чего, может, кто-то не ест масла, или сержант не стал грызть черный хлеб и оставил его на общую, мгновенно раздражающую хлеб на куски, радость. И каждый вечер слюнявый шепот: кто сколько ухватил, что мы будем есть потом и как мы ужжились когда-то...

Я с отвращением замечал, что меняюсь, что я, курсант второго взвода Мальцев, уже не Мальцев Олег Николаевич, а что-то другое, более животное, что ли. У меня мучительно развилась память. Я стал запоминать: кто меня чем угощал, делился, а кто ел, когда я стоял рядом, и — не подумал даже. Как только удавалось вырваться в чайную, я страшно обжирался, набивал карманы конфетами, но делился лишь с тем, кто когда-то угощал меня. Впрочем, научился спокойно отказывать.

— Мальцев, дай печенья.

— А зачем?

Это заметили многие, за моей спиной недоуменно смеялись, но только Баринцов понимал, что я физически не могу хватать руками быстрее всех за столом, и то, что я всегда брал последним, это был не протест, это слабость моя была — я просто не мог по-другому, не мог открыть рот, чтобы попросить добавки, не мог прятать сахар в карман и доедать за кем-то; я стал ненавидеть людей и, что теперь скрывать, — себя. И моя странная жадность была мстью этому озверевшему миру, мстью за себя, попыткой обнажить до конца его начинку.

К Новому, 1984 году в моей жизни случилось два события. На собрании взвода Баринцов предложил избрать меня комсоргом, и

взвод проголосовал «за» единогласно — я обрадовался. Мне казалось, что это не только поддержит меня на плаву, но и поднимет.

И второе событие — в первую ночь после выдачи денежного довольствия за два первых месяца службы — в нашем взводе украли больше ста рублей. Из них пятнадцать — моих. Не спасло меня и то, что хранил я деньги не как все — в военном билете, а аккуратно затолкал их в пустую пачку от лезвий «Жилетт» — эта пачка и исчезла. У запасливого Сергея пропала сразу тридцатка, у шахтера Петренко — тоже пятнадцать. Настроение у всех испортилось крепко. Новый год на носу, а денег нету. Во взводе узбеки косились на нас, мы — на узбеков, а пострадали и те, и другие. Кроме того, наш взвод мрачно косился на остальную роту, среди бесконечных версий выдвигалась и такая, что в родном взводе вор красть не будет, это чужой. Но, с другой стороны, как же этот вор полезет ночью через освещенный проход в чужой кубрик — ведь дневальный, несмотря на позывы ко сну, это дело увидит...

Старшина вызвал с утра в каптерку актив взвода: меня, Петренко и Баринцова.

— Кто будет больше всех в чайной хавать — тот и вор, — сказал Петренко, уже получивший ефрейторскую лычку.

— Так он сразу в чайник и попрется, — усомнился Серега и предложил, коварно блеснув глазами: — Лучше давайте попозже распустим слух, что Мальцеву пришел большой перевод — столярник, он при всех деньги — и военный билет, а мы по ночам по очереди...

— Вот что, мужики, — устало сказал старшина. — Все, что вы тут говорите, — это детский лепет на лужайке. Кафе-мороженое «Буратино». Я вам так скажу: вы думать — думайте, а делать ничего не беритесь. Вор сам себя выдаст. Обязательно. Рано или поздно все откроется. Это ж не настоящий вор. Это ж — просто оголодавший дурак.

А перед строем он сказал коротко:

— Найду — не обижайтесь.

И я тогда подумал: ну кто вот у нас мучился с голоду сильнее меня? Даже не с голоду... Кто мучился от изменившихся условий, от неизобилия? Все, по-моему, меньше меня и одинаково. Вообще-то я больше думал на узбеков — у них многие по-русски почти не говорили: поди разбери, что на душе. Серега тоже к этому склонялся. «Ну кто из наших? — говорил он. — Раскольников — трус, не осмелится. Коровин вообще в ту ночь в карауле был. На Петренко — не похоже. Правильный он мужик. И так кого ни возьми. Аксакалы небось». Потом, после присяги, начались занятия по специальности, меньше стало строевой, тупых построений — больше тишины в радиоклассах, озабоченного писка морзянки, потянулись письма из дома — стало легче, короче. По субботам рота тащила в спортгородок матрасы и одеяла и била из них пыль ремнями и палками; было еще совсем темно, за забором дребезжали автобусы, гудели фонари, нагнувшись над снежным хороводом, светили звез-

ды, и лишь самый краешек неба был разжижен нездоровой бледностью.

В субботу к моему турнику, на котором я истязал свой матрас, Баринцов подвел Коровина, тогда еще осторожного, хитрого малого, который потом уже стал крупным зашивоном от своей чрезмерной веселости и спокойного отношения к службе, — на вопрос старшины, почему Коровина, дневального по автопарку, обнаружили спящим в ковше экскаватора, он ответил знаменитой фразой: «Луна в голову напекла» — за что и получил трое суток «губы».

Но тогда Коровин был еще тихим. А в ту субботу вообще — хмурым.

— Ну, давай, сынок, расскажи комсоргу, — потребовал от него Баринцов.

— Чё рассказывать-то?.. Ну, проснулся я ночью на парашу сходить. Сходил. Полежал-полежал — не могу уснуть. Хасанов, падла, во сне зубами скрипит, все ждал — сломает или нет. Я тока голову поднял, чтоб его разбудить, смотрю — кто-то в моем «хэбэ» копается. Я слез, сразу свой военный билет стал смотреть...

— Чудак, — тихо процедил Баринцов.

— Полистал билет — четвертной на месте. Не успел он. Стал смотреть, куда побежал, — уже нет. Кровать где-то скрипнула недалеко, а где — черт его... Впотьмах. В туалет пошел — там никого тоже нету. У дневального спросил — никто через проход вроде не лазил. Наш, наверное...

— Ну а кто? Кто? На кого хоть похож? Ты что, введ, что ль, не знаешь? — разгорячился я, понимая, что раз я комсорг, то как-то реагировать обязан, не сидеть сложа руки.

— Ну, — ответил Коровин.

— Думай, Корова, думай, — настойчиво просил Баринцов. — Кто?

— Похож на Жусипбекова, — задумчиво проговорил Коровин.

— Жусипбеков? Точно он? — быстро переспросил я.

— Темно было, но вроде он.

— Вроде, вроде... В огороде! — разозлился я. — Что мне с твоим «вроде» делать?!

К концу первого часа занятий у меня уже голова разболелась от сомнений. Ну а что вот делать?

— Олежа, не майся дурью, — успокаивал меня Серега. — Никто ведь не говорит, что Жусипбеков вор. Но разобраться надо. Слухи ведь все равно теперь пойдут. Так лучше — без слухов, чтобы аксакалы не нервничали. Собраться всем, честно поговорить лицом к лицу. Комсомольское такое собрание.

Серегу эта история сильно донимала — я даже удивился, как он разозлился за пропажу своего тридцатника, хотя и мне, конечно, денег было жалко — два месяца все ждали, я хотел себе рубашку офицерскую под парадку купить, пока были в «Военторге».

Собрание мы хорошо придумали провести, тихо остались в классе после самоподготовки, только Серега зачем-то старшину позвал. Старшина мне здорово мешал, но Серега думал, может, он «дожмет» Жусипбекова, если что — мужик он крутой.

— У нас сегодня собрание, — просто начал я. — Иди, Коровин, сюда. Расскажи, что видел ночью.

Коровин вышел и рассказал. Адик Хасанов переводил для своих. Там сразу по-своему залопотали — обсуждают. Жусипбеков спокойно что-то ответил пару раз, плечом пожал — а может, и не спокойно — я по их лицам не понимаю.

— Нет. Не он, говорит, — перевел Хасанов. — Спал он.

Вот так и пошло это собрание — мне было скучно до смерти. Коровин одно и то же повторяет. Хасанов — другое переводит. Когда хоть на одном языке говоришь, можно что-то понять, по-человечески, что ли, почувствовать, а здесь что разберешь? Но я-то поступил правильно, все равно надо было разобраться.

Старшина не вытерпел и встал. Говорит:

— Коровин, ты точно видел?

— Вроде точно... — промычал Коровин.

Я кулаками лицо закрыл: черт с ними, пусть разбираются.

— Никто больше не видел?

Молчат.

— Никто?

Кто-то сказал тихо:

— Я.

Я глянул: Раскольников из-за стола вылазит и, не моргая, смотрит на старшину. Повторяет:

— Я тоже видел. Жусипбеков по кубику ходил ночью.

Баринцов быстро мне улыбнулся и головой качнул: видал? Узбеки по-своему лопочут, наши заволновались, слова уже нецензурные поползли, но старшина руку поднял и — тишина.

— Все равно, — говорит. — Это ничего еще не значит. Люди могут ошибаться. Не должен человек невинный за другого страдать. И не волнуйтесь — вор сыщется, рано или поздно. Это точно. А то, что разобрались, — хорошо, но ошибаться в таком деле нельзя. Ждите.

Так и покончили.

Я Раскольникова практически не знал — он во взводе только числился, а так целыми днями в художке сидел. Рисовал он сам плохо, но устроился холстом художникам готовить. На занятия по специальности еще ходил, а как физподготовка — сразу в художку. Я не знаю отчего, но считали его стукачом. Так бывает — всегда нужно крайнего найти. Вот увидят человека с замполитом раз или просто не понравился он чем-то, и решат: вот он — стукач. Это прилипчивая штука. Я ее всю службу боялся ужасно. Почему-то мне казалось, что и про меня могут такое подумать — я всегда в сторонке от массы был, на таких чаще всего и думают. Но, слава Богу, крепко дружил я с Серегой — он все недоумения против меня быстро развеивал.

А вот Раскольникову было хуже. Он тоже все время один был или с художниками — в художке они не только рисовали, но и в карты поигрывали на компоты или на «гражданскую» пайку из чайной, книжки читали, даже баб к себе через окно затаскивали — ну, не знаю, может, и не затаскивали, но во взводе так говорили. Да, вот еще почему решили про стукача: Раскольникову под конец лычку кинули — ефрейтора. Вот это тоже насторожило — ну за что ему-то? Службу ведь не тянет. Хотя что там в учебке стучать? Все вместе, и залетов особенных не было. Но ефрейторов вообще не любили всех. Говорили: лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор.

Вот так обстояли дела с Раскольниковым.

Собрание мы провели, пару недель прошло, и нужно было отправить в далекий сибирский Арединск двух солдат для несения службы в нарядах, без специальности. Этим Арединском пугали всех зашивонов и тех, кто слабо специальность тянул. Нравы там, говорят, были тяжелые. И среди этих двух отправленных оказался Жусипбеков, не знаю, случайно это, нет. Он тоже не особо занимался успешно. Я сразу подумал, что ему там невесело будет. Мы же связисты — за ним по проводам и по воздуху полетело, кто такой из себя Жусипбеков и что там за история с ним была в учебке. Я тогда только понаслышке знал о жизни в «боевых» частях, но все равно подумал, что несладко ему там будет, — прямо не знаю, надо было это собрание проводить или нет? Но тогда подумал — ладно. Да и все наши были довольны.

Учебка прошла быстро. Все яростно обменивались адресами и клятвами, что через полтора года по дембелю, через пять лет, десять все как один соберемся, как штык, там-то и там-то, а старшина считал под нос платки и носки, ботинки, аттестаты...

Нас вывели на плац, и командир батальона кричал громко, что мы должны оказаться достойными высокой чести нашего подразделения, которое воспитало немало настоящих героев. Мы даже ростом становились выше от этих слов.

Петренко присвоили младшего сержанта, мы с Баринцовым были довольны чистыми погонями и «чистой совестью», как прибавил Серега. Народ стали партиями развозить по частям. В бане зашумели новые призывники — тоскливо мне было. Петренко с Серегой увезли раньше меня. Меня оставили разобраться с комсомольской документацией, характеристиками. Я знал, что скоро встретимся, что мы попали в одну часть, но все равно тоскливо, как-то время шагает так быстро, и вообще...

А за день до моего отъезда мне ефрейтор, что дежурил на радиоконтроле, сказал с улыбкой интересную новость: в Арединске повесился рядовой Жусипбеков. Вот тогда мне стало не очень весело — сам не знаю почему. Ну что я в этой истории? Да ничего! Как комсорг — отреагировал, ну как по-другому я был должен сделать? На то ведь и комсорг, верно? И никто не знает, с чего он там повесился. Может, псих ненормальный. Ведь так? Бывает же такое?

Я вот ходил по пустой роте, все его лицо вспоминал — да они все похожи, только он почему-то самый жалкий, что ли, был, с гор откуда-то — мать, наверное, есть, ждет. Я еще подумал: а что думает мать его про такое место, как Арединск? Вот странно: погиб человек — жалко мне его или нет? Наверное, нет — да я его и не знал вообще-то, он же по-русски — ни слова. Рота вообще вся разъехалась — никто о Жусипбекове и не вспоминает, и не узнает, что все, нет человека. А вот, значит, и я умру — всем тоже плевать? Да? Да. А ты как думал? Вот так живешь, живешь...

Закруглил я свою работу с документами, и в последний день старшина нас засадил чинить все, что можно чинить, и красить все, что не крашено. Нас человек семь со всей роты только и осталось. Мне красить не хотелось — я запах тяжело переношу, тошнит сразу, я пошел зашивать. Хожу по роте, гляжу, где матрас дырявый, светомаскировка истрепалась или в одеяле дырка. Стал перед обедом наволочку зашивать, перо кулаком подбил, чую: какой-то комок среди перьев, твердый. Достал — это пачка от лезвий «Жиллет». Разодрал ее — внутри пятерка. Вот такие дела.

Мои это деньги. Ни у кого таких лезвий не было. Мой бедный взвод все «Невой» да «Восходом» перебивался. Так-так, а чья же это коечка? Раз, два, третья, у окошечка сверху — нет, уж не помню. А... Петренко?! Подонок!.. Да нет. Он же все время снизу выпрыгивал по тревоге — или я путаю? Да нет — точно, снизу, они же постоянно с Валиахметовым про шахты базарили — да и не мог он вверху спать, он же во взводе — старший... Так, а кто же здесь спал? Кого еще дневальный постоянно тряс за плечо до подъема — он же постоянно под утро сюда лазил, все еще говорил: «Вставай, вставай, художник». Художник? Это Раскольников, это его кровать... Так, та-ак, вот та-а-ак вот... Жусипбеков, значит, ночью по-кубрику ходил... И он это видел, подтверждает, видел...

Я за свою жизнь к тому времени человека ни разу не ударил. Я — человек. Но однажды в пустой, залитой январским жестоким солнцем роте мне захотелось бить кулаками лицо, видеть кровь, синие кровоподтеки, раскрошенные зубы, бить ногами в мягкое, сквозь хрипы и стон, и говорить разные слова: мразь, падаль, тварь и другие, каких я отроду не произносил. Господи, да что тогда со мной творилось?

Я пошел вечером в комитет комсомола — подержал в руках учетную карточку Жусипбекова, посмотрел на его лицо. Я его совсем не таким вспоминал, другим. И мне почему-то уже не хотелось читать про него: откуда, что — мне это неприятно стало. Я отыскал карточку Раскольникова, его анкету. Раскольников Игорь Петрович, год рождения 1964-й, в школе поручение было: ответственный за стенгазету. Мать — учительница. Отец на пенсии по инвалидности. Есть еще сестра, младшая. Ну и что даль-

ше-то? Куда его отправили? Поехал туда же, где буду и я слу- жить. Так-так, та-ак... Ну и что? Я искал в себе лютую злобу, вот ту, которая была всего лишь два часа назад, но никого нет из роты, никого уже не осталось, все разъехались, уже новые люди здесь будут спать на этих кроватях, уже завтра начнется новая жизнь, старшина покажет, как заправлять кровати и мотать пор- тынки, и поперек этой жизни я стою, как дурак, — всем уже плевать на это, да и на что «на это»? На что? Где гарантия, что подушки не обменяли. Могли просто подкинуть — не такой ведь Раскольников дурак, чтобы забыть деньги, если они ему были так нужны, что красть пошел. Никто не подтвердит, никто никогда не докажет. Никому это не надо! Остаюсь только я — проклятый комсорг первого взвода.

На следующий день я уже не думал об этом.

Меня привезли в боевую часть. У казармы чистил снег Серега Баринцов, я радостно подошел к нему, обнял и спросил: «Ну как ты тут, братан?» У Сереги задрожали губы, и глаза вдруг сделались большими и дрожащими влагой. «Как... Увидишь...» — и он резко наклонился к лопате, и я видел только его спину — и больше ничего. Подошел будто постаревший Петренко, оглянулся по сторо- нам и прошептал: «Все делай, но носки не стирай никому. Даже если будут сильно бить». «Бить? — повторил я, как иностранное слово. — Как бить?» «Бить будут каждый день, — вздохнув, устало пояснил мне Петренко. — Но сильно — не часто. Говорят, силь- но — только раза три за все время...»

Так началось салабонство — самая тяжелая, грязная, постыдная пора моей жизни.

Жизнь перевернулась за один день. В один день я узнал, чего я уже не могу, а что должен, — это было страшно.

В половине второго ночи я мыл туалет. Мыл третий раз — до этого мне два раза объяснили, что делаю я это плохо, и помогли это понять кулаками. И я не сопротивлялся. Вам сейчас этого не понять. И не надо стараться, если вы не знаете, мы — звери, мы — не люди. Натирая тряпкой пол, я раз за разом обходил чьи-то ноги, не поднимая головы, самое главное — не встречаться ни с кем взглядом лишний раз, это раздражает. А когда поднял украдкой глаза, уже выходя из туалета, увидел: это Раскольников.

Раскольников стирал носки, отвернувшись от меня.

— Раскольников, здравствуй, — сказал я ему.

Он испуганно глянул на меня и еле качнул головой.

— Как жизнь? — я никак не мог заставить себя улыбнуться, ближайшее время улыбок не предполагало. Но я не мог уйти из туалета, который стал уже надежней, чем чужая, жестокая казарма с новым запахом.

— Как жизнь твоя, Раскольников? Хорошо? Не рисуешь тут, нет? А что тут будешь делать? Носки стираешь, да?

Он не оборачивался и все молчал, и это бесило меня.



— А сам ты откуда? — спросил я. Ну хоть что-то скажет же он.

— Я из Москвы.

— А-а... Это — столица. Москва — столица Родины... — бормотал и вдруг вспомнил: — А ты знаешь, Раскольников, друг мой, что Жусипбеков там вот повесился? А?

Он перестал стирать, сдвинув руки, но не повернулся. Я качнулся с места и пошел к нему, на ходу набирая голос:

— Да-да, вот так вот — повесился подонок и вор, вор рядовой Жусипбеков. Наш с тобой боевой товарищ, сослуживец. И я теперь очень хорошо понимаю, почему он повесился там, и ты теперь это тоже понимаешь... Осталось только понять, как поймет это его мать. А для этого надо просто представить, что это повесился ты и твоя мать — есть же у тебя мать, да? — об этом узнает... — Я схватил его за плечи и повернул к себе — он плакал беззвучно, открыл рот, у него дергалось лицо.

— А ты ничего не хочешь мне сказать, друг мой, про рядового Жусипбекова, а? Который греб там и за салабонство, и за то, что товарищей своих же обкрадывал... Ты ничего мне сказать теперь не хочешь? Ты подумай... Думаешь, нет? А я вот теперь об этом часто думаю... Хоть я... Мне ведь...

Больше я ничего не сказал — пошел спать.

Мне не очень радостно вспоминать про салабонство, если честно. Если коротко, то больше всех били Петренко — он был сержант и сильный. Поэтому, когда через полгода мы стали шнурками, я не обижался на него за зверства — я понимал Петренко. На что уж я получал меньше от шнурков, да и то иногда рука прямо сама размахивалась для удара.

Ведь это огромнейшая сладость — видеть перед собой существо, которое, если б было человеком, было бы сильнее тебя, старше или умнее; существо, которое дрожит, примечая каждый твой жест и выражение глаз, и оно замирает в немой мольбе и уже ждет в томительном предчувствии, что ты решишь сделать с ним, — ему все равно уже, лишь бы скорее, хоть внутри все же надежда — а вдруг отпустит, а ты видишь эту душонку всю, все ее наивные хитрости, попытки задобрить, отвлечь, жалкие надежды на проходящего офицера или близкий ужин, а ты держишь ее в своих руках с пьянящим чувством упоения собственной властью: ты можешь сейчас ударить, сильно или слабо, отправить мыть туалет, покупать себе свежие газеты или выпить, потребовать спеть для себя песню — это сладость тем более острая, что ты сам великолепно помнишь себя в этой же шкуре, и ты презираешь ее за это и тем самым отвергаешь прошлое свое, себя от себя — это удивительно сладкое и горькое, тошнотворное чувство.

И поэтому я не осуждал и не осуждаю сейчас Петренко за то, что он зверствовал в шнурках, — это понятно.

Меня били меньше. Но меня очень не любили. Наверное, потому, что не понимали. Деда и шнуры чувствовали, что я даже среди

салабонов держусь отдельно и что постоянно о чем-то думаю кроме того, что говорю. В моем постоянном желании простить их и забыть, и не понять своего унижения они видели лицемерие, и, верно, высчитывали, что на самом-то дне, конечно же, — ненависть, что может быть еще внутри салабона в первые три-четыре месяца, когда он глупый и службы не понял. Для них интерес был не в том, чтобы избить меня, а в том, чтобы унижить, заставить сказать что-то очень глупое, что-то сделать смешное — чтобы все стояли вокруг и презрительно усмехались. Все вместе они очень неглупые и все понимают четко.

Сергея Баринцов очень переменился по салабонству — как-то сжался весь, сник, — хотя его трогали меньше всех, он всеми силами старался этого избежать и делал это как-то судорожно, нервно. Он почему-то больше всех боялся. Я ни разу не видел его улыбающимся. Он даже говорил редко и стал скрывать нашу дружбу. На третий день, когда во мне еще играла последняя дурь, я увидел, что Баринцова ведут на разбор в туалет. Я спрыгнул с кровати, оделся, как полагается на разбор: нижняя рубашка, брюки «хэбэ», заправленные в сапоги, — и пошел тоже в туалет. Деды стояли ленивым кружком, а в центре торчал бледный Баринцов с воспаленным взором.

Я прошел и встал рядом с ним.

«А ты чего?» — спросили меня. «А так. Постою с вами», — вежливо ответил я. Дали нам по морде двоим. На следующую ночь на разбор потащили меня. Баринцов остался в кровати. Умный дедушка вернулся из туалета и спросил в тишине спящего кубрика: «Баринцов, а ты не хочешь сделать так, как твой друг вчера?» Баринцов спал.

На следующий день его подняли одного. И я не встал за ним.

Я очень жалел Серегу и помогал, чем мог, делился маслом, если его обсасывали. Давал иголки, подшивочный материал, немного денег. Все осталось с ним: практичность, расчет, хватка, хитрость, куда только ушла улыбка? И все остальное, но это кто знает...

А Раскольниково просто сломали. Начали с ефрейторской лычки. Ему ее спарывали с погон каждую ночь, а на следующий день били уже за то, что ему сделали замечание на разводе за отсутствие лычки. А когда его повели на первый серьезный разбор, он, эта худая, несчастная цапля, сделал то, что не прощают, — он отмахнулся: шмякнул неловко по лицу первого же, кто его ударил. Его поднимали после этого каждую ночь — уже на пятый день он стирал носки всем дедушкам и откликался на пахабное слово. Даже салабонам запрещали называть его по имени. Он ходил по роте, как больной, он озирался и прятался на чердаке, и я понять не могу, неужели это не было видно офицерам, мы-то ладно, мы тоже еле таскались и вздрагивали, если кто окликал, но Раскольников был явно растерт и втоптан. С ним никто не садился в клубе рядом

смотреть кино или в кубрике вечером, с ним рядом была беда. Специальность нашу он усвоил плохо, места художника здесь не нашлось. Некоторое время он слонялся по нарядам: в кухню и автопарк, а потом вдруг попал на самое теплое место в роте — на телефонку.

В нашем гарнизоне был военный институт, в нем был небольшой коммутатор — там ночью должен дежурить один солдат, чтобы не привлекать гражданских. Ночью звонков почти нет, и можно было заниматься чем хочешь: письма пиши, спи, кури, живи, как дома, а днем в роте еще спи: это был рай на всю службу. Сюда Раскольников и попал.

Однако с ним была еще одна штука: может, кто привез это с учебки, может, решили именно после такого странного решения командования о переводе его на телефонку, что вдобавок ко всему Раскольников — стукач. Доказательств особых не было, кроме двух-трех крохотных встреч с замполитом, но доказательства никому и не были нужны.

Выбравшись на телефонку, Раскольников чуть распрямылся, стал спокойней ходить — он мог слушать у себя на телефонке музыку, ходить в нормальный туалет, спокойно умываться и бриться. Ему институтские служащие говорили «вы» и подкармливали. Наверное, он там и отсыпался, потому что в роте спать было трудно. Каждый старался, проходя мимо его кровати, задеть ее, что-то громко сказать прямо над ухом или просто ударить в бок спящего — я не могу понять, как он выдерживал: лежать в кровати неподвижно по восемь часов с закрытыми глазами и каждую секунду вслушиваться в любой шорох, ожидать удара, ловить слова проходящих людей и в них постоянно видеть угрозу, и еще делать вид, что спишь, чтобы не бесить народ мыслями, что он может поспать и на телефонке. Я хотел даже у него спросить, как он выдерживает, но не мог — меня он боялся и избегал, хотя я никому не рассказывал про мысли свои, про те, которые в связи со смертью Жусипбекова. Некому было рассказывать. Та жизнь закончилась. В этой никому ничего не было надо, кроме спокойной ночи и неизбитой морды.

Уязвимым местом Раскольникова была столовая. Хоть иногда, но человеку все-таки хочется есть. Он был вынужден туда приходиться. На глаза всему гарнизону — весь гарнизон знал его, как стукача. При нем сразу барабанили ложками по столам, гоняли его без конца за кружками, тарелками, ложками, заставляли разливать чай и бегать за хлебом даже салабонам. Салабоны тоже переставали его уважать. Ему ведь неплохо жилось на телефонке, а этого не прощают.

А я жалел Раскольникова — мне все время казалось, что я тоже мог пойти по его пути, если бы что-то слепое раздавило бы меня, а не его. Будто мы не шинелями поменялись, а судьбами. Будто я вижу в нем себя, и он меня избавил.

Окончательно погубило его расслабление.

У каждого салабона поближе к приказу, к концу года службы, появляется расслабление. Не как протест — от этого и следа не остается, а как первая ласточка конца салабонства. Кто-то начинает втихаря копить стишки и фотографии для будущего дембельского альбома, кто-то качает мышцы на брусьях и турнике втайне от дедов, готовя свой авторитет для встречи будущих салабонов, а Раскольников вздумал звонить каждую ночь домой по служебному проводу.

Отец его — инвалид, днем имел возможность поспать, а по ночам чуть ли не по часу беседовал с сыном за государственный счет. Это дело открылось через бухгалтерию, уставшую платить, недели за две до приказа — ефрейтора Раскольникова вышвырнули с телефонки, а наша часть насовсем лишилась теплого места как неоправдавшая доверия.

Я подумал про себя: ничего страшного, самое страшное время Раскольников все равно отсидел на телефонке. Но я чуть ошибся.

За день до приказа роту подняли среди ночи на поверку — четыре шнура из второго взвода отдыхали в этот момент в общежитии медучилища. Еще через двое суток эти счастливые ребята продолжили выполнять свой воинский долг в сибирском городе Ардинске, где снег тает в мае. Этот факт все связали с возвращением в роту Раскольникова, решили — стукнул он. На следующий день после приказа новые деды собрали самых авторитетных из новых шнурков, в том числе и Петренко, и объявили — для Раскольникова приказа не будет. Он продолжит жить как салабон.

На следующий день сержант Петренко послал на парашу ефрейтора Раскольникова, с которым полгода спал на одной «спарке» в учебке. Такие вот дела.

Так закончилось для ефрейтора Раскольникова его расслабление.

У меня расслабление было другого рода, я вроде бы как влюбился. На работу в военный институт каждое утро ходила ослепительная длинноногая блондинка. Она ходила всегда одна, с отрешенным, гордым лицом — ей вслед смотрело полгарнизона. Смотрел и я — лысый ушастый салабон с грязной шеей, обгрызенными ногтями и в штанах с отвисшими коленками. Наверное, в нее влюблялись салабоны поколение за поколением. Это мне сейчас так кажется.

Да у меня это и не любовь была, просто я смотрел на нее, и мне легче становилось внутри, вот и все. Идет себе человек, и ты дышишь по-другому, и не так далек дембель, и жизнь проще и ясней. Ну, еще мечтал иногда по вечерам о разных глупостях с ее участием, врать не буду. Она красивая была и очень, очень... такая... женщина, что ли, всегда в тесных джинсах или юбке с томительным разрезом, она так шла, что у дежурного прапорщика на КПП шея сворачивалась набок. О моем расслаблении знали только Петренко и Баринцов. Серега работал пару дней на уборке

в институте, все вызнал про нее и ночью прошептал мне, что зовут ее — Наташа, муж ее майор, детей нет. Мужа Серега видел, у него очки и скоро будет плешь. Имя какое — Наташа! Наталья.

Серега медленно, но уверенно оживал, отогревался, мы стали, как в учебке, болтать по ночам, и, хоть изредка, но появлялась на его лице счастливая улыбка.

«Ты вот что, — предложил он мне. — Давай купим бутылку, я узнаю, когда ее муж сутки дежурит по институту, и мы к ней — на квартиру. Возьмем увал и постучимся. Вроде как за стаканом. А уж там и посмотрим, что к чему. Действовать по обстановке. Что ей за интерес за майором-то? Ты ж у нас Лобачевский будущий! И волосы отрастишь, вымоешься!»

Я хохотал, по привычке оглядываясь на кровати дедов. Мне хотелось совсем другого. Почти каждый вечер я рисовал себе, а потом и Сереге, одну картину: по дембелю я в парадке, с полной грудью значков — будут ведь у меня и значки к тому времени, — и покупаю двадцать один тюльпан, и встречаю ее утром на проходной, и в кармане у меня куплен билет домой, все! И все кругом обалдевают. И я ей говорю: «Здравствуйте, Наташа, извините, Бога ради, что я задержал вас, я хочу вам сказать, что полтора года служил в этой части и полтора года видел вас, хоть иногда. Я, быть может, нескромно смотрел на вас, простите. Знаю одно: я больше никогда не увижу вас в жизни, мой дом далеко, вы меня видите в первый и последний раз, но я хочу, чтобы вы знали, что полтора года вы были для меня символом всего самого светлого, чистого, святого. Вы помогали мне жить, выжить, сами не зная об этом. Когда я видел вас, я становился человеком и мог все. Спасибо вам». И она будет грустно-грустно на меня смотреть, и рот ее будет, как мак на ветру, и она, может, первый раз в жизни задумается: не прошло ли в ее жизни что-то мимо, может, первый раз в жизни подумает, что, может, зря были когда-то разорваны на половые тряпки алые паруса, и расстреляны мечты на перевалах быта, и прерван полет, и кончена песня — ну, в общем, всякая ерунда, которая лезет в голову салабону при расслаблении. А потом она скажет что-то такое, о чем думать страшно, или просто поцелует так быстро, или вдруг даст адрес, чтоб написать, если судьба еще приведет, а она приведет, когда я буду уже, ого, кем я буду тогда... Ну и так далее. Мы стали шнурками — мы разогнулись.

Мы стали улыбаться, жить. Все бы хорошо, да ночью меня позвали в туалет, и четыре дедушки укоризненно заметили, что, по их наблюдениям, я принципиально не припахиваю стукача Раскольниковца — что я могу сказать по этому поводу?

По этому поводу я молчал.

Тогда меня спросили: так может, я хочу присоединиться к Раскольникову, и ему будет все веселей? Нет, сказал я. Нет, я свое отпахал честно. А может быть, спросили у меня, я вообще салабо-

нов припахивать не собираюсь и пальцем не трону? Нет, ответил я, нет — салабонов я припахивать буду и мочить буду тоже, еще как... Разговор принимал затяжной характер, что ничего славного мне не обещало.

Тут в туалет зашли Серега Баринцов и Петренко и встали со мной рядом. Чего, шнурье, пришли, спросили у них. Ничего, сказали они, постоять, покурить, положено это нам по сроку службы. Ну-ну, сказали дедушки, живите, как хотите, шнурье вонючее, но чтобы Раскольников пахал и порядочек в роте был. Дедушки уползли, а Серега просто обнял меня, и я почувствовал себя счастливым оттого, что кончилось мое салабонство, что будет у меня все здорово, что есть на свете женщина с солнечным именем Наташа и солнечными, живыми волосами, что на дворе уже осень, и все остальное здорово.

— Дураки, — сказал нам Петренко, надув усы (шнуркам усы у же полагались).

Дни пошли быстрее. Нашего Раскольникова я видел редко, да и не хотелось его замечать — ничего отрадного в этом живом напоминании о близком прошлом ни для меня, ни для кого из новых шнурков не было.

Седьмого ноября на обед были апельсины в столовой, а рота встретила праздник массой веселых событий.

Среди ночи меня разбудил Серега и объявил, что, во-первых, ему присвоено звание ефрейтора, во-вторых, он и Петренко получили отпуск, первыми среди шнурков; в-третьих, у дыры в заборе пойманы с добытым на «гражданке» самогоном салабоны Ланг и Джикия; в-четвертых, ефрейтор Раскольников сломал правую руку, занимаясь на брусках, и теперь он в теплой и сытной санчасти.

— На каких брусках? — поразился я. — Да он никогда в жизни не пошел бы в спортгородок!

— В-пятых, — загнул последний палец Баринцов, — деды и шнурки считают, что сломанная рука — это все чепуха. Просто замполит хочет вывести стукача из-под ответного удара после результативной операции у секретной дыры.

Мне было страшно тоскливо, я бормотал:

— Господи, ну откуда Раскольников мог знать про дыру, он из туалета не выходит...

— Народ собирает специалистов идти в санчасть. Устраивать стукачу «темную», — закончил новости Серега и скомканно добавил: — Я вот только сейчас из санчасти, с Серегой-фельдшером побазарили...

Баринцов был невероятно грустным. Мне казалось, что я понимаю его: отпуск дело хорошее, для шнурка вообще радость неслыханная, но вот как возвращаться после обратно, зная, что впереди еще целый год?

— Ну вот, — утомленно сказал Серега и с трудом вдохнул, — мы, значит, с фельдшером спиртику трахнули, и он мне рассказал... Он ко мне вообще уважение имеет. Он нашего Рас-

кольникова... Раскольников ведь Игорем зовут... Ты знал? Я — нет, вот так... Ну, вот он жалеет этого Игоря... Раскольников пару раз в санчасть ложился, помнишь, тогда, на День авиации? Да? Ну вот — это Серега его ложил. Он может. Он, говорит, и мне предложил бы в случае, если мне хреново в роте станет, но он посчитал, что я обижусь, посчитаю ниже... Ниже чувства собственного достоинства. Па-ра-ша! А замполит наш, он, видишь, мужик оказался-то не такой чурбанистый, как на вид. Он ведь, оказывается, все сечет, что с Раскольниковым в роте творится. Это мне Серега сказал, а ему — сам Раскольников, Игорь. И замполит обещал ему: через две недели я тебя переведу. В другую часть. От нас. Куда-то подальше, туда, где не связисты... А Раскольников, как мужичков у забора накрыли, прибежал в санчасть и Серегу просит: я хочу руку сломать, чтобы продержаться в санчасти эти две недели...

Баринцов был не сильно пьяный, но рассказывал с длинными паузами, сопя носом в тишине и часто морща лицо.

— Серега-фельдшер, он, видишь, тоже мужик оказался, Серега ему укол обезболивающий сделал и говорит: иди, ломай! Если что не выйдет — про меня ни слова. Посадят. Наш Раскольников, идиот, стал руку свою бить об угол дома. Сам бил! И ни хрена, синяк набил, а рука, как деревяшка, отскакивает, да и все. В спортгород побежал, в шведскую стенку руку совал, чтоб переломить — не может. Он опять к Сереге пришел: ну а что теперь делать? Серега сажает его в нашу «скорую» и везет в травмопункт — там его парень знакомый, он его уговорил гипс наложить, и хорошо... Вот так-то, братан, жизнь вот...

Он глянул себе под ноги и сдавленно сказал:

— А я домой еду. Мне отпуск.

— Да, — сказал я про Раскольникова. — Это просто судьба.

— Судьба, — повторил за мной Серега и странно спросил: — А у тебя? А у меня? А?

Он смотрел на меня, и я чувствовал, что надо немедленно что-то ответить, и неестественно весело произнес поскорей:

— А у нас что... У нас — все еще впереди.

Баринцов снял ремень и стал расстегивать «хэбэ», погладил ладонью грудь, почесал бок и опять поднял голову:

— Но ведь этот хиляк — он ведь один смог отмахнуться — он! И ты помнишь, тогда в учебке многие, наверное, видели, как эта гнусь Жусипбеков по карманам лазил, но ведь сказал-то только Раскольников. Ты помнишь учебку, а?

— Я помню, — ответил я. — Я все очень хорошо помню. Иди, братан, пора спать. Все хорошо. Все закончилось плохое. Мы выдержали — как настоящие мужики... И все.

Серега хмыкнул и потом уже улыбнулся мне:

— Пожалел волк кобылу... Оставил хвост да гриву.

И он пошел от меня, помахая ремнем, накрученным на правую руку, отвесил щедрую затрещину случившемуся навстречу са-

лабону, возвращавшемуся с уборки туалета, и засмеялся чужим, дребезжащим голосом, и вдруг сказал на всю казарму:

— Вот я шнурок. И я до сих пор не могу понять, что я никому ничего не должен.

И раздался звук, похожий на судорожный вскрип. Слава Богу, все спали. Только приподнявшийся салабон перепугался на- смерть.

Сергея все-таки перебрал спирта в тот день.

А мне в голову пошли вереницей мысли, простые и серые, как заборные доски, одна за другой; а ведь я много уже прожил — минимум треть своего, отведенного мне, и все, что было со мной, останется неизменным до самого конца, не забудется — вот это и будет моя жизнь. Ничего другого на этом месте уже не вырастет. Только это и только так. Интересно, странно, страшно.

Сергея уехал в отпуск.

Рука у Раскольниковца срослась через две недели. Его, по-моему, ходили бить два раза, но не получилось, что-то мешало, просто грозили в окно. И прямо из санчасти его перевели в отличную часть другого рода войск — там, говорят, дедовщины не было, но за малейшую провинность вся часть бегала кроссы вокруг казармы. Это был рай для салабонов и тюрьма и каторга для шнурков и дедушек — все, короче, наоборот, и выходит, что одно и то же.

Мне почему-то хотелось увидеть Раскольниковца на прощание, но не пришлось — его увезли втихую, быстро, до завтрака. А только странно — мы ведь с ним ни разу не говорили, кроме той салабонской ночи, самой первой, в туалете, но мне все время казалось, что он постоянно думает про меня и знает, что я думаю про него. Ну вот, подумал я, расстались, отмучился. И слава Богу. Но я опять чуть ошибся.

Он вернулся к нам летом. Я вот только забыл когда — в конце июля или начале августа, вот так где-то. Тогда уже настала для нас жуткая скука — все деды страшно скучают. Ничего внутри уже не остается, кроме тоски по дому. Тоски, знаете, не обычной такой, не по квартире или друзьям, бабам или магнитофону. Тоски по другой жизни, и не разберешься — то ли это тоска, то ли ненависть к тому, что уже осточертело. И каждый дед в эту пору бесится по-своему.

Коровин вдарился в загулы и пьянки, на гауптвахте его называли уже по имени-отчеству и берегли именные нары. Игоря Петренко под конец службы подстерегла невеселая весть от его бабы — что-то вышло у них не так, и Игорь теперь то зверел, как свежий, намучившийся шнурок, то спал в любую удобную минуту. Я стал врубаться старательно в службу, получил младшего сержанта, дали мне в подчинение отделение. Показатели у моей смены на боевом дежурстве были лучшими в роте. На День авиации я сдал на первый класс. Короче, старался, как мог, рвал изо всех сил, чтобы уйти домой раньше всех, в заветной «нулевой» партии на дембель.



Это было трудно, в нулевке всегда только три места, причем одно из них изначально закреплено за водителем командира части. Да я еще политинформации читал, наострился выступать на общие темы на комсомольских собраниях и перед субботниками. Замполит вроде меня оценил и пару раз приглашал на деликатные разговоры, когда в роте было пустынно, но я вежливо отказывался с улыбкой — подальше от греха.

Когда моя смена отсыпалась перед ночным дежурством, я забирался в ленкомнату листать ветхие подшивки газет и поглядывал на тротуар, по которому ходила на работу и обратно красивая жена очкастого майора Наташа. Я выдохся немного и стоять караулить ее на улице уже было лень, но смотрел по-прежнему, в ее походке и величии мощного, сильного тела было что-то обещающее потом — и ведь живет кто-то с такими женщинами, занимается с ними любовью, эх, даже обидно как-то.

А Серега Баринцов бесился меньше всех, он стал совершенно прежним ленивоватым, румяным, потолстел, он был вылитый кот и игрался во все, что хотел: наводил внезапные гонения на салабонов, разыгрывая настоящие трагедии в лицах, дергал без устали шнурков, обвиняя их в несуществующих провинностях и упущениях по службе, облазил все кинотеатры, посетил общагу медичек с Коровиным, после чего я весь вечер смеялся до слез, когда он рассказывал про это дело. Вечерами мы подолгу трепались. Я для компании приглашал со второго яруса салабона Васю Смагина по кличке Членкор. Вася был писарем, печатал про нашу часть заметки в окружной газете и знал массу интересных вещей. И вот как-то в июле или августе Баринцов мне сказал, что привезли обратно Раскольникову. Я как раз встал с кровати — отсыпался после ночной смены. Намотал полотенце на шею и пошел к канцелярии. И правда: стоит у стеночки совсем белый, печальный Раскольников со свежим синяком под глазом и вещмешком за плечами. На меня только покосился. А напротив него топорщит уже свои грозные усы Петренко и спрашивает ласково и обещающе:

— Ну что, Раскольников... Там лучше было?

Васька Смагин, ошивавшийся при канцелярии, рассказал мне достоверно, что там приключилось у Расколькова. Он заболел легкими, и его отправили на месяц в Тамбов — на целый месяц! То ли он там столько лечился, то ли просто отирался, упрасывая главного врача, не знаю. Обрато из госпиталя его проводили одного. На прощание сказали: будешь ехать через Москву — сдай анализы в нашем филиале и пришлешь нам потом результат, мы глянем — здоровый ты или еще нет, может, обратно придется класть. Он анализы в Москве сдал, а результаты должны быть готовы только на следующий день. И он решил ждать, хотелось, наверное, опять в больницу залечь, надеялся. А отпускной у него уже оказался просроченным. И он вместо того чтобы дома отсиживаться, торчал, как столб, на Павелецком вокзале Там его патруль

и замел. Подержали сутки в Алешинских казармах и отфутболили в часть. Отличная часть, испортив себе столь серьезным нарушением всю годовую отчетность и перечеркнув все надежды на успехи в соцсоревновании, совершила увлекательный марш-бросок с полной выкладкой. Актив части от имени благодарной общественности поставил Раскольникову синяк под глазом на память, а командование волевым решением избавилось от паршивой овцы — вернуло его нам.

После обеда мы зашли в чайную посидеть. Тут к Петренко подкралась делегация шнурков: Ланг, Джикия, Вашакидзе, Коробчик.

— Игорь, — осторожно начал Ланг. — Пусть Раскольников пашет. Он же на нас стучал, как щука. Своих закладывал. Он всю жизнь, где полегче искал — пусть хоть сейчас узнает, какая служба есть.

— А мне это как-то так... — просто сказал Петренко. — Пусть пашет. Лишь бы мне через это дембель не обломали.

Игорь очень волновался за свой дембель — он тоже метил в «нулевую» партию и мечтал получить «старшину» по дембелю.

— Так, ну а ты что надулся, Олежа? — спросил меня Игорь, неприятно сморщившись. — Не нравится? Но ведь он и правда все время пахать не хотел. Все как-то по-другому хотел, а? И шнурье все равно бы его достало, как бы я им ни сказал...

— Бичи, давайте еще «пепси» возьмем, — улыбнулся примирительно Серега Баринцов. — Помянем душу ефрейтора Раскольникова.

Я быстро потом успокоился. Сильно бить Раскольникова не стали. Шнурки придумали хитрее — Раскольникова припахивали салабоны. Им говорили так: «Иди попроси Раскольникова помыть туалет. Не пойдет — сам будешь мыть и по лбу получишь». Это было зверски смешно, когда весь испуганный и затюканный салабон Курицын подходил тихонько к дедушке Раскольникову и начинал лепетать: «Там в туалете... Может, поможешь, а? Помогии...» Раскольников сильно краснел, пытался отвернуться и что-то делать: разбирать свою тумбочку под строгими взорами наблюдавших это дело шнурков, бормотал, что уже сегодня помогал и не может именно сейчас, а Курицын тупо ныл: «Помогии, а?» И так долго, шнурки уже начинали что-то шипеть, и Раскольников, сгорбившись, шел, а за ним, еще больше сгорбившись, крался салабон Курицын, озираясь по сторонам, — ничего ему за это не будет, еще не кончилась эта странная затея дедов и шнурья?

Это был настоящий спектакль. И салабоны потихоньку смелели. Говорили мне, что даже стукнул кто-то из них нашего ефрейтора — и на это деды смотрели сквозь пальцы.

Историй смешных с ним приключалось полно. Вот однажды Раскольникова старшина положил спать на свободное место Вашакидзе — у Раскольникова постоянного места не было. Ночью из рейса приехал друган и дразнитель нашего каптера Вашакид-

зе — кардан Коробчик — и первым делом отправился будить своего товарища. Раскольников всегда спал, укрываясь с головой, скорчившись как-то набок, будто пытаюсь пропасть в этой кровати.

Коробчик уселся осторожно на кровать, но Раскольников наверх сразу же проснулся и с замершим сердцем ждал, что его ждет: работа, «темная» или просто какая-нибудь ласковая шутка бессонного дедушки. Коробчик осторожно прицелился пальцами и схватил через одеяло предполагаемого Вашакидзе за нос — Раскольников решил, вероятно, что настал его конец: он взметнулся, как ошпаренный, и прямо с одеялом выскочил на середину прохода, немного взвизгнув. Коробчик остолбенел. Ему даже как-то неловко стало.

Мы с Серегой лениво смеялись. Вася Смагин рассказывал нам про американских президентов — нам что-то не спалось.

Вася был интересный парень. Он всегда ходил с доброй улыбкой, не отказывался, если дедушка просил подписать душевно и красиво открытку или девушке письмом накатать с любовью и тоской. Он к каждому дедушке подходил найти умел — то про дом расспросит, про работу на гражданке, личной жизнью поинтересуется — и слушать так умел, что казалось, что именно это Васю в данный момент волнует больше всего на свете. Я в свое время тоже так прожить пытался, но у меня как-то через силу выходило, слишком ненавидел, а у Васи как-то легко. Деды его немного оберегали, и если получал, то тайком от злящихся на него шнурков, я даже не знал, как они позаботятся о Васе, когда дембельнемся, — простят ли...

И что поражало в Васе, так это его странная манера: он как-то очень подробно интересовался, кто каким был по салабонству, кого сильнее били, кто пытался подлизываться, как ломают людей, кто с кем дружил и как, кто каким шнурком был, и из какого салабона выходит авторитетный дед, и что такое вообще авторитетный дед. Я сам после этих вопросов стал как-то задумываться. Но вот что он, интересно, подумал, когда узнал, что Петренко, Баринцов, Раскольников и я — из одного взвода в учебке, и я там был комсоргом? Вот что при этом было в его голове? Уж больно он задумчивый был, когда про это расспрашивал. У меня при этом ничего в голове не было.

И когда Вася увидел сцену Раскольникова с Коробчиком среди ночи, у него вырвалось вдруг:

— Какая страшная судьба...

— У кого? — переспросил я. — У Раскольникова?

— Да.

— Почему это? — глухо спросил Баринцов и подтянул одеяло повыше, его лицо было в тени.

— Парень стучал на своих. Парень теперь гребет за это, — вздохнул я. Когда я говорил с Васей, у меня всегда было ощущение, что говорит во мне кто-то другой.

— Ничего страшного. Не страшней, чем у каждого, — добавил из темноты Баринцов.

Вася быстро и готовно согласился, кивнул и продолжал говорить про то, как убили президента Джона Кеннеди. Он умел быстро забывать свои слова и менять темы разговора, так и не поймешь толком, что же он хотел сказать. Потом я как-то мельком увидел, что Вася подходил к Раскольникову и о чем-то его коротко спрашивал, и с болезненным интересом разглядывал нашего ефрейтора, не особенно приближаясь к нему, будто зная о смертельной болезни своего собеседника. Вася был очень похож на меня. Это меня и тянуло к нему.

Скука скукой, но все шло спокойно.

Зато после приказа все как с цепей посрывались. Ветеранам стало уже невтерпех, по роте поползли слухи, кто в какую партию запланирован домой и кто чем этого добился: кто стучал замполиту, кто рвал задницу перед старшиной, кому поставлен какой дембельский аккорд — то есть, что надо сделать, чтобы отправиться домой не тогда, когда с неба повалит снег, чем пугали зашивонов. Те кто уходил позже, стали ненавидеть тех, кто уходил раньше. Если и раньше особой дружбы не было, теперь вообще волками стали глядеть друг на друга. И поэтому все осточертело еще больше.

Через десять дней после приказа командир перед частью объявил, что в «нулевку» идут трое: его водитель, старшина Петренко и младший сержант Мальцев — я, то есть. И мне стало покойно-покойно — вот и все, все закончилось. Я стал по вечерам тщательно готовить парадку. Я стал думать, когда прощаться с красивой женщиной Наташей — женой майора. От салабонского упоения следа не осталось, но цветы подарить и слова те самые сказать хотелось.

Баринцов ржал надо мной:

— Я же говорил — какие цветы?! Надо было пузырь и — прямо на квартиру, вперед в атаку. Что ей с цветов? Ей знаешь чего надо, а? Ей, может, с солдатом в поинтересней. Для экзотики, ха-ха...

А вот мне так хотелось. Рассказал про свой план Ваське Смагину. Ваську не поймешь — улыбнулся и промолчал.

У меня голова иногда как будто кипела: впереди — институт, ребята, девчонки — ух, держитесь, девчонки, выбирайте из себя самую красивую и загадочную, чтобы волосы длинные и волной, да и те, кто похуже, не тужите — и на вас хватит! И я буду солидный, спокойный, мужественный, настоящий мужик! И жизнь простая и понятная основательно, так!

Вам этого не понять.

Даже мне сейчас трудно это понять. Как я жалею, страдаю, что прошло, делось куда-то, истаяло то ощущение легкости, оторванности, когда понимаешь и говоришь всем: люди, мне на все плевать — как я одет, что про меня скажут вслед, что придется мне есть и

придется ли, сколько у меня денег и что вокруг — мне плевать! Самое главное, я иду, куда хочу. Я сплю, сколько хочу. И мне плевать на всех вас, на всех и каждого!

А ветераны бесились, и это закончилось плохо.

За неделю до ухода «нулевки» четверем ветеранам, посланным за водкой духа Швырина, пообещали продолжить службу до белых мух. Среди великолепной четверки оказался и Серега Баринцов — он сразу почернел лицом и стал засыпать лицом вниз. Про водку кто-то стукнул. Сомнений в том, кто — не было. Ночью Петренко с двумя ветеранами устроил «темную» Раскольникову. Тот не пытался сопротивляться, когда его, завернутого в одеяло, тащили по проходу, пиная ногами, в тишине казармы был слышен только тихий скулеж, будто животного. Петренко особо не прятался. Он громко сказал: «Не вздумай, падаль, повеситься. За твою паршивую душу попасть в дисбат охотников нет. А стучать можешь, гнилье!»

Раскольников немедленно положили в санчасть — у него было много сильных ушибов и легкое сотрясение мозга. Командование объяснило это падением с лестницы. Петренко ждал с минуты на минуту, что его «нулевка» накроется, но было тихо. Раскольников промолчал. Или командование поняло, что если тронут еще кого-то, то Раскольникова вообще убьют.

Мне было очень жаль Серегу Баринцова — он резко увял, лежал часами, смотря над собой, внешне спокойный, будто ждущий срока своего со смирением.

— Ничего, — говорил он. — Все равно мы дома будем.

«Нулевка» уходила в понедельник, рано утром. В пятницу я купил у гарнизонной старушки двадцать один тюльпан и ждал утром у КПП Наташу.

Она шла одна. Как я и хотел. Как и мечтал эти полтора года. Она смотрела поверх всех, надменно сжав губы, она будто плыла над всеми, сквозь всех, не меняясь гордым лицом, она шла, будто нес ее ветер, что дул в спину, вот так она шла, выставляя белые тягучие ноги в разрез плаща. И была все ближе, и рядом, я как толкнул себя:

— Извините, — напряженно начал.

В спину мне уставился весь наряд на КПП. А она даже не поняла сначала, что это ей сказали, она чуть даже прошла мимо, но тут, нахмурившись, покосилась на меня — это ей? Нет?

— Извините, — повторил я, как заведенный. — Я вас задерживаю, извините...

У нее было вежливое, спокойное лицо, в которое я не мог заставить себя взглянуть, от нее пахло духами, я заканчиваю службу, у меня потная ладонь, в которой цветы, как ей сказать это больное, томительное все...

— Вот. Возьмите, пожалуйста. И спасибо вам. — Я попытался протянуть ей букет.

— Что? От кого? Кто вам сказал? Знаете, что ему скажите... — неприязненно вздохнула она, сдвинув выщипанные брови к переносице.

— Нет! Это — только от меня. Да и от всех, я хочу... Спасибо!

— От вас? Вы подождите, за что спасибо-то? Что вы волнуетесь так. — Она поглядывала на букет, как на грязного котенка, а у меня было ощущение, что я падаю в нее, прямо в это прекрасное лицо, невероятно живой поворот головы и единственный голос, которым будто говорит то, что было когда-то твоим.

— Это вам за красоту, — ляпнул я. — Возьмите, пожалуйста. Не обижайте меня, — добавил вообще жалко, даже самому стало стыдно, и все совал ей букет.

— Ну, хорошо, хорошо, — быстро проговорила она. — Я возьму. Давайте с вами так договоримся. Мы цветы отдадим этим ребятам на КПП — пусть они тут поставят, сюда на окошко. И всем, кто будет проходить, будет приятно, вот так... Хорошо, да?

— Да. Так, — кивнул я, вздрогнув оттого, что почувствовал касание ее тела в мягком движении, которым она взяла букет.

Она сунула букет усатому прапорщику в руки, тот еле сдерживал ржание, дежурные за окном вообще стонали от смеха в голос.

И тут из черной «волжанки» высунулся черноволосый холеный старлей — адъютант институтского генерала:

— Наташа, поедем? Нет?

Он отпустил шофера величественным жестом и подошел к нам.

— Цветочки? Кто дарит?

— Да вот, — протянула Наташа свою белую руку, прохожую на лебединую шею, в мою сторону. — Мальчик вот этот... Говорит, за красоту. — И она коротко усмехнулась.

Я поднял лицо — вокруг ее глаз были видны морщины.

— Ва-енный? — протянул адъютант, насмешливо приподняв брови. — Это ты, что ль? Ведь ты, наверное, месяц деньги копил? Да какой месяц, полгода! Да? Ну, ты чего стоишь? Шагай давай. На чем хоть сэкономил? На подворотничках? Да у тебя и сейчас подшивочка-то... да-а, шейку не моем?

Наташа вдруг откинулась назад и захохотала чужим, крикливым голосом:

— Отстань от мальчика, он помоеется!

— Давай иди, — отпустил меня старлей по-хорошему.

И он отвернулся, а я стоял, я не мог понять, как люди ходят.

Старлей даже рад был этому и зашипел мне:

— Товарищ солдат, вы что, ходить разучились? С тобой что, позаниматься?

И тут я улыбнулся прямо в его холеную морду. Господи, да ведь уже все, все!

— Позанимайся!

Наряд на КПП открыл рты.

— Что-о?! — завопил старлей. — Какой части? — Я слету назвал пять цифр, которые старлей немедленно записал в блокнотик, и заорал еще: — Я тебе настроение испорчу, сынок, шагом марш отсюда! — И он толкнул меня в плечо.

Вот этого не надо было делать.

Я шагнул назад и снизу с наслаждением ударил кулаком в его красивое смуглое лицо, по электрическому звонку в шесть утра, по одинокому куску сала в картошке, по портянкам с синеватыми разводами, по мордам, мордам, мордам и маминому голосу из белого конверта, по ушедшей жизни и растоптанному внутри, по двадцати одному тюльпану, которые получают ночные проститутки, подползающие к КПП после двенадцати, по себе, по тому, кем я никогда уже не буду.

Старлей вскрикнул, отшатнулся и стал ловить дрожащими руками свою фуражку — у него было удивительно глупое лицо. Наташа застыла с какой-то брезгливой гримасой, обезобразившей до неузнаваемости ее лик, но мне некогда было всем этим любоваться и разглядывать детали — я бежал вдоль забора, мне надо было преодолеть забор в глухом месте и успеть на построение — впереди меня ждало последнее дежурство.

После построения я сразу же рассказал все Сереге.

— Чепуха, — отрезал он и усмехнулся. — Не найдут. Чего тебе бояться, нет времени, чтобы тебя найти, два дня осталось, Только не трепись сам — отвел бы меня в туалет, там бы и рассказал, а то встал посреди казармы... Молодец, короче. Повидал свою любовь. Два дня всего!

На смене я совершил немало смешных вещей — просил прощения у свежих шнурков, одарил значками Ваську Смагина, приехавшего оформлять стенды смены, пронес на себе до туалета Курицына, я был в запале каком-то, гасил его — ходил по мокрому осеннему лесу, глазел на сосны, клены, остатки синего неба в истрепанных облаках, как клочьях тополиного пуха, я прощался и расписался кирпичом в туалете: «Осень 1983—осень 1985 гг.».

— Мальцев! — позвал меня с крыльца дежурный по связи. Я прошагал за ним в комнату личного состава. За столом сидел командир части в шинели, замполит, слева стоял старшина и мой адъютант с натянутым лицом.

— Этот, — просто сказал адъютант. — Спасибо, что нашли. Лихо!

— Ну вот так давайте решим, — сказал командир, будто не видя меня. — Сейчас на дежурной машине в роту — собрать вещи, освидетельствовать состояние здоровья и пять суток на гауптвахту. А там видно будет. Хорошо?

Старшина посмотрел мне прямо в глаза и свистящим шепотом добавил:

— Когда снег пойдет — тогда ты маму и увидишь.

В роте я обнял Петренко — больше я его никогда не увижу, он уходит завтра. Махнул головой Баринцову — он меня дождется.

Сергея строго сказал мне:

— Мы найдем эту сволочь. Он пожалеет, что родился, этот стукач.

В санчасти фельдшер Серега проверил мое давление и, когда сестра вышла, спросил:

— Хочешь, завернем твою «губу»?

— Нет.

— Чего зеленый такой? — спросила насмешливо медсестра. — Не уходи, посиди еще на лавочке в коридоре. Я тебе хоть витаминчиков принесу. Хулиган.

Сопровождавший прапорщик болтал с медсестрой про какую-то Светку, а я вышел из кабинета, пошел к окну — я хотел посмотреть вниз с четвертого этажа. Окно было раскрыто, на подоконнике в синей пижаме стоял Раскольников и заделывал замазкой щели на растворенной раме — скоро зима. У него было странное лицо — светящееся каким-то покоем под синим небом. Я шел к нему вскорым шагом, а когда дошел, схватил его за обе ноги и, упираясь плечом, стал вытеснять его затрясшееся тело на гибкую жесь подоконника.

— Ты что? — страдал он. Но не кричал — стонал.

Баночка с замазкой звякнула осколками внизу, за ней из его рук, вцепившихся в меня, выпала отвертка.

— Скажи мне, падла, или я тебя убью! Это ты нас стучишь?! Это ты, гнус, нас закладываешь? Скажи мне, тварь, или я убью тебя!

Я говорил спокойно — голос мой был глухой.

— Ну!!! — я дернул его изо всех сил, и он закричал:

— Ну, я! Я!

Я замер, разжал руки, и он повалился прямо на пол, он не мог стоять, у него дрожали колени, он обхватил их руками и прятал свое безумное лицо.

— На витаминчики, солдатик, — позвала меня из кабинета медсестра.

После «губы» я вернулся спокойный, как лед. Я понял, что ничего у меня уже не будет.

Сергея был на смене, и, дожидаясь его, я стирал «хэбэ», черное после работ на «губе», сдал в каптерку парадку, которую готовил к дембелю, — чьи-то умелые руки свинтили эмблемы и вытащили пластмассовые вставки из погон — ладно.

Смена выпрыгивала из машины, кардан Коробчик послал какого-то салабона за горячей водой. Я стоял у крыльца, меня все обходили.

— А где Баринцов? — спросил я Смагина, вытаскивавшего из кузова какой-то транспарант.

— Баринцов дембельнулся, — осторожно улыбнулся мне Смагин. — Он же в «нулевке» ушел.

Я отвернулся и прошел несколько шагов в сторону по черному асфальту. Смагин настойчиво добавил:

— А ты помнишь, он ведь и отпуск первым из шнурков получил. Раньше всех, да?



Он очень ждал, каким я обернусь к нему, и удивился, увидев мою улыбку. Ну и что... Какая разница.

Полтора месяца я ходил через день в наряд по кухне вместе с духами и салабонами. Последний наряд был в конце ноября за день до дембеля.

— Олег, там тебя зовут, — сказал салабон Швырин и неопределенно махнул головой.

Я обтер руки о засаленный фартук и вышел из мойки на сырой ноябрьский простор.

Это был Раскольников в парадке и с чемоданчиком.

— Это я, — сказал он.

Я кивнул — это понятно.

— Я хотел тебе сказать, что...

— Это понятно, — сипло сказал я. — Я знаю.

Нет сини в ноябре. Небо, как снег, на котором хозяйка выбила пыльный ковер.

— Ну, что ты стоишь? — спросил я у него.

Он повернулся и ушел.

Замполит позвал меня к себе, когда документы были уже на руках и можно было ехать.

— Ну, Мальцев, что делать собираешься после дембеля? В институт? Не забыл математики? За что примешься?

— За жизнь. — Пожал я плечами.

— Слушай, Мальцев, — сказал замполит запросто. — Не ездик Баринцову. Ну, ты ему морду набьешь или он тебе набьет — что толку-то?

— Да, — сказал я. — Конечно.

Дома я был на третий день. С вечера хмарило небо — оно темнело, как свежий асфальт. Мать стелила постель и плакала, включив воду в ванне. Отец сидел, положив тяжелые руки на стол, и смотрел на горлышко бутылки — все.

— Ленка Звонарева выросла-то как. Ты и не узнаешь, — сказала мать, пронося в комнату подушки. — Такая, прям, стала...

— Ну а ты теперь что? Сразу в институт? Или съездишь куда отдохнешь? Или к другу-приятелю. Я вот в пятьдесят четвертом после демобилизации, это тогда еще Египет начал...

— Сразу в институт.

Я вышел подышать во двор. Сильно холодало. Мимо прошли две девицы и громко засмеялись в подъезде, зашептав: «Мальцев уже вернулся».

Мальцев это я.

Я лег спать — как головой в колодец.

Рано в шесть утра я проснулся, смотрел на потолок, потом встал, напился воды и подошел к окну.

Мать смотрела мне в спину. У этого окна она ждала меня.

Небо устало прогибаться над грязью и черными трепетными ветвями. Незаметно, густея на глазах, кружась, переплетаясь, по-

летел вниз первый снег — легкий, пушистый, сразу тая внизу, как призрачная сеть покрывая все, как косые мягкие пряди любимых волос, колыхаясь на ветру, — шел снег.

Я постоял, посмотрел на снег и пошел спать дальше.

## БЕЗ ТЕБЯ

### *Случай*

За полтора месяца до дембеля сержанту Петренко перестала писать девушка.

Петренко курил себе в туалете и глядел в окно: за окном был мрак, и только согбенные над бетонным забором фонари брызгали, как душ, патлатые струи рыжего света.

«Паскуда, какая паскуда, — сказал себе под нос Петренко, старательно плюнул в раковину, проводил взглядом серебряный плевок и тогда вслед, добавил: — Падла».

Казарма уже отдала Богу души, кто-то даже храпел самым похабным образом, вызывая нервные скрипы соседа внизу. Наконец тугая подушка совершила стремительное путешествие к голове храпуна, в покое шевельнулось сонно матерное слово, и неспавшие успокоенно крякнули кроватями в благословенной тишине.

— Баринцов, — позвал Петренко. — У вас все на месте?

— Что я их порю, что ли? — буркнул с деланной грубостью Баринцов, отвлекшись от душевной беседы в углу кубрика с писарем Смагиным, и добавил что-то еще вполголоса, вызвав сдержанное ржание соседей.

«Вот паскуда, а?» — подумал Петренко уже спокойней.

— Коровина нет и этого духа... Пыжикова, — ответил наконец Баринцов, поудобней усевшись в кровати. — Коровин никак бабу из автопарка не выведет.

— А Пыжиков?

Баринцов значительно повел головой и пропел:

— А они изволят письма жечь. У них неудачи на личном фронте.

Петренко прошел мимо дневального и стал неторопливо спускаться вниз, вслушиваясь в голоса у выхода: визгливый голос Коровина был, наверное, слышен всему гарнизону.

— Такая баба... Я ее раздел — она только «ку-ку» сказала... И все. Слава Богу, что Коробчик машину не закрыл, в кабине хоть ноги торчат, а все теплей, а то пришлось бы на снегу зад морозить.

Петренко прошел совсем тихо, даже приостанавливаясь на каждой ступеньке. Он четко слышал каждое слово.

— А что... Петренко же на снегу порол. Я думал: врут. Ходил специально посмотреть, и правда: на снегу — зад и две коленки, прямо под домом, жильцы небось охреневали, я торчу...

Коровин примолк, видно, затынулся сигареткой; плутающий, нервный голос Пыжикова спросил:

— В-валер, а вот как ты начинаешь?

— Чего? — не понял Коровин.

— Ну вот, с бабой чтоб... Ну, чтоб она поняла, если не пьяная.

— Да ты что, братан, мальчик, что ли? — захихикал Коровин.

— Да ты что, охренел, хлоп тать, — громко зашпешил Пыжиков, и Петренко поморщился, покачиваясь на носках на последней ступеньке. — Мне просто интересно.

— Ну что, — Коровину, видно, уже совсем хотелось спать, и он зевал. — Это само как-то, так...

Петренко прокашлялся совершенно без нужды и вышел на крыльцо.

Коровин трогательно приподнял в знак приветствия лихо задвинутую на затылок шапку и показал зубастую, как кукурузный початок, улыбку.

Пыжиков только покосился и помрачнел.

— Не спишься? — участливо спросил Петренко у него и тяжело рукой направил к двери. — Шагом марш в кровать!

Пыжиков, не смотря на него, выдернул плечо из-под его лапы и враскачку шагнул к двери, длинно сплюнул в снег.

— Стой! — рявкнул Петренко. — Я что сказал?! Что надо ответить, сынок?

Пыжиков лениво повернулся и с натянутой усмешкой выговорил:

— Есть, товарищ сержант.

— Иди, сынок, — напутствовал его Петренко и прикурил у Коровина.

— Коровин, — сказал он, когда некстати проснувшийся дежурный по части кончил орать, где это на ночь глядя шлялся Пыжиков. — Ты завтра в увольнении?

— В увал, конечно, к бабам, — сладко прищурился Коровин и соединил улыбкой уши. — В общагу кондитеров. Конфеты «Мишка на севере». Чай и бабы. Хочешь со мной? Я с Поповым думал, а он в карауле.

— Коровин, возьмешь с собой завтра Пыжикова, — сказал Петренко и почесал усы.

— На хрена? — отлепил губу от сигаретки Коровин. — Мне и так неплохо будет.

Была уже глубокая ночь, и Петренко совсем было пора в кровать, несмотря на бессонницу — верную спутницу всех дембелей.

Он протер кулаком правый глаз, посмотрел на этот самый правый кулак и легонько ударил Коровина в грудь, потом, задумчиво глядя ему прямо в глаза, размахнулся побольше и двинул сильнее уже, с неприятной, натянутой гримасой, с силой размахнулся еще раз, но Коровин уже отпрыгнул в снег и старательно выдавливал из себя вынужденный смешок — ведь это была шутка, только шутка, что же еще...

— Ты следи всегда за интонацией, Коровин. Я же не сказал: возьмешь с собой завтра Пыжикова? Я сказал: Коровин, ты возьми с собой завтра Пыжикова.

— Пол-автороты. И кто только службу тащит? — хмыкнул Коровин, оглядев машины у общаги.

Уже в лифте он потянул носом и, отвалившись в угол, оглядел сжавшегося Пыжикова.

— Ну, ты и одеклона извел... Лучше бы выпили. Кто тебя здесь нюхать-то будет?

Общага была шумная: вываливались в коридор веселые компании, растрепанные, по-домашнему в халатиках, девочки с цепкими взглядами густо накрашенных глаз громко перекликались, смеялись, кто-то хрипло орал под гитару песню без слов, пытаясь перекрыть магнитофонные вопли, у туалетов курили, и оттуда, из дрожащего марева, Коровина окликнули — он кивнул, пытаясь увидеть, кто это был, и топал дальше, считая вслух номерки комнат и уже заходя улыбаясь.

— Мож-на? — вкрадчиво спросил он после стука в последнюю дверь направо и властно подергал ручку.

За дверью сделали потише музыку, голоса притихли, и тонкий женский голос жеманно вытянул:

— Кто-о?

— Открывай! — рыкнул Коровин, хозяйски долбанул сапогом пару раз внизу двери и заговорщически подмигнул Пыжикову, прилипшему к стене.

После короткого сердитого лязга щеколды дверь выпустила высокую девицу с растрепанной прической, царапавшей острыми прядями лоб. Она то и дело недовольно поправляла эти пряди, глядела в сторону, недовольно поджимая губы, открывала рот и коротко дула на покрасневшее лицо, крепко сжимая за спиной дверную ручку.

— Наташа-а, — Коровин привычно потянулся руками к ее лицу.

— Да иди ты! — вяло отпихнула она Коровина и передразнила: — На-та-ша-а-а...

— А чего? — Радостно моргнул Коровин. — Вот друган со мной, Аркаша, ну, познакомься. Ну, да познакомься с человеком. — И подтолкнул ее, взяв за локти, к Пыжикову. — Ну! Да познакомься с человеком. Ну!

— Пусти. — Раздраженно повела она головой и кисло взглянула на Пыжикова. — Меня зовут Наташа, понял? И вот что, Валера, у меня люди, — она заговорила тише, и Коровин склонился к ней, нервно зацарапав ладонью по стенке.

— Ну, так чё? И чё? Ну? — бубнил Коровин.

Пыжиков чувствовал, что вспотел, и с омерзением пытался унюхать тяжелый прелый дух, идущий из-под застегнутой наглухо шинели.

Он отклонился от стены, снял шапку и неловкими пальцами принялся расстегивать великоватую шинель, делавшую его похожим на бабу. Уставил руки в бока, будто участвуя в разговоре, а сам глядел в стену и ни о чем совсем не думал.

Из комнаты вылезла еще одна девица — в синем батнике и белесых джинсах, мельком оценила Пыжикова и, опершись подбородком на плечо Наташи, узнаваемо-ехидно улыбнулась Коровину, поправила у него что-то на груди; Коровин сбавил накалу в беседе, но тут из комнаты дернулся пьяный бас:

— Ну, какого там хрена?!

Коровин сразу вытянулся злобно, сжав губы, но Наташа буркнула за спину:

— Да погоди ты.

Она переглянулась с подругой, пошептала ей на ухо и важно решила:

— Ну ладно.

— Ну а его куда? — осведомился повеселевший Коровин, не оборачиваясь, показал на Пыжикова, старательно смотрящего в окно.

— Ну-у, — протянула Наташа и стала нетерпеливо постукивать тапочкой по полу. — Может, ты еще взвод приведешь?

Ее подружка в синем опять что-то шепнула на ухо.

— К кому? — в полный голос спросила изумленно Наташа и прыснула. — Я жас умру.

— А чего-о ты? — удивилась в свою очередь подруга. — Давай!

— Ну, веди. Мне-то что, — засмеялась Наташа и уже потащила Коровина в комнату, расстегивая на нем шинель, а тот говорил Пыжикову оттуда:

— Ну, в общем, ты иди, вон туда, с ней. Давай, короче, гуд бай. Не срами роту, слышь, давай, ничем не щелкай. Если хочешь есть варенье, не лови этим самым мух, — и смеялся.

Девица в синем прикрыла осторожно за ним дверь, тряхнула кудряшками и позвала Пыжикова:

— Пошли.

Он поскрипел сапожищами за ней по коридору — с утра у него было чувство, будто он рвет мамину скатерть на портянки.

Они спустились на этаж. Провожатая толкнулась в крайнюю дверь, крикнула в шумящую кухню:

— Машка, ты здесь?

Оттуда выплыла толстая девушка в спортивном синем костюме с тонкими белыми лампасами.

— Чего?

Провожатая пошла с ней на кухню шептаться, а Пыжиков опять ждал, постукивая затылком о стену за спиной.

— О Господи, — пробормотала Маша, проплывая мимо него и наклоняясь к двери — она долго не угадывала ключом скважину, потом, плюнув, достала из кармана и нацепила на нос очки — открыла.

— Ты заходи и давай здесь, сюда, — неопределенно проговорила девушка в синем и пошла к лестнице, мельком полюбовавшись своим отражением в стекле, — она торопилась.

Пыжиков неуверенно зашел и остановился, видя себя в небольшом квадратном зеркале, чуть ржавом в углу, — лысого с рыжими бровями, тонким и длинным носом.

— Раздевайся, что ждешь? За тобой ухаживать, что ли, надо?

Маша вышла из-за створки шкафа, причесываясь, уже в короткой юбке, пятнистой, как шкура леопарда, белой кофте из плащевки на кнопках, туго натянувшейся на широкой, оплывшей груди, и невозможных черных колготках в крупную клетку.

Она наклонилась к туалетному столику. Пыжиков увидел в разехавшемся разрезе юбки ее округлые, наплывающие на колени ноги — он почувствовал сухость во рту и с первого раза не смог попасть вешалкой шинели на крючок, на котором уже висела черная шуба и желто-коричневая фуфайка с биркой «Метрострой».

Маша внимательно глянула на него через очки, прошла мимо, чуть задев, в коридор и громко щелкнула щеколдой.

— Ну что? Чай будем пить?

— Да, — кивнул Пыжиков. — Может, я помогу чем?

— Вот это не надо, вот это мы сами, — запротестовала Маша. — Да ты хоть китель расстегни, ва-асынный!

Пыжиков прошел в комнату, сел на кровать, быстро обернулся на окно, на туалетный столик с дешевой косметикой, на календарь с красивым мужиком на тыльной стороне шифоньера, потрогал за чем-то букетик искусственных цветов в глиняной вазочке — руки подрагивали, он пытался думать о чем-нибудь, чтобы меньше чувствовать ноющую струну напряжения, пронизывающую все тело, — ему было душно.

Маша подвинула столик к нему, выставила две чашки, одну — с отбитой ручкой, при этом она задумчиво потрогала пухлым пальцем с оранжевым лаком отбитое место и поправила затем этим же пальчиком очки на переносице, выложила на стол целлофановый пакет с сухарями — на дне пакета толстым слоем лежали ржавые крошки. Осторожно налила из блестящего электрического чайника дымящуюся воду в чашки, отправила в них по пакетике заварки, причмокнув при этом: «Оп-ля!» Пыжиков смотрел без движения за ее руками, не отрываясь. Она поглядывала на него. Стекла очков у нее чуть запотели, и поэтому Маша напряженно подрагивала веками.

— Ну, все, — решила она.

Пыжиков видел ее тело, сильно набрякшее в немилосердно тесной юбке, колени, сладко белеющие сквозь клеточки колготок, — сердце билось у него в голове. Он потерянно улыбался, дул на чай, не решаясь взять кружку в дрожащие пальцы.

Маша села рядом, сразу привалившись к Пыжикову мягким, будто горячим изнутри, большим упругим телом, а Пыжиков у же

не мог наклониться или повернуться к ней и только потирал ладони о брюки.

— Ой, а сахар забыла... И не вылезешь теперь, — порывисто засмеялась Маша, как-то мутно поглядев на Пыжикова порозовевшим лицом, — она дышала ртом.

— Ну-ка, — отстранила она его рукой и неловко перегнулась через Пыжикова к шкафчику, вдруг потеряла равновесие и оперлась локтем на живот и ниже — Пыжиков чувствовал дрожащее нитье в коленях и все свое тело будто клеткой для чего-то слепого, бешеного, бушевавшего внутри, он выдохнул с шумом воздух, обнял Машу и потянул к себе сильно и резко, но она успела осторожно поставить поллитровую баночку с сахаром на столик, где еще испускал дымок чай, боясь увидеть ее лицо, он скорее поцеловал ее теплую щеку, почувствовав губами легкий пушок, потом — краешек губ и, неловко повернувшись в кровати, стал укладывать это чужое, зовущее тело, услышав, как она с веселым стуком скинула тапки с ног. Она еще медленно сняла очки, сложила дужки, положила их на столик, стеклами вверх и, поправляя под головой поудобней подушку, обняла его за шею свободной рукой и поглядела ему в глаза, ожидающе и добро, неровно дыша и подрагивая уголками губ.

Он мял, вжимая в себя, с силой проводил ладонями по груди, задерживаясь в ложбине посреди, вздрагивал, сжимал колени, постанывая от ноющего озноба, разливающегося трепещущей волной от живота, он еще поцеловал ее в губы, неумело и робко, и вдруг задохнулся ее жарким и сильным языком, метнувшимся ему в рот, опалая неистовым, быстрым движением; он неуклюжими руками чуть ли не рвал одну за другой кнопки на кофте, и погрузил дрожащие губы в горячие груди, высоко поднятые черным кружевным бюстгальтером, он отстегнул, наконец, последнюю кнопку, провел ладонью по нависшему над тугой резинкой колготок животу с нежным, курчавым пушком, и, с натугой приподняв это грузное тело, он скользнул рукой по налитой спине, расстегнул два крючка бюстгальтера, и трепещущими ладонями выпустил на свободу огромные белые груди, тягучими плавными каплями расплзшиеся в разные стороны, он гладил большие розовые соски, припадал к ним губами — и она, подрагивая плечами, ловила его голову руками и обжигала быстрым языком, щекотно и томительно, ушные раковины, дышала ему в шею — и все внутри сжималось; и опускала откровенные жадные руки вниз, и он не мог больше, и с ужасным треском расстегнул молнию на юбке, и силой потянул ее вниз, упираясь руками в зажатые до барабанной прочности бедра.

— Погоди, дурачок, это я сама, — тихо сказала Маша.

Он сел, потом встал, тяжело дыша и глядя исподлобья, — она вытащила из-под себя кофту, повесила, аккуратно вывернув, ее на стул, под нее подсунула бюстгальтер, на котором еще была этикетка, и встала, отвернулась и принялась стягивать через голову тес-

ную юбку — юбка застряла на плечах, и Маша недовольно дергала пухлым телом и поводила здоровым, будто обрубленным внизу задом, как поднимающееся тесто, выпирающим из узенькой полоски черных плавок.

Пыжиков смотрел на белый снег за окном — зимой мир белый, и зимняя стужа касалась, благословляя его, чистыми белыми перстами, болезненно и пусто билось тупое сердце, и начинало подташнивать, и тяжелые комки путешествовали в горле, распирая грудь, белый иней опушил изящным узором черные ветки, и за окном прыгали два воробья, он стал смотреть на пол, ему казалось, что кто-то кричит внутри его, тонко и протяжно, и он все хотел погубить его, этот крик, выдыхая, выпуская из себя чужой воздух, напитанный густым запахом пудры и приторным жирным вкусом помады, — белый снег осыпался призрачным занавесом за окном — совсем как тополиный пух, когда лето, и чисто все, и сухой асфальт.

Он отступил к двери, себе не веря и не помня себя, а Маша быстро задвигала шторами белый вечерний мир и, сев на кровать, быстро стаскивала сначала с одной, потом с другой ноги колготки и за ними спустила черные, маловатые ей плавки, оставившие на теле красноватые полоски-следы, она сидела, одной рукой держась за подбородок, локтем прикрывая, сжимая воедино груди, другую опустив в сумрачную тень между ногами — он не видел ее глаз и вообще потом отвернулся, сорвал с вешалки шинель, схватил шапку и стал дергать щеколду сильнее и сильнее, чтобы выскокить, выбежать в коридор, прежде чем она успеет и сумеет что-нибудь сказать, — он не мог никак открыть эту чертову щеколду, она закрывалась хитро как-то, и дергал еще, уже поняв, что не откроет сам, и жег, подступал к нему жирный мазок жгучего позора, и он остановился — медленно стал напяливать шинель, вздыхая и шмыгая носом, крутил носом, крутил в руках шапку — с какой стороны кокарда, потом было тихо, он глядел на календарь с красивым мужиком и услышал: женщина плакала за спиной, куда-то уткнувшись, сдержанно и обычно, высморкалась, страдальчески скрипнула кроватью и, не торопясь, подошла к нему, стала рядом, пытаясь сделать ровными губы, застегивая халатик на бесформенном теле:

— Ну, хорошо, хорошо, успокойся, уйдешь, — шептала она и пыталась спокойно смеяться. — Сейчас я тебя пушу, родной. Но ты вот мне скажи — ну какого хрена ты приходил?! Ну чего тебе не хватило? Ну не такая я ведь уж... — Она не выдержала и зарыдала, не прикрывая лицо, безобразно расплываясь ртом, покачиваясь от нестерпимой обиды и стыда. — Мужики, Господи.

— Я, — сказал Пыжиков. — Ты, вот, — он сразу забыл, что хотел сказать... Он не смог ничего выговорить — разводил глупо руками и делал малопонятные гримасы стене, — голос внутри его выл, пусть тише, но по-прежнему жалобно и тонко.



Маша тронулась с места, отмотала какую-то проволоку, швырнула ее в угол, лязгнул шпингалет — он распахнула рывком дверь, сотрясаясь спиной, и крикнула:

— Иди!

И грязно выругалась вслед.

За полтора месяца до дембеля сержанту Петренко перестала писать девушка.

Петренко сидел на месте дежурного по части, прижал щекой телефонную черную трубку и слушал шуршание в проводах — шуршало разнообразно, ему был виден краешек окна, то и дело перечеркиваемый шустрой капелью. Петренко смотрел в окно неподвижными глазами. В трубке что-то пискнуло, и нарочито важный голос возмутился:

— Так... Это какое там чмо так долго провод занимает, а?!

— Закрой рот, Коровин, я это, — сухо сказал Петренко. — Как там у вас на смене?

— Все пучком, спим, — забубнил в трубке Коровин. — Баринцов тут общее поведение разбирает, ха-ха, так, в общем... А! А ты хоть слышал, как твой перщик Пыжиков в общаге отличился?! Вот ведь!..

— Отбой! Дежурный идет, — шепотом сказал вдруг Петренко и опять стал смотреть в тишине на окно, ожидая, когда ж «Рокада» даст ему «Орион».

Время от времени он приглаживал волосы и откашливался.

Перед тумбочкой дневального строился караул — свежееиспеченный младший сержант Кожан, только что оторванный от телевизора, бегло осматривал экипировку личного состава, сокрушительно зевая.

— Кожа-ан, — негромко позвал его Петренко.

Кожан даже ухом не повел, оправляя подсумок, хотя, конечно, услышал.

— Младший сержант Кожан! — пролаял с ненавистью к своему голосу Петренко.

— А? Что, Игорь? — как ни в чем не бывало, недоуменно обернулся Кожан.

— Иди сюда.

Кожан подошел, прикрыв за собой дверь, чтобы личный состав не возмнил себе Бог весть что, узрев все варианты возможного общения ветерана со шнурком.

— Я вот что думаю, Кожан, — тихо сказал ему Петренко, не выпуская телефона и жалея, что окна больше не видно. — Вот как был ты гнилым по салабонству — так гнилым и остался. А? Чего так сразу ревность потерял? А?

— Да ты чё, Игорь? — грустно оскорбился понурившийся Кожан.

— Да вот так, — объяснил Петренко, тоскливо глядя на Кожана, испытывая себя: хочется ударить или нет.

— Кто у тебя в карауле из салабонов? — наконец спросил он, так ничего и не решив насчет в морду.

— Пыжиков.

— Пыжиков не пойдет. Курицына возьми.

Кожан начал было говорить, что как посмотрят на такую вот замену ротный, дедушки и ветераны, но у Петренко шевельнулось бешеное в глазах, и несчастный двухцветный карандаш дежурного по части невинно хрустнул в его пальцах, вывалив на стол сизый грифель, и тогда Кожан стал объяснять, что он-то, Кожан, имел в виду совсем другое, а замена эта, в общем-то, плевое дело, что там мудрить, меняя салабона на салабона, — он прям сейчас ее произведет запросто и без промедления, сей момент.

И тут «Рокада» дала Петренко «Орион»: в ожидавшей трубке тонко запищал далекий, как с Марса, приятный девичий голосок:

— Девушка, — ласково попросил в трубку Петренко, — дайте, пожалуйста, мне «Алмаз».

— Я не даю. Я соединяю, — обиделась слегка девушка, но через мгновение в трубке пробурчал отчасти сонный голос:

— Млад... шант... ицын, слушш вас...

— Друган, набери мне, пожалуйста, город, — неуверенно попросил Петренко — лоб его страдальчески наморщился.

— Номер какой в городе-то? — хмыкнул через зевок далекий друган. — А?

— Номер — два двадцать шесть восемнадцать, но ты погоди вообще-то, друган, — Петренко тер ладонью вспотевший лоб. — Ну, как там у вас с погодой? Тает?

— Весна, травка, — осторожно обозначал погодные условия друган через полторы тысячи километров. — Щепка на щепку — и то лезет. Бабе, что ль, звонишь? Не из медучилища она? Нет?

— Весна вовсю, значит, — повторил за ним Петренко. Ему вдруг стало скучно-скучно, до смерти.

За окном крыши роняли вялую каплею вперемешку с талым снегом, пахло сапожной ваксой — дневальный салабон Шаповаленко драил линолеум огромной щеткой, в простонародье именуемой «машкой».

— Все тает, — философствовал далекий друган. — Даю номер.

И оглушающий, неожиданный гудок впился в уши.

— Не надо, не надо, друган! — крикнул Петренко сквозь рвущий душу гудок, запнулся о сердечный стук снимаемой трубки и что есть силы тянул телефон от себя, но все-таки услышал первые ростки ненавистного, известного до дыхания голоса и бухнул, наконец-то, трубку на аппарат, как горячую, промывчал что-то, поерзывая на стуле, и поглядел на дневального бессонным, воспаленным взором:

— Шаповаленко?

— Я! — отозвался тщедушный салабон.

— Пыжиков сдал автомат?

— Так точно.

— Угу.

Телефон дзинькнул.

— Сержант Петренко, — представился Петренко. — Слушаю вас.

— Разговаривать с «Алмазом» будете? — поинтересовалась девушка «Орион».

Петренко вдруг до боли захотелось что-то сказать этой девушке, стать для нее видимым и близким, увидеть ее, но он только отрезал:

— Нет, девушка, поговорили, — он бросил трубку и сказал в сторону: — И все.

Петренко шагал по коридору в туалет курить и бухнул из любопытства в дверь канцелярии — из-под нее бил свет. Писарь Вася Смагин вопросительно поднял голову от толстой тетради, приостановив руки с шариковой ручкой.

Оставался час до ужина — кроме Васи в канцелярии никого не было.

Петренко усмехнулся и уперся рукой в стену.

— Все пишешь? Как ты уже надоел... Когда ж ты дембельнешься, малый?

Лицо у Васи было отстраненное, будто чужое. У него даже был расстегнут воротничок — как у деда. С расстояния, от двери, казалось, будто он и подшит стоечкой. Петренко даже зажмурился — Господи, какая ерунда...

Вася ответил:

— Когда напишу.

— Так ты торопись, так твою мать... Не век же этой зиме, ну ведь должна же она кончиться, так ее мать, — вот уйду я, про кого ты будешь писать?

Вася уверенно улыбнулся:

— Ты не уйдешь, пока я не напишу. Ты вообще не человек, а место. У тебя даже нет фамилии — на этом месте всегда кто-нибудь есть — зачем мне торопиться?

— Я не место. Я человек, — раздельно проговорил Петренко, вздрогнув от неотступного, изнуряющего воспоминания. — Вот паскуда... А ты чего здесь сидишь? Туалет, что ли, чистый? Или репа толстой стала?..

Он сказал это и вдруг обмер — ему вдруг показалось, что салобон — это он, Петренко, и сейчас Смагин его убьет за такие слова, и не слезть ему с параша никогда в жизни...

Смагин медленно закрыл свою тетрадь, засунул ее в сейф, звякнул ключом, затянул потуже ремень и пошел к выходу из канцелярии.

Петренко вышел за ним, от него шарахнулся в сторону согбенный Козлов, Петренко вздохнул успокоенно — все на месте — и неожиданно сказал Смагину в спину:

— Не надо. Иди пиши лучше... Кто припадет — скажешь, Петренко сказал писать. Двух недель тебе хватит?

Смагин вежливо ответил:

— Не волнуйся, Игорь, я лучше помою.

И, захватив ведро из коридора, шагнул в туалет.

Совсем вечером Петренко опять покурил в туалете, внимательно рассматривая автопарк, потом набросил на плечи шинель и пошел к выходу.

— Коробчик, Хоттабыч, так твою мать, — бросил он на ходу. — Машину опять не закрываешь, чмо?

— А иди ты... — прошептал ему Коробчик в спину.

Петренко улыбнулся и этого не услышал.

Он коротко кивнул дневальному по автопарку Попову, нежно общавшемуся с двумя потрепанными шмарами у проходной. Одна из них — Лилька — громко окликнула Петренко:

— Игорь!

Но Петренко даже не обернулся и быстро заворотил за крайний грузовик.

В «зилке» Коробчика плакал Пыжиков, опустив голову на руль.

Петренко резко открыл дверцу, выволок Пыжикова за руку наружу, состроил свою обычную неприятную гримасу, понюхав воздух:

— Порт-вейн, значит...

Он с наслаждением вмазал Пыжикову сокрушительную пощечину так, что того бросило на снег, — брызги ударили в рассыпную, Пыжиков испуганно заерзал, поднялся, держась за бампер.

— Сынок, — заговорил Петренко, усиленно сглатывая что-то горлом и вздыхая после каждого слова. — Мне вот до дембеля осталось полтора месяца, да? Ты понял? И я хочу спать совершенно спокойно, с автоматом ли ты в эту ночь или нет. Я хочу спать, потому что с какой стати меня должно колыхать, с кем там спит твоя соска и что она тебе обещала на прощанье, — он оглянулся, шепча что-то беззвучное по сторонам. — Что бы ни обещала... Меня это не колышет.

Пыжиков плакал, бросив голову в руки, сложенные на капоте.

— И тебя это не должно колыхать, — бодро закончил Петренко. — Все ...! Кроме пчел.

Помолчали.

А если подумать, то и пчелы тоже такая ...! — и Петренко засмеялся, довольный своею шуткой, любуясь на серебряное облако, выдыхаемое, тающее в тяжелой теплой ночи.

— Все у тебя будет, — пообещал он. — Любовь — это все по-другому. Вот понравится тебе человек — и ты ему понравишься. И оба сразу поймете, что вместе жить лучше, и все прежнее будет чепухой. Все, что было... Понял, сынок? — похлопал он не шевелящегося Пыжикова по плечу и заморгал — теплый предвесенний ветер щипал глаза.

— Переспшишь в автопарке. И не дай Бог, попадешься утром дежурному — будешь тогда приходить с параша только на завтрак, обед и ужин. Все.

Он пошел из автопарка, и кругом была ночь, и неотвратно сладко пахло весной, тревожный, будоражащий ветер гладил его слезящиеся глаза, и вокруг вся огромная жизнь истомленно вздыхала с каждой глыбой подтаявшего снега, который роняли черные крыши, отороченные острыми обоймами сосулук, похожих на перевернутые готические соборы, кружила его и тянула в безысходную, томительную воронку и опять возвращала наверх — не отпуская ни на шаг, ни на вздох, оставаясь всегда с ним.

Петренко быстро разделся, улегся в кровать и грозно сказал дневальному:

— Шаповаленко, меня завтра поднять за пятнадцать минут до общего подъема.

— Ага, — подтвердил получение информации уже чуть-чуть ослотивший от усталости Шаповаленко.

Петренко поворочался и сел в кровати.

— Я сказал — не разбудить, а поднять!

— Так точно! — ободрился дневальный.

Теперь Петренко окончательно лег, подумал-подумал, тихо сказал под нос: «Пас-скуда» — и уткнулся лицом в подушку.

## ГЕНЕРАЛ

### *Натурная съемка*

...Дивное звание, которое на Руси совсем не то же самое, что звание генерала, к примеру, ну... ну там, где «не у нас»... Только у нас расстояние между подполковником и полковником и расстояние «полковник — генерал» так же сопоставимы, как расстояние между вашими ноздрями и Марс — Земля. Коли ты генерал — ты можешь всех называть «ты», ты меняешь враз походку и больше никто и никогда не увидит тебя трусящим по коридору. Ты не стоишь в очередях, не едешь в автобусе. Ты если пошутить — то все старательно смеются. Ты если заглянешь в чей-то кабинет, то везде — немая сцена... О тебе составляют легенды и анекдоты. Ты получаешь блаженное право иметь странности и разговаривать коровьими междометиями и жестами эпилептика, вызывая последующие мучительные раздумья подчиненных — о чем это было? На твое рабочее время равняется весь подчиненный личный состав, и всякий норовит поздним вечером пересечься с тобой в коридоре и обязательно с изможденным и честным лицом, дабы запомниться тебе простым и честным офицером.

Ты любишь быть прост с солдатами, остановив, приведя в совершеннейший ужас случайного встречного воина, ты, убрав глаза в морщины, можешь вдруг поинтересоваться: «Ну как, э... служба?»

И воин, выпучив ясные очи, будет орать на полгарнизона лающие фразы, кончающиеся припевом: «Та-а-а-рыщ генера-а...», а подчиненные тебе офицеры будут трогательно улыбаться за твоей спиной: отец, отец.

Ты имеешь рыжего бездельника-адъютанта, которого все боятся, а он — только тебя. Адъютант, твоя маленькая копия, ругается точно как ты, хмурит брови, и, когда говорит: «Я доложу», — становится очень тихо. Все перенимают твои ругательства: от начальника штаба до последнего воина...

Но самое блаженное твое право — это, расправив плечи, запрокинуть голову, превратив с наслаждением глаза в сверла, мучая презрением рот, орать. Наораться до звона, до белых окружающих лиц, враз отсекая себя — себя! — от вас, прочих. Вы здесь — кой-чем груши околачиваете, а он там! Огрывает за вас! Торчит, как слива в шоколаде, при ответе! Кричать, задыхаясь криком и брызгая слюной, олицетворяя собой ее величество судьбу, будто стирая всех из памяти, навечно и бесповоротно — вот так орать и орать!

Как хорошо быть генералом — все тебе обязаны улыбаться: подчиненные, жена, официантка, адъютант, встречные-поперечные, а ты — как хочешь. Ты имеешь право на настроение и на недоумение, и ты — это ТЫ! И пусть ты не Бог — но ты его золотой, неоспоримый, удивительный отблеск на этой земле!

## КАРАУЛ. ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

### *Легенда*

— Ну, так вот, сынки, — закончил старшина речь про воинский долг. — А кто будет хреново служить — тот всю службу будет ловить магазин Улитина... Ну а теперь, дембеля, прощайтесь...

Я провожал на дембель сержанта Попова. Он попросил у меня за проходной сигаретку и подарил почти новый значок «2 класс».

— Товарищ сержант, — спросил я. — Что такое «магазин Улитина»?

Попов подумал.

— Это тайна, Смагин. Я последний, кто знает о ней правду. Вот уйду — и никто ее знать не будет, как ее и нет. Пустяки вообще-то. Но если всплывет — хрен его знает, как все обернется для некоторых людей. А этого не надо. Пусть люди живут, верно?

Пусть люди живут.

Злость началась тычком в бок и желтым осточертевшим светом, заколовшим веки. Попов гладил ладонью бок, в который его толкали, бормотал разнообразные матерные слова. Тут сдернули с лица одеяло — ну что, Господи, что?

— Вставайте, Попов, — вежливо канючил старший лейтенант Шустряков. — В караул надо идти.

Попов зажмурился, чтобы подумать: какой караул? Который час? Если электрический свет — значит, еще не утро, если голоса — значит, еще не пора на ужин, значит, еще спать да спать — он тянул одеяло к лицу, не пуская в себя свет, клонился на бок, проваливаясь этим боком, а потом уже и головой в паутинное марево сна.

Желтые пятна перед глазами чуть поплавали, как комки жира на раскаленной сковородке, и сложились в ряд блестящих автоматов в стойке, а потом — в шеренгу бутылок, а затем в голых баб, — Попов перевернулся на живот.

— Сержант Попов, — затянула крайняя баба.

— Сейчас трахну, — пригрозил Попов, — вот прямо сейчас.

Все затряслось, голова Попова закаталась по подушке — мрак прорезали косматые, как кометы Галлея, сияния плафонов на потолке, и тонкогубый старлей Шустряков, бросив сотрясать кровать, присел орать Попову прямо в ухо:

— Надо! Срочно! Сменить! Начальника караула! У сержанта Кожана приступ! Больше некому! Все на смене! У Кожана приступ.

— Рожает он там, что ли? — добродушно спросил Попов у занесенной снегом оконной рамы и швырнул с себя одеяло.

За окном было минус тридцать.

— Шуки! — простонал Попов.

Впереди была ночь.

Он пробухал по холодной, промерзшей казарме, не поднимая узкобойной головы, отвесил жестокий пинок попавшемуся под ноги ведру дневального.

Шустряков на цыпочках выглянул сержанту вслед из дежурки и спрятался обратно, чтобы объяснить в телефон:

— Коробчик, ты? Заводи, подъезжай. Встал Попов. Давай живо!

В туалете было еще холодней.

Попов вздрогнул от озноба, брезгливо потрогал толстоватыми пальцами ледяную струйку из-под крана и ткнул этими же пальцами в уголки глаз.

Вместо положенного после караула отдыха, ужина, телевизора, покоя теперь студеная ночь, черные деревья, скользкие тропинки, вонючая караульная, дубиноголовые проверяющие.

Попов чуял сосущую, беспредметную, душную ненависть ко всему.

Он вскинул голову и плюнул в зеркало.

— Паскуда!

Караулка была одноэтажным кирпичным домиком, обогреваемым сложным самодельным устройством, действующим от розетки; окна залепили витиеватые узоры. Отдыхающая смена спала, скор-

чившись разнообразно, натянув шапки на лица, дыша вразнобой, с тонкими свистами, храпками и иными звуками — лиц не было видно: ноги, шинели — как шершавые валуны в сапогах. В караулке на расстеленной шинели стонал сержант Кожан с потным лбом — у него в ногах курил разводящий, хохол Журба.

— Что? Умираешь? — хмыкнул Попов, пнув ногой сапог Кожана. — Хотя пирожки на поминках пожрем.

— Ты чё злой такой, Попов? Дерьма, что ли, в детстве много ел? — враз прекратил стонать Кожан и пробормотал фельдшеру Сергею Клыгину, приехавшему с Поповым: — Да не надо носилок, я и сам дойду.

— Какие люди... — вяло улыбнулся Журба Попову.

— Видишь, хохол, тут всякие проституты шлангом прикинулись, а честным ветеранам приходится горбатиться за них. Конечно! В санчасти попу греть — это тебе не в карауле зад морозить!

— Что-о?! — застрял в дверях Кожан. — Дешевка!

— Стукач.

— Чтoб тебя Улитин пристрелил!

— Затыхай — нанюхались! Чмо поганое!

Попов бешено пошевелил ноздрями вслед хлопнувшей двери и, грохнув автомат в стойку, сел к столу.

— Что, хохол... Улитин, что ли, у вас в карауле?

— Ага. Первый раз.

— Тот, что старшину чуть не грохнул на стрельбах, когда тот пошел мишени глядеть?

— Да.

— Ну вот, — стукнул кулаком об стол Попов. — И салабона мне самого гнилого подсунули.

Он вздохнул и болезненно скривился.

— Тошно-то как, хохол... Вот так подкатит порой, вот прямо убил бы.

— Ты что? Скоро дембель, — улыбнулся хохол. — Ух, и самогону я напьюсь.

Попов внимательно слушал хохла и, не отрывая глаз, взял звякнувший телефон.

— Ну что там у вас, Попов, — проквокал Шустряков.

— Заступил, та-а-рыш старши... лейтена... Иду на посты. — Попов швырнул трубку, не слушая ответа. — Вот тоже мне, чмо!

— Кто сказал на дядьку «падла»?

С крыльца они шагнули прямо в ночь.

Хохол приговаривал под шаг:

— Солнце светит прямо в глаз — ничего себе жара! Нам не жарко ни хрена! Эх, хвост, чешуя — и не видно... ничего!

Попов не успел согреться в караулке и яростно двигал руками.

Снег скрипел так, будто грыз кто-то капустный лист посреди черного леса и наливающегося густой синевой мрака над головой.



Журба охал, приговаривал что-то, кричал невидимым часовым:  
— Ты жив там еще?!

Попов вообще молчал, сжимаясь от холода и омерзения, казался сам себе заспиртованной противной лягушкой в банке — щеки становились пластмассовыми, губы сохли, как осенние листья, становясь невесомыми и хульми.

Пятый, последний, караульный стоял у самой реки под косогором, его серая фигура пошатывалась у деревянного грибка, хлопая рукавицей по боку.

В обжигающем литом воздухе петлял-выныривал почти звериный скулеж.

— Собака, что ли? — удивился Журба, спрятав улыбку.

Попов отодвинул его и пошел дальше, не таясь.

Пятый часовой был Улитин.

Он стоял спиной, уши на шапке были опущены — он не мог слышать шаги. Он плакал, дорвавшись до редкого одиночества, он плакал, не стесняясь своего здорового роста, он, наконец-то, был совсем один и мог теперь быть собой, хоть немного вылезти в сторону из кромешной тоски своей салабонской жизни, в которой его били, кто во что горазд, за высокий рост и непроходимую глупость. Он плакал еще оттого, что боялся ночи, холода, жегшего мокрые щеки, караулки, проверяющего, всех людей, и откуда ему было знать, что у сержанта Кожана приступ и что он лежал на полу с мокрым лбом, а самый грозный дедушка роты Попов идет принимать посты, и вот уже здесь.

— Здоров, Улитин! — рывкнул Попов.

Улитин вздрогнул, чуть не поскользнувшись, и жалко вытаращил свои круглые мокрые глаза.

— Ваши действия по пожару? — Попов уже доставал из кармана правую руку и грел, сжимая-разжимая ладонь. Журба изучал небосклон — нет, не будет луны, какая, к черту, луна, если и звезды-то ни одной не видно. Он печально сказал по этому поводу:

— Небо хмарами застило — мабуть, будет дождь. Теща пивня зарубила — мабуть, будет борщ.

— Действия по пожару! — будто вытягивая себя дугой, повторял Попов, с наслаждением смыкая зубы в сладостном предчувствии.

Улитин судорожно оглядывал реку, разлегшуюся за спиной огромным блюдом жирного холодца, сливающийся с мутным небом горбатый косогор с лохмами черной от зимних невзгод полыни.

Губы его запрыгали:

— Т-тушить.

Удар получился на удивление сильный — хотя Попов даже не снял рукавицы, да и Улитин был в шапке, но голова его с гулким стуком приложилась к столбу, и Улитин рухнул в снег, заученно не выпуская из рук автомата, закрыв лицо рукой, притянул колени к животу, стараясь хоть немного отодвинуться в сторону от чужих, страшных ног.

Он опять заплакал, как завыл, без слов.

— Падаль, — со страшной тоской сказал Попов. — Ты — падаль.

И пошел по тропинке, быстрее, еще, почти побежал, у него заслезились глаза, и щеку прочертили две тонкие, горькие полоски, его нутро будто душило вязкое, смрадное, постоянно растущее зло. Он сошел с тропинки, тяжело вспахивая снег, добрался до березы и обнял ее, что есть сил, уронив шапку на снег, жал щеку к морщинистой доброй коре, ища тепла, которое дерево будто таило в себе, пытаясь услышать тишину и покой внутреннего роста, движения, вылезти из шинели, из себя, из времени, из этой быстро надвигающейся ночи.

Снег поблескивал серебряным крошевом, и береза стремилась ветвями во мрак, как корнями — в землю.

— Пойдем, Юра, — сказал Журба из-за спины. — У меня там тушенка есть.

Когда они дошли до караулки, Попов пожевал что-то, хлебнул чая и сразу повалился спать, растолкав народ, в самую тесноту, туда, где теплее.

Он встал только по нужде, когда небо стало уже пепельным, а окоченевшие деревья плеснули на мягкий снег первые размытые тени.

Когда он вернулся, заспанный, небритый Козлов протянул ему телефонную трубку.

— Да, таа-рыщ старший лейтенант, — пробубнил Попов, застегивая ширинку. — Все нормально, — обернулся к нарам. — Журба повел смену.

Смена уже заваливала в караулку. Солдаты молча с кряхтеньем сдергивали с себя автоматы и подсумки, расхаживали немеющие ноги, развязывали друг у друга тугие узелки шапочных завязок под подбородком.

— Не май месяц, ага? — улыбнулся Попов народу. — Где хохол?

И вышел постоять на крыльцо.

Хохла не видно, солнца не было, натужно каркала простуженная ворона. Попов уже улыбался — вот и караулку конец, вот и все, там и весна, там и дом — он был спокоен, наконец, он один и не видит людей. Сгорбленный от холода Журба бодро трусил по тропинке и последние метры проскользил с разбега с шальным посвистом, как по ледянке, и со смехом уткнулся в раскинутые руки сержанта, опалив стужей лицо Попову, хранящее последние остатки сонного тепла, и губы хохла прошептали страшное:

— Улитин ушел с поста.

Попов еще хлопнул хохла по плечу, еще рот его ломали то улыбка, то гримаса, и только потом уронил руки и обреченно шагнул на крыльцо:

— С автоматом?

Журба кивнул.

— Мужики, за старшего Козлов, мы с Журбой проверяем посты, — крикнул он смене, выхватил из стойки автомат и подсумок.

— Позвонил? — спросил ждавший Журба.

— Может, он в прорубь свалился?

— Какую, на хрен, прорубь — следы видны... Меня как дернуло вернуться посмотреть. Глянул — пусто.

Они вылетели на речной берег, и Попов в мучительном бессилии по-волчьи щелкнул зубами:

— Хоть бы автомат, паскуда, оставил, а? — он сгреб плечи хохла и почти выстонал: — Ну что, хохол? Что ты заглох?! Куда он пошел? Ну?

— К дороге, — просто ответил Журба. — А куда ему еще отсюда идти? Звони в роту. Подымут взвод, комендатуру, оцепят. У него в подсумке два магазина и один в автомате.

— Да-а?! — Попов с размаху швырнул хохла в снег. — Самый умный, да? Ты думаешь, я один в дисбат пойду? Потому, что я последний его замочил, да? Но вы же его всем взводом гасили! Я вас всех за собой поташу! И ты пойдешь, понял? — Попова трясло. Он кричал прямо в застывшие глаза хохла, не давая ему приподняться, с каждым словом вдавливая его в снег. — Ну!

— Следы есть, он дохлый... До смены два часа, может догоним? — с натугой выдавил хохол. — Да пусти ты меня, скотина!

Они бежали вдоль опушки густого елового леса, по самой ее кромке, среди серебристых от изморози стволов. Они бежали, стараясь не выпускать из виду лохматого следа, петляющего впереди, вдоль этой бесконечной опушки с синими подпалинами теней. Бежали друг за другом, отводя руками жесткие елочные космы и путаясь в снежных фонтанчиках кустов, прокладывая свой издерганный, ломанный след меж аккуратных крапинок птичьих лапок и пушистых лосиных троп. Внутри, как нагоняющий время поезд на дальнем перегоне, тяжело и весомо грохотало сердце, и тугие горячие волны крови бешено гуляли по всему телу.

Опушка кончилась жиденькой посадкой, а дальше — поле, по дальней кромке которого плыли дрожащие редкие огоньки — до рога.

Попов покрутил головой — вот вроде след, вот он идет, а где же?..

Он услышал сухой, отрывистый треск, будто рванули в ушах податливую ткань, — метнулось сухое эхо в лесу. Он все еще искал, где же эта фигура в серой шинели, и, случайно оглянувшись, вздрогнул — у Журбы дико перекосилось лицо, он оседал на снег, утыкался в него лицом и оттуда, снизу, от самых ног, хрипел незнакомым, сдавленным голосом:

— Ло-жись.

Попов изумленно присел, оглядываясь по сторонам, — Господи, как все нелепо, зачем? Посреди поля?

И еще раз этот звук — треск гнилых нитей, короткий, как заикающийся поездной перестук.

— Стреляет, паскуда, — бессильно прошептал хохол.

Попов резко бросился в снег, вжался в его холодное, противное месиво, задохнувшись собственным дыханием и ужасом.

Стало тихо совсем, но он будто слышал неумолимый скрип подходящих шагов и видел, будто со стороны, свое тело: огромное, растущее, как тесто в кадке, мягкое, беззащитное, неуклюжее тело, такое невыразимо притягательное для короткого, с хрустом, удара штык-ножа. Он, его жизнь, его единственное время, кончится сейчас, вот здесь, в двадцать лет, и потому уже ничего после, и мать его...

Попов не мог даже приподнять головы, даже шевельнуться, придавленный тяжестью никчемного автомата, — будто его звала земля.

— Все, — слабо шевельнул мертвенно-бледными губами хохол. — Все, Юра, патроны ушли. Теперь — все.

И Журба слепил веки с белесыми ресницами.

Попов с каким-то испугом смотрел на это безжизненное лицо сквозь жестокую паутину снежных метаний. Он медленно пошевелил головой и боязливо, до обжигающей боли предчувствуя, как войдет в его лоб пуля, плеснув кровью на белый снег, еле-еле, но все-таки приподнял чугунную голову и прошипел горлом:

— Где?

Хохол шевельнулся рядом:

— Вон там. Хотя хрен его знает...

Посреди поля торчал раскорякой столб с наметенным у подножия сугробом — сугроб был чуть растрепан.

— Ну так, — Попов не знал, что сказать. — Надо... Знать надо, там или нет. Чтобы точно.

Хохол мучительно вздохнул, зарылся поглубже в снег, притянул к себе Попова и медленно, протягивая слова, будто выплевывая что-то омерзительное и вонючее изо рта, отчеканил:

— Попов, все! Патроны ушли! Пат-ро-ны! Этого уже не скроешь. Ну, очнись, Юрка, ты чувствуешь? Ну, что тут теперь поделаешь... Надо в роту скорей — у него два магазина в подсумке. Пойдем, Юрка... ну? Э-эх.

— Хохол, — жалобно сказал Попов, и слова кончились, у него заплясали губы, и он заплакал, беззвучно, как старик, сжимая ладонью лоб. — Хохол... Ты хочешь в дисбат? Я не могу! Я не могу это... Ведь я... Почему я?! Я ведь даже не из вашего взвода, я его вижу-то во второй раз! Хохол!!!

Журба с каким-то гадливым недоумением смотрел ему прямо в мокрое лицо.

Попов погребал слезы негнущимися пальцами и не глядя на него, сказал:

— Махни шапкой — я гляну по вспышке, там или нет?

Хохол, не меняя лица, резко мотнул шапкой над головой. Грохнул выстрел.

Попов с животным, мучительным страхом вжался в снег, опять заплакал от стыда.

— Оттуда, — спокойно сказал Журба. — Я видал.

Попов вспомнил, как хоронили зимой деда — у деда над могилкой красная звезда, а вот что будет у него, если...

Он решительно притопил шапку на уши и приподнялся на локтях: на дороге машин почти не было, небо прогибалось над головой, как пыльный лед с редкими голубоватыми прожилками. В невидимой за лесом деревне протяжно мычала корова и тархтел одинокий трактор — зима тихо роняла редкий, кружащийся снег.

— Хохол, я поползу к нему вдоль столбов. А ты покричи ему. Понял? И ему спокойней будет. И ты будешь видеть... Хохол!

— А? — повернул напрягшееся лицо Журба.

— Если он меня увидит... Если он будет стрелять — ты прикрой... Ты тоже стреляй, хохол.

— На! — Журба швырнул свой автомат Попову в лицо. — Стреляй!

— Хохол, он хреново стреляет, но вблизи может попасть.

— Не хочешь — не ползи.

— Хохол, если что — все пойдете со мной в дисбат.

— Слепой сказал: побачим.

Попов сплюнул, глянул вперед и решил:

— Хрен с тобой. Кричать будешь?

— Буду, — кивнул Журба, изучая лес за спиной.

Попов, не торопясь расстегнув, снял шинель, придерживая в груди накопленное тепло, затянул ремень, намотал на руку ремень автомата, покачал на руке и отложил в сторону подсумок и как-то странно потрогал пальцами нарисованную хлоркой метку на шинели... И пополз в сторону, быстро заизвивавшись, вихляя задом, и рыком выплевывая снег.

Журба смотрел ему вслед и думал: никто с этого поля не вернется. Ему стало душно.

Столбы торчали дугой от леса, и крайний был недалеко, вдоль столбов недели две назад, наверное, проехала какая-то машина или колесный трактор, и колея, хоть и полузаметенная, но осталась — сугробы здесь были покруче, Попов прятался за них.

Столб, под которым сидел Улитин, был пятым или шестым, и пока можно было ползти, не таясь.

— Мишка!!! Мишка-а-а! — заорал невидимый хохол с бесшабашным удовольствием. — Ты что же делаешь, дурак? Пай-дем обратно!

Раскатистая очередь грызнула тишину.

— Ого-го?! — удивился хохол. — А неужто убил бы? Мне ж домой весной! До хаты! А ведь, если разобратся, — и тебе до дембеля чуть осталось, верно? Ты прикинь!

Попов полз строго по колее, боясь себя выдать, боясь внезапно поднять голову и увидеть направленный на себя автомат; он замер у последнего столба — дальше ползти не было сил.

Он лежал как половая тряпка, полная горячей воды, — безвольно и тяжело, от него валил пар.

— Я тебе братом буду! Никто пальцем не тронет! — резвился хохол.

Еще один выстрел стегнул белую щеку поля.

Насколько все глупо и никчемно показалось — то что было и будет, кому это надо, кому есть дело до него, Попова, кому он вообще нужен, кроме матери и отца, — он и себе-то не нужен среди этой белой скуки, этого чистого поля; он считал свое дыхание: раз, два, три — я замерзну здесь — четыре, пять, шесть, семь — хоть автомат бы оставил, скотина, ну, на кой хрен ему автомат? Восемь, девять — куда он дернется без документов? Чего ему надо? Десять, одиннадцать, двенадцать — что здесь было под снегом — пшеница? Трава? Коровы здесь будут пастись — ваш сын погиб при исполнении служебных обязанностей или даже — пал при выполнении воинского долга — тринадцать, четырнадцать, пятнадцать...

Хохол затянул:

Черный ворон, черный ворон,  
Что ты вьешься надо мной?  
Ты добычи не дождешься,  
Я — боец еще живой.

И Попов словно схватил себя за плечи и потянул вперед, уже внутренне сдавшись, умерев, уже обреченно полез дальше, дальше...

И тут бешеной круговертью ошметинился крошевом снег, опалив лицо смертельным порывом автоматной очереди, и он задохнулся животным визгом: «Аа-ааа-аа-а!», обмякнув всем телом и чувствуя, как потекла в штанах горячая моча, заставляя поджать ноги, и он, дрожа, крутанулся по снегу туда, ближе к столбу, к самому его основанию, открывая свою необъятно великую спину, что есть силы вжимая лопатки; в бетонную подпорку столба над головой сыто цокнули две пули, а он трясущейся рукой сдернул предохранитель и, не глядя, протянул вперед автомат, ища бесчувственными пальцами прохладный клюв крючка.

— Ты-иии-и... Ты ш-што ше?... — он, как во сне, задыхался криком и не мог выжать его из себя. — Т-ты что?! Зачем? Скотина! Жизнь... Жизнь прекрасна! Все у тебя будет! Все будет еще! Надо жить, паскуда, жизнь прекрасна — надо жить! Ну... не стреляй, чмо поганое! Ну иди ты, куда хочешь! Иди на хрен отсюда! Но не стреляй ты меня, слышишь?! Жизнь прекрасна — будем жить! — он кричал, он хрипел эти слова, подтягивая к подбородку колени — мокрые штаны жгли ноги, сердце обрывалось внутри, он все ждал шагов, шагов того, кто придет его добивать, он ждал

своего, паршивого, неминуемого выбора, когда надо будет или убить этого человека, или... нет, никакого выбора! Только так, просто так!

— Жизнь прекрасна! — молил он.

Просто надо заставить себя оглянуться, потом быстро вскинуть автомат, поймать ствол, даже не целясь, на весу, одной рукой, поймать широкую грудь или глупые карие глаза, нет, надежнее — грудь, и всего-то один раз нажать легонечко курок, и — больше туда не смотреть.

— Жизнь прекрасна!!!

Вороны заплотомно кружились над белым полем, как расстрелянное в клочья знамя.

Бухнул короткий выстрел.

Потом — еще и — легкий шлепок, как звенящим топором по дереву.

Попов нехотя, как последнюю медовую каплю из банки, выжал голову из-за бетонного столбика.

На столбе, под которым сидел Улитин, белело место, отбитое пулей.

Это стрелял хохол.

Журба стрелял одиночными, размеренно, как автомат, — раз в минуту. Он целился в столб.

Это был шанс уйти.

Попов погрел пальцы в рукавицах, посчитал ворон, тронул алую каплю комсомольского значка на груди и, шмыгнув отчаянно носом, перекатился метра на три вправо, потом — еще раз, в конце каждого движения выбрасывая вперед автоматный ствол и прижимаемая щекой гладкий приклад.

Он заходил за спину Улитину. Главное было, чтобы это понял Журба и не взял прицел ниже.

Перекатившись еще раз, Попов решил, что все, пора, приподнялся на коленях и, переступая, качая автомат на вытянутых вперед руках, пополз к столбу, пригибаясь к снегу, не моргая, выпучив что есть сил глаза, не отрывая их ни на миг от цели, он полз к этому столбу-раскоряке, к нему, скорее, с последней, бесповоротной решимостью.

Журба выстрелил опять — в столб не попал. Попову почудилось, что пуля свистнула где-то рядом, он упал на снег и пополз, уже не поднимая головы.

И вдруг его руки чуть не выронили автомат в пустоту. Попов судорожно приподнялся на локтях — мир был немой и тесный, как ворот кителя, не было слышно даже дыхания — перед ним была небольшая яма, которую строители оставили, наверное, еще с лета. Дно ямы было рябым от стреляных гильз. На переднем крае, прямо на обрывчике, лежал на боку автомат. Сложенные из снежных твердых глыбок, громоздились два упора для стрельбы на два направления. Около каждого в снег воткнуто по два магазина.

На дне ямы ничком распластался рядовой Михаил Улитин.

Попов, подобрав под себя ноги, с шумом выдохнул воздух задрожавшими губами, потом встал — автомат скользнул из рук.

К нему, опустив голову, через поле пошагал Журба, волоча за собой его шинель и держа неловко в руке, как горячий, автомат, солнце бросило скупой луч сквозь редкую промоину, и вслед за Журбой пробрела понурая тень — прямо по его следам.

Попов глянул на свои мокрые штаны:

— Вот дела-а...

Вся рота теперь оборжется... Старшина не забудет до дембеля. На всю оставшуюся жизнь.

Ему стало холодно так, что застучали зубы.

Он ждал хохла, по-детски веря, что придет он, и все, может быть, изменится, хотя ничего уже не изменишь. И скучно теперь думать о том, что не может быть, а будет уже точно.

И тут он заметил, что Улитин шевелится.

Попов тупо смотрел, как дрогнули его локти и рука, красная, застуженная, стала шарить слева от тела — искать рукавицу, как обернулось меловое, искривленное мукой лицо и глаза начали видеть, узнавать, понимать...

— Ага, — сказал Попов. — А я думал... Ну вот и хорошо.

Недвижный, как снежная баба, он видел, как медленно привстает Улитин, пятится назад, осторожно, украдкой, как ищут костлявые пальцы приклад автомата в снегу и находят, как улыбаются при этом побелевшие губы, как коротко блестит автоматный ствол перебрасываемого с руки на руку автомата и беспощадный зрачок ствола манит вселенским, готовым ко взрыву мраком.

— А... какой сегодня день? — глупо спросил Попов, запрокинув что есть силы голову и взметнув ладони к груди.

Журба с дикой проворностью прыгнул Улитину на спину, двинул локтем по лицу, ударил ногой, рыча, оторвал с натугой пальцы, цепко державшие автомат, еще раз ударил ногой, потом прикладом, выдернул из брюк поясной ремень, живо обмотал им уже безвольные руки, тыкая обмякшего Улитина лицом в снег, повторяя злыми губами одно и то же:

— Я тебе побегаю, я тебе постреляю. Я тебе побегаю. Я тебе постреляю!

Попов поднял с земли шинель, закутался в нее и не оборачиваясь, укрыв полой мокрые штаны, побрел назад, замершим, слепым взглядом увидел снежный росчерк, отпечатанный очередью у его следа, отыскал упавшую с головы шапку, долго развязывал узелок, хоть завязано было на бантик, опустил у шапки уши, напялил ее поглубже и пошел назад, зачем-то глянув на часы, — до смены оставался ровно час; он снял ремень с «хэбэ» и стал застегивать шинель, глядя на Журбу каким-то странным детски-отрешенным лицом. Улитин лежал молча, не поднимая головы, но старательно сжимал и разжимал руки — он пытался развязать ремень.



Попов с гадливым недоумением, как на противного паука в постели, смотрел на эти руки и не мог оторваться; сказал ломаным голосом, лишь бы не молчать:

— Суббота сегодня. Что хоть за фильм сегодня в клубе?

Журба вздохнул, снял магазин с автомата Улитина, потом — со своего и стал неторопливо выщелкивать оставшиеся патроны в шапку, шевеля губами.

— Или ты в клуб не пойдешь? — занудно спросил Попов. — Спать будешь?

Журба не отвечал — он медленно шевелил губами. Попов тоже прыгнул вниз, потоптался рядом с хохлом, все равно видя руки, методично и упорно расшатывающие узел за спиной, сжимающиеся и разжимающиеся ладони, которые не боялись, не скрывались: человек хочет высвободить эти руки, упереть их надежно в снег, встать. И убить.

Эти руки крючком держали глаза, попытка их не видеть вызывала глухую боль.

Попов, побряхтев, нагнулся к Улитину, усадил его равнодушное тело к стенке котлована, подумал и — поправил шапку на голове.

Глаза Улитина были приоткрыты и смотрели прямо с безучастным спокойствием, руки за спиной продолжали работу.

— Ну, — выдавил себе под нос Попов. — И куда ты шел? Где паспорт бы взял? Шмотки? И ведь деньги еще нужны... А дома? Ну, ты хоть автомат бы оставил, а то, видишь, как вышло, братан, — куда мы вот эти патроны дели? Как объяснишь? А ведь присягу давал маме-Родине, да? В книжке расписывался?.. — И тут Попов вдруг почувствовал ужасную усталость и скуку от всего, от того, что было и будет, от никчемной пустоты сказанных слов и неподъемную тяжесть внутри, как камень.

Он застонал и покрутил головой.

Взгляд Улитина на миг остановился на нем, будто вглядываясь, будто пытаясь узнать — кто это? Губы сдвинулись, и он с усилием плюнул Попову в лицо, немедленно откинувшись назад в ожидании удара.

Попов стянул с головы шапку, тщательно, брезгливо отер плевок и вновь глянул на Улитина: тот старался быть спокойным, едва удерживая на губах вопросительную усмешку.

— Мразь, — еще прошептал Улитин.

Попов кивнул: да, вслух добавил:

— Да и какая теперь разница.

— Скоты!

— Да.

— Вот убил бы — не жалел. И всем бы сказал, везде — не жалко! Хорошо! Хоть бы разок по-людски сделал, понял, тварь?!

— Понял.

Улитина начала бить дрожь, и он уже совсем громко запричитал, ударяясь головой о стенку котлована:

— Я б вас, скотов... я б вас... Мне... щас автомат бы... Душил бы тварей, своими руками! Вот этими самыми... А ну, развяжите, паскуды, я вам покажу, дешевки вонючие... Все теперь равно... Хватит, натерпелся! Поживу! Твари!

Попов обнял его и, колыхаясь вместе с кричащим большим человеком, шептал только одно:

— Да. Да, это так. Хорошо.

И повторял:

— Все хорошо.

Улитин задохнулся и закашлял с тяжелым хрипом.

Попов повторил с непонятым упорством:

— Ну, и куда ты шел?

Улитин спрятал веками глаза на посеревшем лице и молчал.

— Так куда ты шел?

— Домой.

— Домой? Домой — это хорошо... Что ж ты мне, дурак, не сказал, вместе б пошли, да-а... Баба там у тебя?

— К матери. Домой.

— К маме, значит.

— Я б только поглядел на нее. Два слова сказал бы и — все.

— И что бы сказал?

— Не твое дело, паскуда!

— Так, — Попов стал кивать головой.

— У меня никого нет, кроме нее. Я бы сразу ушел. Чтоб она не видела, как меня... Сам бы в военкомат вернулся. Болеет она у меня. Мне бы только увидеть. Постучу — она откроет, а это — я!

— А это ты.

— Я не могу, ведь я...

Попов с содроганием втянул голову в плечи, не пуская в себя мучительный хоровод школьных тетрадок, солнечных школьных коридоров, фотографий мальчика в буденовке с красной звездой, звуков одиноких старческих шагов, единственного, материнского голоса и имени своего, ласкового, смешного, давно не слышанного имени...

— Я не могу, — выдавил Улитин, — и не буду. Отпустите меня. Куда угодно. Я не могу. Все равно вам теперь... что-то ведь будет.

Попов тяжело вылез из котлована и прислонился к столбу, подняв воротник шинели.

Ветер слабо гонял по затвердевшему насту пригоршни посверкивающей снежной пыли.

Журба тронул его за рукав и, тревожно заглянув в лицо, прошептал:

— Вот сморчок, прибить не жалко, да?

Попов повернулся и сказал:

— Может, отпустим?

Хохол ухмыльнулся и взял Попова за рукав:

— Юра, патроны, что у него остались, я переложу себе в магазин. Мы скажем — стрелял только он. А мы не стреляли. Хорошо?

Хохол повторил, как для заучивания:

— Мы не стреляли.

Попов медленно подправил его:

— Ты не стрелял.

Журба легко переиначил:

— Ну да, я не стрелял... Я тебя не прикрывал. Ему этого не простят, что бы там с ним в роте ни вытворяли. Под шумок все проскочит. Он ведь, скот, нас положить хотел. Пост бросил. С оружием! Мы так скажем. Рота нас в обиду не даст.

— И я так скажу?

— Конечно, а как же.

— Я не скажу этого, хохол.

— Как?

— Пусть будет все, как будет. Видно, судьба такая.

— Попов, шука, совесть, тварь паршивая, у тебя есть? Я же тебя прикрывал! Я же твою жизнь паршивую спасал! Я же шкурой своей, всем рисковал, я же...

— Ты за свою шкуру боялся.

Хохол замер, сжав губы.

А Попов улыбнулся с детской легкостью и посмотрел на хохла.

Улитин, не шевелясь, сидел в котловане.

— Юра, — наконец разжал губы хохол. — У меня дома сын.

— А, оставь, хохол, все это чепуха, — раздраженно сказал Попов. — Ты лучше послушай, что я тебе скажу, вот, понимаешь, злость прошла. Весь год последний продохнуть не мог — будто жгло все внутри. А вот сейчас — легко-легко. Как с парашютом прыгнул. Ты прыгал когда-нибудь с парашютом, хохол?

— Иди ты, — процедил хохол и слез обратно в котлован.

Попов постоял один и медленно сгорбился.

Журба с налитым отчаянием лицом вычистил шомполом стволы двух автоматов, аккуратно снял рукавицу, задумчиво рассмеялся и со всего маху вмазал Улитину пощечину. Потом еще! Еще!

— Хватит. Не трогай человека, быдло, — устало попросил Попов.

Улитин весь обмяк и уронил лицо на грудь.

— Хватит? Чего хватит? — быстро обернулся к Попову Журба. — А вот нам на дембель надо было весной! А ведь и у меня мать есть. И жена у меня. И дитю полтора года — я толком его и не видал. А вот эта скотина меня убить хотела. — В горле у хохла что-то застопорилось, и он заглотнул воздуха. — Фашист! Скотина! — хохол причитал перед Улитиным тонким бабыим голосом, рот его кривился, не закрываясь, веки подрагивали. — Ты, паскуда, ты думаешь, нас не мочили? Но мы же людьми пооставались! Честно отпахали — а теперь не вернемся домой. Мы! А о себе ты хоть подумал? Может, мать твоя сдохнет теперь вовсе от горя, а?

Из глаз Улитина по недвижному, заледенелому лицу медленно покатались крупные, редкие слезы.

— Я-а, я не мог... все-все... я ведь не...

— А теперь ведь нам — дисбат! Это нам. А тебе-то — тюрьма! Десять лет. И мать твоя от себя кусок станет отрывать, чтобы посылки тебе собирать, в конверты деньги последние совать, просить за тебя, идиота, ездить по столицам, а эти посылки к тебе и не попадут — там таких, как ты, не любят. Да тебя там вообще убьют, в параше утопят, да ты сам туда топиться полезешь, если в армии не выдержал, шенок!

Улитин не отвечал, он вообще не мог говорить — его душили рыдания.

Попов, наметившись, прыгнул вниз, к ним, прикрыл лицо руками и привалился к стенке котлована, рядом с Улитиним, чуть придавив его плечом, — так казалось теплее, и тихо попросил:

— Не скули.

Хохол набил оставшимися патронами свой магазин, второй, пустой, сунул себе за пазуху. Лишние четыре патрона закинул в поле на четыре стороны.

Долго лазил на четвереньках, выбирая из снега красными мокрыми пальцами гильзы, дышал на пальцы, отогревая, собрав гильзы, со звонким шорохом высыпал их в бетонную трубу, врытую у основания столба. Потом огляделся, склонился за спину Улитину, сморщив простоватое крестьянское лицо, развязал ему руки и, еще раз оглядевшись, сел рядом с ними, подняв воротник, прикрыл глаза и привалился потеснее.

Улитин слабыми рывками, не с первого раза, вытащил руки из-за спины и осторожно просунул их в карманы.

Солнца не было, но все равно утро уже выбелило небо, нагнало легкий ветер на поле, и куст черной полыни покачивался на краю котлована, и на него сверху легкими, невесомыми касаниями опускались редкие крапинки снега, иногда ветер путался в голых верхушках невидимого леса, и тогда деревья шумели, как воздух, выдыхаемый сквозь плотно сжатые зубы. Сегодня была суббота. В клубе обещали фильм. Какой — никто не знал.

— Надо идти, — сказал хохол.

Попов первым неуклюже выбрался из котлована и измученно осматрелся вокруг.

— Мишка, — неожиданно сказал хохол и притянул голову Улитина к себе, близко-близко. — Мы — гнилье. Но никому в тюрьму не надо. Всем надо жить. Мы — выродки. Но ты — останься хорошим. Мы все сделаем. Только ты не подкачай... Слышь? Ничего не было. Понял? Ты спокойно отстоял свое на посту. Не бегал. Не стрелял. Ничего, понимаешь, не было!

— В-вова, ну как, ты что-то... Ведь целый магазин, что я скажу! — Так и впился в него глазами плачущий Улитин.

— Закрой рот! — рывкнул хохол. — Слушай меня! Там на горе, у твоего поста, ты видел где, есть параша. Там труба бетонная — от городской канализации, отвод, к реке есть сток оттуда.

Там сверху дыра — часовые туда по нужде бегают, старшина про это знает, понял, да?

— Понял.

— Скажешь — ты слушай, — прихватило живот на посту. Туда ты и побежал. Сел на дырку, автомат держал между коленками. Магазин сдуру снял, в руке захотелось подержать — боялся курок сдуру нажать. Руки замерзли — магазин выронил. Прямо в парашу. С тобой все время что-то случается. Поверят! Поверят — куда им деться... Никто себе ЧП раскапывать не захочет. Поищут — а нету! Там же сток в реку — где там проверишь.

Журба перевел дыхание.

— Вова, я все запомнил. Все, все скажу так, — тараторил Улитин с разгоревшимися глазами, слезы у него мигом высохли. — Ты объясни все, я сделаю, да?

Попов слушал и ничего не мог понять. Он уже злился, что они до сих пор еще не идут.

— Придет майор-особист. Будет тебя мурыжить: что и как. Но это чепуха. Страшного ничего не сделают. В Сибирь служить ушлюк — это ясно, но у меня там земляк служит — Хворостенко, я напишу ему, он тебе устроит клевую жизнь — пахать не будешь. Да и это ведь не тюрьма. Мы с Поповым скажем, что шли посты проверять, а ты из параша идешь и плачешь. Мы — на эту драную трубу. Скажем: еще край магазина виден был. А пока за палкой бегали — засосало. Ну тебя, может, пару раз ударили сгоряча, так это бывает. Нам — по выговору или «губу». Но никому в тюрьму не надо! — хохол раздельно добавил. — И самое главное: этого не было. Сколько жить будешь — этого не было. Никогда, ни с кем, нигде. Этого не было. И мы все вернемся домой. А это — главное.

— Не было, — повторил, как заведенный, Улитин. — Не было.

Он смотрел на хохла, будто молился. Истово.

— В роте мы с тобой говорить на людях больше не будем. Тебе будут давить на психику, жалобить, что-то обещать. Скажут: мы все знаем, что тебя припахивали, били. Они и правда, это знают. Кто-то наверняка стучит. Но им не ты будешь нужен, а магазин от автомата. Ты нужен только нам. И матери своей. И только. И пусть мы сволочи. Но пусть нам всем будет хорошо. Или мы не люди, чтобы договориться? Жизнь ведь лучше, она ведь...

— Да, да, лучше, — закачал головой Улитин. — Жизнь прекрасна.

Попов вдруг засмеялся оттуда, сверху, жестяным, прыгающим смешком.

Хохол резко обернулся к нему ненавидящими глазами, бешено прошептал что-то матерное и быстро тут же повернулся к Улитину.

Тот был как во сне:

— Я запомнил все, Вова. Я скажу. Ничего не было. Я, я ведь жизнью тебе обязан. Я тебя не забуду никогда, сколько жить буду.

Журба мгновенно сказал:

— Ладно. Пошли, ребята.

Они долго и тщательно заправлялись, как на строевой смотр, придирчиво оглядывая друг друга и помогая, шли по тропинке, чтобы не оставлять лишних следов. Шли даже по росту: Улитин, Попов, Журба.

Попова все время бил какой-то нервный смешок, он то и дело прокашливался, закрывал ладонью рот и качался из стороны в сторону.

— Паскуда, — тихо прошипел хохол.

У Попова затряслись плечи — у него уже были мокрые от слез щеки, он чуть ли не повизгивал, сдерживая изнутри рвущийся смех.

Они шли споро и быстро, как возвращаются люди после тяжелой работы, уверенные в себе, сильные и счастливые люди.

Когда переходили мостик, хохол отстал.

Попов и Улитин пошли дальше, не оглядываясь.

Журба стоял посреди заледенелого моста — он был один, вокруг было пусто. Он вытащил из-за пазухи магазин и ощутил тяжесть человеческих судеб. Улитин и Попов остановились к нему спиной, не оборачиваясь.

Падал снег.

— Юра, — не выдержал вдруг хохол.

Попов, не оборачиваясь, не оглядываясь, замотал головой и опять захохотал.

— Тварь, паскуда, ненавижу! — дико закричал хохол. Улитин с ужасом смотрел, как Попов силится сдержать смех и заходится от этого в кашле, опираясь на его плечо и хитро поглядывая Улитину в лицо.

Журба нахохлился — он был совсем один.

Он коротко дернул рукой, и черный магазин тяжело упал в прорубь, подломив тонкий лед, — густая, зимняя вода стала студено лизать края пролома.

Журба дошагал до них и с чем-то нарастающим в голосе сказал:

— Ну вот, теперь... Теперь мы с вами... Вы ведь знаете...

— Я не знаю, — улыбнулся ему Попов. — Я не знаю, какой сегодня фильм. Откуда мне знать?

В караулке дребезжал телефон, когда они вошли, и розовый от сна Козлов мямлил невнятно в трубку:

— А? Здравия желаю. Нормально. Сержант Попов? — он оглянулся. — А вот, сейчас дам трубку.

Попов увидел черную уродливую трубку с прыщавой щекой микрофона, протянутую к нему, схватил ее и со всего маху грохнул об аппарат — телефон развалился, оставив посреди обломков жалко звякающий звоночек.

Караул прыгал из машины друг за другом, придерживая шапки на головах.

— Попов! — уже покинувший санчасть сержант Кожан курил на бревнышке в спортгородке. — Ну, как там мой Улитин на службе себя проявил?

Попов остановился, будто силясь что-то вспомнить, потом хмыкнул и властно поманил пальцем:

— Улитин. Ну-ка, иди сюда.

И сказал Кожану:

— Ну что сказать, совсем с бойцами не занимаешься. Хреново бойцов воспитываете, товарищ сержант, магазин потерял. Действия по пожару совсем не знаем. Рыдаем на посту. Беда просто, а не солдат.

— Ка-ак? — грозно изумился Кожан и сноровисто сунул Улитину кулаком в морду. — Займемся! А ну-ка, упал, отжался!

Улитин упал на снег и стал качаться на плохо сгибающихся в тесной шинели руках.

— Раз! Два! Три!

Попов с каким-то брезгливым интересом смотрел на его спину. Внутри у него тугим комком забухало сердце.

— Встать! — приказал Кожан. — На месте бего-ом марш!

Улитин затрусил на месте, придерживая на груди автомат.

— Раз, два, три! Раз, два, три! Лечь — встать! Лечь — встать!

Он вставал и падал, как ванька-встанька, не отряхивая снег и не поднимая лица.

— Погоди, Кожан, — сипло произнес Попов. — Дай-ка я.

— Ночи, что ли, тебе не хватило? — удивился Кожан.

Попов придвинулся поближе и прямо в лицо Улитина выкрикнул:

— Стой!

Он почувствовал, как с ударами сердца разливается по телу горячая ненависть, и он уже не мог ее остановить.

— На месте шагом марш!

Он все пытался увидеть глаза Улитина — но тот смотрел куда-то вверх, не видя ничего, с застывшим в слепом исполнении лицом.

— Жить хочется, — вдруг прошептал Попов и уже с азартом, заводясь, закричал:

— Прямо!

Улитин помаршировал прямо на стену, пролез к ней через сугроб и ткнулся лицом в кирпич.

— Направо!

И он пошагал направо, высоко поднимая ногу и делая идеальную отмашку свободной руки, — прямо до забора, и до упора, в него.

— Налеву!

Налеву была канава, широкая — не переступить. Кожан уже начал хихикать, предвкушая зрелище, а Попов отвернулся и заплетаящимися шагами пошел в казарму, снимая с плеча автомат.

За спиной раздался звук падения и дружное ржание — Улитин упал.

В ленинской комнате старший лейтенант Шустряков сонным голосом читал:

— ...В часы политико-воспитательной работы и личного времени необходимо оказывать на воинов всестороннее воспитательное воздействие, помогать лучше использовать это время для идейно-культурного и нравственного совершенствования... Так, значит, Курицын, в чем первейший долг сержанта, а?

Курицын с трудом приподнял от стола кудрявую всклокоченную голову:

— А?

— Первейший долг сержанта в чем, Курицын? Ты хоть встань, мать твою так!

Курицын лениво вылез из-за стола и шарил глазами по молодым воинам.

Шустряков забубнил:

— Первейший долг каждого сержанта, запомни, Курицын, нести в солдатские массы идеи партии, неустанно разъяснять достижения советского народа в коммунистическом строительстве, важно донести до сознания...

Шустряков осекся — посреди ленкомнаты стоял в шинели сержант Попов, сжимая в руках автомат.

— А, Попов, приехали герои, так вашу мать. Магазин прохлопали, так вашу мать. Чего вперся одетый? Оружие мог бы и сдать.

Попов молча прошел ему за спину, встал на трибуну и положил автомат перед собой, стволом к людям.

— Ты чё, охренел? — выдавил кто-то из старолужащих.

— Сержант Попов, — визгливо начал старлей Шустряков, паясь назад.

Попов снял предохранитель.

Все смолкли, как дети, услышав материнские шаги.

— Вы слышите? — тихо спросил Попов.

За окном Кожан вел караул на пайку и бодро орал:

— Рэз, рэз и рэз, двэ, три... Караул!

Караул шмякнул ногами.

— И раз!!!

— Вы слышите? — повторил Попов.

Он пошел, скрипя паркетом, на выход, на мгновение остановившись перед Шустряковым:

— Извините, товарищ старший лейтенант, прервал.

Ворота с красной звездой, разомлевший от жары дневальный, утопивший палец в ноздрю. Щедрый зевок дежурного прапорщика. Ступеньки, коридор, КПП — позади. Военный городок.

Голоса: мужчина и женщина.

— Это ты здесь служил?

— Да.



Строится у забора караул. Рыжий сержант небольшого роста грозно хмурит брови и покрикивает. Караул заправляется. Первая, салабонская, шеренга стоит очень прямо.

Звуд выбивает ремнями развешенные на заборе матрасы. Некоторые полуголые солдаты оборачиваются и улыбаются женщине.

У стены казармы — насос на колесах.

Два голоса:

— А это что?

— Это? Насос, наверное. Тогда не было.

— Нет, вот это.

— Это матрасы выбивают. Чтобы пыли не было.

— И так каждый день?

— По субботам.

— Юра?

— Да?

— Может, мы пойдем? Тебе ведь не хочется...

— Мне хочется.

Дверь казармы наверх, обшарпанные стены. Сбегающие вниз солдаты. Сверху свешиваются головы тех, кто чистит сапоги на лестнице. Шепот: «Баба какая-то...»

Дверь в роту.

— Юра, милый, ну что с тобой?

Холеное, толстое лицо ветерана, собирающегося на дембель.

— Служили тут? Очень здорово. И что, тянет, да? А мне кажется: вот дембельнусь, и хрен сюда еще заманят. Тоже казалось? Видишь как... А спали где? У окна, вот там? И я там, ага... Во совпало как, а? А... вы сверху, а я — снизу. Все равно — совпало. Когда ваш дембель? Нет, не застал... Меня сюда с Сибири перевели, потом уже. Сейчас? Сейчас я на насосе главный. Видали — стоит? И воняет. Это магазин Улитина ищем. Каждый год старшина что-то новое придумывает для зашивонов, прошлое лето драгу какую-то изобрел, все перелопатили, а теперь — насос. Улитина? Улитина я знал, я ж в Сибири служить начинал. Очень авторитетный был дедушка. Месил всех на чем свет стоит. И мне досталось — жестокий был, паскуда. А вы его знали? Ну? Нет, не знаю, какой он был по салабонству, а дед был зверье! Теперь вот его магазин и ищу. Не, да разве откажешься? Нам старшина все время, как такие разговоры начинаются, одну притчу рассказывает. Это у него так называется: рассказать притчу. Был, говорит, у нас сержант Попов. Ну, очень борзый был сержант, начал вроде служить отлично, а потом малость подвихнулся — грубит, на службу что-то положил, извиняюсь перед дамами...

Немного смущенное лицо женщины. Косящийся дневальный.

— Ну вот. Определили его по дембелю на недельку магазин Улитина этого искать. Тогда еще лопатами ворочали. Он три дня походил, а потом взял и старшину послал на три буквы — извиняюсь опять же перед дамами. За это пять суток «губы» парень огреб

и магазин тот ловил еще две недели, а уж потом, как провонял хорошенько, тогда и домой. Такая вот притча, мда-а...

Попов медленно прошел в ленинскую комнату. Пусто. Дневальный подметает — поднял свое скучное лицо.

В телевизоре два позатых прапорщика, прижавшись друг к другу, поют сочными голосами: «И от солдата и до маршала мы все семья, одна семья!»

Дневальный подметает за его спиной.

Попов подходит к окну и видит, что маленький сержант уже закончил строить караул и скомандовал тонко:

— Внимание, караул, шагом марш!

Жиденюк колонна вытоптала на асфальт.

Дневальный закончил подметать и все еще не уходит, переминается у дверей, настороженно крутит остриженной салабонской головой.

— Можешь не придуриваться, я узнал тебя, Смагин, — тяжело выговаривает Попов.

Недоуменное лицо дневального.

Рыжий сержантик, убедившись, что поворот пройден, и выматерив что-то сказавшего вслед дежурного по роте, поправил пилотку и, нагоняя строй, заорал:

— И рэз, и рэз, двэ, три. Караул!

— И РАЗ!!

Попов зажмурился, и караул застыл с поднятыми ногами и разинутыми ртами.

## ПЯТКИ

### *Гимн*

Я люблю армию.

Я очень люблю нашу армию. Я считаю, что мы играем мало маршей. У меня комок в горле, когда — чеканный шаг и державная поступь шеренг. Я фанатик строевого шага, мало маршей!

Это после армии я стал обращать внимание на походки людей. До армии я — шаркал. Будто постоянно в тапочках, как старый дед.

Через три месяца службы ротный на строевом смотре сказал: «Кто пробьет при прохождении строевым шагом вот эту самую половицу — поедет в отпуск».

Честно говоря, мне мучительно хотелось в отпуск, и я очень быстро научился ходить строевым шагом.

Половица, кстати, была самая обыкновенная — доска, коричневая краска, четыре гвоздя — два и два. И чуть-чуть прогибалась.

Я маршировал каждый вечер. Я ступывал сапоги, сушил ноги, у меня стали синими пятки. Я прослыл сумасшедшим. Мне уже снились древесный хруст и нога, проваливающаяся в пустоту. Когда

я бил ногой, у меня зверело лицо. Каждый шаг мой — сильный, нарастающий — это шаг домой. Я чувствовал это предметно.

Я уже никогда не шаркал. Даже в простом шаге, в личное время нога сама невесомо взлетела и красиво шмякалась в землю, настойчиво и сильно. Я и без сапог ходил так же, и только так.

Ротный с интересом разглядывал половицу. Она сильно посветлела, с нее облетела краска рваными островами, и стали выламываться щепки.

Но не только это отличало данную половицу. Когда перед моим дембелем в казарме перестилали полы, оказалось, что именно эта половица лежала впритирку на бетонной балке — все остальные имели под собой какой-то запас пустоты, и лишь она — впритирку, тесно, непоколебимо. Только слегка покачивалась.

Ротный сиял. Он думал, теперь я перестану махать руками и стучать ногой. Он ошибся. Сняв сапоги, я хожу точно так же, вызывая общее недоумение и смех, ищу братьев своих по отмашке рук, по подъему носка и выдерживанию равнения, по неслышному маршу и буханию каблуком в ненавистный асфальт.

Хотя иногда мне становится страшно, когда я понимаю, что армия и жизнь — это разные вещи, хоть и правятся одинаковыми законами. И чем сильнее стучишься ты в землю — тем скорее она тебя пустит. Те, кто шаркают, действительно дольше ходят по казарме, те, кто пытаются оставить следы, действительно, скорее едут в отпуск.

Но у меня есть надежда: когда мы устанем ходить, когда с бессрочными отпускными билетами мы отправимся наверх или вниз, мы сделаем это ногами вперед — смотрите на них, в этом смысл; и тот, кому велено разбираться, кто должен решить для себя, а значит — для всех, — и пометить себе в бумажке что и как, он легко поймет и отделит розовые, нежные пятки тех, кто всю жизнь давил живое, ходил по плоти и цветам, от черных, потресканных, раздутых, мозолистых пяток искателей правды, гонимых поэтов, безвестных бродяг, не сдавшихся беглецов, несчастных пророков, честных бедняков и неутомимых пешеходов — детей.

И поэтому — мало маршей играем.

Мало маршей!

## ЗЁМА

### *Иронический дневник*

Я иногда думаю: как мы связаны с этими листами бумаги, синими и фиолетовыми строками, белыми полянами абзацев, что как вздох, и муравьиной тропинкой многоточий; ряды этих букв — колючая проволока, страница — наш концлагерь, как повязаны мы этим нудным постоянством внутреннего напряженного

слушания себя, своей тишины между паузами сердцебиений жутким слухом уходящего времени, уходящего через нас, потому что мы — рваные края этой пробоины, мы — опаленные окраины этого ожога, мы — на линии разрыва этой сети, каждая ее ячейка лопается в нас...

Мы, прикованные ко времени наручниками часов, принужденные к ежедневному белому зеркалу бумаги, мы, что бы ни случилось — прекрасный взлет или дрожащая мерзость поворотов, мир тысяч лиц и музыки слов, — мы придем, как заколдованные, к горбатуму нами столу и будем, перебирая среди знакомых и пошлых слов, искать то единственное, но все же бесконечно далекое от сердца сочетание, которое будет испорчено вконец напряженным и неумелым голосом при чтении...

Дневники наши — стрелы, не достигшие цели и упавшие в мягкую траву, потерявшие друг друга ладони, грубые скворечники для жар-птиц.

\* \* \*

Когда весна, сильнее всего в гарнизоне пахнет свиарником.

### *Житейское наблюдение*

Очередного приезда генерала ждали четыре дня.

Четыре дня по центральному проходу казармы никто не шастал — все лезли напрямик по кроватям, чтобы не испоганить труд целого взвода, наяривавшего доски мастикой; все нагладилось; сапоги сияли, как у kota, гм... глаза; личный состав до дыр заелозил указкой карту, обозначая столицы мракобесов и реваншистов, а молдаванин Качук, плохо рубивший по-русски, заучил на слух: «Идеологи империализма делают большую ставку на идеологические диверсии и шпионаж» на случай, если генерал спросит: «Как дела?»

Ротный потребовал от старшины, во-первых, чтобы с крыш не капало, во-вторых, не раскрывать рта, чтобы не обронить какое-нибудь искреннее слово.

Генерал наш был старенький и вялый: все силы своей души он вложил в получение лампасов. После этого жизнь стала доживанием, но не потеряла смысла, поскольку больше всего на свете генерал любил наш свиарник — это было его лелеемое детище, — и, приезжая, он торопился прежде всего туда. Он душой страдал за судьбы свинок, ласково называл их «зёмы». Заходя в свиарник — одноэтажный длинный сарай с полуотвалившейся побелкой и глубокомысленными взорами едва не заплывающих жиром глазок за железными прутьями, — он с ходу начинал кликать старшего:

— Петро! Петро! Петруша! Где мой Петро?!

После напряженных шорохов из дальней каптерки, манящей запахом жаренных с салом картох, вылезал здоровенный Петро с

заспанным видом и соломой в волосах. Он ради порядка бросал сокрушенный взгляд на голубоватые джинсы, заляпанные навозом, и начинал басить: «Таа-рыш генера...»

— Петя, — пронзительно, по-детски умолял генерал, — блин, свинкидохнут! Крысы бегают, как собаки!

— Убиваем, таа-рыш генера-а...

— Где?! — вопил генерал.

— Вон там лежат. Три штуки.

— Дак они уже третий месяц лежат — завоняли уже. Петя, скажи ребятишкам: кто убьет пятьдесят штук — поедет в отпуск!

Мне всегда было жалко нашего генерала. Однажды его прихватило сердцем прямо в свинарнике — ему попался боец, волокущий мешок с комбикормом прямо по асфальту.

Когда генеральская «Волга» миновала КПП, мы уже стояли двумя шеренгами, струя серебристый парок в серое еще небо. Лично я видел желтый бок казармы с полузатертой надписью «ДМБ-86» и думать ничего не думал.

Генерал долго сидел боком, уже распахнув дверцу, грустно опустив голову и вывернув нижнюю губу, задумчивый, как десятиклассница, которую потянуло на соленькое. Командир, замполит и старшина тянулись в струнку, подобострастно приоткрыв рты, словно приехал не генерал, а стоматолог.

Наконец правый ботинок генерала приземлился на асфальт.

— Гота! — завопил картавый ротный. — Гавняйсь, смигна!

Генерал еле проплелся вдоль строя со стариковской умильной гримаской, и ноги его ослабели около сержанта Дороша. Если бы он даже захотел пройти дальше, это было бы невозможно. Геройский Дорош надул свою грудь так, словно ему за пазуху засунули арбуз, — это препятствие притормозило генерала.

— Ну... как служба, сынок? — Генерал еле вспомнил, что надо сказать.

— А-ат-лично!!! Товарищ генерал!!

«А-а-аал!» — отдалось в окрестных строениях.

Молодцеватый ответ был единственной воинской специальностью Дороша, обретавшегося при клубе, и всегда получался ошеломляющим. Генерал побледнел, и у него жалко и растроганно задрожали губы.

От сотрясения воздушных масс с крыши нестати капнуло в непосредственной близости от генеральской огромной фуры. Старшина, заметив поворот командирского кумпола в адрес опальной капли, не выдержал и пообещал кому-то в строю:

— Стниешь в параше! С очка будешь только спать приходить.

Генерал пополз дальше.

Старшина, приметив еще одну каплю, повторно обласкал несчастного чистильщика крыши:

— И спать будешь на параше!

Холодок выжал из меня последние капли дремоты, а значит, и всего хорошего, мне стало скучно — тут генерал и тормознул перед

худым и носатым Аркашей Пыжиковым, который надувал грудь как раз передо мной.

Пыжиков как-то пытался повеситься ночью на турнике, отправляясь в запределье посредством поясного ремня. Черт знает, что дернуло, — я честно топил на массу и пробудился уже от воплей. Пыжиков орал, как гусь перед казнью: «Грязь, — что ли, — все мразь...» — и не поймешь, что орал-то? И замолк с тех пор. Попросишь его что на вечере почитать — он же на актера в столице учился — зло зыркнет и мотнет головой: хрен вам! Кладу я на вас.

— Как служба, сынок? — вшептал генерал пряником в Аркашино костистое ухо. — Жалобы есть?

Командир с замполитом даже прыснули легко и быстро: да и шутник же вы, товарищ генерал!

— Есть, — медленно сказал Пыжиков. — Домой очень хочется.

— Ага, скучаешь, ага? — улыбнулся генерал, нетерпеливо поглядывая через плечо на свинарник. — По папе с мамой, ага?

— Баба небось, — с юмором подключился старшина, вызвав бешеную пляску губ у замполита.

— Я по себе скучаю, — чуть громче сказал Пыжиков. — Домой хочется съездить.

— Ну... — всплеснул генерал руками и, дабы все услышали, зычно протрубил:

— Отпуск солдат должен заслужить!

Командир с замполитом чуть не захлопали в ладоши.

— Это как — заслужать?

— Ну, как-как... — Генерал начал малиноветь носом. — Все служат, как все, а ты — выслужись. Что-то особенное сделай. Командование тебя и поощрит.

По лицам командования было видно, что виды поощрения Пыжикова уже продумываются.

— А если просто так служить? Как все? Можно в отпуск?

Дурак ты, дурак, Аркаша.

— Можно... ишь ты, можно... — запыхтел генерал и заорал: — Можно в сапог товарищу на... Можно бабушку с разрешения дедушки! — Он отвернулся и огорченно побрел по тропке к свинарнику враз окруженный свитой, но тут распахнул ее и добавил:

— Можно козу на возу!

Рота дружно заржала.

Генерал повеселел и добавил:

— Старшина, дай-ка мне этого бойца. И еще кого... Мне тут надо...

И отправился на свинарник.

— Та-ак, — сказал старшина, ласково оглядев нашу шатию-братию. Синхронно с «та-ак» каждый будто запах из кабинета с табличкой «Стоматолог» учуял — в животе начались некие бурные процессы.

— Сидоров, Гвоздик, выйдтя из строя — на санузел! — разорвался первый снаряд.

— Валиахметов на кухню, в овощерезку.

Мой смуглый сосед лишь невероятным усилием воли удержал готовую отчалить нижнюю челюсть...

— Пыжиков.. хлоп твою мать совсем, философ хренов... и кто там за тобой? Курицын — в распоряжение генерала Седова. Ждать на улице. Разойдись!

Все дружно побежали в казарму, а я приторчал на месте, и не только затем, чтобы выкурить сигаретку, но и оттого, что фамилия моя Курицын и, как на грех, стоял я прямым за Пыжиковым.

— Курицын, чего задумался? Пуговицу вон подбери — под ногами валяется, — это старшина мне. В самую морду.

— Ет не пуговица, товарищ прапорщик, это с вашей головы винтик выпал, — это я ему. Про себя, конечно, заталкивая мгновенно схваченную пуговицу в карман. Старшина долгим взором смерил Пыжикова и утонул в казарму. Снег мартовский, мягкий и вязковатый, вялая капель ныряет оспинками в снег, а я смотрю на Пыжикова и размышляю, что же это нас ожидает в перспективе.

Из казармы к нам уже летел командир первого взвода Шустряков, персонально ответственный за психическое состояние ефрейтора Пыжикова.

— Хрен ли ты выпендриваешься, хлоп тать, — заканючил он с кислой физиономией уже на подходе. — Будешь все время в трени — сплывишься. Очень хреново, да?

Пыжиков молчал.

— Так у вас еще лафа. Ты глянь, как салабоны живут. У тебя ведь все позади. Все ведь ваши деды рады и довольны. И ты так живи. Чуть-чуть осталось — и все будет, будет. Живи как все. Большинством все удобней.

— Да, — сказал Пыжиков, — особенно хоронить.

— Да ерунда, все ерунда, два года — чепуха. — Шустрякову было холодно, и ему хотелось в дежурку, где старшина уже расставил нарды. — Вернешься домой...

— Уже не вернусь, — сказал Пыжиков и пошел к лопате, воткнутой в сугроб, — это он чистил крышу.

Солнце опушило наконец-то нежный край облаков мандариновой оборкой, и с крыш закапало — тревожно, плавно, больно...

— Петро! Петя-а! — звал генерал в свинарнике.

— Вернешься, то есть как — нет? Не убьют же тебя здесь, — недоуменно протянул Шустряков и заключил: — Ну, ты, давай, держись... Еще в театре тебя посмотрим. А ты, Курицын, поговори с товарищем, ведь ты член бюро, ведь не дело так... — И побежал в казарму, отмахивая в сторону рукой, свободной от придерживания на голове великоватой пижонской фуры, разительно напоминавшей генеральскую.

— И правда, — сказал я. — Вот турник даже из казармы убрал через тебя. Качнуться негде.

Хлопнула форточка, и старшина высунул в весну свой чайник на три четверти.

— Курицын, вы чего еще здесь болтаетесь? — Это он нам, увернувшись от сонной капли с крыши.

«Меж ног болтается, таа-рищ праа-щик. Мы стоим». — Это я ему. Про себя, конечно.

Пыжиков доложил, что указаний от генерала не поступало и мы ждем.

Старшина пофырчал и скрылся обратно, тут из-за угла и высунулся «зиллок» армейского образца.

— Сырая нынче весна, — мрачно сказал я. — Это по нашу душу.

От свинарника по узенькой тропке к нам уже косолапил генерал, оберегая от возможных брызг полы светло-голубой шинели. Свита, высоко выбрасывая ноги, лезла прямо по сугробам, что-то бодро и весело поясяня.

— Сынки, это вы ко мне? А? — замямлил генерал, проявляя твердую память.

— Так точно, товарищ генерал! — Пыжиков задрал плечи и выгнул живот колесом.

— Ну, тогда, сынки, полезайте туда, в кабину, а я на «Волге» — дорогу показывать. Мне тут надо переехать помочь немного, ага?

С таким лицом, как у генерала, нищие просили хлеба на паперти в глухую пору самодержавия и реакции...

— Зёма!

Водилой «зилка» оказался Сенька Швырин, мой корефан и зёма со второго взвода.

— Зёма, мля... — заревел Сеня, понукая свой избитый «зиллок» вослед пестрой от весенней грязи «Волге» генерала, который то и дело поворачивал свой кумпол, дабы удостовериться, что мы еще не свернули с пути истинного в сторону женского общежития или пивбара «Саяны».

— Что ты... встреча... я, блин, не ожидал, мля. За... ачим эту мебель запросто, раз вместе. Что ты, зёма, вашу мать...

Я важно кивал, косясь на Пыжикова, — видал, дескать, какой у меня зёма есть?

Надо заметить, что перевозка мебели населению никогда не была мечтой моей жизни и от нескольких опытов на этом поприще у меня остались тяжкие воспоминания о тесных лестничных клетках, табличках «Лифт не работает», режущих плечо канатах, сопящих коллегах, обтирающих задницами стены, и истошных воплях: «И рээ!» — и оступелый, пошатывающийся спуск вниз, проткнутый насквозь мыслью о следующей вещи.

— Лишь бы не было пианино, — мудро сказал я.

— Что? А если бы лифт работал — ваше б было б зашибись. Копать мой лысый череп! — Глаза зёмы искрились, как весенняя проталина в нефтяных разводах.

Он бурно салютовал новостями: зашивон Чана отсидел на «губе» червонец за то, что слинял с наряда к бабе; новый взводный ведет



себя скромно — службу понял; дембель далек, но неизбежен; ка-лым хороший и на хавку хватает; подходит раз старшина и говорит: а я ему и... представляешь? Гы-гы... От ментов уже и бензином хрен откупишься, салабоны на службу забивают — вот на днях одного борзого гасили, а первую в гарнизоне шлюху Лильку нашли голую утром в спортгородке третьей роты пьяную вдрыб... И собирается он после армады педагогом в школу — мужиков теперь ценят, зарплату повысили. И два месяца отпуск.

— А ты куда, зёма, после армады? — вывел он меня из дремы.

Я ословело повел башкой, как ворона, потерявшая во сне равновесие на суку, и вяло каркнул:

— В кооператив «Половые услуги», — и, скучающе обзрев прыгающий за окном пейзаж, ляпнул абы что: — А вот Пыжиков — актером у нас!

Зёма чуть не переехал трехэтажный дом на обочине.

— Кем?! — На дорогу он больше не смотрел: поворачивал свой рубильник либо на меня, либо на заерзавшего Пыжикова.

— В натуре? Не свистите, а то улетите!

— Не... зуб даю, — поклялся я.

— Бичи... в натуре?

Пыжиков наконец подтвердил:

— Я закончил Щукинское училище. Это театральное такое есть. В Москве.

— Я тащусь и хренею с вас, бичи. Веревки! И кого ж ты там играл?

Пыжиков сидел нахохлившийся, как умирающий голубь.

Голубь всегда умирает красиво.

Вожметса в комок, приподнимет что есть силы крылья и щурится в напряжении, будто хочет продохнуть что-то, тяжесть какую-то в груди рассосать. Знает, не взлетит и перышком не дрогнет. На мокрый асфальт, что под мраморной лапкой, даже не взглянет — только в себя. И дернется вдруг, взметнет крылья, ослепив белыми подкрылками, вывернется назад и замрет. Будто пуля его сорвала, как цветок с поля небес, будто вырвали его из полета, будто умер он в небе, и не асфальту его судить. Так и сожмет его костлявая рука, ослабив порыв, пригладив перья, открыв нешумный рынок для червячков и мошек. Но это уже будет не голубь, а немножко мяса и спички костей. Этого не жалко. По-настоящему можно жалеть только красивое. Остальное — не впечатляет.

— Актер, я тащусь. — Зёма фыркал, как яичница на сковородке. — На сцене раз прохреначил, и все соски твои — капец! Милый, а кого ж ты будешь играть после армады?

Пыжиков дернул левым плечом и сощурился, будто сунулся в заброшенный хате лицом в паутину.

— Не знаю. Никого не буду.

— А почему, зёма?

«Зилок» ревел, форсируя распутицу. В кабине была Африка. Зёма курил, и сизый дым вздымался к потолку. Зёма орал вопросы

с радостным лицом. Я созерцал дорогу, молясь, чтобы малоподвижные пенсионеры не покидали свой очаг или не приближались к этой дороге. Пыжиков что-то тихо отвечал. Зёма с первого раза не всасывал — Пыжиков повторял еще раз, проще, а когда зёма еще раз раскрывал свою пасть: «А?!» — вообще кричал что-то несуразное:

— Мне ничего не надо. Я потом хочу... Может, в лес уехать... Рыбу ловить. Молчать.

— Чего?

— Не хочу ничего! — Мне казалось, что Пыжиков сейчас заплачет. — В лес хочу! Один!

— А?!

— В лес хочу!!! — кричал сумасшедший Пыжиков.

— У твоих там пасека? Мед — это клево, — понял наконец зёма, держа в перекрестье своих плутоватых глазок цвета фиалки заляпанную издержками весеннего таяния задницу генеральской «волжанки», показывающей нашей колеснице путь на Голгофу.

— Актер, слышь. — Зёма посерьезнел. Глаза его безупречно округлились, а голос был тих и вкрадчив. — А... а с бабами на сцене взаправду целуются? Или так себе?

«Волга» завернула во двор кирпичной девятиэтажки и тормознула. Мы — соответственно. Зёма вывалился из кабины и вопросительно сдвинул на затылок шапку.

Генерал, ссутулясь от ветра, кисло глянул в нашу сторону и махнул рукой. Зёма неторопливо распахнул дверцу.

— Покурим? Велено обождать.

— Покурим.

Солнце лупит лучами зачерневшие сугробы, выжигая серые плешинки асфальта, и огромный парус синевы с белыми заплатами облаков нависает над крышами и черными деревьями, залепляя уши живому и мертвому ватой тишины, и лишь пригоршни птичьих стаяк слабо вскрикивают, словно поскрипывает мачта под ветром. Рубит солнечная мельница мешки тоски, собранные за зиму, гложет сладкой пыткой — засмотришься так и бросишься шагать в весну, упадешь на колени, звеня подтаявшими льдинками, и крикнешь сердцем из самой глубины: «Что? Что тебе надо, весна?» И вся весна будет улыбаться и плакать в ответ, огромной рекой, унося тебя, врачую сердечную боль непрочным бинтом жестокой тишины, — весна, подлая тварь и добрая мать... и сердце ноет, как дерево в натужном порыве по ночам, что выросло меж двух заборных досок. И добрая рука срубит потом на дрова, и не будет тогда ничего, ничего, ничего.

— Так хрен ли ты такой млявый, не прошибу? — сказал зёма сурово, оглядев скончавшийся «бычок». Пыжиков, пройдя пару шагов по звенящей наледи, обернулся:

— Вам не понять. — Еще шаг — и через плечо: — Не понять.

Зёму как обухом погладили — он минут десять глотал слюну.

— Объясняю еще раз, — осветил я ситуацию. — Для бронепоезда. Дубовый ты, зёма. Так надо понимать.

Зёма начал глотать воздух.

Пыжиков неприятно сощурился.

— Нет, не так. Мы — разные. Просто разные. Как береза и сосна.

— Ну да, береза и сосна, — понимал все с полуслова зёма. — А я дуб, значит.

— Да не-ет — вы и это не поняли. Все не объяснишь. Да и вообще — что-то даже себе не объяснишь.

Весна — все-таки весна. Пыжиков откровенничал первый раз.

— Вот вы поймете меня, — горячо зашептал Пыжиков, напряженно качаясь против нас, пытаюсь обозначить и мое участие в беседе, но я по привычке держался поодаль, — нет, не во всякой воде надо купаться, всего лучше так: стал по коленочки — и думай, как хочешь — в воде я стою или на бережку?

— Все зло, когда не понимают, а додумывают друг за друга. А кто понял — молчит. Вон Курицын, он же понимает, но в армии у него сломали что-то внутри, он и...

Это уже про меня.

— Гы... а вешался ты тоже от этого, хлоп тать? — Вот так я ему.

Зёму это вернуло к мыслительной деятельности.

— Служба замарала? — нашел он свое место в беседе. — А я, хоть и дубовый, а вешаться не бегал — служу, как полагается, мля... — И добавил: — Интеллигент. От слова «телега»!

Стало как-то неловко. Сырая все-таки весна.

Пыжиков съезжился.

Мысль о смерти — она, как крыса: живет где-то под полом, скребется чуть-чуть, когда совсем тихо. Походишь, поскрипишь половицами — все в порядке, тихо. Задумаешься, забудешься, а поднял голову — вон она скользит через комнату серой волной с розовыми нежными лапками и черной сосулькой голого хвоста...

— Это тоже не объяснишь, — только и сказал тихо Пыжиков и опустил лицо, зябко задрав дрожащие плечи.

— А знаешь, Курицын, почему я сильнее тебя? Вешался... Вешался оттого, что не сломали. У меня душа осталась. Хоть от вас и не отличаюсь, — напряженно засмеялся он и клюнул сапогом кочку. — Я думаю. Я постоянно думаю — вот так. И я прорвусь — вот посмотришь. Главное — вроде как все, а внутри собой остаться. Понял? — И он улыбнулся, как улыбаются дети сквозь только что пролитые слезы.

— Угу, — сказал я. — Спи спокойно, сынок, спи спокойно.

Из подъезда вырулил Седов в кителе нараспашку и толстая тетка в белом халатике. Седов неловко поманил к себе зёму, а тот зарысил к нему, подобрав полы шинели.

Зёму забрали в армию после ПТУ. Нести свет в души подрастающего поколения он надумал уже тут.

А вот сейчас мы будем таскать мебель. Паршиво на душе что-то. Чуть-чуть. Как будто сильно пожрал перед работой. Или увидел любовь свою под руку с красивым здоровым мужиком. Будто отбегал огромный день по зеленой траве детского сада, напевая и радуясь, лег в кроватку под сказку, а проснулся — волосы седь.

Это все весна.

— Э-э, солдаты... шагом марш сюды! — неожиданно тонко, попетушиному, вскричал генерал.

Пыжиков по-собачьи подобрался, прижал локти к животу и затрусил к подъезду, я — за ним. Зёма ошеломленно улыбался и послушно тянул шею к генералу, успевая коситься на врачихину грудь, пышно выпирающую сквозь вырез халатика.

Генерал старательно бодрился при врачихе и даже наскреб сил, чтобы нахмурить взор, отчего стал похож на бухого мужика, доказывающего жене, что не знает, куда исчез червонец из шкафа.

— Значить... эта, сынок, ты — откинь борт. — Манипулировал генерал трясущейся рукой, имея в виду присанившегося зёму, который уже пялился на врачихины коленки, а она отвлеченно морщила ярко накрашенный рот. — Доски у тебя есть? Мы ее как по настилу, ага?

— Да не надо досок, товарищ генерал, — певуче протянула врачиха, переступая короткими сапожками. — Они ребята здоровые — так поднимут.

Зёма при этом улыбнулся, как идиот.

— Ну, тогда не надо, — согласился генерал. — Тогда, сынок, подгоняй задом прям к подъезду. Прям вплотную. Близко-близко, ага? — говорил он, раздраженно оглядывая пустынный двор, и неожиданно заорал: — Понял, сынок?!

Зёма вздрогнул с испуга и метнулся, как рысь, в кабину, борюча что-то про лысый череп.

— А вы — за мной! — рывкнул генерал, и мы шагнули за ним, чуть не сбив с ног врачиху, оцепеневшую от величия проявленной командным составом воли.

Генерал первым шагнул в лифт и прижался к пыльной стенке, сцепив на пузе руки; мы с Пыжиковым истуканами замерли по бокам, пухленькая врачиха втиснулась последней, втащив с собой запах помады и духов.

В лифте генерал закрутил головой, смущенный своей незначительностью, стал еще старше и жалче, никчемно повторял: «Да вот...» — и тоскливо глядел, как гаснут и загораются цифры этажей. Я внимательно изучал острый кадык Пыжикова. Тот, как подлинный интеллигент, смотрел прямо перед собой и никуда одновременно. Лифт был маленький — пианино не влезет. Это печально.

— Давай! — Мотнул рукой генерал, и мы завалились в квартиру с красными обоями и негромким медицинским запахом. Генерал сразу проперся в комнату, забубнил там: бу-бу-бу, — и оттуда

вылезла седая аккуратная мадам с жидким хвостиком на голове и напряженно сжатыми губами. Она отклячила толстоватый зад в вельветовых штанах и принялась расстилать дорожку из газет по направлению в комнату, без особого восторга наблюдая лужу, на-текшую с моих сапог. Пыжиков, козел, ноги вытер.

— Толя, — утомленно позвала она, закончив. — Ну все?

— Воины, сюда! — призвал генерал.

Вежливый Пыжиков первым осторожно прошелся по газетам, уважительно балансируя на краях сапог. Я протопал за ним с таким вывертом каблуков, что, кроме смятых газет, за мной должна была еще остаться дорожка вырванного паркета — мадам смотрела себе на нос, подняв брови.

Пыжиков замер поперек прохода, и я не стал тянуться через его плечо, а смело уперся рукой в обои к большому неудовольствию мадам и заковырялся пальцем в носу, критично осматривая добытый материал.

— Анна, — позвал генерал. И мадам, дрожаще прикрыв глаза, отстранила меня к стенке, протолкнув Пыжикова в комнату, и я, наконец, свалив шапку на затылок, оглядел фронт работ.

На полу лежали зеленые носилки, как пить дать, из нашего медпункта, — на них размещалась худая бабулька в черном пиджаке и белой кофте с кружевным воротником, опенявшем тонкую шею. Волосы у бабульки были совсем седые и кудряшками зачесаны в две неравные стороны, как на старых фотографиях. Она лежала спокойноненько, уложив граблистые ручки на байковое одеяло. Генерал натягивал шинель у нее в головах, врачаха с натугой закрывала небольшой чемоданчик с книгами.

Пианино в комнате не было — я ободрился.

— До свидания, мама, — проскрипела мадам и наклонилась к бабульке, которая раздвинула уголки морщинистых щек — заулыбалась.

Мадам разогнулась, поправила ножкой завернувшуюся газету и глянула на генерала, тронув шальную прядь, перечеркнувшую лоб.

— Ну, — сказал генерал, и все посмотрела на нас.

Бабулька сразу закрыла глаза, растопыренными кленовыми листиками ладошек прижав к себе одеяло, а врачаха покачала чемоданчик на весу: не гремит ли что? Ничего не гремело.

Генерал делал какие-то жесты руками, по-рыбьи двигал губами, мадам выдыхала воздух со свистом в сторону окна. Пыжиков тупо обернулся на меня.

— Берись, — прошептал я, добавив беззвучно губами всю известную мне армейскую лексику, — Берись за носилки!

Пыжиков неуклюже склонился к носилкам, чуть не достав своим носярой мелового лба бабульки; заметив это, чуть вздрогнул. Я крутанулся, пытаюсь прикинуть, как взять: задом идти или передом? Шинель толстая, тварь, задом будет неудобняк, да и поднимать придется на лестнице. Наконец понесли.

Мадам смотрела в окно, прижав тонкие пальцы к вискам.

Бабулька глаз не открывала, только сильнее сжимала губы. В лифт она не влезет никак, и мы с Пыжиковым забухали сапогами вниз. Дурак Пыжиков не просек моих мычаний, и потащили мы ногами вперед.

Генерал с врачихой закупорился в лифте, сдавленно что-то ответил на вопрос мадам: «Ингалятор взял?» Лифт ласково зашепел, а мы перли носилки по заплыванному ступенькам мимо интересно оформленных допризывной молодежью стен, у меня начала ныть рука, и бабулькина ножка терлась через одеяло о мою грудь, когда я на лестнице подымал носилки, — вот так вот люди грюжу зарабатывать!

Она только судорожно хваталась своими птичьими руками с черными венами за края носилок, когда мы очень удачно закладывали очередной вираж.

— Мамаша, еще что нести? — пропыхтел я.

Бабулька приоткрыла веки и уставилась вверх. «Вот стерва: помрет — обратно тащить придется», — добродушно подумал я.

До третьего этажа — еще куда ни шло, а потом я понял, что еще немного — и выроним. Оставалось только выяснить: кто уронит первым? Головой бабулька приложится сперва или ногами?

— погоди, — зашептал Пыжиков бесцветными от напряжения губами. — Секунду.

Мы чуть не грохнули носилки и блаженно разогнулись, поправляя шапки и утирая пот со лба.

— У нас во взводе... Валиахметов, знаешь? — Сердце у меня внутри металось, как груша, которую мутузил амбал-боксер. — Ну вот... он, как программа «Время», вешал на ремне гирию на шею — и качал. Качает и качает. Шустряков подходит: «Ты чего, Валиахметов, качаешь? Шея, что ли слабая?» А он говорит...

— Устали, мальчики? — глубоким протяжным голосом сказала вдруг бабулька.

— Да ничего, — быстро сказал я, — ну, так вот, Валиахметов ему говорит: «Товарищ старший лейтенант, знаете, когда снимаешь — такой кайф!»

— Устали, — опять повторила бабулька.

— Ну, вы чего там? — шумнул снизу генерал. — Застряли?

— Идем, товарищ генерал! — заорал вниз Пыжиков.

— Его зовут Толик, — улыбнулась бабулька и поглядела прямо на меня голубыми, как речной лед, глазами.

— Еще чего нести? — бодро осведомился я.

Она кивнула влево и вправо — нет.

И слава Богу! Я наклонился к носилкам. Пыжиков тоже сказал:

— Какой тогда кайф будет после армии.

— А самый большой кайф будет на кладбище.

Пыжиков улыбнулся своим мыслям, бабулька снова закрыла глаза и склонила лицо набок, а я считал ступеньки, поклявшись, что на сороковой, если не дойдем, брошу все к чертовой матери наземь — копать мой лысый череп!

В машине уже шуровал зёма, наскоро устлая пол брезентом и футбола сапогом грызки и окурки по дальним углам.

— Давай, помоги им, — тронула его за рукав врачаха, сидевшая на лавочке, выставив из-под халата свои налитые коленочки.

Зёма глянул на меня с немым хохотом — вот поржем потом, — ухватился за носилки, наливаясь натугой, и прошипел мне в ухо: «Во тебе и фортепяна. Рояль!»

— Лезьте в машину попридерживать там, — распорядился генерал, устроивший себе наблюдательный пункт на подножке, и поторопил зёму: — Живее, сынок!! — Посмотрел, высчитав, на свой балкон и потом по сторонам.

Зёма закрыл борт, глянул на нас: все пучком? И мы с Пыжиковым расползлись по лавкам: он вглубь, я — с краю, чтобы полюбоваться окрестностями.

— Придерживайте, — попросила врачаха. — Чтобы не ката-лась.

Пыжиков бессмысленно потрогал рукой носилки.

— Здравствуйте, — вдруг сказала бабулька.

— Здравствуйте, — внятно ответил Пыжиков. Я что-то тоже изумленно бормотнул в этом роде и, подняв воротник шинели, сунул правую руку за пазуху: вот интересно, вернемся мы к обеду или как?

Привычно вздохнув, врачаха подседа к бабульке поближе и раздельно сказала:

— Вера Петровна, ну, как вы?

— Я не расстраиваюсь, Ниночка, — твердо произнесла бабулька и часто заморгала, укрывая блеснувшие глаза. — Знаете, просто мой муж как-то мне сказал: старость — это общепит: еще не поел, а посуду уже убирают.

Машина выбралась со двора, и рогатые деревья перестали стучать по брезенту, роняя ледяные капли мне на лицо.

— В больницу? — тихо спросил Пыжиков у врачахи.

Она отрицательно покачала головой:

— В интернат. — И бодро повернувшись к бабульке: — Он у нас самый лучший в Москве.

— Ниночка, я себя ощущаю совершенно спокойно, — выразительно сказала бабулька срывающимся от сотрясений кузова голо-сом. — Я согласилась к вам переехать лишь с единственным условием — я никому не хочу быть обузой. Лежать, сложа руки, я не буду! Вы мне это гарантировали. Я способна читать вслух людям с плохим зрением. Если товарищи не будут стесняться — буду писать письма. Если дадут все необходимое — с удовольствием займусь ремонтом книг библиотеки. Что вы там еще говорили?

— Коробки для мороженого клеить.

— Да, и это... У меня есть опыт работы с лежачими. Себя я поэтому очень хорошо держу в руках. И товарищей смогу всегда поддержать. Я в девятнадцатом году работала в Варшавском военном госпитале, в Москве такой был. Меня раненые называли «то-

варищ комиссар», хотя я работала по культмассовой части. Если я заходила в палату и видела: играют в карты на кусочек сала или хлеба — я сразу брала колоду в руки и говорила: «Товарищи, нельзя играть на продукты. Может, вот ему мать свое последнее прислала. Вы завтра пойдете Советскую власть защищать — а ему надо выздоровливать. А если вы будете продолжать играть на продукты, эти карты полетят в печку-буржуйку». И следующий раз приходила, заглядывала осторожно — нет, не играют, или на копеечки. В госпитале у нас каждый месяц, вы знаете, устраивали вечера Бетховена. Я приглашала профессоров Московской консерватории — стакан чая им, конечно, сахара... По два куса. И кусок хлеба...

Машина мчалась по дороге, и светофоры были все зеленые, я вцепился рукой в борт и хмуро слушал дребезжащую, торопящуюся речь.

— А тогда пошла волна... колхозами все заинтересовались, коммунами. Мне комиссар сказал: «Сходи в Наркомпрос, книжек, что ль, каких понабери, а то раненые товарищи интересуются. И вот в Наркомпросе встречает меня такая милая женщина с чуть выпученными глазами, начинает подробно так расспрашивать; я сама не знаю, почему я ей все так рассказала? Что братик мой на каторге умер. За «Искру». Отца жандарм камнем убил, и про госпиталь наш рассказала, про концерты. А она, знаете, так прямо вся удивилась: «Как Бетховен?» — говорит. «А что, — сказала я, — у нас всем очень нравится музыка». — «Когда у вас следующий раз?» — быстро так она спросила. Я ответила, что как раз скоро. Она себе пометила в календарике. Я книжки взяла, а сама спрашиваю у секретаря: «А кто сейчас со мной говорил, товарищ? Такая милая», — описала ее. «А это товарищ Крупская, жена товарища Ленина», — ответили мне. Вы себе представить не можете, как я шла в госпиталь...

Она мелко подергала кадыком и жалобно спросила:

— Ниночка, вы не захватили ничего пить?

Врачиха достала желтый термос и плеснула в пластмассовый стаканчик чуть дымящийся чай, кивнула Пыжикову — дай.

Пыжиков с испуганными глазами достал свои клешни из карманов и, схватив стакан, коряво уселся на пол, склонившись к бабушке.

Она сморщилась и приподняла голову, поймала своими лиловыми с черными пятнами губами край стаканчика, в горле у нее что-то булькнуло, и чай запорожскими усами потек от уголков рта на носилки. Пыжиков отпрянул, вопросительно глянув на врачиху, уже протянувшую к бабушке чистую салфетку.

— Вы извините, товарищ, — жалко улыбаясь, говорила бабушка, — товарищ, как?

— Аркадий, — сухо ответил Пыжиков.

Я больше всего боялся, что сейчас она поинтересуется и моим именем. Бабушка меня пугала так же, как и весна.



— Товарищ Аркадий, — пробубнила бабулька сквозь салфетку, которой врачиха елозила по ее лицу. — И я хочу еще сказать, что комиссар госпиталя сразу мне сказал: «Не волнуйся. Она не придет. При ее занятости...» А на концерте мне сказали: «Здесь Крупская». И она сама захотела со мной поговорить. Спросила: «Как вы достигаете такой тишины?» Я ответила: «Никак. Просто все хотят послушать. Даже лежачие просят их кровати принести». Тогда она сказала: «Удивительно. Я обязательно расскажу про это Владимиру Ильичу». Это... это был самый счастливый... самый счастливый день в моей жизни. И я сейчас...

Бабулька замолчала, уставившись на железные ребра, обтянутые брезентом и напоминающие своды склепа или храма, на потолке которого, как сияние свечей, пробивался через дыры колючий, яростный мартовский свет, глухо пел мотор, и каменными ангелами скорби застыли бледный Пыжиков и толстая врачиха, обхватившая ручку круглый подбородок.

Я придерживал ногой под лавкой ведро — чтоб не звякало.

— Как мы жили... — зачарованно тянула бабулька. — Для раненых товарищей играли Мольера — «Мнимый больной», — на сцене стояла кровать. Больным была я. Лежала прямо на матрасе. А матрас оказался из сыпнотифозного отделения — я четыре месяца провела без сознания. Пришла в себя, когда кто-то сказал: «Ну что, в морг?» С палочкой, в платочке умершей соседки пришла в госпиталь — комиссар увидел меня и заплакал: «Вера, ведь ты умерла!» Я после этого работала в детдоме под Харьковом. С беспризорниками. И там рядом был графский дворец, и старик садовник при нем остался. Совсем старый такой... Поляк. Он все мне одно и то же толковал: «Золото все равно вернется. Вернется». Но ведь не вернулось! — иступленно крикнула бабулька. — Но ведь не вернулось... Мы были голодны, бедны, но мы были счастливы — это правда! Я в ужасе от того, что сделал Сталин, — он убил моего мужа, но мы все равно победим. Мы пробьемся! Мы выстоим и победим!

Разминувшись с мусоровозом, мы въехали в ворота интерната, украшенные румяным лицом сталевара и бронзовой фигурой пловчихи.

— Я теперь... Когда просыпаюсь по ночам — сколько всего доброго я вспоминаю, сколько добрых, чистейших, честнейших людей было вокруг. Я была знакома с женой Бела Куна, когда работала машинисткой в Институте марксизма-ленинизма. А какой чудесный человек кассирша Ирина Петровна — всего лишь за сорок копеек я могла пройти на бельэтаж, на ступеньках посмотреть спектакль... Я на пенсии посмотрела всю театральную Москву... Сколько я прочла, сколько... — Она еще не знала, что мы приехали. — И сколько добрых, хороших людей вокруг. Сколько надо людям сделать добра. И я буду помогать всем, кто вокруг... Их так много. Были б силы, были б только силы, — лопотала бабулька, а машина уже остановилась. — И самое славное. Самое главное, вы запомните!..

— Приехали, — объявил с улицы зёма и опустил борт.

Вокруг обсушенной солнцем лавочки, под свежим лозунгом «Больше социализма», стоял десяток инвалидных колясок с раскоряченными инвалидами, как стая грифов над падалью; они вовсю косились, кто во что горазд, в нашу сторону.

— Не туда! — крикнула одна инвалидка, наметанным глазом определив, что мы целимся в первый подъезд. Мы потащили приשמившую бабульку во второй — генерал шел слева от носилок, неуверенно улыбаясь.

— Здравствуйте, — сказала бабулька инвалидам.

Кто-то кивнул в ответ головой с безумно вытаращенными глазами. Зёма глядел по сторонам с неменьшим идиотизмом. Мы втащили носилки в бесцветный коридор. У меня ныли руки, но я неотрывно смотрел на седые, чуть рассыпавшиеся по сторонам, как у куклы, кудряшки и голубые горькие глаза. Стены были салатовые, двери туда-сюда.

— Двадцать третья палата, — шептал генерал, сверяя курс с бумажкой, вытасченной из кармана.

Из оставшегося позади кабинета кто-то вежливо вещал:

— Мест сейчас нет совсем! Ну как что делать: потерпите. И зимой — пожалуйста, мест навалом будет. Да у нас за год треть состава обновляется.

— Вот! — указала врачиха Ниночка искомую дверь. — Заносите!

В крохотной палате стояли впритык три кровати и тумбочка с иконостасом фотографий плюс электрический обогреватель на полу. Как только мы вперлись, даже плюнуть стало негде. Я вертел головой: свободной кровати не вырисовывалось. В палате был полный комплект — одна бабулька с присвистом слушала, что в подушке творится, повернувшись к нам равнодушным задом значительных размеров, вторая, деревенского вида из-за коричневого платка, с горбатым носом, что-то жевала тут же, скомкав в мозолистой ладони газету, третья в цветастом халате растерянно озиралась с ожидающей улыбкой.

Мы стояли, как истуканы, ожидая, когда генерал наскребет в себе сил закрыть изумленно распахнутый рот.

— Обед, что ль, Марь Ванна? — предположила бабуля с растерянным лицом.

— Рано ишо. Обед. Охфицеры каки-то. В шинелях, — цыкнула зубом Марь Ванна, заметно борясь с отрыжкой, и указала крючковатым пальцем на растерянную. — Слепая она, ни черта, стало быть, не видит, прости меня, Господи, грешницу, — и досказала: — А слышит хорошо. Враг ее знает, почему.

— Ну как же так, как же так? — затараторил генерал. — Ниночка, где главврач? Сейчас, мамочка. — И скрылся за дверями.

— Мамочка, ишь ты... — повторила Марь Ванна и подперла голову рукой. — Генерал, должно...

— Здравствуйте, — отчетливо проговорила наша бабулька.

— Здравствуйтя, — охотно откликнулась Марь Ванна, и слепая, вращая головой, как пограничник прожектором, повторила то же.

В палату осторожно вступил зёма, сдержанно присвистнув, и присел на краешек кровати, на которой мгновенно прекратила сопеть обладательница обширного зада.

— На пайку опоздаем, — грустно сказал зёма, наблюдая, как у нас с Пыжиковым отваливаются руки, а у меня вдобавок поперек лба проступала синяя жила.

Хозяйка кровати повернула к нему рыхлое лицо.

— Доброе утро, мамаша, — ласково сказал зёма.

— Громче ей, слышит она плохо, — посоветовала Марь Ванна.

— Что это у вас за фотокарточка?! — спросил зёма, показав на лицо юной красавицы с курносом носом и изогнутой бровью, так громко, что я подумал, что кого-то из инвалидов на улице может трахнуть инфаркт.

— Я плохо вижу, — пробасила спавшая и, взглядевшись, сказала: — Это я. У меня двадцать два хронических заболевания.

Зёма заржал. Пыжиков дергался, пытаясь пристроить коленку хотя бы под одну из ручек носилок.

Дверь бухнула, растворясь, и в палату прошаркала коренастая санитарка, позвякивая ведром с синими буквами «холл». Она сунула швабру по зёмным ногам, и он переместился в коридор. Санитарка не поднимала от пола свой крохотный лоб, перетянутый белой косынкой и равнодушно шваркала обильно смоченной тряпкой под кроватями.

— Машенька, — вдруг очень ласковым голосом разродилась зёмина собеседница. — Можно тебя попросить?

— Рот закрой, — буркнула санитарка, почесав затылок. — Сходи сама. Лакеев в семнадцатом году отменили.

Марь Ванна сверкнула глазами и по-куриному расхохоталась:

— У нас тута советская власть!

— Я после операции... — вкрадчиво напомнила просительница после вздоха.

— Потужись — не лопнешь, — посоветовала Машенька, ухватила швабру под мышку и вышла, бормоча, что «каждая тут...», и недовольно ответила «здрасти» на ласковое — «а это, товарищ генерал, наша санитарочка».

— Ща я схожу, — сказала слепая и пошлепала тапками к выходу.

Лежавшая, не обернувшись, качнула ей головой.

Тут залетели генерал и бородатый главврач с толстыми руками, которыми сразу уже и принялся махать.

— Вот здесь, здесь. Здесь вид из окна отличный, воздух лучше некуда, летом особенно, соседи вот...

— Какая кровать?! — отрывисто спросил Пыжиков.

Я только кусал губу.

— Что?! Да любая. Какая нравится, такая и будет. Какая вам нравится? — наклонился главврач к бабушке. Та закрыла глаза.

— Ну вот, наверное, у батареи, да? Здесь потеплее, стеночка, да? Вот здесь и давайте, да? — указал главврач на кровать Марь Ванны, с улыбкой наблюдавшей за этим, и тут же уложил свою лапищу ей на плечо:

— Марь Ванна, давайте пока в коридор — обождите чуть, а после обеда идите в дежурку. Пару ночей переспите, а там что-то освободится. Собирайте вещи пока.

— Да что мне собирать — все на мне, — хохотнула Марь Ванна. — Мне куда хошь, лишь бы не к мужикам — храпят дюже.

— До свиданьица, слепая, — обратилась она к застывшей в дверях слепой. — Может, свидимся ишо! Выселяют меня.

— До свидания, — пролепетала слепая.

— Вы любите читать? — спросила наша бабулька у слепой, но та с застывшим лицом оставалась в дверях, безропотно ожидая, когда и ей скажут что-нибудь.

Генерал бухнул:

— Вот сюда, сынки!

И мы с Пыжиковым немеющими руками чуть не выронили носилки на кровать — все!

Все!

— Да здесь такой вид из окна, деревья, липы, старушки ходячие цветов понасажали, — не успокаивался главврач, продолжая махать своими оглоблями.

За окном были видны белый бетонный забор и скамейка с инвалидами. Старуха в бордовом платке совала в рот парню неопределенного возраста папироску, а сверху прогибался колесом небесный мундир с единственной, зато надраенной на славу солнечной пуговицей. Мне стало тошно от запаха нечистого белья, скучной морды Пыжикова и нашего ублюдка-генерала, и я выбежал в коридор, подняв плечи, чтобы не оглянуться на бабульку.

— Э, погоду, носилки заберешь, — тормознул меня генерал.

— Извините, товарищ генерал, я в туалет хочу, — доложил я, прикрыл дверь за собой, заскрипел линолеумом по коридору и плюхнулся на скамейку за первым поворотом, сжав шапку в руке и подумав про себя: кретин.

— Ну... служивый, — опустилась рядом Марь Ванна. — Девка-то ждет али нет?

— Солдата дождется одна мать. Нету девки, — мрачно ответил я.

— Ну и что? Плюнь да разотри, нынче девок, ты не поверишь: кинь палкой в березу — попадешь в девку. И все развратны, хто знат какие. Ходют, зубы всем оголяют, и матершанники, матюшатники, матерошники!

— Вы переезжаете? — спросил я лишь бы что.

— А мне недолго, вона у Петровича жена приберется — я на ее место в шестую, к двум парализованным, — указала она пальцем на седого мужика, листавшего дрожащей рукой газеты. — Да мне что, разве привыкать? Нас как в тридцать третьем кулачили:

как белку обобрали — и в Казахстан. Во, как ездили! Мужик на фронте сгиб, я в землянке десять годов жила, а перед тем девять ребенков у меня было, все от скорлотины померли. А после войны меня Сталин на шесть лет посадил — купила у трактористов зерна и самогоном их угостила с салом. Мне бы, дуре, сказать — деньгами... Три раза судили! Показательным судом! А как выходила, конвойный молодой смеется, зубы каже: «Ну что, Данилова, будешь еще горилку гнать?» Я говорю: «Соломина колхозная за пояс зацепится — и то сниму к двору не понесу». Он засмеялся, а я стою — плачу. Вот ты скажи мне! — пригнулась она ближе, предварительно оглядев пустой коридор, и сказала в самое ухо: — Мы вот тут вдвоем, скажи мне: ну разве прав был Сталин тот? Ведь за ведро картох судили, за охапку соломы...

Я пожал плечами.

— А правду говорят, что сейчас за горилку уже не судят?

Я еще раз пожал.

— А мой, как на фронт уходил, все мне наказывал: береги детей, не сбережешь — приду, все виски повыдеру. А я говорю: эх, ворота туда широкие, а оттуда — узкие.

— Да, туда — широкие, оттуда — узкие, — кивнул я.

— Курицын! — Злой и красный Пыжиков стоял в коридоре с носилками в руках. — Иди. Прощайся.

— За каким ...?

— Она сказала... прощаться.

— Черт!!!

Пыжиков пошел к выходу, за ним под ручку с журчащим главврачом протопал генерал, а я подошел к палате, оглянувшись на крестящую меня Марь Ванну, и приоткрыл дверь.

Послеоперационная мамаша дернулась на кровати и почти с ненавистью глянула в мой адрес. Ошеломленная слепая что-то грохнула под кровать и не знала, чем занять руки. Наша бабулька была неподвижна, как мертвая, только таращила свои зоркие глазщи. Она лежала головой к окну — ни черта здесь летом не увидит.

Бабулька приподняла свою правую руку, не разжимая пальцев, я шагнул вперед и осторожно взял ее тонкие, как весенние ветки, пальцы. А она вцепилась по-кошачьи цепко в мою ладонь, судорожной последней силой.

— Товарищ, — шевельнулись ее губы. — Руку надо пожимать вот так. Чтобы чувствовать силу. И передавать ее.

— Да, — сказал я.

Наши руки распались.

— Спасибо, всего вам... до свидания, спасибо, — бормотал я и качал головой. Слепая, как дура, заторможенно кивала мне вслед, и болезненно морщилась ее подопечная. Глаза у бабульки блестели росой, и безобразный корявый рот дергался жалко и мелко, задергались брови, щеки, птичьи руки вцепились в толстое одеяло...

Я захлопнул дверь. Старик Петрович поднял свою большую голову и отставил в сторону газетный лист. Мне показалось, он похож на меня.

Я вылетел в коридор — и на улицу. Генерал, важно обняв свой живот руками, напутствовал:

— Ну, доберетесь? Повнимательней там, без происшествий, да... Ну...

— Плохо вот только, что на обед мы опоздали, — вдруг тихо сказал зёма, слегка под нос, естественно и бездумно, так вдруг просто солдатская мысль выскочила нечаянно из души, как кусок солдатского белья из-под кителя.

Седову стало стыдно — он даже глаза опустил, прикрыв их седыми бровями. Он замычал что-то с припевом: «Да, конечно», неловко засовывая руку в карман.

«Если даст трояк — посвящу зёме остаток жизни. Кормить буду с ложечки», — свято поклялся я, случайным шагом влево перегородившая вид набычившемуся чистоплюю Пыжикову.

Молодцевато откозыряв, мы быстренько забились в кабину, и зёма с невероятной проворностью вырулил на автостраду.

— Ну, чама, чего молчишь? — выпалил я. — Трояк?

— Хреном по лбу, — важно отрезал зёма и разжал ладонь: — Пятерка!

Ох, как мы ехали по весне, расплескивая радость на обочины и раздевая взглядом попутных баб и сосок. И было нам по девятнадцать, и ни черта мы не смыслили ни в чем, и, ох как нам весело было, и смеялись до визга шипящего и слез, матерились вперебой, и даже Пыжиков вдруг прыскал тихим смехом, зажав ладонями уголки рта, склоняясь вперед по ходу ЗИЛа. Жизнь метала нам карты лиц, домов, дорог, машин, гадая веселое будущее, и играло нами счастье, пусть серое и корявое наше солдатское счастье, но осязательно и зримо было оно, да и много ли нам надо — мы молодые, мы одни, работы нет, живы-здоровы наши родители — и хватит!

— Вишь, соска тащится! Соска, поехали с нами!

— Агхы-агхы...

— Может, та поедет, с ребенком?

— То не ребенок. То — другая соска.

— Я бы ей...

— Ногой по заду!

— Гы-ы-ы...

— А может, эту?

— Да у ей ноги кривые — как три года на бочке сидела, вон та получше.

— Фанера! Ее в постель и три месяца кормить — пока не поздоровеет.

— Пихать ее будут двое. Я и мой взвод.

— Я такую после армии выберу... Такую... На работу чтоб уходил — шмяк по ляжке! С работы приходишь — ляжка еще дрожит!!!

— Уыгх!

— Зёма, а ты мне после армии писать будешь?  
— Я тебя после армии встречу и узнавать не захочу.  
— Ну ты и борзанул, гы-гыгы...  
— Что возьмем на пятерик?  
— Колбасы, три пива. Актер, будешь? Все одно — три. И ба-тончиков. И курить.

— Может, и мороженое купим? — робко сказал Пыжиков.  
— Обязаловка, зёма, обязательство, — загорелся я и заорал в чаду сумасшедшей кабины: — Тормози, мать твою нехорошо!

Зёма тюкнулся в обочину, и, сиганув за Пыжиковым на асфальт, я вразвалочку забацил подковками к ларьку с синими выпученными буквами «Мороженое», где уже таяла лицом седая вялая бабушка.

Недалеко был киоск от «зилка». Только вот проехал его зёма почему-то. Возвращаться бы нам пришлось. Метров, может, тридцать всего. Я бабке пятерку сунул, а кретин Пыжиков стоял и мною любовался, будто у меня титьки по ведру. Он даже не услышал, как зёма тронулся. Это я уловил и голову вздернул за спину Пыжикова. Наш «зилка» по-резвому втопил и ходко затерялся меж серого каравана кузовов и фургонов, а прямо по обочине целеустремленно к нам вышагивал офицер в белой португее и каракулевой шапочке с большим золотистым знаком на груди, и по бокам его бухали отдраенными сапожищами двое рослых воинов в белых ремнях и с белыми штык-ножами.

Комендантский патруль.

Наконец и Пыжиков оглянулся и, побледнев, куснул воздух. А чего было кусать....

Я грустно опустил голову, сгреб аккуратно сдачу в кулак и прыгнул за угол, отбросив мрачного пенсионера в сторону.

Я помчался вдоль дома, молясь на первый переулок, глухие дворики и млявость патруля. Дурак Пыжиков бежал за мной. Господи, кто же бежит вместе от патруля! Надо сразу разбежаться! Надо, чтобы верзилы-белоременники имели в виду перспективу в случае догонки остаться с глазу на глаз с солдатиком-самоходчиком, которому уже мало что можно потерять, да и к тому же он и десантником может оказаться или просто амбалом с солидной репой, что хрен промажет. И какой же тогда толк — этому верзиле нас ловить?! Денег же за это не платят! Ну не может ведь он за одно удовольствие брата своего душить?

Я крикнул бы все это Пыжикову, я бы объяснил. Если бы не боялся, что, обернувшись, увижу слишком близко красные морды и жадные руки, и не побегут тогда мои ноги ни за что...

Я оглянулся, лишь влетая в проходняк: Пыжиков с трясущимися руками медленно шел к начальнику патруля, кусая воздух с одышкой и стоном, а ребятки резво, разгоряченные удачей, мчались за мной с интервалом метров тридцать.

Влетел я во двор — раз, два, три — голый дворик, песочница и бетонный заборчик на валу, гаражи бережет. Я пропахал склон и

замешкался вроде как у заборчика, вроде как примериваюсь, как бы его поспоровистей ухватить да осилить. Верзила, что мчался первым, прямо с лету и прыснул на меня, с рыком целясь за плечи ухватить. А я тут некстати оскользнулся и шваркнул навстречу ему ногой по склону (все-таки сырая нынче весна), и его малость подбил. Верзила, крутанувшись, вытер подолом аккуратнейшей шинели измызганный склон и даже съехал вниз на пару метров.

Я, вбив воздух внутрь себя, перевалил за заборчик и свалился на выдохе в узкую шелку меж забором и гаражами. И дернулся, заизвивался, всем телом протискиваясь по ней, тесной, как кишка, и душной, скотине. Понял я сразу, что надо было по гаражам бежать, да теперь не подтянешься уже. Я бежал и летел с натугой по железобетонным аппендиксам, тыркаясь во все углы в загогулины, и дыхание стало биться в черную жуть, и мерзко стало в животе — детство протянуло сквозь годы свою лапу, и вдруг в горле как запершило чем-то, щипнуло в глазах, и подумал про маму, про себя, по которому скучаю, про то подумал, о чем сердце всегда болит, — ну, хватит, стервы, хватит, хватит...

— Хватит, сынок, отбегались, — ласково сказали сверху. На гараже, измученно вытирая рукой пот, стоял второй белоременник. Он отдохнул еще малость, нагнулся, схватил меня чужим жестким движением за воротник и повел обратно по чертовой щели меж забором и равнодушными боками гаражей.

Я тяжело перевалил обратно забор и стал рядом с проводником, теперь привычно уцепившим меня за ремень. Я стоял еще спокойно, еще оценивая соску в окне напротив, и даже думал, не попросить ли у краснотика закурить. А второй, терпеливо матерясь, очищал шинель, брезгливо кривя морду. И где только набирают таких амбалов? Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона.

— Пойдем, — сказал первый.

— погоди, Ефим, — разогнулся второй от шинели. — погоди.

Он, сморщив лоб, быстро размахнувшись, ударил меня в грудь с горловым звуком «ум-м» так, что я никак не мог уцепить зубами воздух и шагал назад, заполошно вздыхая, и шагал, стараясь не упасть, пока не уперся спиной в стену, и опустил лицо на грудь, будто налаживая дыхание, — не будет же он по лицу бить — не дурак ведь, синяки останутся.

Он аккуратно приподнял мое лицо и, запрокинув его, обтер грязные обшлага шинели о щеки, особенно вдавливая ее жесткий ворс меж губ, до скрипа.

— погоди, погоди, бегунок, — шептал он. — Вот приедем в Аleshки, ты у меня еще свои зубки в кулачке потрясешь.

Они, ходко и размеренно вышагивая, подвели меня к начальнику патруля — майору с серым тусклым лицом, растяннувшим бесцветные толстоватые губы в пластилиновую усмешку: «А-а»...

Рядом стоял в до упора затуженном ремне, судорожно вытянувшись в команде «смирно», рядовой Пыжиков.



Мне почему-то показалось, что Пыжиков сейчас лопнет от дикого напряжения какой-то струны, дрожащей в нем с тоскливым воем. Я никак не мог отвести взгляда от его рыхлого студенистого лица с никакими пятнами глаз, от его крайнего, до затекания, выверта вскинутаго подбородка, от его напряженно вздрагивающего комка кадыка.

Армия — это страна без табличек. Ни объявлений, ни стрелочек, ни плакатов «Добро пожаловать сюда, дорогой товарищ!» Просто скромные, тихие заборы и железные калитки, и гадай на здоровье — боевая ли это часть или пристанище макаронной фабрики. И обязательно же приютится где-нибудь вход в этот материк как-то хитро, с вывертом, вроде ждешь его, вот-вот приедем, дескать, и дух уже обуяли страхи и ужасы — а нет: машина рулит дальше, и улочки все милей и мирней, и вот уже вздохнешь облегченно и шеей для разрядочки произведешь пару маневров — вдруг колеса враз и парализует супротив черной щеки ворот с прыщиком звезд. Сразу так и поймешь, что такое земное притяжение.

Плац на гауптвахте пустой и чистый, как обеденный стол. На его сером ковре, зажатом краснотой бараков, четверо сонных часовых (пятый топчется на вышке) в белых линиях пилотках с сияющими автоматами.

До сих пор не пойму: где они таких амбалов берут?!

В середине плаца на табуреточке, свалив на затылок фуру и подперев бледное лицо рукой, сидит лобастый старлей, начальник караула — начкар. За ним, благоговейно косясь на красивого, статного начкара с орлиным ликом, затаив дыхание и восторженно чуть ли не привставая на цыпочки, находится младший сержант — помначкар.

Мы сделали три шага. Раз. Два. Три.

— Стоп! Наза-ад! Солдаты... — тонким голосом по возрастающей завизжал начкар, и сонное царство чуть дернулось: часовые, блестя глазами, принялись поправлять подсумки, совсем расслабля помначкар. Сам старлей встал, еще сутулясь от долгого сидения и зябко подергивая плечами, продолжал, запрокинув голову с прыгающим горлышком тонких губ:

— Солда-ааты! На территорию центральной гауптвахты города Москвы — Алешинских казарм входят только строевым шагом! Равняйся! Смирна! Ша-агом арш! — Командовал он здорово, со смаком. Мы шлепали напряженным шагом, немисливо вскидывая судорожно прямые ноги, не дрожа ни клеточкой застывшего лица.

— Отставить! Команда «отставить» выполняется в два раза быстрее первоначальной. На исходную бего-ом марш!

Старлей широко улыбнулся, окаймив рот скобками морщин, и пропел, пестуя звук во рту:

— Сержа-ант! — Помначкар сделал стойку суслика за его спиной. — Сержант, мля... солдаты совсем не умеют ходить. Видимо, их не смогли научить в свое время. Займитесь этим вы. Если не хотите, чтобы я занялся этим с вами. — И пошел себе, скомкав зевок, лениватый и здоровый старлей, начальник караула, влитый в форму, вялой и сильной тигриной поступью.

Помначкар даже не взглянул ему вслед. Медленно стекленея взором, он приблизился вплотную к нашим налитым паршивым ознобом лицам.

— Та-аа-ак... — хрипло вышло у него. — Счас изучим строевой шаг. Степан!

Сзади вырос один из караульных.

— Ты займешься с тем... со шнобелем, а я этого обучу. — Растя восторженность в краешках глаз, он без усталости ласкал меня взором.

И звонко заголосил:

— Рав-няйсь! Смирна! Ша-гом марш! И рэз, и рэз, и рэз, два, три... Нога параллельна плоскости плаца!

Рота почетного караула плакала бы по ночам в подушку от зависти, если б увидела мой чеканный шаг.

Оценив, как я отсобачил шесть кружков, помначкар решил дать волю душе.

— Равнение вверх!

Я вскинул лицо на серую хмарь, закрыв глаза и слушая буханье крови в тесном, набрякшем нездоровой горечью теле.

— Равнение вниз!

А теперь подбородком в шинель, в крючок, до боли, и шагать, шагать, шагать...

— Равнение... назад!

И назад, с затекшей шеей.

— Равнение вперед!

У-фф. Пришли.

Степан оказался без особой фантазии. Он долго и нудно гонял нашего Пыжикова по плацу, разместив у него перед грудью автомат и призвав нашего актера расстараться доставать его сапогом, и каждый раз чуть качал автоматом вверх, когда старательный Пыжиков вот уже было достигал нужного подъема ноги.

В результате Пыжиков три раза грохнулся навзничь на асфальт, и часовые пару раз скупно улыбнулись.

На этом нас и спровадили в камеру, предварительно обыскав и отобрав все необходимое.

...Мы давно уже люди. И все уже простили и забыли. Если было что. Все скостили и подвели нужный итог. Сдали в архив. Все хорошо и местами нормально. И как-то даже не вспоминается.

Вот только раза два, когда осень и холодно, когда дует в комнатах и диван трет щеку, когда сам не поймешь, хоть и нечего думать — откуда? — в душу заходит цепная изголодавшаяся тоска,

царапая старую память, когда вдруг протекает писками, шорохами, скрипами тишина, и мурашки толпами бегут по телу, и щекотка выступающего пота в каждой складке, и сквозь осень и мрак встает опять черное мягкое марево, и фигуры-тени в потоках тусклого света, и тонкий звяк подковок по коридору и по душе: туда и обратно и входит вся разом, огромная и мощная, вползает пустая неподвижность, растирая по нарам все до капли и крохи, кроме усталости и страха, — и тогда мне ничего и никогда не надо от жизни.

Хоть и не вспоминается. Это правда.

Бр-р-р. Нам не повезло. Зацепили во второй половине дня — дознаватели уже по домам расплзлись, в часть никто звонить не будет, из части на ночь глядя тоже охотников ехать нет — значит, куковать до утра. От такой радужной перспективы я перестал улыбаться и дышал через раз. Но глубоко и размеренно.

— Я говорю: «Р-раз!» — и вас уже нет в коридоре — поставил задачу очередной амбал, распахнув двери камеры.

Только он открыл рот — Пыжиков уже примостился на дальней лавке, а я, сидя рядом, даже поднял руку, чтобы поковыряться в носу.

— Вон тот, — пробасил выявившийся в дверном проеме мой старый знакомый белоременник, не разделявший моих восторгов по поводу весны, и деликатно указал на меня кулаком часовому, значительно покачавшему головой.

Дверь с воем грохнула. Мрачность возросла в квадрате. Придется огрести. Мало не покажется.

Обнаружив, что под лавкой и на потолке неизвестные доброжелатели бычков не оставили, я огляделся.

В камере предварительного заключения скучало несколько человек. Три урюка-строителя довольно жизнерадостно что-то обсуждали на своем диалекте. Маленький и грустный урюк сидел у стены, облаченный в гражданский пиджак и синие кроссовки. У стены же стоял с приглашающей к сочувствию улыбкой краснотик-курсант в маленьких и металлических очках под густыми белобрысьми бровями, чистый, как с витрины щукинского военторга. Грустный морячок откровенно морщил лоб, обхватив голову ладонями, пытаясь задремать. Обросший связист все время фыркал и начинал что-то бойко рассказывать, поводя головой налево и направо. Пыжиков сидел на лавке прямо, будто ему провели серпом по жизненно важным органам.

Я метнулся в люди. Как раз один саксаул — аксакал-урюк — принялся расспрашивать своего соплеменника в полувоенной форме одежды. Курсант тоже краем уха цеплял эту беседу.

Забитый урюк отвечал тихо и жалобно, дергая вверх бровями. Он вроде был спокоен, только очень грустен. Я раскрутил любопытного саксаула на синхронный перевод.

— Говорит, увезли его куда-то. В увольнение пошел, два муж-чин подошли, говорят: «Поедем кататься на машине». Это на базаре было. Он поехал. А они завезли, это он говорит, в деревню... Или лес? В общем, там и оставили. Неделю, значит, семь дней он там побыл, дороги обратно не знал, говорит, а потом... потом его обратно привезли. Ботинки и китель отобрали, вот это дали. Ха-рошие кроссовки! — Урюк-переводчик сладко шурил маслянистые запя-тые глаз и качал головой. — Ну и все? Неделя.

Чумазенький и лохматый связист в очередной раз фыркнул и залился колючим мелким хохотком.

— Все! Я хренею! Пусть расскажет лучше, как его брали, па-пуас драный, чурка недоделанная...

Взяла, оказывается, грустного урюка милиция. И урюк с пере-пугу (боялся, что вещи на нем ворованные) побежал. И даже уда-рил одного милиционера. Да и второго потом тоже ударил. Спротивление оказал. Так боялся, что вещи ворованные.

— Лепит — хрен знает что! — сиял связист маленькими глаз-ками меж рыжеватых косм. — Хоть бы думал, что лепить! Да что ему думать? Голова-то — одна кость! Дисбат тебе, милый. Еще два годика. Деда, небось, в части драли?

Веселый урюк перевел. Грустный закивал быстро, прикрыв гла-за, и зачмокал губами. А потом вдруг бессвязно залопотал про семью, что он старший, и еще что-то про зеленые долины и орла в небе или вверху, потом про мать, много и всякого про мать разного, а потом веселый урюк устал переводить и бросил, а тот все еще говорил быстро и тонко, блестя в сумраке маленькими, до крика грустными глазками, налитыми болью, и черными, как смола, а урюк-переводчик самодовольно пояснял кому-то:

— Что-о? Нэ, ет нэ нашш. Эт тадшик, а мы узбеки. Ты разве разницу не видишь? Он же черний! Охрюнел, что ли. — Он так и говорил: «Охрюнел, что ли?»

Вдруг белобровый курсант аккуратно выговорил:

— А марку машины, в которой тебя увозили, ты не помнишь? Ну, с базара.

Забастовавший было урюк-весельчак перевел.

Чмошный чурка коротко ответил-отрубил.

Марку машины он не помнит. Нет, вообще не обратил.

— Им, чуркам, один хрен — водка или пулемет, лишь бы с ног валило, — фыркнул связист, — Вот так и живут: раз с гор за солью спустился, а его схватили — и в армию.

— А сам ты где служил? — поинтересовался у него один из чурок.

— Я с Тюмени. С болот. Я такую службу видал.

Он весело крутил головой, с удовольствием ощущая себя в цен-тре внимания, и коротко фыркал от этого удовольствия, потряхивая головой.

— Долго ты?.. — участливо спросил я.

— Второй день — а я уже в Москве. И учти — я сам сдался. Сам. У меня нервы не в порядке. И до армии так было, да-да, было, — сиял он ярче лампочки болезненным неприятным светом. — По ночам сны там всякие разные... А в армии в течение и ходе службы это ухудшилось, обострилось, вот — обострилось. И до такой меры, ну, степени, что уже не могу я достойно нести ратный долг перед Родиной по охране рубежей нашей священной Родины. Да и преступно это было бы скрывать. Я по месту службы обращаюсь к начальству, оно заботы не проявило, не почесалось, а я — оп! — и в столице. И папаня мой уже здесь, в гостинице, случайным проездом, и вина у него хватает. Из Молдавии мы. С теплых мест. И Тюмень! Хы-ы!

Он быстро оглядывался на честно пытающихся что-то понять изумленных урюков, раскатавших варежки и забывших моргать, и только повторял все, важно пофыркивая:

— Все чинно. Все чики-чики. Тока сны, придумать, долго ли, сны эти, — и подмигивал: знаем, дескать, об чем всякие такие разные сны бывают.

— А старослужащие, — опять открыл рот курсант, опрятный и держащий строгую фуру только на отлете, чтобы не замарать невзначай. — А старослужащие вас не трогали? В части вашей?

Связист замер, поднял лицо и с медленно-тягучей ненавистью выжал из себя, дрогнув щекой:

— Трогать можно... девку за сиськи. Деды нас гасили. Непонятно? Это когда... когда десять одного в туалете, ногами, всем... это когда... Голым... По казарме... Ночью маршируешь. Когда каждой твари обязан. Это когда... каждый день. Каждый день! — Он задохнулся и посмотрел под ноги, а потом вскинул лицо и тихо, но совершенно спокойно уже сказал:

— Так что, если меня не комиссуют — а меня обязательно комиссуют, — но если нет, а переведут в другую часть... Это ведь будет не сразу: недели четыре я по комиссиям и диспансерам прокантуюсь — это точно, а там уж до приказа рукой подать. Я после приказа духам шороху дам. Я всласть позверствую! Ученый.

— Как же это так? — Курсант все так говорил, холодно и равнодушно, — нравился он мне чем-то.

— А так. Раз нас, значит, и мы должны. Традиции это армейские. Не могут ведь все на службу болт забыть. Нужен порядок. Очередь. Кому-то ведь надо и службу тащить...

— А если война... — улыбнулся курсант, — салабоны в бой первыми? Вперед, а то — вечером на парашу?

— Классовая борьба! — не в строчку ляпнул морячок, не поняв, о чем разговор, а молдаванин почему-то грустно добавил:

— У меня отец поседел за четыре месяца, а волосы были...

Мы сошлись с курсантом с ироническими улыбками и понимающими взглядами и пошептались немножко в уголке.

Он на «губу» попал по глупости — приехал в отпуск, десять дней отгулял, а тут мамаша приболела — он бросился в училище

звонить, объяснять: мол, так и так... Ему посочувствовали и отпуск продлили — утешал курсант мамашу целых шесть дней, а по окончании их, наглаженный и начищенный, устремился в военную коммандатуру закрывать отпускной. Тут и вынырнула досадная накладочка — отцы родные из училища забыли отчего-то сообщить о великодушном продлении отпуска на место, и чистюлю-курсанта грубо засунули в неаккуратный «уазик» с зарешеченными окошками, и Алешинские казармы распахнули ржавый рот, принимая очередного клиента. Походив пару часиков четким строевым шагом и раздевшись раз шесть за тридцать секунд для удобства обыска, курсант был препровожден в камеру, где и коротал вечерок, душой мечась меж московской квартирой, где стоит в холодильнике недо-еденный им салат, и мамаша на грани очередного криза, и училищем, где поутру поет труба и где белобрысого курсанта готовили на завклубом.

Я еще что-нибудь узнал о курсанте, да приятность беседы улетучилась с мелодичным хрипом двери и деловитым лязгом конвоира:

— Лятун, бягом сюды.

Туалет был небольшой, но чистый. Даже очень. Я застыл у стены, стараясь удержать вибрацию колен в допустимых пределах. У окошка на подоконнике задумчиво тербил ножны штык-ножа красивый сержант — начальник этажа, что-то насвистывая тягучее и заунывное. Еще пара конвоиров курили, повернувшись ко мне спиной. У них были круглые в крепкие затылки с серебристой щетиной волос, и застиранные кители без единой морщинки облегли мощный разворот плеч.

Приведший меня часовой покрутил головой с явным предвкушением веселья и, видя, что оно еще не наступило, хрюкнул: «Вот он» — И, с сожалением покачав головой, вышел, обернувшись в дверях.

Один из курцов чуть обернулся на меня и основательно продолжил курить, что-то тихо рассказывая своему напарнику. Было тихо, и цокали подковки в коридоре, да сильный звонкий голос орал во дворе: «Егор! Егор-ор! Егор! Мать твою...».

— Иди сюда, — тихо сказал вдруг красивый кареглазый сержант и, качнувшись, прошел в душевую. Ох, как мне не хотелось отрывать беззащитную спину от гостеприимной стены и проходить мимо курцов, как назло, чуть притихших. Прикладом меж лопаток — это подходящее начало для таких дебатов в парламенте.

Я тенью скользнул вдоль стены, бесшумно, как мимо вахтера женского общежития в пять часов утра.

В душевой задумчивый и томный сержант с чистым лицом вязко прошагал к окошку и смел с подоконника на пол «хэбэ» с красными засаленными погонами, щетку и осклизлый кусок мыла замазочно-го цвета.

— Вот, — сказал он. — Постираешь.

Все смотря мне в глаза с какой-то полугримасой, он чуть крутанул баранку вентиля, и вода запела свою шелестящую песенку. Он все смотрел на меня, не моргая даже — это зверье зверьем, у которого была мать, которая звала его как-то по-своему, и который краснел, когда его знакомили с девушками, у которого отбили все человеческое за полгода в учебке и за полгода салабонства, который всю жизнь будет выдавливать этот гной, так и не выдавив до конца, — да что же я все о себе-то...

Он ушел, обронив:

— Синий кран — холодная вода, красный — наоборот.

Я опустил на колени, я подвинул работу под кран — «хэбэ» стало темнеть, напивавшись водой, я по инерции тер мылом щетку, чувствуя, как какая-то шальная, сорвавшаяся невесть откуда шестеренка лихо крушит все вокруг, ломая связи и терзая душу, оставляя после себя пустоту, провислость и боль. И опять защипало в глазах, и взмок страхом лоб.

Я теранул щеткой пару раз и слабо отшвырнул ее в угол, уронив лицо на плечо, изогнувшись во вздохе, натяжном и бесполезном.

Так, бил я себе в башку, так. Мне крупно повезло. Краснотик не злой — бить не будет. «Хэбэ» постирать... всего-то... это полчаса под настроение. Тем более — один и без присмотра, — твердил я себе. — Лафа. Можно подзатянуть и с часовым поговорить — обиду загладить. И вообще все хорошо. Завтра нас заберут в часть. Отбрешемся — случай глупый. Ну, впаяют суток пять, так это ведь на нашей, гарнизонной «губе» — там только чурок и урюков дерут. Все здорово и чинно. Все здорово. Я — рядовой Курицын. Я — гражданин СССР, я член — ВЛКСМ. И сегодня мне повезло. Краснотик не злой. После армии? А что после армии? Я приду к врачу, я скажу: заснул на политзанятиях, ударился головой о стол — все забыл. Потеря памяти. И скоро будет весна. И май придет безбрежным весенним ливнем, когда земля вспухает, опоясанная лакированными ремнями морщинистых ручьев, блестят тропинки, вытягиваясь в сумраке осклизлыми дождевыми червями, капли впадают в плечи острыми осами, и машины спят у обочин, подстелив себе последние коврики сухого асфальта, пузыри лесосплавом путешествуют по дорогам, а водосточные трубы цедят козлиные бородки серых струй, когда в набрякших зеленой кровью капиллярах веток мокрой растрепанной рюмкой торчит воробей, и земля пахнет тополиными почками, а солнце утром подыметя и высветит просторы вымытой громады земли и серые глаза домов, опущенные ресницами деревьев, — это все, когда дождь, весна и май.

И в такие дни так не верится, что прибежит когда-нибудь мокрая рябая курица и завалит белой скорлупой все на свете.

Мне страшно хотелось плакать. Это все проклятая старуха, это все весна, дура и тварь.

Сержант-симпатия внимательно читал газету у подоконника, слушая, как кряхтит один из конвойных, сгруппировавшийся в

кабинке, и насвистывает другой, натирая сапоги войлочной лентой.

— Уже постирал? — тихо сказал он, подняв свои печальные глаза.

Вода шелестела, как далекий веселый ливень в кроне густого тополя.

— Нет, — качнул я головой. С трудом качнул.

— А чего?

— И не буду! — Лопнуло во мне, и потекла горячая зыбь по телу, застывая ноющими сосульками в пальцах, делая ноги ватными и звуки глухими.

— И почему? — Забил по шляпку очередной гвоздик-вопрос грустный сержант, ничуть не меняясь лицом.

— Та-ак, мля-а... — заревел конвойный за спиной, делая ко мне два широченных шага, по-хозяйски расправляя складки под ремнем.

— Да погоди, Никита, — сморщился сержант и повторил тихо и скучно: — Так почему?

— Я и по салабонству никогда не стирал. Пахать — пахал, получать — получал, а стирать не брал, хоть и били. Я не шестерка. У нас это только шестерки делали. Я свое честно отпахал.

— Что-о? — Весь аж искривился конвойный, дернув рукой; я резко отпрянул к стене с бешеным замиранием сердца.

— Да подожди ты, — резко сказал сержант. — Так почему? У нас все «хэбэ» стирают. Шестерки сапоги чистят. Да и не узнает никто об этом у тебя в части... Если только поэтому. — Он медленно улыбнулся, и качнулся немного грустный мирок в его глазах, закачалось немного их озерное таинство — и не понять, что выплывет из этих смешавшихся капелек за камышом ресниц. — Если только поэтому...

Я тупо отрицательно качнул головой, стараясь не смотреть на конвойных, и понял, что вряд ли что еще скажу. Выждал, что мог. Вышло, что получилось. А что из чего — сам черт не разберет.

— Ну... идите в камеру. Скажете, я вас отпустил, — вежливо кивнул наконец сержант и усталым неловким движением отодвинул в сторону багрового от ненависти Никиту — без пяти минут Везувий.

Вода все шелестела и шелестела и потрескивала, как дрова на жарком огне. Сержант уже нетерпеливо морщился, теребя в руках газетку, на которой держал пальцем место, где бросил читать.

— И-ди-те.

Я сделал два шага, раскачав онемевшее тело; воду стало слышно глуше, а в коридоре весело перецокивали подковки и звенели ключи на связках.

Еще шаг — и в закатном солнечном луче, распиленном шоколадкой решетки, плыли серебристые пылинки и падали на доски, дочиста выдраенные, с чуть заметными островками краски — тем-



но-коричневой, цвета болотной недвижимой трясины, вязко подрагивающей от внутренних ломаных судорог.

Я обернулся, слотнул исчезающий комок в горле:

— Все равно это неправда. Все равно вы... краснотики драные и чмошные. Душить вас надо, тварей, и с поездов под дембель сбрасывать... Волки вонючие. Раздолбаи поганые, рвачи, дешевки...

Сержант внимательно углубился в газету, отогнав ладонью вялого комара, очнувшегося от зимнего тихого часа и занявшего обиженно в тишине.

Из кабинки, на ходу застегивая штаны, вывалился любитель подремать в глубоком присесте, но прежде, чем он попал ремешком в пряжку, я, уже сломавшись в поясе, сполз на пол, выдыхая хрипкое «а-а-ах», что есть силы жмурясь, будто боль угнездилась в глазах и надо только сжать ее посильнее, а она вытечет, расплывется, забудется, как смывает волна легкий след, как пряталась она в детстве в страну кощеев и хулиганов, когда мама дула на ушибленную руку, и тепло было, и всегда был свет.

Когда все закончилось, Никита подвел меня к желтоватому зеркалу и нежно прошептал на ухо:

— У нас все нормально?

Морда у меня была плакатно-румяной. Все остальное — под «хэбэ».

— Иди, бегунок, — по-братски ласково потрепав меня за ворот, напутствовал Никита и вытолкал в коридор к с трудом сдерживающему улыбку часовому. Тот, насвистывая, косясь на меня и строя важные гримасы, сопроводил меня до дверей.

Сокамерники поглядели на меня испуганно. Как на разведчика погоды, принесшего весть о грозе.

Я присел, аккуратно уложив ладони на коленях, и стал тихонько дышать животом, пытаюсь разогнать ломоту по всему телу, стараясь чем-то занять себя, чтобы не думать...

Пыжиков, чувствуя свой обязательный долг сослуживца — утешить и исцелить, тяжелыми шагами, на ходу вздыхая и скорбя, подошел и опустился рядом на нары с таким скрипом, что все вздрогнули.

— Сволочь Швырин, — тихо сказал Пыжиков. — Хоть он тебе и зёма.

Мне захотелось поговорить.

— Почему это?

— Как почему? Эта скотина бросил нас и уехал. Это мерзость!

— Видишь ли, сынок, мы допустили вопиющее нарушение воинской дисциплины — уговорили рядового Швырина изменить маршрут следования и сделать остановку у киоска с мороженым, самовольно покинули машину, несмотря на протесты рядового Швырина, — скривив морду, заканючил я. — Когда увидели комендантский патруль, попытались скрыться. Рядовой Швырин, убедившись, что мы уронили настолько низко свое достоинство, что

оказываем пассивное сопротивление патрулю, вынужден был уехать — ведь мы даже не были внесены в путевой лист. Перевозка пукающих развалин не входит в выполнение боевой задачи нашей части...

Пыжиков вдруг вскинулся и еле прошипел со злобой:

— Я... Если б ты знал, с какой бы радостью я набил бы тебе морду! Эта старуха... Она...

— Закрой рот, сынок. — Я тоже что-то психанул. — Ты за ней походил бы лет десять, ты бы дерьмо потаскал в тазике, ты бы одно и то же сто раз послушал — я бы поглядел на тебя. Она ведь уже не человек! Что ты понимаешь в жизни, сынок? Как ты можешь судить?! Кто тебе вообще дал право рот разевать? Завтра тебе старшина разъяснит политику партии — я гляну, как ты запоешь!

— Ну зачем ты?.. — Затер руками Пыжиков, побледнев до дрожи. — Этот идиот бросил нас, поэтому мы и побежали, испугались... Мы расскажем завтра, мы...

— Что расскажем?! Рядовой Швырин уже объяснительную написал. Если б сомневался хоть бы чуть — представители нашей славной части уже стучались бы в ворота Алешинских казарм. Да и какая разница? Неужели обязательно тащить еще одного в прорубь... Что делать, как — это его личное дело. Нам от этого хуже не будет. Мы, вот мы, мы лично виноваты? Да, виноваты. Понесем наказание. Зачем путать сюда Швырина? За то, что ему повезло? Ты не суй морду в чужое корыто. Поспокойней, сынок.

— Ни хрена себе спокойней! Я начинаю людей ненавидеть в армии, мне вот и сейчас любому... И тебе... Хочется в морду...

— Оставь в покое армию, кретин! Неужели ты так ничего и не понял?

— Но Швырин все равно подлец.

— Я бы на его месте тоже уехал. Если б он не уехал — дураком бы назвал.

— Не ври... На черта тогда ты не стал стирать «хэбэ» этим изуверам?

Я усмехнулся и сжал зубы. Пока меня не было, в благих целях назидания товарищам было объяснено, как надо себя вести и как не надо на моем скромном примере; небезынтересно — в ходе этой познавательной беседы было оглашено, что мое лицо два раза опускали в унитаз?

— Они не изуверы. Они хорошие ребята. Надо их понять. Они выполнили свой долг. Мы кто? Козлы, в общем-то. Нарушители дисциплины. Злостные. С такими, как мы, так и надо. С нами по-другому нельзя. Ну как по-другому? Если копать — дело другое. Ну ты каждого копни, вот кто из этих виноват? Да никто. Бежать из армии вынудили: били, издевались. Те, кто бил и издевался, тоже чисты, их ведь еще больше били, над ними еще больше издевались. Сынок, ты плюнь на все. Ты как говорил: унитаз трешь — а про себя про свое думаешь...

— Только и осталось целоваться налево и направо, — выпалил Пыжиков. — Забыть все, и это забыть! И Швырину улыбаться? Хи-хи, как там твоя соска? И никто не виноват?! Не бывает так. Кто-то ведь виноват.

— Американский империализм, — заключил я и понял, что наговорился.

— Нет, ну а какого черта ты не стал им «хэбэ» стирать? — Пыжикова почему-то сильно волновало это обстоятельство.

А меня очень волновала боль в животе и крупно занимала мысль: что на практике означает расхожее выражение — опустить почки?

Урюк-переводчик осторожно подошел к «телевизору» (зарешеченное окно в двери камеры) и спросил у часового, внимательно изучавшего половицу:

— Скажи, пожалуста, сколько время? Спать можно?

Часовой посмотрел куда-то вбок и величаво качнул головой: «Можна». Все повалились на нары, укладывая под головы шапки и пряча ладони под мышки, согнувшись, друг за другом, лицом вниз, забываясь косматым, невеселым сном.

— Встаа-ть!

Миг — и мы стояли напряженной шеренгой, глотая горьковатые и душистые комки дремоты.

Против нас щурил молодецкий взор орел-начкар с бесцветным лицом и вялым губами. За его спиной тянулись с неистойвой физиономией помначкар и красивый сержант — начальник этажа с грустным умным взглядом, — мой приятный знакомец. Часовые деревенели в коридоре.

— Х-кто-оо?! — фальцетом, задыхаясь, выводил начальник караула. — Кто-о!!! Кто, сто чертов вашу мать, позволил спать? А? — крикнул он, и его голос, звякнув в потолке, бичом ударил по ушам.

Часовой в коридоре сожрал глазами строй и лишь втягивал носом воздух, зачарованно покачивая головой с видом «Ах, как вкусно пахнет», что в данной конкретной ситуации означало: «Чего я только вам не сделаю, если скажете...»

Строй оскотинело молчал.

— Как?! Как?! — жалобно, со слезой изгибался начкар, трясая перед распаренными трясушимися веками корявой ладонью, приглашая в свидетели верных краснотиков, как неумолимо и страшно рушится самое святое, подвергается подлому растоптанию и неистовому растлению. — Ка-ак, — выстанывал он. — Это что-пше? Теперь в центральной гауптвахте города Москва — Алешинских казармах — мужички сами объявляют себе отбой?! А-аа?!!

Сержанты страдали.

Начкар резко выпрямился и уцепился ладонями за ремень.

— Часовой! Часовой, эти люди будут стоять всю ночь по стойке «смирно». Ясно?

— Ясно! — светло чирикнул часовой с таким выражением, будто начкар распорядился принести в камеру вино и фрукты.

Едва не вздрагивая плечами, начкар вышел. Помначкар озверело поглядел на совершенно безучастного начальника этажа, заковырявшего в зубе, обещающе вздохнул в нашу сторону и вылетел востлед.

Когда высокие гости отбухали сапогами на следующий этаж проводить вечернюю вздрючку, в камеру спокойно зашел часовой.

— Так, — сказал он, — ребята. Алешинские казармы — уникальное место. Здесь была казарма для рекрутов Петра I, потом женская пересыльная тюрьма — в частности, в этой камере сидела Надежда Константиновна Крупская. Когда здесь разместилась гауптвахта, одну ночь в ней провел Юрий Гагарин. Проникнитесь этим. Значит, все знают, как выполняется команда «смирно»? Все. Это хорошо. По команде «вольно», которую я буду периодически подавать, я разрешаю... — он глубоко задумался, — ослабить большой палец на левой ноге и опустить нижнюю губу, — он еще глубже задумался и подтвердил, тряхнув раздумчиво рукой, — да... нижнюю... Теперь... теперь надо выбрать дежурного. Дежурным будешь ты. — Ближайшим оказался Пыжиков, и его плечо удостоилось чести послужить опорой величавой длани часового, который, кинув оценивающий взгляд, заметил того на всякий случай. — Со шнобелем. Значит, слышь, дежурный. Как тока я замедляю свой шаг у вашей камеры — отметь, — наставительно воздел он указательный палец, — не останавливаюсь, а замедля-аю! Ты! — Палец уперся в качнувшегося неваляшкой Пыжикова. — Ты громко и отчетливо докладываешь: «Камера, смирно! Товарищ рядовой, камера задержанных в составе десяти человек! Дежурный по камере — арестованный Раздолбайчиков» Усек?

— Да, — сипло сказал Пыжиков и повторил удачней, — да.

— Попробуй, — велел часовой.

Пыжиков уверенно и точно отбарабанил нужное. Часовой повалил.

— Молодец. — И еще добавил: — Поближе к ночи говорить будем даже так: не товарищ рядовой, а «хозяин» или, — улыбнулся он, довольный своим остроумием, — или «господин штандартенфюрер».

Выходило и впрямь звучно.

— Лучше фельдфебель, — тихо сказал курсант.

— Сынок, а ну-ка сними очки, — улыбнулся часовой.

— Я плохо вижу. Я очень близорук, — еще тише сказал курсант.

— Это меня не дерет. Задержанные не имеют права иметь очки. Я обязан исправить ошибку смены принимавшей вас.

Курсант снял с раскрасневшегося лица очки, аккуратно сложил дужки и осторожно подал часовому, уже что-то начав говорить, но осекся — часовой с ходу швырнул очки за спину в коридор. Тонко хрустнуло стекло на серой каменной плите.

— Чегой-то, Федя!? — дурашливо спросил второй часовой из коридора, наступив каблуком на серебристую восьмерочку оправы.

— Ничего-то. Уронил что-то.

— Ну и ничего, — одобрил его приятель и пошел себе дальше, гоня перед собой позванивающую оправу от стены к стене. Когда она ударялась о железные двери камер, звук был чище и звучней.

— Смирно!

Мы вытягивались, и дверь зевнула, а я почему-то думал, что курсанту, наверное, эти очки подарила мама в пятом классе, и он каждый день протирал их замшевой тряпочкой, подышав на стекла, и хранил футлярчик, который носил в специальном отделении ранца или прямо во внутреннем кармане на груди. Глаза у курсанта влажно отблескивали тусклым светом почерневшего от времени фонаря.

Я даже не вздохнул. Все стояли, тупо опустив головы и смотря перед собой на нары. Мир был чужой и скучный до тошноты — неровные щербатые стены в грязных потеках цыплячьего света, наивно-салатовые доски нар, бело-зернистые, как козинаки, плиты под ногами и огромное твоё тело, которое растёт и растёт. Мы стояли, тупо опустив головы, как стоят, наверное, ночью в цирке слоны после трудового дня, не шевеля лобастыми головами, упершись в пол одной большой мыслищей-хоботом о том, что где-то шумят влажные джунгли, и дикие птицы орут вразнобой, невидимые в диком скопище деревьев, и кипит жизнь, страшная и родная. Тишина вползает, крадется туманом и растёт вместе с телом, гипнотизируя каждого змеиным ритмичным вздрагиванием сердца, а тело — огромная держава, иное уже далеко, бог весть где расположенное королевство, где уже помышляют о бунте, хотя уже нагло согнуть колено и дерзают о нем мыслить — скинуть вообще тело, не держать его больше, а руки — удельное княжество, которое тоже правит в сторону, разжимает пальцы, а голова далеко, и что всем до бед её и печалей, а ты думаешь и думаешь о чем-то пустом и темном и, скорее всего, смотришь и слушаешь пустоту и тишину, а тишина уже поднялась до горла и душит тяжело тебя. Ты начинаешь вдруг чувствовать свои веки и, когда моргаешь, вдруг ощущаешь удовлетворение от того, что веки гладят глазное яблоко и гасят эту пустоту, и моргаешь все протяжней, натужно слушая уходящий все дальше неторопливо-млявый разговор часовых в коридоре, и решаешь, что лучше уж закрыть один глаз, а все силы сосредоточить на втором — дежурном. Выходит не очень — левое веко тяжельми жалюзи рушится на левый глаз и неведомым физиологическим законом тянет за собой и второе веко, и приходится затрачивать дополнительные усилия, чтобы сохранить положение вещей.

Я один. Я даже меньше, чем один. Я просто желтое пятно на стене и тишина, где нет даже места мушинуму перелету. Я зыбкое, вязкое лицо, в котором качается тяжелая ртутная масса, и затвердевшее дыхание, как песок, засасывается в легкие. Я маяк, и руки мои и ноги — это далекие корабли, и не моему свету они служат,

и не судья я им и не советчик, а где-то стонет и плачет разоренная страна моего тела, избитого века назад. Вот и все. И дыхание будто замирает, становясь все глуше и глуше, сопение уходящего в туман парохода — и ничего уже нет, и тишина лишь качается слепо и устало.

Я вздрагиваю, потеряв равновесие. И с шумом выдыхаю дрожащий воздух, покрывшись испариной. И все начинается сначала.

Часовой, сам малость обмякший, доклацал сапогами до камеры и хмуρο поглядел на нас.

— Товарищ рядовой, — мощно выдал ему Пыжиков.

— Угу, ясно-ясно, — озабоченно покачал головой часовой и грозно проговорил: — Бичи, кто будет давить на массу в строю, — вешайтесь сразу. И команды «вольно» никто не давал!

Он уцокал. Один из урюков прошептал в тишине свое абстрактное желание, чтобы матушку этого часового изнасиловали самым извращенным способом. Правда, выразил он это куда более кратко и общепринято.

Мы еще постояли. Я решил разжимать и сжимать правую кисть, чтобы не уснуть, и даже подумал, что к утру великолепно накачаю правый бицепс. Или трицепс? Вдруг морячок решительно вздохнул, бесшумно подошел к нам и осторожно свернулся на них напряженным калачиком. Покосившись мрачно на «телевизор», все ринулись к нам. Пыжиков постоял немного один, осоловело и хмуρο глядя и, шмыгнув носом, тоже подошел к нам. Только не лег, а присел. Мы не спали — не пили взахлеб, просто лизали языком блаженное море сна, смачивали им глаза и губы, освежая лицо, возвращали верность ног и рук, чутко слушая тишину коридора, — как только раздавалось размеренное цоканье, все беззвучно прыгивали с нар и выстраивались замечательно ровной шеренгой, и Пыжиков звонко орал, что у нас все хорошо и радостно, господин штандартенфюрер, и как только тяжело несший голову часовой уцокивал продолжать монотонное бормотание с коллегой, мы устремлялись к своим родным нарам с гораздо большей горячностью и любовью, чем если бы нас там ожидала Джина Лоллобриджида. Порой тревоги оказывались ложными, часовой, вместо того чтобы идти к нам, просто переступал с места на место; тогда мы, сделав выдержку, иронично переглядывались и занимали положение лежа, а моряк огорченно сплевывал и ужасно матерился шепотом. Быт налаживался.

Однажды мы вскочили как ошпаренные — по коридору мляво цокали сразу пары сапог. Пыжиков в очередной раз доложил нашу визитную карточку красивым баритоном, и в камеру, солидно позвякивая связкой ключей, заглянул красавец сержант — начальник этажа, мой приятный знакомый. Не разжимая губ отекшего лица и сонно сдвинув брови, он бегло осмотрел строй и уже в дверях посмотрел внимательно на Пыжикова, напряженно задравшего остроносое бледное лицо.

— Вы дежурный? — тихо спросил сержант.

— Так точно! — Таким тоном говорили «Сударь, вы подлец!» в XVIII веке.

— Угу. Вы можете лечь. Слышь, Федя? — повернулся он к часовому и собрался уходить.

— Я спать лягу только вместе со всеми товарищами. И только так! — прозвенел голос Пыжикова.

Кареглазый начальник этажа даже не обернулся и пошел дальше. Часовой запер камеру и побежал его догонять. А мы ласковой шелестящей волной накрыли нары.

— Слушай, дежурный, ты все равно не ложишься — двинься на край, — пробурчал сумрачный молдаванин, приглядевший самое безопасное местечко у стеночки. Пыжиков пересел на край, болезненно сжав губы.

Не успели мы толком и губищи на сон раскатать, как по коридору опять покатился перецок, бодрый и летящий. Мы еле успели изобразить строй, а зазевавшийся Пыжиков вообще пошелся и метнулся в шеренгу, когда «телевизор» заслонила голова гостя.

Дверь мигом распахнулась, как глаза изумленной девушки, и в камеру залетел красный и разгоряченный помначкар, за ним острожно заглянул часовой.

— Та-ак, мля-а, хлопаны в... — выдохнул помначкар и зацепил за горло Пыжикова. — Сынок, тебе невнятно говорили, что спать нельзя, собака ты хлопаная. А?! — выкрикнул он прямо в судорожно выпученные глаза и слабо дрожащие губы Пыжикова. — Ты что-о, милый?! Служба медом показалась? Забил на все? Опух? — орал он, покрываясь блестками пота, и с каждым словом швырял Пыжикова на стену на вытянутой руке. Тот с каждым ударом все больше мяк и глубже переламывался в поясе, инстинктивно пытаясь нагнуть лицо, прикрывая глаза и болтая ненужными длинными руками.

— Егор, ему Кирсанов спать позволил, — басом пояснил часовой, выгадав паузу.

Помначкар брезгливо швырнул Пыжикова в угол, быстро выдохнул и, хрипло бросив часовому: «Прикрой дверь», шагнул на нары. Оглядев дважды слева направо сонно равнодушный в покорности строй, хмыкнул:

— Чмо, а ну запрыгнул в строй! — Когда голова Пыжикова завиднелась на фланге, помначкар даже улыбнулся: — Та-ак. Ну что, сынки, любим поспать? А? Национальность? — ткнул пальцем в крайнего.

— Узбек.

Помначкар, аккуратно занеся правую ногу, метко двинул сапогом в грудь покачнувшегося посланца Средней Азии.

— Национальность?!

— Узбек.

— Н-на! Национальность!

— Русский...

— Дальше.

— Таджики.

— И тебе. Национальность!

— Украинец, — мрачно пробурчал себе под нос моряк.

— А? Хохол, что ли? Ну, ты дыши глубже... Национальность!

— Русский, — вяло ответил я.

Моему соседу урюку повезло меньше — пытливый анализатор национального состава нашей камеры на этот раз малость промазал и угодил ему в верх живота так, что урюку срочно приспичило посидеть, и он присел с тонким, рвущимся сквозь зубы стоном.

Опросив всех, помначкар легко спрыгнул с нар и прислонился к стене, свалив на затылок пилотку.

— Та-ак, — пропел он. — Стол видим?

Столик, размером с вагонное стекло, был привинчен к полу в середине камеры.

— Р-рясь! Сир-на! Внимание, камера, строимся под столом на три счета. Раз! Два! Три!

Мы разом бросились к столу. Под ним уместилось только четыре урюка, которые после мгновенного замешательства встали на колени и уперлись головами в крышку. Остальные сгрудились на коленях и корточках рядом, теснясь в кучу и норовя засунуть и свои головы под крышку.

— Я же сказал, всем строиться под столом! — зарычал помначкар и щедро отвесил три-четыре пинка крайним. Среди лауреатов оказался и я.

— Моряк, слышь, хохол, ты туда не жмись. Лезь на крышку, мать ее так.

Моряк медленно взгромоздился на стол и, набычившись, посмотрел перед собой.

— Ты же моряк, так ведь? Вот и танцуй «Яблочко» на столе. А вы, чмошники, слышите? Качайте крышку — качку морскую изображайте. Ясно? — И сапог помначкара еще раз посетил нашу компанию. На этот раз без свидания со мной.

— Три-четыре!

Морячок забухал что-то неуверенно сверху, а мы, как на молитве, нестройно закачались под столом, изо всех сил пытаясь сотрясти его.

Помначкар сумрачно хмыкнул, а два часовых в коридоре ржали до потери пульса, даже прихлопывая в такт буханью морячка.

— Отставить!

Он еще раз быстро окинул строй пылающим взором и тихо прошипел:

— Мне сегодня скучно, я сегодня веселюсь. Если кто-нибудь прикроет хоть один глаз, тот будет коротать время со мной. Вопросы?... Кроме вас, конечно, — ощерился он в сторону Пыжикова. — Ведь вам сержант Кирсанов разрешил спать? А почему у вас подворотничок грязный, солдат? Что вы говорит-тя?

— Я... я... — выдавил Пыжиков.



— А меня не дерет, что вы говорит-тя. Пачему нечетко отвечаем? Чмо паршивое. Та-ак...

Пыжикова била дрожь, и он лишь тупо дергал веками, мелко перебирая губами, будто шептал себе слова знакомой песни, бывшей когда-то родной и близкой, а теперь ставшей чужой и ужасающей поэтому.

— Сколько... так... осталось мне до дембеля? — обернулся помначкар к строю.

— Сто тридцать восемь! — вдруг звонко выкрикнул урюк в гражданке, до этого не сказавший ни слова по-русски.

— Ага, знаешь, — довольно улыбнулся помначкар. — Так вот, чама, я сейчас выйду, а ты прокричишь через это окошко в коридор «осень» — сто тридцать восемь раз. Не дай Бог, не дай Бог, ты пропустишь хоть раз. Ты у меня языком парашу вылижешь, я тебе обещаю. Я. — Он вышел, оглушительно хлопнув дверью, и рыкнул:

— Ну!

— Осень! — крикнул Пыжиков в окошко, упершись в него лицом, прислонившись плечами к двери чуть согнув ноги в коленях. — Осень! Осень! Осень!

Я подумал, что сейчас, наверное, часа три. Может, чуть больше. Что осталось не так много — «губа» просыпается в пять, — что надо мне что-то сказать, и что все мне до лампочки, и что у меня расплывается пауком боль в боку, когда вдыхаю, что как жаль, что я не был никогда в театре и ни разу не подарил матери цветы, а дарил только седые волосы.

— Осень! Осень! Осень!

Чужой, сдавленный голос бродил по коридору, пьяно хватаясь за стены, толкая в проржавленные двери, и отирал белоснежные потолки. Я чувствовал его, как комариный писк, имеющий ко мне отношение лишь в свете агрессивности отдельной комариной твари, а думал я, что, будь я актером, я черта с два играл бы Гамлета, этого и без театра хватает, куда ни плюнь. Я только бы и делал, что дрыгал ногами под музыку и лапал бы девок взаправду. Ведь и за это деньги платят. И вспомнил свою математичку Лидь Максимну, которая подолгу ждала, родится ли что у меня в голове в ответ на ее героические потуги, а пауза все затягивалась так, что все в классе уже забывали, о чем спросили, и я забывал, и Лидь Максимна забывала — оставалась только пауза, тенью мысли висевшая в воздухе: надо что-то сказать... А что? Отвык я говорить.

— Осень!

— Да заткнись ты, раздолбень, кому ты на хрен нужен?! — вдруг тонко, по-бабьи, крикнул курсант, безобразно сощутив глаза и задергав головой, будто хотел вытрясти из головы песочные трели сирены, истязающей его мозг. Моряк угрюмо поднял голову и опустил.

В коридоре хохотнули далекие голоса, и стало совсем тихо. Лохматый молдаванин с дефектами психики, замыкавший нашу

милую компанию на левом фланге, осторожно выступил вперед и, лукаво блеснув глазами, присел на нары, вопросительно глядя на всех, преимущественно на моряка.

Было так тихо, что не слышно нашего дыхания. Будто стоял безмолвный ряд зеленоватых статуй, серых и безобразных, будто рядком висели тяжелые свинные туши на аккуратных белых веревочках на балке подземного склада нашего свинарника.

Молдаванин с сожалением хмыкнув, принял вертикальное положение, но молчал недолго, а принялся что-то зло и быстро нашепывать маленькому урюку в кроссовках, большому поклоннику бега на средние дистанции и игры в кошки-мышки. Трое веселых чурок тоже малость расшевелились, потрогав одинаковым движением грудины. У дверей наконец повернулся Пыжиков, он медленно и тихо прокашлялся, заметно сглотнул пару раз и, сняв шапку с белесым пятном от кокарды, лег на нары. Он повернулся набок, подтянул колени к животу, шапку положил под голову, закрыл лицо локтем, вторую руку засунул под живот и так замер.

В камере все больше оживлялись, только моряк застыл со зверской отрешенной мордой да курсант болезненно шурился по сторонам, то и дело потирая указательным пальцем переносицу с красноватым следом от дужки. Я некоторое время взирал на большие скорбные сапоги Пыжикова, решил даже посчитать гвоздики на подошве: если четное выйдет — значит, все будет хорошо. Что «все» — это неважно. Посчитать не смог — сбился, а дальше просто стоял то замирая, то раскачиваясь, вдруг теряя все вокруг себя, то в очередной раз оглядывая камеру, мертворожденный брезжащий свет, слышал сдавленный шепот и чувствовал ломоту в животе. И потом все пошло кусками, мозаикой, грязно-голубоватыми льдинами по реке, и на каждой льдине что-то находило приют.

Еще раз зашел кареглазый сержант Кирсанов с мокрыми бровями и посвежевшим лицом, пересчитал нас, улыбаясь всем, кроме меня, вытолкал часового за дверь и тронул Пыжикова за плечо: «Как же так? Вы же сказали, что ляжете спать только вместе со всеми. Как же так?» — участливо спрашивал он и озабоченно барабанил пальцами по двери, мило улыбаясь. А Пыжиков смотрел смурным никаким взглядом перед собой и лишь прижимал к щекам уголки поднятого воротника и молчал.

Потом сочный голос крикнул вдоль коридора: «Гауптвахта, подъем!» — это значит, что уже пять часов, и зевнула дверь соседняя камера — повели на помывку подследственных; они плелись веселой гурьбой, базаря с часовыми, один заглянул к нам: «Зёмы, курить есть?», на что моряк мрачно ответил, что кой-что, завернутое в газету, заменяет сигарету; подследственные галдели минут пятнадцать, а один даже спел под гитару песню в коридоре (гитара обитала в их камере самым загадочным образом):

Часовые тоже люди —  
В них усталость за весь день.  
Мы курить и ржать не будем,  
Мы курить и ржать не будем,  
Мы курить и ржать не будем —  
Их нервировать нам лень.

Что нам толку с перебреха,  
Если в брюхе пустота,  
Эх, пожрать бы шас неплохо,  
Эх, пожрать бы шас неплохо,  
Эх, пожрать бы шас неплохо,  
Да не выйдет ни черта.

Что за небо за решеткой —  
Грязь, свинец и ветра вой.  
Даже если срок короткий,  
Даже если срок короткий,  
Даже если, срок короткий,  
Он останется с тобой.

Так вот он спел, а мы стояли, ничего не видя и не слыша, я вообще чуял, что мне на лоб надвинули теплую кепку, и я упорно дергал головой, чтобы разогнать тесноту в башке и мире. А потом вдруг заплакал урюк в кроссовках. Он как-то странно заплакал, простонал два раза и шумно задышал, все посмотрели на него, а у него по лицу льются слезы, медленно-тягучие; он стоял, а они текли, он их не утирал рукой — стояли мы по стойке «смирно». Молдаванин старательно иронично улыбался, порой ужасно передегивая лицом.

Потом, слава Богу, рассвет дополз до нас чахоточным свечением коридора, а мы все стояли, уже вращая в пол, еще часа два или три. Затем нас раздели, обыскали и разрешили сесть. Но предупредили, чтобы спина была перпендикулярна нарам. Пару раз это придирчиво проверили, и у моряка стало красным ухо, в оставшееся время он так ужасно матерился, что я невольно заужавал флот.

Потом нас стали вызывать, дергать, как морковь с грядки. Первым вызвали моряка, потом курсанта, за ними шумною гурьбою отчалили три урюка с бравым видом. Потом Пыжиков меня разбудил и сказал, что зовут нас. Два толстых майора с красными околышами спросили, есть ли у нас претензии, а когда их не оказалось, мы увидели командира первого взвода родной части лейтенанта Шустрякова, апатичного и унылого лейтеху, обожающего нарды и бильярд, великолепно нагладившегося по случаю вынужденного визита в Алешки и явно трусящего по этому же случаю.

Я очень долго смотрел на последнего часового у последних ворот. Тот понимающе и привычно улыбался. Все.

На воздухе я отомлел, кепка сдвинулась на затылок и там стояла, а я стал все потихоньку всасывать. Шустряков напряженным голосом нас корил, оживляя речь «хлоп вашу мать», я коротко и скорбно соглашался. А Пыжиков наплевательски молчал.

Шустряков приехал за нами на «урале». Мы с Пыжиковым перевалились через борт. Шустряков по-отцовски обозрел, как мы устроились, и сел в кабину. Мы поехали.

— Алеша, вот и все, да? — неожиданно сказал Пыжиков.

Это меня зовут Алеша.

Мы ехали по сияющей талой водой улице, была суббота, и девчонки из медучилища, высыпавшие в халатиках на улицу, помахали нам розовыми руками, а солнце барабанило лучами по крыше «урала», по гордому лозунгу «Животноводству — ударный фронт!», по всему миру.

— К пайке, наверное, поспеем. Если наряд не млявый — может, картошечки огребем, не хреново, да, — улыбнулся я ему.

Нас сильно трясло.

— Весь этот ужас позади? — спрашивал Пыжиков, внимательно хмурия брови. Это он у меня спрашивал.

— Да, хлоп ты, о чем ты, зёма, дембель неизбежен! Мой милый друг, не надо грусти — весна придет и нас отпустят! — Сладостная исторма невыспавшегося тела подбиралась ко мне, и я подумал, что не сразу же нас посадят на «губу», и я, пожалуй, прямо в столовой и наверну на массу. Копать мой лысый череп!

Как только мы подъехали к части, я полностью увлекся образом старшины в предстоящей драме.

Когда «урал» дернулся последний раз, Пыжиков взял меня за рукав:

— Алеша, я знаю, что ты меня презираешь, но я...

— Ты что, охренел? — удивился я. И полез через борт. За мной неуклюже прыгнул и Пыжиков. Я поправил шапку и увидел старшину. Он стоял с багровым лицом, уперев руки в боки, и скулы его ходили, как бедра портовой шлюхи.

— Та-ак, мля-а, сосунки драные, шлюхи паскудные, выродки рода человеческого, вонь подрейтузная, навоз из-под ногтей!!! — заработал старшина, как тюменская нефтескважина. Коротко развернувшись, он сунул Пыжикову в скулу левым кулаком, меня через паузу правым, я в тот момент неудачно оскользнулся, и кулак меня достал как бы вдогон, растеряв часть своей первозданной прелести. Лейтенант с горьким изумлением взирал на тщательно отполированные носки своих сапог.

Старшина выдохнул: «У-у, с-собаки». И я понял, что это все.

На моем лице было написано раскаяние и ужас, а душа пела, как капли на оттаявшей горбушке асфальта.

— Ты, — вдруг хрипло прошептал, опустив покрасневшее лицо, Пыжиков, — ты выродок, — и добавил, помолчав: — Сволочь.

У старшины было такое лицо, будто вышел закон о принудительной кастрации всех прапорщиков. Я похолодел — такого старшине не говорил даже выдающийся похренист Чана, проведший полслужбы на санузле.

Пыжиков, качнувшись, пошел в сторону. Лейтенант Шустряков заорал, чтобы Пыжиков немедленно вернулся и извинился перед

Павлом Христофоровичем, а он все шел и шел, пока, не протаранив художочный сугроб, уперся в красную кирпичную стену казармы, так и застыл, прижавшись щекой к кирпичу и нелепо раскинув руки.

Солнце светило ему в лицо и спину, и сияющие капли падали на шинель, оставляя черные круглые метки — будто шляпки на совесть заколоченных гвоздей.

Ну, что еще? Впяли по пять суток «губы» за бессовестное посягательство на высокое звание отличной нашей части. «Губа» была гарнизонная, а там, как я уже говорил, дерут только чурок. После «губы» я пару недель был основой всех кухонных нарядов, набрав от огорчения килограммов пять веса и солидно покруглев лицом, вследствие чего старательно избегал старшинского ока, дабы он не сделал из моего изможденного вида скоропалительных и далеко идущих выводов. А к июню командир взвода мне намекнул, что если и дальше у меня будет все нормально, то ко Дню авиации я могу рассчитывать на ефрейторскую лычку. А то и на краткосрочный отпуск. И я принялся «рвать» с утроенной энергией.

А Пыжиков уехал служить на Дальний Восток, в родственную нам, правда, не столь отличную, часть, туда, где он сможет называть старшину как ему заблагорассудится, — так его напутствовал наш Павел Христофорович. На Дальнем Востоке Пыжиков вдруг женился — не выдержали нервишки на душевой вечеринке с обилием теплых уголков в местной общаге или соска попалась с мертвой хваткой последнего шанса — в общем, остался Пыжиков в этой части на прапорщика, сначала вроде на пять лет, а потом и продлил.

Говорят, заведует он там складом ГСМ или по интендантской службе пошел в родственном нам крохотном сибирском гарнизоне. Стал толстым и сильно изменился, только голос остался таким же звучным и красивым. Первые два пода выписывал журнал «Театр», а потом что-то перестал. «Союзпечать» там плохо работает, с перебоями, особенно зимой.

Но это все было не сразу. Это все было потом.

А в тот вечер я зашел после отбоя в туалет и увидел на подоконнике зёму — Сеньку Швырина, выцеловывавшего замусоленный бычок, источавший дистрофическую пародию дыма. Сеня наблюдал, как два салабона дряят щетками с мылом его «кэбэ».

— Зёма, е-мое, наконец-то!!! — Мы заржали и обнялись.

Зёма был рад до невозможности и журчал игривым ручейком так бурно, будто боялся, что я открою рот и простужусь.

Я втиснулся на подоконник рядом с ним, упершись затылком в холодное весеннее стекло, и тихонько думал себе, что вот сейчас пойду прямо спать и буду спать, и все, вот так вот... А зёма сыпал новостями: что писем нет, еще напишут, что на ужин — рыба, что послезавтра опять к генералу, но уже на похороны, что познако-

мился зёма с соской — такая шмара, и гых! На руке — накладка, и подруга у ней есть — Фикса, вот такой вот передок, следующее увольнение наши будут, зуб даю, э, да ты спишь?

Я сидел и сладко моргал глазами, закутанный в байковое одеяло дремоты, и все было тихо и тепло. Пыжиков брился перед зеркалом, прислушиваясь к нашему разговору, и улыбаясь порой, и забавно морщась, когда водил станком по впалым щекам. Потом он тер покрасневшее лицо одеколоном «Саша», и зёма сказал, что если бухать, то лучше всего одеколон «Эллада». И надо бы нам отметить наше возвращение, а то ведь бухали последний раз аж 23 февраля, когда, помнишь, зёма, Чана надел на себя одеяло, подходит к дежурному по части и — гых! гых! — говорит: «Вставай — будем спать!» Гых-гих... А тот ему...

Летомись лета



Все, что было с нами на самом деле, оказалось слишком давно, чтобы стать нашей жизнью, и поэтому настоящего мы о себе не знаем ничего. Почти. Вот прадеда моей бабушки, Марии Ивановны Даниловой, «давнишнего деда», дразнили — Шевляк. «Шевылять» значит — ковылять. Может быть, поэтому я косолапый?

Пожар, Божий гнев, отнял хату у моего прадеда, Ивана Микича. Дядя его позвал к себе во двор жить — доглядишь нас с бабушкой, хата тебе и достанется.

Иван Микич доглядал, и та бабушка таскалась за ним по пятам. И с крыльца следила, уложив на колени руки серые, будто плесневые булки, как он машет топором, обтесывая столб для подгнившей закуты.

Иван Микич тюкнул: раз! два! — закута окоротилась на бок. Рухнула, дыхнув трухлявой рыжей пылью, выпужав кур. Бабушка потрясла кривым пальцем и крикнула, досадуя: «Вань-кя! Шатош-ш, ты, переводишь родительску шэпку в ядрёну мать?!»

Видно, бабушка была доставучая. Иван Микич, помирая, велел выжившим из десятка детям: никогда не беритесь доглядать.

Вот все, что мое. Доглядать — ненавижу, и болит занозой «родительска шэпка».

Бабушка Мария Ивановна рассказывала мне каждое лето опять:

— Мой отец, это твой прадед, купил у Голячихи, у барыни, три десятины усадьбы. Нас было десять робенков у яго. Разве он думал тах-то жить-то? Он не захватил-то эйту жизнью... Пришел — штаны широкие, карна трясется и крестится: «Ну, мать спи спокойно. Есть куда детей слянуть!»

— У нас на вусадьбе от выгона — рожь, ниже ржи — пашаница. Потом проса, конопель и картошки. Лен полосочку сеяли. Овец кошара, пастухи стерягли. Нанимали. Корова дойная, да телушка. Подтелок, индюшки — по семнадцать рублей возила продавать на наряд сабе. Куры, вуток водили, три лошади. Свинья поросная и хряк... Картошки закапывали, девать некуда было.

— Бабушка.

— Лошади окоростовели, языки перевалилися. Пахать, а они нейдут, отец все коленки протер у штанах. Я ему хлеб нясу, а вон плаче, ругается:



— Пошла вон!

И этому хлебу не рад, ка-ак припустил за мной с кнотом!

На Вербное сижу я, глядь — к нам мужик заехал:

— Где отец?

— Зле Кудинова овес сея.

А лошадь под мужиком (либо украл где) — во! Гладка-а, там страсть. Супротив солнца прямо — блестить.

— Скажи: кум велел позвать.

— Тять, там кум приехал на лошада. Либо хочет тебе лошада продать?

Отец прямо стогне! Было меня задушил.

С кумом поздоровлялся.

— Кум, я вот тебе лошада разжилси.

— Ну что ш тебе за ие?

— Да что даш.

И он за ие и грячихи (забыла, сколько пудов), два поросенка отдал да тялушку.

— Ба!

— Да погоди. А Хверопонт, сусед новый чегой-то загорелси, и пасака у отца погибла, а пасаки было умного. Так он голоси-ил... Хотел удавиться. А мать: «Отец, да уж ты либо отуманел? Да чего ж ради на себя руки наладать? Да ты и так умрешь». Он помер по масляной... Да што тебе?

— А в школу ты ходила?

— Зиму. За чятыре километра. Учись хорошо, а то — поставят на грячиху, анеж больно. До Рошства ходили. Ноги к валенцам начали примерзать, кровью закашляла — села прясть. Манфактур-то не было. Скатерти ткала в пять сопков.

Ребята померли. Николай хвастал: «Грудь моя стальная, ие ништо не пронимае!», а помирал — подушку изорвал, кричал: «Уйди, Машк!», а мы стояли и плакали на его смерть. Два малых осталось. Старший — настойчивый, хто знат какой. Служил офицером. Их в Старом Осколе посекли в капусту. Банда какая-то наехала, понял? И сообщенья не было, ничаво. Усе ждали душу отпускать, усе ждали, а уж мать душу отпускала — я замуж вышла.

Осталси только Тиша.

— Ба, а танцы тогда были?

— Днем либо вяжешь, либо скалки мотаешь, а ввечери идешь на вечеринку. Я была в чясти! Я как пойду — ов-во! — полечку под гармоню двухрядку, только ноги стучать, да все жилы колотят-ся. А волосы у меня были — во!

А сейчас седые стали проглядывать.

Невестка, Анфиска, у меня была больная. Не тебе было слушать, не мне говорить: ребенка силом вынули. Какая ж это оказия? И Тиша ея берег. А я и углы закашивала, у отца была косарка. Мы выйдем троя, к обеду — гектар! Как блинчик схватим! Ни павиличку, никакой травки, ни пырью... Только все лятить, только все лятить!

Конопля били. У нас масло было, знаешь какое хорошее? Маслота! Ештя! Яблоки солили по шесть ведерок, огурцы солили в напоях. Вишняку было, хто знат сколько — на Илью возили продавать в Верей.

Тиша женихом наряжалси. Тах-то, дюже культурно. Манжеты. Тут-то во воротничок подкладывал сабе. Возили зерно в Щигры — привез мне ботинки на пуговицах. Отец бало с ума шел.

Я — одна дочка была. Не нарадуются! Шаль шелковая у меня. В церкви стояли, где звонют. Да я, как видная — одна дошь. И мои — Иван Микич, Тихон Ваньч, да мать — в почете. За меня сватались тот-то их зная сколькя...

А дед твой высватал.

Мы жили на краешке России, средь воронежских и белгородских, и курских земель, меловых откосов, медленных кривых речек, отороченных лозинами каждое лето. И, теперь мне кажется, что прожитые мной лета, это именно — лета, а прожитое бабушкой — ее речи. Они снова набухали в ней, пронзали, острые, землю и тянулись. Зрели и опять смыкались в нетронутое, пенистое золотыми верхами поле с сиреневыми отливами по меже, болели, переставая в бабушкиной немоте — тогда снова приезжал я и бабушка говорила, облегчая землю. Освобождая ее.

Так сидели на крылечке рядом: моя жизнь и ее жизнь. И не срослись.

А память — это партизанские отряды. Это брошенные и списанные, и забытые окруженцы. Они вырастают под кожей, наглухо перекрыты, стиснутые, едва отстреливаясь вслепую, не поднимая голов. И тихо вымирают в неведеньи, что кончились войны и совсем всегда проиграны битвы, что все заросло, зажило, зажили. Как вдруг кольнет. Шевельнется мох. И шагают нетвердыми ногами к высокомерным победителям ветхие, немощные солдаты — наши знаки отличия. Поразительно и жалко верные высшему, неведомому долгу.

Хоть кончена война, а самолет взлетает доставить пакет в штаб генерала Ватутина. Наши штурмуют Киев, уже вцепились в землю на той стороне. Доставили, надо лететь обратно, а тут какой-то полковник: если сбросите боеприпасы на тот берег, по ордену из рук Ватутина!

Ночь, Днепр. Но плацдарм не мигнул фонариком — нет. Молотят немцы, уже мало горючего. Обратно, под огонь своих. Чуть не сбили. Ведь еще надо где-то сесть.

Штурман светил вниз фонарем:

— Роща... Болото, что ли. Кресты.

— Что «кресты»?

— Да кладбище! Пашня... Пашня, командир — садимся!

Они сели. Темень. И смотрели во все стороны ночи — молча. Только штурман бормотал:

— Дак Валуйки это. Ты что? Ты трубу не видишь? Маслозавод. Командир буркнул:

— Сиди на месте.

Посветлело, и труба оказалась трубой. Механика отправили узнать. Он возвращался, за ним полз трактор и брели, нагибаясь против ветра, бабы. Механик помахал рукой.

— Видишь, — толкнул штурман командира, — Я ж говорил: Валуйки.

— Сиди. Махать можно и под пистолетом.

Бабы за парашютный шелк принесли яичницу и две бутылки самогона.

— Нету горючего! — кричал комендант аэродрома и ташил командира за руку — глянуть. — Видал? Самолеты стоят с кровью для раненых! А я их отправить не могу.

Пришлось отдать ему одну бутылку — вмиг самолет заправили. После ужина пошли в землянку по набитой бензовозами колее.

Разобитый штурман махнул рукой и пошел «на скосы». Чтоб спрямить. Через поле.

Дошли — штурмана нету. Подождали. Закричали — стонет в ответ. Только по стонам нашли: ввалился в воронку, плавает по шею в грязи. Командир уж матерился...

Командира могли бы уволить из армии потом, в Белгороде со стола офицерской чайной он с пьяну прокричал: «Бей жидов! Спасай Россию!» Остальные могли попасть потом под хрущевские сокращения. Генерал Ватутин потом умер от ран, похоронен в Киеве.

На следующем аэродроме штурман сел чистить пистолет. Пистолет вдруг пальнул! Командир за ложкой нагибался, а то б — в лоб. Штурман вылетел из землянки на воздух злой, как собака, и прилег на травке. С боеприпасами предстояло лететь до аэродрома близ станции Рай.

Бабушка не помнит, но когда я был мал, и только осмелился переходить один за озеро, в сад...

Я раздвигал траву, пугая стрекоз. Тихонько ступил в сад, под солнце: один, к саду одному. И вдруг из-под нашей яблони разом встали черные цыгане, там разложены были на одеяле яйца, огурцы и хлеб. Один шагнул ко мне, вынеся вперед руку.

Я так бежал, что чуть не ввалился в озеро. И поспешал за бабушкой обратно. За суровой, большой бабушкой моей. А сад уже пуст. Чист. Я помню это, сколько живу. Как-то сказал вслух: бабушка не вспомнила.

Чего испугался? С мешками страшными цыгане в городах. Там витрины с коричневым толстым мылом из краденых детей. В наших Валуйках они только батюшку задушили, да и то дура попадя — ей цыганка сотенную «разбить» протянула, а та полезла при ней в заветный сундук. Цыгане в ночь за сундуком и подъехали. Матушку заперли. А батюшку потом в кровати синего нашли. А батюшка, он меня крестил, бабушка помнит:

«Батюшка был бандит! И не успрашивай. Не позвала яго к сабе выпить. Пошла три поклона положить зле царских дверей, а вон табе на пол кинул. Он не издох своей смертью... Господи, можа мне и грех».

Следующий батюшка — красавец, девчонки с медучилища ходили глядеть на его бороду. Приехал: и куртка джинсовая, и штаны. Даже жилетка джинсовая, а крест — поверх. Имел университетский диплом филолога. Этот батюшка любил угощать шампанским. И играть в футбол по субботам на площадке у медучилища. В понедельник ходил присесть за карты к командиру пожарной и, прежде чем выбрать масть, восклицал: «Прости меня, Господи!», и с чувством крестился на радио. Нашу Комсомольскую улицу он посетил только раз — соседкин сожитель Вольдемар скрал батюшкиного щенка.

Батюшка успел Вольдемару только рубаху порвать и раз по морде смазать. Тут налетели старушки, умолили. На батюшку писали жалобы. А самого нашли осенью под мостом истыканного ножом, прямо в лозняке. Говорили: послали его за водкой, а он не принес. Так, что ли? Не знаю.

Следом батюшка приехал строгий. Но опять жалобы писали: в свежих росписях церкви звезды шестиконечные проглядывают, и цвет, заметили, какой голубой? Спроста это? Батюшку повысили от нас в Алексеевку, там он себе отстроил хороший дом. Оттуда его и посадили на семь лет, а церковная староста повесилась.

В ресторане, которым заправляла моя тетка, полюбили крепче всех следующего — тихого. Пел он протяжно. Затеял бесконечный ремонт и обнаружил, что боковая калитка церковной ограды точно выводит на заднее крыльцо ресторана. Руководя ремонтом, батюшка задирает голову, детски улыбался безмятежному покою рабочих, раскинувшихся на лесах, легким шагом переходил под своды ресторана и его останавливала только буфетная стойка.

Буфетчица наливала. Вздыхала:

— Эх, кто из вашего храма до нашего ходит — долго у вас не задерживается.

Ремонт завершился совокупным обвалом штукатурки и батюшкиным убытием куда-то.

Бабушка моя в городскую церковь не ходила. Слободскую взорвали.

— Взяли да отвортили колокольню, где звонить. Гагай, Нечев да председатель сельсовету. У председателя сын умёр. Не болел, не горел, зле парты умёр. А сам поехал с суседкою за поросенком, без люльки мотоцик. И вколосля прямо в столб! Суседка осталась

с двумя поросятами, а он околдыбился. Гляньки-ся, ведь это ж Господь его наказал?

Она еще до послевоины ходила в Озерскую церковь, а потом уже нет. Не знаю, почему.

Приехала золовкина дочь с братом:

— Бабушк, пойдем завтра к церкви.

— Ды пойдем, — я грю, — я истоплю рано.

Я, мяса сварила, ситники спекла, прибрала, грю:

— Дед, я думаю пойтить в церквя.

— Дюже ты мне нужна! Договаривайся с ребятами, чтобы гуси были целы, да теленок.

Побыла в церкви и чтой-то у мене сердце болит, хто знае как:

— Шурк, пойдем двору. Там уже кума пришла. Мы как раз козу зарезали к Ильи...

Идем, а отец твой, бегить:

— Сходила ты к церквя?

— Сходила.

— Помолилась?

— Помолилась.

— На батюшку посмотрела?

— Мишка, я счас хворостину вырежу!

— Тринадцать трудодней! Тебе выделил Нечай!

И взяла мене горе:

— Завтра не приходите, гости. Мне косить овес с темна.

Мальчик проснулся от белого света.

Разомкнул теплые и невесомые веки. Свет острыми спицами ломился в зеленые ставни, сотрясаясь судорогами теней от колыхаемых ветром вишневых веток.

Мальчик услышал, как грустно на вдохе и равнодушно на выдохе сопит его нос. Щеку давила затвердевшая за ночь подушка. За голубыми цветами занавески откалывал по кусочку жизнь будильник-дровосек. Медленно, томительно колени подтянулись к животу и неясным, как весеннее проседание снега, движением голова дрогнула к плечу, словно втягивающаяся для будущего полета стрела с жарким от пота белоголовым острием. В глазах таяли мнимые покойницкие пятаки мохнатого сонного тепла. Спальня серела мазаными стенами, ровной, болезненной бледностью, непогрешимой легкостью солнца, ветра, июня.

Мальчик понял — он проснулся. Разбудил свет.

Серый кот, поддев толстой спиной занавеску, присел у кровати, как сфинкс, устремив вверх, будто загудевший электричеством, зеленый взор. Он задышал, как ветер, пронесшийся по верхушкам деревьев.

Мальчик окликнул:

— Кузя.

Но спекшиеся сонной истомой губы едва разомкнулись, выпустив неясный вдох, и ладошка дрогнула тоже. Кот, пушистым водопадом, наоборот, перевалился в кровать, подержал равнодушный взгляд на окне: там был день. Дернул хвостом и лег. Протянулся, достав ухом до замазанного зеленой локтя. Кот раздувал и сдувал круглые бока. Внутри его что-то довольно рокотало.

Мать kota звали Муркой. Отца, скорее всего, тетя Вариным Васильем. Кот жил неслухом. Путался по чердакам с подругами, исчезал, являлся драным и скверно орал в сенях у ног особенно хмурой бабушки — до заветной минуты, когда чищенный рыбий хвост, переправляемый из тазика на сковородку, вдруг падал из запнувшейся руки под его усатую морду.

Очень скоро Кузя уже довольно тупо рассматривал мух на стене мутным взором, и алое пламя его язычка сыто гуляло по деснам и лапам.

Тут бабушка ухватывала его загривок, пышный, как воротник испанского вельможи, и тыкала оскорбленно сморщенным носом в дырки неизвестного происхождения по углам хаты. Кузя ярился, расцарапывал когтями пол. Свирепо постукивал хвостом, размыкая пасть. Едва жарение рыбы возобновлялось — падал спать в дохлом виде, немисливо вывихнув шею.

Но как только вечер тянул на небо синеещее одеяло с редкими пока звездными прорехами, кот немедленно уметался со двора одному ему известной тропинкой, меж картофельных гряд, посверкав на прощание бандитским зеленым глазом.

Солнце еще не вычерпало холод из теней и озерной воды. Мальчик на крыльце тер руку и поеживался. На улице завяз грузовик с красно-черной тряпкой на боку, выл со звериным страданием, проминая в грязь охапки пыльного камыша, выдранный с ближнего сарая — земля подрагивала.

Мальчик отвернулся. Через двор, у Шэпиных ходил по огороду народ. Синеватый тетя Варин сожитель Вольдемар махал косой у межи, оборачиваясь на упорный петушиный выкрик. У соседей Придворевых качал насос — поливали. Небо, пустовало от холода. Только облачко на краю — комком снега в талой воде.

Кот выбрался следом и зевал что есть мочи.

Бабушка смотрела зацветшие огурцы. Сорвала с плети цветок покраше и кинула через забор на дорогу. Сколько за день овец пройдет — столько огурцов уродит. Нагнулась рвать траву.

Мальчик нахмурился — он же солдат! — взял из-за двери палку, служившую автоматом, и отправился, потрогав попутно лысый арбуз: растет?

Бабушка, не разогнувшись, выкрикнула:

— Ты далеко из хаты?

Далеко, сам не знаю куда, отступает и этот июнь. Навтыкал седых летучих вихров в рябые лысинки одуванчиков и уходит на цыпочках под бормотание дождей, переступая через радуги, стеля

пух тополей под босые ступни — чтобы тише. И куда они так торопятся все?

Я так старался все помнить. Будто собирался назад. А теперь вспомню в последний раз, что за хату бабушка сидела в тюрьме, хату ставили через двадцать лет после войны, после двадцати лет землянки. Бабушка подавала чурки выше окон, пока не заболел живот, а дед ставил. Один. Он был великий в Валуяхках плотник и мог все построить. Кроме достойной хаты себе. Строил эту ненадолго, побыстрее, на первое время. Вышло — на последнее.

Двор весной распухшее озеро заливало по крыльцо. Доски крыльца потемнели, вздыбились и гнили вокруг гвоздей, пуская щели меж собой. Под крыльцом ночевали лягушки и с вечера прыгали по лужам слепыми скачками — домой. Бабушка отпихивала их ногой, но не давая, чтоб не накликасть дождя.

В сенях хранились мои удочки и палки, газовый баллон и плита, кастрюли, ведра, просыхала картошка на мешке. В сенях разувались.

По хате стлались домотканые дорожки, которые я выхлестывал о забор по субботам. В кухне желто-грязная, в зале — голубая. В спальне — два круглых ковричка из лоскутков.

Кухню я любил: на печи можно лузгать семечки. Если дождь, совать чурки в пепельный зев печи — в печи трещало. Из ведра пил без кружки, в каком-то трепете погружая лицо прямо в воду (и макаясь по уши после бабушкиного подзатыльника). В столе и шкафчике бабушка берегла печенье, конфеты, булочки, — все, что приносила тетка из ресторана. По старому дивану я подзал хабро, как щенок под боком матери: проминал старые пружины, прыгал, выбивая пыль. Складывал из подушек трон и танк. И слушал бабушку — она спала на диване и сидела на нем всегда, когда было время. Рукомойник я не любил за умывание, за холодную плакси-вую сосульку носика.

Зато на кухне был еще и комод: черный, проточенный жуками, с железными узорчатыми ручками и точеными колоннами по бокам — выше меня. В ящиках хранились мои рубашки и майки, отрезы материи, мотки серого шершавого полотна, похвальные листы и выпускные фотографии отца, тетки и дяди Толи, дедовы медали и лента «Почетный колхозник», клубки, катушки, стопки клетчатых рубашек и широких галстуков — ими с дедом расплачивались за сколоченный стол или гроб (бабушка все ждала, что я подрасту — вон сколько носить), складывались письма и открытки на День Победы, вязальные спицы, крючки, крышки для банок, платки, пуговицы. В отдельном ящике бабушка держала свое «на смерть». Странно, я это знал. Но это казалось скучным: что-то белое, глаженое, стираное.

В зале я ел. Бабушка — на кухне, отдельно. Я ел за столом, на скатерть стлалась клеенка. «Кусай хлеб!» — прикрикивала бабушка и стучала костистым кулаком по ручке дивана с протертым бархат-

ным покрывалом. На этом диване спали квартиранты, когда я зимовал далеко от Валуек.

И я кусал хлеб. Накалывал вилкой картохи. Надкусывал и высасывал соленые помидоры. И вздыхал в сторону неумолимого тонконового фужера с козым молоком. Молоко приносила Дунька Гусакова — вечером и всегда внезапно. В деревянном зеркале (его вместе с комодом, подарила бабушке на свадьбу мать, Авдотья Афанасьевна) отражалась моя дрыгающаяся нога. Родственники с одинаково увеличенных фотографий ждали из выкрашенных под бронзу картонных рам, когда же я начну пить молоко. Особенно неустрашимо взирал дядя Толя — в морской форме.

В зале еще висела «радива». Бабушка заходила в зал только чтобы поставить на стол и убрать, оторвать лист календаря, выключить «радиву» и глянуть, кто там ходит возле хаты. В спальне кровать поменьше принадлежала мне. Побольше, с тремя подушками и покрывалом с рыжим оленем — для гостей. Больше там и плюнуть было негде.

Окна укрывались ставнями на ночь. Я отстегивал крючки, смыкал ставни, затыкал тяжелый шкворень в дыру в стене — бабушка ходила за мной изнутри и прихватывала шкворень за особую дырочку гвоздиком. Последней запиралась кухня. Она глядела на озеро, на поленницу. В малине шуршали ежики, лохматым лоскутом промахивала над головой летучая мышь (а они, говорили, цепляются на белую одежду), и я дрожал в своей светлой рубашке. С озера стонали лягушки, и сверлила воздух мерным бульканьем неведомая тварь. Я засовывал кухню и лез через кучу песка к крыльцу, задвигал засов за собой, поворачивал ключ, спотыкался в сенях о помойное в синеватых напльвах ведро — бабушка заносила его на ночь, щадя мой сон от послеарбузных походов. Замыкал еще кухонную дверь и топал наугад к своей кровати. Бабушка с кряхтением ложилась. Диван под ней скрипел. Тьма, подносишь руку ковырнуться в носу — не видно. Тишина, только гавкает, как рубанок, запнувшийся о сучок, псина Гусаковых или родовитый кобель деда Никиты Гагая. Спать. Если не выходило — спальня с кухней сообщалась дырой у потолка (чтоб теплее было спать в зиму), и бабушка, прежде чем начать подхрапывать, обязательно еще говорила что-то:

— Я и не шла замуш. Дед твой два года ездил, пока высвтал. У их три коровы. Поехали дома глядеть — мы тут-то не поладили. Они грязно жили. Я: не пойду, да не пойду. А мать начала лупить рушником. Силом отдала! Я в хвате венчалась. С певчими. Добра наготовили — лошадь не везла. Восемь подушак, пярины, шесть одеял. Пятьдесят холстов напрядли: та-ам страсть Господня...

Сабе хату, как горницу, выстроили — трехстенка сосновая! Там такие-то во дубы. Тиша, брат, все просил: «Не выходи, Машк. Хоть лето еще погуляешь». Мать плакала, и ему: «Жанись и ты! Власть переменялася, голотьпа начала ворочать — делиться



надо скорей». Тиша засвтал эту хохлушку, Анфису, эх! Прости меня, Господи.

Усадьбу отняли, картошки вырыли. У моего дяди ригу сожгли и корм весь. «Марь Ванна! Марь Ванна! Ваша рыга горит!» Я глянула: а стропила уж повернулись. Знаешь, какая была рыга... Дядя побираться поехал по деревне.

Кулачить начали побирашки: Нечаев, Барин (так дражили), Шэпин, Гагай (это хто с гармошкой гуляет) — Сталин же выбирал. Мать зовет: «Машк, приходи, а то Шэпин сожгё хату. Заночуй дочешка со мной, то миня тут задушуть».

«Да брось ты ету хату, да переезжай ко мне. Хоть подушуть нас, дак с тобой. Мене с родительницей, а тебе с дощерью».

Мы в колхоз и не писалися. Тиша, брат, приехал верхом: «Маш, живая ты? Машечка, не то тебе говорить, не то нет, — охватил мене и заголосил: — Усех Баршевских повывеслили».

— Да они ж не дюже богатые?

— Семнадцать дворов за ночь!

Да-а... вязал Сталин виски с висками. И какие женихи мои, все поплыли в Каранду... Далеко это?

За дедом твоим Гагай гонялси — дед прятался у ямки. Гагай ловит, сдасть в Курск: зажиточный был? Десять лет дают. Я деду грю: докеда ж ты будешь прятаться?

— Я поеду на постройки.

Не хотел он в колхоз, да больше ничего. Проводила я яго на Турбинстрой. Тут отобрали корову. Отобрали поросенка. Что я им еще поведу? Матиря свою?

Шэпину иль Нечаеву поллитра не поднесла, взяли — раму выдрали, да пошли. А где ж подносить: копейки не было за душой. Чуть что: выходитя из хати!

Отца твоего только накупала, одеялом обернула, а Барин яго на снех выкинул, а он гробыхается. Я у костюмчику да шалью покрымши, стою примеж оскорин, а вон с винтовкою.

Начали хлеб отбирать. Я пошла к золовке, а она: «Слышь, Барина удавили. На дрожках ехал — кой-то скинул, вожжи накинул на яго, да удавил. За дрожками ташилси», — и засмеялась.

— Стало быть, это чья-то молитва дошла.

Глядь: к матери пришел Шэпин:

— Выходи, Авдотья Ахванасьевна из хати!

— В честь чаго я буду выходить? Лаживал ты яё?

— Я яё купил. За тридцать рублей.

Пришла мать ко мне, голосит день и ночь. Я грю:

— Чего ты голосишь?.. Никуда я не пойду от тебе с робенками. Что будет с тобой, то и я буду отвечать.

Я серковном совете была — свечи тушила. Меня староста Анна Федоровна позвала к сабе:

— Марусья, ты, говорить, дюже молотить ловка.

Я осталась. Пять копен остарновали, и иду двору. Глядь: Шэпин побёг обаполо нашей уседьбе, а Гагай — по низу. Мать кричит:

— Меня Гагай гнал из хати! Я ребят вынесла на бугор, да боюсь: либо лошадь будя бечь — задуша. Куцкою меня успорол!

Задрала прям рубаху, а моя родительница — уся черная, прям пруты.

А я из Озер несла ветки у руку толщиной — вытащила тэйтү палку, догнала Гагая, перекрестилась — ка-ак начала яго гвоздить. Я табе, грю, укажу! Побирашек назначил Сталин, штоб бабок бил ба!

Мать кричит:

— Машк, табе посодют!

Деда чуть не посадили после войны — с ним кидалась драться Анфиса, вдова Тиши, брата бабушки. Дед отмахивался — ему привесили мелкое хулиганство. Бабушка из-за этого опасалась хохлушек. Спрашивала:

— Ну а ты, Сашк, когда женишьси? Приглядел каку сабе?

— Рано еще.

— Смотря какая рана. А то — и шапкой не закроешь. Смотри — только не хохлушку.

Деда я не чувствовал, хоть спал в саду на его тулупе. Хоть щелкал маленьким, средним, высоченным (все ореховые) его кнутами. Громыхал итальянскими гильзами — дед накалял их и метил овец. Все — старые ульи, скамейка, сарай, забор, хата — это был дед. Только не я. Я и делать ничего не умел. Он жил да жил, работал, воевал. Помер.

Мне казалось: я в брата Тишу.

Хата, доставшаяся Ивану Микичу от досмотренных стариков, стояла прямиком на краю слободы, по дороге на маслозавод и дальше — на Озеры. В гражданскую гнали мобилизованных — они хмуρο дожидались во дворе у Иван Микича своего часа, выходить. Тиша летел к соседу за гармошкой и выводил с крыльца страдальческим голосом: «Черный ворон, черный ворон, да что ты вешься надо мной? Ты да-бычи-и не до-обьешься, я-а ба-еец ишоо живой...»

Мобилизованные начинали поплакивать. Тиша наяривал пуще. Рядания усиливались, начинали подвывать собаки. Наконец Иван Микич высовывался из окна и кричал, пересиливая общую тоску:

— Тишка! Я щас табе зисии выдеру!

Для ночевавших Авдотья Афанасьевна выносила кастрюлю борща с пылу-жару, покрытого огненной, как цыганский платок, пленкой жира и поэтому даже не дымящего.

Тиша первым почерпывал и отплевывал в сторону матери:

— Ах, черт. Опять борщ холодный!

Следующий едок смело заправлял за щеку полную ложку и вдруг — хрипел, кашлял, брызжал слюной, со стоном бежал к колодцу, к воде. Тиша божился: показалось! Иван Микич снаряжал ему ложкой по лбу через стол, и Тиша бросался через огород и плетень на гулянку.

Иван Микич особо набожен не был. Особенно после того как на Велик день отнес в церкву святить пасочку, но, развернув дома

платок, обнаружил вместо сдобной и румяной своей — серую и черствую: подменили!

Но в праздники он хвастался грамотой, выученной в лавке купца Лысака — читал книги божественного содержания, прибавляя от себя важные мысли, собранной вокруг наличной семье, кроме Тихона, который — завей веревочки.

В крошечной тиши, в осень, когда ставни печально поскрипывали и по углам хаты натекала тьма, Иван Микич выводил почему-то угрожающе:

— Кого люблю, тех обличаю! И наказываю. Итак, будь ревностен и покайся! Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему...

И тут отчетливо три раза стукнули в дверь.

Бам. Бам. Бам!

Ходики безжизненно цыкали в мертвой тишине, вдруг освободившейся от подвываний ветра. Каждый боялся пошелохнуться, напряженно розовея лицом.

Дверь качнулась и сильно отворилась, впустив неясную, страшную фигуру в белой простыне.

Иван Микич жалко пошевелил губами и громко пукнул.

Тихона за это отбузовали будь здоров.

Иван Микич серчал недолго. Поехал глянуть лошадей на ярмарку в Тимоново. Ночевал на постоялом дворе. Там битком, народ какой-то ехал со свадьбы. И он спал на полу. Простыл и помер.

В Валуйках и сейчас стоит магазин «У Лысака». Бабушка моя неграмотная. Но считает хорошо.

Мне казалось, что Тихон и погибнуть так просто не мог, как чуть не погиб, к примеру, мой дед на Днепре: упала банка резинового клея с плота, и он за ней нырнул. Тиша пропал без вести на близкой Курской дуге. Он — особо. Может, вернется? Не знаю: думала ли так бабушка. После него оставшаяся без родных.

Бабушка увидела штурмана самолета, когда шла двору. Они лопатками рыли луг под конопель. На руках были синие мозоли. Штурман курил и плевал, и зло плевал.

— Докедаж вы лятите? — спросила бабушка.

— Далёко. До Рая.

— У рай? — недоверилась бабушка. — И что, был ты там?

— Был, — буркнул штурман.

— Гляньки-ся, что я у табе спрощу: и што, и валуйские там есть?

— А сколько хочешь.

— А Тихона Данилова там не видал?

Штурман холодно посмотрел на бабушку и спросил:

— А какой из себя?

— Высокий! Чернявый, веселый такой... Видал?

— А-а, так это Тишка? Да, видал. Есть такой. Хмурый только, чего ему там веселиться — жрать нечего. Сапоги он сносил. Курить

нема, — с нажимом на «курить» бормотал штурман, борясь с улыбкой. — Да и выпить. Откуда там выпить?

— Ну, если я тебе што и дам, отдашь яму? — нерешительно спросила бабушка.

Штурман поклялся.

Бабушка наворовала колосьев с поля, отобранного у нее колхозом после немцев. Просушила в печке, напарила. Разжилась молочком. Отрыла из ямки какие-то дедовы вещи и принесла утром узелок к самолету.

Штурману за труды отдала моток холстины — хочешь на полотенец, хошь на портянки.

— Передай, — стала она наказывать и все-таки заплакала, — Анфиска яго живет одна, дети яго живы, тольки Васкья помер. Мой Васкья воюе. Я — с детьми в землянке. Жизнь наша дюже тяжелая. Всех наших побило, друзей яго: Епихванова Мишку, Нюркиного Васюрку, Володьку, Ваську Серенькина, Ваньку Серенькина, Гришаку, Петечку Бабкиного, Мишку Шесталихиного...

— Ладно, все, — остановил ее штурман, осматриваясь по сторонам. — Будто он их там не встретил... Он вообще-то, конечно, выпить хотел, да ладно, сойдет. Передам.

— Помер так хоть легко? — крикнула бабушка, вспомнив.

— Да как там легко. Не успел порточки надеть, а чайник уже свистит, — загадочно ответил штурман и отмахивал рукой: иди.

Самолет упал сразу за вокзалом и взорвался вдребезги.

К бабе Анфисе я ходил за яблоками. Я взлезал и тряс. Она собирала яблоки в мое ведро. Когда яблоко стучалось о ее согнутую спину, я говорил: «Извините...» Она очень удивлялась.

Бабушка села в тюрьму. Анфисе досталась на житье младшая из детей -- Рита, моя тетка. Тетка год просидела на печи. Баба Анфиса ворчала ей при гостях:

— Твоя мать черная, черная... Да она и не вернется, не вернется. Скажи: какая твоя мать?

— Черная, — и тетка плакала.

Отца моего взяли дальше всех — Лозовые, за реку. Лозовой рубил мясо, ставил вечером патефон. Женился, разводился. Отца кормить было не за что. Не так мал, как Ритка, чтоб жалеть. Не так велик, как Толька — тот пастушил на Монастырке. Когда отец стирал со стола, Лозовой разжимал его кулачок — не взял ничего?

Отца послали к бабе Анфисе за вестями от деда (дед все ездил хлопотать за бабушку), обратно идти, а река поднялась, потужилась и пошла. По улице льдины ходят. Отец мялся на круче, где пожарная каланча. Ночь скоро. Лозовой вышел на крыльцо оправился и махнул:

— Ну, пльви! Чего ты там стоишь?

Отца положили помирать на сундук в спальне. Когда он вспоминал себя, слышал патефон и пение: новая супруга Лозового работала учительницей.

На полгода отец ослеп и ушел побираться. Если Лозовой его встречал, то здоровкался по взрослому и сажал рядом на совет:

— Вот учительница. Живет чисто. А жрать готовить? Я буду? Вот и подумай.

Бабушку выпустили — она собрала всех мигом. Лозовой даже обиделся: хоть бы картохи пропололи.

Тольку взяли на флот. Не вернувшись до дому, он сунулся в шахты. Женится на хохлушке. Привозил фотографию, хвалился: у жены — зуб золотой. Потом запил.

Бабушка обожглась и оставшихся определила строго: отца в машинисты, Риту — в повара. Всех — в город.

— Я проходила с хвостом подтрепанным, и вы чтоб ходили?

Я любил дожидаться тетку. Издали заметишь: белая кофта, черная юбка. Шла осторожно, белые руки тянулись вниз — сумки. Она несла лимонад, пирожки с изюмом и яблоками, кексы, конфеты, ломти плотного сыра, печенье, колбасные дурманящие слитки. Несла жилистых петухов за синие ноги — они свешивали через край кулька свои кровавые гребни, как букет цветов. Несла голенастых кур, розовые протяженные кроличьи туши. Несла ведра абрикосов, плитки щербета, банки сметаны, горячий, податливый шершавый хлеб.

Бабушка притворно скучно выставляла все это на стол, ворча: «Куда все это?» Я смотрел преданно на тетку. Она скромно щелкала семечки в углу и устало улыбалась на меня. Очень аккуратно двигалась по хате, чтоб не замараться.

Наша хата — на Пушкарке. Сами Валуйки — за рекой, на выси. «Рит Васильна» в Валуйках — директор ресторана. Оттуда шлются нам машины с углем, чурками и навозом, приходят веселые мужики пахать огород, библикают расторопные шоферы, и мы через двор катаем с бабушкой арбузы: в сени, погреб, на чердак.

В ресторане пересекаются пути свадеб и поминок, юбилеев и комиссий, первого секретаря райкома коммунистической партии и пушкарского дурачка Миши Романенко. В кабинете тетки встречаются хозяева мясных, молочных, сахарных, масляных, пивных производств и соседи бабушки, включая тетя Вариного Вольдемара в дырявой кепке.

Тетку подвозила каждая машина. С ней здоровался каждый встречный. Когда она шла колядовать:

— Я маленькая девочка, одна, как в поле веточка. Ничего не знаю, кроме «аз» да «буки». Пожалуйста рупь в руки! — ей совали вазы из хрусталя. В день ее рождения из дальних деревень везли тыквы, кабачки, корзины помидоров, лукошки грибов, живых грустных кроликов, толстешее шершавые тушки гусей.

Муж ее пил, бил. Детей не нажили, разошлись. Его потом рак заел.

Я гордился — племянник Рит Васильны. Для Пушкарки я баб Машин внук. А для оставшихся Валуек — племянник.

Внук бабы Анфисы — Гришка — упал тетке в ноги: сосватай цыганку! Гришкину мать, Людку, увезли в райбольницу под капельницу. Отец не выходил из рюмочной.

Самого Гришку цыганкин отец отбузовал дрючком:

— Иди ты, под такую мать! Я сам на нее еще не посмотрелся!

Цыган ждал сватов на стулке среди грязноватого двора. Дочка выбивала ковер — аж забор трещал.

За теткой во двор занесли свои груди, тяжелые, как печатная машинка «Ятрань», две буфетчицы, Люся и Тося, и соединились стеной. Сумки опустили наземь, чтоб не гремело.

— Здорово, хозяин! Та мы с исполкому, хотим усадьбу вашу замерить, можа излишки какие...

— Та это дело просто: магарыч и трохи денег.

— Да ты смотри какая девка! Она не даже гадкая. Да штош она сама палкой лупит, или ей парня нет?

— Во саду ли в огороде конь ударил гопки! Кому — пива, кому — что, а мне — стакан водки!

— Поговорить надо, хозяин, — улыбнулась тетка. — Дело та-кое.

Буфетчицы умолкли.

— Чего говорить, — хмуро ответил цыган и встал. — Давайте пить. Жена!

Официантки глядели свадьбу, как кино. Столы пустые — цыганчата выметали все подчистую, на поднос накидали шестнадцать колец и гору денег. Братья выкупали у невесты стакан компота за тысячу. Свадьба — гуляла, пол дрожал. Гришкина мать плакала навзрыд. Бабушка моя считала, кто сколько дарит. Невестин отец все подымался и начинал говорить:

— Ну... Глядите! Мы к вам не назывались, — и его сажали за рукав.

Его скоронили богато. Бабушка была: «В могилу постелили дорожку за триста рублей. Сверху — рейки. Потом резиной какой-то покрыли. Штоб не вылез, што ли?»

Через три месяца как померла баба Анфиса, она пришла во сне к Людке, дочери. Присела за стол, утро слабенько лизало оконца — надо к корове вставать, и пожаловалась:

— Что-то скучно мне там. Одной.

— А чего ты ко мне пришла?! — вспыхнула Людка во сне. — Пойди лучше к Марь Ванне сходи!

Мальчик двинулся вдоль озера — в сад, переступая павшие камышины с шершавыми листьями, содрогаясь от мгновенных ранений росы. В воздухе плавали худенькие и глазастые, как отличницы, стрекозы, изгибаясь горелыми спичками. Кот тигриной поступью шествовал вослед, приседая греться на открытых местах.

— Унук! — крикнула бабушка белой рубашке. — Нядолго! Есть будем. А сегодня деда Шэпина хоронют.

Мальчик боялся инвалидской палки деда Шэпина — злодея бабушкиных речей. Сегодня его хоронят.

Он обернулся и строго сказал:

— Кузя.

Кот зевал еще пуще и тряс башкой.

Справа соседский сожигатель Вольдемар бросил косить, и за ним, как одна, понеслись на высоких ногах мясные куры, соря пером.

Соседская Придворева Майка — слева — вывела есть малину сестренку по кличке Труссы. И говорила Трусам громко и гнусаво:

— О-оля, ты куда? Куда ты, О-оля, ты куда?

Оля топотом давила гусениц и с хрустом вперлась в малинник, сопела и чавкала там.

Майка каждое лето росла рядом незаметно. Гнула голую спинку, собирая с картошки жуков. А этот год — вдруг пробежала, красная, в хату за купальником — только мальчик прибыл на откорм из далеких краев. Ее мать бросила тятку, смеясь, и ушла следом.

А он заметил: девочка. И замечал дальше: он — в сад, она — на огороде. А сегодня ее что-то нет. Наверное, в городе. Он — на вокзал за семечками, она — поет, метет двор зелеными ветвями. А Труссы сидят у калитки в мокрых трусах. Вечером собирается лавочка — Майка выходит постоять: молча, дичась, отдирая с забора кору, шлепая комаров, именно она: с жалким хвостиком, редкими острыми зубами и свекольной рожей — его единственная сверстница. А еще соседка! И толстая. И это «еще» складывалось с «еще» и «еще», с каждым днем, и мешало, злило, тревожило. Странно трогало, что рядом — всегда она. Он стыдился, что она — именно вот, вот такая. Это унижало почему-то и его, и меняло. Когда собиралась лавочка.

Со станции дохнул тепловозный, горячий гудок, пуганув скворцов — качнулась земля, камыши кренились. За озером ждал сад — ерошился ветром, как буйны кудри прилегшего спать; сад — корявые, как вены бабушкиных рук, вишни с черными лохмами отстающей коры и заросшие по пояс травой, скрывающей скорбные пни умерших сестер; смородиновые кусты с пахучим листом, колючие старухи-сливы ползут всех выше и, наконец, сплетаются, с ненавистью трутся синими в солнечный полдень ветвями, не пуская света под себя — в сырой пахучий сумрак, куда осыпаются черные и сиреневые сливы с зеленым тугим румянцем и гниют безвестно, в покое там зреют груши в недоступной выси, копя солнце — от резиновой твердыни до прелой зернистой мякоти: чавкнут в траву в ветреную ночь, уйдя в землю, под бережливое, приземистое облачко крыжовника с запорожскими чупринами на продолговатых, просвеченных насквозь плодах. И внутри всего, как ладонь раскрытая небу, достига

ветвями всех, простираясь, пряча под подол детский взор земляничных ягод, росла, не качаясь ветром, мать-яблоня — старое толсторукое дерево, рожавшее каждый год, как в последний — с бессмысленной, слепой щедростью ронявшее с робким, сердечным стуком белобокие, чистые яблоки — собираешь без усталости, а сколько — не заметил: пускают в себя землю, капли дождя, но только не червя, устают ждать и чернеют беззлобно у подножия матери своей, у чрева.

Мир — этот мир, прихваченный к небу золотыми нитями солнечных лучей, полный грузным шмелиным гудом, жеманным скрежетом камыша, падением плодов и птичьих вскриков; и земля — душистая, мягкая, тяжелая земля. Мальчик сел, и под колени, в натяженье кожи упирались и щекотали податливые усы прокладной травы, и заспешил дрожащей тропой муравей. И лег, прижав руками грудь, на промявшейся земле, как на блюде, пустив солнце ломиться чрез частокол жарких ресниц. А ведь скоро будут вишни, хоть пока зелены и малы.

Сердце вздрагивало внутри маленького тела, странно устроенного и пущенного жить: с двумя глазами, светлой головой, твердыми коготками, носом с дырками — он возлежал под яблоней, охваченный косматой травой, словно опавший, последний, выродившийся плод — в блаженную пору нетленья и первозданности. В лоб пекло, в спину холодом земля давила — день начинался. Небо гнулось, как парус.

Кот престарело жмурился на солнце и сопел, изготовляясь чихнуть.

За садом, за дырявым плетнем, тянулся мертвый двор: хата — сквозь сгнивший камыш голыми ребрами вылезли стропила, заколочены выбитые окна, и сад — без троп. Поэтому мальчик не ходил в свой сад в серые вечера — заброшенный двор и вовсе темнел, к каждому стволу липли человеческие крадущиеся тени.

А светлым днем с той стороны наступали псы-рыцари, Наполеон ждал московских ключей на Поклонной горе, постреливали кулацкие банды, шли черные цепи фашистов, стрекотали вертолеты правительственных войск, копилась враги — я забирался в развилку яблоневых ветвей, в окоп, устраивал ствол оружия на удобном сучке и воевал. Можно еще пожевать смолу чайного цвета, отодранную от вишни. Кот Кузя использовался для разминирования, переноски раненых и подвоза боеприпасов, а теперь напрягся под смородиной и кряхтел.

— Кузя!

Кот неприязненно косился.

— Фу!

Сад — зеленый, черный, нагретый — весь день, всегда новый; и страшный, неумолимый, когда тяжелая ночь вползала в него под стынущими от ужаса звездами — тогда возвышает голос всякая тварь — но ведь все уже спят. Хоть день и ночь как-то повязаны.



Мальчик раздвинул ветки — за хатой Шэпина, в теньке сарая ждали женщины в жарких черных платках, тесных платьях. Мужики, багровые от загара, курили. Шэпинские правнуки чесали дурящего от жары кобеля.

Мальчик примерился и направил палку на людей, в загородное поместье кровавого тирана Сомосы, в офицеров национальной гвардии, платья в брильянтах, американского горбоногого посла, в капиталистов-хищников, начальника генерального штаба, подписавшего приказ о расстреле бастующих горняков, в белые куртки официантов, туши охраны, подносы.

Он касался щекой, теплого гранатомета и ласкал пальцем тяжелый клюв спускового крючка: выйдет сейчас в снежном парадном мундире, и отсюда, от зелени и ветвей до золотого роения этих тварей полыхнет, дотянется смертоносное пламя — месть. Народ измучен голодом и насилием.

Застучат телеграфы — конец выродка. Он побежит к спасительному лесу: ждут соратники, машины. Стрельба! «При попытке задержания погибло три охранника...» «Охранника», — прочтет самая красивая в стране, дочь нефтяного богатея, любящая его. Значит, он жив! Он — командир особого отдела партизанского фронта спасется в подполье. А вот уже пять ударных бригад спускаются с гор победным маршем. Перерезано четырнадцать важнейших дорог. Взорвано двадцать мостов. Сдаются и бегут гарнизоны. Перебежчики первыми бросаются в атаку: скрепить кровью клятву верности. Пленные товарищи — на свободе! Паденье столицы под штурмом. Гибель батальона американских советников — четыреста, пятьсот человек. На стенах декреты: земля, вода, порядок. Президентом — тихого профессора в очках, остальные — в оливковой форме. Он — разведка, подавление, кара. Нищий народ шагнет к свету — учат буквы, лечат эпидемии, сеют кооперативы крестьян, высланы иноземцы — все наше. Наши парни — в военных академиях далекой России. А тогда, в день штурма, его простреленная машина, наконец, устанет у витых дворцовых ворот, грузовики с охраной останутся ждать. Он пройдет, поднимется по темным лестницам, битому стеклу, опраля форму, руку оттягивает автомат. Не замечая ненавидящие поклоны слуг, найдет ее в кабинете отца, удравшего в Штаты — и он скажет, пряча слезы в морщины: «Мы победили. Ты слышишь? Революция победила».

Калитка скрипнула — мальчик с ноющими от напряжения зубами нажал стальной кадык гранатомета.

— Унук! — бабушка взглядывалась из-под ладони в сад. — Пади ко мне, я што скажу!

Придворевы — семья Майки. Дом из кирпича, железная крыша, машина, мотоцикл, гараж. У них даже вызревал виноград — синий, кислый, но настоящий. Дед «Ныкита», хохол, шаркал по

гостям — «яки дела?» Бабка — Дуся-партизанка — на лавку к старухам не выходила и подсматривала в щелку в заборе. Майкина мать объявляла на вокзале по радио. Отец — Аркадий — чинил приборы на сахзаводе. Тетка помнила, что пацаном Аркадий жмотился: доходил до кинотеатра, тряс в ладони мелочь на билет и восклицал:

— Это ж: буханка хлеба!

И бежал домой.

Майкин брат — военным на Севере, там с семьей. Еще: Майка и Трусы — вся семья.

Бабушка раз договорилась, что я приду к ним на фильм:

— Пусть Сашка глянет ваш тиливизор. Он ж его не укусит!

Пришлось мыть ноги. Сидел на стуле камнем, робея погрузить ноги в ковер — богато, обои. Майкина мать принесла миску малины — взял две. Дуся-партизанка глядела и окно: кто вон то пошел? Выпивший Аркадий, просыпаясь хватал Майку за плечи и тащил к себе — играл, рычал. Я еле досидел.

Майка провожала по указу матери до ворот. Там дед Ныкита кидал через дорогу шлак — дражнил шэпинского кобеля. Я четвертый раз сказал:

— Спасибо!

И пошел.

Дед Ныкита окликнул с поддороги, пришлось вернуться.

— А пачему твоя шея, как бычий хвост? — и захохотал, и громко так. Даже кобель перестал лаять.

Время — как ребенок, оно быстро забывает и бежит скорей дальше по своим разным делам, а я пытаюсь ему напомнить. Но только счастье — прозрачное, невидимо. Оглянешься — только горе видать, не пропускает горе света. Трудно достать воздуха, прозрачного, невидимого. Трудно подышать. Вот дед Ныкита не воевал войну. Бабушка говорит: лежал на печке. А потом и купил этот дом у старика Котова. И чем-то обманул продавца. Котов приходил, просил еще денег, не дождался, тогда обернулся в воротах и поднял указательный палец:

— Не будет тут жизни.

Бабушкина война выглядела неинтересно.

Немес пришел, хлеб повynes, пяринны повynes, кур переловил. В потолок плеснул керосину — пых! Хата горит! А я с детьми на морозишши. Сошли немцы к низу, а я взяла и хату затворила — они мене отбузовали. Колхоз за хорошую работу корову дал, за двести рублей, а у меня офицер немецкий отнял ее на дороге. Ка-ак пхнул — так и легла.

— Пан, а с кем же я буду детей кормить? — А сама плачу.

Пошли на выселки, напросилась в хату Шэпина-активиста. Я яго жане пряла — все руки повертела, ребята побирались. На волах копали, на волах скородили. Шэпин раньше усех вернулся,

стал ругать: какого черта они тут сидят? Я яму огород прополола два раза. Лошадь водила, перепахивала, а ишо снех лежал — он миня из хати выгнал:

— Выходи отседова! Вы мне ня нужны! Куды хочитя.

А мороз хто знат какой.

У миня печки у землянки не бало. Спасибо одежа была — тулуп дедов сохранила. Ребят одену, да одеялом. Как живы остались — не знаю. Ритка эле меня спала, охватя мене: «Мам, я тибя никуда не пушу».

Землянку дезертир строил, да дед с Озер. Восемь метров холстины отдала — перематки на шее не было! Дезертир по хатам ходил греться, дрова носил. Анфиска взяла и сказала нашему, ездил там верховник, про яго: «Тиша на фронте пропал, а это с бабами сидить».

Ну что ей надо было?

Верховник да прям эле мени и расстрелил яго. Дезертир стал к нему задом, а тот:

— Не становься задом! Перворачивайся лицом!

В землянке двадцать годов прожила, все хату хотела. Я и в тюрьме сидела через гэту хату.

Лес на хаты растет за речкой. И город там — на холме. Воевода Мясоедов поставил городок, посадил стрельцов — это Годунов двигал крепости на юг в подмогу сомнительным казачкам, в заслон последним смертоносным дуновениям ногайцев и крымчан. По реке приплыл Петр и ночевал в домике на круче. Через мост притащили со станции на руках Троцкого — он читал речь четыре часа и в бумажку не глянул. Проскакал Буденный в хорошей бекеше. В педучилище сидел учился будущий генерал убиенный Ватутин. И все.

Сама река загибает петли в мохнатом лозняке, пронизанном тропинками, запятнанном кострищами, и все самое черное вершит-ся в лозняке.

Рыбу ловить меня выучил Вовка Резниченко, по верху искрили голавли, мы ловили на перетяжку, на стрекозу. Еще в Валуях ловят сетью: особенно если пьяные или много народа. Можно еще кинуть хлеб с борной кислотой. Приманивать вернее всего макухой, жмыхом. Вот семечки на масло подавили, а шкорки сдавливают в жмых. Макуху жрали всю войну. Орали немцу — конвойному лагря:

— Па-ан! Можно бросить камнем в русского солдата?

— Мож-на!

Кидали макуху — пожуйте.

Вовка Резниченко потом получил «условно» срок за киоск, утащил платки носовые, в клетку.

Затем он слонялся по лозняку, на ночь глядя. Вылез на холм, высадил форточку на кухне и проник в ресторан в ночь после русско-цыганской свадьбы. Позднее определили, что Вовка слопал два бутерброда с сыром. Наткнулся в буфете на ящики вина и

полбутылки оприходовал прямо там, с горла — стаканы стояли на мойке, он не знал.

Вино он решил носить к реке. В первую ходку заховал в камышах восемь бутылок. Вторую догадался нести в ящике. К тридцати тысячам недельной выручки в столе Вовка внимания не проявил.

Аркадий Придворев (Майкин отец) рыбачил закидушками под мостом, когда клевал — звенел колокольчик. Звяканье бутылок вдруг поразило его.

Вовка сел отдохнуть и допить именно начатую бутылку — тут Аркадий засадил ему свинцовым грузилом по башке, свалил в коляску мотоцикла и в милицию стрелой!

Вовка отсидел дома — в колонии, занявшей Валуйский монастырь. Охраняли бывшие одноклассники. До монастыря монахи жили в пещерах: вырубили в мягких медовых холмах кельи, соединились ходами. Их норы тянулись за реку и в город, к крепости. Всех сгинувших утопленников и пропавших коров списывали на пещерные обвалы. В пещерах посидели контрабандисты, беглые зеки, беженцы, пьянь несусветная. В пещерах заваливало детей.

Больше всего на свете бабушка боялась, что я полезу в пещеру.

Монастырь спасла колония. Сосед ресторана — Архангельский собор — спасла молодость, свежие стены. В собор засыпали зерно, все прочие церкви взорвали. Кто тащил с руин досточки-кирпичики — потом отсохли ноги, мерли у их дети. Последнюю церкву на Казацкой, куда сносили сокровища всех прочих, взорвали вообще впопыхах. Толком ничего не вынесли.

Лет тридцать народ цепенел перед покойной поляной кирпичных обломков, розовой пыли, известки, ломтями штукатурки с небесными красками, а спустя: потянулись глухими ночами копатели. Все Валуйки обмирали у окон, у ночи, в которой тыкались в землю слепые и скользкие фонарные лучи, вздрагивая от ветра под скрипящими и стонущими тополями, гнулись к падшей, не плодящей земле люди, не узнавая соседей, под жестоким присмотром единственного, жутко вытарашенного зрака луны.

Осенью Валуйки загорелись. Сгорел дотла новый дом Коли Крашеного на Пушкирке. Запылала летняя кухня у деда-каменщика Герасименко на Новоездоцкой. Вспыхнула крыша у цыгана Данько на Монастырке — успели залить. А когда через неделю заревело пламя на Казацкой, Завалуе и во дворе Уколовых на Пушкирке, все вдруг поняли: мы же горим!

В Валуйки стянулись пожарные машины трех районов. Из колонии и области привезли солдат. Солдаты жили в педучилище и спали одетыми. Не было недели без страшного пожара.

Но еще страшней, если пожара не было.

Базары пустели — торговали одни грузины. Детей развезли по хуторам. На хатах разбирали камышовые крыши и бросили топить.

Никто не брался жечь бурьян. Курильщики уходили смолить в лозняк. Аркадий Придворев влез на столб и отключил на Пушкирке свет.

Горело лишь личное жилье, и люди бросили ходить на работу. Маялись по улицам целыми белыми днями: вялые, сонные, злые, а к ночи лезли на сараи, вставали на лавки и слушали ночь: где? И ночь вздрагивала и рыже ржавела с какого-то боку: опять Монастырка! Снова — у вокзала!

«О панике в Валуйках» передал «Голос Америки». В Валуйках его не слушал никто, но из области позвонили. Стало еще страшней: кто-то ведь донес, кому-то надо. Кто-то здесь, рядышком. По улицам раздали багры и лопаты, повесили огнетушители, у каждой хаты свалили песка на радость детям и псам.

Мужики с охотничьими ружьями и винтовками из тира выходили в ночной патруль — несколько раз палили в тьму. Едва не прикололи вилами тетя Вариного Вольдемара. Он боялся опраться в деревянном сортире и присел в кустах. Его бесшумно обложили с трех сторон. Захватом руководил начальник валуйской госбезопасности, получивший, наконец, бессонные ночи после многолетних дремотных поисков: кто наступил весной на плакат, упавший в январе с ворот артели незрячих?

Вольдемар сиганул с места очень резво, но штаны помешали — упал. Вилы в него метал редактор газеты Игнат Нечаев, но промазал.

Слава Богу, Вольдемара опознали и внимательный осмотр места события подтвердил цель его размещения в кустах. Разгоряченный народ, может, только раза три и саданул ему по морде, да проломил ключицу гвоздодером. Да Дуся-партизанка выбила себе коленку, пытаясь, как и все, достать поджигателя пинком.

Меня еще не было — я в тот год родился.

Бабушка и дед ночевали в землянке — они только-только pokrыли хату. Бабушка выходила ночью в огород, смотрела на новую крышу и плакала.

За пожаром не видели ни правды, ни ума, ни причины — ничего не видели. Горели богатые и горели бедные хатенки-развалюхи. Пыхали заколоченные, нежилые, трещали во тьме деревянные сараи и кучи хвороста в садах. Занимались пламенем заборы и столбы. У деда Шэпина горело крыльцо, у армяна, что торговал цветами — баня. Горели с крыши, со стены, с пола. У Гагая первым занялся комод. Огонь то вовсе покидал улицу, то возвращался, и сразу — на два двора. А то месяц вообще стояла бледная и жуткая тишина. А то, что ни ночь — воют и сверкают пожарные машины.

Народ терпел, начальство думало. Искали поджигателей, бомбы замедленного действия, колдовство, порчу электропроводки, шаровые молнии, запускаемые из пещеры ракеты, Божий гнев неизвестно за что, монахов и банду беглых зеков — два года Валуйки пылали с небольшими передышками.

А потом свыклись, вернулись в хаты спать. Начали топить. Успокоились и — пожары ушли.

Вовку Резниченко уже namного потом зарубали в лозняке топором. Так сильно. В гроб пришлось по кускам класть. Хоронили закрытым. Болтали: Вовка золото откопал. Может, просто по пьяни не сошелся с новыми друзьями. Даже не слышал: нашли кого или нет? Искали ли?

Дед мой искал воли и махал на постройках топором. Слал с земляками связки витушек-баранок — их раньше давали слепцам. Наведывался. Прабабка Авдотья Афанасьевна не сдерживалась:

— Вась, ты не серчаешь, што миня доглядать пришлось?

— А хтош моих дятей будя нянчить? Што мы будем есть, то и ты будешь есть.

Он сдался за год до войны, пришел в колхоз. Бабушка вышла косить колхозную гречиху, а та — одна повилика. Рук не поды-мешь.

Иду — тяпочка на руке. Ребята мои плачут — я их уговариваю. А Гагаиха провожает председателя на фронт:

— Дани-ил, простися с Мариванною.

А я:

— Нехай с им чщерти прощаются! На черта, я грю, он нам нужен?! Пуля, я грю, ему первая у лоб! Туды ему путь — обратно обороту не будь.

Пришли девки из правления землянку обмерять для налога и то танцуют, то танцуют...

— Галькя, да што ты трепишьси? Тут ить сердца разрываются!

— Да, бабушка, война замирилася!

— Да будя, не бряши!

— Бабушка, милая, — поцеловала миня и сама заплакала.

Прибьгить Толькя:

— Мама, мама — Шэпин пришел!

Ну, стало быть, Танька Бога умолила.

— Мама! Только не ругайси — Гагай вернулси. Нечай приехал!

Кладовщик, бригадир, председатель, партком — и все гладкия, хоть бы щеку одерябнуло, аж досада беретъ. Мой дед — самый последний. С той Германии ничего кроме двух пудов вальцовочной муки не привез.

Гляжу: сапоги снимает, а ноги на газетку ставит. Ну всё, думаю. А в моей землянке: индюшки да коза. Пятки мои потресканы — в трещины палец ложиться. Кровь текё, обуться не во што. Как тольки что идем, бабы кричат:

— Маруся, воньн трактор стоит, там силидон есть. Пятки смажь!

Дед посмотрел, говорит:

— Давай переедем в Орел. Там дома джоже хорошие.

— Ты, ежели хочешь, езжай. Можя, у тебя там какая полюбовница-ухажерка есть. А мне тут детей растить.

— А я без тебя никуда не поеду.

Кот, мокрой головешкой блеснув в камышах, прометнулся к крыльцу, деловито выхляя задом. Мальчик прыгнул в траву и — следом, за ним.

Во дворе у Шэпиных вразнобой взвыл оркестр.

И стало жарко совсем. Землю залило тягостным медом, трещала и лопалась красная краска богатых крыш. Небо переполнилось и оплывало через край, чертило потом по бабушкиному темному лицу, проливаясь из-под черного, незнакомого платка, лилось и удущало, брызгало золотыми шарами из каждого палисадника, нависая над самой землей одинаково пылающими головками. Мальчик едва дышал от жары, от медных вздохов оркестра — бабушка толкала его за калитку, — мимо несли два бумажных венка, скособочив в разные стороны, тетка, что бросала в грязь вялые разномастные цветы шла уже далеко у колонки. Брели наугад понурые, безголовые мужики, безголовые от бархатной крышки на плечах. К мальчику подступила (он вздрогнул и схватил бабушкину руку крепко, что есть сил) высокая невидящая его женщина с черными кружевами на руках и протянула горсть дорогих шоколадных конфет. Мальчик хмурился, отворачивал голову, вопреки ухвертящим бабушкиным указам.

— Возьми! — наконец выпалила бабушка. — Все — лохмотья, а он вишь — лоскут.

Мальчик протянул неприязненно, как на прививку, руку и захватил пальцами противный дар, связавший его тотчас с нестройной толпой, сцепившейся за локти в мерно качающейся ходьбе, жмущей платки к уголкам глаз, смотрящей под ноги, на часы; с синеватым мертвым ликом, тонущем в высокой подушке, захлебнувшимся пенным покрывалом; с оркестром, надрывающимся возвратить всю эту жару обратно в небо; с грязным грузовиком, с материей красной и черной на борту, заслонившей все.

Все протащилось мимо, редея, стихая, обнажив растоптанную грязь, вывороченную колею, сжатую кучами угля и навоза, освободив улицу, но прошив ее редкими стежками брошенных цветов — насмерть.

Бабушка ушла проводить до угла. На дороге торчал один дед Данил Гагай. Скovyривал палкой ломти грязи с сапог. Потоптался еще в траве для пушей чистоты и пошел до хаты — ветер растопырил потные космы его праздничной седины и розовая плешь проступила молодым подсолнухом над воротом армейской стираной рубахи.

Мальчик обернулся на высокоую абрикосину, расставившую толстые ветви у шэпинском хаты. Абрикосы вызревали богато — будто закат оставлял сгустки своего прощального цвета в зелени, а потом ветер ронял их под ноги, и ноги медлили, и ладонь размыкалась

уже в тяге ухватить бесхозный абрикос, пылавший пушистым огненным боком на удобренной индюками пыли — да днем тут же на лавочке подремывал дед Шэпин, пуская острым лезвием взор меж смеженных морщинистых век, как только проходящие ноги мешкали на своем пути. А ночью мальчик спал.

Но ночью дед Шэпин перевязывал ближе к забору черного пса. Вот сейчас странно причесанные и трезвые мужики унесли что-то по улице и за углом ставят на грузовик. И почему-то не хочется абрикосов.

За калитку вышла и Майка Придворева, с ней стоял редактор газеты Нечаев, сын первого валуйского партийца Василя Нечаева, доживающего в доме ветеранов партии в Белгороде.

— Жизнь моя бесплодна, — вещал, уже помянувший отцова друга Игнат, — что значит: без плодов.

И встрепенулся — Вольдемар пёр два ведра проса.

— Володя! Погода благоприятствует.

— Не, Васильич, — отнекивался страдавший Вольдемар, — недолго сорваться, — и шagal шибче.

Вольдемар работал грузчиком на элеваторе и носил каждый день четыре ведра проса. По два. Утром и в обед. Теть Варя — самый могучий ремонтник валуйских автодорог, сыпала просо курам, избыток меняла на комбикорм.

Это были мир да любовь. Хотя назад неделю Вольдемар опять «сорвался». Дополз до хаты и вместо телевизора воткнул в розетку утюг. Телевизор не зажегся, но шторы запылали. Вольдемар прервал попытки снять штаны и метнул опасный телевизор на двор, проломив стеклянную веранду и прибив на смерть Варькиного кобеля.

Потоптавшись на пузырящемся краской полу, Вольдемар боднул башкой окно и уснул в теньке, в палисаднике, с оконной рамой на шее, расставив синие ступни с едва заметной покаянной татуировкой поделенной по-братски пополам — «Как мало пройдено дорог. Как много сделано ошибок».

Валил дым черного цвета. Выл, помирая, кобель. Вопила сожигательница. Бежали соседи.

В полный рост и в кепке Вольдемар доставал макушкой ровно до того места, откуда у теть Вари начиналась шея — Варька вышвырнула его.

Каждый вечер он возвращался с намерением делитьжитое. Он шел вдоль улицы, как добросовестный плотник, обустроивший весь этот свет, и теперь проверявший надежность своих творений: налегал на каждую досточку забора, любовно повисал на отдельных калиточках, обнимал в кратком отдыхе просмоленные столбы освещения.

Детей загоняли по дальним спальням, взрослые уходили в огорды — поливать перец и капусту. Отдельные детали встречи сожителей доносились даже до вокзала и сбивали с толку Майкину мать — она в своих объявлениях по радио еле терпела, чтоб не



вставить что-то из долетавших словечек в казенную вокзальную скуку маневровых по второму пути.

Единственным не стыдным для повтора при детях был Варин укор, что Вольдемар пропил две новые рубашки и повторяющийся рык Вольдемара:

— А ведро? А где мое ведро?!

Отчаявшись ходить, Вольдемар расколотил каменюкой свежее стекло на веранде и пообещал:

— И тебя убью. Голову отрублю.

Варька гнала его хворостинной до колонки, пока не запыхалась. Мигом нашла участкового. За стекло Вольдемара облегчили на тридцатник. На факт смертельной угрозы свидетелей не нашлось.

Участковый сунулся к бабушке. Она охнула:

— Не спрашивай, а то я лежать буду, — и пошла себе двору.

Мальчика схватил за ладонь последний шэпинский правнук — Митька.

— Ну? — осведомился мальчик, погрузив палец в носовое отверстие. — Что?

— Так просто, — Митька тяготился своей внезапной забывчивостью и новой рубахой. — Чтой-то красное на машине деда Степы?

— Красное цвет хороший. Партизанский. Ленина. С красным рабочие царя свергли. Царь был — ну как король. Его свергли.

Митька раздавленно шепнул:

— С-вер-ги...

Мальчик стеснялся. Рядом трет тряпкой малиновый, сияющий мопед Витька Екин, по уличному «Ильич» — обещал рогатку выгнуть и подарить широкий жгут, а тут стоишь с соплежуями...

— Ну, свергли! Ну, как в садике. Есть плохой мальчик, а к нему подходит хороший. И говорит: а пошел ты...

— И царя? — уловил Митька что-то знакомое.

— Да. Митька, — мальчик вывел руку из-за спины и протянул размякшие, лезущие из горячей бумажки конфеты. — На, — его передернуло. — Пожуй.

Митька широко помотал головой и вывалил до подбородка блестящий шоколадом язык. Чуть приподнял плечи и выдавил тесным голосом — новая рубашка и ворот тугой:

— Не. Это деда помянуть.

Мальчик скривился и отшвырнул конфеты. Они коротко тронули забор и канули, качнув крапивой.

У Митьки сама собой вытянулась шея. Он отступнул и оторопело отковырнул щепочку от забора и припал к забору совсем: наблюдал через проделанную щелку палисадник бабы Дуси Гусаковой, вдруг у него дернулись лопатки и круглый причесанный затылок затрясся: человек задыхался и всхлипывал.

— Ну-у, — сказал мальчик. Засопел и отправился к Витьке-Ильичу. Захотелось куда-то деться. Несправедливо сплюнул в сторону недоуменно заклекавшего полосатого отряда индеек.

— Тю! А кто тебе обижает? — к Митьке подтягивались хохлушка Петровна и Дуська Гусакова, проводившие до угла. Дуська уже шарила в фартуке гарбузовых семечек — угостить, но Митька встрепенулся и, набычив стриженный лоб, почесал к своей хате, утирая локтем лицо, скрепив прыгающие губы. Солнце упиралось в его прозрачную, позолоченную пухом шею. И он с размаху обнял черную псину — на время отсутствия хозяев ее привязали к воротам.

Псина подвизгивала, задирая черный нос, не отрывая мрачных, ночных глаз от улицы, по которой унесли.

Мальчик вздохнул отяжелевшей грудью — бабки спорили, когда привезут газ — и для пробы выкрикнул:

— Здрасти!

— Сашко! — взорвались бабки. — Ах, ты умничка! Здравствуй, детка! И книжки читает, и здороваается всегда. О це буде чоловик!

Мальчик кивал и кивал.

— Прибрался Шэпин? — разлепил Ильич толстые, как фасольные стручки, губяки.

Мальчик не понял, но еще кивнул: да.

Ильич пустил пенной цепочкой слюну под ноги.

— За гильзами поедешь?

Мопед ревел молодо и гнусаво. Ильич сидел ровно, печной трубой. Мальчик сжимал его бока, крикнув возвращающейся бабушке:

— Ба! Мы за гильзами. Я щас!

Ехать и уехать! Бабушка на миг подняла взглядывающееся лицо и пошаркала дальше, еще от угла увидев кота, шапкой торчащего на заборе, а еще выше — слезящимся собачьим глазом стекало солнце.

Еще есть, что мне осталось: есть сторона света, которую я должен царапнуть; есть язык, слово которого я должен запомнить; есть крестная ноша, что снимет пылинку с тяжелой моей, могильной земли, еще есть я.

Первые времена жизнь, как день: с утра до вечера. Как дом — налюбуйешься небесами и с крыши пора на чердак, и ниже. И согласен потом даже на первый этаж, а все равно приходится в подвал, до сырой земли. Вторые времена, жизнь как говорливое собрание: надо улучшить тишину и сказать свое, осчастливиться. В третьи времена понимаешь: если долго набирать внутрь воздуха, чтобы, наконец, сказать — можно задохнуться. Что: не бегай, не жди, не ищи. Все, что хочешь — внутри тебя, под руками.

Надо только разодрать грудь.

Вот тогда уже можно жить, аж до точки. А после точки уже не можно ничего.

Наша улица — я орошаю тебя собой — грязна: со двора на двор тянулись болотца, перетекали озера, переплывали утки с вульгарно накрашенными клювами, перекликались чайки. Весной все разливалось вообще до крылец — к сараям прыгали по пенькам. Копали

канавы, спускали воду под наш забор. На всей улице — от кладбища до вокзала — мы жили в самом низине. Потому что отстроились последними.

Наш огород просыхал, когда уж вишни зацветали желторесничными комками и как волны перехлестывались через забор пенным белоснежным чубом. Тогда уж разделялись лавочки: старушки собирались под Гусаковыми — на изъеденной муравьями шпале, похожей на серую кость. Дуся-партизанка отдельно грызла семечки на табурете возле калитки. Мы садились на дубки «под Ениными». Когда «Ильичева» бабка, оберегая камышовую крышу от ранних курильщиков и любителей погонять комарей тлеющими пыжиками, гнала нас — мы переползали к хате Коли Крашеного — там топтали золотые шары, заигрываясь до полночи в кулючки.

Дедов было немного. Ныкита Придворев с Шэпиным да Гагаем сходились постоять среди дороги, перекрикивались, но скоро расходились, осторожно переступая.

Варька с Вольдемаром отдыхали на крыльце, подразнивая нового кобеля Серко. Дед Котов, худенький и печальный, продавший и проклявший Придворевых дом, заходил на вечер к Игнату Нечаеву — они курили у колонки. К ним выходил заезжий армян, строивший парник для роз на земле Райки Бессоновой — она жила вместе с братом-дурачком Мишкой Романенко. Мишка шлепал с вокзала последним, в синей «зековской» робе, в милицейской фуражке и трубил по пути у каждой лавки:

— Ребята, пиво е?

Разговаривали по темну, перешептывались, а когда еще вечер жарил на голубой сковородке солнце, как глазунью — улица сидела и молчала среди разноудаленных коровьих жалоб, самолетных тающих росчерков, переговоров тепловозных, неспешного подступа озерной, пахнувшей тиной пролады, отмахиваясь веточками от ранних комарей, готовя пыжики, высушенные на крышах — от тех же комарей. Вразной желали здоровья редким, последним прохожим. Опускали головы, чтоб не видеть залетных мотоциклистов, вглядывались вслед «чей-то такой?» Благодарили Мишку Романенко за весть о пиве, и ждали, когда вечер донесет в мозолистых ладонях солнце до края света, проблеснут первые звезды, станут слышны паденья спелых груш и шорохи ежиков в траве, треск их седоватых иголок, заныряют над головами быстрые летучие мыши и ставни спрячут бережливый, только кухонный, свет и устанут все собаки, кроме одной, далекой, откуда-то с Монастырки — одна будет гавкать. Отдыхать и гавкать.

Девочку Майку кусали собаки всегда. Все купались — она сидела на берегу. После укусов от бешенства не купаются. Она напоминала о себе жалко. Единственный раз ее взяли «обносить» клубнику у Райки Чекаловой — она пролежала бессильно под забором, и возвращалась позади всех смелых, жующих, лоя пальцами слезы. Я отстал, сунул спекшийся комок ягод и сразу убежал.

Стыдась, что должен сделать так, и стыдась стыда. Ведь это еще могли увидеть сами заезжие москвички, осенявшие нашу улицу на две-три недели — все оставшееся время их либо ждали, либо вспоминали.

Жил страшный дед Гагай — все молча, молча. И грустный дед Котов, до смерти носивший железнодорожную фуражку, все объяснял Нечаеву:

— Хоть и на паровозе, да разве мне хватало денег? Я деньги в долг давал. Я деньги на ветер бросал. Я деньгами долг отдавал.

Бабушка мне рассказала: деньги в долг значит — сыну, вернуть долг — отцу, на ветер — дочери. Мне это не нравилось.

Котова некому было доглядывать. Он Нечаева просил устроить в дом престарелых к Василию Нечаеву. За этим и таскался с Завалуя, хоть тяжело.

Василь Нечаев прогремел цеплянием красного банта на рясу попу Шишку в первомайский праздник. Шишок ради праздника принарядно оттрекся и дальше служил в исполкоме для борьбы с предрассудками. Остальных попов прогнали за лошадиными хвостами, да стрельнули у берез, а нечаевских сестру Марусю с братишкой порубала банда в Новоездоцкой. Марусю водили по улицам, а она просила:

— Вы меня, конечно, рубите, а братика пожалейте — мал.

Обоих вынули из колодца, у братишки рук не нашли — наверное, закрывался руками. Дуся-партизанка Марусю помнила.

Сама Дуся померла незаметно. Я не запомнил, просто перестала подглядывать в заборную шелку. Майкину сестру дразнили Трусы. Так-то ее звали Оля.

Дед Ныкита ши хлебал — только затылок трясся. Трусы качала гирьку ходиков на цепке. Туда! — Сюда! Оттянула цепку сколько рук хватило и — пустила! Гирей — деду в затылок! Ныкита — в тарелку носом!

Сам помер через две недели — совпало. Осенью — я уже уехал. В начале июня (меня еще не было) Придворевы, Райка Бессонова, армян, Игнат Нечаев выехали на мотоциклах на речку: туда, за дамбу, ближе к монастырю. Армян шашлык затеял, Игнат с Аркадием в подбережной грязи раков ищут, бабы в лозняке купальники одевают — костер уже дымит.

Глядь: а гдей-то Оля?

Та она вот тут, на песочку играла, ножки мочила... Та где ж она? Оля! Оля, бегом сюда! Как же так, Майя? Да я только раз отвернулась, к костру. Мужики, вы же тут... Оля! А может, она в лозняк пошла? Оля! Майя, сбегай туда, ну, может, за бабочкой побежала? Побегите туда, к мосту. Оля! Оля! Женщины, вы не видали девочку в беленьких трусиках? Да не, маленькая совсем! Ну что? Нету? А туда бегал, где кукуруза? Или обиделась, домой пошла — ой а там по дороге коровы, о-ох. Оля!!!

Мужики ныряли два часа — Аркадия прямо с речки увезли в больницу. Олю вытащили из-под куста уже вечером, ближе к мос-

ту, так сильно течение стащило. Оступилась, наверное, и — в яму. Я приехал — у бабушки фотография новая в комод: лежит в гробу Оля, синеватая — как руки после вишняку.

Уже при мне, через год Аркадия с Майкиной матерью вызвали телеграммой на Север, где служил прапорщиком сын. Вернулись с гробом. Погиб при исполнении долга. Привезли пятилетнего внучка погостить. Его заловили бабки на куче песка и подманили конфетами к лавочке — там Гуська Гусакова выведывала:

— Славик, а что ж, ты помнишь, как папа твой помер?

Славик конфеты брал и отвечал:

— Пьяный напился, упал, а мама его ударила, ножиком.

Все это где-то далеко, на Севере.

Аркадий завербовался ехать в Анголу. За две недели до убийства наскочил на мотоцикле в камень у Лысой горы и расшибся до смерти. Майка осталась с матерью в доме. Кончила-педучилище работала в начальной школе. Я только два раза ее после видел — тихая такая была, в очках. Зрение было все хуже, это от сахарного диабета. Бабушка моя все пеняла на конфеты. Умерла Майка в двадцать три года — тетка написала строчкой одно: «Сегодня скоронили Майку Придвореву, помнишь?»

Мать ее продала дом за много хохлам Орищенко и уехала в город, на квартиру. Приходила на улицу, посидеть на лавочке и хоть никто вслух не попрекал, все оправдывалась, что столько за-ломила за дом:

— Мне деньги нужны. Меня доглядывать некому.

В кладбище таилась для меня даже не сладость, а томление, что ли, кладбище было чем-то совершенно другим. Вот в округе, и даже далеко (даже в Москве!), все, что есть, и в любое время это — лишь то, что есть. А кладбище — совсем другое. Хотя собранное из того, что знаешь: смиренная кладбищенская трава, баночки под цветы, песок, баранки, шелковицы, сирень, проволочные остовы размоченных дождями и растрепанных ветром венков. Мусор по краям. Узкие тропки меж теснотищи оградок. Старушки. Усатый мой дед, срисованный с паспортной карточки. Но добавляется что-то неведомое тебе и получается явно другое — предел нашей улице, единственная поляна зеленая без крыш на берегу болота с тинистыми берегами, истоптанными утками, изгаженными, зазеленными мхом.

Предел, но все равно — в этом не было окончанья, а просто томительная страна — по ней можно бродить надежно непричастным этому песку, старушкам с сумками, памятичкам со звездами и суеверным крестам. Вслед за теткой останавливаться у молодых лиц, с непонятной нежностью высчитывая по цифрам возраст — сколько пожил всего, искать нашу давнишнюю тетку Лизавету — первую у бабушки, — она померла в год, но теперь старше всех, даже дяди Толи, и я представляю ее уже старушкой и рву траву с ее могилки. И спокойно знаю, что, поплутав, мы выйдем к воротам, на закат и пойдём по веселой улице Кузнечной меж кирпичных

домов работников кирпичного завода и дальше, направо, вдоль реки, до второй закусочной — из нее тетку заметят и вынесут на крыльцо толстые пышки с розовой коркой и холодный лимонад с испариной на тонком девичьей плавности горле.

В какой-то день лета бабушка усаживалась в зале на диван, я — за стол. Она, глядя преимущественно на фотографию дяди Толи, начинала вспоминать имена, и я записывал их в столбик, радуясь почему-то, что много — Тихонов, Федоров, Максимов, Василиев, Стефанов, Екатерин, Авдотий, Евдокий, Петров, Марий, Сергеев, Иванов, Александров, Александр, опять Петров и Сергеев. Иногда бабушка присовокупляла, проверяя себя:

— Эти в Каранде умерли... Это деда твоего братья на войне. Это дядя, завербовали яго на телеги скалки телефонны возить. Взял Дяникин, был такой. Сосед вернулся — на ногах онучи в пять локот, а наш отпорол у зипуне, рукава и те-то рукава на ногах, и пришел пышком, да не выдался — помёр... А вот за этого, хоть есть кому подать? Давай напишем.

Я перечитывал вслух. Она недовольно, громко подправляла, забирала листок (ей нравилось, если выходило чисто) и несла Дуське Гусаковой вместе с ромашками — Дуська ходила на кладбище.

Следующий день наша пустая, спящая под тополиной, влажно шумящей тенью улица с утра отдавала свои обе тропинки: шли без отдыха с Города, Завалуя, Новоездоцкой, Солатей, Монастырки, Уразова, Казацкой — я грыз семечки на заборе, играть во дворе невозможно, — прохожие засматриваются через забор на бабушкины ромашки.

Этот день будоражил: привыкли бегать к окну на каждого — кто там пошел? Не к нам? А тут: идут и идут, и все незнакомые. Детям люди протягивали конфеты. Хождение утихало только к темну — старушки брели к лавочке, обсудить важный день, молодежь взволнованно трещала на мопедах и хвастались набранными конфетами — сравнивали, если одинаковые — кто дал? И мне. Читали фантики: откуда?

Мопед пропрыгал переезд и понесся вдоль распаренных мертвых вагонов, тяжело поблескивавших готовыми к движенью колесами, вдоль заросших озер, с ныряющей в небо чайкой, вдоль белых столбиков с черными цифрами и толстоногих женщин в белых косянках с тяпками на плечах — они уступали дорогу, кратко обращившись распаренными резиновыми ликами — мопед несся быстрее.

Мальчик жмурился и сопел от удовольствия, обгоняя грузно качающийся автобус с пыльными тенями в душном чреве, лобастый похоронный грузовик: люди сидели друг против друга, прижавшись, пригнувшись — будто между ними разверзлась пропасть, а мальчик подпрыгивал — мягкое сиденье! — а вон там коровы ходят за озером и козы рожки торчат из бурьяна, съехали на тропку и трава захлестала ноги жилистыми побегам, и уже без рева, с

разгону выкатились на берег — Ильич прочесал сандалиями по траве уперся — все!

Здесь раздирали палками грудь земли и врывались в песок, губя усилия времени и травы — здесь откапывали гильзы, пули, доски, сапоги, осколки, крылатое оперение мин — все, что посеял павший когда-то здесь наш самолет, везший боеприпасы до какого-то аэродрома.

— Ага! — на черной паре шпал, стянутых скобой, продирался в камышах Борька Миргородский. Он матерился и загребал обломком доски. — За гильзами?

Борька ломал пыжики, торчавшие, как толстые эскимо, меж камышей — карие, тяжелые болотной сыростью. Они лягут на крышу, сберегутся от дождя и росы ночной и — сохнут, посереют, охотно отдадут на проверочный выщип седой одуванчиковый мех, и тогда их букетом, нарасхват, несут лавочке и поджигают, обломив верхушки, раздув до огненного звериного зрака первоначало спичечной подпалыны, и душистый дымок прогонит комарей и достанет соседа, и об этом уже можно поговорить, и от пыжика прикурить, и выжечь им на заборе хорошие и другие слова, и размахом выписать во тьме малиновые восьмерки, колеса и огненные молнии-зигзаги, а дальше сидеть и покусывать стебель с чистым вкусом реки, осени и солнца на губах.

— Все! — Борька причалил. — Наломал. Ильич собери серу — ракету запустим.

Мальчик пал на колени. Видел: руки его устремились меж раскаленных россыпей щебня рвать траву — зеленый мех, добираясь до песка, ребристых осколков ракушек, — пальцы впивались назад, за малолетнюю спину, и война, приподнимая с натугой затрещавшую от жара землю, потянулась навстречу ржавым гильзам и — коснулись.

Ежедневно он собирал железный урожай. Весь угол сарая был погребен умершим железом. И все не мог остановиться.

В колодезю неподвижном поднебесье полоскала горло одинокая ворона. Рельсы горячими путами пластались по земле. Миргородский дремал, раскинув сияющие мокрым ступни, обклеванные зеленой ряской. Zenитная пуля торчала из его кармана, как чужеземная сигара. Ильич выбирал меж шпал желтоватые осколки серы, посеянные худыми вагонами — солнце плавало медные волосы на ищущей руке.

Мальчик поднялся — собранные гильзы лежали у его ног полевой ржавой, как лист, переживший зиму под вмерзшим в землю бревном. Под тоскливые песенки пуль, нависающий вой самолетов он бежал, и земля сотрясала все его сжатое тело и посыпалась за ним в окоп — он расталкивал своих людей — скорей! — где бронбойщики? — там пещерными дырами стонали рты меж черных морщин, стянутых болью, где уставшие жить — бинты с кровью на

людях, на траве, на обожженном солнцем немом поле, на которое небо выдавливало из-за земельной кромки черные нескончаемые танки — шесть, восемь. Теперь — двенадцать. Устоять до темна, сейчас — полдень, сколько же? Шестнадцать. Часов — восемь часов. Считайте гранаты! А людей? Я просил посчитать, сколько может стоять. Еще наполнили — двадцать. Что со связью? Что соседи? А время. Двадцать четыре. Сколько ж погибнет? Живых, пусть — восемь. Оставшихся он выведет, сам раненный — в плечо. Они удержатся даже до утра. Почти все полягут. Он получит орден и майора. В двадцать шесть лет!

— Ты всё время считаешь? — Ильич смотрел на мальчика с рельс.

— Гильзы.

— Сколько у тебя в сарае?

— Две роты почти.

— Итальянские и мажарские?

— Только наши.

— И на хрена тебе столько?

— Чтоб был батальон, — мальчик перекладывал гильзы в мешок, куда Миргородский наставил пыжиков.

Ильич бил ногой о педаль мопеда — издали, громыхнув по цепочке, поскрипели на запасной путь порожние черные вагоны.

— Поехали, — завелся наконец Ильич.

Дорога пряталась под них — песок скрипел и пел.

Через переезд шли ногами. Ильич толкал мопед, обернулся к Миргородскому:

— Рогатки сделал?

Мальчик прекратил дышать — Миргородский кивнул.

— Заедем.

У Миргородского в садку стоял шалаш. Из него долго торчал только его зад — потом Миргородский осмотнительно выбрался и протянул две алюминиевые рогатки с затрепыхавшим розовым жгутом — как кровавые жилы на вилке.

— Постреляем? — Ильич загреб из подзаборной кучи горсть шлака и покидал на руке. — Давай, что ль, твои гильзы поставим, вытащил из рук мальчика весомый мешок.

Ильич ищуще помекал и согнулся над травой, раздергал лишнюю и втыкал гильзы прямо в тропу: составлял отряды и цепи — армия росла; он ставил автоматные к автоматным, пистолетные — к своим, ружейные держали середину. В оцепление стали пули. Он выдерживал равнение в шеренгах. Возвел в тылу батарею пушек из зенитных грузных гильз. Собрал штаб из поменьше ржавых, нарастил фланги, скопил резерв. Глаза Ильича полузакрылись — словно лицо его опустилось в воду, — руки все делали сами собой.

Миргородский ухмыльнулся, еще слазил в шалаш и начал разминать на листе железа собранную Ильичом серу в порошок — для ракеты.



Мальчик сидел за вишниной, оттягивал упругий жгут — отпущал. Трогал черные ноздреватые ядрышки шлака. Мальчик смотрел на это войско, а войско уже видело его, став незаметно живым, с выраженьем лица, разумным, с собственной, непонятной волей, пытающейся враспи в эту тропу, надеясь выстоять несвержимым, без укоризны, держа строй, почему-то смело, но без угрозы.

— Готов, — доложился Ильич и занял позицию мальчика.

Миргородский дотолок серу. Принес с кострища березовую головню и соскребал с нее древесный уголь на ту же железяку, прикидывая, хватит — иль нет? — для горючего соотношения.

— Внимание! — Ильич зарядил первое ядро. — Гады! А мы идем на прорыв. Скажи им, обратись.

Мальчик бережно отложил оружие и выступил из-за вишнины, сцепив кулаки за спиной:

— Солдаты и офицеры двадцать шестой мотопехотной дивизии, — выкрикнул он над головами заново увидевшего его войска.

— Ваше правительство преступно. Предало интересы... Изменило делу! Использует вашу доблестную армию в грязных целях. Обрекает на смерть. Вы окружены. Остатки ваших армий бегут дальше. Мы вводим в бой свежие силы. Два часа назад командование вашей дивизии бежало на самолете в тыл. Наша могучая армия имеет лучшее оружие, вплоть до бомб и ракет — сопротивление безумно. Мы пришли сюда для дела мира. В лагере для пленных вас ждет почта и горячее питание. Считаю до трех! Раз. Два.

Ильич слушал, хмурясь.

— А кто вас, козлы, звал? — ответил Миргородский из метелок травы и начал перемешивать серу и древесный уголь. — Закрой свой гроб и не греми костями!

— Молчать! — мальчик нелепо взмахнул руками.

— Сам заткнись. Фашист!

— Три! Стреляйте же! Три!!! — и мальчик мигом почерпнул шлака, бешено метнул целую горсть в крошечное войско на сухой, растресканной тропе.

Ильич дождался своего часа. Пропел жгут и — толстая зенитная гильза из штабных, отлетела к забору.

Они палили по очереди — работали, не глядя по сторонам, только мальчик чаще мазал — путались руки. Он постанывал, палась оплошностями страсти, а Ильич покойно выбирал, ладно цедился и бил: туда — сюда — и середка — и в штаб! И уже широкие просеки прорубили шеренги, но еще строй стоял. Войско еще стояло под каменным дождем, держалось, пытаясь прикрыться убитыми свое ядрами и телами павших друзей — а в него равномерно врезались и звонко врезались великие снаряды, сразу брызгая бахромой взметенных взрывом тел. Тела летели врасыпную и били рикошетом соседей, отстояв вахту на этой тропе, на этой земле.

Мальчик пускал от себя болезненное натяжение жгута, и через плеск смертного мгновенья что-то менялось там, на тропе, и после его выстрела — что-то новое: больше свободного места, пустого. Оставалось меньше работы.

Середину уже вымело подчистую вместе со штабом. Справа еще терпела под огнем жиденькая цепь — ее, задумчиво хмыкая, выщелкивал по неумолимой очереди Ильич. Остатки левого фланга жалась к полуразбитой артиллерийской батарее и ближе к траве: следующий снаряд пал круглый и катнулся лихо, снеся все на коротком своем пути.

Мальчик опустил руки и жгут на рогатке вяло качнулся над теплой травой.

Миргородский пересыпал горючую смесь в картонную охотничью гильзу, плотно потрамбовал, заткнув спичками дырку от капсуля, чтоб не высыпалось. Гильзу вставил в картонную трубку с деревянным острым носом и проволочными колечками на боку. Получилась ракета.

Ильич с третьего выстрела добил замыкающего в цепи и с удовольствием почесал рогаткой подбородок.

— Щас салют, — Миргородский воткнул в землю железный пруток и просунул его в колечки на боку ракеты — чтоб ракета не осела до земли подпер ее щепочкой.

— Постой-ка, — заметил вдруг Ильич. — А что это за хреновина там?

На отшибе, у краешка притаилось последнее, полуржавое орудие с двумя гильзами прислуги — стояло так, в сторонке, будто не заметили его в пылу битвы, обошли, и артиллеристы уже успели подумать, что — пронесло.

— И стоят гаврики, — Ильич уже заряжал, — вперед!

— В плен лучше, — ломано предложил мальчик, стихший. Вся тропа рябила поверженными солдатскими гильзами, как оторванными, изработанными пальцами, расплюснутыми и ржавыми.

— Сколько положили, а этих в плен? — Ильич пересел влево, чтоб вернее достать. — Хочешь, ты давай. А я добыю.

Мальчик отвращенно, куда попало, пальнул отставленными от себя дальше руками и сразу, еще не увидав, сердцем понял мерзкое: да. Точно! — одна гильза как-то особенно жалко кувыркнулась и, больно вдарившись об забор, канула. Вторая осела на пушечку — словно обколотилась, под хохот Миргородского.

— Не глядя, — присвистнул Ильич. — А тот залег. И думает: не видим.

Ильич растянул жгут для второго номера расчета.

— Все. Ну ладно, — попросил мальчик. Рогатка куда-то просилась из его рук.

— Ле-жит, — шепнул Ильич, метясь, щеки его дрогнули.

— Ладно, Вить, — хрипло окликал мальчик и маялся за его спиной. — Дай я соберу. Тот же убитый!

— Ага... А чё ж он шевелится?

Ильич выстрелил и сплюнул оплошно:

— Выше! Ну-ка...

Он заискал под ногами особый, одному ему понятно какой годный камушек для последнего залпа.

Мальчику солнце напекало в волосы — жгуче, и он выпалил с криком:

— Да Бог с ним!

— Не ори ты. Щас кончим.

Мальчик вдруг пошел, вперед, подкашивающимися ногами, ослепнув — не глядя вниз, дохнув, обронил, не чуя, ногу на тропу — хрустнул. И земля стала ровной. Мальчик понял: все. Поворотился.

Ильич улыбнулся, разведя руки: можно и так. И нагнулся тоже к ракете.

Мальчик подбирал с земли гильзы русского оружия, пальцами видя свежие вмятины, лазил под забор, уже зная — всех не сыскать. Затапывал раны в земле, чувствуя солнечную ношу на плечах, поддувал себе на лицо — все? Опять оглядывался и раздвигал траву — вроде сюда улетали... Сколько теперь не вернешь.

Ракета готова — Ильич подпалил спичку, воткнув ее снизу в горючую смесь, и отбежал за Миргородским к забору.

Мальчик уходил, рогатка торчала в кармане. Когда он ставил вперед правую ногу — она торчала в кармане еще сильнее.

Ракета подумала, вдруг шелохнулась — харкнула! — и с шипом полезла по пруту — прыгнула — и унеслась с тающим дуновением огня, похожим на скрип санного полоза.

Миргородский смотрел ей в след. Ильич тоже прикидывал: куда упадет. Его спину тронул удар — Ильич отпрыгнул. Перевернулся: а это была рогатка. Мальчик вернул ее и уходил.

Первый камешек шлака попал в забор, второй — впился горячим мальчику под коленку — там заболело. Больше не кидали. Только свистнули раз.

Мальчик вышел от Миргородских твердым шагом, запер калитку. Огляделся и быстро вытер единственную слезу.

Улицу томила жара, попрятались индюки да гуси, хранили безмолвие псы, сохли лужи, на глазах светлела и трескалась грязь. Лишь бабочки кувыркались кусочками старой побелки над прерывистой строчкой брошенных красных и белых цветов — мальчик добежал до хаты и с первого раза не схватил пуговицу на леске, поднимавшей засов.

Бабушка с крыльца смотрела на озеро. Кот смотрел точно туда же у ее ног.

В пору, когда у меня и не могло быть девчонки, считалось подвигом пойти проводить ее на чужую улицу. Могли избить прямо при ней. Если девчонка в тебя влюблена — она снимала туфлю и била патриотов родных мест каблуком в морду. На

танцах, на асфальтовой плешу за железнодорожным клубом, «медленных» песен не крутили — некому было танцевать. Свои приглашать стеснялись. И, злые от стеснения, злобно присматривали за чужими.

Самые значительные драки, с привлечением мототехники, лысых призывников и татуированных «условников» проходили все равно бескровно. Победители хвалились кучей собранных с поля битвы «колов». Родители и возлюбленные вели переговоры о выдаче оброненных шапок, ремней, часов. Участковые у величественной, как Царь-пушка, пивной бочки выпрашивали: так кто ж кому вмазал, и ржали, взметая голубей, и вспоминали сваленные заборы и разметенные поленницы своей молодости.

Самой интересной игрой было биться самолетиками. Из коры вырезали самолеты и крутили их на веревках, сталкивая один об один. Кто сдюжит. Один из двух назывался «Фантом». Любили копаться в камыше, сваленном на дороге. В камышину пошире вставлялась камышина уже: получалась раскладная антенна.

Самой большой лично моей мечтой — было сушить пыжики и быть поэтому желанным для вечерней лавочки человеком.

Самые лучшие дни, когда во дворе кто-то жил. В озере бултыхались две черепахи. Я ловил марлевым сачком головастиков, тритонов, задиравших головы, и драгоценных жуков-плаунцов с желтой каймой — все запускалось в корыто для исследований. Страхился поймать пиявку — так ни разу ее и не видел. Очень хотел уловить щуку, небольшую — шуренка.

Тетке подарили раков. Я выпросил одного от мученической смерти и тоже засадил в корыто, в тень. Утром выходил проверить. Рак сидел задом в угол, выставив клешни, и я не знал: жрет ли он сырое мясо, которое в затапливал ему под нос — а может его Кузя тырит с легкой грустью? В одну ночь рак пропал.

Жил — кролик. Его осенью задавили в клетке взрослые. Пищал цыплек — на него наступил пьяный Вольдемар. Ежики днями отсиживались за комодом и шебуршились по ночам — бабушка ворчала. Поймали ворона — но он лишь день хворал в коробке из-под пива, а потом — как дал наружу — и не глянул на мои семечки.

В июне в палисаднике начинался писк. Синеватые, щетинистые, с голыми старческими черепами птенцы дергали полумертвыми крылами и пищали. Я подсаживал их обратно на крышу. Но утром они пищали опять, а воробьи только бестолково трещали над головой и даже не кормили — а птенцы не закрывали рта.

В коробку из-под сахара ложилась вата, бабушка топила печь — птенцы сажались в коробку ближе к печи. Вату я иногда менял, обмотав нос полотенцем. В Кузю, при любом его появлении в пределах огорода, металось полено. Целыми днями я бродил со свернутой газетой «Советская Россия» вокруг отхожего места и шлепал зеленых и синих мух — надо было так шлепнуть, чтоб

муха осталась на доске, а не свалилась в траву. Бежал, добычу закладывал в жадные рты, соблюдая очередь.

Птенцы кричали все время. Сами не спали и под них трудно спалось. Кого они звали во тьме? Зачем? Мух вроде хватало. Уж в горло не влезали. Переставали кричать, когда умирали. По одному. Я не знаю, куда девала их бабушка.

Вообще я не видел смерти. Бились на мотоциклах, резались, становились «плохими», помирали. Все это как-то было без меня, не летом. Я был далеко, учился в школе. Первую смерть я заметил на вокзале.

Самые лучшие места для гуляний в Валуйках — базар и вокзал. Они рядом. Одевались в праздничное и выходили пройтись к московским поездам, к летучей продаже из вагонов-ресторанов. Жены совали пиво в сумки, а измаявшиеся мужья отрывали зубами пробки, запрокидывали бутылку над собой пионерским горном, а жены дергали за рукав — автобус пришел! Мужья, не прервавшись на глоток, шли за женами, как слепцы, доверяясь поводырю, меж старушек, несущих к вагонам — бледных, рыхлых, таких чужих в своих синих спортивных костюмах и дешевых длинных халатах — москвичам мисочки с дымящимися картохами и блестящими огуречными боками, облепленными толстыми паутинками укропа, белотелые кабачки, забаву-семечки, смородину, коринку, баночки пускающей сок и дурманящей дух малины и россыпи литой белозернистой клубники и крохотногоглазой землянички, кукурузные початки, масляно и греховно смотрящие меж лошадиных грив проваренных листьев, ведра синих слив и белого налива, стаканы крыжовника, вишневые веточки, обвязанные вишником с головы до ног, с двумя затейливыми листочками на макушке — за полтора рубля! А вот груши — эх, сам бы ел, да деньги нужны! Та это ж не дыня — ананас, мандарин! Ах, пусть тебе будет так хорошо, как ты хочешь: побольше и почаще!

Поезд отходил, соря косточками, шелухой, корками, листьями, отрывками аж до самого юга, до моря — бабки отступались усталым отливом в тень моста и тополей, следующий — через час сорок, садились на ведра под мазаными белокирпичными заборчиками, и стакан семечек опять стоил пятнадцать копеек, и оказывался виден Миша Романенко, обмочившийся под пивной бочкой и потерявший милицейскую фурагу. Слетались голуби. Вольдемар тащил через перрон два ведра проса и кричал бабкам:

— Здорово, бабки!

Ближе к полночи мы провожали в Донецк дядю Толю.

Самое жестокое дело в Валуйках — сесть в поезд. Билеты «на проходящий» — без мест. Поедешь на том, что успеешь накрыть своим задом. Провожают целыми улицами: кто с вещами, кто выходящим помогает вылезть скорей, а кто — налегке и понаглей: запрыгивают в вагон. По стремительности это напоминает захват самолета с бандитами. Впрыгивают еще на ходу, лезут на не опущенную подножку, пихая в могучие груди вопящих проводниц:

«Мужчины, у меня ни одного места!» — продираются меж сходящих, толкают спящих: «Здесь спать? Докуда едешь? А тут не вышли? Вышли?!» — падают на место и машут в окно: заноси вещи!

Отставшие несмелые едут у спящих москвичей в ногах или ждут на третьей полке чьей-то ранней высадки.

На перроне сразу тревожно. Подозрительно оцениваются силы возможных соперников, их возможные преимущества: грудные дети, старики, инвалиды. Никто не признается, какой вагон он рассчитывает подстеречь под этим фонарным столбом. Заветной тайной хранится выпытанная у справочной нумерация вагонов.

Майки Придворевой мать объявила: поезд опаздывает на час.

Никто даже не дернулся. Ближе к нам ждал потный очкастый товарищ неместного коричневого загара (местный — красный) с кудрявым чубом. С двух чемоданов, коробок и узлов тоскливо смотрели на него дочка и супруга. Их никто не провожал, значит — пересадка. Они тоже не дернулись.

Только дядя Толя посмотрел в сторону вокзального ресторана и вдруг признался, что его знобит. Бабушка гаркнула:

— Стой уто!

И Майкина мать неожиданно объявила, что поезд прямо сейчас идет на четвертый путь. И нумерация от хвоста.

На первом пути бросали посылки из почтово-багажного в грямские тележки, по второму что-то ездило и гукало, и поэтому толпа ломанулась на мост, растекаясь на сходе напополам, в соответствии с вагонными устремлениями.

Потный очкарик надрывался за нами с двумя чемоданами, пот катился с его подбородка и носа на галстук и пиджак. Дочка и жена подтаскивали следом, по очереди отдыхая, узлы и коробки. Вообще-то они отставали. И понимали это.

На четвертом пути стояла темень. Все высматривали цвет сигнального огня или прожектор тепловоза. С четвертого пути уже стали видны звезды и доносился шорох камышей с запутейных озер. Я уже зевал и подмерзал, бабушка меня подталкивала походить. Я ходил до потного очкарика и обратно, стараясь не смотреть на его дочку — у нее было две косы, она тоже смотрела в сторону поезда.

Тетка опять обнимала дядю Толю и в какой-то раз просила:

— Ну хоть ты там передавай привет Маше, Русланчику, Жанночке.

Дядя Толя согласно кивал, но в гости не звал. И бабушка это подмечала, сурово поджимая губы. Дядя Толя женился на хохлушке.

Топтались-топтались, жгли спички — глянуть на часы, а тут Майкина мать виновато прокричала, что донецкий стоит уже у первой платформы, но упорно с прежней нумерацией от хвоста.

Лезть под вагонами, любимым для валуйчан путем, возможности не было — на втором пути продолжались затяжные маневры грузового состава.

Со смехом, матом, охом народ снова полетел на мост, с упорным ожесточением рвясь вперед. Я держался за бабушкину руку — меня подталкивали жестким углом чемодана в зад, и я перестал высматривать дочку очкастого товарища с кучей вещей.

На сходе народ опять распался. Сгоряча пробежал каждый свою меру, но тут самостоятельно обнаружил под покаянное молчание вокзального радио, что нумерация все же от головы. В Валуйках тепловоз перегоняют с заду наперед — конечно, легко напутать. И все помчались навстречу друг другу, растопырив оттянутые сумками руки, будто раскрыв объятия для радостной родственной встречи и тяжело вздыхая загнанным ртом.

Пара дежурных милиционеров, проводники, поздние торговки смеялись до слез. Один Миша Романенко не оценил событий и начал басить:

— Ребята, пиво е?

«Ребята, пиво е?», вцепились, полезли, потужились, схватив желтые поручни, суя билеты вперед, и дядя Толя молодецки впился третьим, но дело застряло — он стал проталкивать плечом широкую задницу тетки, рвущейся во вторые с двумя десятилитровыми бутылками томата через плечо — у тетки нога не подымалась через две ступени в тесном подоле, а отступить она боялась, и никак не могла освободить руку, чтоб задрать юбку. Дядя Толя вдруг ахнул:

— И-и РАЗ!!! — поддал плечом — юбка лопнула по шву, тетка сорвалась.

Дядя Толя лежал в жирной луже томата, смотрел на бабушку. Тетка сидела на его животе, держала юбку и хохотала — я тоже смеялся.

А потом, ближе к туалетам громко прокричали, и я отошел туда глянуть, отошел оглядываясь и хихикая: комочек томата шмякнул бабушке в глаз, и она все выпроваживала его углом платка и сердито мигала на меня.

Из следующего вагона торчали ноги, две. Одна в сандалии, кожном, отдыхающем, вторая — в одном носке. Через ноги люди протаскивали коробки с перцем, лезли с сумками и тюками, уже приноровившись так, волокли мешок муки, кивали провожающим из окошка:

— Ага, нормально. Тут боковая. И в следующем купе парень в Купянске уже вылазит.

У туалетной стенки скучно смотрела на посадку синеватая проводница. Рядом с ней кричали женщина и дочка ее с косами. Они уже устали кричать без умолку — просто вскрикивали, будто в них брызгали холодной водой. Это их супруг и папаша подкосился в тамбуре вниз лицом — интересно, как же очки? Как же ему удалось влезть с чемоданами первым? Значит, вагон угадал. И упал меж двух своих чемоданов, принудив всех последующих раздвигать ноги чуть не в шпагат через свою спину.

Проводница лениво повторяла:

— Пассажиры, достаньте его. Ну подымите.

Жена и дочка вскрикивали. Народ лез и лез, провожающие с вещами.

Когда расселись и откричали спорные места, мужика вытащили выползающие провожающие. Я смотрел на ногу в носке — как протаскилась она по грязным ступенькам. Я у бабушки всегда ходил без носок. Еще думал: а где ж сандалет? И забыл глянуть в лицо, а тут уже нагрудилось народу, и я видел только спину дочки — косы свалились со спины вперед. Спина качалась, дергалась рывками: ближе, дальше от меня. Дочка давила кулачками на белую рубашку промоченную потом — чтоб вышло сильнее, налегала всей грудью вслед, а мать, как наперегонки, вдыхала в невидный мне рот воздух: хых! хых! Они делали это привычно и странно молча. Только дышали с хрипом, а люди кругом молчали.

Я подумал, что у этого мужика, наверное, давно неладно со здоровьем, раз даже такая девчонка и так умеет. Наверное, из отдыха ехали — шея у дочки загорелая.

Проводница глянула: нет ли зеленого, кивнула кому-то и из вагона тихонечко вытащили оба чемодана и поставили тут же рядом, ближе к ногам. Ноги торчали из толпы, опять беспризорные, меня так и притягивал этот носок — холодно же! Мать заметила чемоданы и как-то непонятно повела головой.

Из медпункта притащились не очень проснувшаяся бабка и фельдшерица Райка Бессонова — она мерзла в халате и оглядывалась на знакомого милиционера. Они принесли носилки. Я все смотрел на спину дочке и видел, как ей уже тяжело, но она совсем не отдыхает, попадает в понятный ей ритм.

— Так, давайте понесем, — замерзла вконец Райка, и все пошевелинулись.

Меня достала бабушкина рука и повела. Мимо нас стронулся и поехал поезд с махающими руками и путешествующими бессонными товарищами в майках и волосатой грудью. Дядя Толя помахал нам, обнимая тетку, разбившую томат, оба улыбались. Поезд проехал, отгорели малиновые фонарики хвостового вагона — четыре штуки, тетка спросила:

— Мам, почему сказала Райка Бессониha на базаре сливы?

Мы дошли до трех белоногих белогуровских тополей, как из-за спины, с вокзала прорвал ночь до самого неба больной истощенный стон, кто-то подкликнул ему послабже и рыдающе стихло. Мы пошли молча и скорей.

Я схватил крепче бабушкину шершавую руку, шумели темные облака дерев, ноги трогала ночная сырость земли, никто не попался навстречу, ни одна лавочка не жила дымками пыжиков или сигаретным искрением, или старческим неспешным говором — мы шли одни.

Я проскочил первым в хату, глянув с крыльца на черную тьму сада и мрак заброшенного двора, споткнулся, весь передернувшись,



о мягкий Кузин бок. Бабушка вдруг разбранила Кузю и кинула его в хату на ночь — ловить мышей. Кузя недовольно и дико вскрикивал, и тетка, сходяв закрыть ставни, недовольно буркнула, что так не уснет, а ей завтра — к шести на базар, и швырнула Кузю с крыльца.

Они еще переговаривались недовольно про kota и стали стелить, а я сидел на стуле в зале, под портретами дяди, тети, отца и деда, смотрел в пол, в присыпанные мелом промежности между досок и чувствовал, почему так старалась эта девочка, что билось под ее рукой, что зависело от ее плечей и что она пыталась сделать. И не сделала.

Чувствовал, но понять не мог ничего, а только видел тесный вонючий медпункт, чемоданы, коробки, узлы, лежак непустой, Райку Бессонику, у которой армян строит на плану парник, и ей бы, конечно, сбегать туда на ночь, стриженный милицейский затылок над бумагами возвращающегося отпускника, единственную кабинку межгорода на вокзале с неслышной связью, мученические очереди за билетами и сонных кассирш, пересмеивающихся над Майкиной матерью, начудившей с поездами, и Мишей Романенко, спящие на вокзале люди в тяжелом воздухе, прохладную пушистую ночь со звездным обещанием завтрашнего ясного дня, с зернами, разбрасываемыми тополями под ветром, с простором уходящих рельсов, сонными вздрагиваниями черных стрелок на больших часах и светлой южной сандалией под платформой, по которой бредет небритый дядька в грязном желтом жилете и стучает молотком.

— Так. Ведро в сених. Давай. И спать, — стараясь быть строгой, сказала тетка и коснулась легко моего затылка.

Мальчик, насупившись понес гильзы в сарай.

— Добытчик, тудыть яго, — притворно нахмурилась бабушка. — Как отес твой. Свеклу роим — уже убирали свеклу. Глядь: узорвалась мина у вишняку под низом. Бабы кричат:

— Маруська, должно твой ворочает!

Прихожу двору — они с Толькию восемь винтовок сготовили и пистолет, а не знаю — на што. Ножик был (свеклу обрезала) — хаварастину вырезала и ка-ак начала бузовать — успорола обоих!

А кума кричит:

— Кума Маруська, подюжее, подюжее хаварастину — тэй-то не убьешь!

Приволокла винтовки, в хату положила. Смерклось — узяла, отнесла куму, у его там пруд, конопи вон мочил.

Бабушка ушла в сени греметь кастрюлями. Кот минутно колебался — за кем пойти и, обессиленный раздумьями, безвольно распластался на крыльце, предоставив ветру слабо шевелить белоснежный свой ворот.

Сейчас за вокзалом поставили каменного генерала Ватутина: без рук, без ног — как вазу. А ведь это место сиреневых кустов, в них жили цыгане, а я их боялся. Я очень боялся расставаний и летом снова спрашивал бабушку: «Ну ведь у меня еще детство?», и победно взглядывал и зеркало: «Это ж все равно — я!» — и как же я не усмотрел, как он отстал — бежал следом, но упал? И не докричался? Или просто заигрался, забегался и не увидел, как я ухожу? Что же его удержало? Мы расплывались, но я еще долго ждал, мне все равно казалось, что, потеряв, я все равно вожу его за руку. И он не понимает ничего. Но как же он мог бросить меня, забыв мою жизнь. Как же я его забыл, родив ребенка.

Эта вокзальная сладость. Сюда приезжали московские девочки. Между этими словами можно падать в пропасти, не упасть. Начиналось что-то очень другое.

Москвички. Я, чтоб пойти на вокзал, надевал рубаху и постигал, что на голове у меня как-то лежат волосы и правое ухо оттопыренней левого, и что есть видные ребята. Такие, как Витька-Ильич. А еще есть — разные. Как я, например. Меня там не ожидали.

В часы московских поездов я прекращал косолопать и шел стройно, как пионер на линейку, и семечек под ноги не плевал. Только в кулак. И смотрел.

Нет, я не надеялся первым встретить. Приезд москвичек обсуждали с весны. Дни до него считались. Ночь перед приездом плохо спалось, а утром ты рождался в прекрасном, золотом мире.

После их отъезда вдруг желтели предательницы липы, и приходило письмо от мамы, что она купила новый дневник и бумагу для обертки учебников.

Москвички никогда не приезжали. Они заезжали по пути с юга или на юг. Они скучали в Валуйках.

Я упоенно рассматривал тропку до вокзала в хороший, синий день, стоило вспомнить, что скоро приедут они, этим летом. Увидят то же самое. Пройдут здесь же. Какой тогда тревожной полнотой набухали и бились в согласии с сердцем ежедневно виденные картины. С каким волнением и радостью отзывалось в душе все, на что мог упасть, пусть выборочно, пусть легонько, их нездешний взгляд — подновленные красные буквы на туалетной стене, табунки багажных тележек, разматывающиеся вслед за тахтающим трактором, алыча в пыли у телефонной станции, куча щебенки, зеленые яблоки на высоких ветвях, тетя Рая Чекалова, обирающая клубнику, кирпичи, легшие цепочкой через лужу (ведь у нас дожди), наша улица, и даже я — в рубашке. Они все это увидят.

Я вдруг менялся, так сильно, что пугался увидеть знакомого на вокзале — увидит и догадается, почему я другой. В чьи воды бесправно смотрюсь, втихомолку дерзаю. Я понимал, что моих-то прав меньше всего на эту радость. Но почему же так властно и всесильно

она владеет мной? Наверное, просто по слепоте и силе, не унижаясь рассмотрением раздавленного... Я страшился: вдруг надо мной посмеются? И прятался в злость. Ходил по вокзалу злой.

Они писали своим бабушкам и редким подругам. Строки писем разносились от колонки по дворам, дополнялись так щедро, что писем словно становилось уже несколько на одну тему — они даже немного спорили меж собой и относились до каждого из нас. Даже до Майкиной сестры — даже до Трусов. Избранные подруги ходили по улицам с отблеском златоглавой Москвы на челе.

По письмам мы знали их семьи, отметки в школах, обновы, мечты о поступлениях, ссоры с родичами, имена ухажеров и ухватки — но все равно: они оставались бесплотны. Они начинались, когда шли от калитки к онемевшей лавочке. И кончались, когда калитка глотала их. Больше их не было. Они не ходили на речку, не поливали перец, не дергали бурьян. Когда я подносил баб Варе Писсаревской ведро воды до хаты, я никак и не думал соотносить ободранный зеленый рукомойник, сушащиеся перины, куриный помет на крыльце, пыльные окошки с баб Вариной московской внучкой, — я не мог.

Они приезжали и бедные наши красавицы никли в ситцевых своих сарафанчиках и маминых кофтах, молчали, опустив головки с нестойкими кудрями. Слушали и подсмеивались, где шутили; теряли свое. Зато на наши бедные лавочки вдруг снисходили ангелы и падшие души, о которых я раньше слышал только в рассказах тетки о ресторанных пирах и мордобоях, — приезжал на велосипеде красавчик Барон. Его звали с ударением на «а» — Барон. Он иногда употреблял слово «проститутка» и охотно рассказывал, почему собирается учиться на женского врача и что про это знает.

Из-за путей, с Новоездоцкой, приходил с гитарой Гена Дрокин: Гена играл на танцах и пел — слов не понять; но у них были гитары и одинаковые рубашки. Они отрастили волосы. Махнуть рукой Гене из толпы... И удостоиться обратного знака! А уж сидеть на лавке рядом...

Заходил всегда пьяный Вовка Резниченко, уже отсидевший, но еще живой. Он чудил: падал в грязь, ругался с бабками, перетягивал веревкой дорогу.

На алом, пылающем, горячем мотоцикле мчался к нашей лавке Костя Ковалев из педучилища. У него висела цепочка на шее. У него росли даже усы и на запястье выколот штурвал. Он был самый высокий.

С ними были цветы, бутылки, смех, праздник, новые слова, песни, транзисторы и даже магнитофоны; ночные катания, сладостные игры в «кис-мяу» и набег на груши — улица наполнялась, шумели тополя Белогуровых, со станции гудел тепловоз, и завтра ждал такой же день — огромный, и после него — вечер — новый, лучше еще... Только тогда я понимал, сколько я в жизни хочу. И что я хочу.

И теперь. Я, наверное, мог бы. Только они меня не подождали.

Я был там тенью, гвоздиком в лавочной доске — я даже пыжи-ков своих не сушил, у меня не было плота — чужие пыжики мне редко давали. Держался лишь тем, что я здесь живу. Пусть — никто. Но если целый день высматривать почту, ходить за водой, пускать в луже корабли, висеть на заборе — ты сможешь увидеть ее одну. Пусть даже просто вышедшую глянуть ту же почтальоншу. Пусть даже не увидит тебя, многие и этого не имеют. Но ведь может еще и увидеть!

Это все, что все-таки держало небесный жестокий свод над головой, не давало ему обрушиться и растереть меня в прах на-прочь.

Они были женщинами. Увидев их, можно было понять, что это такое.

Они были оформлены, и в случайном прикосновении малого моего роста к большому вдруг открывалась тревога и власть мягкой и плотной встречи с неведомым телом. На них смотрели другими глазами. Счастьем было за ними бежать. Они красили губы и ресницы. Ими можно было дышать и задыхаться. Говорить про их кольца, серьги, цепочки, сигареты, жвачку. Они привозили жвачку, дарили. Ее жевали, обмениваясь по три дня, а обертки расправляли в книгах и нюхали зимой.

У них и имена-то были: Воротынцева, Звонарева, Оболенская. Куда там нашим Сыроватским да Пономаревым.

Их ждали, чтоб влюбиться. Генка Дрокин писал в Москву. Константин Ковалев даже ездил; и еще ездил, когда Ленка Звонарева первый раз развелась.

К ним приезжали еще днем, на мотоциклах — они стояли у калитки, всегда немного сонные, обняв себя руками, и улыбались. Яркие губы были видны издалека. Эта улыбка и осталась.

Остался еще изгиб у дороги из города на сахарный завод. В августе начинают возить свеклу на завод.

В августе Ленка Воротынцева неделю загорала на огороде, по-южному: стоя. В купальнике. Шоферы под влиянием белого тела, едва ограниченного цветными полосочками ткани, стали все позже и позже заворачивать в сторону завода, — поворот становился все круче.

Сначала было хорошо: вся улица запаслась свеклой, посеянной на ухабах. В конце вышло по-другому. Какой-то воин, привлеченный к уборке урожая, въехал на своем КамАЗе во двор дядь Васе Уколову, навернулся и вывалил тонну свеклы на парализованную бабку, которую вынесли из хаты подышать.

Воротынцева тогда уже уехала — солдат смотрел по привычке. Изгиб на дороге так и остался. Каждый год там бьется очередной мотоциклист.

— Товарищ генерал! — над забором торчала рыжая башка Ильича.

Мальчик посмотрел на него без выражения.

— Товарищ генерал, пойдешь сегодня в пещеры? Просил ведь.

Мальчик уперся рукой в сарай и спросил:

— Кто еще?

— Бабы-москвички, Ленка Звонарева и Воротынцева.

— И Миргородский?

— И Миргородский. Куда ж я с двумя бабами один?

Мальчик кивнул:

— Во сколько?

— Я зайду.

Бабушка листала календарь, мальчик натирал хлеб чесноком, откусывал и хлебал суп.

— Ба.

Бабушка подняла голову.

— Я схожу с Ильичем на речку потом?

— Сходи. Но только не в пещеру.

— Ты что-о? — поразился мальчик, — Я б сказал, — и хлебать стал чаще.

— А то лазикот и не говорят. У Герасименковых троих завалило и не знали — где. Через месяц только догадались. Мать сразу в гроб легла. Кусай хлеб!

Мальчик молча доел и ушел в сад. Кот проводил его узким, полуприкрытым веком, взором.

Мальчик с мукой вздыхал и лицо его становилось жалобным, пока он шел по тропинке, упрятанной в камыш, и его никому не было видно, а еще зной — тяжело дышать. Небо стекало студенистым киселем, в него макали кроны истомленно выгнутые вишни — и зеленое марево, клубясь, вращало в голубое — такой день, лето. Мальчик шел и шел, убегал, как со связанными ногами, и давил ногой землю — она виноватая.

Ноги запнулись. На заросшей как попало меже смутным столбиком торчал маленький человек. Рос из земли и травы.

Мальчик поднес к нему свое запрыгавшее сердце.

— Митька, — сказал он скорей, опережая страх. — Дед вернется. Врачи придумают.

Прошумели деревья, и внезапный ветер согнул к траве женскую стать камышей, мальчик оглядывался и нагнулся к человеку, как в темный колодец:

— Хочешь сегодня в пещеру? Будем играть — у меня гильзы. Плот построим — еще только одна шпала нужна, и две скобы.

Мальчик отдыхал после слов, он толкал застревающий ход их плечом, выжимал — пытался отворить зажмуренные глаза, тронуть запечатанное в зной лицо.

— Чё молчишь?

Суетливо оглядывал сбитые локти, погончики на рубашке, пятна вишневого сока на грязных ладонях и парашютик одуванчика, зацепившийся в волосах — как на вспаханном поле — неудачно выбросили, да средь бела дня, и пощелет ветер видный всем парашют, мчится по ближней дороге погоня, а он — в сторону! —

прижимаясь к чужой земле, плохо пригнанный вешмешок колотится по спине. Его хотят брать живым, а ему бы до леса. Ему бы до Волги, а там — пароходом!

Увидел вязкую каплю пота, переползающую чужой висок, не теряющую напора, восполняя потерянную по пути силу глотаньем невидимых крапин. Кожа дышала — человек жил.

Мальчик сразу вернулся в сад, где бьются, словно запутавшись, скворцы на вершинах вишнин, и моляще выдавил в прижмуренные упрямо глаза:

— Прости меня. Ну прости меня.

Пошел прочь. Надо уже идти.

Я играл в войну. Ходил по двору и бил палкой землю. Все оружие хранилось за кучей песка. Сук березы — автомат. Хворостина — шпага. Орешина — копье. Меч я вырубил из елки, ружье со штыком выпилил из сосновой доски.

Ходил по двору, сжимал ладонями палку, рывками и, стиснув вдруг зубы, втыкал ее в землю, с размаху. Играл только так. Всегда один. Чтоб никто не видел.

Внутри разное: князья, наполеоновские войны, борьба с кулачем и белогвардейщиной, иногда придуманная страна с тираном. Начиналось с малого: подполье, взрывали штабы с американцами, первый тюремный срок и побег на шхуне за границу. Там собирали своих, топтали тропы назад, готовили подрывников, искали базы в горах и разгоралась партизанская война — года на три. Я командовал бригадой — мы держали перевал. Когда брали столицу — война не кончалась. Строили армию, покупали танки и, конечно, нас атаковали американцы или их прихвостни. Иногда мы отступали до столицы и радостно подсчитывали американские потери, а то и сразу перли на чужую территорию. Тут я порой вываливался в реальную историю и воображал себя Симоном Боливаром или Гарибальди, или оставался маршалом неведомой страны, которая уже строила авианосцы, ракеты, подводные лодки, и заворачивалась бесконечная война за могущество — мы атаковывали страну за страной, размалывали коалицию за коалицией, высаживались на далекие острова, дрались на море, в горах, содействовали мятежам военных в странах враждебной коалиции — весь двор был истыкан.

И почему-то я все время считал. Вдруг заметил: считаю шаги, удары, в моей голове грохочут числа в докладах подчиненных, в подсчетах, планах: потери, силы, сроки, стволы, расстояния, вес. События теснились, усыхали, а числа росли, и неожиданно я понимал, что стою среди двора, втыкаю палку в траву и просто считаю. И голова моя охвачена изнутри липким жаром, жжением и готова лопнуть!

Я отбрасывал палку и бежал в хату. Числа бежали за мной. Я отмахивался. Говорил что-то про себя. Числа считали слова.

Мы с бабушкой гоняли мух. Первым делом я заманивал их чистыми окнами и, пленив шторой, давил жужжащую хрупкость — хруп! хруп! — и вскрикивал, чтоб не считать и это. Тела падали на пол, подметались. Я схватывал на кухне полотенце. Затыкал подушкой дыру из спальни на кухню и гнал мух в зал. Ограждал спальню занавеской и продолжал мотать полотенцем, как крылом. Мухи метались, единились с кухонными — бабушка гнала фартуком, и они бросались сквозь сени — на улицу!

И — пропадали в белом свете. За ними запиралась дверь. И в хате — чистая тишина. Мы с бабушкой шли на лавочку отдыхать. Бабушка почему-то думала, что я стану учителем. Я садился к ней под бок, и мы смотрели на нашу хату — беленькую, с высоким крылечком, зелеными ставнями, черной трубой — наша хата, бабушка вспоминала, как затеялись строить ее:

— Я в тюрьме сидела через гэту хату. Лес нужен. Самогон затирала — так же мене не поедут лес возить. Привязут на лошади, складають, а я становлю — литр, поллитра. Или четверть всю.

Они идут пьяныя — хвалются: я их пою!

Гагай с Нечаем и наскочили: обыск у хате сделали, горилку нашли. У клубе суд показательный — двое суток судили! Чуть сердца не лопнуло.

Первый день — до семи вечера. Отпустили домой спать. А утром, снова с сями — в клуб. Последнее слово! А я и не знаю, што говорить... Просилась: хоть дояркою пойду, хоть свиаркою.

Шесть лет табе!

Посадили на линейку да повезли. Бабы, бригада наша, в голос голосили. Во как судил Сталин! Глаза ему б повылавили тут!

Дед упал на землянку и заголосил: «Милые мои уголошки, да как же я теперь без хозяйки?»

Там и кормили ничего, и баня два раза в неделю. Концерт — распутный такой: плясали, били. Один мужик на плечи другому взлазил, а мы с Нюшкой. У ее матери (девьяноста годов) омет в колхоз свезли, а она сабе — вязанку узяла. Восемь лет!

Сидим сабе в стороне. Начальник лагеря, старый, говорит:

— Данилова, што ты так далеко все время садишься?

Узбудят в семь утра, выведут, мерзнешь — зубами стучишь. Конвой говорит:

— Вас хоть кормют, а попробуй, что мне.

А ему — каша овсяна. Попробывала и плюнула — кишки воротит.

Нам напхают в бригаду тюху да матюху, да колупая с братом — они и не работают. Цыганка распутная, на плечах — орлы. Все плясала. К мужикам бегала — веселая приходила: полный подол махорки. Я ей:

— Ты не пой. Ты вот давай кирпичи грузи!

Так она меня так вдарила — аж затылок болел.

Лягу на нары: «Как тебя сюда угораздило. Ни дед тут твой не был, ни прадед». Как время корове доиться — вся подушка в сле-

зах. Почтальонша писала: дед, как письмо получает — кидается на землянку плакать. Думаю: чего я тут лежу? Приду на кухню, столы помою, бидоны, в каких варю — мне воблу дадут. В барак приношу — повалят и отымут, ей-богу!

Только встрел Гагая, схватил яго за горло и тряс тах-то во:

— Задушу! Если мама будя шесть лет сидеть. Спалю!

Бабы видали.

Гагай и Нечай прибежали к деду:

— Василь Максимыч, хлопочи за Марию Ивановну. Мы допустили к ней очень большую ошибку.

А дед:

— Вспомни, Гагай, как ты еще не отсеялся после войны, идешь мимо — она всегда тебя звала. Сало на стол, картохи.

У нас прокурор сидел курской — мальчонку покалечил. Мальчонка лисапет взял покататься, пока прокурор купаться лазил. Бабы разговаривают: я Швернику подала жалобу, прокурор написал.

Думаю: дай-ка я сабе к няму подайду.

У воскресенья пришел он с кастрюлею за харчами для своих мужиков. Подошла к яму. У миня ботинки были на одну ногу: на левую. Ходить анеж неловко. Поздоровлялась.

— Гражданин прокурор, ты сидишь и я сажу. Напиши мне жалобу на помилованье.

А он говорит:

— Пять рублей.

А у мине их нету. Глядь: вон он начальник лагеря идет, кашляе, согнувши. Я как была, так и обмерла. Даже варева не зачерпнула. Так и отошла с пустой тарелкой. А как раз ужин хороший был: суп с ветчиной. Нюшка еще ведро кипятку принесла, чай хруктовый, а я и есть не стала. Спасибо бригадир-растратчица селедку принесла. Вот такая-то во селедка, а жирна-а... там страсть. Я нарезочек съела.

Глядь: приходит девчонка-расконвоированная, кульер, за подсолнухи сидела:

— Иде тут у вас за горелку Данилова? Теть, тебя начальник лагеря велел.

Ох, теперь в карцеи посодют. А у карцеи двести грамм хлеба и кружка воды у сутки. Сидять — какие провиняться, там прям идешь обаполо, глянешь: они — желтые. А посодют на две недели — эта бальшая цихра. Надо иттить.

Пошла. Наплакалась и стучу.

— Да.

— Здрастуйтя.

А стул насупротив поставлено.

— Я не замечал, чтоб ты мужикам зубы казала. Что с прокурором разговаривала?

— Хотела Швернику подать.

— А Шверник утвердил ба! За гэйту заботу! За что сидишь? Обвинилковка у тебя есть?



— Да там наплетено. Председатель с кладовщиком посадили.

— Не плачь, — написал мне как надо. — Только перепиши. В ящик никому опускать не давай. Сама! У конвоя спросися.

Мы с Нюшкой на два листа тетрадных и накатали. На работу вывели в березы, я подождала пока мужиков прогнали, триста человек — шесть собак. И к ящику бягом!

Дед в деревне двадцать пять подписей собрал, что не самогонщица я. Учительница жалобу составила. Спросила у Тольки:

— Данилов, штош ты был отлишник, а уш год ходишь ошалелый и носки сверж ботинок висят?

— За мной ухаживать некому. Моя мама в тюрьме.

Повез дед в Москву. Гдей-то там Красная площадь есть. Есть? Подал вон и говорит:

— Ну што же, будя какая-то разслабаждение моей жаны?

— Будя! Ежели свержу попадеться — то через неделю. А если — под земь (там же не одна) — то через месяц.

А дед был девятнадцатый.

Я готовилась, рубаху мужинскую выстирала, сухарей насушила, хто знат сколькя — все оставила, нате, бабы.

Быстро до Курску доехала. Все ходила, не могла куму найти. Где та улица ВЧК? Мужик говорит:

— Пойдем со мной через мост — покажу.

Я не пошла. Так пойдешь и опять посодют. Еле нашла.

— Кума, ты что ли?

— Я.

— А откуда?

— С производству.

— И как же там кормют?

— Заслужи такое право и узнаешь.

Шла по деревне, все дивились — Маруська Васюнина пошла. Дед охватил мене, и Ритка, и Толькя, и отес твой — то голосили, то голосили...

А на постели грязи хто знат сколькя и сам весь в грязи, а ехать утром в Озера, овцам за рожью. Встала рано.

— Маруська, что ты встала?

Я грю:

— Воду греть.

Воды нагрела, выкупала. У рубахи мочки прометала, пуговицы пришила, кухвайку новую дала. Нарядила яго, а он уж побрилси, он уж помолодел. Штаны новые, костюм новый, у меня все загодя было. Ну, теперь иди с Богом.

Пришел утром Нечай:

— Данилова, на сколько под займ подпишешься?

— На всю корову пиши! — я уж смелая, не боюся. — Ийде я была? Посадить меня посадил, а теперь просишь у меня под займ? Какой я буду табе давать?

Встретил Гагай. Засмеялся:

— Ну что, Данилова, будешь горелку гнать?

— Соломина колхозная за пояс зацепится и ту — брошу. Двору не понесу, — а сама плачу.

Бабушка обратно добиралась поездом, поездом и плакала: как быть? — дети побирались, а она сидела в лагере города Электросталь — как же жить? Не простишь себе. Попутчик, путеец в черной фуражке ее образумил: «Если все будешь вспоминать, Мария Ивановна, ты не проживешь. Забудь. Не вспоминай. Как и не было этого», — и она увидела заново отстроенный после бомбежки вокзал, крыши Пушкарки, озера, сады, землянки, монастырский луг с лысыми куполами колонии, темные холмы с меловым пятном на входе в пещеру.

Путеец уехал дальше до станции Рай. Бабушка даже не знала, что есть такая станция. Она мне как-то раз рассказала про этого путеяца, но так, неясно — непонятно, к чему он это присоветовал. Бабушка ни разу в жизни не сказала мне, что сидела в тюрьме — ни слова.

Москвички шли в пещеры в коротких халатиках, мазутно посверкивая очками из-под мохнатых пляжных шляп с иностранными буквами на полях.

Ильич и Миргородский заговорили отрывисто и не знали, куда глянуть. Ногти на ногах москвички тоже красили — вниз не поглядишь.

— Наш генерал, — сказал про мальчика Ильич. — И счетовод. Все дни считает.

Одна москвичка опустила чистую, ровно загорелую руку мальчику на горячую шею. Он вывернулся и пошел один. Держал удочку тупым концом вперед и выбросил в кусты банку с червями.

Лес ждал за рекой. Качался дырявый мост на железных тросах.

— Осторожно ноги, — выкрикивал Ильич, и москвички, схватываясь друг за дружку, выпевали женскими своими голосами:

— Ноги, это у бегемота. У нас — ножки,

Потянулась лоза да орешник, прохлада, комары, и солнце поплыло над зелеными сводами, царапая себе бока остриями сухих верхушек и проваливаясь изредка серебряными опушками.

Миргородский ушел вперед — он лучше знал: где. А Ильич крутился меж москвичек, мутно улыбаясь, помогал толстой рукой перебираться через корни и канавы, рассказывал совсем непонятные анекдоты, но москвички их понимали — улыбались, смиренные безлюдьем, черными ребрами древесных стволов и нескончаемостью тропы — она все вела в гору.

Мальчик вздыхал. Тоска мягкой горбушкой прилипла к сердцу. Шипел, давая комаров на коленках. Вот он ловит рыбу: солнце, река, поплавок. Так видит его бабушка. Больше она его никогда не увидит. Рухнут каменные глыбы. Тьма. Ильича и Миргородского

задавит сразу. Москвички еще заплачут, будут стонать. Помрут там с голоду, остынут без воды — никто и не найдет.

А как же они там в туалет ходить будут?

А уже хватит подниматься — побрели вдоль склона. В земле проступили меловые плешки, из них жалкими сабельками тянулись чубчики травы и подпрыгивали дрожащие трясогузки.

— Вот, — стал Миргородский. — Пещера.

Мальчик воспрял, обежал всех.

В самом низу грязного мелового обрывчика, исписанного матерными словами, зиял узкий сумрачным лаз, обставленный вырезанными из мела черепами. Как пасть, готовая сомкнуться, стоит кому-то скользнуть в ее узкое горло.

Про пещеру мальчик думал: сосульки с потолка и вход как во Дворце пионеров. А это ж — нора!

— Я не пойду, — сказал он.

— И я, — быстро добавила москвичка. — Мы вас тут подождем.

— Ле-ен, — кисло протянула другая, — Ну чего-о ты?

Ильич почему-то гордо стягивал брюки.

— Товарищи, лучше раздеться. Все мелом вымажетесь, — Ильич оставил себе только плавки. Сунул шмотки под орешину и, втянув живот, начал смотреть на москвичек.

Миргородский стянул только рубаху, стал вишневого цвета от лба до пупка. Повернулся вроде бы к мальчику, но сам смотрел тоже на москвичек.

Мальчик засопел и подумал, что сейчас его отправят домой. Ему было совестно глядеть на москвичек, и он смотрел на их шляпы.

Но москвички — ой-ей-ей — поиграли губами, качнули головками, сложили очки и скатали шляпы:

— Мы готовы.

Одна спокойно добавила:

— А ноги у тебя, Ильич, кривые. Как патефонная ручка.

Миргородский вдруг как заржал и уполз ногами вперед в нору и ржал еще там — было слышно.

Москвички, зажимая подолы в коленях, перешептываясь, протиснулись следом.

— Ничего там не застревает? — сердито напутствовал их Ильич и шагнул к мальчику, упершемуся в грудь подбородком.

— Ну? Ты что? Узко? Так это не вход. Вход разбомбило. Это дырка за водой лазить, если что. Полезли? Дальше сразу купол — встать можно. Давай.

Ильич выбрал из кучи хлама, наваленного у пещеры, пук промасленного железнодорожного тряпья и намотал на палку. Мальчик воткнул удочку в куст.

Зеленый лес обступил их, прижимая к бледному лбу обрыва — никого на свете не было больше, только тропа — она вела к реке, но долгой, вечной дорогой.

Мальчик одним выдохом раздавил себя, удерживая внутри лишь комочек неясных звериных порывов, опустился на колени и прокрался в черное, успев умереть на грани воздуха и земли.

Там сдавленно хихикали. Мальчик деревянно приподнялся — в середине закопченных стен, в бледной луже света нагибали головы москвички и Миргородский вокруг смолистого кострища.

Засунулись голые ноги Ильича, и свет сник.

Три темных хода-провала звали их за стеной.

— Ну! — Ильич подпалил факел. — Двинем, товарищи.

Стало страшно.

Мальчика тянул за руку Миргородский — вперед, а в спину его толкалась сразу завизжавшая москвичка. Она визжала все время — темень. Мальчик отвел свободную руку в сторону — трогал сырые невидимые стены, когда спотыкались об опавшие камни, налегал на стену всей ладонью, и холод сильнее трогал его — до плеча. Москвичка вслед спотыкалась и вскрикивала матом, пьяно и пронзительно, ругала Ильича и Валуйки, факел качался, тонул за поворотами, качал тенями узкий ход и низкие своды — мальчик слышал голоса, но чувал только тишину нависшей горы, тяжести ожидания.

Мальчика тянули вверх по выбитым ступеням — он полз, легонько, опираясь руками, прижмурясь, давя голову в плечи, ударяясь плечом в каменные выступы. Ильич загасил факел и ухал сзади, сбоку, спереди, выл — он так показывал ложные ходы, и схватывал орущих москвичек за бока, а Миргородский вопил, что они заблудились — тупик, а мальчик слышал только тишину — тупо стоял под этой горой, внутри камня, капелькой своей тишины дрожал на неподъемном своде, не смотрел даже в себя, а нахохленно, сгорбившись, смотрел, что было сил, пальцами на руку Миргородского. Держал ее сухой, старческой хваткой, несильно, но жалко уговаривая: не оставь меня, услышь мою мольбу. Все время только ждал — когда это кончится. Все пусть совершит свое. Но когда-то кончится. Знал про себя, что дышал, вот он дышит, еще есть — проклятые монахи. Его дернули и повели дальше — ступай. Рукой он опять искал стену, а вдруг стало тесней, тесней — Миргородский уже гнулся ниже. Вдруг сказал: здесь свод почему-то опустился. Потолок сполз. Раньше так не было. Но протиснуться можно. Вот так. Под глыбой — и он протиснулся! Он бросил руку мальчика! Не поняв толчка крови в обреченных пальцах! Не расслышал выкрика этой руки! Оторвал и бросил — оставил. И мальчик согнулся, присел. Налег животом на острые камни, и, зная, что свет, выход совсем в другой стороне, он макушкой вперед, прижав локти и поджав утробно колени, вошел под глыбу (и я делаю это каждую ночь) — потянулся в пустоту, вытягиваясь в нее, внюхиваясь, впиваясь в пустое, не в простор, а в могильную придавленность последней пустоты — быстрее, еще, но дальше от света.

Миргородский нашел его руку снова, но это уже было все равно.

Мальчик шел дальше, открыв глаза, оборачивался на выкрики, смеялся, когда все смеялись над матерными жалобами москвичек, шел облегченно, с пустотой у сердца, торопясь, волнуясь, чуть сучая.

Опять ткнулся с ходу в Миргородского, а мягкая москвичка вцепилась в него, приобняв в темноте, как в ночи — он почувствовал тело, дышащее незаметно и вдыхающее в него везде, где касалось — целое, не родное, совсем другое, но сейчас бездумно воспринимающее его — так захотелось дальше так стоять, дальше трогать недостижимую для всех трясину, жарко державшую на плаву.

— Келья, — сказал Миргородский. — Здесь. Ильич, где там факел-то?

Пыхнул факел, закрепив все. Мальчик слепо полез за всеми на узкое ложе. Осмотрел руки исклеванные мелом. Увидел вдруг свои сандалии, зашитые бабушкой утром, рядом — голые ноги москвичек в выгоревшем пушке, податливо расплывшиеся по камню. Сыто улыбающегося Ильича. Мальчик не мог только выпрямить голову. Боялся хруста своей шеи. Казалось — распрямисься — раздавит. И помнил: еще ведь назад идти.

— Скучно тут было, — отметил Ильич, обняв вяло улыбнувшуюся москвичку, — Я б за пять тыщ не согласился.

— Пять тыщ это мне на тачке до дому доехать, — отвечала москвичка. Мальчик разглядывал, какие же у них всех толстые губы. Тяжелые. Не держащиеся вместе, жадные. Как они все дышат. Как странно легко можно так долго быть рядом с москвичками. Для этого вовсе не надо копить денег на мотоцикл и играть на гитаре в клубе на танцах. Если даже Ильич. И даже мальчик.

Ильич несколько раз с сомнением глянул на Миргородского, как подозрительный зуб тронул — не болит?

— Возвращаемся, — заметил это Миргородский. Схватил свою москвичку за руку. Факел тут же погас.

Потекли назад спотыкающейся вереницей — в голосах, объятьях и хохоте, сквозь шорохи просыпающейся пыли, уже быстрее и просторней — другим путем. До купола добрались только втроем. Миргородский с подругой хохотали где-то в глубине и на крики не отзывались.

Ильич сплевывал на пол и указывал москвичке на другой ход:  
— Там еще.

Она улыбалась вяло. Он добавил:

— А смотри, что здесь, — и, подпалив факел, вознес его под свод. Все задрали головы.

На точеной меловой чаше зияли черные и синие полосы, изгибались и складывались в людей. Люди везде были по двое. Длинные и короткие волосы, значит: мужчина и женщина — везде соединены или соединялись. Мальчик заметил в женщинах то, что никогда не видел — неужели так? — и вдруг понял, что эти люди, по двое,

это и есть то, о чем все рассказывают намеками или матом. Вот как все, выходит. Везде по-разному. Стыдней и стыдней. Пламя прыгало — фигуры дергались: они были нарисованы отчетливо всюду, кроме лиц. Вместо лиц — только волосы и широкие пасти, и он смотрел только на эти пасти, они завораживали его — нетерпеливые, жадные, хрипящие, оскаленные пасти с мерзким выдохом, и все в окружении слов, мата.

Он опустил голову, застигнутый смехом. Они показывали пальцами на него. И эта москвичка, что сидела с ним рядом. И Ильич, который его привел. Но главное — это его огненное лицо и холод, накрывший его, показалось, что уже не надо выходить.

— Вот так. Понял? — сказал Ильич. — Еще будешь.

И мальчик ответил:

— Нет, — уже предчувствуя на глазах предательские теплые слезы.

Они захохотали еще. Ильич ржал, что он не мужик, что ли? — тянул москвичку еще походить, а она ныла, что там то же самое...

— Пойдем, — звал Ильич. — Интересно же, пещеры. В Москве таких нету.

Дотронулся холодными пальцами до мальчика — тот уворачивался, потому что совсем замерз — холод тряс его костистыми лапами.

— Иди. Подождешь там, — и толкал к сиреневой проруби света. — Устал, находился.

Мальчик с рабской покорностью стал на колени и ящеркой юркнул наружу.

Он плакал, стоял на коленях, с седой от мела головой — лес простирался перед ним витой морщинистой мощной стеной, играя ветром и солнечным светом, и мохнатым птичьим перелетом под натянутым небом.

А он остался один. Он больно жмурился. Он не мог видеть это.

Он догадался, что вылез через другой ход. Но вот же рубашка Ильича, удочка в кустах, значит — все то же.

Он вытащил из рубашки спички — ему бы согреться, ему бы голову снова в тепло, к чему-то прирасти, а так он не видит — греб в кучу ветки, шишки, обрывки газет, кору — теперь хоть огонь был с ним. Он сел спиной к лесу, за лесом — река, монастырский луг, улица, кладбище, хата, сад. Он в хламе раскопал книгу — и книга теперь была с ним. Он с мучительной радостью листы рвал, комкал вязкие витые, старые буквы и отбрасывал от себя, в огонь, словно перевязки, сорванные со свежих ран, и огонь принимал эти белые бинты — они рыжели, коричневели, чернели, и потом разрывались, прогрызались лохматой гортанью, и в нее выбрасывался искристый лисий язык, оставляя черные остовы веточек с белесой перхотью бумажного пепла — бумага сторала.

Он смелел у огня и хозяйничал на этом обрыве, в лесу, на небе, восторженно рвал языки страниц из трепещущей книги — как сердца у птиц, он вернулся и вознес себя на тысячу двести метров с

потерей пяти метров в секунду, шести, восьми, он — в бомбардировщике, внизу — горит лес, бомб — восемнадцать, двадцать четыре, высота — тысяча, потеря — двенадцать, время — девять, десять, я — шестой, шестой, шестой, — пуск! Внизу убежали люди, потери — сто двадцать, двести раненых: на одного убитого трое раненых — четыреста, в первую же ночь в госпитале из них скончается шестьдесят, восемьдесят пять, девять, четыре, один, а теперь уйти от гари, шестнадцать, от копоти, двадцать шесть, в белую, четыре, облачную, два, стену, сорок три, пятьдесят, семь, четыре, что, шесть, как, четыре, семь, сто, шестнадцать — глыба мела!

Он выхватил удочку из куста и ненасытная бойкость костра осветила дорогу, куда-то девалось солнце — оттуда поплыла хмарь, он вдруг побегал, замечая: на дереве мох, паутина, белая гниль, оступился в грязь, ветви кололи и тыкались коряво и невовремя, его разжигая, а он считал про себя шаги, чтобы скорей. Бежал скорей, а все — рядом с пещерой.

Выскочил из елок на простор, к родничку под меловой скалой и растер в кровавые полосы комаров на руках и коленях — родник ловил в кулак, а у того были свои дела — он проливался, это злило опять.

Мальчик смывал мел и рыжую кровь, он шептал про себя клятву: у меня никогда не будет жены. Я буду один. Я никогда не буду таким. Никогда не буду так делать. Мне так это противно. Мне тошно от этой гадости. Даже знать не хочу про эту грязь. Я никогда не буду говорить матом. Никогда даже не вспомню про это — он плескал в лицо водой, в черные гнутые рисунки обнаженные навсегда понятно факелом, в патлатые, склеенные попарно, безлицые тела с раскрытыми пастями, с комками грязи под брюхами — можно ли от этого деться куда. Я не буду. Я клянусь себе: я не буду. Я не изменюсь. Как я могу измениться — я останусь таким же. Приеду сюда через годы, большим — к этому роднику и буду гордиться, что так и сделал. Мне этого не надо. И слышать об этом не буду.

Он ни о чем не думал, стало холодно, ветер сушил щеки до онемения.

На скале, среди скопища матерных росписей и имен он разглядел под мохнатой ветвью: на белом гнут головы друг к другу три серых от старости человека в волнистых одеждах до пят, с кругами вокруг голов.

Мальчик придвинулся, соединив себя рукой с мертвенным холодком мела, и палец его поплыл, повторяя черты полувыветренных людей, прочищая им глазницы — они клонились в союз, как три переспевшие подсолнуха на меже, нажал сильнее, а это был камень.

Отошел, вытащил из-под воды голыш и швырнул прямо в скалу.  
— Гей! Куда?

Его накрыло человеческой тенью, как крышкой гроба: над родником, над его головой очутились ноги в угрюмых ботинках, синие

брюки, выпустившие нитки бахромой и свалившие на бок огорченно провисшие коленки — слева, справа к воде побежали овцы, мекая и мешаясь — мальчик попятился.

— Гей! Куда пошла? Ну сюда!

Человек помахал кнутом и лег, не подстелив под голову фуфайки, как ребенок — на кулачок, — овцы пили, расталкивая друг друга.

Человек глянул вслед особо шкодливой овце — это оказался страшный дед Данила Гагай.

— Здравствуйте.

Дед не слышал: вон та шалая овца, куда норовит?

— Здравствуйте!

Дед повернулся:

— Кто?

— Я внук Мариванны Даниловой, — мальчик знал про Гагая, пусть же он узнает его, вот здесь. — С вашей улицы.

Дед наклонил к нему малиновое, сжугшееся, словно обожженное лицо с двумя глубоким щелями на щеках, не отрывая насмерть вбитых под редкие брови голубых глазок.

— Вы жили в хате мамы моей бабушки — Авдотьи Афанасьевны. Я хочу спросить про бабушкиного брата — Тихона Данилова, вы знали? Какой он был?

— Ах-хах, хах, — дед зевнул и снял шапку. Седые, как свалывшаяся овчина, кудри спотелись под шапкой в ровный котелок с завихрениями на затылке. Дед насунул шапку помельче, но пальцами отслоил прядь от чуба и вычесал наружу — молодцевато:

— Ничшего я ни помню.

— Отца-то моего вы должны помнить! А деда? Да мы живем от вас через пять хат, у колонки. Бабушка моя — Мария Ивановна Данилова, вы ж знаете!

Дед хохотнул:

— Голова дурная стала. Ел или нет: не упомню. Сын приезжал, а я и ня знаю: а есть у меня сын? Тах-то во ничего. Врачи бодрое говорят. Толька ноги — вот — ходить отказываются. Раньше как бегал, мальчишками, по лугу... — он пошевелился. Мальчик мешал ему вытянуть ноги, лечь.

И он лег, как только мальчик встал, сразу закрыл глаза, и уснул.

Над лугом плыли две птицы, как брови незримого лика.

Мальчик еще решил и обещал себе, что окончит школу с золотой медалью. Поступит в медицинский институт. Станет врачом. Ученым. Пройдет все науки и научится спасать от смерти. Он только один так сильно хочет. Никто раньше не мог потому, что не так сильно хотели. Главное: всегда так сильно хотеть. Он всегда так будет сильно хотеть, займется только этим. Вообще-то медицина его не интересует, но если он не спасет от смерти, он не знает, как дальше, — надо идти в медицину. Вылечит бабушку, папу, маму, тетя Риту, дядю Толю. И уж себя, конечно.



Столько времени впереди. Он успеет годам к тридцати. Пусть родители будут уже старенькие, как бабушка, но — всегда живые. Это ж лучше — ведь бабушка старенькая, но и с ней хорошо. И так будет. Будет! Будет.

Тут он подумал: бабушку спасти он, кажется, не успеет... Помялся и понял: да. Не успеет. Этим что-то проломилось внутри, коснулось горячего. Но он тут же решил, быстро сморгнув: ну тогда родителей — точно! А бабушку он будет помнить всегда, всегда. Он опять начал считать шаги, раз он так хорошо все устроил, но сразу проржавело небо, и опустился дождь.

Березы с черными подмышками нестройно мели небеса, гоняя черные соринки воробьев, дождь метил реку расплывающимися мишенями — вода темнела и замедлялась, а дождь хлестал наотмашь радостно вязнувшую глину и взмучивал лужи до хлебного цвета, и мальчик пробежал сквозь дождь туда, где опять закачались в воздухе комары мохнатыми крестиками и стояли понурые, словно в инее, одуванчики, как ключья тумана, не успевшего вознестись. С сухим шорохом взлетали воробы, пропрыгав меж отлакированных подорожников, и березы бежали к вымытому небу, рассыпаясь в ветви и листья наверху, проливая оттуда птичий свист стружкой холодной воды: копится, дрожит, набухает — проливается.

В начале огородов стояла лошадь с мохнатым чубом. Мальчик стал рядом. Еще пришла и села собака. Собака вставала, нюхала мальчику ноги и опять садилась впереди, а лошадь ела траву, и жевала, и фыркала, и волочила за собой цепь.

У кладбища его нагнал мотоцикл — Аркадий Придворев. Подвез. Удочка хлестала по золотым шарам и вишнякам, на карнизах колыхались зыбкие, белесые капли, как бусины.

— Тетка приходит? — спрашивал Придворев. — Теть Рита твоя.

Мальчик кивнул.

— Жениться хотел, — засмеялся Придворев.

— А чё не женились?

Придворев подрулил к гаражу и мотоцикл угас. Мальчик посмотрел на оранжевый, ровный шлем и поспешно слез.

Придворев оперся на руль и признался:

— Дурак был. Матери говорю: люблю. Но как представлю, что она... Ну, вобщем — в туалет ходит. Не могу! Противно!

Он закатил мотоцикл в гараж, на забор немедленно взлезла Майка, но никак не сидела ровно, кто-то дергал за ногу изнутри. Наверное, Трусы.

Придворев замкнул гараж.

— По большому? — спросил мальчик.

— Что-о?

— В туалет. По большому?

— А? Да. Да. Так! — Придворев захохотал и выразился по-проще.

— А вы?

— Что?

— Вы ведь... тоже?

— Ну и я. Дурак был. Смотри Марьянне не скажи. Тетка-то знает.

— Са-аш, — вдруг протянула Майка. — Пойдешь на лавочку?

— Пойду, — буркнул мальчик, тоскливо обидевшись за тетку.

— Зайди, вместе пойдем, — и пунцовая Майка прыгнула с забора и отвесила шлепок зарывавшим Трусам, вместо ответа на материнский вопрос: «Ну, сказала?»

Бабушка развешивала унесенное от дождя белье, посматривая на радугу, мальчик, вздыхая, прошел к сараю — ставить удочку.

С крыш еще сочилась тугая и весома я вода и потрескивала в водосточной трубе, как в раскаленной печке дрова, и капала в корыто: бабушка запасала воду для стирок.

— Ба, а где ключи от сарая?

— Там же, где и рыба. Найди, а я покажу!

Жизнь моя вся под какую-то планиду попала... Щас нигде не видна, а скольких спасала, только мене никто не спасал. Зерно на сабе по тридцать килограммов носила за тридцать километров. Пришла и легла — подняться не могла. Скольки нам Сталин на-кладал... Отец твой косил по двадцать пять сотых, и вычитывали нас в киноленте: мать косит с сыном.

Скосим с дедом норму, идем двору, глядь: едет Нечай на лоша-шке:

— А куда-то вы направились?

— Да домой. Куды ж яще? Ну далеко мы идем? На гулянку, что ль, куды?

— Так солнушко еще не село. Повертайтесь-ка.

Прошли еще по три ряда — дли-инные...

— Васък, я больше не могу, у меня сердца забилося — я, навер-ное, не выживу.

Раньше лучше работали, дружней ходили... Семь литров Стали-ну молока сдавали. Три литра — утром, да в обеде — чятьре. Не одна я. Усе. У мене жирность была хорошая. Молоко: там страсть господняя — пенка! Получали пятнадцать копеек за литр. Гагай усе придирался: то битон не полон, то банка не полна.

А я шла у больницу, глядь: чегой-то Гагай подъехал на хутори к гатки, за кряпивою... А вон чистой водицы почерпнул, да разлил на восемь фляг.

Я его устретила:

— Больше ты ко мне не езди! Штоб тебе щерт не носил!

— Пачему? Мариванна, иль ты сбесилась?

— Сбясись ты! А до тебя бабы доберутся.

А деда твою взяли в резивенную комиссию, а он по стопам не ийшел председателевым.

Пришел:

— Маруськ, ты нынче овец стригла?

— Не пошла, Вась, хошь ругайся, хошь нет. Чтой-то у миня тэй-то вот крыльям больно с ими ворочаться.

— А не знаешь, по сколько постригли бабы?

— Ходила доить, бабы под коровами говорили, я табе порасскажу, а што?

— А я ишел по ржи, глядь: Гагай с Жигалкиным чтыре мешка волны<sup>1</sup> прятать несуть у кряпиву. А завтра бумаги подписывать, — аж лицом почернел. — Не хощу я за людьми ходить. Маруськ, што мене делать?

— Садись, ешь, а потом скажу, как спать ляжешь.

Приезжает на утро Нечай:

— Мариванна, а где ж Максимыч?

— Максимыч ляжит на печке. Я вымыла яго, выкупала и повезу, — я грю, — у больницу.

Неделю он у сестры пожил, и все говорил:

— Маруся, вот у тебя голова!

А на пенсию... Обвязали деда на общем собрании лентой «Почетный колхозник». И мене вызывали. А я не пошла. Да по радиву сообщили: тэй-то пенсию, тэй-то, мне посла всях. По двенадцать рублей. А Нечай на пенсию шел — девяносто.

Деда все равно потом звали — армяне у сарая не могли крышу свести. Ульи делал двухсемейны, кадушки ремонтировал. Приду за ним зимой, а у него вот тут-то во сопель висит на усах, а он справляе сани. Кто молошка принесё, кто — спасибо. На кого как гяне. Бедность была. Потом перестала пускать — ослабел он.

Два года ко мне ездил и высватал.

А на пасеке клещ какой-то завелси. «Васьк, чтой-то пчелы не летают». Открыл, а они... Все наверху. Все погибли. А меду осталось, хто знат скоко.

Хат пустых скоко осталось.

А звал меня как хорошо, как помирал: «Маруська, милая, поедем в Орел, дети ж пристроены». Я ему кухвайку принесла, ходоки: вставай, поедем! А вон и встать не можа...

«Налить табе молошка?» — «Налей, молошко я люблю».

Поднесла, а молошко у него тако-то во по щекам потекло... И руками по одеялу так во, вот так во... Да не успрашивай миня, не успрашивай, а то я лежать буду!

Придворев любил советовать. Его призывали на постройки, мазаться, крыть крыши, Райкин армян показывал ему теплицу. Нечаев Игнат, чей папаша кончал дни в доме ветеранов, позвал Придворева резать поросенка. Игната со школы переводили в газету и хозяйство приходилось сводить.

— Аркаша, чтоб не мучился, — попросил Игнат.

<sup>1</sup> Волна — шерсть.

— Вдарь током! — кричал Вольдемар, махая косой вдоль межи. — Провод с вилкой есть?

Провод нашли. Но до закуты его не хватило. Выводить поросенка не решились — здоровый, сволочь, а если рванет?

— Давай стрельнем, — и Аркадий принес ружье. — Быстро. Не больно. Как хоршо.

И стал совать поросенку в морду ствол, чтоб в пасть попало.

— Пли! — скомандовал Вольдемар, бросив косить. Не работая, он почему-то шатался, а вот коса стояла ровно.

Аркадий пальнул! — Поросенок дернул башкой и — заряд впился в шею. Выломав калитку, раздавив двух кур, уливая кровью путь, поросенок пустился, визжа, в огород и через межу — дальше.

Гнались все, кто мог, даже бабы: вдруг в озеро ввалится? Но только Вовка Резниченко сбоку упал на поросенка и саданул тесаком три раза в бок, в сердце метя.

Все подбежали — поросенок уж хрипел, а Вовка улыбался. Игнат посулил водки, и поросенка на брезенте поперли назад, а Варька Пономарева пошла искать Вольдемара, сгнувшего в погоне.

Отнесли поросенка, вернулись и на том же брезенте понесли найденного в канаве Вольдемара — ногу подвернул.

Поросенок лежал на помосте. Аркадий принес паяльную лампу: палить. Стоило пахнуть жареным — поросенок приподнялся и прополз метра три по самой грязи. Еле затащили обратно.

После такого, козленка Нечаев решил уже прикончить без придумок жалости. Подошел и ка-ак саданул! — молотком меж рогов. Козленок — брык! Нечаев ушел за веревкой: связать и взвесить. Вернулся: козленочек траву щиплет.

Пришлось резать.

В газету Нечаев попал за достойное дело.

После военной разрухи в Валуйках восстановили все, кроме отхожего места на вокзале. Люди знающие топали в Дом культуры железнодорожников. Собиравшиеся на базар гости из окрестных деревень, в темное время суток садились в скверике за вокзалом или под забором за ларьками «Союзпечать». В светлое время — перли за путя, в камыши. Из камышей доносились звонкие шлепки и мат — комары не щадили. Кто не хотел кормить комарей, брели наугад по ближайшим улицам. Или прятались в горах опилок, которые скрывали от жары лед для мяскокомбината.

Итак, вышел однажды Игнат Нечаев на крыльцо, почесал грудь, послушал, как брешет кобель Дуськи Гусаковой, и подался записать погреб на ночь.

А из погреба, навстречу ему, тихо поднялась незнакомая тетечка с неясной радостью облегчения на устах, выдохнула утомленно и пошла себе, не спеша, вдоль забора в сторону вокзальную, помахивая сумариком.

Игнат всю ночь катал письмо в газету. Большое вышло письмо. Что родина генерала Ватутина может позволить себе общественную уборную в три этажа на пятьдесят посадочных мест. Что: как не

стыдно? Что: где культура? Особенно на приусадебных участках и личных подворьях. Заключил стихами:

В минуту жизни трудную,  
Когда я пур хочу,  
В обитель эту чудную  
Я соколом лечу.

Стихи и многое еще сократили, но письмо напечатали. Стали разбираться.

Сняли главного врача санэпидстанции. С Нечаевым поговорил участковый. Отправили на пенсию начальника вокзала. Нечаева помутузили, как следует, в районо. В конце концов сняли редактора газеты, Нечаеву на партсобрании занесли выговор, чтоб не выкаблучивался, а область сняла заведующего отделом пропаганды райкома.

Разобравшись, быстро приняли меры. Камыш за путями выкосили. По леднику пустили двух собак на проволоке. В Дом культуры железнодорожников посадили вахтера — тот пускал народ только по читательским билетам в библиотеку. Ярко осветили привокзальную площадь. Сквер снесли. На его месте заложили бюст генералу Ватутину.

Больше в туалет никто не ходил.

Через три года Нечаева назначили в газету.

Туалет на вокзале выстроили много позже, когда по нашей ветке Громыко начал ездить в отпуск на юг. Его поезд в Валуйках никогда не стоял, но случиться могло все. Поэтому два раза за лето, в начале отпуска министра и в конце, в кабине начальника вокзала ожидали празднично одетые городские головы и полковник с колонии в начищенных сапогах. У тетки в ресторане ломился стол. Магазины ломились тоже. По привокзальной площади разгуливал, потя в пиджаках, партактив в шляпах и с женами.

За двадцать лет чудо произошло — поезд стал. И Громыко вылез. У него всего-то было пять минут. Он только промяться хотел. Но его затащили все-таки в магазин. Министр, оглядевшись, неопределенно сказал:

— Да-а, кучеряво вы живете...

И уехал. Области немедленно срезали вдвое фонды на мясо и колбасу.

Хата Нечаева стояла от нас ближе к вокзалу, на месте ямы, куда свалили всех мертвых немцев и итальянцев, собранных в округе — сотни две. Итальянская дивизия легла под Валуйками вся. Каждое лето к нам приезжали лакированные автобусы: итальянцы пили в ресторане красное вино, жрали, распевали «Катюшу», целовали тетке руку и дарили духи. Весь город, включая Мишу Романенко, называл официанток «синьорами».

Итальянцев возили по самым богатым колхозам и красивым местам, попутно давая понять, что именно на этих высокоурожай-

ных полях и полегли их предки и друзья. На самом деле они полегли на Новоездоцкой, где строился склад удобрений и в округе нашей улицы.

Я очень переживал. Это что ж, скоро, выходит, и эсэсовцев дождемся?

Некоторые приезжали не раз. У тетки даже друг появился: здоровый, как бык, с бородой. Это вот он духи привозил. Он тут воевал с братом, брат тут и лег, а сам унес ноги и жену из местных прихватил, из Монастырки. Сам приезжает и приезжает. Жена до сих пор боится. Тетка его жене валуйское подсолнечное масло передавала, чеснок, меду, карточки современных Валуек с бюстом Ватутина. Просила: пусть мне позвонит. Это из каких же она Безлепкиных? Да, может, мы и родычи с вами?

Как-то уже ночью, девки с буфета уже кассу закрывали, вдруг спускается он из гостиницы. В пижаме. Просто посидеть, поговорить захотелось. Все не уходит. Девки зевают — завтра картошку ехать заготовлять в Озера. Еле справили. И ночь такая паскудная была: дождь, молнии и гром.

Утром: тут-тук по дверям — автобус ждет на прогулку.

Укатили — уборщицы пошли из пепельниц и урн фантики детям выбирать. Сунулись к мужику в номер: постель неразобрана. В туалете: свет. Заседает.

Через полчаса — то же самое. Ожидают. Администратор подтянулся, тетка подошла моя. Уборщицу послали к пивному ларьку за милиционером. Час прождали. Решились окликнуть. Постучали.

А тишина — в ответ.

Били-били. Надо ломать. Милиционер высадил дверь: сидит здоровяк, голова опущена. Мертвый.

Милиционер как заорет:

— Не трогайте!

Принеслись мужики из КГБ, из райкома, итальянцы приехали, орут, но все только одно: не трогайте!

Притащили кучу врачей. Из области приехали непонятно откуда тетки и понятно откуда мужики. Наутро прилетел из Москвы какой-то итальянец и махнул рукой: можно!

Глянули: сердце разорвалось. Еще тогда. Вечером. Он и до кровати не дошел.

Надо мужика домой снаряжать, а он уже пристыл. У нас узковато кругом — через коридор вытащить не могут: и стоя, и лежа пробовали: совсем застрял. А еще тяжелый, собака, особо не повертишь.

Послали мужика в электросети за машиной с люлькой — чтоб через окно итальянца подать, — тут звонит телефон.

Тетка подскочила — ей Италию дают: алло да алло. Из Италии по-русски говорят: «Здравствуйте».

Тетка, обмирая, ей про масло толкует: ну как? Про деток, так она из тех Безлепкиных, чью хату разбомбило и осталась одна

только троюродная сестра в Уразове, если осталась, — а мужика в окно подают, пижама провисла, видна синяя спиняка толстая. Жена спрашивает:

— Ну а муж где мой?

— Да, беда какая... — тетка заплакала.

И жена заплакала, что-то спрашивать начала, кому-то кричать по-своему. В конце еще велела:

— Вещи, что остались... раздайте бедным!

— Вы нас не забывайте! — крикнула тетка.

— Да разве вы дадите.

Бедным, бедным... Да откуда ж в Валуйках бедные? Два чемодана коричневой кожи. Там одних рубашек двенадцать штук, битком. Официантки все перестирали — аж плакали: Рит Васильна, жалко отдавать.

Тетку позвали в горьком и прояснили мозги. Вместо заготовки картошки она — на автобус, и в Белгород, в дом престарелых. Села там на лавку и высматривает мужика повидней, чтоб размер подошел.

Идет один такой, с палочкой.

— Здравствуйте, дедушка. Тут один человек велел вещи старикам раздать. Возьмете?

Дед огляделся и говорит:

— Давай.

Один чемодан сам нес. В комнатку занесли — чисто, шторы, телевизор. Тетка попрощалась и на выход. Глядь: на двери табличка «Нечаев В. С.» Заглянула назад: дед уже по локоть в чемоданы ушел.

— Извините, а вы не валуйский ветеран?

— Валуйский.

— Не Игната Нечаева папа?

— Да.

— А помните улицу Комсомольскую?

— Помню, — бесстрастно кивал дед.

— А помните, кто жил в низине, за колонкой, напротив Гусковых?

— Да. Данилиха.

— А помните дочку Марьванны Риту?

— Да.

— Так это ж я! — воскликнула тетка. — Вот совпало, а я вас сразу не угадала, а вы в нашей школе выступали, и внешность ваша валуйская.

— Да, — кивнул дед. — Вы чемоданы хотите забрать. Я шас, выгружу.

— Да нет. Чемоданы тоже вам.

Дед постоял, побряхтел и опять отвернулся к чемоданам: вещи аккуратно раскладывал на кровати, повертит в руках и кладет. Потом тумбочку открыл — что там с местом?

— Игнату что передать? — окликнула его тетка.

— А? Нет ничшаго. Ня надо. Спасибо.

Тетка уехала.

Уже сумрак плотнее нахлынул на хаты, сгущаясь в роскошную синеву над ветвями, которые деревья сушат после дождя, как женщины, напарясь, сушат волосы после бани, длинные, и в хатах на крестах оконных рам уже распинаят свет, и лягушки прыгают до хат. Вели коз — звенели колокольцы. Проступала сквозь туман колючая паутина звезд.

Мальчик поставил своих на холме — они стояли, выставив копыя меж щитов. Он ходил, втыкал палицу в траву. Считал шаги, считал своих, считал татар и сдувал с лица комаров. Кузя лазил по картохам.

Пещера расцарапала нутро ржавым гвоздем, время уходит, а все не заживает. Все болит. Липа желтеет. Скоро день, бабушка называет его «Илья» — и перестанет отпускать купаться. Клубники уже нет. Зато больше арбузов, а вечерами холодней. Бабушка знает, через сколько дней ему уезжать — считает по календарю. Она все считает и знает. И когда он окончит десятый. Когда ему в армию идти. Когда появятся у него детки, а родители пойдут на отдых. Скоро он будет сидеть за партой и смотреть в окно, накрыв щекой железную пуговицу на школьном погончике. Тогда он уже будет только Данилов, не племянник, не внук и не с Комсомольской улицы — он все оставит здесь навсегда. То есть: до следующего лета, до которого бабушка всегда думает не дожить, не дожидаться внука. Лето — это единственное время, проходящее быстро, лето — это единственное время, раз! — он вдарил палицей оземь.

— Убит! — гаркнул с забора Ильич, мальчик вздрогнул. — На лавочку пошли!

— Я приду.

Мальчик отбросил палку и пошел за ворота. Кивнул старушкам под Гусаковыми, а те шептались: «Если живут хорошо, любовь до самой смерти есть. До самой могилы никуда не денется». Он стукнул в Придворевы ворота, а дед Ныкита прошептал что-то Игнату Нечаеву и Вольдемару, они курили у колонки — враз закашляли.

— Заходи, — отворила Майкина мать. Аркадий вытаскивал спиальной косточки с вишен, сидел на летней кухне, склонясь над широким тазом. — Майя, за тобой зашли.

И девочка быстро шагала по тропке к нему, вымытая, сжатая, и сипло сказала: «На!», и сунула две солнечные, крапчатые груши, одну — со срезанным подбитым бочком. Он мыкнул: «Спасибо», и протянул обратно одну, ей. «Та ешь, она уже столько их слопала», — улыбнулась ее мать и вышла за ворота — глянуть, как они пошли.

А они пошли — она вперед, он наминал грушу со всхлипом, стыдясь перед улицей, лавочкой, собой; стыдясь ее зеленых колготок, толстых коленок, платья в горошек и кофточки, не наде-



той, а именно наброшенной на плечи, а еще тут и бант в волосах — ох.

— Ты не знаешь, что шас в клубе на утренний? — пробормотала она. Он мотнул головой и впивался в грушу дальше. Девочка сорвала на ходу листик и шлепала им по ноге — все. Не вышло. Поздно начала — лавочка уже встречала улыбочками. Расцветенная лавочка под белоногими великанами тополями белогуровской хаты — тополя доставали лысеющими макушками до звездного ковшика и роняли листья, как осенние каменщики роняют мастерки, замуравав небо — готово!

Были москвички, и все сразу явились: Барон привез красную розу, но никому не дарил, держал в зубах и нюхал, дымились пыжики. Гитарист Дрокин в концертной рубашке настраивал инструмент, пьяный Резниченко опять ввалился в лужу и показывал всем: как он уделался и старательно матерился под притворный девчачий визг. Извинялся — сорвалось, — разглядывал брюки и снова что-то ронял, приседая на гусиный помет. Витязь из педучилища Костя Ковалев не слезил с мотоцикла: он всегда вот-вот уезжал и поэтому сидел верхом часами. Ильич и Миргородский слушали шипящие песни в транзисторе, ржаньем покрывая рифмующиеся матом слова.

Местные девочки, сплотившись коленка к коленке, равнялись то налево, то направо — на разговор, а москвички кутались в шали на собственных, принесенных табуретках — они были в брюках, так им теплей. Мелюзга ходила кругом, отмалчиваясь на все более обещающие выкрики матерей да бабок.

— Витька! Мишка! Андрей! — надрывались родители.

— В пещеру! — добавляла лавочка, и малышня дулась и не уходила. Это был табор.

— Бабке про пещеру не сказал? — спросил Ильич. Мальчика заметили москвички и засмеялись, потому что Майка встала у заборчика и обернулась, надеясь, что он станет рядом, а он, покраснев, убежал на другой край, где Коля Крашенный учил материться Митьку Шэпина, он спрятался за Колю. И смех достался девочке — она отвернулась и покачивалась, постукивая кулачками о забор за спиной. Потом радостно обернулась на чьи-то слова, но оказалось, говорили не ей.

Дядь Степа Гусаков пригнал козу, и мальчик был готов провалиться под землю от того, что Дуська Гусакова скоро потащит через дорогу для него банку с молоком. И все знают, что для него. Еще он мучился, что девочка стоит одна, жалко улыбаясь широкой щербатой улыбкой там, где смеются все. Слушает чужие слова и отворачивается, слезно жмурясь от дыма, который от всех пыжиков валит в ее сторону, и придерживает кофточку свою руками — вот он ее оставил. А еще была пещера сегодня, был дождь, унесли деда Шэпина, а мальчик здесь — никто, но все это — ничего. Потому, что все кончится. Вот он еще ест грушу, а скоро — нигде ее не найдешь, и Митька Шэпин узнает, что

такое школа — даже можно высчитать когда. Лето — это единственное время, когда ничего не проходит, а стоит лету кончиться, а тебе отвернуться — все ка-ак полетит со всех ног, будто еле дотерпело, пока ты отвернешься: попилят белогуровские тополя — останутся лишь низко обрезанные пни, помрет дядь Степа Гусак-ков, и Дуська найдет себе другого, оправдавшись, что детей у ей нет и доглядать ее некому, армяна посадят в тюрьму, лавочка рассеется по семьям, казармам и тюрьмам. Умрет от рака языка Водьдемар, все пройдет, уже заведены часы, их гирькой Майкина сестра въедет в затылок родному деду — не мучайся, надо только подождать немного, мальчику дали в руки пыжик, Ильич поджег — теперь и у него был огонек.

Малышей утаскивали за уши мамыши. Москвички закуривали и делились куревом. Будущий женский врач Барон разъяснял Миргородскому различия женщины и мужчины — его пихали в бок, чтоб молчал, выразительно показывая на мальчика и девочку. Упрашивали Дрокина запеть наконец, но у того без бокала не было вокала, и он уехал с Ковалевым на мотоцикле к московскому поезду за тем и другим — тогда начали играть.

Играли чаще всего на лавочке в «кис-мяу», непонятная сейчас игра — мяукали, мяукали. Проигравший выходил, отворачивался от лавочки. Ведущий указывал пальцем на одного и второго — парой, и вопрошал: «Что этим?» Проигравший назначал. Ну что могли придумать в Валуйках в присутствии гордых москвичек?

Лавочка сидела с пересохшими ртами, москвички укоризненно шурились, а проигравший лепетал, будто читая на темном Дуськином заборе, обрушивал испытания на избранные пары:

Сорвать и подарить цветок! Лавочка хихикала.

Взять за руку! Общий вздох.

Пройтись до угла и обратно! Выдох.

То же самое. Но — под ручку! Гогот.

Дойти до колонки, обнять и сказать, что-то важное! Народ стонал.

Поцеловать в щечку! Безмолвие.

Чаще выпадали пары глупые. И Миргородский брал Ильича за руку. А две местные девочки без радости тащились «под ручку» до угла и обратно. А Костя Ковалев, который с детского сада просто не замечал девочек ниже областных, отправлялся, вздохнув, до колонки, обнимать и говорить что-то важное нашей Верке Пономаревой — у нее комариные укусы на лице всегда были замазаны зеленой.

Но вот когда выпадало нужное...

Москвички умели это подать. Они улыбались. Но как бы не весело, а грустно. Будто чего-то теряя. Они вроде бы даже стыдились. Они видели в этом какой-то порок и печаль. Подруги их даже уговаривали, шептали на ухо — а москвички вздыхали и заливались розовым огнем.

И только затем их белая, нечеловеческая рука, с кольцами, браслетами, чистая, с алыми ноготками, снегом касалась чьих-то дрожащих валуйских лап.

Только затем, печально оглянувшись на притихших всех, они уходили, обняв себя, озябшие, длинные, качающиеся, ладные, как лошади, рядом с полупарализованным каким-нибудь Витькой-Ильичом в дедовой армейской рубаше — и я до сих пор не знаю, осмеливались ли наши лоботрясы взять под руку или тем более: обнять. Но возвращались всегда нескоро, как-то устало, и не сразу начинали говорить. Рядом со счастливецом сидеть становилось невозможно — он был озадачен и горяч, как печка.

Но нужное выпадало редко. А целоваться — так вообще: раза три за все лето. И лавочка ждала этих трех, заветных, раз. Нет, конечно, не целовались, но как пленяла томительность ожидания. Напряжение, предчувствие, влекущая сила мечты, связи, вдруг возникшей между двумя, несмотря на шутейные уговоры и толчки — давайте! Притяжение осязаемое до того, что надо было что есть сил сдерживать губы, сами тянущиеся вперед. Разве все это можно поставить рядом с каким-нибудь там чмоканьем в щечку?

Никто об этом не знает, но за все время случился только один настоящий поцелуй.

Меня почти не называли в пару, кому охота? Так, если только ради смеха. А вдруг Ильич показал на меня. И еще на кого-то. «Что этим?»

«В щечку поцеловать!» — брякнул вслепую Миргородский.

Все развеселились (хотя кто-то, конечно, огорчился), хлопали меня по плечу: ну! Один дуропляс так хлопнул, что я слетел с лавки чуть ли не носом в кучу угля. Обернулся и замер: вторая-то была москвичка Ленка Звонарева. А Ленка Звонарева — она самая красивая и большая, у нее черная челка по брови, и брови смоляные, и такие ж глазищи, глаза. Она потом замуж выйдет два раза и разведется. К ней три жениха из Валук будут приезжать. Я только раз с ней в кино сидел. Она мне жвачку дала, сделанную, как папиросу, а бабушка потом за мной с венником погонялась, как следует, не разобрав. Мне вам трудно объяснить, какая была Ленка — всюду мягкая, я когда на нее смотрел — смотрел на губы: алые, широкие, с зубчиком на верхней губе. Она убрала со лба пряди, рассмеялась, поднялась, подтащила меня за шею ближе, пригнулась, тронув плечо большой грудью, и губы ее: двойные, теплые, разомкнулись влажно на моей щеке — поцеловала. Я зажмурился. Она сказала: «А ну, стой», — и старательно стерла с моей щеки помаду. Все.

И я залез обратно на лавочку. Играли дальше. Долго играли. Я крутил пыжиком в ночи. Докрутился, что Миргородскому волосы подпалил. Боялся еще летучих мышей. А на самом деле тихо

горевал и волновался нечаянному моему счастью. Заглянул, как за краешек, а сам буду там еще очень не скоро, и не с этими людьми. Коснулась меня самая красивая женщина из богатого, нарядного мира — коснулась запросто, ничего про это не поняв (а вдруг втайне что-то поняв?) — и этого никогда больше не будет. Ведь не подойдешь завтра к ней среди бела дня, когда она на солнышке стрижет себе ногти на ногах, склонив к голым коленкам вымытые, замотанные полотенцем волосы, не скажешь ведь: давай еще.

Разве это можно просить? Черта с два захочет. А если и захочет, чтоб посмеяться — самому противно будет. Такого уже не повторится. Так и уедет, непонятая, а я останусь со своей крохотной хаткой, головастиками в тазу и гнусавой Майкой Придворевой, у которой одно платье и в город, и на лавочку, вот ее и зовут моей «невестой», это — мое. А еще ведь была пещера с черными рисунками, что ждет и меня. Только я убегу. Мне этого не надо. Никогда не буду так, ни разу. Мне и сейчас тошно это вспоминать. Ну-ка проверю: тошно? Еще как! Я ничего этого не хочу. Мне не надо.

Я совсем не помню Ленку Звонареву. И как тогда было. Нет. Совсем не помню.

Водил Барон. Коля Крашенный придумывал участь, глядя в забор.

Барон указал своей розой на мальчика:

— Этому, — и ухмыльнулся, — и этому!

Лавочка понимающе завопила — вторая была Майка, и Крашенный по вою этому спиной уже догадался что-то и нетерпеливо переступая, загоготал и затряс рукой: сейчас-сейчас, скажет!

Мальчик сорвался, огибая лоящие руки, помчался к хате.

Бабушка сидела на крыльце. Он ткнулся ей в бок. Она расстегнула фуфайку и укрыла его полой. Кузя лег греть им ноги.

Вдоль забора, всхлипывая, прошла Майка, стукнули ворота.

У Шэпиных расходились поминки — во дворе путались голоса. На темной жирной земле пластались сухие плети бурьяна, над ними дрожащими свечными огоньками трепетали пепельные бабочки и жуки пушистыми комками, дребезжа, прорезали мрак.

— Што быстро? — спросила бабушка, перевязав плотнее платок. — Не обидели?

Мальчик гладил кота. Бабушка согревала его сухим птичьим телом. Они сидели на крыльцах горсткой тепла и покоя среди звезд, тополей и заборов, озер, камышинных переплетений и уклонов, черной гривы сада с заброшенным двором на задах, вокзальных железных отголосков, скрипящих изредка ставень, сопенья кота — стекала ночь, и жала их к дверям, к маленькому свету, к фотографиям близких людей, где последние силы теряет календарный листок, пытаясь удержать еще черную цифру, в которой тяжело набухает ночь — идет ночь, приближающая кладбище, черного человека, огненное колесо, худую тетю Клаву-баптистку, пещер-

ный, жадный, ледяной зев, в котором я не был никогда — сильная ночь, и они жались тесно, чтобы немного побыть.

— Лето быстро... Через семь недель после Пасхи уже Троица. А там и осень. Раньше, кажется, не кончалось. Все полей и полей эту свеклу... Пойду я ставни позакрою.

В ромашках зашевелился ежик, распахнул траву и высунул черноконечный носик, задергал им, онюживаясь. Бабушка прошаркала мимо и тихонько вернулась — ежик выбрался из травы, собрался в шарик и растопырился, сердито, не мигая сумрачными глазенками.

Мальчик подкрался и трогал, гладил суховатые вздрагивающие иголки, а ежик шипел и фукал, как сковорода.

— Сарай запри, — велела бабушка.

Мальчик тронул карман — а нету ключей. Где? Если только на лавочке обронил. Он взял на кухне спички и пошел искать.

Улица спала, и мальчик раззевался. Смотрел на глазастую лунную рожу и расчесывал запястья, исклеванные комарьем.

Над лавкой клубился хмель, будто кто-то еще сидел. Мальчик достал спички и брякал коробком на ходу и кашлял, чтоб слышали: на лавке, правда, кто-то сидел. Еще не распростились. Или пьяный шэпинский гость. Миша Романенко вроде уже протащился: не он. Или Водьдемара выгнала Варька? Вдруг — Майка плачет? Мальчик тоскливо вздохнул.

И стал. Не мог приглядеться: кто сидит-то?

— Саш, — узнали его. Позвала. Так внезапно. Та, аж сразу в голову застучало. Одна сидит.

— Ключи потерял, — мальчик совал прыгающие пальцы в кармашек — спички.

— На. Вот эти?

— Эти.

Он вдруг забрался на лавку. Рядом. Зло косился в стороны: сейчас, ясное дело, припрется какой-нибудь Костя Ковалев на своем мотопеде...

— Чего ты убежал? Так смеялись. Резниченко выкаблучивался: дорогу веревкой перетянул. Мужик на велосипеде свалился, — ей тоже хотелось спать. Она зевнула в ладони и посмотрела на пальцы — не смазала тушь? — Чего ты не спишь?

Он думал: сарай надо закрыть, вот и не сплю. Скажи про меня. Как долго может ничего не происходить, не стареть. Все стоит на месте. Сердце стучит на месте.

— А я уезжаю. Поезд через час. Бабка собирает. На юг завтра, к морю. Вечером — уже на море.

Мальчик не был на море. Никогда. Он вспомнил: следующим летом ей поступать, уже не приедет. Ее хахаль тащит замуж сразу после школы, не терпит к нему, дотронься до меня, как все тянется, только сейчас все.

— Испугался в пещере? А я как... Как сегодня усну? — она сунула руку в хмель, дергала за липкие, шершавые сплетенья, —

движение переходило в забор, а потом в спину его, скажи мне про пещеру, про то, что там, дотронься до меня.

— Наши ходили к Шэпину абрикос трясти. А ты убежал.

Абрикос у Шэпина теперь можно трясти — некому следить. Мальчик подумал, буркнул:

— Я бы не пошел.

— А чего ты убежал? Из-за Майки, да? — склонилась она к нему, хитровато подняв брови.

А он, раздавленный этим приближеньем, вдруг вышептал жаркое:

— Она. Такая некрасивая... — и чуть не расплакался. — Ну что я-то...

— Са! Ша!

Они вздрогнули, она шепнула — ох!

А это бабушка выступила из тьмы худенькой тенью.

— Вон он сидит! Я яго выкликаю. Нашел ключ? А вон с дамою.

— Здравствуйте.

— Здравстуйте. Пошли быстро!

Он поднял голову. В макушку его задышала холодом ночь. Он выдавил бабушке — ну бабушка — хоть все напрасно:

— Я еще. Посижу.

— Завтра день будя, — бабушка сдернула его с лавки и подтолкнула к хате. — Иди! А то вырежу хаваростину, — грозила она и толкала снова в спину, он проглатывал, не отвечал, задыхаясь. — Ночь на дворе, а вон — посидит. Жаних! А как собака побегит: бабушку звать будешь? Выпужает, что родителям скажу? А? Ты не дуйся на меня. Всякому дню забота своя. У Бога дней много. Посидит он ишо, отворяй...

Он потянул леску, подымающую шеколду и оглянулся из-под руки: не видать. Кажется, отвернулась. Не смотрит.

— Бягом в хату! Ешь, я сарай запру. Ведро в сенцах. Дрожишь весь.

Так холодно, правда. Кончается лето. Да, уже все. Он бычком, без отрыву влил в себя молоко. Откусил от булки сколько мог. Жевал и стягивал с себя в зале штаны. Бабушка разбирала в спальне постель, подбивала подушки.

— Вареники будешь есть? Я завтра налеплю. Тушу свет!

Она погасила свет и ушла на кухню, на свой диван. Там сердчала: ничего не съел! — выносила банку с молоком в сенцы, вдруг с улицы заорал кот, мальчик сел на кровать, свалился на бок, разложил на себе одеяло — ночь. Бабушка впустила кота и бурчала, что ни за что не подымет его выпускать, и неужто такие холода, что и кот на улице не может, что такое... Она крикнула мальчику через дыру в стене, чтоб не пускал кота в кровать, мальчик трогал железные прутья большой соседней кровати, высчитывая: четно или нет, если четно — он долго проживет; один из прутьев шатался, он задержался на нем и шатал, забыл, что считал, кот вытянулся в ногах, урчал, спит. Захочет на улицу. Бабушке вставать, кот ухо-

дит, сырой огород, заборы. И она еще не ушла. Сидит там, последнее время. Сейчас затарахтит мотоцикл. Ведь не просто она сидела. Конечно, ждала! И вырядилась. Может, и к поезду оделась... Мальчик вертанулся как следует: и — раз! и — раз! Пусть слышит бабушка, что не спит, обиделся. Ну чего она сунулась? И еще подошла. В фуфайке. Еще так сказала. Что он боится собак. Какой же та увидела бабушку его. Хотя она уедет. Чего ей. И никогда. Но еще сидит. Если б бабушка позвала от крыльца... А то подошла и заорала. И ничего ей не сказал!

Мальчик вздохнул и раздавил ресницами теплые слезы. Дома — мама. Дома даже пахнет другим первые дни. Там сразу носки надевать. Мама никогда не покупает семечек. Другой вокзал. Он расскажет когда-нибудь про пещеру, кому-нибудь. Все удивятся. Как там было страшно. Как там было страшно. Как там было все... Бабушка не знает. Его загнала! Если б три минуты еще... Сто восемьдесят. Она бы ему сказала... Или вот это. И он бы ответил. Она бы приедет больше. Она уже хотела говорить, да бабушка... По радио — гимн, и все. Ночь. Утро. Утром бабушка клубнику. Вареники, прокусывать и пить горячее, розовое с зернышками. Липкий подбородок. Полупрозрачные на свету вареники. Куда рогатку девал? Но там этого не будет, триста километров. Завтра уехала, больше нету, лето, засыпай, шестьдесят четыре, шестьдесят три, шестьдесят два, надеешься на много, шестьдесят один, да разве это много, бабушке вон уж, шестьдесят, чего там на юге? Побежать к воде. Подняться, выйти из спальни — в зал, часы тикают, рубят канат, по ворсинке. На кухне — бабушка храпит. Ключ в двери, два поворота. В сенях окошка не видно — ночь такая... Засов, второй замок, щеколда. Две ступени крыльца — земля... Пошел и уходит поезд, земля ведет тропинкой за сарай, в камыши, в сад, где вместо забора свалены мертвые вишни, а за ними заброшенный сад, заколочены окна, оттуда идет, начинает свой ход, стоит всем лечь — от него запирают двери, он достает... Он думал, что плакал, упершись в подушку, тихонько и жалобно, в горькой, бедной печали, вздыхая, как отдыхая, взглядывая назад и вперед — сколько еще, спал и вздыхал меж слез, догадываясь, что слезы уже не могут все — не услышат и не заберут отсюда, и на самом деле. На самом деле он не хотел. Ведь он же не хотел быть, всего этого: грубеть, пить, чтоб на щеках выросли волосы, и пусть посмеют только потянуть его к ответу, он им прокричит: «Зачем ты? Я ж не хотел! Кто тебя просил? Какое ты имеешь, поганый, право?!» — ты прощай, моя кровь, мое летнее солнце, прощай ты.

Я упустил из рук тебя обратно в ведра вишен, лозняк и Новые года, манившие сквозь школьные каторги, вечности — хвоей, и томили посреди ожидания лета, переводили дух: белая вата, звезда и шоколадные медальки и бой! бой! бой! — часов заснеженного Кремля, где ты и бабушка, и как ни велика разделяющая вас ненастная пустыня, бабушка дождетя опять, переждет, и ты рва-

нешься и победишь уже от угла Комсомольской — нет сил идти и ждать еще, ты прощай, я мог тебе быть хотя бы старшим братом! Ты только не смей, ты не плачь, если я не могу этого тоже — тогда не надо. Я не в силах нести тебя дальше и не вопить среди ночи и стужи, высунувшись в окно — где же это?! Соседи и родственники против. Я должен жрать. Ты не поймешь, прощай; да, это сделал я; да, я просто оставил тебя за спиной, когда ты спал и думал, что плачешь; да, я не думал бросить совсем; я думал — хоть следом пойдешь, доберешься со мной, своим ходом. Но ты почувствовал раньше, все раньше меня, и не пошел, все крепился один, чтоб не реветь, чтоб не звать: а я? Я? И побежал в сторону от затоптанной дороги, к черной ночи, в скользкий лес и кричал там: возьмите! Но и тебя отловили эти всегда здоровые, крепкие руки в рукавах закатанных по локоть и пхнули в зеленую твою солнечную могилу — к детишкам, в садик, где все вроде было: хата, сад, велосипед, школа, дети, стороны света, крашенные в бронзу солдатики, дожди и рыба красноперка, но только почему-то — в одном месте, но только почему-то ты жил, как спал, как ждал — без вкуса вишен на устах. Ты перестал чувствовать вкус. И эти мгновенные, минутные, часовые руки хватили тебя за каждой дверью и толкали назад: здесь, вот здесь, здесь же все для вас приготовлено, играйте, кушайте, не надо выходить, но ты помнил смутно, что где-то есть еще и я, и ты доказывал это себе из того, что стал реже плакать, меньше говорить и знать, друзья твои теряли лица, некоторых вовсе уводили прочь, тихонько, когда ты спал, и ты не мог утром вспомнить: а кто же сидел за этим столиком у окна. Куда-то девались игрушки, мячи, теснился двор, меньше рассказывала бабушка, да все одно и то же, радостный, светлый детский сад усох до рисованного Дед-Мороза на окне, нашествий зубных врачей и чеснока, краденного из борща — тебя забывали. Забывали твою жизнь. Ты прощал это и терпел потому, что забывал именно я — ты догадался, а что было делать — ты ж не смог убежать, надо ждать. Ты прощай, расставанье мое, прощайте дни, просторные, как улицы, нестрашная ночь, тополя, прощай память глаз, полная до краев, я не могу теперь даже смотреть на тебя — у меня это вырвалось просто, меня стошнило, да ладно я... Но тебе-то терпеть, не менясь, пока хожу я, и просить за меня шепотом, когда тебя хоронит все, что я глупо отгребаю от себя в ночь. Ты не скучаешь — мир просто сохнет вокруг, ты еще не знаешь как на самом деле можно скучать, как это делаю я, вокруг тебя — все твое, но все меньше и меньше, и крепкие руки все уводят, и забирают, рвут из альбома рисунки зеленых танков с красными звездами, запирают ставнями окна, уносят гильзы, синяки, нежные твои имена, чистую кожу, кота, яблоки из сада, молоко, которое ты не любил, и еще больше — то, что любил, и я, когда захриплю как надо, и старуха со шербатым ртом станет тискать мой взмоченный лоб: «Все щас пройдет, щас пройдет», и все — тогда ты остановишься ждать и, подняв голову, увидишь тесное все, что осталось: бабушку



со смутным лицом и двумя словечками необязательными, немного света, немного лета, синюю буденовку со звездой, смолу, в которую ты влезал новой сандалией каждое лето — и прижмешь ближе красный меч и белый кораблик с белой трубой и подумаешь: вот теперь, наконец то, приду я, сглотнешь тяжелое в горле — к тебе заглянут, осмотрят: что тут у нас осталось; и просто потушат свет, щелчком, похожим на последний сердечный стук. И на единственный миг! — на вдох — к тебе вернется сразу все — великое — не помещающееся в скудное слово «мир» — на солнцепеке — ты проснешься, а на выдохе уже все уйдет, без остатка, совсем, и ты выдохнешь за меня, что вдохнул я последним в свое гнилое нутро, но все равно не припадешь к этим ступням и ступеням, оставшись с упрямой своей тоской: «Он же не хотел!» — прощай.

Прощай моё, прощай мой, прощайте.

Бабушка припоминала, не спала.

Если жить еще, то, вобщем, так сложилось, что я не знал ни одной из своих бабушек, и летом мне некуда было поехать, кроме школьного лагеря, который водили обедать в диетическую столовую через весь город, а станцию Валуйки в Белгородской области я проезжал лишь однажды — ночью — нас везли в армию — я буду жить.

На сорки... Это в пост бывают сорки, кулики пякут. Мы бегаем, тепло кто знает как, по нашему, по омету. Солнца! В лапти обумши...

Выбегли к низу там с подругою. Я грю:

— Наташк, ктош это вон идет? Дак это Пармен!

А вон убыл в пляну. Идет тот-то Пармен, колодки на ем надемши. Германец яго нарядил. Лицо опухшее.

— Маша! — и заплакал. Он меня поцаловал в макушечку, и я заплакала, и прижимала яго к сабе.

— Милые детошки, вы живы остались? У вас увойны не бало?

— Тя, а тя!

А он вяревку вьеть.

— Пармен, — я грю, — пошел.

— Да ну, не бряши. Было спала?

А тут Мартиниха Парменова заголосила.

Яго хоронили, я инесла Ивангиль во переде, и яго несли на кфатафалке.

Они беднее нас жили. Меня Тиша за руку водя бывалочка, вязенки на мне надемши, пальто хорошие, а Мартиниха:

— Тихон, да чтоб я за свово Пашку да Машку вашу не взяла!

А Тиша:

— В работники заложуся, а за Пашу не отдам! Хошь обижайся, хошь нет.

Мальчик сбросил одеяло и по доскам, по полу, побежал сквозь тьму, распахивая занавески, задевая притолки, стены, рукомойник и упал на бабушкин диван, позвал:

— Бабушка! Бабушка.

— Да што ты?!

— ...Как же страшно умирать.

Она сразу рассмеялась:

— Вот ты што, — и тронула его голову. — Бабушка, какая старая, а об этом не думает, еще хочет пожить, а ты еще сабе голову забиваешь... Что ты? Ложись-ка, а я тебе порасскажу, все равно ж не спишь.

Я заметил, что у меня крадут — ну и ладно. Но все же: как это неприметно. Вот у меня есть бывшее, а в нем то, что я не хотел бы забыть. Ну не знаю — почему. Просто: детски не хочется.

Но все уходит одинаково: и дорогое, и просто бывшее. И это не так зримо. Не так, как осыпается фреска и кусок забвения зияет среди Божьего цвета кладбищенской серой стеной. Это — как туман: все вообще видать, но все уже не так отчетливо. Но ведь там же, за туманом, все так и осталось, верно? Но за туманом опускается вечер, остаются лишь слабенькие огоньки.

Да еще столько дел, что нету времени глядеть все время туда. Но даже если ты и обозлишься на свои дырявые карманы, поставишь стул и пристально уставишься в ту степь — все равно: ничего не изменится, разом всего не удержишь — и также продолжит оседать, подтаивать, затягиваться туманом.

И даже если ты плюнешь на все и соберешься беречь лишь одно лицо, одну полосочку: она точно также затянется и потеряется — не уследишь.

Беда в том, что там, в той стороне, все очень связано. Это только нам кажется, что если мы выломались оттуда сами, то так же можем выломать с собой хотя бы ветку на память из того сада. Вдохать и вспоминать. Да нет. Нет.

Или там просто нет ничего? Лишь наши сны? И терзает душу лишь равномерность их выцветания, так похожая на равномерность удаления провожающих на вокзале: рядом, подальше, бегут — рукой машут, а вот — и не видны совсем. Оттого и кажется, что удаляемся от чего-то, уезжаем? Потому, что других равномерностей — властных, постоянных, неуловимых, но явных, не меняющих облик, а лишь уводящих его — мы не знаем, вернее — не хотим.

Но если захотим — вдруг все дело в равномерности умирания? Ведь если так: пускай крадут, да? И не такое теряешь. Ну ладно.

И когда я придумал вспомнить свою бабушку, мне казалось, что за дверь откроется лето. А там оказалось совсем немного места: узко, неглубоко — чтобы только встать одному человеку. Лечь. И не только вокруг ничего не развернулось, она и сама-то — почти не откликнулась. А вроде помнил все. И верил в это. Так, случаи какие-то, и не расскажешь, словечки, как жгли костер. Сделала мне сама рогатку из рогульки с резинкой, когда захотел, но сам еще не мог. Одну и ту же вижу: сидит, в окно смотрит. Все, что осталось. Ну я еще остался, непродуманный. Когда надо было, я не сообразил продумать себя, начиная с бабушки.

Ну а вообще, что осталось? Бабушка меня никогда не наказывала. Никогда не ласкала. Даже по голове не гладила. Мне еще не помнится, чтобы она меня воспитывала. Она никогда не пела. Я ни разу не видел ее плачущей. Когда уезжал — улыбалась. Не любила, чтобы опаздывали на поезд, торопила из хаты. Тетка рассказывала, что бабушка плакала, когда оставалась одна. Она хотела дождаться моих детей. У нас всегда было мало денег, я это знал, но не чувствовал, на базар она ходила, сказать хотел не об этом совсем я — я совсем не об этом хотел сказать.

Рассказы



## ЛЕТО

Он уже во сне чувствовал, как ему плохо, — это неправда, что человек во сне расходитя с собой и просыпается всегда наивный, как свежий лист календаря, — нет. Он заметил эту неправду еще со смерти матери: утро уже приходит придавленное горем, оставляя лишь скучную необходимость припомнить — что именно стряслось.

Он уже во сне чувствовал, что ему плохо, как его бесят обтянутые цветастыми наволочками тугие подушки под головой, жаркая податливая перина, собственный рот, сухой до песочного скрежета, чужие неопрятные стены с отставшими у потолка обоями и сальным мерцанием паутины, занудливый куриный стон и присутствие рядом чужого тяжелого тела с осторожным стеснительным дыханием.

Спокойно лежать не давали мухи — он устал дергать ногами и мучительно морщить лицо, трести головой от их неутомимых, противных касаний — надо было вставать. Надо было перелазить через человека, который теперь — его жена, она спала на животе, чуть выставив, будто робея, из-под одеяла толстоватые икры с рыжеватым на солнце пушком. Это его жена. Он спит с ней всю ночь — он зашевелил пальцами: раз... два... четвертый раз! Впереди предстоит жизнь.

Он зря поехал в деревню к ее родителям. Нет, он знал, что деревня — это не город, и все такое, он сам рассказывал ей, что дед и бабка его — деревенские, что гостил он у них, гонял гусей с колхозной ржи; но когда ехал, он думал про речку и лес, про поле со стогами до горизонта, а получился дождь, жадная сосущая глина, крысиный шорох под полом, запущенные старики и старухи, которые дышат прямо в лицо, и которым надо орать одно и тоже по четыре раза, даже собственное имя, жуткое застолье с упорным требованием-воплем «Горько!» — и все жадно пялятся: как это будет? — жена, красная от жары, всем улыбается, толкает его под бок, он встает, закрывает глаза и тянется к ней губами под хоровой счет: «Раз, два, три, четыре...», столы, крытые клеенкой с рыжим Карлсоном, уродливые лица, старательно громкий голос: «Поздравляем со сдачей скважины в эксплуатацию!», еле живой проигрыватель с единственной пластинкой «Черный кот», шербатая пьяная баба, тянущаяся через стол к нему раз за разом: «Что ж ты за

мужик, если столько-то пьешь? Как же ты свою жену... будешь?» — потом эта баба сидела в грязи посредине дороги и выла какую-то песню, не глядя на ковыряющего в носу белоголового сына в синеньком школьном костюмчике; он ел, вдавливал себе в рот, внутрь, куски противной, жирной пищи, улыбался — у него щеки болели от улыбок, вылезал из-за стола пожать руку очередному подвернувшему к хате трактористу, чуть не грохнулся с крыльца через протянутую ради смеха веревку, он пытался не глядеть на свою жену, ставшую сразу чужой, ставшую не его человеком — она была в своем мире, она не могла быть без этого мира и только иногда смотрела на мужа испуганно и жалко, а он хорохорился и опять, опять улыбался, вставал, тянулся к толстогубому, кисловатому от пота рту и с мукой тискал на руке часы, украдкой, когда нагибался под стол гладить кошку, зная — сейчас его обсуждают, что невесел, что брезгует, что мало пьет и чисто ест, и жене неприятно, и ему казалось, что эта мерзость останется на всю жизнь, а потом сдвинули столы, попрятали по пазухам и сумкам оставшийся самогон и повалились спать среди мух и крошек, и неубранной посуды.

Он еще глянул на рябую от мух лампочку и полез вставать. Жена проснулась, но глаз не открыла — это было противно, — следила, что ли, за ним? Он торопливо натянул штаны, кривясь от скрипа половиц, сунул ноги в сандалии, спеша выйти пока жена ничего не спросила — это удалось; она не подрассчитала чуть-чуть и сказала что-то, когда он уже выскальзывал из комнаты. Сказала что-то вроде «Доброе утро».

Какое оно к черту доброе!

На второй половине, на лавках и полу, спали синие от духоты люди, уложив под головы жилистые ладони и скатанные фуфайки — над ними старчески цыкали ходики, и ровно гудела мушиная свора.

Он прошел сени и отправился через картошку к туалету. Оттуда, видно уже не первый раз пытаясь застегнуть ширинку, плелся мужик с отекившим добрым лицом.

— А... Жених! Поспали, гха! Ну? — мужик отнял руки от несдающихся пуговок и протянул их по направлению к его лицу, нацелясь для родственного поцелуя.

— Давай, иди, — судорожно выдавил он и ступнул в сторону с тропинки прямо в крапиву, после чего свистяще выматерил все на свете.

В туалете пахло рвотой, и дребезжала заплутавшая в паутине муха.

Он поднял болевшую голову, посмотрел на муху и толкнул пальцем ее мохнатый бок. Муха качнулась, поворочалась и снова задрезжалась в липком воздушном плену.

Он помялся у хаты, прыгнул за яблоком над головой — промахнулся и, потирая обожженную крапивой щиколотку, поплелся со двора — что он здесь будет делать целую неделю?

Жена ему кричала вслед, когда он уже порядком отшагал вдоль глубокого оврага. Он не остановился, просто глянул через плечо: она стояла на крыльце со смутным напряженным лицом, махала ему рукой — ей было неприятно перед теми, кто, наверное, тоже уже встал: вот, значит, муж, а сразу — со двора, ни похмелиться, ни порассказать, как ночь сладкая прошла, — он дернул головой и пошел дальше, почти не глядя перед собой, было часов десять. Последний день августа.

Он прошел до пруда и дальше — по берегу, вот вчера был дождь, а сегодня август припас для последнего дня сиреневое небо, редкие лохмотья облаков и не жаркий, но ласковый солнечный свет, присушивший земляную колею и выпивший росу, — трава стала теплой и тянулась в безветрии вверх, посвежели деревья, убрав внутрь жухлую и желтую листву, кувыркаясь, яичной скорлупой, мелькали над зеленой землей бабочки-капустницы вперемежку с бесшумно зависающими в тишине стрекозами, детски нежной улыбкой светились пушистые головки клевера, и седые высохшие травы осеняли косматые из-за подорожника тропинки.

Он шел вдоль пруда и наблюдал, как по деревенской улице за ним вдогон, важные, как беременные бабы, выступали три стайки гусей, и вожак авангарда уже клонил к земле горбатую шею, выпуская из себя глухой истомленный шип.

— Я щипну-щипну, — обещающе покачал он гусаку головой. — Я так щипну, что... — но шаг ускорил и сошел на обочину, усмотрев здорового кузнечика, размером со спичечный коробок. Он свельнул ногой траву — кузнечик сиганул метра на два. Он прокрался за ним и склонился к траве, пытаясь высмотреть, и уже заготовил ладонь ковшиком для поимки.

Трава блестела на свету, и кузнечик скрылся в ней напрочь.

— Вот падла, — по-доброму оценил он и провел рукой по траве. Здоровенная зеленая лягва выстрелила вверх, как из катапульты, и через три шага плюхнулась в воду, приведя в нервное состояние гусей, вожак которых чуть шею не свернул от резкого поворота.

Он сам отлетел на шаг и, озадаченно расхотавшись, пошел дальше, все же косясь за спину — не высунется кузнечик? Нет.

Пруд был разделен надвое: полированная тень от берега, нанесенная будто жирными грубыми мазками темно-зеленого цвета, и свинцово-белесая чистая вода — на ней был виден утиный пух.

Он притормозил у белоголового паренька, которого видел вчера с пьяной мамашей. Паренек стоял на старых мостках, сложенных из двух широких досок, уперев левую руку в бок, правую выбросив вперед с ореховой кривой удочкой, глядя что есть силы на кусок темного пенопласта, служившего поплавком. Солнце палило его худую, тоненькую спину и высвечивало красные и розовые прожилки в оттопыренных ушах.

Он плюхнулся на траву за спиной рыбака, откинулся назад и глянул на солнце — солнце не давало на себя глядеть — оно было, как золотая печать на горлышке небесного кувшина.

— Ловится? — спросил он.

Пацан, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой.

— Скоро в школу, да?

Пацан вздохнул без восторга и переступил с ноги на ногу. В школу было скоро.

Он повернулся на живот и опустил лицо в траву, в ее жесткое придорожное сплетение, и видел эту траву, как множество крепких жил, странно разумно и одинаково устроенных для роста, для жизни, для того, чтобы тянуться из комочков пыли и грязи, расти корнями вниз, а вверх — выбрасывать коленце за коленцем, выжимать из себя листики, смыкаясь и переплетаясь с подобными себе, выдерживать крохотный бег муравья и незаметную суету еле видных букашек — он лежал на животе, и сердце его билось в землю, и земля волнами вздымалась под ним, и трава прохладными мягкими перстами трогала его щеку.

Он поднял голову на слабый всплеск. Пацан торопливо приземлил ему под нос головастого пескаря. Пескарь озадаченно дергался, сияя, как портсигар.

— Кулька даже нема, — прошептал пацан.

— Ха... кулька. Надо делать снизу! — довольно протянул он. — А ты умеешь делать снизу?

Пацан, конечно же, снизу делать не мог.

— Ха... снизу делать, это, понимаешь, это... — забубнил он и отправился к кусту лозы, полоскавшей нижние ветки в воде, выбрал самую тонкую веточку, выдрал ее, очистил от листьев-лодочек, оставив только два на толстом конце, а тонкий сунул в широко растворенный рот пескаря так, чтобы высунуть его через жабры — пескарь уселся на ветку, как кусок мяса на шампур.

Ветка была опущена в воду, конец ее он придавил ногой — чтобы пойманная рыба не удрала.

Минут через десять пескарей уже было три.

— Мишка-а! — сверху от деревни, поддавая тоненькими коленками подол сарафана, мчалась девчужка с худым быстрым лицом.

Мишка нервно обернулся и принял ужасно солидный вид, как памятник пионеру-рыболову.

— Ловишь, да? Поймал чего? — застрочила девчонка, устраиваясь на траве, поджав коленки к подбородку, взрослым строгим движеньем натянув на них подол. — Кто ж сюда забрасывает, здесь же — мелко! Ни шиша ты здесь не поймаешь! Слышь?

Она уже дернула Мишку за руку, тот старательно удерживал удочку и спокойно цедил:

— Обожди.

— А! — вскричала девчужка. — А прошлый раз я... Что говорила? Так вот и вышло! И сейчас ничего не уловишь. У-у!

Последнее сопровождалось скорчиванием рожи.



Мишка кротко обернулся к хранителю рыб, и они понимающе вздохнули, вид поблескивающих в глубине пескарей благотворно действовал на рыбацкую душу, но девчужка, как назло, глядела куда угодно, но не на низку.

— Да и какой с тебя рыбак? — продолжила она. — Вот Серый — да! Он ловит! И из класса его с папирсой не выводят.

Было непонятно, кого выводят из класса с папирсой, но шея и щеки у Мишки стали цвета гусиного клюва.

— Ты хоть учебники обернул, горе? — сбавила обороты девчужка.

Мишка ухмыльнулся, довольно прижмурив глаза, и отрицал такой успех.

— Вот, Костюков-Костюков, дураша ты дураша, и чего с тобой дальше будет? Куришь, рыбу не ловишь, и вообще... — вздохнула девчужка, подперев голову ладошкой в горестном сожалении о Мишкиной будущности.

Мишка застыл, улыбаясь так, будто каникулы продлили на три месяца и ему купили мопед «Верховина».

Девчужка уже раз восемь внимательно оглядела низку, но совершенно незаметно. Наконец, она обернулась к нему.

— А вы пономарихин жених?

— Муж.

— Му-уж, — повторила она по-коровьи и засмеялась.

— Танька! — заорали сверху от хат. — Ты где шляешься, чертовка? Телята непоеные!

— Телята непоеные! — передразнила Танька кого-то и покарабкалась наверх, посулив:

— И ничего ты не поймашь, Костюков.

Костюков выждал паузу и, обернувшись, смотрел ей в спину, морщась от солнца и странного удовольствия.

Через секунду он забросил удочку на самую глубину, став на край мостков. Поплавок немедленно утонул.

— Застрял, — вздохнул он из-за спины.

Мишка дернул удочку вверх, и в воздух вылетел здоровенный окунище, шмякнув пономарихиною мужа по морде, и забился, как вентилятор, в чертополохе. Мишка и он ринулись туда, путая леску, хватая сильную, скользкую рыбу руками, крича друг другу: «Не упусти!», исцарапавшись, как черти, они схватили наконец окуня, тщательно примерили по руке — Мишке вышло по локоть, и надели рыбину на низку.

— Больше, чем Серый поймал? — спросил Мишка.

— Да, — кивнул он. — Несомненно.

Удочка была смотана, и они пошли медленно вверх. Мишка держал низку на отлете, в стороне, то и дело косился на окуня — окунь ошалело оглядывал все вокруг стеклянным пристывшим взором.

— Пескари — кошке. Окуня пусть мать засолит, — посоветовал он. — С пивом хорошо.

— Ага, — сипло сказал Мишка. — Папка любит. А я думал — зацепило, поплавок — вжик! Я и дернул. Ого! Больше Серого! Ого! Да?

Им было вроде по пути, но Мишка тормознул у сараев, опустил голову и проговорил, раздумывая:

— Пойду, что ль, Таньке покажу, а то это... Я думал зацепило... Да? Пойду.

И он быстро пошагал к сараям, где невидимая Танька поила невидимого, но мычавшего теленка.

А он пошел к хате, воздух был теплый и густой, пах яблоками и горелой ботвой — он любил этот запах; а завтра будет осень, завтра будет грязь и длинные вечера, и длинные разговоры, морщинистые от ветра лужи, дождевой стук в оконном стекле, завтра будет новое, другое, новое; жена стирала что-то в тазу, она знала, что он сейчас идет прямо к ней, у нее ожидающе подрагивали уголки рта, она уже придумала, что ему сказать и даже, что сказать, если он ответит так-то и даже по-другому, но она очень надеялась, что он ей скажет первый, у нее была длинная белая, нежная шея с каким-то совершенно невыносимым изгибом, он шел к ней — Господи, какая здесь тишина, она не выдержала, подняла голову и смотрела на него тревожными глазами сквозь пряди волос, подняв напряженные брови, подведя под веки свои грозные горькие глаза, он обнял ее послушное, привалившееся к нему сладкой тяжестью тело и прошептал задохнувшись своими словами:

— Я люблю тебя.

## ХАРОН

Дед Вася был Почетный колхозник. Правление колхоза дарило ему к дням Победы сатиновые рубашки. Он жил в деревне, где была взорвана церковь.

Доски брали через три хаты у Жмурковых — толстые, обтянутые пленкой доски. Жмурков щелкнул пальцем по пленке:

— Сыну свадьбу играли... Новьё!

Доска на два табурета — лавка.

Тащили доски, и метавшаяся меж хат, как челнок, почтарка Лида крикнула:

— Это к кому?

— К нам. Дед Вася помер.

Дед Вася лежал в гробу, втянув голову в плечи, с сильно скуластым лицом и запавшими глазами, веки — как гарбузовые семечки. В руках горела свечка.

Окна выставили — ветер вдувал в хату белую занавеску.

По небу чиркнула крыльями черная птица, по полю бегала девчушка и махала руками:

— Бабочка, бабочка!

— Да разве ты ее поймаешь? — смеялась мать.

По руке деда Васи полз муравей.

Гроб высунули из окна — вдарила музыка. Соседи обхватили руками забор. Музыканты переминались

На воздухе лицо у деда Васи оказалось цвета репы — как старое тесто, брови местами совсем черные.

Шли по разбитой дороге. Дарили конфетами встречные руки.

Поехали. Голова у деда Васи перекатывалась.

У могилы деревенская пьяница Роза набросала землю крестом на белое покрывало, надела на лоб деду Васе молитву, в руки вложила иконку.

— Целуйте! Венчик и иконку! Кто брезгует — отойдите... И партийные — целуйте, — запрочитала она.

Сын деда Васи сказал дрожащим голосом:

— Наш папа прожил большую жизнь. И не нужны ему были ускорение и перестройка — он всегда честно работал. И хоть немного передал это своим детям. Вот за это спасибо.

Земля посыпалась на крышку.

— Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, — заголосила Роза и заплакала. — Хоть сыновья есть, а у меня — никого...

Снизу дождались конца голосов и потащили гроб к реке, поблескивающей рядом.

Крышка слетела после второго удара — дед Вася сел в гробу в парадном черном костюме и хрипел полубеззубым ртом.

Кто-то бегло прочитал бумажку, упавшую с его лба, пометил себе в журнале и сунул деду Васе молитву в карман: «Не потеряй».

К ним плыла лодка с гребцом.

— Это — Харон. Он перевозит души умерших, — шепнули деду Васе.

Он плохо слышал последние пять лет и не понял:

— За рыбой, что ль?

Было холодно. По реке, глушеной белобрюхой рыбой, тянулись льдины. Люди, съездившиеся от озноба, притянули лодку к берегу и кинули мостиком пару досок, поблескивающих пленкой.

Деду Васе развязали полотенце на ногах — ноги не болели, — он, раскинув руки и шепча что-то, боясь упасть, прокрался к корме и осторожно присел, робко глянув в лицо гребца в застегнутой фуфайке и кепке. На носу лодки горела свеча.

По берегу бегала собака — лаяла.

— Студено, — сказал дед Вася, — и от реки тянет. Глубоко тут?

Мужик сосредоточенно налегал на весла, морщась дубленным ветром лицом.

— Без дна, — наконец, ответил он.

Дед Вася не расслышал, а переспрашивать побоялся.

Берег прятался в темноту. Звезд не видать.

Вода казалась черной.

— Давно я на лодках-то, кхм-гм... — закашлял дед Вася. — Как кулачили — боле ни разу. Инесей — тоже река, хм-м... Ши-рокая.

Ноги, из-за которых дед Вася лежал пластом перед смертью, не болели совсем — он даже свободно сидел.

— За брата меня. Он тоже Калашников, тока Федор. Как активист нас описывал — лавку братову мне приписал. На меже стояла. Обоих и запроторил: Казахстан да Сибирь. Все, вишь, померли, а я остался. Живой! Мужик притомился и стал закуривать папиросу, высунув одну из пачки и для деда Васи:

— На.

Дед Вася курил не очень — кашлять больно, но не отказался:

— Спасибо, товарищ, а ты откуда?

— Земляк твой, — громко сказал мужик, догадавшись, что дед глуховат.

— Ага. Курский! — обрадовался дед Вася, и у него выскочило немедленно: — Ну как тут у вас-то?

— Всяко.

— Так, так, — оторопело сказал дед Вася. — Видишь как...

Мужик опять загреб и вдруг замер:

— Дед!

— Што тебе?

— Что это, мать твою?!

— О Господи, где?..

— Вон.

Дед Вася что есть сил сощурился в речной мрак и нерешительно сказал:

— Мост, должно, железнодорожный. Взрыватый. Хм, откуда у вас? Я такие всю войну взрывал, как бегли...

Мужик продолжал спокойно и сильно загребать.

— Вот там ноги и заморозил. Болять с тех пор.

Мужик бросил весла и с силой ухватил свои ноги ниже колен, чуть покачавшись, сдавленно спросил:

— И на хрена вы их взрывали?

— А чтоб врагу не оставлять, — просто ответил дед Вася. — Я посла госпиталя в кашевары пошел, самый старый был, с третьего году. До Берлина дошли. Хотели того Хитлера убить, а он в самолет сел да улетел... Давно ты тут работаешь?

— Нет. Здесь подолгу не работают.

Тьма впереди стала гуще, свеча сторела наполовину.

— Ну и как работа тебе? По душе?

— Видал я такую работу, — глухо ответил мужик, со страданием устраивая ноги поудобней.

— Болят, — понял дед Вася. — Вот у нас плотник был в Озерах, вот умел лечить: высеvkами пшенишными парить и угарным маслом-то... Может, встречу здесь — тебя сведу с ним. Я ведь тоже

плотник — нужны тут? Я Турбинстрой в Харькове строил, когда из Сибири подался. Схватил каравай под мышку и бегу. За мной — два в шинелях: «Стой! Хуже будет!» А я им: «Не будет хуже-то!» — дед Вася светлел лицом. — А уж с Германии сразу к себе вернулся. Двадцать метров мануфактуры привез. Всей деревне дома ставил, и гробы тоже я. Одних грамот от правления — шестнадцать, да и рубах надарили, старуха до сих пор девать куда не знает. А тот, кто меня выселял, дюже помирал страшно, не отпускало его за то, что церкву взорвал, и вообще...

Мужик кивнул.

Берег был низкий, бестравный, по нему гулял ветер, на поле бабы копались в пашне, у крохотной пристани прятали подбородки в ворот три неясные фигуры, чуть сгибаясь от ветра.

— Студено, — повторил дед Вася. — Помирать теплей, хых.

Мужик обтер лицо кепкой и еще энергичней загреб к берегу — лодку уже зацепили и подтягивали баграми.

Он сказал, не глядя:

— Ну, дед, давай. Дуй до начальства. Будь здоров.

— И тебе спасибо — доставил, — ответил, приподнимаясь, дед Вася. — Приходи. Может, что сделаю... Табурет там. Или стол. Коли ноги держать будут, смогу хоть плясать...

Мужик оттолкнул веслом пристань и отвернулся совсем.

— Иди сюда, — позвал деда Васю сутулый человек в черной папаше с вышитым желтым крестом. — Давай бумаги.

— А? — сказал дед Вася, задрожав небритым подбородком.

— Паспорт, паспорт, — нетерпеливо пояснили ему из-за спины.

Дед Вася неуклюже достал трепещущую на ветру молитву из кармана, протянул, думая, где же выдал это лицо. Женщина, копавшаяся на пашне приподнялась и смотрела на них, ухватив рукой концы платка.

— Упокой Господи... так... душу, ага — Калашников Василий Максимович. Откуда?

— Озеры.

— Пилипчук, что это за Озеры? — спросил сутулый за спину.

— Да деревня, да и все... Церква там взрватая, — зевнул Пилипчук, закрыв рот ладонью с синим номером на запястье. — Дворов, можа, тридцать.

— Ах, ну раз взрватая — какой разговор, — решил сутулый. — Иди, дед, сюда.

Деда провели влево, покрутили, оставили спиной к куче земли.

— Я не Федор. Я Василь Калашников, — медленно сказал дед Вася и заплакал.

Сутулый сплюнул и поднял черноглазый наган. Ахнул выстрел. Дед Вася прихватил руками горящую грудь и закричал, что есть силы, как зверь, падая вниз, на холодные тела.

На реке выстрел был слышен далеко. Мужик медленно разогнулся в лодке, отняв руки от болевших колен, приподнялся и, дико выматерившись, сиганул в студеную воду.

Лодку потянуло течением вниз — она быстро вросла в темноту, слабо постукивая бортом о льдины, столкнувшись с парой досок, пльвших крестом.

Могила просела дважды — через две недели и весной.

## О СЧАСТЬЕ

Мне всегда неловко отвечать на вопрос: был ли я когда-нибудь счастлив. Всегда хочется припомнить что-нибудь очень значительное и главное, а в голову лезет все какая-то ерунда, о которой и написать неловко. Не потому, что непристойно или что там еще — нет. Неловко — почему только это вспоминается?

Это ведь как альбом с фотографиями — листаешь наугад, а попадаешь в одни и те же места. И вот, кстати, о фотографиях — в альбоме есть одна, которая сохранила для меня крохотное время моего счастья, хотя я его, конечно, не помню, но, глядя на фотографию, верю, что да, так оно и есть.

Я начал ходить своими ногами у бабушки. Мне было всего полмесяца, когда мама уехала со мной из серой и голодной Тульской области на родину — в зеленый и веселый городок на границе с Украиной, где вишни растут прямо на улице, злые собаки на цепях и, когда варится кукуруза — а затевается это дело с самого утра, часов с шести и так почти до самого обеда, — вся хата и двор пропитаны густым волнующим запахом, и уже скулы сводит от предчувствия того, как зубы вопьются в золотую тугую плоть початка и как будет томительно поскрипывать нежно обжигающая соль, предварительно втертая указательным пальцем в канавки между зернами. И вот мы жили там с мамой. Я становился здоровым и толстым, бабушка выбрав момент, когда местный поп забрел в наши края, окрестила меня в компании с тремя другими младенцами, которые вели себя тихо, я зато орал, как гусь перед казнью, вынудив попа свернуть церемонию ввиду явной моей атеистической будущности. Ну да ладно, был я толстый, и носить меня бабушке тяжело, а мама была совсем хрупкая, а папа наш остался в Тульской области, он водил тепловозы и сильно скучал по нас, но здесь было здоровей и сытней, здесь было огромное количество готовых помочь родственников, «родычей», здесь было солнце, вареники с каринкой, гарбузовые семечки, палисадники с золотыми шарами, важные индюки с диковинными полосатыми перьями, крошечный мрак ночей с неясным вздохом ветра в ставнях, здесь были добрые собаки, вечерние посиделки, наша беленькая аккуратная хата — и здесь жил я.

И вот я пошел — это ведь был праздник для всех, тетка побежала к дяде Степе Безземельному, он жил через хату (я его самого не помню, только похороны чуть-чуть — бабушка вела меня поллицы за руку вослед грузовой машине, на которой сидела явно

скучавшая Наташка Дьяконова, внучка дяди Степы, было страшно жарко, я смотрел под ноги на землю, она была вся в длинных трещинах от жары, все давали мне конфеты, а мне их совсем не хотелось есть). И дядя Степа прибежал, хотя нет, пришел, наверное, с фотоаппаратом и сохранил мое счастье на память — это было в садке, у нас во дворе было озеро, а за ним садок: вишни, сливы, яблоня и груша, крыжовник, клубника — я стоял перед кустом смородины, слева от меня присела на корточки моя милая мама, совсем молодая и веселая, с очень черными волосами и кудрявая, и она улыбалась и хлопала в ладоши, а я стоял почему-то белобрысый, с длинным, зачесанным набок чубом на большой круглой голове, в белой рубашечке, рукава которой едва сходились на сахарных полных локотках. На мне были коричневые короткие штанишки, явно за мгновение до съемок натянутые повыше на тугой живот, и на пухлых коленях видны были неглубокие нежные складки кожи, а правую руку я задираю к уху, будто плясал, — ведь мама хлопала и улыбалась доверчиво и беззащитно, наморщившись так, что ни за что не определить, что за глаза у нее были тогда.

Тогда был наверняка светлый день, трава была густая и высокая, воздух пах смородиной и легко скрежетал от стрекозиных крыл, мама говорила: «Сынок», а из-за озера с крыльца хаты, смотрела бабушка на своего белоголового внука, у которого белая чистая рубашечка, и плакала, потому что помнила, как дочь ее в шесть лет ела только макуху — жмых, оставшийся от переработки семечек, и кто же знал, что не будет когда-нибудь войны, и что будет у нее внук, и назовут его в честь бабушки, и пусть жизнь его будет светлой, как этот день — а за озером громко смеялась моя мама и хлопала в ладоши, дядя Степа, который умрет, показывал птичку, припадая на хроющую ногу, и склонялся к аппарату, и взлетали с вишни скворцы, когда на станции гудел паровоз...

У меня вообще дурная манера — улыбаться на фотографиях, и все как-то ехидно или лукаво, один раз только вышло честно и жалко. Тогда.

А как-то раз мама плакала на кухне вечером — хату продали на слом, а я спокойно смеялся и аккуратно объяснял: хата уже старая, ставил ее еще дед перед войной, которая его и забрала в свои неизвестные объятия, в бомбежку жакнуло в огород — матица прогнулась, мазаться каждую весну у бабушки сил нет, мы приезжаем не так часто, чего жалеть, если есть возможность получить квартиру с телефоном — и за водой не надо ходить, и к поликлинике поближе — ну почему нет. А мама плакала, несмотря на письмо от тетки, лежащее перед ней.

Хозяева новые были крепкие — на месте хаты поставили кирпичный дом, а потом приехало восемь грузовиков с черноземом — засыпали озеро, и подсыпали грунт на месте вырубленного садка, он ведь был старый, этот садок, запущенный, заросший, там еще

на вишнях выступала твердая смола чайного цвета — так вот если ее пожевать... А вообще странно, я вот думаю иногда — вряд ли я все время ходил тогда в той белой рубашке, это меня, наверное, специально принарядили, а потом уже сфотографировали, да?

Ну так вот, а если еще чего вспоминать про счастье, про то, которое осознано лично, а не по рассказам и фотографиям, от которого стучало сердце в вообще, то обычно вспоминается мне девочка из моей школы. У меня даже нет ее фотографии. Дарить фотографии — это к разлуке. И она помнится мне, если честно, уже смутно — просто распущенные каштановые волосы, пушистые и мягкие, детские тонкие губы, глаза с тревожным беглым блеском в глубине и все... нет, вот еще синий свитер с белыми оленями — она, может, редко его и надевала, а мне почему-то свитер этот запомнился больше всего. Я даже теперь иногда вижу людей в таких свитерах, в далеких городах, где меня никто не знает, — и замираю, будто пронеслась над головой быстрая птица из времени давнего, пронеслась вперед, туда, где не будут ходить уже в таких свитерах — не век же их промышленности выпускать, — и останется мне только на память месяц апрель да синий вечерний двор, где каждый шаг томительно сладок, где пахнет тополиными почками, а на лужах еще блестящий ледок, и таинственно желтым и зеленым мерцают настольные лампы за теплым уютом штор и занавесок, и березы тянут к острым звездам трепетные кончики черных веток.

Мне было в ту апрельскую пору шестнадцать лет — я ходил по школе надутый важностью и мраком, как полагалось ходить редактору скандально известной стенной газеты. И вот мне понравилась одна девочка, которая была классом младше. Красивая, как мне тогда казалось, без всякой меры, короче, я на нее посматривал, и сердце уж очень билось, когда проходил мимо, и краснел, наверное. Даже точно — краснел. Все дело в том, что мне сказали, будто эта девочка читает мою гремящую газету и мной однажды интересовалась. Поэтому я стал плохо засыпать по ночам.

И как-то раз шел я по школьному коридору — как-то особенно злой и исполненный тяжелой участи местного пророка, и прямо из 23-го кабинета — лоб в лоб — вышла она. И мы ткнулись друг-в друга глазами.

Она, видно, говорила кому-то весело и оглянулась на меня с угасающей улыбкой или просто мне лукаво улыбалась — кто ж теперь разберет? И глаза у нее, как выяснилось потом, зеленые. Но вот тогда было солнце, и я увидел эти глаза огромными и сиренывыми, будто сотни капелек дрожали вокруг маняще скорбных колдовцев зрачков.

И я обогнул ее с неизменно свирепым взором, отправился дальше — но совсем, совсем другой: что-то теплое, волнующее засело в груди, вот и сейчас... Я бы так сказал: уверенное ожида-



ние счастья. Что-то будет. Обязательно. Будто чувствуешь мучительные пути судьбы на плечах и понимаешь — ты вышел на свою тропу.

Я ходил, не боясь потерять, я крепко был уверен — что-то произойдет.

И когда я сейчас иду школьным коридором, чужой и ненужный, сам себе удивляясь — чего я ищу, я останавливаюсь у рыжей поляны света, разлитой через окна, в вижу, как и прежде, мимолетную улыбку тонких губ, и совсем прозрачные, до сиреневых капелек, глаза, и время лижет мою душу — тоскливо и быстро. В школе я чужой, и она мне чужая, переделанная напроць, только вот этот, перешедший мне жизнь, коридор, желтые квадратики света, расчерченные тенями, и глаза... Звериная, неясная тоска возвращенного времени, поры белых листов и первых страниц.

И еще о счастье: девочка познакомила меня с собой на дискотеке. Я страшно робел, переминался с ноги на ногу, очень пытался сказать что-нибудь умное, а выходило все как-то не так, на щеках моих багровела кровь, и как только ее воздушная прядь касалась моей щеки — я трясся, как громоотвод, терзаемый грозовым разрядом в глухую ночь бабьего лета. Я дышал ее негромкими духами и думал — Господи, куда мне до такой красавицы. Ну это ладно, это было как-то не счастье.

Но вот на следующий день я опять был в школе по забытым уже делам. И, знаете, остановился у доски объявлений, где помещался план мероприятий на весенние каникулы. Прочитал строчку и — вздрогнул. Что такое? Пахло ее духами!

Я, словно собака, стал лихорадочно нюхать воздух, боясь до смерти ошибиться или — о ужас! — потерять этот чудесный запах, знак волнующих перемен и новых дорог. И так я стоял, дышал своим счастьем и блаженно улыбался, уверенно и спокойно. Тогда мне было шестнадцать лет. Был апрель. И как вторую обувь в школу мы носили домашние тапочки. А у нее был синий свитер с белыми оленями, хотя, конечно, были и другие вещи, даже сейчас помню серое пальто в клетку, короткие сапожки, красный шарф с черными полосами и круглыми пушистыми штуковинами, и почему мне так запомнился этот свитер?

У меня не осталось ее фотографии — мы расстались и без этого. Через семь дней.

Вечером сидели на лавочке под сиренью — я боялся ее серьезного лица, спокойствия и рассудительности. Неожиданный вопрос: «А ты умеешь целоваться»? Я не знал, что это называется так — взрослость. Когда она даже случайно касалась меня, я немедленно вздрагивал, и так заметно, что она не выдерживала и раздраженно улыбалась.

И она сказала, что вот совсем недавно дружила с одним мальчиком, а потом рассталась — у нее даже слезы дрожаще засияли на глазах, сдавив мое горло, — ну и вот она хотела, вернее, дума-

ла, что я смогу его заменить — тоже ведь фигура в школе заметная. Она говорила, поясняла, глядела на песочную кучу, а у меня во рту стало так сухо, как было только раз до этого — в детском саду, когда я долго пересыпал песок в ведерке, а потом вдруг поверил, что это вода, и глотнул.

Она пошла в свой подъезд, я знал, что не обернется, у нее не было такой привычки — пусть уж ей в спину поглядят, а я стоял посреди апреля один, перемальвая в мозгу трамвайное бухание крови, пьянящие волны ветра, витражные осколки неба в переплетении веток, всплески голосов и шарканье шагов, ошалелые перелеты воробьев, менует пылинок в шпажных уколах солнечных лучей и ощущая все свое молодое тело огромной державой, вселенной непознаваемой и безбрежной, летящей в непознаваемости и безбрежности, захлебываясь собой... Я, который — я, я и — ничего?

Тут я сделал первую большую глупость: бросил все и уехал опять в крохотный городок на границу с Украиной, к бабушке и тетке, к многочисленным «родычам» — учиться ходить

Сначала я думал — вернусь на коне, спал по шесть часов, учился по пять часов после работы, не смотрел кино, не выходил из дома, читал чужую мудрость, изнуряя себя учебниками и длинными утренними кроссами. Бабушка только вздыхала: «Хоть бы нашлась какая вертихвостка, чтоб закрутила тебе мозги, что ты сидишь, как старик?» Тетка случайно приводила в гости стеснительных девочек, деланно смеялась, все это было мимолетно — мимо летно, но прошел год, и я устал от тяжелой головы, от собственной глупости и беспредельности всего. Я стал смотреть, как живут здесь люди, и учиться жить так же — просто, весело: петь веселые песни за столом, колядовать на праздники, поливать прохожих водой на Ивана Купала, пить, копать землю, думать о собственном доме, ездить на рыбалку, есть шашлыки у костра, жениться по рекомендации, посиживать на лавочке с девочкой, с товарищами за домино, потом — со стариками, умереть во сне, тихо и просто, лечь в землю под шелковицей, от которой губы черны, дождь потом смоем краску с венка, зато вымоет до хрустального блеска пол-литровую баночку с осыпавшимися ромашками и размочит карамельки в желтой обертке — и у меня стало все получаться.

Как только я перестал готовиться к поступлению — я поступил в университет, бросил учиться — стал отличником, перестал интересоваться девочками — они стали интересоваться мной, перестал волноваться за работу — она стала получаться. Оказывается, чтобы что-то иметь надо от этого отказаться.

И я жил и живу спокойно, поняв, что многого не надо, и вообще человеку надо мало — сытно есть, спокойно спать, идти, куда хочется. О ней я мало думал — мне все равно, жива она или нет и какой у нее муж. Когда я приезжал в свой родной город, я понял, что многое уже ушло — я не узнавал людей, которые мне кивали

на улице, я растерянно улыбался — этот город меня не любил, и я его не помню.

Она окликнула меня на улице по имени — я шел небритый, обходя весенние лужи, кусал творожную ватрушку, таким она меня и увидела, и узнала. А я увидел симпатичную женщину в толстой шубе, с накрашенными губами откровенно лилового оттенка, старательно улыбающуюся. Мы сбивчиво заговорили про школу, про время, про то, как быстро мы из паршивых овец становимся золотыми рыбками, про то, где я учусь и что про меня говорят, я тер ладонью щетину, держа в руке ватрушку, это было дико — она говорила слова тому, кто стоял за моей спиной, я говорил той, кто стоял за ней. Наши собеседники были за стеной времени, могильными курганами и общались через переводчиков. И чувство у меня было такое, как при виде поезда: вот сейчас он уедет, но двери открыты. Странно, в детстве все перемены кажутся к лучшему. Все-все. Перестук колес всегда праздничен. На поезде не хоронят, верно? Тогда, тогда мне так казалось, когда приезжал я к своей бабушке и первым делом приходил в садок, под куст смородины, и камыши качались на озере, и скрежетали грустно и долго.

— Ты приходи в гости сегодня. У меня сегодня шанежки. Часов в шесть. Ага? Квартиру помнишь?

Я иногда поражаюсь своей памяти — я помнил и квартиру, и каждый день и каждое слово.

— А ты совсем не изменилась — это было правдой. Но в этом случае правда была, как гнилой орех. Внешне — да, внутри — и скудно, и больно.

В пять я оделся, вышел из дома, зашел на рынок, купил гвоздик, и ходил по городу, взбудораженному апрелем, видел людей, магазины и машины, и забрел под конец в березовую рощу, но так и не вошел в нее — березы стояли по колено в воде, тяжелой холодной воде, еще помнящей зиму, и весна испуганно гляделась в этот замерший зеркальный мир, я стоял перед деревьями с кроваво-морщинистым букетом и пытался услышать музыку внутри себя, а ничего внутри не было — пусто.

Маме понравились гвоздики.

Мне было так жалко девочку в синем свитере с белыми оленями. Мне было так жалко ее убивать. Что тогда останется мне?

И еще в думаю, куда это только все уходит?

Какие дела и дни отучают вас плакать, какие люди открывают нам глаза на этот не очень, выходит, белый свет, закрывая что-то непонятное, но святое и честное? Почему это я вдруг перестал слышать свое сердце — а слышу его только в кабинете у врача, после того как он приложит к груди железячку и скажет: «Не дышите». Почему теперь так стало вдруг невозможно дышать и слышать свое сердце? Какой пожар выжиг изнутри весь твой дом, а ты все шагаешь и медленно, и все хочешь найти то окно, из которого был виден тот зеленый сад. И почему теперь можешь

рассказать то, о чем раньше только думал, и светлее было от этого, и легче идти.

Как же так, братец?

Мне кажется, что когда я умру... И потом умрет земля... И то, что было мной, станет розовой капелькой в ореоле исполинской звезды, горсткой пыли в хвосте кометы, совсем ничем, мне кажется, этому ничему порой будет очень странно, ему вдруг покажется, что космос чуть-чуть качнулся, и время стало ощутимо — оно не будет знать, что это называется грусть, и слабым мерцанием, вздрагиванием плоти затягивающейся раны до него будут с непонятным упорством доходить странные, не запоминающиеся, ненужные виденья: душный мир лиственного леса после дождя, сверканье чистых листьев под солнечным водопадом, когда тишина и только ветер, когда врывается звук, настойчиво-ноюще-железный стук крови огромного поезда, и снова ветер, и неясные птицы, и девочка в синем свитере с белыми узорами будет идти, отводя ветви от лица, лишь раз обернувшись мучительным, горьким взором, и будет идти, оставляя в траве измятый след, раздавленную кровавую клубнику, разбив стеклянную баночку с ромашками, и будет твердая сырая земля, и мир будет качаться под белыми толстыми ногами маленького мальчика в белой рубашонке с короткими рукавами и круглой большой головой и ясной, доверчивой, открытой этому дикому миру улыбкой, и больно хлестнет-достанет страшно забытый голос: «Сынок!», и капельке света в ореоле громадной звезды, и горстке песка в хвосте лохматой кометы, и ничему — будет как-то странно и неудобно в их вечном движении, и то, что называлось тоской, будет с ними, и этого будет так много, что все вокруг — все это будет тоска. Бесконечная, неизбывная.

И вот на вопрос, был ли я счастлив, я всегда стараюсь припомнить что-то очень весомое и значительное, а мне в голову лезет какая-то ерунда.

## ПРО ЕЛКУ

В то время Костин работал на энергоучастке электромонтером, жена его была студентка-медик — она мечтала выучить мужа играть в большой теннис, ее звали Алиса, они снимали квартиру уже третий год.

— Алиска, ну ты знаешь, — говорил Костин жене на кухне, — скоро Новый год, да, праздник... А не чувствуется. Вот как оглох. А пацаном — как ждал! Сколько всего: День пионерии, Первомай, Победа — уже три. А День юмора! Женский! А сейчас — все мимо. Рядом проходит. Видишь — вот он. А как-то мимо, не для тебя. Как не живешь, тут.

— Потому, что елку никогда не ставим, — отметила Алиса. Она готовилась к сессии и учила даже на кухне, отчеркивая в тетрадке.

После работы Костин быстро пошagal мимо разукрашенных киосков, под арочные гирлянды, вдоль зеленых указующих стрелок — на елочный базар.

Елки навалили кучами, стогами, кучка искателей раскапывала, ворошила, поочередно ставила на снег претенденток, расправляла ветви и крутила на все стороны. Выбравшие мерзли, дожидаясь обмера и расплаты. Низенькая в глубоких валенках девица мотала шпагат для обвязки, бубнила из-под вязаной шапки:

— Три метра, по три метра...

Под забором, брошенные навзничь, упали рядом окончательно выброшенные елки с худыми голыми стволами, свежеизраненной корой, ломаными ветвями.

Костин полез в самую гущу, по пояс, вытаскивая елку за елкой, встряхивал их в кулаке: вроде ничего, и эта, а вежливая бабуля с санками молчала за его спиной, ожидая, когда Костин выберет лучшую из трех хороших, а оставшиеся перейдут в ее руки.

— Во, — показал ей Костин две. — Свяжу-ка я две, да?

Елки были коротковатые, верхушки у них торчали в разные стороны, как тараканьи усы — ветки густели на одну только сторону, но стиснутые вместе, они срастались в дремучее зеленоваточерное облако с тихим снежным запахом леса.

— Да, — подтвердила бабулька, подхватив отвергнутую Костиным, — сестрички. А вон те, как детдом — никто не взял, эх-хэх-хэх...

Костин глянул на брошенных под забором — на них наметало снег, уже темнело. На ограде замигали лампочки. Костин полез за деньгами, бабулька оказалась в очереди перед ним.

— Три метра, — пробубнила девушка, отпускающая шпагат.

У Костина было два часа — Алиса занималась в библиотеке.

Он перевернул кухонный табурет, втиснул между ножек ведро с водой и развязал пленниц, озабоченно насупясь.

Елки испуганно жались в угол, отклонившись друг от друга, выставив вперед безобразно помятые веревкой ветви.

— Так, — Костин увернулся от злых веток и сунул руки к стволам — схватил, сжал и стал прихватывать их полосками бинта, притирая изгиб, к изгибу, сращивая в единый ствол, ветки похлестывали его по лицу, кололи иглами и он терпел, кряхтел, затягивая узлы, отдувался в сторону, приговаривая:

— Я тебе... Я тебе...

Связав как следует, он отступил и осмотрел внешний вид, сдерживая руками непокорные ветви.

Елка стала кряжистой и пушистой, только развернутые друг от друга верхушки портили общее впечатление.

— Я их звездой, — догадался Костин. — Союз нерушимый.

Елка забилась из последних сил, когда Костин стал совать ее в воду, в ведро, ветки тыкались куда побольней, роняли острые слезы иголок за шиворот, елка качалась, стряхивала с себя грязь-

ный снег, марала руки смолой, а к смоле липла грязь, Костин рычал:

— Ну а ты как думала?! — и набивал в ведро, вокруг ерзающего ствола пустые бутылки, зажимая елку покрепче, обматывая ствол веревками, и тянул их крест-накрест к ножкам табуретки, а елка снова сползала на бок, проворачивалась вокруг, раскачивала и ослабляла пути, раздвигала бутылки, подтягивалась вверх — он даже треснул ее ребром ладони для остротки пару раз, елозил вокруг по полу пока не намокли штаны — вода натекла, худое ведро и пришлось тянуть новое ведро, пластмассовое из ванны и распутывать все веревки.

Он долго вытряхивал рубашку, старательно дул на расцарапанные ладони, снимал иголки с мокрых носков, соскребывал с пальцев смолу.

— Тварь, — сказал он елке, — тварь, — и обвязал внизу табурет цветастыми покрывалами с кухонных стульев, чтобы не было видно ведра.

С силой нахлобучил на непокорные верхушки красную звезду.

Отошел глянуть со стороны — елка непривычно ново стояла, чуть приседая в прежнем углу комнаты, немножко напряженно, но красиво расставив ветви, пряча грубо перебинтованные места и стянутый веревками ствол.

— Ой, елочка! — ахнула Алиса. — Ах, какая она красавица-а!

Она ходила вокруг елки, трогала, покачивала зеленые ветви, приседала, вдыхала запах: ах, какой.

— Мы — будем спать. А она — она будет смотреть на нас, — приговаривала Алиса, расстилая постель. — Только грустная она какая-то у нас. Печальная.

— Еще бы, — ответил сонно Костин, вздохнул и посмотрел на елку — елка стояла ровно, широко расставив ветви. — Веселиться нечего.

Алиса крепко поцеловала Костина на ночь, попутно оттянула его нижнюю губу и прошептала;

— Здесь часто бывают везикулы.

У нее завтра был экзамен по кожно-венерическим болезням.

Уходя утром, она приказала Костину:

— Елке воды доливай, а то нападает иголок.

Он приходил с работы, садился напротив, разглядывал елку и улыбался. И как-то протянул:

— А бедная наша елка.

— Что ты? Елка? Почему? — Алиса бросила телефон: у всех было занято.

— На Новый год едем к моим. Елка три дня без воды. На праздник — одна. А у всех елок будет праздник. Рубили ведь для этого! И ее. Зачем тогда рубить? А она одна. Все зря.

— Ты это знал, когда покупал. И это была твоя затея — ехать к твоим. Ты ведь никогда меня не слушаешь.

— Ладно, — успокоил елку Костин. — Зато старый Новый год — вместе.

Елку обрядили перед отъездом — она еще шире расставила свои веточки, отягощенные розовыми и желтыми шарами, облитые сверкающим дождем, осыпанные клочками ваты. Она как-то обмякла, нарядившись — отдалась празднику.

Костин смотрел на свое дебильное отражение в пузатом шаре. Потом ему показалось, что елка тоже смотрит на него.

— Да мы ж приедем! — сказал Костин.

В новогоднюю ночь сидели тоскливо. Родители Костина меняли тарелки, скованные лучшими нарядами, говорили только шепотом, боязливо вскидывая глаза на невестку-москвичку, робко чокались. Алиса пристально смотрела в телевизор, поглаживая языком верхнюю губу.

Костин громко разговаривал:

— Я сам елку поставил, нет, вы поняли? Первый раз ставим. Да нет, я в ведро, в воду — чтоб постояла. Две взял — в одну связал. Теперь каждый год, вот так...

И вздыхал. Потом ушел на кухню, немного выпил. В окнах соседнего дома гирляндами разноцветных лампочек мерцали елки колючей зеленью. Костин вспоминал свою: в черной тьме пустого угла на восьмом этаже. Пьяные компании, сцепившись шеренгами, качались по студенным улицам и пели.

Неслышными шагами на кухню прошли родители и, переговариваясь украдкой, стали мыть посуду. Отец молча пожал Костину руку.

У Алисы телевизор влажно отсвечивался в глазах. Они пошли звонить на межгород: поздравить ее родителей. Молчали до самого телефона, было холодно и темно.

Алиса закончила говорить, Костин попросил трубку и прокричал:

— Аркадий Иванович! Дорогого тестя! И тещу, в такой день и от всего сердца! И самого чтобы самого! Мы с вами, счастья, ага! Звоните нам домой, привет елке, чтоб ждала! Ура-а!

— Глупо как, — раздраженно бросила Алиса, они вышли на улицу, переступив через ноги дремлющих на переговорном пункте милиционеров. — Папа подумает, что ты опять пьяный.

Они застряли на целую неделю — болела бабушка Костина, и все боялись, что вот-вот, потом наладилось.

Елка за эти дни выпила почти всю воду, но стояла такая же нарядная и даже довольная, хотя чуть-чуть и обессиленная, разлапистая, напитав все вокруг своим хвойным запахом.

— Дождалась, — радовался ей и Костин, выливая в ведро банку воды, вода пузырилась и пенилась. — Потерпела. Не обижайся, бабушка у меня. Отпразднуем.

Он осматривал ее — не надо ли что-то сделать еще и все казалось, что будто что-то изменилось в ней за эти дни, вот что-то.

А жене он сказал вечером:

— Видишь? Опять — как не было ничего. Вот только елка... Что за черт? Уехать бы нам куда?!

— А какой тебе еще нужен праздник? — неприятно улыбнулась Алиса. — Нормально так посидели. Чего еще? Ты, кажется, сам так хотел. Куда уехать — а мой институт? Мои не переживут. У тебя же семья!

— Вот когда я в лагерь ездил — прыгал с парашютной вышки. Так боялся, но прыгнул. Потом целый час ходил — будто летал. И такого вот никогда потом не было — совсем.

— Никогда? — переспросила Алиса. — А когда ты меня поцеловал!

— Это ты меня поцеловала.

Алиса надулась и вечером звонила подругам и жаловалась, что они совсем перестали встречаться и куда-то ходить и надо просто как-нибудь собраться и посидеть. Порой она говорила шепотом.

Костин подвинул кресло совсем к елке, бережно поглаживал иголки, расправлял и дышал, в себя, внутрь. Он где-то прочитал, что аромат хвои успокаивает.

Перед сном Алиса предупредила:

— Что-то я так вымоталась за последнее время. Ты совсем этого не видишь и вовсе не ценишь. Ладно, это потом. Давай спать.

Костин зло отмолчался, долго не спал, видел черный, ночной силуэт медленно умирающей елочки, представлял, как хорошо было бы в лесу. В голову лезла еще какая-то грудастая, прежняя подруга, но он ее отпихивал.

Проснувшись, Алиса попросила его:

— Убери елку сегодня. Если б ты знал — как я устала подметать! Ты даже не видишь этого!

Костин обернулся к елке — звезда на верхушке была развернута немного в сторону, будто елка делала вид, что не слушает, а на самом деле не пропускает ни звука, подавшись в напряжении вперед. Костин зажмурился, чтобы вытеснить это из головы, прошел за Алисой в коридор — она уже собиралась, и медленно сказал:

— Мы ж хотели встречать старый Новый год. Пусть уж достоит.

— Да? А разве на старый Новый год мы не поедем к моим? Ты их никогда за людей не считал! Ты вообще последнее время...

— Не ори.

— Не смей кричать на меня, понял? Ты понял?! Это мои снимают эту квартиру, все это! И что бы ты без этого, нет, ты не отворачивайся, стой тут, что молчишь?

— Жду, когда ты заткнешься, поняла?

— Что-о? Нет, теперь уж ты точно не уходи, стой, я же не отпущу тебя. Я уж теперь скажу, да ты хоть знаешь, ты, ты... Как мне противна твоя морда, каждый день... Это я, я, дура, взяла вот это самое дерьмо, вот это все, что у меня будет, каждый день,



человек, не умеющий даже двух слов связать, теперь-то я понимаю...

— Закрой свой рот!

— А?! Ты ударить меня хотел, да? Ну вдарь, но помни — тогда уже кончится все, ты понял — все. И так уже будет, но тогда уже все. Ты должен понять свое место, слизняк!

— Дура, тварь, пусти!

Тут Алиса не выдержала, размахнулась и смазала Костина по лицу. Костин с силой отпихнул ее, и Алиса приложила подбородком к вешалке и сильно закричала и сразу побежала за ним в комнату, ударила в спину кулаками, вывалила его вещи из шкафа, забегала: где же чемодан. Соседи забили по трубе чем-то железным.

Алиса, громко плача, позвонила домой, сжимала пальцами ломивший подбородок и опять стала кричать, кто он такой, и она, все, что ей куплено — это родители, у нее — один полущубок, за сапоги — уже стыдно, подожди, сейчас еще приедет мама — Господи, она все же предвидела, она предупреждала, а он, что он, она не домашнее животное — ему, безнадежному дураку, этого не понять, уже никогда, все, хватит уже, ничтожество, бездарность, тупость, и он руку на нее поднял — больше он ничего не может.

Костин пошел на кухню за ножом, Алиса задохнулась, потом бросилась на него — он отрезал оба рукава у ее полущубка на вешалке, толкнул ее в сторону и порезал до подошв оба австрийских сапога. Алиса рыдала, покачиваясь на полу, кидала в него предметами, вспоминала цены, маму, милицию, тюрьмы, суды. Приехала теща. Костин сказал ей у порога, что она — жирная собака, и что теперь она может забрать свою тварь отсюда. Теща покусала губы, покраснелась и выматерилась.

Костин ушел на работу.

— Опя-ать. Как не совестно. Нету совести совсем, — встретили и проводили его хором старушки, скопившиеся у подъезда. — Разве можно так кричать? Тут люди кругом больные живут.

— Я тут всех вылечу, — пообещал Костин. — Вылечу.

На работе Костина позвали сразу к главному инженеру. Его секретарша поставила локоть на машинку и отметила:

— Что заморенный-то? Некогда студентке готовить?

Всем было очень любопытно, что жена у Костина студентка, и красивая, а он даже не учится на заочном.

Главный инженер как бы просил:

— Давай-ка ты слетай в Баку. Редукторы так нужны. Утром — там, вечером — обратно. Я, ты знаешь, зря не прошу. Ты спокойный, надежный парень, прилетишь — отгуляешь.

В Баку была плюсовая температура. У причала стоял белый широкий корабль, на синей рубашке неба зависла недвижимым крестиком чайка. На площади шли демонстрации под зелеными знаменами.

Редукторов что-то нигде не было, и билетов обратно тоже.

Костин просиживал дни на лавочке у моря и смотрел на волны, на чаек, на вечнозеленые пальмы и кусты с колючими ветвями — здесь было хорошо и пахло теплом, хотя он никак не мог понять, что он — здесь.

— Ну сволочь я! — кричал он в Москву, набрав по коду. — Я ночей не сплю, ну ладно, давай не будем, а? Я понимаю. Во всем виноват, извинись перед мамой, стыдно, конечно. Я приеду сам все скажу, билетов просто нету. Не успею на старый Новый год. Ты поливай елку.

— Я пока останусь у родителей, — отвечала ему Алиса из очень далекой Москвы, ей было трудно говорить: рентген показал трещину на челюсти. — Не знаю, не знаю, что тебе теперь сказать. Просто не знаю. Я думаю про нашу жизнь. Трудно что-то решить. Ездить, чтобы елку поливать, я не буду. Мама тут твоя мне звонила...

Костин все пытался взять билеты на концерт или в цирк, искал в парке парашютную вышку. Он стал задумываться за столиком в кафе. И потом не мог понять, о чем он думал. Каждое утро он ходил продлевать оплату.

— Что так от нас уехать хотите? — улыбалась ему бухгалтер.

— Да я не хочу, — честно ответил Костин.

Еще он представлял себе то, как люди тонут в море, вот уже совсем все — а потом их вдруг спасают, и они открывают глаза. Что же они при этом должны чувствовать, что же при этом внутри чувствуется?

— Все читаешь? — повторяла ему, как заведенная, уборщица с сильно накрашенным лицом. — Все газеты.

Она убирала номер подолгу, старательно поправляя шторы у окна, часто наклоняясь в просвечивающемся халате. Костин тупо смотрел в газету — он бы убил тех людей, которые так пишут.

На пятый день уборщица подменяла дежурную по этажу. Костин, когда увидел ее вечером за столиком на этаже, ушел от телевизора в холле в свою комнату и сидел, сторбившись. Море за окнами тихое — совсем не слышно.

Спустилась ночь, во мраке только витиевато гудели машины да мeneaл цифры времени ставший незримым маяк.

Она постучалась, вошла и сказала:

— У меня тут выпить есть. Составь компанию. А?

И улыбнулась.

Потом призналась ему:

— Я думала ты больной какой-то. Сидишь, как... Ну а сейчас, чего хмурый?

Он смотрел ей в спину, когда она ушла утром. Долго не мог заставить себя встать и с недоумением смотрел на мятые, изломанные простыни, не шевелясь совершенно.

Днем пришла новая уборщица — смуглая грязная старуха, сказала:

— Вы не уходите, нет? Я тогда не буду — ага?

Назавтра повезло — сдали один билет.

— Купите гвэздик, — советовала ему соседка по очереди на регистрацию. — Здесь подешевле.

Костин не понял, что она сказала. Все время оглядывался на нее — ничего больше не скажет?

— Что такое? Плохо вам, пассажир? — склонилась к его уху стюардесса.

Костин спохватился и утер с лица две слезы, немного поерзал в кресле, огляделся на безмолвных соседей и стал пытаться заснуть.

В доме стояла вкрадчивая тишина. Квартира была залита прозрачной зимней ясностью. Костин подождал в коридоре и шагнул в комнату.

Подсвеченная холодным законным светом подоконников, заваленных снегом, елка слепо торчала в стороны порыжевшими, оголенными ветвями, чуть скособочившись в пустом, сухом ведре, стоящем посреди ковра светлых павших иголок, местами смешанных с клочками ваты. В стеклянных полых шарах отражались чистые январские блики. В батареях отдаленно перемещалась, журча, вода.

Костин провел рукой по мертвым жестким иголкам, рыхлил их пальцами, чертил непонятные знаки. Неосторожно задел ведро, и сверху на голову посыпались еще, невесомым бесплотным дождиком, западали, накрыли.

Он провел ладонью по волосам, выбирая тонкие коготочки иголок — они уже не кололи. Встал и легко дотронулся до ветки — елка, исхудавшая, дрожащая, кривобокая, стояла, не видя, будто ослепла, будто опаленная.

— Это я, — сказал он ей. — Это — я.

Он наполнил опять ведро водой, до краев, и позвонил жене.

— Я приехал, — сообщил он ей.

— Ну, очень хорошо, — ответила Алиса.

Она приехала быстро, в незнакомом платье, прошествовала на кухню и указала на стул:

— Садись.

Он сел.

— Так, — вздохнула она. — Начнем наши переговоры. Подвинь стул вот так.

Он пересел напротив.

— Костин, жить мы с тобой пока не можем. Я посоветовалась со своими родителями. Высказала все твоим. Если ты не хочешь меня потерять... Если ты хочешь жить со мной... — голос ее прозвенел, она потрогала челюсть, — то ты теперь должен по другому все. Ты должен мне во всем помогать. Во всем. Мою я посуду — ты, будь добр — вытирай. Рубашки тоже можешь себе постирать, когда я загружена по учебе. Если мне рано вставать — и завтрак можешь себе сделать сам, картошки пожарить. Это хоть ты сможешь? — под столом Алиса загибала пальцы. — И еще.

Основное: ты что, всю жизнь так и собираешься? Мне этого не надо. Думай, как по-другому жить. Иди учишься заочно, товарищей себе умных заведи, читай, список я напишу. Мне человек нужен. Пока я не могу связывать с тобой свое будущее. Я не говорю уж о детях. А время идет. Рожать первого лучше до двадцати пяти. Если ты не хочешь меня терять... И сегодня же, чтоб убрал отсюда елку. Мне трудно и так остаться... Я могу прямо сейчас уехать.

Жена у Костина была не просто красивая. Она еще всегда очень необычно одевалась — она на улице всегда была яркая-яркая, за ней хотелось идти. Костину все завидовали.

— Ты прости меня, пожалуйста, — сказал жене Костин.

— Этого мало. Думай. Решай.

Она поднялась и пошла снимать с елки игрушки.

По телевизору вечером показывали кино. Алиса смотрела его с дивана, сосредоточенно грызя семечки.

Костин неподвижно сидел в кресле под раздетой елкой. После программы «Время» он спустился за газетами, в подъезде по ногам поддувало. Прочитал газеты и переоделся в коридоре в черную рабочую спецовку. Набрал старых газет и застелил ими пол вокруг елки. Потом проложил дорожку из газет к дверям, будто собирался поджигать.

Алиса догрызла семечки и ушла в ванную — мыться.

— Ну вот, — сказал Костин.

Он твердо просунул руку к тонкой елочной шее, прихваченной белым бинтиком и дернул елку вверх.

Она вздрогнула, качнула всеми ветвями, отряхнув вниз горсти иголок, как трясина, но устояла.

Костин потащил елку влево, вправо, закрутил ею, закачал, стены будто двинулись вокруг него соразмерно движениям, ветки отхлестывали его по лицу, шее, рукам, иголки бешено сыпались за шиворот, сухим дождем барабанили по газете, елка держалась, стояла. И он понял, что вынесет ее почти скелетом и схватил ножницы со стола и прыгающими руками кромсал одну за одной веревки, удерживающие ствол у основания, с радостным остервенением чувствуя, как уходит с каждым надрезом устойчивость от ствола, как теряют упругость и провисают соседние веревки и все громче скрипят бутылки, сжимающие ствол, он был нетерпелив и дергал елку снова и снова, проверял, но она еще держалась и брызгала на ноги теплой пахучей водой из ведра, ему тяжело дышалось у этого черного ведра, согнувшись в три погибели, и он вскочил на ноги, разогнулся и с победным рыком потащил елку, что есть сил, к потолку и — вырвал ее, поднял, отвернувшись — чтоб не видеть, а в ведро брызнула вода со ствола, стекала, — шея и руки Костина жгли нестерпимо, распаленные потом.

— Ну вот, — выдохнул Костин. — Теперь пойдем.

Он понес ее, осторожно отстранив от себя, а она все цеплялась за книжные полки, кресла, диван, стены, сеяла везде игол-

ки, разбрасывала их на память, на долгую и вдруг с решительной страстной силой единственной надежды застряла в дверях, пошире расставив сильные, упругие ветви слева и справа, чуть прогибаясь, но все же не проталкиваясь вперед, хоть и похрустывая от боли.

Костин толкал ее, продвигал со всех сторон, а потом злобно заломил назад левую ветвь, хрустнувшую суховатым изломом и потащил ее, сразу обмякшую, сдавшуюся, в коридор, пронес к лифту и кинул свободно в его распахнувшийся зев.

В лифте елка сразу завалилась в угол, смертно побледнев в тусклом свечении лампы.

Костин изможденно прислонился к стене и косился на елку, пытаясь встретиться взглядом.

— А-а, ты как думала, — подмигивал он ей, шумно выдыхая никак не ослабевающую тяжесть в груди.

Две елочные верхушки, привыкшие быть рядом в красной звезде и теперь жались друг к другу, непонятно для чего показывая покорность и выучку.

— Ну, чего это... — заметил это Костин. — Теперь можно и так. Это не поможет.

Он выволок елку из подъезда и пошел сразу прямо, опираясь на нее, как на посох, осматриваясь по сторонам.

Дворы были пусты, туманно синели деревья с редкой сединой берез с черными подмышками и набухающими комками забытых гнезд, безжизненно пластались тропинки с неровной каймой оступившихся ног, гнулись к земле змеинные шеи кустарников. Торопливым призрачным занавесом стремились к земле комки легкого снега. Костин бесцельно шел, отмечая шаги постукиванием молчащей елки о заледеневший асфальт.

Уже очень далеко, за кинотеатром, сбоку от ржавого мусорного бака он вдруг встал, посмотрел кругом и тихо сообщил ей:

— Вот тут.

Он забрался в снег и вытоптал в нем овальный окопчик. Опустил в него елку, бережно расправив заломленную ветвь, уложив ее ровно. Если не знать, что она сломана, почти не было заметно. Дотронулся до клочка ваты, прицепившегося к елке. Сжал его последним, прощальным движением — вата оставалась с елкой.

Костин стоял над ней сверху, расставив ноги, моргая мокрыми глазами. Елка безглазо пласталась внизу, под ногами, выставив вверх худые кадыки, локти, колени, ребра, бесстыдно заголенная, безответная, желающая лишь снега и сна. И он быстро набросал сверху снега, отвернулся и ушел.

Первое время везде попадались иголки, на каждом шагу.

Пошли гости, много разных — Костину приходилось часто сидеть за столом и слушать. Когда с гостями были дети — он играл с детьми, привыкал, обучался. Алиса рассказывала смешное о нем и вспомнила:

— А ты куда елку выбросил? За кинотеатр?

Костин прервал движение вилки и замер.

— Видал? Чека не дремлет! Сразу узнала: забинтованная и ватка сбоку такая висит, вот такая. Мы ж с Ленкой в кино ходили. А елка наша стоит. В сугроб воткнули, дети снежками сбивают. Нацепили на нее мусора со свалки. А она — как скелет. Ну мы тут, здесь, посуду пока...

Костин пошел играть с ребенком четырех лет. Ребенок шагал по комнате с белой сумкой на плече. На сумке был наклеен красный крест.

— Будем играть в больничку, — объявил ребенок. — Что болит?

Костин лег на диван и закрыл глаза.

— Ну ты-и... Почему спишь-то? — заныл ребенок, подождал и шлепнул Костина по щеке. — Просыпайся. Еще рано спать. Еще времени рано.

Ребенок еще дернул Костина за ухо и зловеще спросил:

— А может, мне позвать тетю-доктора? А может, она тебе сделает больной укол в попу? Тогда, наверное, будешь плакать, ага? Сразу заговоришь, тогда, ага? И глазки откроешь.

Ребенок наклонился к Костину, подышал нежно в его щеку и прошептал:

— Ну говори. А то тетя-доктор увезет в больничку. Привяжет к коечке. Будешь без папы и мамы. И никто к тебе тогда не придет всегда. Бу-дешь знать!

Ребенок надул губы, покряхтел, подумал и ушел проситься на горшок.

С утра Костин еще что-то поделал в цеху и пошел в гараж, через двор. В подсобке говорили громко, покойно.

— Ребята, — позвал Костин. — Налейте мне бензинчика бутылку.

Водитель Корнеев выглянул, достал с полочки воронку, ушел к машинам, журчал. Принес полную бутылку, натолкал вместо пробки газету и поманил Костина за собой.

Пиво в подсобке пили строгий диспетчер Орлов и еще два водителя; подсели, поговорили.

— Вот Костин. Хороший ты парень, — хвалил Орлов. — Вот только не остановишь тебя. Все его куда-то несет, все несет. Остановился бы, поговорил бы со стариком, пошли бы выпили...

— А какую девку отхватил! Уж слишком красивая, — добавил Корнеев.

Еще выпили, поговорили, незаметно начали кричать:

— Ведь бардак у вас в гараже! Совесьть совсем потеряли! Я возмущен до безобразия! Где учет?! Бензин налево, бензин направо! — кричал Орлов и стучал пустым стаканом.

— Да ладно.

— Да хватит, да чего ты...

— Да тихо ты!

— Я-а? Мне рот затыкать?! Ах ты, — вскипел больше Орлов. — Я вот вам устрою козью морду! С кем связались... Вы хоть знаете, что я в КГБ работаю? Ну что? Покажу-у! Теперь хрен тут у меня пиво попьете. Работу будете искать.

— Ну-ну!

— Молчать! А ты знаешь, что это я там работаю! — свирепел Корнеев. — Только я — лейтинант! У меня выслуга лет. Я тебя достану, ты узнаешь...

— А я — майор! — взвился Орлов, а Костин выбрался за дверь, ушел.

— Пил? — с порога спросила Алиса.

Костин молча переодевался во что похуже.

— Стоп. Так, это куда мы? Куда это мы собрались? А ну стоп, — начала Алиса. — И куда это мы задумали? И что за бутылка в кармане? погоди, я тебе разве слово сказала за то, что пил? Нет. Понимаю: бывает. Я стремлюсь тебя понять, иду навстречу. Главное, что не скрываешь, сознался. Этого не надо стыдиться. Вот давай спокойно пройдем сюда, сядем, сядем сюда, поговорим, ну стой же!

Костин прикрыл дверь за собой и бросился по ступенькам вниз.

Алиса рассмотрела себя в зеркало, поправила волосы на лбу, попробовала на губах новую помаду, оценила ее на свету и заплакала.

Костин еще издали увидел застывший елочный костяк, увешенный скользящими по ветру бумажками и тряпками.

Он аккуратно содрал все с веток, вытащил елку из сугроба и понес ее к скверу — ее легкое, высохшее тело.

Он вытоптал тщательно в снегу площадку, положил елку в середину и полил из бутылки бензином ствол, седые шершавые веточки, крошил так и не отставший от елки кусочек грязной ваты, брызнул даже случайно на себя и долго морщился задумчиво на это мокрое пятнышко на рукаве. Пустую бутылку далеко закинул в снег.

Костин устало сел на снег, протянул обе руки к елке и поймал теплыми ладонями нижнюю веточку, еще сохранившую редкую щетину иголок, и бережно сжал ее, чуть покачнувшись вперед, закрыв глаза.

— Все, — прошептал он. — Ну все.

Спичкой он попал с третьего раза и пошел пьяными широчеными шагами в сторону от резко пахнувшего пламени.

Он перелез через сугроб, своротив его на дорогу.

— Погрелся? — окликнул его румяный милиционер в черном полубубке. — Ну-ка иди сюда, козел.

Костин быстро подошел и ударил его кулаком по лицу.

Потом в отделении ему разрешили помыть под краном разбитую морду, и он долго топтался у раковины, а потом вдруг засмеялся, показывая на круглую дырявую железяку в спусковой горловине.

— Чего ржем? — скучно спросил ближайший милиционер.

— Там, эта штучка... На лимон похожа, как долька, — сказал Костин.

Милиционер вздохнул, склонился над раковиной и согласился:

— Похожа.

## О МУЖЕСТВЕ НЕПИСАТЕЛЯ

Два года тому назад я перестал писать, затем придумал не писать вовсе, и с той поры картонные папки, царственное слово «авторский лист», погоны сержанта, осененные надеждами сытного майорского будущего, старые вершины и новые кочки миглом оставили мой подоконник — чистая отставка. Нынче незазорно явиться в штатском и выступить напрямую от себя, не сбиваясь для скромности в обобщения: а нету общего. Напротив каждого писарского стола свой город за окном, и всякий понюхавший чернил и узнавший сопротивление бумаги перу разное ошупывал «писание» в судьбе. Что собой представляет «писание»? Какие сокровища или дрянь накрывает сия немая каменюка? Неведомо — пока горбатишься скovyрнуть ее словом. Не видать — когда плюешь на камень распутий с высокой горы и, прежде чем развернуться в сторону родной печки, хоть напоследок тужишься своротить и глянуть: чего ж я не осилил? Не знаю. Каменюка так целует про меж глаз, что отслаивается сетчатка — я не вижу. Уже не следует видеть. Сравнить небо. Утро. Из немного выбирать — забудем. Но себя в обиду не даю: изредка я смотрюсь в насмерть отлакированный стол — я думаю о мужестве писателя.

Надо иметь мужество, чтобы не писать уже после пробы, после податливости судьбы, не обижавшей ничем, кроме малого дара, после печатаний и занесения под трехзначным номером в писарские святцы, после поминаний по великим праздникам.

Необходимо иметь мужество принять, что «могу» еще не значит «суждено» — так вот: не суждено, даже если чистокровный империалист, верная буква божественно воплощенных писаний Ленина-Сталина, запятая их пьес, точная рифма колдовской книги — в ней идол пишет в Кремле в ночь напролет горящем окне, жрец в золотой парче — пишет в Москве, а Империя встает на цыпочки от звука «литератор». Так вот: не суждено, пусть истоптал лапти, метаясь в честное воровское ремесло писаний о борьбе за мир, любви агрономов и скотобойцев, зная единственное необходимое условие — не подлость, предполагая теплые кровати творческих домов, подачек, дач и орденосную пиджачную тяжесть — надо иметь мужество признать: промахнулся!

Готовился в сторожевые — кидаться к горлу, уходя от ножа — что? Ничего: требуются цирковые и собаки-поводыри. Империя поженится и разъехалась — охранять некого: надо иметь мужество



не писать. Распущенная помирать псарня ловит свои хвосты, дряхлеет, теряет зубы, ночует в мраморных гробах. Резвятся комнатные пушистые, надпольные, подпольные собачки, наученные «немецким штукам», и нюхать их темы, все равно что провожать девку на чужую улицу: всем чужой. И морду набьют. И главное — самому тошно, я ж не люблю ее!

Надо иметь мужество, чтобы не писать в одиночестве, остановившись там, где кончились следы. Впереди нету бронзовых спиц, живьем нет человека, чье присутствие означало бы совесть, сбивало сердце и доказывало возможность пролома надвигающейся китайской стены — ангелы успели помереть, не спасшись в могилах от сочувственных усмешек: а чего б вы стоили, если б дожили?

Необходимо иметь мужество не писать, не врать: если не умешь жить с Родиной, женщиной, космосом, племенем, тебя не выправит пещерка под письменным столом — туда набросают скомканых бумажек, туда засунутся вонючие, толстоподошвенные хозяйские ноги.

Надо иметь мужество не писать, подвихнувшись на бесплатности писания, на его жестокой узости, не касающейся никого. Настолько узкой, что не касается даже тебя. Иметь мужество признать безболезненность отречения: нет, никаких монет, зарытых в землю, никаких призрачных слов «продажа», «измена», никаких подземных стонов закопанных героев — нет. Только легкая слепота, сонливость и дырявые сапоги жены.

Необходимо иметь мужество не писать, середина жизни заставляет кем-то себя, наконец, ощутить: уже не мальчик, не Ленин, не Пушкин, ворвавшаяся свобода кричит, кричит, кто ты еще «не», ты уворачиваешься от мира в красный угол дома, где вместо иконы ожидает красный уголок и неизбежная правда русского запоя, заключенная в свободе от вечного выбора из двух зол меньшего, который на Руси состоит в выборе меж одной пулей в затылок и десятью; открывается мудрость русских богатырей, которые могли пошевелить землю, но по тридцать лет не сходили с печи — за окном, за курганами, на непроезжих дорогах русских былин не встретишь сорока тысяч братьев, умеющих любить, а есть сорок тысяч разбойников.

В середине жизни касается правда, остается лишь докопать ее по собственному росту, она является в середине, мимоходом, как является национальный дух в народных сказках: не в печальном начале, не в свадебном конце, а именно в такой середине, когда идет свинья по лесу с малыми детками, а на встречу ей серый волк: «Свинья, свинья, я тебя съем. И твоих малых деток съем!» «Не ешь нас, серый волк! Пожалей моих деток», — взмолилась свинья, а волк: «Как смеешь грубить, свинья харя?!» — русская народная сказка.

Надо иметь большое мужество, чтобы не писать, сложить руки, признав неосуществимость романов, ослепнуть, оглохнуть, потолстеть и вдруг посреди заплеванной пельменной ощутить себя всего

лишь героем обычного русского романа, скучный смысл которого всегда выражается жалобой: я погибаю.

Наверное, настоящая жизнь, то есть посредственная жизнь, не обязательно должна быть счастливой — она должна быть искренней, и когда наступает потоп, остается наложить на себя руки, чтобы почувствовать руками, в чьем же обществе ты остался коротать вечера, и поэтому надо иметь мужество, чтобы быть неписателем.

Дисьма русского  
путешественника



## ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК

Меня в Сергиев Посад занес так себе случай. Лихая подружка прижималась коленкой: «Поедемся в Сергиев Посад. Я покажу свои любимые места. А вы мне — свои. Останется время — в Лавру сходим», но мамаша ее не пустила, а я по дождю не решился уехать тотчас и, потрясенно выслушав гостиничные цены (чтоб я верил ушам, тетка дополнительно писала цифры на бумажке), заплатил назло за три дня и три ночи. Стоял среди холодного номера, ждал, пока кран вдоволь отсморкается ржавчиной, даст горячую воду. И колокольня ждала напротив.

Да, я вижу. Да, раз здесь — схожу в Лавру. Дуб повалился, стены дубовые пали — я хочу рассмотреть желудь, из которого росло. Моя дубовая голова сгнила. Нет сил. Хочу почувать насилие святости над собой. Хотя все это так скучно. Все вру, лень и тлен. Не верую.

Но дорог он мне, мне друг — Варфоломей Кириллович.

Варфоломей Кириллович — это в скобках, а спереди — Сергий Радонежский, так в мирских книгах. Хоть не ведаем: отца звали Кириллом в миру? Или нарекли в предсмертном монашестве? Вар-фо-ло-мей. Так и липнет к имени «ночь». Нет. Любимей — Сергий.

В первобытных русских закоулках не оставляли монаху даже начальной буквы детского имени. Рождался — другой человек.

Святость непосильна, а раз так, то для встречи нужно в и д е т ь его. Не иконный, просеянный Господом и снами, вываренный, обветренный лик. А того, кто похож на меня.

Он умер осенью, 25 сентября. По новому стилю — в октябре. Лег в землю под кров церкви Святой Троицы. Наверное, не думал о своей гробнице, когда тесал бревна для нее. Церковь спалили «поганые» — Едигей, и могила потерялась.

Ушло тридцать лет. Никон Радонежский, ученик, святой, взялся выстроить каменный Троицкий собор на прежнем месте — Маковце, маковке, макушке — холме, найденном Сергием на всю жизнь и братом Стефаном ненадолго. И прежде с холма сиял свет, сверкал огонь, но они осмелились.

Конечно, Никон именно искал. И все искали — лопатили землю. И Сергиев крестник — князь Юрий Дмитриевич Галицко-Зве-

нигородский — примчался на стройку. И благочестивому, но безмянному мужу явился Сергей — найдете. И они нашли гроб. Копали ров и наткнулись. Кругом «ковчега» стояла вода. Но тело «светло соблюдется» — вода не тронула праха и риз. День — 5 июля 1422 года, радость. Дьявол шепчет: слышь, мощи кормили монастырь, и городу перепадало. И князья удельные «с мощами» глядели гордо, вот и организовали попы «открытие мощей» — но этого я уж не слышу, я не трогаю святости.

Сквозь нищих шел — как через пасеку, отмахиваясь: туда! сюда! отстань! пошла отсюда! А за воротами еще лето, и белые круглые цветочки залили дурманом прометанные пути, и слонялось тут обожравшееся голубиное племя, наступая на хвосты закормленным котам. Коты трясли пьяно серыми мордами, силясь припомнить: «Ах, в каких я отношениях с крылатыми? А когти мне на что? Да погодь ты, как хоть меня звать?» Богомолка кидала с лавки очередной кусок колбасы под усатую морду, и кот вздрагивал: «А это зачем? Что это?!» — и сваливался спать, мучительно вздымая бурчачее брюхо. Семинаристы в черных кителях дарили нищим медь и ходили вприпрыжку, едва сдерживая бег, скованно держа, будто лишние, руки.

Я замкнул очередь у книжной лавки и томился полчаса, оглядываясь на храмы, платочки, попов — провожатые подводили к нашей очереди губастых иноземок, и те бросались фотографировать: я при этом улыбался очень гордо, будучи в очереди самым здоровым.

Колокольня отбила опять четверть часа, я наклонился вперед:

— Мамаша, да скоро откроют?

— Вот отец Иосиф придет...

— С книжками?

Мамаша обернулась, придерживая ладонями щеки: одну фиолетовую, другую — забинтованную:

— Это очередь бесов изгонять.

Я сбежал. Но тут же вернулся.

— И всех желающих принимает?

— Всех. Ну, кто чувствует... Что есть. Есть?

Нет-нет. То есть: вообще ничего нет.

Богу молиться учила Византия, Царьград. В русских небесах просияли греческие святые — полчища, большевики гоготали: семь праздников на дню, когда пахать? У греков ветры теплые, виноград, оливы, смоквы, немного надо — империя издыхала. В святые там брали широко: прославленных по смерти и при жизни, сидевших на полагавшемся лишь святом троне, пострадавших, хотя и не до смерти. Русская земля страшней. Под гнетом смерти, кряхтя, ставили лишь на золотые ступени: оставляли лишь чудотворцев явных при жизни. В знаменитом труде профессора Е. Голубинского Сергей Радонежский «стоит» двадцать третьим по

счету — почти за пятьсот лет! Народ удостаивал себя не попусту. Стыдись ига: с 1326 года по 1447-й вообще ни одна душа не канонизирована.

И Сергей «освятился» не волей собора — «сам собой». Уже при жизни писали — «святой». И чтили посмертно, сразу. И житие Епифаний Премудрый писал, не дожидаясь обретения нетленных мощей. И что спустя полвека объявили «общерусским» печатно — так лишь порядка ради, за ним хлынули святые имена, но, по сердечному счету, он — первый.

Куда ж я бегу, не касаясь Божьих дел? Ну да, хочу увидеть лицо, пойдёмте. Мощи открылись, через некоторое время — года два? — великий князь Василий Дмитриевич подарил монастырю покров на мощи. Вышитый шелком портрет святого. Прежде шитья писал иконописец, и его «Сергий» — самый древний. Не забытый и бесплотный. Мастер мог видеть преподобного, и были живы ученики его, могли пихнуть в бок: разве такой? Наверное, и раньше писались иконы — не мог Андрей Рублев не писать отца своей «Троицы», застав его, Сергия, закат, бок о бок всю жизнь проведя среди его ближайших учеников, — обязательно писал, да не все перешагивает пожары, тоску и тлен, — а покров спасся. И в прежней ризнице, на втором этаже, в хранилище награбленного государством, я перешагиваю через ноги дежурных старушек, дремлющих на стульях, как кочевники в седлах...

Вот — в небогатых цветах моей Родины, медном закатном свете сосновой коры, голубой проточной сини меж распластанных, как шестикрылые серафимы, цветков, я вижу резкий, почти звериный скуластый лик. Большие, словно раздавленные, уши. Линия лба, заостренная вверх, — как шлем, купол церкви. Нос — долгий и тонкий. Едва заметный наклон к левому плечу. Широкая разбитая ладонь плотника, огородника, водоноса. И переломленные вниз, к переносице, глаза. Разные: левый от зрителя — сухая птичья зоркость. Правый: большой, скорбящий, со слезой. Облик. Облак. Князя писали грамоты в Царьград: «Облак печали, покрывши мои очи». Сергей Радонежский. Товарищи, переходим в следующий зал! Товарищи.

Пало на холм сорочье перо, дурман-трава, тучи и солнце, Господь и тьма могильной стены — вот краски монастыря. И ты вдыхаешь без привязи дней у румяных боков надвратной церкви, — полдень; у льда голубой колокольни — утро; под грозовой синью куполов Успенского и Троицкого соборов пасмурного русского неба; у пятнистой пышно-узорчатой ризницы, облепленной виноградными листьями да кистями: не зреет у нас виноград. И Господь для русских людей жил в раю с теплыми морями, в полузабвенном детстве, в хохочуще-отчаянных сказках, где родное не в конце «и я там был...», а в зачине: идет свинья с малымя детками-поросятами по лесу, а навстречу ей серый волк: «Сейчас съем тебя и

твоих поросят!» «Не ешь нас, серый волк», — взмолилась свинья, а он: «Как смеешь грубить, свиная харя?!» — все родное. Сергия — лучше бы в сказку, на кисельные берега, да вот тянутся все к Троицкому собору — и мне надо туда. Посмотреть на то, что держит. На мощь. Посмотреть на то, что осталось. На мощи. Если смогу.

Я побрел кругом Троицкого собора, вдоль стен, вокруг монастыря: чего страшного — глянуть на мощи? Хотя: что такое мощи? Кости? Скелет лежит? Коробка? Ларец? Из детских безбожных глубин упрямо лезут куриные косточки в маслянистых остатках лапши.

Как это действует? Как волна: Дей! Ствует...

Часто действует даже явная дрянь: я споткнулся у монастырских ворот — «Кормить голубей в строго отведенном месте!» и стрелка — «Место кормления» — и далее, по стрелке, я нашел земляную выклеванную площадку, похожую на маленький плац; там сидела одна черная по брови старуха, грузная, как надгробие, и дочитала огромные корки хлеба. Дурно и кисло пахло скотным двором, и кругом не было ни единой птицы — я почти побежал оттуда, под гору, искать речку, вымоленную из земли Сергием.

«Как отстоит восток от запада, так трудно постигнуть жизнь блаженного» — и не берусь, «имена которых на небесах Богом написаны, нет надобности в писаниях... людских». Но гляжу на лакированных матрешек, на продажные пуховые платки. Открываю двери за кольцо. Дурею на винтовой лестнице, подымаясь на башню за гарахтеньем испанской речи, — как уверовать в смертного, как я, одолевшего «смерти скории»? На башне постоял, помаялся, испанки умелись, и взгляд оторвался от луж, железных люков, автобусной базарной братии, развалин, огородов, заборов, дач. Дальше — холмы, поля, небо... И я вдруг, точно кожей, поверил, что все это было здесь, так и было, сюда пришел, «вся узы мирьскаго житиа растързав», эта древняя пустошь напитала иконы непонятным полетом, парением — люди немеют... Змеи шипят: «В образе Богоматери выразилась безысходность мироощущения своего времени», а иконы темнели, тонули от нас, прикрываясь доступным убогим: золатыми полями, венцами, цатами, золочеными ризами, изумрудами и сапфирами, оставляя открытыми лишь лики, да и те, потускнев, укрывались черным бархатом — так мы продались и обезлюдили.

Идол в мозолях от касаний, а герои не рождаются вновь — для каждого, нетронутыми, для нашей любви. Мы — на развалинах; не сыскать, где стояла кровать, прячь голову от уставшего жить кирпича.

Согнул голову и пошел в Троицкий собор — мимо торговой лавки, дремлющих на скамьях увечных, налево — меж двух колонн. Прижался к левой, где икона Богоматери. За спиной собиралась и текла передо мной, минуя алтарь, степенная очередь.

Там, за огненным озером свечей, увешенная лампадами, сверкает стальным блеском рака — гроб, под гнутой крышей на высоких узорчатых колоннах. Я подумал про мавзолей — ни разу не был. Священник стоял сбоку гроба, наверное, «в головах», спиной ко входу, и, откашливаясь, читал молитву, одновременно разбирая ворох записок в руке. Люди ставили свечи, крестились, опускались на колени и, главное, наклонялись и целовали гроб, сверху, затем уходили, отдав священнику записку, — мне не было видно, что же они целуют: стекло? глухую крышку? В темени пятиарусный иконостас, писанный с участием Андрея Рублева и Даниила Черного, вовсе не сиял — как на хвалебных открытках. Я пытался разглядеть евангелистов на царских вратах (подлинник украден государством), потом тупо щурился на «Троицу» (подлинник украден государством), пересчитал апостолов на иконостасе и тронул пальцами бархатный барьер, отделивший меня от очереди. Священник сделал перерыв в молитве, и женщины в платочках неожиданно запели в углу «Радуйся, Сергие» — на мотив, близкий какой-то революционной песне. Иностранки трясли непокрытыми космами, одна старушка просто лежала у гроба, не подымаясь, семинарист стоял камнем. Петь перестали, и из-за спины меня царпнул шепот: «Господи, послушай...» Неловко оглянулся, будто поправить ворот, — женщина смотрела через меня на что-то, ей отвечающее, и шептала негромко про свою семью, про сына — его тянет «к технике», у нее мужа нет, есть «один человек», а вот еще на работе... И она повторяла, упрашивая: «Я так хочу, Господи», несколько раз, чтобы он понял, что в первую очередь. И улыбалась.

Я пошел к киоску: надо купить свечей; а что, интересно, писать на бумажке? И очнулся только у дверей, где изгоняли бесов, — там осталось два человека; я ушел и оттуда, наверх, на высокое гульбище, что тянется вдоль трапезной. И разглядывал дотемна Троицкий собор, палаты митрополита, часовни. Это «Русские Афины» — догадался когда-то Флоренский, — «античный эллинизм». Отчего только русская античность так смурна: у греков солнце печет, но пашни — клочки, и те легки на подъем, до первого ливня, а снега едва пали — и уже их нет, и с любой горы там открывается море: вот оно, беги. Просторы же Руси так невыносимы, что с места не тронуться. Судьба без осечек — кладет на месте. На родном.

В этом самом месте, в этих стенах настигли великого князя Василия Васильевича посланцы двоюродного брата, Шемяки, сына того самого свидетеля обретения мощей Юрия Дмитриевича.

Обманули беззаботную стражу, подкрались на снях и понеслись с горы «как на счастливый лов», по снегу в девять пядей. И люди Василия обмерли — «яко изумлени». А великий князь, ослепивший в свое время брата Шемяки — Василия Косого, побежал в конюшню, да разве сыщется на Руси готовый конь, когда за дело берется судьба! Пономарь втолкал его в Троицкий собор, одного-



одинешенька, запер, а сам вдарил бежать, что есть сил. А гончая свора ворвалась и прямо, не спешиваясь, на конях — по лестнице, к соборным вратам: где? Где — хватали за грудки. А великий князь, ухом к дверям, он же слышал все это, схватил икону явления Богородицы Сергию и сам отпер южные двери. И главный догонял бросил руку свою ему на плечо: «Пойман еси, великий князь». И сам заплакал, уже зная все наперед. А Василий кричал, что пострижется в монахи, прямо здесь, корил крестным целованием. Ведь целовали эту самую икону, у этого самого гроба, «не мыслити... лиха», хватался за руки, молил, грянувшись оземь у гроба Сергия-чудотворца; «кричаньем моля», «захлипаясь» так, что посланные сами пролезились, а потом он просил: «Не лишите мя зрети образа Божия»...

Его ослепили. Оставив в истории — Темным. В охотничьей суматохе упустили: будущего Ивана III — первого настоящего русского царя — унесли в охапку, скрывали в каком-то, наверное, подвале и ночью вывезли дальше. Античный, твою мать, эллинизм.

Запираются ворота Лавры деревянной решеткой — где ж наше место проживания?

Отчаявшись оживить телевизор, я упал животом на кровать. Кусал яблоко, вздыхал: отчего пуста моя жизнь? Лежебока? Но все русские любят диван. Куда ехать, ежели зима долгая, кругом — Сибирь и снега в девять пядей. Нет, беда, что душа моя бронзовая, душа моя медная и стальная не помнит детства, золотого века. Все империи наигрались, собрали солдатиков в коробок, легли спать и умерли, осенив мир заревом «классических эпох», — они снятся, и ты любишь золотые сны, правившие племена на юг, фанние царства, микенскую эпоху, ахейских царей, колесницы и костры Троянской войны, нашествия дорийцев, безгласие «темных веков», Пелопоннесские войны, персов, македонцев, богов, плавно, как и рождение — угасание, прощальный свет их, сиявший русским из Царьграда...

А историю русских я любить не умею. Во мне ее нет. Империя близка, слишком близка, солдаты ее еще грезят триумфом. На первый взгляд... Нас еще не разделили века и варвары, свет забвения еще не сгладил кровавых и лживых черт. Но пустота моя не только от этого.

Мы отроду не любили нашей истории! Праведная жизнь родилась не лучом Авроры, а пушкой «Авроры», и все века до этого казались пустопорожним топтанием, пьянством, тиранством над бедным людом, Божьей ложью — бывшее отчего-то вовсе не спешило к историческим неизбежностям, — разве могли мы это простить? Мы запаха земли не знали, но презирали ее вонь. И признали единственное, сгидившееся нам, — державу. ДЕРЖАВУ. И свыклись, что это — главная ценность. За отстоянную и добытую землю прощалось все. До тех, кто принес кирпичик в Кремлевскую стену, мы снисходили и допускали в свои куцы сны — только рубак и только победителей. Без знаков различия, души и

плоти. Только: Дмитрий Донской — победитель на Куликовом поле, Сергей Радонежский — благословил Куликовскую битву, Петр I — победитель при Полтаве, Александр Пушкин — почти декабрист, Николай Гоголь — обличитель царизма. Какую силу можно черпать с этих обглоданных скелетов? Какие золотые сны навеют слова Ключевского, что три великих святых русского народа четырнадцатого столетия — митрополит Алексий, Сергей Радонежский, Стефан Пермский — лишь делали «одно общее дело» — «укрепление Русского государства»: только-то? Мы затоптали душу свою порывами: любить — не любить, согдится он нам или — враг, хотя подземные миры нации должны существовать неподсудно, как сердце, про него не скажешь: люблю, не люблю. Но пустота моя не только от этого.

Еще и то: империя, набравшись сил, действительно, не расцвела «классической эпохой», дала куда меньше, чем могла, или мы просмотрели золотой век, или не дождалась; так изнурились борьбой за выживание, что ноги протянули прежде песен и Акрополя, просто спились и легли под забором, — мускулистая, жилистая, стершая зубы лошадь, рожденная слишком рано и надорвавшаяся по малолетству; а дети ее бегают кругом, кто — тоскуя по матери, кто — обожествляя сиротство свое, но сходясь в одном: хочу полюбить, да не знаю — как и не знаю — что.

«Аз есмь Сергие Маковский», — открываю глаза и шепчу поутру, — «Аз есмь...»

Суд безбожников собрал «дело» на смертного С. Радонежского — полистаем. Обедневшая семья, боярин Кирилл — отец, скатился в нищие из-за поездок в Орду, ратей, нашествия москвичей. Сын, вдобавок «будучи туповатым к учению», вырос «умело приспособляющейся личностью», подмятый покровителями: старшим — митрополитом Алексием, младшим — Дмитрием Донским. По-собачьи преданно служил Москве, забыв ее кровавый ростовский погром, лишивший его семью родного дома. Покорно брался за дела, никак не потребные монаху: ездил мирить князей и даже закрыл церкви в Нижнем Новгороде, приводя в чувство местного князя, но безуспешно. Безуспешно! Настолько забыл свой сан, что отдал на Куликовскую битву двух монахов — ай да игумен! Тут суд немного перебрал, времена были суровые. Епископ Феогност как-то запросил патриарший собор: «Если поп по рати человека убьет, можно ли ему потом служить?» Собор сообщил: «Не удержано есть святыми канонами».

Однако продолжим листать «дело». Троице-Сергиевская лавра, конечно, угнетала трудящихся. Игумен, «страдавший нервными галлюцинациями и даже беседовавший с... самой Богородицей», конечно, — похвастал да бабушку и схрюстал! Но чепуха это, «следствие психоза».

А есть верный удар — Радонежский не благословлял Куликовской битвы! Все трогательные песенки о напутствии, пророчестве, благословении, отдаче монахов в рать — это придумки троицких

монахов (они и саму-то битву перевернули будь здоров для радости богатых вкладчиков). Летописи, столь внимательные к игумену, что сообщали даже о его хворобах, на сей счет — молчат. В ранних редакциях жития есть главка, что Донской отправился на татар с благословения Сергия и в честь победы выстроил Успенскую церковь на реке Дубенке; но церковь-то выстроена в 1379 году — за год до Куликовской битвы! Выходит, Сергий если и благословлял, то — битву на реке Воже с мурзой Бегичем в 1378 году. А не историческое Мамаево побоище, и раз так — не было никакой схватки Пересвета с Челубеем! Да и вообще русская хитрая церковь упорствовала на проордынских позициях (это я все читаю, не говорю), а сам «так называемый святой» был «главой и идеологом архиерейско-монашеской антивеликокняжеской оппозиции».

Последний оборот имеет в виду печальную историю с Митяем, на ней стоит приостановиться.

Русскую землю делили враждующие Литва и Москва. Митрополит сидел в Москве, литовские князья — «огнепоклонники» — в свою землю его не пускали и грозили патриарху, что если и дальше русской церковью будет командовать Москва, то они свой народ перекрестят в «латинскую веру». Патриарх сдался и послал в Западную Русь отдельного митрополита — Киприана. Но — с хитрым условием: как только умрет московский митрополит Алексей (а дело к этому шло), Киприан опять станет единственным митрополитом «всей Руси», сохранит духовное родство всех русских, что, Бог даст, приведет когда-нибудь к объединению распавшихся половин. Думал ли так патриарх? Или я — по старой хворобе — угадываю во всяком строителя империи?

Но у великого князя Дмитрия не было поводов светло заглядывать в будущие века: удельные князья рвали великокняжеский ярлык из рук, неприязнь к Орде вылилась наконец в «розмирие», обещавшее мало радостей впереди. Литва недолго крепилась «вечным миром» и легко влезала в каждую распрю Руси, то воевала с Ордой, а то шепталась. При такой ненастной погоде — по смерти наставника и соратника, Алексея, принять поделенного с Литвой митрополита «Киевского и Всея Руси» князь не собирался: Москва б не стала Москвой, если бы хитроумные предки не добились путешествия митрополита по тропинке Киев—Владимир—Москва, а теперь все терять и мириться с «литвином» Киприаном, реально зависящим лишь от патриарха чахнувшей в «неустроениях» Византии?

И князь нашел человека для возведения на митрополию — Митяя.

Хотя житие Сергия повествует: почуввав смерть, митрополит Алексей протянул Сергию митрополичий крест, и об этом Сергия молили все (житие подчеркивает: и великие князья тоже молили),

но святой отказался, по великому своему смирению, — это, видимо, лишь красивая песня. Князь хотел Митяя.

А кто это — Митяй, не удостоенный в русских письменных глубинах даже полного имени? Любимец князя, голосистый и здоровый коломенский поп. Князь сделал Митяя духовником своим и ближних бояр и доверил ему государственную печать.

Время торопило — Алексей угасал, князь чуть ли не силком притащил Митяя в Спасский монастырь, и постриг в монахи, и начал упрашивать Алексея назвать «архимандрита Михаила» преемником. Алексей уклонялся что было сил: как это, «уного», «новоука» — враз на митрополию? Может, в душе Алексей уже разглядел в приходе Киприана некую правду? Князь не отставал, «много нуди о сем», Алексей кивал на Царьград — пусть решают там. Очередной константинопольский патриарх в смуте гражданской войны не вдавался в тонкости, а «поминки», сопровождавшие русские просьбы, были осязаемы — Митяя утвердили. И Алексей умер, оставив недоумение: благословил или нет?

Митяй сел править, и все презирали его птичьи права, и Митяй понимал, что ветры дуют из Троицкого монастыря, от отстраненного молчания смиренного игумена, и князь это понимал. Старцы верили в правду Киприана.

А тут неожиданно в Москву рванул сам Киприан: вступить торжественно в Москву с богатой свитой на сорока шести конях и одолеть «не желаю» молодого князя! «Еду к сыну своему ко князю ко великому», — подбадривал он себя в дороге письмом к Сергию и Федору (племяннику Сергия), давал им знать: встречайте, пособите, иду напролом.

Воеводы Киприанова «сына» перехватили митрополита под Москвой — раздели, ограбили, бросили ночевать в холодный сарай, свиту раздели до рубах, усадили на дохлых кляч, развернули посольство в сторону Литвы и придали ему хорошей скорости. Захворавший, взбешенный Киприан обрушился письмом опять на Сергия и Федора: да они должны жизнь были положить за митрополита! «Аще быша, вас убили, и вы святы» — это, наверное, единственный упрек Сергию от современника, да какой! Киприан с ходу решается на неслыханное дело: проклинает, отлучает от церкви, предает анафеме великого князя Дмитрия и его бояр, кажется, еще строчка — он и Сергия отлучит! Это тот самый Киприан, который, если верить «Сказанию о Мамаевом побоище», так по-отечески провожал Дмитрия на битву! Митрополит потребовал от всех читателей сего страшного послания переписывать его и рассылать во все концы — пусть все знают! И вряд ли Сергей и Федор посмели его послушаться. В ответ они тут же что-то написали, и это «что-то» успокоило Киприана на их счет: «все познал есмь от слов ваших», но его проклятие гуляло по Руси, хоть и с намеренным коверканьем отдельных «ударных» мест — и князь ведал об этом, но не тронул Сергия.

Митяю же земля жгла ноги, и он упросил князя собрать епископов: они не посмеют при князе «вопить», поставят Митяю в епископы — и так справней будет ехать в Константинополь на утверждение. Епископов собрали, все немо соглашались, лишь суздальский владыка Дионисий, зная за своей спиной Троицкий монастырь, взорвался, восстал и пригрозил за правдой поехать в Константинополь. Делать нечего, князь «повеле» его «удержати». Дионисий молил отпустить: не поеду никуда без позволения, пусть хоть Сергей за меня поручится, и Сергей поручился — Дмитрий поверил, устыдившись ручательства Сергея. Дионисия отпустили, и он, ни мгновения не медля, бросился Волгой в Царьград, плюнув на обещание год сидеть тихо и предав своего ручателя. А князь опять удержался — даже от худого слова Сергию.

Митяю пришлось ехать в Царьград архимандритом, он собрал денег, пышную свиту, княжьих грамот для заема дополнительных средств — дело предстояло затратное, на прощанье Митяй наобещал Сергию чего-то плохого (благодарить ему радонежского чудотворца, прямо скажем, было не за что) — Сергей бодро пожелал ему «царского града не имать видети».

Митяй добрался до Черного моря, разойдясь подобру-поздорову с цапнувшим его по пути Мамаем, — и сел на корабль. Корабль достиг турецких берегов и дальше вдоль земли поплыл к Царьграду. Заветный город уже вырастал из тумана, а может, и утреннее солнышко высветило его вдали, когда Митяй «разболелся в корабли и умре на море» — хворь одолела, удушили, утопили: не узнает никто. Корабль, как столб, замер напротив Царьграда, другие корабли с изумлением обплывали его слева и справа, далекая Русь ждала митрополита, воевала с татарами; предчувствуя «вытекающие последствия», послы пытались придумать, что бы князь велел им при таком обороте, и стали врукопашную выбирать замену Митяю из себя — и не угадали, и это стоило им потом головы. А Митяя, ну что Митяя, — его на лодке свезли в Галату, на латинский берег, и закопали в землю — сына попа села Тешилова, любителя церковного пения, про которого никто не может ничего внятно сказать: мелькнул и пропал — настигла доставучая русская судьба.

Суд безбожников хихикал, что история Митяя задержала канонизацию Сергея и Алексия, — не знаю и знать не хочу. Новый духовник князя, Сергиев племянник Федор, и сам Сергей уговорили Дмитрия пригласить все-таки Киприана — и он пригласил, вся эта история имела еще продолжение на доброе десятилетие. Русь уберегла Сергея, он вышел правым и невредимым. Сергей угадал верный путь. Обо всем остальном — помолчим.

Святость не в жизни замечательных людей — в том, что мы, неловко улыбаясь, называем «чудом». Почти ничего не знаем об Андрее Рублеве — и почти все, есть иконы. После Сергея осталась лишь Россия — тоже почти все. Нашему невежеству с Сергием

повезло, кроме не постижимого, для нас сохранилось еще и житие. Епифаний (прозвище — Премудрый), дьякон при Сергии, повидавший и Царьград, и Восток, по смерти святого (а может — раньше?) записывал для памяти, что знал. Про детство святого расспросил у старцев, послушал рассказы Стефана — старшего брата и человека, что много лет Сергию служил; записи лежали в беспорядке. Епифаний ждал четверть века, надеясь, что сыщется кто-то достойней, — сам писать житие осмелился только перед смертью, в году так 1418-м. Еще лет через тридцать Пахомий Серб выправил житие: сократил, переписал, добавил чудес у обретенных мощей — житие стало любимейшим чтением Руси.

Житие расцвело на переломе писательских привычек: от сухости пересказа «жил-был» — к проповеди, блеску учености, плетению словес, и Епифаний вворачивал: «зверь, рекомый аркуда» — про медведя. Отец послал Сергия искать лошадей, а Епифаний — «на взыскание клюсяти». Решето не гнилого хлеба, а «гнилых посмагов». И Сергий в бесконечном, изукрашенном предложении предстал светилом, цветком, звездой, лучом, лилией, кадилом, яблоком, шиповником, золотом, серебром, камнем, жемчугом, сапфиром, пальмой, кипарисом, кедром, маслиной, ароматом, миррой, садом, виноградником, гроздью, огородом, вертоградом, источником, сосудом, алавастром (сосуд такой), городом, стеной, крепостью, сыном, основанием, столбом, венцом, кораблем, ангелом, человеком — итога: тридцать семь наименований.

Предлагаю очень верить житию: к писанию тогда не липла всякая шваль, в писании сплелись Божьи молнии, и шепот земли, и слово — взвешенное, наполненное правдивостью, не подрасчетной корыстным нашим мозгам. И оттого так трогательно смирен воздух жития; не сыщешь райских обещаний за гробом, лишь печальные слова — о книгах жизни и книгах смерти. Оттого так обделен мелочный патриотизм: нас удивляет — Сергий живет, совсем не поминая Орды, и никто из переписчиков в победных веках не посмел «довести» житие в этом смысле! Смиренность святого воздуха — мимо нас, она не помышляет о доказательствах. Вот чудо: Сергий видит на небе птиц, блистающий свет, и голос обещает ему: «Так умножится стадо учеников твоих», Сергий скорей кличет Симона — посмотри! Но тот захватил лишь остатки света... И мы бессильны пошлым своим рассудком одолеть, что стоило Епифанию, точно знавшему: житие пишет только он и совершенно все, что выведет сейчас вот эта его рука, это и будет правдой во веки веков, — что стоило этой руке чуть дрогнуть — из благого умысла! — и подправить: и Симон узрел.

Мир жития печален — не знает своей судьбы. Тот же голос добавил Сергию с небес: ученики не пропадут, «если они захотят по стопам твоим идти», — нет обещаний. Умиравший Сергий видит: «Обитель моя эта весьма разрастется, — и опять: — Если... мою заповедь будут хранить». Богородица является Сергию — едва ли не первому из русских святых! — Богородица, чья икона спо-

собна приносить урожай, укрощать засуху, устрашать вражеские полчища: как же тогда всеильна она лично! А что она говорит? Обитель твоя будет иметь все в достатке, я не покину ее — сейчас и по смерти твоей, — как удержался Епифаний и не написал: ВСЕГДА?!

Есть еще спасительная, плачущая за нас строка в житии: «Благословен Господь, который не даст нам сверх сил искушений!» — это Сергей и наставляют так словами апостола Павла — что ж тогда нам? Может, вся мерзость моя лишь от непосильности искушения — сверх сил?

Английский автор Уэллс спросил в Кремле Ленина — моего святого: сколько вы продержитесь? Ленин улыбнулся светло. Как ребенок. «Мне кажется: мы навсегда».

У Епифания бывают неточные слова, «от себя», для кажущейся его времени «пользы» — они приметны, как чужая рука. Землепашец пришел в монастырь посмотреть на святого. Монахи сказали: он в огороде, и подвели к дырке в заборе: хочешь — гляди. Мужик глянул: Сергей мотыжил грядку. Мужик разобиделся: столько слышал про чудотворца, все дела бросил, а вы мне смеха ради тычете на убогого, «сироту», в латаной рясе. Сию веселую байку, гулявшую по монастырю, Епифаний напивывает нахмуренной, напыщенной силой. Монахи (смиренная братия) предлагают святому вытолкать мужика взашей (если б Сергей не вступился, так бы и сделали), да это ладно, вы послушайте, как они подходят к святому по такому пустяку: «Не смеем и боимся сказать тебе» — это про смешного-то темного мужика, как про грабег монастырской ризницы! И кому? Игумену, который таскает им воду, колет дрова, как купленный раб, и только что утирал пот со лба на огороде, а братия чесала языками с мужиком у дыры в заборе, доказывая: это и есть наш чудотворец! Епифанию мнилось: так прилично.

Дальше: Сергей крестьянину поклонился до земли, поцеловал, усадил рядом есть, ободрил, а тут в монастырь вступает некий князь с великим полком, сияющей свитой. Бедного мужика княжеская охрана (послушайте родной язык), «побивачи», далеко швыряет от лица князя (тут Епифанию бы и точку ставить, а он продолжает) «и Сергея». Что ж, Сергей безучастно сопроводил взглядом полет мордой оземь своего собеседника, коему кланялся до земли? И не видит, как тот бежит вокруг толпы, окружившей святого и князя, — они только двое сидят, и Епифаний горд этим, хотя что за величина для Сергея Радонежского «некий князь»? Это уж Епифания придумки. Как и дальнейшее, что мужик постригся в монахи и помер в монастыре, исправляясь покаянием, — и Епифаний даже имени его не помнит, хоть исхитрился разузнать чуть ли не половину из самых первых двенадцати монахов монастыря, — если бы не выдумал того мужика, неужели бы упустил? Епифаний будто не очень верит темному люду: самому-то для веры этого не надо, а поверят ли остальные?

Он знал это про себя и просил: «Не зазрите же ми грубости моей», и я твержу эту мольбу у ворот Лавры — я на земле не местный, я — проживающий, то есть — проезжающий мимо: «Не зазрите же ми...»

В древних русских писаниях, как в античном эпосе, почти нет цвета. Из редко поминаемых любимый — белый. Но много-много блеска. Жизнь Сергия удивительно светла — озарена покоем. Ни разу не закричал, не разрыдался, не отчаялся, и если зверей диких боялся, то — немножко. Мягкий, смиренный свет источают дни его, и святой кажется мягким, лишенным углов и ребер. Разве так?

Сергий Радонежский утверждал власть свободного сердца. Не путанные, говорливые искания истины, а истинная жизнь, которая не от головы, — житие сего не скрывает, не златоуст, не писатель, не книгочей. И неспроста это безуспешное учение отрока Варфоломея — «не скоро выкнуща писанию», «не точен бысть дружине своей» и даже «не вельми внимаше» — ребята дразнили, учитель серчал — «боле же от учителя томим», вряд ли это «томим» сдерживалось и не драло за вихры. И не выучился, а — прозрел. Пошел за лошадьми и увидел черноризца под дубом, горько посетовал: не дается грамота. Принял из рук черноризца белый пшеничный хлеб — просфору, вкусил — и глаза его увидели смысл слов.

Сергий знал «сердечность» своей силы и не стыдился, охотно просил: «Научи мене». Приехал в монастырь греческий епископ, не веривший в русского святого, — епископа за неверие поразила слепота. Что говорит Сергий, исцелив гостя? «Вам, премудрым учителям, подобает учить нас».

Сила сердца давала свободу и независимость.

И Сергий поэтому неподвижен, «не исходя отнуд места своего»: зачем ему искать Афон, Иерусалим, «царствующий град» — где сердце его, там и столица, он пустынь сделал, «подобную граду».

И то, что кажется нам смирением Сергия, может быть, есть упорная независимость, оборона свободы? Как долго отказывался он стать игуменом — епископ Афанасий не выдержал: «Всем обладаешь, а послушания в тебе нет». И это — от скромности? Когда митрополит Алексий вручил ему митрополичий крест в золоте и камнях, Сергий вслух, вежливо: «Я с юности не носил золота, в старости же особенно хочу в нищете жить», а про себя, тут верю Епифанию, знал: великая это тщета. Ведь не подумал: «не достоин». Разве смирение? Гордая свобода. Только гордый игумен, оставшись без хлеба, не унизился в просьбе, а нанялся к монаху строить сени и за труды попросил именно гнилого хлеба — чтоб не встретить отказ, чтоб утаить нужду свою, и гнилые «посмаги» взял лишь после работы, хоть шатался от голода.

Когда в монастыре завопили недовольные введенным общежитием, а брат Стефан прямо в храме начал «качать права», кому здесь



быть игуменом, — смиренный бы не слышал, увещевал бы возлюбленное стадо, ташил бы крест и места родного не бросил, а Сергей после первого же «приступа» Стефана вышел за ворота и ушел, не оглянувшись, искать новую пустынь — даже учеников не пожалев ради сердечной своей свободы... Сколько гордости в этом безмолвном уходе!

И более того: Сергей совершенно свободен именно как смертный, он утверждает независимость даже от собственной святости, от чудес. Люди сами жаждали чудотворца, люди сами выдумывали (или видели) чудеса, а уж потом — вручали их троицкому игумену.

При пострижении в Сергия вселилась благодать и дар Святого Духа. Он сам сказал об этом? Нет, некие люди почувствовали благоухание. Исцелил бесноватого — но кто ж увидел огонь, полыхнувший с креста святого? Сам бесноватый. И — ни души больше. Огонь причащал святого в алтаре — откуда ведомо? Симон так увидел, а когда рассказал святому, тот запретил об этом болтать. Отец нес больного сына на исцеление Сергию, а принес — мертвое тело. «Что сего лютейшии?» — отец ушел за погребальными одеждами, вернулся: святой молился над ожившим сыном. Этот отец и нес во все концы о чудесном воскрешении, а ведь как обстоятельно и разумно увещевал его Сергей: да не мог я воскресить! Мальчик замерз по дороге, а измученный хворобой отец испугался прежде времени, в келье тепло — мальчик отогрелся, только Господь может воскрешать! И, отчаявшись убедить, Сергей снова запрещает: не говорите никому. Кто углядел мужа в блистающих одеждах в алтаре, где Сергей служил литургию? Исаакий да Макарий. И не просто пристали к Сергию: что это мы видели? Они видели, а ему — объяснять! В житии ясно сказано: «Ученики упорствовали». Сергей и объяснил: это — ангел, ангел был. А что он мог другое сказать? И опять взмолился: ну вы хоть не говорите никому! Злитесь на меня, но, хоть убей, не видать здесь никакого смирения, а гордая позиция: человек всесилен свободной душой и смерть одолеет правдой сердца, без крылатых и хвостатых. Вот это — чудо, а не зыбкое «кажись».

О посещении Богородицы мы узнаем также не напрямую от Сергия, рядом ученик Михей: Михей слышал приближение ее, но пал замертво и не слышал, что она говорила, не видал, как выглядела.

Мы же чтим Сергия за одно чудо — Россию. Но и она умерла, не осталась. Теперь, прочитав ее письма, мы только по смерти узнали настоящее имя ее, подлинную жизнь и что жила она с нами — невольницей. И тогда полюбили, лишь присыпав глиной, — небывалая любовь без встречи. И, гуляя по монастырским стенам, по полоскам света из бойниц, замерев над усыпальницей Годуновых, — единый год смерти, в лучших отечественных традициях, — я бормочу: Господи, но ведь я так люблю ее. Кого?

Одно счастье — яблоки в этот год уродились. Семинарист хрумкал яблоко у своей проходной, девушка в платке держала для него еще целый кулек: ешь сколько хочешь. Наверное, будущие это батюшка и матушка — он яблоко грыз в три движенья и цапал сразу еще одно, и глотающее горло из-под кителя выталкивало снежный подворотничок, я зажмурился: вся моя паршивая солдатчина мазнула мне щеки зеленым крашеным крылом.

Еще одно счастье: как ни мала церквушка, а внутри ахнешь — звезды, Царьград, тучи, золото, море, осень, старик на коленях; нет — старик на ногах, колени — все, что есть у него от ног; я согнулся над белым листком: что ж писать для святого? Заглядывал под соседкину руку — она что-то еще вспоминает и грозит себе пальцем, на листке — имена, имена, имена — с именами что-то краткое, что-то — «Бог»? Нет — «бол», что? Ноют нищие: сын парализованный, на пятнадцать минут только оставила, десять дней как похоронили, подай мне, сынок, мать науськивает сына на иноземцев: давай! — и он с ходу хватает коленку лапками и вопит: дай! хоть копейку! — уворачиваешься от цепких лап — «бол»: это — болящая! — здравствуйте, тихая тетя говорит мне про икону, про Казанскую Божью Матерь, про Сергия (так его любит), я иду, как проклятый, за ней, она уже плачет: украли кошелек, нечего есть, вот объединенный кусок хлеба в желтой салфетке, хоть бы на автобусный билет — мои руки лезут в карман, постыдно мешкая в положении «сколько?» — в оставшиеся дни она ни разу не подошла опять ко мне, это — память.

Я опять не дошел до мошей. Опередила ночь.

Ну почему невеселый наш Бог? Почему на Руси — хоть перешерсти ее до последней конуры — не сыскать счастливого, если только он не пьян. Юродивые — и те на сковороде. Один в один: рано родились — рано померли, нет лиц — одни нахмуренные ямы. Тянет отодрать заклеенную на зиму балконную дверь и выть на колокольню, когда подумаю, как помирал хотя бы великий князь Дмитрий Иванович, как захлебывался молодой еще мужик; и что посветить ему могло, кроме тихих слов Сергия Радонежского, который для Дмитрия был стариком и по рождению, и при смерти? Что в утешение наскрести? В девять лет уже без отца, вместо оного — митрополит Алексей, сразу повезли в Орду за ярлыком, и — тщетно, кровавые годы: рати, стройка Кремля, «литовщина» — одна, другая; опять Орда, первая государственная казнь на Москве — зарубили мечом последнего тысяцкого Вельяминова, бежавшего и выманенного из Орды; посольство коварных тверичей, захваченное страшным грехом — клятвопреступлением — Алексей замолил — распавшееся, едва собранное «одинокчество князей», жуткое проклятие Киприана и суровое молчание старцев, смерть сына; «розамирие» с татарами и Куликовское кровавое побоище, про

которое через век запоют, а князю впору плакать — вдогон обиженным Мамаевым людям слали золото и серебро: может, царь смилостивится? Победа? Восемь длинных дней хоронили убитых, а уцелевших, поползших с добычею по домам, в ключья разнесли рязанцы и литовская рать — на юг побрели свежие рабы, и «оскуде бо отнюд вся земля Русская воеводами, и слугами, и всеми воиньства, и о сем велий страх бысть на всей земле» — после «победы»! Через миг — два года — Тохтамыш, князь просто бежал, и Киприан, и Сергей. Вернулись — Москву еле очистили от мертвых, за восемьдесят тел — один рубль. Всего: триста рублей, а по окраинам — кто их считал... И снова в церквях хана славили раньше князя и — нет проблеска; еще внук Донского, Василий Темный, поедет на суд к «царю»; и только сын его — Иван, которого по глубокому снегу тащили прочь из Троицкого монастыря, остановит татар на Угре — до этого еще век, да разве кончится этим? Чем дыхнуть мог великий несчастный князь на краю сырой могилы да что шептать ему мог старый игумен, собираясь скоро вслед, а ведь копошились еще под каменной смерти горой, мудрили, писали дерзкое завещание: назначить наследника без указа Орды, но не это, не это.

А то, что — ни единой счастливой души. Может, лишь... Сергей? Даже не знаю.

Кто-то заметил: Сергей не улыбался совсем. Не так! Улыбался, вспоминая, как «аркуда» — медведь — таскался к хижине без выходных за подкормом и крутил круглой своей башкой, «как некий жестокий заимодавец». Где ж его «мал укрух» хлеба? Разве не улыбался он, утешая недотепу мужика, не углядевшего в «сироте» чудотворца? Смеялся: ты правильно сказал, это вон они во мне ошибаются! И говорил: никто не уходит печальным отсюда. Это наш божок, и все «у Бога» — плачущие и убогие, а у них — радость и блеск, любовь.

Пока оставим снежные равнины.

В тающей Византии богословы схлестнулись в тридцатилетней распре. Не шутка, богословие не просто «самая главная наука», это — столпы, держащие небо, судьба народа, рок.

«Византийский гуманизм» нащупывал опору в светском знании — науке, укреплялся логикой: вера подтверждается разумом, истина приоткрывается разумом. Если мир — дело Божьих рук, то, постигая миропорядок, человек постигает и Господа. Существование Бога можно доказать себе умом. Гуманисты рвались в «свет» из тесной церкви и тянулись к родственному «латинству». И пали в битве с исихастами.

«Исихиа» — покой; слово, проросшее из египетских пустынь первых христианских веков, от монахов-отшельников. Правда исихастов: мудрость бессильна. Ухищрения разума: добытые знания не подвинут к истине даже на локоть. Но путь есть — внутри каждого. Бог создал тебя своей «энергией», ты — родственен ему, ты и есть — весь мир. Не ищи: все в тебе. Будь один, будь праведен в пустыне,

запрись в келье, забейся в угол, склони подбородок на грудь, задержи дыхание — старайся найти душу свою. Ум взойдет к Богу — молчаливой, «умной» молитвой — и возвратится, познав, и тогда сквозь сердце твое пробьется и засияет ослепительный фаворский свет, не призрачный, явный, он «обоживает» — воссоздает изначальный единый мир, золотой век, который сиял апостолам на горе Фавор. Свет доступен святым, он в единстве со всеми — и Богом. Человек при жизни способен отчетливо вкусить сладость торжествующего бессмертия, не надо ждать.

Исихасты покинули пещеры в скалах — стали властью Византии, властью православного мира, наследовавшего эллинизм. Они утвердили: мы — другой мир, останемся им. Иногда говорят, что Византию это погубило. Иногда говорят, что Русь это спасло. Вызванный свет сжег Византию дотла, но согрел Русь, смогшую удерживать черные скалы Востока и Запада, готовые сомкнуться. Русь осталась жить, унаследовав от Византии ответственность за большее, чем могла понять, — и что-то от этого в нас? Книги исихастов были на Руси, Алексий, Сергий, конечно, были «в курсе», но вряд ли Русь была способна что-то сама думать в ту пору — она жила. Вот еще пишут: то, что Митяя удавили — это победа исихастов — вот это по-нашему!

Мне кажется, в русской душе переплелись исполинская воспитанная зимами неподвижность, лень, необоримая даже смертью, и — страх. Страх, в котором корчилась родная земля, начинаясь, а кругом — поганые; единственные «родичи» — Византия, и та — далеко, и ту — скрывает потоп. Одни! И все семейные предания — про то, как пальцы судорожно хватили кромку льда, а река тянула на дно. Смертный бой, неистовая живучесть, недоверие — никто не поможет, — безмерное терпение с верностью дикой свободы: все одно перегрызем и уйдем! Страна действия, а не думания — некогда! — и наивная гордость сироты: а вот и я — как человек, и кафтан приличный, и зуб золотой, пусть — победней, зато правда за нами, мы — спасем, мы — на свету!

Страх во мне, во всех — и в Сергии: днем, на фаворском свету, веселы и кичливы, а ночью беспомощны, как дети, смотрим на голую стену — никто не придет.

И вечная бредовая идея русских — отвоевать Константинополь назад — это порыв ребенка: найти мать! Спасть от крошечного одиночества. Умом не разъяснимая животная страсть, не знающая ни закона, ни скучных невозможностей, ни смерти: я просто люблю и хочу! Лихорадка, трясающая всех: Василий Голицын еще в семнадцатом веке вел полки на Крым, а в секретных бумагах решали: Константинополь! И Петру Алексеичу с детских лет запала летопись: как брали Царьград, и он мечтал, возя с собой икону Сергия, написанную на гробовой доске святого. И славный Потемкин, ворвавшись, наконец, в Крым, тут же вкопал столб — «Дорога на Царьград». И великая Екатерина, и грозный Николай, и все потом — все гнули в эту сторону, все шептали: «Балканы, Балканы»,

про себя повторяя: «Царьград». И последний император — Сталин, даже тот расплылся на полмира, а все косился — туда же. И всем не хватило: чуть-чуть. И с корабля видали, и гарнизоны высаживали, а — не вышло. Все равно шепчешь в подушку: зачем Николай давил венгров; Австрия, неблагодарная тварь, всегда нам костью в горле; продержался бы Константинополь еще век, не помер бы так быстро Тамерлан; а там бы Грозный послушал умных людей и не увяз бы в Ливонии, а бросил стрельцов на юг — они бы живо навалили этим Баязидам да Мехмедам. Господи, у нас даже лица бы были другие, когда бы Царьград устоял, — не вышло.

В этом что-то есть. О нас?

Я начинаю мерзнуть по ночам. Просыпаюсь: холодно, слышу голоса, кругом говорят, словно нет стен. Бьет колокол и — внутри колокола подземные реки уносят, роняется краска с обветренных стен. В тучу собираются галки, галдят: куда лететь? Жду утра, пережидая, как болезнь, ночь, — когда отворят Лавру. Мне надо туда. В правый угол Троицкого собора: согнуть спину, истратив свечку на огонь.

Счастлив ли он? Жил да помер. Сквозь плетеные словеса мне светится дорожка.

Откуда Епифаний так подробно знает, как «прошлись» по Ростову московские воеводы? Столь равнодушный к мирскому, что даже миротворческие походы святого к князьям помянуть не удосужился, а тут замедляется: так били, так грабили, а этого повесили за ноги, поименно грабителей и жертв — а ведь так скуп на имена даже для свидетелей чудес. Событие сие Сергия касается «не прямо», семьи его — вскользь: они переезжают от бедствий, избегают их. Да и нельзя сказать, что мирская жизнь семьи Епифания интересовала — брат святого Петр раз мелькнул в житии, да и пропал навек. Дело прошлое, какого же рожна ворошить удельную распрю, да еще ту, где обидчики — москвичи?

Епифаний и сам, я думаю, не сказал бы, почему. Он работал как журналист: опрашивал каждого — «все о Сергии». Каждый припоминал самое важное «на эту тему». Как обработать сведения, сваленные кучей? В житии святого Епифаний мог оставить лишь «пересечения» — то, в чем свидетели совпали. И рассказ о ростовском погроме объясним: либо монахи из ростовских земель как один нашли нужным вспомнить эту напасть «попутно» Сергию, либо сам святой или брат его Стефан поминали это, и не раз. И Епифаний машинально повторил «длительность» их рассказов, чуть сбившись с внутреннего тока своего труда.

Кровавый средневековый погром, разбой, насилие, смерти — это начальное воспоминание детства сверстников Сергия и самого святого. Страшные картины не ушли из памяти даже спустя десятилетия, как же они тогда сидели в детской душе и возвращались

во снах? Нашествие не только развеяло надежды, что семья спасется от нужды, в мальчике оно могло отпечататься горечью: мир вовсе не подсуден добру и не ищет справедливости. И, может быть, потайным стремлением отрока Варфоломея было достичь «золотого века» — справедливости и свободы.

Сергий хотел «устроить жизнь», пусть и хоронился кричать об этом, но желание «устроить» вовсе не ничтожно в сравнении с обещанием отдать себя Богу — они равны, и поэтому Сергий не сразу бежит в монастырь, он соглашается жить с отцом и матерью до их смерти, хранить их старость, значит, это не было суетным для него. Да и уход сразу двух братьев «в монахи», в пустынь, имел и житейский расчет — наследство, как бы жалко ни было, в этом случае не дробилось и целиком попадало брату Петру. Да и «в монахи» торопились тогда не колченогие и убогие, как кажется нам. Церковь орда на трогала, и на погибель ей за монастырскими стенами готовили государственных мужей, послов, писателей, разведчиков, ремесленников, учителей, лекарей, а то и ратников (вспомним Пересвета и Ослябю).

Одиссея называет Гомер «великим механиком» за умение строить хитрые сооружения, «работающие» в жизни. И Сергий видится мне «великим механиком», творцом «машины» добра и справедливости, на развалинах которой мы подводим итоги. Ведь не зря и в народных снах Сергий не проповедник, а — плотник, в сосновой чистой стружке.

Выбрали пустынь в чаще, но не совсем далеко от людей. У нищего парня, уже — лес, холм, свобода, звание: «Аз есмь Сергие Маковский...» Он здесь — Бог и выстраивает прежде всего свою душу и счастье, закаливает волю и выбирает стяг — Святую Троицу. Все, что он хочет, — это «побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира». Он не сбежал от людей — отошел. Чтоб перетягивать на свою сторону.

Появились монахи, и молодой отшельник рад своему притяженью: заработало! Но это — другие люди, они не совпадают с ним совершенно, люди приносят человеческие, необходимые им законы — им нужен игумен. Пастух. Нужна встречная жертва. Конечно, она убавит полноту первобытного счастья, но продлит его век. Сергий, словно лесной зверь, чутьем постигает это новое для себя. Механик побеждает монаха: сотворил людей — надо за них отвечать, покинуть райскую пещеру и тронуть горькое дерево власти, лишиться покоя, блаженства и потом — родного брата. Это он понимал, раз так мучился, решая.

«Машина» трудилась, и он любил свое детище, ревновал, боясь подпустить чужого, бросался «все сам»: колол дрова, толлок зерно и молол, вращая жернова, выпекал хлеб и шил обувь, одежду, готовил свечи, просфоры, кутью, советовался с опытными: у нас правильно заведено? Святой — на трудной работе, которую и сам не понимает совершенно, но видит: это — город его, Русь, живущие по сердцу.

Но люди приходили еще — их очень долго было лишь двенадцать, не зря Епифаний повторяет это опять, опять, будто грустно ему оставлять это число. Двенадцать — особое число, свыше — уже все меньше апостолов, все больше стада. Меньше ведешь — больше собираешь. Меньше слушают — больше просят. Кроме соединительной «машины» Сергия, не уставала махать разъединительная «машина» смерти. Дорожка пролегает посреди и мостится душой идущего. Дорожкой каждый идет, но только сверху видно, Господу, кто забрал в какую сторону, и Он объявит потом итоги. Святой и грешник определяются лишь углом наклона.

Ученики переросли в братию, и братия едина против одного: дай! Вот в чьи жадные рты летели жирные чудеса. Сергий не чудотворствовал вдруг: «Что я сижу, как пень, дай-ка я скуки ради...»

Братия роптала: запрещаешь попрошайничать, а мы голодны. Требуешь от нас — тогда корми. И спасло чудо: в монастырь постучались подводы с горячим хлебом. Но когда? После того как Сергий нанялся строить сени и сам наелся, хоть и «гнилыми посмагами» (ведь не пухла братия с голоду, раз хватало гнилого хлеба). Его искушали чудом — он не поддался. И всем пытался подсказать: прокормитесь трудом. Но и братия завопила лишь после насыщения «святого»: голодать вместе с ним — она готова, но работать, как он, — нет. И разницу несовпадений Сергию приходилось оплачивать чудом.

Сергий не мог выбрать место совсем без воды. Епифаний ясно пишет: чаша леса «имуша и воду» — воды хватало Сергию, двенадцать учеников не жаловались, а братия «поропташа» да «многажды с досадами глаголааху». Это не красны девицы застонали: далеко по воду ходить, а монахи, суровые «пустынники!» Монахи «особножитного» монастыря, где каждый кормится из своего кармана, могли и слуг держать, и торговать, и деньги одалживать под процент хороший. Игумен в таком монастыре не был завхозом: вода далеко? В другом монастыре она поближе.

Но раз монахи вопили, а он повиновался, выходит, кроме поверхностного, был меж них и тайный союз их «машины», выходит, он требовал от них чего-то «сверх», и они в ответ — не стыдились того же.

Сергий соблюдает тайну — вслух: «Просите в молитве своей», а сам так пошел вымаливать ручей и опять — со свидетелем, монаха прихватил и Богу ясно говорил, зачем ему это: «Пусть узнают все», — и хлынула вода, а он соблюдал приличия: «Не я, Господь даровал!..»

Сергий бился с ними доступным его «машине» способом. Когда он ходил тихонько вдоль келий и слышал смех или праздную болтовню, он только — стучал в дверь. Это — невидимые посещения. Он увещевал ими при жизни и по смерти.

Он «посещал» невидимо братию, сшив себе ризу из самого худого сукна, не просто из сермяги, а из того тряпья, которое поддер-

жали в руках и бросили все до одного монаха. А он поднял — и носил. Монашеский подвиг Сергия вообще очень здоров — он не сидел три года в дупле липы и гусениц не ел, и в этой гнилой сермяге ему удовольствия особого не было — он так разговаривал с братией: «несите бремя друг друга», вот он и нес, борясь за свою машину.

«Машина» разрасталась, ее ремни достигли дальних земель и вращали там жернова, и механик без устали пускался пешим в дальние дороги: стыдить непокорных князей, устраивать монастыри и церкви, крестить великокняжеских сыновей. «Машина» менялась, но и механик менялся, жертвуя и жертвуя полнотой одинокого сердца на высоком холме. Необходимость сытных чудес тосклива: ей постоянно нужно чего-то новенького, «поострей»; умрет чудотворец — и ее не станет. Сергей чувствовал, как и всякий, дыхание машины смерти и, кажется, уже понимал, что заведенная им механика слопает его целиком, она все время соскальзывала, золотой век будто раскисал на нашей глине, и под буксующие колеса надо было бросать себя, и Сергей наверняка уже размерил свою жизнь на куски: чтоб хватило до конца. В силу своих представлений о конце. Спасаться от чуда он бросился к власти.

Монастырь стал «общежитийным» — «все обща иметь». Возникла «киновия» — по-гречески, а по-латыни — «коммуна», «коммунизм» — с этого слова и вы должны что-то угадывать во мгле моего повествования — и напрасно. Сергей видел: неполадки в машине от стяжания, устраивать монастыри и церкви, крестить великокняжеских сыновей — неравенства, голода, зависти, праздности. Человечек и без того слаб, а уж искушаемый имуществом — троекратно. Поможем слабым: общий труд, общее добро, общая еда — ничто не отвлекает братьев от света. Он в это верил.

Мы как никто представляем, насколько чуждой приходит в душу «киновия». Общежитийные монастыри мелькнули на Руси в полузабытые времена Антония и Феодосия Печерских, но не прижились — это было века назад, уж все позабыли «колхоз». Сергей не отважился сам надстроить свою машину, а ждал посланного патриархом креста с мощами мучеников литовских и благословения на «киновию» — как несчастный председатель сельсовета, имея на руках грозные указы, мучается ночами, а сам не начинает, ждет кожного уполномоченного из района.

«Машина» устремилась на помощь людям. Люди бросились прочь от нее. Сергей ушел, как только брат крикнул в церкви: «Кто есть игумен на мъсте семь». Ушел — его никто не остановил, и, значит, его изгоняли — монахи не захотели «колхоза». Сергей пытался, как встарь, отойти в сторону и перетянуть к себе, но четыре года прошло, пока он вернулся: значит, если и тужили, то не слишком, если и звали, то не все; значит, жили и обходились, и Сергей, раз увязнув коготком, не погнушался опять прибегнуть к верховной власти — вернулся, когда Алексий пообе-



шал убрать всех недовольных, и Сергей, который запрещал братии руку поднять на темного землепашца, Алексею не возразил — такие дела.

Счастлив он был? Не знаю. Он был очень русским человеком. С очень русской судьбой.

Если я пытаюсь представить, как Алексей просил Сергия стать митрополитом, принять золотой драгоценный крест, мне кажется, оба молчали, исполняя для окружающих красивый, но лишенный смысла для них двоих обряд. Сергей не мог стать митрополитом — нетерпеливо переминался в ожидании Митяй. Сергию не нужна была митрополия — он и в Троицком монастыре был пастырем всей Руси. И он не знал, зачем ему митрополия. Обманувшийся в чуде, во власти, в силах своих, уже «машина» работала сама, и он ничем не мог ее подправить — он отдал все, служа до гроба, он сам вряд ли понимал, что у него — получилось. Это сверху видней. Внешне они обставили все достойно. Алексей: стань митрополитом, я очень тебя прошу. Сергей: я не достоин, не проси меня, а то уйду в далекую землю.

И он отправился в нее через несколько лет, отдавать последнее машине. Богородица явилась словно утешить его: «Избранниче мой...» — как сказала эта женщина: «Избранниче мой...» И я так хочу чтоб это было, было, чтобы блистающего света Богоматери хватило на весь его путь до дальней земли!

Хотя большой вопрос, что она ему сказала на самом деле, она же знала все, что будет потом. Про нас. И промолчала, пожалев?

Смерть восходила от земли — «ноги его костенели день ото дня, будто он по ступеням приближался к Богу», запомните на будущее: ноги уходили первыми, кости ступней.

За полгода до конца он умолк.

И угас совсем немощным — братия двигала его руками, когда он причащался. Епифаний услышал из умирающих уст краткое напутствие, как без этого, но на самом деле вряд ли они смогли разобрать подлинно из немеющего шепота что-то, кроме: похороните на общем кладбище. Он попытался выскользнуть из «машинных» лап, на отдых, оставить только себе хоть сырую краюху холма Маковец, избежать судьбы, открытой Богородицей, да куда там... Разве сыщется на Руси свободная могила, когда за дело берется... Ну ладно.

Он перестал дышать, и лицо его стало светлым, как снег. В древней литературе мало цвета. Если есть, чаще — белый. И Епифаний вослед нацарапал пером то, о чем Сергей Радонежский за всю жизнь не вспоминал ни разу: об ангелах, о дверях райских открывающихся, о блаженных покоях.

Счастлив ли? По отношению к нему этот вопрос теряет смысл. Сергей прошел по стене меж счастьем и несчастьем. Он хотел уничтожить страх перед ненавистной раздельностью мира, он не брался уничтожить саму раздельность. Он разрушил лживую стену

меж жизнью и смертью. Он избежал русской лени и спрятал русский страх. Он показал, что жизнь — это не то, что мы про нее думаем. Но он показал, что и бессмертие — это не то, что мы про него думаем: никакой амброзии и голых баб на весенних качелях.

Он дал нам почти все. И — почти ничего.

Крепко стучались лбами: а уж не при Сергии ли Троицкий «колхоз» стал коллективно стяжать, обойдя в корысти любых «особенителей»? Ловили в архивах какие-то деревеньки и солеварни и ставили рядышком с мнением Киприана «пагуба чернцем селы владети», или это после его смерти «колхоз» размахался и преобразился в крупнейшего землевладельца России, ухватывая села, бортные деревни, солеварни, хлеба, семгу, шук, лещей, мед-сырец, накопив сорок миллионов рублей серебром к середине XVII века и сто тысяч крепостных к концу XVIII, прославившись в народе поговоркой: «У Сергиевой лавры сам царь в долгу». Но, во-первых, какая разница, кто хозяйствует, лишь бы земля богатела, а во-вторых: какая разница?

Всего этого, может, в Сергии нет вовсе. Но все это есть во мне. Другого пути к жившему человеку я не ведаю.

Сегодня понял: в комнате пахнет ладаном. Вынес плащ в ванную: все равно пахнет. Видит ли меня церковь? Скорее: имеет в виду. Прежде надо непременно согнуть спину, затем — окликнуть. В пустом ресторане навстречу подымается официант. Такой же заспанный и всклокоченный, как я. Вместо хлеба подает калачи.

Солнце — единственный день. От гостиницы увязался за мной черный щенок-овчаренок, схватывает печенью и носится вокруг — дурак ты, дурак! — и мотает ушастой головой на бегу — от радости, и мчится носом на голубиный табор. Под колокольный звон. Рано, еще не наполнили Лавру стада и пастыри, живут последние цветы, по мокрым дорожкам пробегают семинаристы, ступают парами их будущие «матушки» с румянными, сонными лицами, и так сладко и горько думать, что вот поедут они в забытые города, в развалины, к заждавшимся старушкам, и будут провожать мужей, рожать им деток — и дети не будут воры, — закрывать варенье из вишни и отвечать на низкие поклоны — победа Божьих сил тиха, как последняя болезнь, не палит из пушек.

Задыхаюсь солнцем на площади восставших «русских Афин», первыми возжаждавших бессмертия в заветные времена героев, когда боги спускались на землю и смешивались с людьми. И разверзаются каменные плиты, выпуская на волю золотые сны, и все начинается опять добрым знаменем: инок-пономарь, спавший на паперти, вдруг видит, как сдвинулась и упала гробница Александра Невского и святой князь поднялся на помощь правнуку, и на следующий день — нашли гроб с мощами. И в блистающем сиянье шлемов, упряжи, щитов вступает в Лавру русское воинство, и кони трясут головами, и старец монах и великий воетель-князь Агамем-

нон сходятся в узкой келье, и их явные голоса заглушаются тайнами, и глаза их говорят больше, чем язык. Князь говорит и думает: за «розмирие» с татарами приходится платить, полчища Мамая двинулись на Русь, а мы не собрались: Рязань, Смоленск, Нижний Новгород, Псков и Новгород — не с нами, нас много меньше, да и в полки набрали всех, кого могли, с рогатинами и дубьем; и ты же, отче, знаешь, что ополчение, может, и устоит, но ведь его высечет до последнего татарская конница. Надо встречать Мамаю в Диком Поле, иначе к нему поспеет литовская рать — она и так дышит нам в спину, и все понимают, что ждет нас, нужно укрепить людей — Киприан, проклявший меня, не благословит, Дионисий в Царьграде, архиепископ Новгородский далеко, мне нужно твое слово, они его ждут. Хотя ты знаешь, что нам суждено. Я не могу вынести это один.

В Лавру стучатся гонцы с вестями, игумен шепчет: без числа плетутся, вижу венки мученические, но пока, князь, не твой черед, я сначала говорю тебе то, что должен говорить вслух: Мамай — царь. Ты должен покориться. Хочет он чести — дай. Хочет золота — дай. Князь, отвернувшись, качает головой: все пробовали, да поздно уже, ты ж понимаешь, что дело не в «выходе», не в дани, — меньше платим, и Мамай чувствует: что-то у нас началось. Надо ехать, отче, прости.

Игумен держит его: останься на службу, отпробуй нашего хлеба; а потом кропит святой водой храброе воинство, князя; и страшная тишина накрывает монастырь, когда на чистом месте меж черной ратью монахов и золотой — дружины игумен благословляет князя крестом и говорит только ему: «Иди, не бойся, Бог тебе поможет», князь быстро опускается на колени, игумен припадает к нему и выдыхает: «Ты победишь», и князь неловко что-то смахивает с глаз.

Войско достигает Дона и стоит: перейдем — позиция будет хорошая, но отступать будет некуда, и спешит «борзоходец» с грамотой от Сергия — идите без страха. И на Рождество Богородицы на Куликовом поле сошлись Пересвет с Челубеем, и оба пали.

А в деревянной церкви Святой Троицы монахи молились, и игумен называл тех, кто навсегда обнял Куликово поле, они пели заубойные молитвы, а он называл все новых, всю битву, не покидая алтаря, принимая смерти на плечи свои, давясь этой тяжестью. Потом вдруг замолчал и пошел к выходу — никто не шелкнулся двинуться за ним, он на пороге вспомнил, что надо сказать всем, сказал: «Мы победили» и ушел, под страшным грузом своим, один.

Мы победили, и пусть святятся эти люди, посмевающие быть русскими наперекор «глубокому безмирию», прощаясь с уходящей во мрак Византией, на краю наконец-то дрогнувшей в «замятне» ненавистой Орды, раздавившей в ничто полторы тысячи наших селений, — обреченные, в крошечном одиночестве болот и ле-

сов, эти великие люди, которые работают до рассвета и уходят, когда мрак не отступил даже на пядь. Они угадали. И народ угадал их, Сергей будто окликнул во тьме: а не меня ли вы ищите? И народ узнал: мы вот такие, мы есть, и от бедной одной лучины разошлись сорок монастырей, а от них — пятьдесят, разошлись собиратели земель, проповедники, просветители, живописцы, строители, хозяева, плотники, ювелиры. Земля нашла опоры: Авраамий Галицкий, Савва Сторожевский, Павел Обнорский, Пахомий Нерехотский, Афанасий Железный Посох, Сергей Муромский, Мефодий Пешношский. Разливался от Троицы свет, преодолевая раздельность людей, уча их бессмертию. Раздвинули скалы Запада и Востока сильными руками: граница начиналась за Можайском, когда маленького сына Василия Темного прятали от злых Шемякиных слуг, а когда умирал Иван III — до Киева оставалось всего пятьдесят верст, и он уже громко выговаривал, что свою «отчину» мы не признаем чужой и, как бы далеко она ни была, мы опять будем все вместе, и думал про Царьград. И сколько имен истлело, а эти — выстояли, и мне так хочется, чтобы они думали тогда о нас, хоть это невыносимо.

В соборе я нагнулся в торговое окошко: свечка сколько стоит? Монах размеренно ответил: свечу берите. Денег можете пожертвовать, сколько пожелаете. Пальцы опять запнулись в кошельке: сколько? Надо побольше. Ну, вперед, я встал в очередь, просто, будто рядом стою, но за мной уже встали, взяли, мы переступали к мощам под тихое пение. Не надо думать, что делать «там». Но почему, когда наступает пора покупать свечи, кажется: надо подождать? Еще шаг. Смотри, что вокруг. На железном поручне под иконой опять скомканная желтая салфетка с истрепанными от влаги сгибами. Каждый день ее вижу. Чего они не убирают ее? А, догадался, конечно: салфеткой вытирают место на иконе, где хочешь поцеловать. Или вытираешь после себя. За собой. Тут я споткнулся. Сзади сильно зашаркали, и меня попросили отойти в сторону: все пропускали вперед ползущую на раскоряченных ногах увечную — она елозила по плитам толстыми обмотками и трясла свернутой налево головой с едва открывающимися глазами, сетка в синем халате подправляла ее, когда та сбивалась с пути: налево или направо, священник уже искоса поглядывал на ее приближение.

Я сунул свечку в ближайшую руку: пожалуйста — и пошел на выход. Вдруг она сейчас коснется раки и — вдруг? Что я-то тогда буду делать? Брезгливая тварь санитарного века.

На крыльце зевали два милиционера, один рассказывал: смешно убил кота. Надо дернуть за хвост, но так, чтоб он не успел выгнуться. Так смешно получилось. Только кровь потом не могли отмыть. Он повторял: вспоминаем — угораем.

В Успенском соборе уже отслужили, прихожане выстроились к священнику, а я, прогуливаясь, обнаружил в углу, под исцелованным стеклом, отлакированный коричневый гроб Сергия Радонежского, кое-где, кажется, скрепленный для целостности даже жостью. За гробом, боком на батарее, сдержанно сопела в покойном сне некая старушка. Я примерился: гроб на человека небольшого роста, очень узок в ногах. Крышку, наверное, попилили на реликвии. Я прошелся у гроба кругом — безмятежная старушка при этом случайно опустила руку на свою сумку.

Из-за чего — страха? лени? — бесшабашно плюется на посмертную волю? Сколько бумаги измарал Гоголь: «...Чтобы деревня наша по смерти моей сделалась пристанищем всех не вышедших замуж девиц... Чтобы по смерти выстроен был храм, в котором бы производились частые поминки по грешной душе моей... Чтобы тело мое было погребено, если не в церкви, то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались...»

А получил на Новодевичьем кладбище бюст, плечистый, как танкист-полковник, с издевательской надписью: «От советского правительства». Вот только вдруг и в жизни этих посмертно не оставленных на покой, «используемых», было нечто, предполагавшее посмертную судьбу — каждому свою? Ведь Гоголь — удивительно! — прощаясь с жизнью, напутствие друзьям закончил не как-нибудь, а: «...И человечество двинется вперед» — не смирился, объявил себя подданным, подмастерьем русской «машины»; гражданином русской судьбы мечтательных, говорливых, бессонных ночей, и, наверное, жаловаться не может, когда судьба — взялась за дело. Вы понимаете, о чем я думаю.

Мало что простыл: сиплю и чихаю, так еще кто-то ходит все время за мной, обернусь — да никого нет. Хитро становлюсь вечером на площади у Троицкого собора, чтобы видно было кругом, — за спиной опять шаги, верчусь — все время за спиной. Крадутся и замирают рядом, а никого не видно: ветер скребется когтистыми лапами кленовых листьев да галки лущат желуди так, что ветки стучаются о крышу ризницы, в коей государство хранит награбленное, лишая сна милиционеров.

Другой творец Троицы и «механик», ловец света — Андрей Рублев — скрылся. Выходит, его «машина» не кончила людоедством, и он умудрился пропасть среди Москвы, в надречном холме, где-то на месте разоренной колокольни — на северо-запад от нынешней западной стены, и разные твари безуспешно шарят по земным пазухам с применением «последних средств», глупо считая, что люди остаются за дверьми, которые их скрывают, — будто им некуда больше идти.

Но это я вернулся, прошу простить. Некоторые вещи ужасно прилипчивы. Есть еще одна. Стыдно, но совершенно выбросить в окошко я не смог ее ни разу. В моей простывшей голове Сергей Радонежский никогда не присутствовал вовсе один. Я крался за ним, хоронясь за смолистыми соснами, подслушивал в келье, под-

глядывал чудеса, а за мной, треща ветками, пробирался еще один «товарищ», и, оглядываясь, я с отчаяньем убеждался, что это — Владимир Ленин.

И понимаю, что на самом деле — блажь, призрак. Но моя болезнь помимо рассудка сближает их, подсказывая совершенно бессмысленные сходства: оба среднего роста, рыжеватые, имели единомышленных старших братьев, носили бревна на плече, оба «механика» просветили Русь — фаворским и электрическим светом, — оба жили под чужими именами, скрепили землю, шедшую вразнос, умолкли одинаково перед смертью и заслужили судьбу нетленных мощей с очередью для поклонения.

Просто решить: их «машины» врезались в лоб, Кремль раздавил Лавру, Империя погибла, как Рим, — избивая христиан, Россия погибла из-за Ленина-дьявола, но ведь кремлевские стены возведены так нам знакомыми работающими святыми руками. И мы напрасно думаем: дьявол — это другой. Дьявол, как и Бог, — во мне: Епифаний верно разглядел его черты — «дьявольские мечты и и я», дьявол — «мысленный зверь», посторонним он был лишь в русской античности: боги были всеильны и молоды, а бесы приходили из леса в «островерхих литовских шапках», и боги не знали будущего на блистающем Маковце и хохотали: «...Дьявол хочет и землю потребити, и море иссушити, не имея власти даже над свиньями», не зная, что их великая «машина», понемногу привыкнув, вдруг бросится пожирать людей, а потом сожрет сама себя и рухнет — без дьявольского, чужого касания, от внутренней хвори, искренне опираясь на которую последний «механик» возьмется честно использовать завет «Силой берется царство небесное» — и они накопили бесстрашную рать для великого штурма, только царства не нашли.

Ленин, не замечавший поразительно многого, Сергия «учитывал», «невидимые посещения» касались и его, и он, по-своему, спешил «приложиться к святым мощам». «Показать, какие именно были «святости» в этих богатых раках и к чему так много веков с благоговением относился народ...» Мощи показали ему на белом полотне, и он обрадовался, не ведая, кого следующего засушит «машина»: «Надо проследить и проверить, чтобы поскорее показали это кино по всей Москве».

Да, море проседает впереди, теперь и вы видите искомый Царьград: башни и крыши на темных скалах, и черные звери бегают вдоль воды — к чему мы так неотвратно плыли.

Плыли — любили его имена, гуляя пальцем по карте: Мраморное море, Акрополь, ворота Святого Романа, церковь Марии Паммакаристы, Форум, Влахернский дворец, гавань Золотой Рог и совсем близкая — Троя... Но, пока мы добирались, Мехмед Второй привел двести тысяч под зеленым флагом и они два месяца лупили пушками наши блистающие стены, рыли подкопы, со-

оружали осадные машины, засыпали рвы — город защищали всего семь тысяч (как всегда: раз надо — значит, нет), а Мехмед Второй даже спать не мог от нетерпения и рисовал схемы штурмов, и, как мы, любовался картой — этот «механик», воитель, любитель философии и астрономии, велевший резать рабам животы, чтобы выяснить: кто же съел краденую дыню. В последнюю ночь турки не спали. Они развели столько костров в лагере и на кораблях: биремах и триремах, что защитники обрадовались: пожар! Поняв, стали прощаться друг с другом. Мы все плыли, а город резали три дня, императора зарубили янычары, живые прятались в храме Святой Софии — чудо спасет. Да разве сыщется у нас чудо, когда за дело берется...

Мехмед въехал в прекрасную Святую Софию на белом коне. Посмотрел, даже удивился: так красиво... Пусть здесь будет мечеть.

Мы добрались и стали, и «корабль тот тогда стояше на едином месте и не поступая с места ни семо, ни тамо».

Живу, не сдвигаясь с места, и кажусь себе римским легионером, брошенным умирать в Африке, где нищие дети окружают в ломотьях иноземные автобусы, туземцы ленивы и голодны, слушают английские песни, едят американские фильмы, стыдятся своих шаманов и любят своих пиратов, — я ненавижу место умирания. Но не так давно выяснилось, что для подлинной своей Родины я — косматый краснознаменный варвар, я — незаконнорожденный, но любил-то ее, как родную! Глупость — так не повезло. Все изменилось. Сердце своими ударами давало жизнь, теперь — приближает смерть. И смерть ожидает иная: лечь в зыбучие, загаженные пески. Меня не сразит тихая стрела Артемиды, и Гермес не толкнет к кованым воротам подземного царства Аида, которому приносят в жертву зверей черного цвета. Там пустует всегда одна обитель — смерти, та всегда на земле. Там течет Ахеронт. и Харон переправит на своей ладье на асфоделовый луг, и ты обязательно выйдешь на берега другой реки, и почувствуешь жажду, и напьешься, и весело крикнешь: «Что за вкусная вода? Старик, слышишь? Я — совсем другой!» Старик ответит: «Лета». Господи, но почему я сразу же забыл?

Могли б здесь проститься, не трогать мощей, но дурные помыслы должны открываться исповедникам. Да если и заткнуть победные трубы, на что мы больше годны? Мы — старьевщики, наше дело — собрать кости и очистить помещение. Вытереть пыль с карт далекого города и написать карандашиком на стенах с рамками от снятых образов, что где было: светило, цветок, звезда, луч, лилия, кадило, яблоко, шиповник, золото, корабль, крепость — слова, которыми премудрый Епифаний кратко записал для памяти свое чудесное путешествие за Сергием вслед. Их не прочтут — на наше место прикочуют легконогие племена с черными собаками, но с похожим на наш языком — и никогда не узнают, что за город здесь погребен.

Ну что ж, берег все ближе, а среди русских святых не было ни одного рабочего. Крестьян — меньше одного процента. Крестьянский сын — один. Убит молнией. Из книжки «О святых вещах» (цена — 13 копеек) узнаете: «Гниение — это естественный, закономерный и полезный процесс». Эти слова высечены на городских воротах.

Пойдя навстречу нетерпеливым пожеланиям трудящихся, 1 марта 1919 года Наркомюст — имя, достойное римского императора! — дал указание о вскрытии мощей, подсказав для пушей наглядности и чистоты рук нагрузить вскрытием попов. А когда покопались вдосталь во всяких там пресловутых Ефросиниях Полоцких, Александрах Невских, Тихонах Задонских, Сергиях Радонежских, посмеялись и распределили, что в помойку, что в музей с приказом сделать покрывку из зеркального стекла, — Наркомюст больше не волюнил и 20 августа следующего года повелел — «О ликвидации мощей», этого «аппарата одурманивания» «темных, гипнотизируемых масс».

Дерево упало, птицы отлетели.

В этом городе странно жили: скоро — сойдем, посмотрим: и газетки вредные выходили, и умники «отъезжали» за рубеж, и деньги любили, и богохульствовали (да еще как!) — однако ж за пятьсот лет ведь ни у одной сволочи не хватило решимости обнажить мощи Сергия! Видели многие: когда осматривали после удара фанатика-сектанта топором; показывали «голову» игуменье Страстного монастыря Евгении Озеровой летом 1869 года; в семнадцатом году уносили на руках от пожара в алтарь и посмотрели, не задело ли? И надо ж — ни один.

И вдруг — все. Здесь пахнет колдовством, безумием. Но мне кажется: вожди искренне искали святых. Собравшись на штурм царства небесного, они не могли оставить за спиной «святую задницу». Все повторилось. Разбивая раки, они благословлялись на свой манер, доказывая дружине: «Мы победим!» И даже если б из одного гроба поднялся-таки нетленный чудотворец, ровным счетом ничего бы не изменилось — живо накинули бы шинель, запихали в грузовик и увезли бы в Коминтерн, в отдел по устройству «нестроени!» английской буржуазии, вечерами, внештатно, за пшено, читать антирелигиозные лекции в клубе красных ткачих — у них уже хватало опыта «обращения святых», а какой еще будет! Но народ-то, мне кажется, лукавил: противиться — лень и страшно, но позволив комиссарам залезть в священные раки, народ ждал: а вдруг сейчас отсохнут комиссарские руки, и огонь небесный испепелит все смутные времена, да и нас заодно, чтоб детям неповадно было? Народ устраивал Господу хитрую ловушку, да и ухнул в нее с потрохами. Разве явится на Руси спасение, когда...

Святые разные: кто ушел в глубь земли, кто подбросил вместо себя собачьи кости, мусор, черепки, кто подменился восковой куклой. Сергий, как и жил, не тронулся с места, не унился, своих



не бросил — да это и так было понятно, с самого начала. Его полезли ловить в «Лазареву субботу» — день памяти Лазаря, воскресенного Христом. Христос сказал: иди вон, и Лазарь вышел из склепа, путаясь в погребальных пеленах, — не зря день выбирали, жрали себя без пощады.

Лавру готовили заранее, перешерстили «показательным обыском»: гляньте, товарищи, как монахи жили, — вот рясы дорогого сукна, вот письма от женщин, лекарства и инструменты для лечения венерических заболеваний, порнографические открытки. Обжигались, обпивались, обкуривались, кидали изнасилованных женщин с башен — и это в век санитарии.

Прихожане скопили пять тысяч подписей под прошением — «слезницей» — не троньте Сергия. Дня, когда корабль ткнется в берег, не ведали. Когда прискакала конная милиция и рота курсантов встала на выходах и вокруг, с грузовика попрыгали кинооператоры и потащили прожекторы в собор, Лавра ахнула: сегодня! Толпа шумнула, но бойцов не удалось спровоцировать на «ненужную кровь». «Ненужная кровь» — вот чем мы обогатили эту землю!

В зале духовной академии начальство ожидало духовенства. Пришел наместник и заговорил: «Сергий для русского народа... Его чудеса...» В общем, посмеялись. После вскрытия его не упустят, ему сунут под нос корявый палец: ожидал такого? И он твердо ответит: нет, не ожидал. Неизвестно, что имея в виду. Ладно, время, товарищи, кто будет вскрывать? Наместник указал: иеромонах Иона, из бывших моряков. Начальство понимающе ухмыльнулось: а чё не сам?

Наместник ответил на непонятном языке: «По нравственному чувству не могу. Страшусь».

Киношники закончили ставить свет — в соборе стояли «носом в затылок», едва дыша, на площади топталась толпа, ожидая чуда или наконец-то свободы. Монахи подошли к раке с поясными поклонами и уставным кадением. Запели было величание Сергию, но председатель исполкома устал ждать и махнул рукой: «Да хватит. Времени вон сколько было, столько уж величали... » На самом деле времени уже не было, настало 11 апреля 1919 года. Двадцать часов пятьдесят минут. Корабль достиг берега, и мы ступили на голые скалы.

Уеду — что останется? Жил, жевал, пустая кровать шептала телефоны московских подружек, бил орехи стеклянной пепельницей на местной газетке с «разоблачением ритуальных убийств младенцев», хотя если братья писать житие...

Тогда люди не знали: когда родился, сколько лет. Епифаний набросал несколько примет «того» года, приметы налазят друг на

друга, ссорятся: с 1313-го по 1322-й. Из любви к круглой цифре жизни — «семьдесят» — мне нравится 1322-й. День памяти апостола Варфоломея, с которого содрали заживо кожу, отмечали 11 июня и 25 августа. Он родился летом. По теплу.

Простыл, шатаюсь по кустам, кашляю с рыдающими звуками, давно не брит, хочу «как они», и милостыни уже не спрашивают — ничем не отличен от того, что спит на лавке, постелив книгу под бороду, а проснувшись от колоколов, просит карандаш: «Надо записать. Тут один грех вспомнил».

Никогда не ломал голову: где же Сергей? Есть такая книжка — «Псалтырь», мне кажется, за ней никто не следит: псалмы все время меняются, дописываются разной рукой. Я наткнулся на один: это писал Сергей. Вот, значит, где он.

У меня сводит скулы, когда читаю: единственная женщина, помянутая в житии, — это Богородица. Богородица, и больше не было женщин в жизни Сергея. Забывают про мать. Как трепетала она за него еще с того дня, когда трижды прокричал он в ее чреве, а она стояла в церкви; когда не брал он грудь у нее — постился, не принимал кормилицу; не шла учеба у него; братья переженились, а он захотел в монастырь, ходил печален и думал о грехах, и она до конца так и не была уверена: что в нем? И мучилась тем, что не узнает этого, — его жизнь начнется только после ее смерти, и, кажется, она даже торопилась умереть, чтоб не терзаться неизвестностью, и каждый день молилась за сына, каждым вздохом своим — молилась за сына. И я б треснул Епифания по рукам, когда выводил он, что, простившись с могилами, «вернулся Варфоломеем в дом свой, радуясь душою и сердцем», — нет! И у меня есть глубокое личное мнение, чья молитва хранила его, кому молился седой умирающий отрок Варфоломеем — великий «механик», и кто пришел утешить его и принять слезы.

Вечером разглядывал семинарию, отделенную от монастыря ручьем, а чья-то рука заперла железную калитку, впустившую меня, — увидал только край черной одежды. Подергал все двери — закрыто. Не решился стучать. Полез на кирпичный забор и прыгнул на землю фабрики игрушек, подрагивая от холода, читал плакаты: «Крепи трудом могущество Родины», «Коммунизм строить молодым», переправился через грязь и зашарил по деревянному забору, набирая репьев на штаны, нашупал-таки калитку. За ней открылась сырая темь — парк культуры. Как-то сразу ступнул мимо тропы, оказался в каких-то кустах и все оглядывался: кто же крадется следом? Вот черт, днем я вроде вниз по склону шел, а тут вообще — ровно, только плещет вода впереди — никакой воды днем не было. И я вылез к бетонному пруду и постучал ногами, сбивая грязь и листья. По высыхающему пруду с размеренным плеском кружил водный велосипед на ржавых поплавках, катая чернопогонного солдата с подружкой — они молчали, только кру-

тили педали, руками обхватив друг друга. Я обогнул пруд, но так и не смог взглянуть на их лица: судно постоянно кружило и оказывалось ко мне кормой. За прудом начинался, наконец-то, спуск, и я бодро устремился дальше, к неясному белесому пятну, предполагая в нем тумбу ограды, и вдруг понял, что это не так, но, в общем, так должно было произойти, и я все равно пошел туда — меж черных стволів криво торчал каменный Ленин с надписью «жидяра» на подножье. Я поднял глаза — в лицо ему брызнули красной краской, и в подземной тьме оно преобразилось: это было лицо забитого насмерть человека, с распухшими, смятыми смертной гримасой губами, разбитым носом, смертной усталостью в глазах и ледяным холодом, уже обдавшем стыльостью чело. Шевельнулись листья, и я мигом обернулся: черный шенок сидел под деревом и молчал, даже глаза не блестели на угольной морде, будто их нет. И я понял, что если он сейчас хоть что-то мне скажет...

Утверди шаги мои на путях Твоих... К Тебе взываю я, приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои...

Иеромонах Иона — с красным лицом, слезами на глазах — снимает покровы: зеленый, голубой, черный, темно-синий, малый покров, черный бархатный — с головы. Все покровы шиты серебром и золотом, крестами. Стали видны контуры, напоминающие человеческое тело, перевязанное на груди и у колен узкой синей лентой.

Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня... от врагов души моей, окружающих меня... Избавь душу мою от нечестивого... Обняли меня муки смертные и муки смерти опутали меня... В тесноте моей я призвал...

Иеромонах вынимает с игуменом Ананием фигуру. С головы снимают чёрный мешок, вышитый крестом. Снимают покров. Разматывают желтую ленту. Под ним — фигура в голубом. Голова в черном. С головы снимают шапку. С шеи — бант фиолетовый, затем — голубой. Иеромонах разрезает швы у ног, ножницами распарывает голубой парчовый мешок. Сбоку вынимает вату, и фигура становится толщиной в четыре пальца.

Все... ругаются надо мной... «Он уповал на Господа, — пусть избавит его»... Не удаляйся от меня; ибо скорбь близка, а помощника нет.

Снимает мешок. Под ним — полуистлевшая ткань коричневого цвета, снизу — лубок. По снятии шапочки обнаружен человеческий череп. Частью на лубке, частью на весу. Справа виден первый шейный позвонок. Человек среднего роста. При поднимании черепа нижняя челюсть отделяется, в ней семь зубов.

Множество тельцов обступили меня... Раскрыли на меня пасть. Я пролился, как вода: все кости мои рассыпались; сердце мое... растаяло посреди внутренностей... И Ты свел меня к персти земной.

Развертывают истлевшую одежду. Все густо пересыпано мертвой молью, видны рыжего цвета волосы, ременной пояс. Поднимается пыль. Отдельные позвонки, кости таза, правая берцовая, правая бедренная кости целы. Доктор Попов поднимает черепную коробку, вынимает завернутые в проволочную бумагу желтого цвета волосы. Доктор собирает массу моли и показывает присутствующим.

Псы окружили меня... Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий...

От предплечий остались одни истлевшие части. В области лобка пучок рыжих волос без седины. Череп соответствует по древности костям. Кости найдены все. За исключением с т у п н е й.

Одежда была грубого деревенского сукна, вся перевязана крестнакрест ремнем в виде веревки толщиной в обыкновенный карандаш. Все время шла киносьемка. Все присутствующие проходят и смотрят. Протокол прочитан всем присутствующим. Возражений нет.

Но ты, Господи, не удаляйся от меня... Избавь... Душу... От псов одинокую мою... Спаси меня, избавь меня...

\* \* \*

В день отъезда в городе слышны электрички. Собрался до обеда, чтобы не платить за сутки еще. Притащился с сумкой к монаху, сидящему «на экскурсиях». Монах, возясь с самоваром, объяснил: экскурсия стоит сотню рублей, лучше вам подождать еще желающих. Вздохнув, я двинул ему сторубливку. Он тут же указал на меня розовому семинаристу: веди. Семинарист, в одно мгновение лишенный редкой возможности покрасоваться перед девчонками автобусной группы, поплелся вперед, не подымая головы, как на промывание желудка. Только раз оглянулся на небритого идиота, тянущего вслед раздутую сумку.

Я тут же бросил сумку: да за каким чертом мы куда-то идем! Семинарист, оглянувшись, решил, что «здесь», встал ко мне боком и поднял руку:

— Преподобный Сергей Радонежский родился в благочестивой семье боярина Кирилла, мать святого звали Мария, семья...

— Ладно, ладно, — сказал я. — Тебя как звать?

— Андрей, — поперхнулся семинарист.

— Андрей, что лежит в раке в Троицком соборе? Как это выглядит?

— Нетленные мощи.

— Я знаю. Как это выглядит?

— Совершенно сохранившееся тело святого.

Тут я поперхнулся, хотел что-то сказать, а потом махнул рукой и пошел к выходу. Наверное, он прав, так оно и есть.

На вокзале спускался с моста, какая-то девочка пожаловалась маме: «Вот и подходит к концу наше путешествие», — я испуганно обернулся.

Въедливый знаток выскребет у меня пяток несовпадений, умолчаний, перетасовок — я знаю про них. Если ты дотошно честен в каждом слове, ты не можешь написать правды. Надо выбрать, что ты хочешь. Что вышло у меня — не знаю.

Подходит к концу наше путешествие, и город вбирается в крематорий вокзала, и касса выдает прах на ладонь — белой, невесомой бумажечкой с сиреневыми цифирками. Непонятно — думать о вечности. Вечность — это что остается без нас. А что такое «мир без меня»? Почти ничего. И почти — все. Многое забыл и забуду еще, но когда слышу «Сергий Радонежский», три мертвых слова оживают во мне — аркуда, посмаги и клюсата: медведь — аркуда, выходявший из леса, решета гнилых хлебов и мальчик, пошедший искать лошадей — клюсат, он увидел на поле черноризца под дубом и, как вся Россия, жаловался на неуемность свою, и, приняв в ладонь белый пшеничный хлеб, шептал: «как сладки гортани моей слова твои...» и стоял, «как земля плодovitая и плодоносная, семена принявшая в сердце свое».

Нет света, придется жить еще, искать тех, кто нас хранит, и хрониться от тех, кто нас ищет.

## КРАЙ ЦВЕТА

В октябре у нас всегда что-то происходит, постучится в окошко или сами топчемся у дорог, высматривая: ну? А я пишу вам из города Епифани с возвышенной поднебесной земли овражков и ветреной Среднерусской возвышенности, по которой тянется Дон, а небо слева — водянисто-душное, а справа — размытое и светлое; а ведь мы всегда стоим деревьями — это только города таскаются, побираются по дорогам и достигают нас запахом палого листа, кровавыми сгустками бузины за шепотом: Епифань, город Епифань — хотя ничего этого нет. Ничего нет.

А есть октябрь, моление об автобусе с привычным страданием, обочины в черных заплатах гари, мы копимся в народ, в автобусную тушу, перепоясавшись ручейком медяков и пенной струйкой делимых билетов, и шевелятся волосы у тех, кто у окна, и жаркий солдат с красной рожей, и главное — воля, и самое это: какая в октябре невыносимо синяя вода, укорным прощальным, предледным, синим стоном меж косм подсушенного камыша — это город Епифань.

И я хочу написать вам про обширную плешь Красной собственной площади, усыпанную топольными листьями, — будто спрятали, замуровали синее небо серые каменщики и побросали вниз маленькие мастерки — все, октябрь; здесь ветераны, подвыпив, наяривают на гармошках, семенят утки с вульгарно покрашенны-

ми клювами, и пестрые, как цыганские платки, курицы ворочают красными шершавыми лапами черную нажигу, тетки, обремененные животами, выставляют в шаг поочередно крепкие пыльные ноги и цепляют на колонку ведро, как серьгу, по кустам ветер носит клочком ваты бесшумную дворнягу, скрипят вороны и крадется вечная фигура в черном пальто, седые виски, полагает, отдыха ради, дремлющему псу и дальше тащится уже веселей, поливаемый повсеместно злобным, задиристым лаем, и магазин торжественный, как пустая сцена, и молодое изваяние продавщицы, готовой тебя забыть или запомнить на всю жизнь, и единственное, что она может предложить, — свою судьбу, и остатки белого камня на тротуарах...

Некоторые сведения полезного характера. Если вы хотите привезти подарок или сувенир и не обидеть хозяев — привезите водки. Воруют редко — если только ушастого кролика или курицу, заплетшуюся не по делу. Главная климатическая трудность: когда наступает пора полива, в водопроводе кончается вода. Интересная манера епифанцев приветствовать гостя. Епифанец приближается на короткое расстояние, улыбается, протягивает по направлению к гостю, как правило, правую руку и радушно говорит: «Давай покурим!»

Но что это я, не об этом, пустое и зря, а бьется кровью, что города наши стали легки на подъем, на дорогу, в бега, им бы посох бузинный, а в него, согласно поверью, истолченные волчьи глаза, языки трех зеленых ящериц, сердце собаки, три ласточкиных сердца и порошок железняк, и это спасло бы в пути! И бузиной ведь богаты! Некому вырезать, некого спасать, и они побежали, как Китеж под воду, их давит осеннее небо свинцовым своим утюгом, затягивает мертвым льдом по синему цвету, и они истекают, как Епифань: уездный, просто город, городок, поселок, ничто, вытягивается в сухое покойницкое тело, готовое к зиме и снегам, и смердит спиртным заводом — единственным, что создал, лелеял и оставит век, все остальное берет небо, рухнувшее на крыши: города наши расклеваны под небом, это деревни ушли в землю, по-людски...

И что там века, татары, князья, великие руки и сердца, эпохи, с законной гордостью можно сказать, что опыт по уничтожению времени завершился настолько успешно, что даже некому это отметить: время врезалось во время, и это видно в октябре, на прощальном синем свете, а все остальное — это хороводы кривых столбов, на которых не горят лампочки, горячий хлеб, который уже не пекут сдобным, петушинные стоны и даже Никольский собор, украшенный отхожими местами и письменами ни в чем не виноватого юного быдла, с седой полыньей на старческом куполе — все только прах. И даже не болит. Не болит.

Если только не протиснешься через заваренные ворота, не пройдешь по грязи голубиного помета и не глянет с пятидесятиметровой выси грязное небо в ошетилившийся кирпичами пролом, а рядом с

черной и неподвижной, как царапина, цепью, державшей когда-то светильники, призрачной тенью еще сжимают что-то руки Богородицы и выше, прощальным взмахом улетающего крыла — полынью напрасного, синего цвета, остаток краски, все, что осталось и за чем...

И шатровая колокольня, в которой были въездные ворота, да утонули в земле, и рот ее наглухо забит кирпичом, замурована заживо, слепая, захлебнувшаяся временем, как только кончили ход и бой русские часы с колоколами, городские, — что же держит она лоскут синего неба над осыпающейся головой истлевшей ладонью креста, наперекор наползающей хмари и вони?

И эта Успенская церковь на круглом и ровном холме, как насыпанном шапками с проломленным хребтом, серая развалина, забывшая синее и белое, искалеченная перестройками, что ей в синем пятне, хранимом под куполом, последнем следе, ну что... И зачем ей расти набухающими сердечными толчками, когда ты уходишь, все пытаешься достать, зацепить, не бросать эту землю, где голубое переходит в предгрозовую хмарь и дальше — до плотной, тяжелой каймы леса. Дырявым неводом тащится по заболоченной низине воронья стая, ветер задирает подола серебристым лозинам, и дорога наполняется дождевой водой, как след на теле от кнута — кровью... Холодной слезой застряли банки на заборе, и подымается с обрыва посверкивающий грач и, ломая крылья, уносится вслед за своим крепким носом туда, где жгут солому, где небо наткнулось на землю, ну да ладно, чего уж...

И в заключение своего письма хочется доложить вам, что основное население поселка Епифань располагается на кладбище. В полном соответствии с переживаемым моментом все холмики, ограды, лица и фамилии равномерно и равноправно уделаны сверху донизу отходами птичьей жизнедеятельности, проистекающими из гнезд, застрявших в ветвях, как растрепанные перины. Знаменательно и отрадно также то, что с могилы Гуськова (год смерти — 1918) красная звезда сбита таким же макаром, как и отшиблена башка у плачущей каменной бабы на могиле Гранина (год смерти — 1891).

При кладбище функционирует церковь. Есть в ней и батюшка, служит там, все в порядке. Небольшое только пожелание. Батюшка, вот прежний, который до вас, — вот он над помершими поразмеренней читал. А вы все как-то: тыр-тыр-тыр... Позначительней, раздельней. Если можно. Старушки это любят.

И еще в этой самой Епифани лезет упорно в голову и вспоминается без устали чудной обычай одного иноземного, наверное, даже буржуазного монастыря. Уляжется там народ спать, послушать, что в подушках творится, а тут сторож вдруг слоняется под окнами и давай дубасить регулярно по окошкам и вопить благим матом следующее, в примерном переводе: «Эй, мужики! Вы вот дрыхнете, а еще четверть часа вашей жизни ушли, так сказать, коту под хвост!».

И что ведь только не удумают эти католики-протестанты высокоумные! Ах, эти западные масштабы и ихняя дисциплина!

И последнее, на что я осмелился бы обратить внимание. Весной лед скорее всего сойдет. Вполне возможно, засияет солнышко и засинеет вода. Птица грач прилетит, и, очень может статься, найдутся деньжонки, и купцы вызреют, вычистят и доведут до ума Никольский собор, наймут из оперы певчих, на шатерной колокольне забьют часы колоколами «Боже, царя храни», и под шатром откроется валютный бар, и грудастые девахи в сарафанах будут визжать в хороводах над обрывом у Успенской церкви, над Доном перед тучей жующих туристов, и талоны на сахар и водку будут выдавать только православным. А также возможно, что все останется таким, как есть. Просто, и так, и этак — все равно.

Это будут другие люди, другая земля, новые цвета и языки, новые города пойдут по дорогам, встречая людей, спасаясь и без посоха из бузины волшебной. Все, что наше — деревни, города, песни, имена, родные люди, — все на этой стороне зимы, ничего этого нет, и все, что мы можем, — увидеть последний, тонущий, стонущий краешек синего цвета октябрьской порой и очнуться среди мертвого города Елифани от удара в окно: «Ваша жизнь прошла».

## СТАНИЦА БЕЗ АТАМАНА

Мост через Хопер каждым летом строят опять. Как сделают — уже зима, уже на другой берег за дровами короче пилить прямо по льду. А весной река тужится, вздохнет и сносит мост начисто — сваи только торчат, и загорелый, как цыган, перевозчик все лето орет из-под ивы на тот берег: «А кто такой? А куда? А сам туда пошел!»

И этой весной мост слизнуло опять. Колхоз выпросил у армии понтоны, но стройбат за установку заломил столько телят, что колхоз свернул в ответ большую дулю, и через Хопер опять заскрипели весла.

В воскресенье столовая не работает. В понедельник в столовой не было воды — не кормили. В магазине торговали только арахисом и соком груши дикой. Во вторник, в шесть утра, уморившись окликать перевозчика через реку, я, как негр, завтракал на берегу арахисом, с хрустом разламывая скорлупу в пальцах, строго поглядывая, не отчаливает ли там моя банка с соком, охлаждающаяся под бережком.

Худенькая тетечка, усевшись рядом на тюк рыжей телячьей шкуры, голосила, сделав ладони шалашом:

— Вась-ка!!! Опух! Твою мать?! Ехать на-да! Эй, эй, гляньте в кустах — может, пьяный лежит? А в лодке?! А под забором?!



Заспанного перевозчика доставили из станицы на багажнике велосипеда, он плюнул, увидав лодку на том берегу, и потащил с себя рубаху. Тетечка напугтовала:

— Вась, осторожней. Мужик с Акулово утоп в прошлый год, сено пошел косить.

— Утонуть можно и в бочке, — буркнул Вася, отошел правее, подгадывая под течение, и бултыхнулся, тяжело загреб, добавив на выдохе: — Шея у тебя, как бычий хвост, а как разоралась!

— В магазин ездила, очередь заняла, — объясняла мне тетечка. — Жизнь наша — капец. Раньше вон старики как пели. И песни из жизни были. А теперь из чего песни? Вопят, да телешом — тьфу! Отца моего три раза кулачили — пока не умер. Наши же ходили, голытьба. Отец говорил: они наших поросят пережрут и подохнут, а мы будем жить, и все одно — хозяева. Отец говорил, раньше у купца чего купишь, а он еще и платочек даст. Эх, а теперь последний хрен без соли доедаем.

Подгреб баркас, я сел на весла, а перевозчик держал руль и говорил речь:

— Разве мы казаки? Из Америки ребята нам церкву чистили, а из Урюпинска казаков прислали — веселить. Пели, плясали. Нагулялись — полезли на коней. Седлать чтобы сам — ни один. Привыкли в «Жигулях» — сел да поехал. Сидят, как коты на заборе. Кто без сапог. А без сапог на лошади, как на танке без трусов. Им сказали, а они: зато мы на велосипедах классно! Собрались, один командует: ну поехали, мужики! Наш парень его наземь стащил за ворот: «Ты хоть бы своих постыдился... Мужики!» А лошади под ними — чуть не падают. А ведь у нас кони были! Весь район на скачках ложили. Жеребец такой — его с первого круга снимали — сразу всех убирал. Приехал тут... очередной... И пятьсот штук на мясо. План выполнили первыми. Остались только инвалиды. Хорошей лошади — сразу нет. Цыгане, говорят. Да разве цыган будет у себя дома брать. Они — как волки, на стороне. Разве они потащат из-под замка? Ну, хватит, хорош-хорош...

Баркас налег носом на берег, я кинул якорь в траву, тетечка потащила телячью шкуру и жаловалась:

— Посылки с Германии пришли. Кому дали? Ольге! А ей рубля до миллиона не хватает. И муж у ей не убитый, а умер. Несла — чуть не надорвалась. А моим внукам такой шоколад?

Перевозчик, поддерживая ее на сходе, задумчиво сопроводил рукой мягкие тетечкины части и на оскорбленные крики разводил руками:

— Дак я ж для скорости! Да чтоб удобней! — И повернулся ко мне: — Все у нас пришлые творят. Химию в Хопер сбросили. Лунку рубил — рыба выпрыгивала, жуки лезли, лягушки. Весной рыба у устья постояла и в Хопер не двинула. Я пацаном за полчаса два ведра раков ловил. А вчера? Пятнадцать человек! За ДВА часа! ВОСЕМЬ штук! — И он упал отдыхать под кусты, а я

поташился в гору, раздвигая тугую траву, размышляя: а что будет, ежели на местную метровую гадюку в два пальца толщиной наступить ногой?

В гору лез трактор. Мужчина и мальчик — белая голова: куда ехать? Хутор Батраки? Ну давай.

— А вон он, сад генерала Раевского, — указал мужчина. — Бабы ходили малину собирать. Ведро — десять копеек. Да пуд мяса стоил пятак!

Ехали вдоль дубов, тополей, кленов с растопыренными семенами и тутошних маслин, лунным серебром трепещущих в ровных гривах посадок. А внизу Хопер закладывает такие петли, что очень способствовало разглядеть из-под ольхи сытую морду купца, чешущего себе пузо на легкой, расторговавшейся барже, зевнуть, пройти ножками по холодку, разбудить товарищей по оружию и перетянуть цепью другую сторону петли, где купец будет только через часик, и подключить работника торговли.

Жили, богатели, брел этой стороной астраханский шлях из рыбных мест, гуляли ярмарки, опускали невода под лед, подводили слуги и лошадьми протаскивали невод от одной лунки к другой — у шук на мордах меж каменюк трава зеленая росла! Казаки холили роднички — без них не напашешь, дергали травку на берегах, чтобы песочек белый не забивала, сеяли по гектару гречихи — чтоб пчеле далеко не летать.

Две церкви единил подземный ход и еще вел к реке на случай последних набегов ногайцев и крымских татар, и в заветной пещере на сем берегу затаил свою казну забывенный Булавин, и сколько живешь ты, у каждого есть за душой такое: «Дед мой с отцом — глядь! — а за камнем: дыра. Полезли. Метров десять только осилили. Уперлись. Железная дверь. Ладно. Решили: вернемся, а завтра уже всем миром... А тут война, кулачили, ссылали, сажали за карман зерна. Больше не вернулись».

Местные казачки ломали службу и в Царском Селе, у дедов была присказка: «Мы, милый, и все видали, и Гришу Распутина пьяным грузили». Особая радость — караул на Пасху стоять, это сейчас никого на седьмое ноября не добудишься, а на Пасху: может, с государем похристосоваться доведется, в ладонь серебра насыпят. А государь, а ведь он с народом работал, к иному казачку и крестным назывался, когда писали из станицы: родилось дите. Казачок службу сломал, а в родной хутор на каждый день рождения сына приходит посылочка из Петербурга от «кума» — весь хутор ждет, кого выберут вскрывать. Хуторской атаман перед царевым «кумом» первым фуражку снимал.

И колбасу делали, и хлебушек пекли, напиток «кислые щи» шибал в нос, текла прославленная хоперская пшеница за рубежи любезного Отечества...

Если ты хочешь купить в станице хлеб, ты слышишь меня, мужик? Ты должен в пять утра уже стоять у крыльца магазина. Хлеб привезут к двенадцати. Может, тебе и хватит.

Что касается местных парней, они по-прежнему служат в роте почетного караула.

А клад Булавина искали археологи. Полазили, всё водку выпили в станице и уехали — не нашли.

Перестала колыхаться желтеющими пенными верхами пшеница, искрясь на межах сиреневым отливом, трактор заткнулся, стал, мальчик с чувством потер отбитый в кузове зад, мужчина сказал:

— Вот хутор Батраки.

Он — подполковник, отказался от полковника и вернулся. В станице не поверили. Значит, выгнали из армии. Никто с такой кормушки сам не уходит. Прячут уши под папаху, держат челюстью кулак, но сидят, сидят.

Подполковник ходил по хатам, показывал грамоту от Огаркова и ветеранскую медаль. Ведь когда выгоняют, медаль не дают!

А мальчика подполковник взял из интерната. Мальчик — Николай.

А хутор Батраки задушили до смерти по-тихому. Автобус перестал ходить. Хлебушек перестали продавать. Да и мост каждую весну сносит — умер хутор, все. Только горбатятся хаты с проломленными хребтами, заросшие по самые брови, сползли земляные камышовые крыши, торчат, как голые ребра, стропила, разгулялись лопухи широкие, как тазы для варенья, покосились и пали плетни, одичали сады, и все пошло в рост, так быстро забил все вишник, разросся. И хоть модно еще прикинуть, где переулочек, огород, палисадник — будто тело, сквозь погребальный покров угадать, жалуется кому-то горлица, торчат почерневшие скворечники, кувыркаются бабочки парами в небе синего цвета.

— Может, арендаторы сюда... Да кому охота себя гробить. — Подполковник вытащил из хаты чугунную печную дверцу резную. — С землей туго, за списанные тракторы цены ломают — дай боже. Жить не дают. Без председателя бумажки не подпишешь. Без бумажки не сделаешь шагу. И начинается с утра в правлении раздача кнотов и пряников. Дать травокоску или не дать травокоску? Отпустить бревно или «а пошел ты...»! Сено не смей косить, пока колхозное не скошено. А сено колхозное каждый год переставляет. И сейчас — по грудь, а у них семинар в городе по сеноуборке. Да что там... Страна посыпалась — каждый потащил свое. Деньги вдруг заработал — сразу пропить. Именно сегодня! Мне отец говорил: в станице было три бригады плотников, с каждой потолкуй и выбирай, коли хочешь строиться. Теперь одна бригада, сколько скажут, столько нальешь. А что казачество у нас хотят возродить — это только идея. Ее сверху спускают, я не знаю даже, не знаю.

Надо уходить, а я еще полез зачем-то к чуть видному зеленому столбу через бурьян выше головы, споткнувшись как следует об опутанное травами ведро, еле продрался, а это, оказывается, памятник, островок. «Никто не забыт» — осталось, а фамилии смыло дождями, росой, снегом. Я водил пальцем — ну, хоть одну, что

хоть за люди жили, а нет, никак. А может, так и надо? Люди вымерли, дети выехали, земля пуста. Жизнь пошла стороной. Чего же ее упрекать, если она не из этих мест? Все своим чередом, вон как густо, и щедро, и сильно прет трава и дурманит на солнце — будет поле, как и было, просто жизнь людей на этом месте была ошибкой. Просто наша жизнь на нашем месте была ошибкой, и все очень быстро зарастет, так, да, так?

Уехали, а в следующем хуторе вынесли холодного молока в железной кружке, и дно кружки поднималось все выше над головой, как солнце, на холме переминались лошади, опустив свои женские, цыганские морды, а старик, сын казака, Александр Тихонович плакал, и лицо его скобками прихватили морщины, он помнит:

— Был-то я юноша, и мы возрастали при матери, шестеро. Отец в белых. Пытался сдать, но уж больно над ним измывались. Сказал: больше не сдамся. Убили. А нас посадили. Семена засыпали... С братом... Девять месяцев сидели... На Красном поле. Я таких случаев не выдерживаю... Брата сослали. Мене ослобонили. Хату колхоз продал. Я — на комбайн. На второй год — уже второй по колхозу. На третий год — первенство взял. И держал до войны. В плен попал, вышел до своих — особый отдел стал тарсучить, я слезми утирался, я, я...

— Да хватит тебе! — толкнула его жена и забрала у меня кружку. — Еще? Вот за всю жизнь себе — коняшку купил... Ты что-нибудь веселое расскажи!

— Женились промеж себя, хохлушек не брали. Такое весельство было. Едет казак, пашет. А другие — уже попахали. Давай вместе dokonчим и до дому поедем! Я на церкве звонил — диндири-линь! Дон-дон-дон! На всю неделю — трезвон! Анбар — полон хлеба, я, я...

— Вот опять, — засмеялась жена. — Поехали, давай косить, чего слезы лить.

Потом я снова выбрался к перевозу, к зеленой воде с густой солнечной кляксой. Чайки вяло помахиwały крылами, как сонные вентиляторы, фиолетово-бархатные стрекозы, худые и глазастые, как отличницы, с сухим треском парили, сцепившись «паровозиком», в воде дергано бродили гвоздики-мальки. Я ковырял песок растворенной, как бабочкины крыла, ракушкой и помахиwał руками от оводов, надеясь, что перевозчик меня заметит, и кисло наблюдал, как движется вдоль бережка в мою сторону ужик, извиваясь, прямо скажем, как падла.

Река ожила. На том и на этом берегу сбились в табунки велосипеды, мопеды, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, мощные тракторы. Из-за обилия техники можно было подумать, что началось строительство моста, и мост уже существовал в едином порыве к счастью левобережных и правобережных застолий. Баркас перевозил гостей и долгожданных гонцов с неприметными авоськами, которые всю дорогу бережно прятались на груди, как

знамя. Подчас гонец с бесценной авоськой для левого берега вдруг трагически застревал на правом, включался в общую беседу, ложился на бок, и разговор волей-неволей затрагивал и его груз, но тут на левом берегу его друзья начинали в отчаянии метаться, устно упражняться в народном творчестве, кто-то грозно бросался в воду, и гонец тогда вдруг вспоминал высокое свое предназначение, крепко схватывал авоську, и с ним еле шел к баркасу перевозчик — самый счастливый человек на реке Хопер: он пил на обоих берегах.

За мной баркас приплыл с алым вымпелом «Лучшему комсомольско-молодежному коллективу» на носу.

— Слышь, пацан вчера утонул, — сообщил умиротворенный и потный перевозчик. — Сын того мужика, что прошлый год на сенкосе утоп. Ровно год прошел, понял?

Погрузились все, кто мог двигаться, и с некоторыми сложностями те, кто хотел, погребли. Разговаривали на глубокие темы:

— Со свеклы гоните?

— Свеклу мужики сеют, это в Воронеже. Да со свеклы голова болит! Мы — картошка, горох...

— Можно с дихлофосом, но от него как муха ходишь.

— А у нас в район стимулятор для быков присылают. Быку положено на случайный период ложка на ведро. Он тридцать семь градусов, запашок, правда, кгм... Его в народе зовут «станина». Ни один бык за последние десять лет его и не нюхал. Шестьсот пятьдесят килограммов присылают на год — мы к маю уже все до капля убираем.

— Его и импотентам прописывают. Шестнадцать\* капель в месяц, но, ты знаешь, мы пять литров вмазали — хоть бы что!

— Милиция не гоняет?

— Да их хорошо если самих трезвых увидишь. Меня остановил: почему без шлема? Откуда самогон? Я ему говорю: оттуда, где и ты берешь, я же за тобой подъезжал.

— А еще армян участковый был. Этот достал. В него уже и из ружья стреляли, и на мотоцикле гонялись, чтоб убить, но он вовремя убер.

— А ты видал наших лошадей? Донская! Пусты на травку нашу английскую — от нее останется набор мослов. А у донской — аж боки раздует, все может: и телегу, и пушку, и верхом. А в цирке не может!

— Отец мой выпил и давай на лошадь взлезать, раз, два — падает. Бабка говорит: не надо, хватать-хватать. А он: я ж казак! Во мне казачья кровь! Опять полез, бабка развернулась, как ему вмазала! Он юзом пошел и сразу успокоился. Куда только казачья кровь девалась...

— Вот ты запиши. Нет, запиши... Пусть запишет. Или бросаю гести — ну!

«Рецепт. Проращенную пшеницу в трехлитровую банку. Еще семь килограммов меда. Немного дрожжей. Герметично в молочную

флягу на две недели. Затем прогоняется через аппарат. Два раза прогнать — уже спирт. Свежая малина, ягода, изюм. Очищать древесным углем березовых дров. Если настаивать в дубовом бочонке — как коньяк. Отличить трудно».

Я пошел в станицу через луг — весной вода заливает луг, Хопер соединяется с прудом, и станица остается на острове, на холме, одна, пльви на моторке прямо из дома. А сейчас на лугу лежат высушенные, костистые пни, как старые зубы, и булыжники, притащенные сюда ледником. Жаворонок вонзается в небо меж вихрастых облаков, татарник оберегает колючками свой негромкий, скромный запах, стеклянно поблескивают облачка ковыля, и можно накрыть ладонями нагретую макушку муравейника и почуять, как щекотной теплой водой потекут по коже муравьи, делясь целебным, кисловатым духом.

Можно идти и смотреть под ноги, искать вымытые разливом ружейные приклады и коричневые медяки о царскими гербами, которые хозяева вмазывали под штукатурку домов, клали на матицы — на счастье, во времена, когда здесь еще ржала конюшня окружного атамана и атаман — молодец и бабник — вел батистовым платочком от холки к крупу проверяемого жеребца, и кулак у атамана был, как автомобильный руль, и если на платочке пыль — в морду! — не дай Бог закрыться: жеребца не холишь да морду еще закрывашь. Округ был в семь раз обширнее нынешнего района, один атаман справлялся.

А в восемнадцатом году всякие тут разные дела, начали гоняться за ним с наганом. Атаман отстрелялся, завернул на хутор к попу, очень у старичка была красивая, молодая матушка. Старичок после третьей кружки упал на пол немного отдохнуть, а атаман с красавицей пропал. Сгинул.

Лучших, смелых, несогласных, крепких высекли. А жизнь продолжилась.

Народ расстреливали на кладбищах и за конюшней. Местная активистка ходила кулачить в кожаном, напевала: «Кто был никем, тот станет...» Ее потом обещали продвинуть, но бросили — она крестом расписывалась. А хаты у нее нету, кушать нечего. Прижало — пошла Христа ради. Никто не подал: вот ты и стала всем. Умерла под плетнем от голода. И ведь очень жаль. Всех просто очень жаль.

Старушки и старики еще что-то попели на лавочках, а потом и песенники перемерли, а шашки раздали всяческим гостям района.

От колхозного рабства станичники отмотались — сели вязать платки из козьего пуха. Держат козочек, чешут козочек, в станичном стаде голов семьсот. Цены на платочки подтянулись к тысяче. Бюро горкома в давнишние времена официально запрещало — да куда там! Каждый вечер на лавочках и табуретах только спицы мелькают. Мужикам зазорно, скрывают. Да настоящему казаку и белье вешать зазорно, а уж тем более — стирать. А

платочки — ах. Подвязал поясицу — и ходи, хорошо! Завернулся в платок — ложись на снег: вспотеешь! «Ты согрей меня, милоч, как урюпинский платок. Чтоб не паялила глаза та двуногая коза».

Местная денежная единица — пол-литра. Вспахать на тракторе шесть соток — одна пол-литра. Посадить шесть соток с лошадью и сохой — литр. Из расчета — пол-литра коноводу, пол-литра — лошади. Лошадь, может, пить и не будет, но расчет такой.

На крыльце крайнего дома празднуют день рождения единственные станичные кооператоры — Василий Бутырсков и Владимир Перфилов. Хороший новый дом у Перфилова.

— На своем доме я сдох. Я был ударником коммунистического труда, вымпел висел — приятно. Заболел, девять месяцев лежал и понял: никому не нужен. Решили кооператив, поехал в город, сидит комиссия, пятнадцать человек: ну что, будешь материал воровать? Взаясь за дом, и жизнь вообще потеряла смысл. Я даже половины не смог из того, что хотел. Стены поставил — стропил нет. И нигде нет. Раньше я знал: сейчас нет, а через месяц я достану. Теперь — никогда. Мои руки, вот эти, не могут ничего. А кланяться я не могу. С людьми что-то страшное творится, ты пойми, люди не боятся больше воровать. Дошли! В казаки мы еще посмотрим, идти ли, это начальство спохватилось с казаками, но я — за порки! Раньше лодок не примыкали, сети и вентера в лесу сушили. А казаков настоящих нет давно. Не воротишь. Мой вон отец после лагеря молчал до этого года. Только в этом году на Пасху первый раз сказал, что из их партии из восьмиста только пятьдесят человек дошло. И больше ничего. Об одном жалею: пацаном был, сидели на рыбалке с одним дедом, и он обещал: «Старый я, родных у меня нету, открою я тебе, Вовка, где казна казацкая зарыта». Я не поверил. Мой дед, говорят, пять тыщ золотом закопал, я не нашел. Сундук с мехами в огороде выворотил только. А у нас тут деда одного топором зарубали, так у него монеты золотые нашли. Он-то точно знал ход в пещеру. Одна эта монета в церкви под пол закатилась, когда там клуб был, в кино. Я это место помню, когда полы перестилать будем — найдем.

Густеет воздух, на лавочки уселись вязальщицы, вечера здесь серые и пушистые, скоро пригонят коз. Я искал батюшку, опрашивая пацанов:

— Товарищи, как священника местного зовут?

— Поп!

Одну церковь разобрали, из кирпичей школу сложили. Кто себе досочку какую утянул, говорят, ноги отнялись. Священников привязали к лошадиным хвостам, прогнали скоком, да и стрельнули под соснами. В оставшуюся, кладбищенскую, затянули водонапорный котел на пять тонн, хранили соль, кино крутили — клуб был. В гражданскую с колокольни еле выкурили пулеметчика-китайца, здоровый был вояка. Здесь все так близко, еще недавно ночевал

Петр, и поутру станичники просили: укажи, где церковь строить. Царь указал, и Екатерина уложила первый камень, белыми, наверное, руками.

— Эй, ну давай тут присядем!

Трашин Иван Григорьевич, и «супругу запиши — Раиса Михайловна», «пехота, сто верст и еще охота!», от Карпат до Харькова и обратно до Праги, страдает «хандрозом».

— Народу напичкали в Совет — пушкой не прошибешь. А у атамана было еще шестьдесят хуторов в округе, и справлялся! И порядочность была: Боженька накажет! Ушко оторвет. Украл овцу — кричи в овечьей шкуре: я украл! А то развелось насильование детей — это ж безрассудное вещество! Солидарны со мной? Уже сточить надо на местах. Дружней жили. День свернули: по пятерке? По пятерке. Бутылку взяли — чай попили. Солидарны со мной?

Иван Григорьевич посматривает вдоль улицы: не видать ли коз? И машет руками дальше:

— А Ельцин, Рыжков, что ни батька, то — поп. За власть борются. Мы с Раисой Михайловной ложимся спать на половине программы «Время» и начинаем: каждый свое мелет. Хоть на кулачки друг друга. Хоть врозь ложись. Но главное — не окапитализироваться! А то придет тот же немец и нас закабалит. Загонит по самую сурепку, пенсию отберут у нашего брата, и кукуй! Солидарны со мной? А вон и батюшка идет.

Иван Григорьевич подходит первым:

— Батюшка, а на кладбище траву если скосил, скоту можно стравливать?

— Ну а куда же еще ее девать?

Отец Виктор, двадцать три года, указ владыки вышел — и вперед, первый приход.

Он отпирает церковь, крестится. Лезем на колокольню. Вот здесь над станицей, стоя на водонапорном баке, рискуя вывалиться в пролом колокольни, он бьет в колокола, вырезанные из кислородных баллонов. Бьет молотком за сорок копеек. Начинается жизнь.

С колокольни видны река, поле, с темными, как наперстки, стогами, меловые пятна на откосах, лесная, пышная шкура, немые курганы давно сгнивших людей.

Отец Виктор говорит, что начинали в столовой, ходили святить Хопер, старушки очень помогают. Очень много зависти в станичниках, сплетен. Закон Божий — по субботам. Очень трудно ходят — у людей козы.

Со стороны луга пыльной тучей, растянувшись по дороге, потряхивая рогами, в станицу повалили козы, и навстречу им потянулись человеческие руки, улыбнулись лица, распахнулись двери — я никогда не видел столько людей сразу в станице.

Как бы я хотел свое отпущенное прожить здесь, где травы пахнут медом и молоком и степь розовая, бело-голубая, желтая, снеж-



ная, где вокруг — земля и воля, и нету заборов и голосов, а только заботливый пчелиный труд, да замешательство крота, раскопавшего тропинку, где кричат олени, а весной река несет раздутые кабаньи туши с длинной рыжей щетиной, где чертят небо коршуны и ястребы, а сова, заночевавшая в трубе, вдруг застонет при утренней растопке человеческим страдающим голосом над туманом, где заходят во дворы лисы и точат зубы бобры, где никто никому не мешает жить, где так мало ненависти продажных столиц, где все просто, все открыто, где кладбища не на помойках, не в постыдной тесноте и грязи, а на зеленом холме, на круче, просторно, как птичья стая, присевшая отдохнуть, которую ветер подхватит и понесет за Хопер и дальше. Как хорошо бы прожить здесь, да пущены корни могилами в Нечерноземье, и каждой земле нужны свои хозяева, гостить ты можешь где угодно, не выйдет, не выйдет.

По улице белой тенью пробежала медсестра по своим делам, скрипят лягушки, тянет польню, и летучая мышь нырнет впереди лохматым лоскутом — и нет ее.

Пора спать, а в клубе репетиция хора, поют, а маленькая девочка бродит под сценой, хватает за подолы старших и что-то каждому говорит, повторяет, и все никак не уходишь, почему-то сидишь, поют про девушку и казака, ты не забудь уж про нашу прежнюю любовь. Во втором ряду свистят и притоптывают. Песня кончилась, и я расслышал, что говорит каждому девчушка:

— А у нас опять утонул.

Вот куда бежала медсестра.

У единственных освещенных окон станицы — поликлиники сидят люди, в кустах кто-то устало рычит — погулял.

— Тока сегодня на мотоцикле гонял. Пили, пили... Молодой хоть?

— Какое там, армию сломал, двадцать девять лет, водитель Федя.

— Бреднем вытащили.

— Матери вон с сердцем плохо.

Я постоял, ненужный, и ушел по теплой пыли, мимо тихих лавочных шепотков, следом побежала собачонка, а потом утомилась и присела на дороге, кучкой золы, светит краешек луны, и справа от него дрожит неизвестная звезда, очень ярко, уже не хочется ничего, только спать, колени ломит. Ну конечно. Целый день на ногах.

## ВОСКРЕСЕНЬЕ

### *Дневник*

Дорогу от трассы в село солнце высвечивало сахарно, как макушку пасхального кулича, а скупое потепление, давшее подышать из-под льда широкому ручью, добавило дороге стеклянных

искр и вольного скольжения, и я пару раз навернулся со всего маху, к вялому испугу трусившей вслед разношерстной собачьей братии.

Мужик-нанаец ковырял щепкой закопченную горелку. Он занимался этим под забором, рядом с облезлой лодкой, когда-то синей, поставленной на бок. По лодке, смешно покачивая хвостами, будто подбрасывая себя вверх, прыгали сороки.

Из-за лодки выбрался пацан с железякой на черной цепочке и сунул ее мужику под нос, как кадило:

— Пап, а как капкан?

Мужик отставил горелку, поскладывал что-то в железяке и осторожно уложил ее между ног.

— Идет лиса. Или соболь, — он ткнул щепкой в капканью челюсть, — сюда.

Капкан долбанул будь здоров. Как некормленный.

— Здравствуйте, — обозначил я свое существование. — А что за праздник завтра в селе?

Пацан унесся с капканом за дом продолжать опыты.

— Какой там праздник, — мужик усмехнулся, — чушек будем резать. Кровавое воскресенье.

Как всходит новая луна — нанайцы режут свиней. Пологие думы тащатся вдоль черных крыш, старчески растрепанное, жидкое солнце перетекает небесную пустыню — во дворах опробуют горелки, пыхающие драконьими языками, чушки жуют свое накануне смерти. Вечером уже не покормят. Все.

А человеку хочется жить накануне счастья, ему нравится уезжать, его несет: дальше-подальше, чтоб дернулись, натянулись, прозвенели и лопнули прожитые, прошлые дни, остались, забылись, улыбались новые люди и дорога раздвигала березы с черными подмышками, и можно было отбивать ногой примерзшую гальку и пускать ее сначала в мутный, неровный лед у берега, потом в брызнувшее несхватившееся крошево, потом она весело шелкнет и прокатится по синей тверди и канет в тяжелую, едва рябшащую протоку, вдоль которой бредут согбенные рыбаки, а тебе под колено тычется тишайшая псина смутного происхождения и ты все твердишь себе: ну, ну вот, ты далеко, ты черт знает где, это — амурская протока, это — нанайское село Найхин, будет — ночь новой луны, завтра — приносить жертву духам.

— Военный, — указал папироской Петр Николаевич Киле и поднялся с древнего, разрисованного трещинами бревна.

Зеленый «уазик» качался на наледях — он катил по главной улице.

— За рыбой приехал. За рыбу — сгущенку дают, гречку, тушенку. Одежду могут. Да и оружие. Городские — водку только. За водку — все. А раньше так не пили. Старики напьются, сядешь в оморочку и гребешь поскорей — лишь бы их хари пьяные не видеть.

— Русские вас споили?

— А что русские? Я про русских ничего не скажу. Я вон с Яковом Гетманом, он с Троицкого, всю войну одной шинелкой укрывался. Безбожный народ просто. Церквей нет, молодежь наша своего языка стыдится. Заговоришь: сразу кричат: не позорь нас! Шаманов вывели почти. У меня мать была шаманка, о-о, какая шаманка... Умерла, другие шаманы мне рассказывали: мы слетаемся на дерево, мы здесь сидим, а мать твоя — на две ветки выше. Драться выучился только из-за матери — чтоб не смеялись. Такой водила стал — дома без скрученной веревки не ждали. И меня пытали духи, шаманом сделать хотели — сны ко мне приходили, летал, в бубен бил, как шаман, по следу ходил... Не вышло, так. Пойду я, вон Тамара к вам бежит.

В коротковатой фуфайке, в коричневой маленькой шапке с завязанными на затылке ушами, со спины казалось — это уходит мальчик. Он уходил, а на ближней сосне крутился дятел, словно удачливый жених принаравливается поудобней охватить дебелую невесту, а потом откидывал голову назад, как художник у мольберта, и тюкал кору — та слетала чешуйками вниз, обнажая мягкую красноватую подкорку, изъеденную узорами личинок и жуков.

— Здравствуйте! А? Что? Я в этой шапке ничего не слышу! — Тамара — хранительница музея, она сдвинула с уха соболью шапку. — Вам такая удача. Идемте. Скорей. Финны были, японцы, французы снимали, но жертвоприношение — еще никто. Вы — первые. Такая редкость. Смысл в чем: земля сменила цвет. И тут активизируются все духи. Их надо задобрить. Весь год мы у них просим. Один раз в год — мы им даем. Хорошо, \*если свинья с черной отметиной. Или красной. Значит — духи выбрали для себя. Такая редкость! Эта культура — вымирает. Молодежь не интересуется. Пойдемте. Что?

Я показал на человека, уходящего по берегу.

— Кто? — Тамара уклонялась от солнца. — Киле, что ли... Это Петр Николаевич, ветеран войны. Великий мог быть бы шаман, эх! Да открыл свои внутренности — легкое ему отрезали на операции. Шаману это нельзя. И сны оставили его. Пошли. Надо шаманку уговорить и Марию Петровну, что резать будет.

Снег шершавый и облезлый от ветра, вороны кричат здесь «ма-ма», она рассказывает, что шаманов погнали еще первые попы, хотя и с передышками. Хабаровский губернатор однажды сжалился и разрешил работать по призванию шаману Чонгидаму Оненко. Шаман отыскал отбившийся от казаков конский табун, а также пообщался немного с обыкновенным несчастным бараном, после чего у животного вылезли глаза. Шаман отвлеченно заметил, что подобного результата можно добиться и в отношении человека вне зависимости от его отдаленности и высоты его кресла. Можно понять хабаровского губернатора.

После известных событий, прокатившихся триумфальным шествием до Сибири, и в течении последовавших также известных со-

блгтий шаманов выслеживали и угоняли безвозвратно. Выслеживавшие и угонявшие, говорят, жили недолго. Пришла война, крючок на гимнастерках велели расстегнуть и расслабиться — шаманы старательно мутили разум Адольфу Гитлеру. Но потом погибали сами. Шаман не может безнаказанно желать зла. Это было их самопожертвованием. Еще духи не любят, когда шаманяг по заказу. За это обязательно отольется. Брежнев вообще-то умер после того как знаменитый шаман Гора Кисовна Гейкер съездила в Москву на запись. Но и сама Гора — умерла. Наступило новое послабление — отдельные отчаюги бросались в танец с бубном среди бела дня вокруг магазина, но свобода припозднилась. Спасти шаманов — острова народного духа, живые книги, нить путеводную к истокам — уже никогда и никому не удастся. Все.

Экспортная самодеятельность вбила последние гвоздики в берестяной нанайский гроб.

Шаманство приходит к человеку, когда человек маленький, но когда ему уже исполнился год. Когда в него уже пришла душа.

Как все-таки долго и трудно умирает народная душа. Но все-таки — умирает.

Также тяга человека к шаманству может проявиться во время болезни. Но это, наверное, больше в христианских народах, которых лечат волевым взглядом и ловлей невидимых мух по телевизору.

— Ты меня не знаешь, нет? Я — Несулта, по-вашему — Надежда. Несулта — значит калина. Калину черт боится, — у шаманки плоское, круглое лицо, как обветренный лик каменной бабы, она ходит согнувшись, размахивает тонкими руками, присаживается на пол, у нее качается голова, погладив меня по голове она радуется за Тамару: — Хороший у тебя жених!

— Гм-м... Это не жених.

— А я сижу. Никого не жду. Муж мой — Альберт Михайлович на Амур поплыл, далеко, давно. Рыба разная есть. Лишь бы клевала. Он — осетин, матрос с сейнера. Пришел: буду жить с тобой! На двадцать лет меня младше. Лю-бит! А вот, ты посмотри, с этой сумкой я ходила по Женеве: так-так, помахивала. И во Франции, и в Берлине. Выступала там. Меня в Америку звали, да муж не пустил! В магазин иду с сумкой, а ребята следом бегут: бабушка, дай мене. Вот шкура медведя. Гималайского. А сапожки у меня оленьи, а шапка — видишь? — из выдры! А пальто... Сейчас. Вот! Воротник — соболь! Пошупай, видишь сколько, это лапы, хвост. Нет такого пальто в нанайском районе! Крещеная я. И в партии, еще войны не было, вступала, и не выйду, я пальто показывала, да? И шаманка, и коммунистка, — и она печально выматерилась.

Тамара вызвала ее пошептать за стену, где спорили радио и телевизор, я прочел в телефонном справочнике двадцать две фамилии Бельды.

Небо припорошило звездным сором и пылью Млечного пути, на серебряной дороге перекрещивались тени от заборов.

— Согласна, — объявила Тамара. — Она просто выпивши немного. Теперь к Марье Петровне.

Марья Петровна очень испуганно слушала нанайскую речь Тамары, в паузах тревожно наблюдая, как я отпихиваю пяткой хрипящую в ярости собаку.

— Стесняется, — обернулась ко мне Тамара. — Вдруг вы смеяться будете. Скажите ей.

Старик, супруг Марьи Петровны, прекратил ходить от печки к окну и приготовился ждать, что я скажу.

— Марья Петровна, я серьезно. Я не буду смеяться.

— Ну тогда завтра в десять, — заключила Тамара.

В интернате, где поселили, кормят так, что в тарелку смотришься, как в зеркало после мордобоя.

В кровати, которую провисшая сетка делает скорее креслом, поддавливает неведомый товарищ, он убеждает меня, подставив ближе стул:

— Интернату нужны деньги! У нас такая скученность и бедность. Ребят повезли в цирк — их милиция на базаре арестовала, думали — из колонии сбежали. Нам немного надо, — он наклоняется поближе. — Тысяч двести пятьдесят, а? Вы же из Москвы.

Он уходит, трепыхается и гаснет свет, заткнув глотку ламбаде на первом этаже, коридор во мраке, и тихая девочка Лена устроилась в кресле:

— Свет включают, это просто перешли на колхозный движок. Чего есть не стали? Смотрите, ночь длинная. Учусь. В одиннадцатом. Нянечкой на полставки. С сестрой. Так получилось — нет родителей. Народ как народ, драки самое большое — раз в неделю. Все нормально. Все здесь нормально. Ни за что здесь не останусь. Просто.

Она напутствует:

— Осторожней. Здесь наркоманы. Гомосексуалисты! Спокойной ночи.

И — спокойной ночи, в коридоре еще охают местные каратисты после просмотра любимого видео в клубе, а потом расползаются наконец спать, но одному не спится и он и в своей палате лупит с разбега в стену — ба-бац! и засыпаешь, а просыпаешься от родного и близкого:

— Жи-ва! А ну встали! Быстро! А почему я не вижу никого со шваброй?!

Это значит — утро, воскресенье, день принесения жертвы духам.

У забора Тамара замялась.

— Очень неудобно идти. На праздник и без водки. Это вам простительно, не знаете правил...

Шаманка уже топталась на крыльце в нанайском халате, ветер раскачивал над ее головой полоски сушеной рыбы и гроздья сморщенного перца.

Марья Петровна принарядившись также сидела у плиты. В тазу и выварке грелась вода.

— Дед на рыбалку собрался, — прошептала Марья Петровна, — заругал меня. Не хочет он с чужими.

Дед дособирил в углу заплечный мешок и ушел в неловком молчании, пряча в синих губах единственный зуб.

— Надо кого-то звать! — ахнула Тамара. — Духам ведь уже пообещали.

— Звать-звать, а кто без водки пойдет?!

— Киле пойдет. Я — за Петром Николаевичем, — и Тамара унеслась на попутном мотоцикле.

На соседском дворе уже лежало тело, укутанное одеялом, обданным кипятком, валил пар и посверкивал нож, воткнувшийся в доску.

— С вечера не кормят, — сказала шаманка, — свяжут и раз — под левую лопатку. Кто очень умеет, просто подходит и чушке, она стоит спокойно, нагнется и ножом — раз! Молодые дураки стреляют. Промажут, а она бежит по огороду, кровь льет... А сало, знаешь, какое хорошее у костра.

Молодой мужик сдернул одеяло, открыв опаленную тушу, полилась горячая вода из белого ковша, и он ножом стал соскребать черное, обнажая сливочное, тугое, едва колыхающееся тело. Он держал чушку за ухо, ухо было, как оладья в руке, он оглянулся на шаманку и обратился к сумрачно прижмуренным глазам чушки:

— Вася, ты извини, что я тебя съел.

Шаманка отвернулась. Она глянула еще на улицу и крикнула:

— Марья, давай, приехал Киле.

Женщины схватили лопаты и пошли расчищать снег у священных деревьев с южной стороны дома.

— Где ж ее племянники? — ворчал Киле и вспоминал: — Вот раньше были праздники — медвежий, голову медведя варили, да-а...

Он крутил в пальцах витую веревочку, женщины несли к подножию трех тоненьких священных лиственниц три белые бумажки и три рюмки с водкой. Духи любят немного водки или вообще — спиртного. Еще они любят жертвы. Чушке в ухо наливают водки. Если дернет головой — значит духи ее хотят. Нет — развязывай. Или резать, но для себя. Все готово. Все.

Они стали коленями на снег, рядом, их головы в поклоне касались снега, они кланялись в сторону солнца, и простора стало меньше, они просили духов за себя, за детей своих, за меня, на год вперед, они просили не смотреть, как они просят, и я ушел за угол.

Две собаки — у калитки и у маленького сарайчика с тяжелым присутствием жертвы — скучали.

— Ну.

Марья Петровна отворила сарайчик и, присев, завязала белую веревочку на ноге у сонно мигающей чушки.

Киле сделал шаг к сараю, схватил веревку, и тут заволокло стонали куры в смертной истоме, дернулись цепи и взвыли собаки, и ошалелый жадный лай забился о землю и небо, они рвались, рвались вперед, чушку тянули за ногу, как репку, скопом, она отдавала им ногу, но упиралась поперек прохода и терпела и по-своему стонала, и все смотрела наружу, на людей, а потом решилась, ошиблась дура, выскочила наружу, чтобы сразу рвануть, но тут мигом свалили, напрыгнули верхом, завалили на бок и качнулись розовые в окружении наплывших морщин соски, а на снегу уже лежал армейский штык-нож с нарядной лакированной ручкой, ей вязали ноги, а она билась под людьми, приподнимая усталую голову и силясь посмотреть, как рвутся в остервенении с цепей собаки, и теперь уже осталась только полянка, люди, дыхание, хрип, хрюканье и струйка водки, лизнувшая безвольное ухо — чушка тяжело и мутно качнула, потрясла большой головой — есть. Марья Петровна и шаманка радостно переглянулись — есть! Да! Все! И теперь уже осталась только рука, слепо опускающаяся на снег в ожидании касания гладкой рукояти. Я отвернулся и меня повело в сторону, к дальней собаке, она была черная, кудлатая, и вдруг замолчала и смотрела на меня и — вопль, режущий, зарезанного живого, плоти, разорвавшийся до лошадиного обожженного ржания, скрежещущий по тебе пилой, брызгающий кровью, еще, и вот уже с ветровым переливом, еще, еще, уже как-то устало, нутряно и даже довольно и дальше только хрип. На ней сидели верхом. Она лениво подрагивала. Будто сидели на сердце. Ее перебирала дрожь детского засыпающего тела, потом просто шелохнулась, дергала ногой, краснел снег размотавшимся шарфом, упавшим с горла, крутились уши, а голова все пыталась оглядеться, а потом упала на снег, будто прислушиваясь к земле, которая переменяла цвет и — все.

Киле встал и, шатаясь, прошел мимо меня. В клюквенной руке его торчал нож — острием вниз, будто вбитый насмерть в кулак. Так он уже сделал раз двести. Теперь надо мыть руки.

Они снова молились, и кровь первая легла на белую бумагу, на три листочка, пили водку, окрашенную кровью, осталась разинутый квадратная глотка сарая, над которой ветер трепал клочок запасенной впрок травы.

Марья Петровна широкая, в фартуке поверх халата, спешила ко мне с рюмкой водки, я отмахнулся, обидел, ушел к забору пытаться радоваться хорошему дню, а они, сразу отвернувшись, потянули с поленицы толстую колоду — разделявать тушу.

Кровь присыпали стружкой, отрезали голову, вырезали ремень из живота, вынули внутренности, уложили их в отдельный тазик к голове — для духов. Потом резали, рубили и ломали все остальное.

В доме, в дальней комнатке накрыли тумбочку для духов, для них поставили мясо, налили водки, положили окровавленные листки. Что-то было внутри тумбочки — не показывали. Повязали на

пояс платки и молились все вместе, до пола, заявили из бани племянники с товарищем летчиком. Летчик долго уговаривал меня что-то продать и предлагал Тамаре сделать в бане массаж, племянники угрюмо просили меня выйти подышать на крыльце и ставили на колени у тумбочки детей и клонили их головы к полу. Вернулся с реки дед Марья Петровна, от водки размяк и водил показывать рыбу в летнюю кухню — огромную, как двуручные пилы, кету, ленков с синеватым проблеском, ершей в хорошую сковороду с изящными кружевами плавников. Дед сидел на пару с Киле, они бормотали:

— Сколько было птицы, рыбы... Амур стоном стонал. Раз заведешь сеть — сотни центнеров.

— Сиг, таймень, нельма, кета...

— А теперь ничего нам нельзя. На реку не пускают, в лес не пускают. Ловить — только удочкой.

— Развелось тут всяких, как нам жить? Раньше, что хотели, то и делали, все наши деды — охота да река...

Шаманка закрепила на голове плетеную шапочку, и бубен загрохотал в ее руке, как кусок жести, она пошла, двинулась и заплясали, забились, загремели железные трубочки на шаманском поясе — она запела горным, гранитным голосом, останавливалась — ее кормили, и плясала дальше, она шаманила, рассказывала духам про нас, перебивая застольный разговор:

— Говорят леспромхоз выменял курево на вагон леса.

— На рейсовом автобусе! Рулит, глядь: два сохатых у дороги. Он ружье из-под сиденья вытащил — трах! одного. Вылез на обочину — трах! другого. И поехал дальше. Туши на обратном пути заберу.

— Как там президент?

— Соболя бьют так. Засек, стой у дерева, жди. Только он, гад, голову высунет из-за дерева — ба-бах!

— Вот отделимся к черту от вас. Будет Дальневосточная республика. Да зачем вы нам нужны?

— У нас такая вода — сын в город к себе банку берет, так жена всю выпивает. Ему — ни капли.

Бубен и пояс отправили по кругу — плясали и били все, кто как мог, ели пельмени и жертвенную чушку, потом опять шаманка молилась, и едва видные в узком разрезе глаза ее смотрели в далекое и чужое.

Когда взгляды затуманились и отяжелели языки, я стал лишним совсем.

В подснежной тишине ступал по деревянным тротуарам, и протекшими каплями копилась звезда над головой. За заборчиком, за серевшими свежими расколами поленьями плясал занимающимся пламенем костерик на крыльце. Я умилялся под забором диковинным обычаям местного народа. Мы только начинаем расходиться, нас только начали звать свои дороги, нам еще предстоит осознать свою разность, увеличить ее, уважая других. Потом, быть может,



суждены нам встречи, объятья, проникновения. А пока — в разные стороны, чтобы понять, кто мы есть. И вместо того чтобы после слов «земля у нас одна» прибавлять про себя щедрое и снисходительное «уж так и быть» — придется делиться. Вместо умильного «они такие же люди, как и мы», придется меньше гладить по головкам и сюсюкать свысока, меньше врать себе про обязанности «старшего брата», чье влияние мимолетно переходит в опустошение и в самоопустошение. Мы разойдемся по земле искать свои гнезда. Все.

А костер на крыльце пылал уже пожарче, громче звучали ритуальные песнопения в доме и уже слышны стали отдельные слова:

— А-а! Как вы меня достали все! А пошли вы все! Убью! Дом спалю, спалю!

Из дома с плачем вывалилась женщина и бросилась тушить крыльцо, — можно было уезжать.

До автобуса проводила девочка Лена из интерната. У нее на хвостике появились какие-то невероятные оранжевые резинки.

— Вы приедете еще?

— Может быть. Если только летом...

— Летом меня уже не будет.

— Тогда весной.

Она взяла адрес, напишет обязательно.

Сосед в автобусе показал пальцем:

— Ленка. Отец ее мать убил. Пятнадцать лет дали. Через два года выйдет.

Через двадцать часов в московском метро было пустынно, но мешал расслабленный товарищ, все силы которого ушли на прохождение строевым шагом через постового у турникета, и теперь он падал на каждом рельсовом стыке. Я его ловил, ловил, а потом плюнул и всю оставшуюся дорогу мы ехали как бы обнявшись.

## ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Настала осень — значит, время протыкает новую дырку в поясе, и ты переходишь в новый часовой пояс, где бледнеют стороны света и стороны года, и никто больше не заставит вывести посередине листа «Как я провел лето» и утопать в омуте красной строки.

Наверное, живешь не там, где ешь; не там, где зачислен; не там, что читаешь. Живешь там, где твой огород, — и я еду туда, на земли графа Бобринского. Хозяев давно нет, в красивом склепе они не улежались: мстящие руки вырвали кости из гробниц и свалили по справедливости — в братскую могилу, а из гробового бархата пошили знатные сарафаны для подруг и на пустом месте выстроили город. А город, не двигаясь с места, прятался от смерти, переменяя имена: Бобрики—Сталиногорск—Новомосковск, и в

соседней деревне мы сажаем картошку, на источнике русской воли — из железной трубы в парке отдыха начинается, сочится Дон — да только куда уплывешь по реке? Нас не отпускают огороды.

Кроме картошки, прошлым летом городской голова ездил в Италию набираться ума. Подвластному народу отчитался: дороги там хорошие. В основном итальянцы. Но есть и женского пола. Дороги — гладкие! Папу видел, он — римский, местный. А главное, мужики, там такие дороги, вот чтоб не сбрехать: стакан до краев наливаешь в машине — машина идет на полном ходу, — и ни капельки не убегает через край!

Кроме картошки, бывшие моряки отметили свой день: возложили трезвыми цветы, а уже придя в естественное состояние, перехватили на плотине грузовик и отправились на базар бить морды чернозадым — живо получили по шее от милиции, а в завершение пинками и подзатыльниками уговаривали обывателей жертвовать на памятник герою флота.

А вот осенью — все на картошку. Пора.

Для картошки у нас есть земля, прихваченная Чернобылем, но это не страшно: пока три года решались объявить, все уже привыкли, а теперь и подавно: приплачивают же «гробовые» деньги, и не попавшие под облако уже завидуют нам — хоть переселяйся, но ведь на то и счастье, что не всем, — его немного.

Еще у нас есть соседи, мы соревнуемся огородами: кто раньше убрал. Слева, если стоишь на дороге лицом к колодцу, шумно живет семья большая — потому что хотели мальчика, — пьют, дерутся, гоняют друг дружку по улице в разодранных рубахах, капают кровью. А вот справа от нас — немцы. Мутный народ. Покрали наши дубки и попилили на дрова, а след-то в крапиве остался, я ж вижу, куда тащили. А потом свернули головы трем лучшим подсолнухам. А им ничего не скажешь — не понимают.

Да всех жалко — все умирают, а картошку жалеешь за несправедливости судьбы. Над ухом любому произнеси «Родина», «Отчизна», и что представится?

Конечно, представится золотое пшеничное поле, широкое, как небеса. А на самом деле никто нынче не разберет: какая из себя пшеница, а какой ячмень. Кормит нас — только картошка, спасибо немцам, что завезли. И Отечество наше растит чуть ли не половину мирового производства этого продукта. Так иногда даже оторопь берет — а что ж в других странах едят? Трудно представить. Да, вообще — где им до нас. Знаете, какой у нас воздух?

У нас же химзавод. А он помимо погани и ракетных начинок клепают еще такие баночки с душистым распылителем, чтоб в отхожем месте пахло весной. Ну и мой зять подвозил как-то до магазина «Водка» мужика с химзавода, а тот ему подарок сунул: «Коль ты денет не берешь, я тебе дарю вынесенный в рукаве через проходную пузырек. А в нем — пахучее вещество в такой бешеной

уплотненности, что одного пузырька хватает для заправки пяти тысяч баночек. Так что пользуйся аккуратно, крохотиночки хватит, чтоб свежая навозная куча пахла, как розарий».

Зять мой завез пузырек в деревню и оставил. А вечером приехал его тесть, а мой отец, и, как обыкновенный русский мужик, в очередной раз подумал: как же мы в беспорядочности живем, нету в нас уважения к чистоте и опрятности. Вон второй год стоят оставшиеся после бабушки пузырьки с лекарствами и пыль собирают! Сгрел пузырьки все подряд — вылил на двор.

И теперь уж второй месяц наша деревня пахнет, как плантация орхидей или одеколонная фабрика. Народ даже озлоблен: что ко рту ни поднесешь — водку или молоко, а все одно — воняет парфюмерией. Вокруг нашего двора такой аромат, что даже глаза слезятся. Даже немые, по-моему, начали заговаривать.

Да. Бабушка наша умерла. И некому перекрестить поле, когда докопали. Все кажется, земля ждет. А у самого рука не подымается: не мое дело.

Все надоедает, передышка только зимой, и то глядишь, чтоб картошка не замерзла и не подгнила, и все помнишь, что колорадский жук не повержен, а лишь отсыпается в сатанинских своих подземельях. Каждую зиму зарекаешься: хватит, больше не будем сажать. Купим у хохлов. Хохлы мешками навезут, но трудно оставаться совсем одному против всех, и весной мы начинаем все заново, чтоб разглядывать свои мозоли и вечером сидеть на крыльце, рвякая на соседских кур: а ну, пошли!

Вечером на небеса с химзавода натягивает грязных разводов, по улице гонят овец, продребезжит цыганская телега — у цыгана толстая косматая лошадь, а старухи, махнув на телевизор: «Чер-ты их разберут!», садятся разбирать масти и козыри, а соседи немые будут чиркать спички, чтоб дымком пугануть разгулявшихся под полом крыс, и сделают на полную радио — грохочущие английские песни, — песни громыхают над огородами, над магазином, над помирающим соседским дедом, над бабкой, владеющей одной курицей и имеющей на день одно яйцо и картофельный суп, над тремя дряхлыми сестрами, которые полгода уже живут врозь потому, что две желают президенту России паралича, а третья — доброго здоровья, и громкая песня летит дальше, до города, где мигает музыкой кафе «Русское поле», поглотившее все приватизационные чеки округа. Так называется: вложить ваучер в русское поле.

Здесь хорошо спать. Но уезжается не сладко. Бросают лопаты и грабли, подходят к забору — ну что? Выкопал и поехал? И все ведь знают: из Москвы. И смотрят, будто ты в ответе, и это скребется в твоём горле: ты в ответе.

А ты, как дурак, трубишь на всю улицу: как картошка? Хватит на еду, курам и на семена? Не уехать и не остаться — везде чужой.

Вот осень, ну и что — Лев Толстой вдруг удивился в одно утро: не мог вспомнить — вытирал пыль в кабинете или нет. Он

делал это каждое утро. И поэтому не мог вспомнить. Он предположил: повторяющиеся действия не запоминаются. Они пусты. Так пусты картофельные осени — нечего вспомнить. Но не только. Если пусты — значит, прозрачны, они дают видеть начала и пределы, и, когда ты возвращаешься в дома, где есть лифты, но нет соседей и земли в трех шагах от постели, и где на каждом этаже на тебя взглядывает смерть, ты начинаешь жалеть о простой, понятной работе, легкой голове и единственной заботе о завтрашней погоде.

Многое уж забыл. А вот что помню: каждое утро я конвоировал племянниц и соседского пацана в школу. Я выводил своих на крыльцо, а мальчишка уже ожидал у своей калитки. Я отбирал их портфели и нес: три. Но иногда портфелей было два. Наутро после родительской пьяной драки, мешавшей нам спать криками и хрустом посуды, мальчик не ждал нас, он уходил сам. Мы шли следом, я пытался его звать, но он не оборачивался, а быстрее шел дальше, я смотрел на его затылок и боялся думать: что вот сейчас происходит в его голове, что решается, не моя ли судьба?

Сейчас стыдятся некоторых слов, одно такое слово «боль». И я стесняюсь. Кабы не стеснялся, я бы обязательно написал: мне больно, когда я вспоминаю об этом.

## СВЯТО МЕСТО

*(Васильевский спуск)*

Великие радости сулит Москва жителю всей прочей русской земли. Москва! Высота зданий и цен, Красная площадь, мавзолей, часовые поднимают сапог, шеренгой смертников у последней стены сгорбили несчастные бюсты за голубоватыми елями, вот правительственные окошки, от которых запинается сердце: а вдруг, обесилев говорить, увидел тебя из окна он и, дуя на мозоль, натертую на пальце «вертушкой», рад до слез встрече с земляком среди площади, усыпанной иноязычным людом, смотрящим на собор Василия Блаженного, как корова в иллюминатор, — этих воспоминаний русскому человеку хватит на всю жизнь.

Но есть и грусть. Съездил, постоял, послушал, как отзываются в левом ухе куранты, и вдруг понял: все. Больше ехать некуда. Самое дальнее и самое главное, что было суждено, — вот. И больше ничего нет.

Судьба великой державы очень смахивает на судьбу великого героя. Вот Цезарь. Родился, воспитывался, мечтал, крался к власти, очаровывал толпу, крушил врага на границах, стал главным, триумф, счастье, уважение, почет, успехи на любовном фронте и кресло из золота, а потом уже возраст, лысина, народ бурчит, товарищи по углам шушукуются, сны нехорошие, предсказания — взрезал жертвенное животное вдоль — мать честная, а где сердце то? А

сердца и нету. Ничего себе заявочки! Ну а впоследствии исколют кинжалами, как зверя, и лежи околевай — народ в смятении, валяют статуи, казнят заговорщиков, все прахом, а от героя только одна комета в небе и осталась, и хватит.

Красная площадь — булыжное нежное сердце родной земли, затертое, как обои вокруг выключателя, затуманенное, как место в иконе, где все целуют, печальное кладбище, где по праздничным дням являлись призраки счастливого народа и призраки мудрых правителей с качающимися ладонями, а ныне топают изредка призраки демонстраций капиталистической революции, грозящие призрачно коммунистическому Кремлю.

Сердце, а совсем не слышно в этом грохоте его биения. Тихо, мертво под ногами. Хотя, наверное, еще живет, есть, раз не брызнула еще наружу, на площадь кровь, значит, сердце устало, но справляется еще, еще гонит кровь по всем концам дряхлой державы, что-то связывает нас еще, кроме цепей.

Мы почему-то стесняемся простых, последних желаний. В них какое-то унижение, слабость, конец. Когда нет сил ничего уже больше хотеть, кроме одного — еще пожить. Хоть как. Хоть сколько. Только бы жить, жевать, дышать. Простительно, но как-то стыдно, и оттого мы путаемся в своих речах и путаем всех вокруг.

И, пуская заморские стимуляторы, иноземных спасителей к сердцу и куда угодно и как угодно — лишь бы еще пожить, — мы почему-то держим их стыдливо на Васильевском спуске, месте, где первый раз резануло по нашему сердцу колесиком самолетика Руста, открывшего, что в окне в Европу яет стекла. И этот самый Васильевский спуск мы и стелем под ноги с легкой ложью: да, дорогие спасители и победители в историческом соревновании, это и есть Красная площадь, а вот и Кремль, и Покровский собор, здесь раньше и чихнуть было страшно, а теперь — пожалте! — хоть оперу, хоть Кардена с дирижаблями, хоть оперу с дирижерами, хоть голой задницей в объектив — мы рады вам!

Ах, любезные господа, чуть обманываем мы вас, лукавые холопы, чуть стесняемся мы и робеем пышногрудой нашей новой участи и сытой будущности, не все как-то сразу — Красная площадь, она, конечно, на той стороне собора, это вот там Лобное место, обгаренное, это там в Вербную субботу царь вел ослика под уздцы, а на ослике сидел патриарх, это там катались кругом экипажи, кричали «медные» да «соляные» бунты, сюда приходил каждый и мечтал прийти, с этим местом у каждого совпадало искренне или предначертанно слово «Родина», через нее проходили на смерть и на подвиг, а вообще, конечно, в основном торговали — медом, пряниками, лубками, сбитнем, моченым горохом, чтоб голубей кормить, да всем, еще игрушками чудными: полузабытый «тешин язык» и напроць не известные «американские жители» — смешные такие человечки скакали, стоит только

пальчиком на резиночку нажать; как, однако, все меняется. Вот это и есть Красная площадь.

А сердечными местами русских жителей торгуют на задах Покровского собора — на Васильевском спуске. Но вообще и это место неплохое, глубокое. Раньше обрыв был, «ров», край Боровицкого холма, а потом освоили и эту низину, и хитрое вышло место — между Кремлем и посадом, между властью, деньжками и народом, неопределенное такое, свободное, как раз для нашего времени, когда человеку сил нет определиться лично и он все больше пытается самоопределяться вместе с нацией, республикой, областью, городом, поделщиками.

Вдоль Кремлевской стены к речке выкопали ров, когда потише стало, — на дне рва сад разбили. Через ров — мостики деревянные, на том мостике, что в изголовье Васильевского спуска, на «крестце», жили безработные попы — их нанимали в домовые церкви; попы торговали литургией, очень грубо бранились, за ними глаз да глаз. Если спиной к собору стать — справа Васильевский спуск бережет Кремлевская стена, три башни. Беклемишевская — с нее верх снесли, когда брали Кремль в революционные дни. Набатная — ее колокол высказался не с точки зрения руководства в дни «чумного» бунта, и ему выдрали язык. Константино-Еленинская стоит на месте Тимофеевских ворот, через которые Дмитрий Донской выехал на Куликово поле поучить Орду новому мышлению, в самой башне был в свое время и Разбойный приказ, ее называли «пыточной», и, говорят, слово «застенок», имеющее в родной речи одним нам ведомый печальный оттенок, пошло именно с этой башенки.

А с левой стороны — Зарядье, торговые места, много евреев селилось — им только там разрешалось останавливаться.

По спуску архиереи ходили святить реку, через реку был «живой» мост из бревнышек, прачкам очень удобно, за рекой луга, сады, зимой по речке — бега на тройках, по набережной могли и преступника сквозь строй прогнать нужное количество раз. Все на Васильевском спуске есть, не переживайте, гости заморские. Не зря мы его первым даем.

А теперь здравствуй, завтрашний день! Ты победный и прекрасный, недоступно великий, ты идешь по верхам, рекламами по крышам, праздниками для толстосумов — тебе некогда глянуть под ноги. Ты не даешь нам времени передохнуть, посидеть одним в пустыне, на пепелище, сцепив кулаки, ты не оставляешь нам времени меж чугунных парадов и чужих праздников, которые накормят нас, на то, чтобы остановиться, снять булыжник с Красной площади, раскопать кремлевские земли, просеять до пылинки и понять наконец: где мы, что мы были, что мы знаем про себя, есть наше сердце или нет, принести жертвы, облегчить сердце, отмыть руки, прозреть, да все нету времени — все гуляем, ура! У нас теперь музыка и танцы, хватит жить, давайте веселиться, здравствуй, завтрашний день!

Здравствуй, завтрашняя жизнь! Ты приходишь властно, бегло, высокомерно, с арифмометром в руке, и мы так рады, что ты готова взять нас с собой — налегке, с пустыми карманами. Пускай, и нам так приятно, что все, что у нас было, хоть на что-то тебе сгодится — даже как фон для фотографии. Запечатлитесь на нашем фоне, запомните нас красивыми! Да, вон то, что у вас тут за спиночкой, это для нас было — ох, даже смешно сказать, ну не будем, не будем, ладно, проехали!

Здравствуйте, новые, счастливые люди, победители, умные, смелые, властные, вы триумфаторы, вы, как Цезарь, которому кричали: «Идущие на смерть приветствуют тебя!» Мы идем и приветствуем вас, еле сдерживаясь, чтобы не попросить, ну, хоть еще секундочку постоять у любимого усопшего тела — наших памятных мест, хоть дотронуться губами до холодного лба, что-то поправить на груди, да ладно, закрывайте!

Здравствуйте! Счастливо вам тут погулять после нас.

## АБСОЛЮТНО ЧЕРНАЯ ПУСТОТА

Метро застыло под землей неподвижным штурвалом, который если и удастся повернуть, то только вместе со страной.

Мы так любили метро, что стало с этой любовью?

Чтобы разобраться в этом, нужна ночь. Ночь — это время любви.

Ночь — это пауза, это блаженство скупого рыцаря: спуститься под каменные своды и перебирать медленными пальцами сокровенное, не торопясь налево через переход, вниз по эскалатору, с радиальной на кольцевую, толкаясь — этими бы санками ему по башке! — почувать на лице печальный сквозняк пустых пройденных коридоров, побродить по забытым комнатам, трогая, вздыхая, плача и забывая, где ты сейчас.

И когда ты шагаешь по ночным застекленным льдом апрельским лужам, по голым улицам, как пересохшим руслам, к кровавой «М» на фасаде «Площади Революции», ты словно проваливаешься сквозь прогнившие этажи времени, и тебя за горло хватает мохнатой зелеными почками лапой другой апрель, твоей первой любовью, с ее посольством в каждой телефонной будке, где снимаешь трубку и в ладони забьется гудками собственное сердце, и каждое негасимое окно ждет тебя, и радость — это боль... Вот и сейчас: как не было ничего потом, ведь то же небо, дома, апрель и ты, и не может быть, что этого больше нет, — надо только поискать по улицам, и обязательно встретишь, не может быть, чтобы это ушло, раз так больно, просто не судьба пересечься, не везет...

Хотя кто знает. Может, и к лучшему.

Скудеет шарканье в подземных переходах, все реже шелестящий листопад блестящих машин на почерневшем асфальте, ночь вырастает косматым брюхом в затылки домов — ненасытный подзем-

ный спрут метрополитена собирает всенародный тихий съезд, созывая в глубокие мраморные норы не знающих дневного света сов в желтых безрукавках, служить первой, прекрасной любви социализма, построенной с опорой на собственные силы, в иронично ухмылявшемся окружении, на костях восьми веков, лучшему в мире московскому метро!

Метро кашляет в сырые платочки улиц, освобождая свои верные прошлому легкие от остатков очумевшего народа, недостойного своей первой любви.

«Последние валят гастрономы, министерские. С ресторанов — поддатый народ. Не так, как русский Иван — широка страна моя родная, — чинно. Мужик какой-то под закрытие ходит. Такой, с прибабахом. Осматривает так внимательно каждую женщину. Встанет на эскалатор и перекрестится. И замечаем: часто поднимается с разными дамами. Вот тут его как-то не было — так мы даже скучали! С Арбата даже не народ идет, разве это народ? Голые ходят. Ладно девчонки, а то у нее 58-й размер, а у нее ноги и спина наружу — тыфу! А вот «афганцы» на праздник шли — через турникеты сигали, все плафоны побили! А вот на большие мероприятия, когда закрываемся, — одно удовольствие: порядок, все с пропусками, военные».

«На «Площади Революции» глухие собираются, да, ну эти — глухонемые. Они раньше на «Новокузнецкой», теперь здесь толкуются, допоздна, шмотками торгуют, порнографией занимаются, в колпачки играют. Вечерами опасно — хулиганы задраться могут, подколоть. В последних поездах пьяного разуть, раздеть. Или: «Осторожно, двери закрываются», — а он дверь попридержал, хватя шапку! — и бегом, ищи товарища. Да и сама милиция, мне кажется, карманы может почистить, а уж стукнуть или слово грубое сказать... Бабульки с вокзала просятся переночевать».

Все. Последней, короткой судорогой дергается эскалатор, и можно задохнуться безмолвием. Слабым эхом долетает снизу спешащее завывание бегущих в депо поездов. Зевающий постовой запирает двери — все. Начинается жизнь подземного хутора.

В каменном бункере под вестибюлем мотают на руки застиранные бинты две бабушки — машинисты эскалаторов, — их доля самая опасная. Вниз уходят узкие грязные канавы, до самого низа, до самой гребенки. Если среди бела дня эскалатор станет, бабушки за твердые пять минут должны взлететь вверх-вниз своими ногами. Одна ступенечка, которую можно повредить, зазевавшись с подъемом тележки-сумки, весит пятьдесят килограммов. Когда приходит ночь, машинисты должны протереть каждую ступеньку. Мифическим моющим раствором — реальным вонючим и разъедающим руки керосинчиком. По инструкции — неподвижное полотно, в жизни — пуская его на малом приводе, протягивая руки среди чавкающих железок. Один оборот — три часа. Коллектив коммунистического труда. Они величавы и кротки — как богоматери.



— Машина ведь... Она чувствует. Ты с ней грубо — живо тебя утащит. Уцепит конец одежды — держи его. Попадает кто? Если опыта мало или наоборот — уже устал. Я четыре класса имею. Молодые приходят: понюхают и уйдут. Спать нельзя — придет начальник и пострижет, и премии лишит. Раньше вон и за книжку гоняли. Сидишь ночью, сидишь, и начинает казаться — в машинном зале кто-то есть. Выйдешь глянуть: нет там никого, кроме 380 вольт. А вообще мало ли что тут есть — Кремль же рядом.

Эскалаторы еще с открытия. Сохранились, правда, хорошо — видите ли, на ступеньках все больше стоят, а если и ступают, то на бегу, легонько. В метро лучше всего сохранился скелет ушедшего времени, это как мавзолей. Ремонтировать трудно — все раскроют, а чем заменить.

За лимонными занавесками кассы звенящим водоворотом прыгают монеты в счетной машине. Сто рублей — это ббб пятнашек и два пятака. СОРА — это старший оператор разменных автоматов, кассир по-местному. Это Александра Николаевна Волкова, воротник — белый горошек на голубом, четверть века «батрачит», профессиональное заболевание — радикулит, начинала контролером, рвала билетки, чтобы «впредь не действителен».

Милая Александра Николаевна, впредь недействительно...

— А в метро набирали девочек только красивых, рослых. Бывало, стоим на контроле, одна краше другой, все по форме. С формой строго: солдатские шинели с погонами, беретки, туфли скромные, спортивные. Обязательно в чулках — не рекомендовалось сверкать. Платье военное тоже, но его берегли, черное что-нибудь под шинель натягивали, не цветастое, чтобы в прорезь не мелькало. Чисто было! Утром медсестра и новая дежурная станцию принимали: берут в руки ваточку или бинт и пробуют пыль. Или на пальцах: указательный — балюстрада, большой — скульптуры, средний — лавочки...

Она ставит чайник и обещает:

— Все пенсионеры. Уйдем — пешком будете ходить... А холодыга была, все своими боками грели.

Я ступаю вниз по непривычно недвижимым ступенькам меж круглых ламп, похожих на пушистые комки вербы с огненной гусеницей нити накаливания внутри.

Наверх по соседней тропе со смирением паломника, ползущего в святые места, бредет унылая фигура в зимней шапке и ремонтном жилете, не надеясь на порыв доброты дежурной по станции, могущей своей властью оживить эскалатор и с ангельским всемогуществом поднять душу, отошедшую от дел трудовых, в продуваемый сквозняками вестибюль. Встречному радуешься, как в пустыне. Встречный печален. Хотя аромат наших трудовых свершений — сивушный перегар, который он тащит за собой по ступенькам, как не собранный парашют, — позволяет предположить, что печаль эта умиротворенная.

Люстры висят как светильники в старом храме меж мертвых изваяний. Гоня перед собой ветер, катят хозяйственные поезда: проверять рельсы, подбивать шпалы, отвезти грунт для грибницы на «Смоленскую».

Хмуро конспектирует бархатный голос из селектора дежурная, например, Ира, обставленная старыми телефонами с мосластыми, как гантели, трубками, под сенью раздвижного багра, которым выуживают посеянные товарищами на полотно очки, ключи, деньги, расчески, ботинки, зажигалки, под образцом заполнения: «Утерянное удостоверение о праве на льготы на имя Стульева Иродиада Ивановича при обнаружении изъять и переслать на службу». В паузах ночи забываешь свое время.

Ира, бывшая портниха Дома моды, не могла отличить рельс от шпалы, теперь — «сто шестьдесят в зубы».

— А ведь некоторые наши селектора боятся, — подвела итог селекторным сообщениям Ира. — Мрачноватая у нас станция?

Я киваю, обряжаясь в безрукавку с крестами «световозвращающего полимерного слоя», и становлюсь похож на рыцаря-тамплиера перед крестовым походом. В инструкции указано: «При общем загрязнении жилеты стираются в домашних условиях».

— Постоянная сухомятка, — погибает пальцы Ира. — Вдруг какому-то гражданину захотелось пива в тоннеле выпить, то подрались — один тоже в тоннель убежал. Так я приказы пиши, бригады предупреждай, сажай милиционера в кабину, чтоб поймал, еле вытащили его из перехода между тоннелями. А милиция-то ходит и бумажки за нами подмечает, а как драка в вагоне — не дозовешься. Пистолет вон у матроса воруют, партизана чуть толкни — вообще свалится. Санврач приезжает — вообще концерт. Какая там чистота... Записку на станции однажды нашла: «Люба, я тебя ждал и не дождался», — заключает она довольно, мечтательно улыбаясь.

На пустой платформе под сенью грозных статуй крепкие мужики из бригады капремонта сражаются в картишки. Их удел — черная, ломовая работа. Тяжелей в метро нет ничего.

С тихим урчанием подкатывает катерок — мотовозка 908ДМ; нагруженная смолистыми шпалами. Бригада неспешно поднимается грузиться. Мастер Савельев, суровый товарищ с посеребренной головой, долго без выражения смотрит на мою новенькую жилетку и лениво спрашивает под нос:

— Поедем?

Мотовозка влетает в ребристое горло тоннеля, и пыльный ветер дышит в раскрытую дверь — мастер Савельев стряхивает в нее пепел, над головой качаются елочные игрушки в такт моей голове, в кабине лузгают семечки, спят или оцепенело смотрят глазами странников, как на продуваемой платформе, сбившись на расстеленных фуфайках в кучу, храня тепло между собой, лежит бригада, а еще дальше, на самом краю, с неподвижностью снежной бабы

торчит одинокая женская фигура в черных мотоциклетных очках — помощник машиниста, она махнет, если что...

Короткими видениями проносятся мраморные берега станций, и мы опять пронзаем редкие браслеты света в бесконечном черном рукаве — свет нанизывается за нами в лучистое солнце, — мы не замечаем редких прохожих, жмущихся к стенам. Ночь, и нет времени, есть люди, которые спят каждый день и работают каждую ночь, которые перед сном смотрят «120 минут», а после сна программу «Время», которые по четверть века не работали на свету, а если повезет уйти на пенсию, а не приголубит инвалидность, и тогда будут тосковать по безмолвному величию не подвластных жизни станций, и черноте, и безлюдью — как они похожи на всех нас... И пытаться их понять безуспешно — мы себя не можем понять. Тоннель — без неба и земли — похож на исповедальню.

Женщина возносит руку — наш километр, мотовозка теряет ход, все медленнее проносятся круглые ребра тюбингов — тише, едва-едва, стоп.

Бригада молча сидит, не двигаясь со своих фуфаек — как греки, которые приплыли отвоевывать Прекрасную Елену и узнали, что, кто первым ступит на троянский берег, погибнет.

Женщина пробирается в кабину и сдирает с лица очки, устраиваясь на лавочке: те два часа, которые бригада будет менять шпалы, — ее законное время.

— Красивые у вас очки.

Она оценивающе покосилась на меня и деловито спросила:

— А все остальное?

Заверив во всем остальном, я высовываюсь из кабины и пытаюсь разглядеть на шершавых сводах цифры времени: над головой 25 метров земли, Покровский радиус заработал в 1938 году, над головой чугунные тюбинги — время чугуна.

И вдруг тоннель окольцовывается гирляндами желтого света — все, напряжение сняли, будто обмяк громоздкий контактный рельс, — можно работать, и все шевелятся, будто напряжение проходило через человеческие тела. Люди прыгают вниз, и туда же с гулким протяжным стоном падают одна за другой семидесятикилограммовые шпалы.

— Черные, как из Анголы, — замечает по поводу шпал бригадир.

«Всеми признано, что ни в одной стране нет такого красивого, технически совершенного и удобного метрополитена, как московский. Сталинская забота о человеке чувствуется в нем на каждом шагу». И. Новиков, начальник Московского метрополитена им. Л. М. Кагановича.

Прошлой ночью вырезаны прогнившие куски шпал, отбойными молотками вырублены в бетоне зернистые могилы для свежих — кувалды сбивают накладку с рельсов. Бригада обсчиталась на одну шпалу и теперь несет ее на руках с убравшейся подальше мотовозки, согласно шагая, — как гроб.

«Открытие предполагается ко второй пятнадцатке марта».

«Архитектурное оформление станций и вестибюлей второй очереди, несомненно, — дальнейший шаг вперед, новый этап в отражении величия сталинской эпохи в архитектуре».

В начале марта 1938-го по соседству с «Площадью Революции» началось воздвижение еще одного сооружения, достойного величия сталинской эпохи, — процесса антисоветского правотроцкистского блока.

«Расстрелять презренных фашистов». «Никакой пощады предателям». «Расстрелять злодеев всех до одного». «Нет места на нашей советской земле этим кровавым палачам и предателям!»

В тоннеле — пустыня, иногда — крысы, мыши, ближе к улице — воробьи и голуби, совсем редко — кошка, как снежный человек.

— Вот... работаем, — делает жест рукой мастер Савельев, под ударами кувалды коротко мигает колючая злая искра. — Весь инструмент — ломики, топоры, кувалды.

Под шпалами сочится медленная черная вода.

— Эта бригада — зубры. Сейчас чепуха — сорок шпал всего-то. А когда за ночь двенадцать человек меняют рельсы на четырехстах метрах пути — это три с половиной тонны на каждого. Сюда от хорошей жизни не идут. Только из-за детей. Некому сидеть. Он с работы придет — ребенка в школу или детсад. Проснется — ребенка обратно. Сейчас еще потянулись сокращенные. В субботу утром придешь — ложиться нельзя, терпи — тогда, может, повезет: ночью уснешь. Здесь строго — примочить нельзя.

«Шакалы фашизма». «Они поплатятся своей головой». «Гнусные подонки человечества». «Смерть злодеям». «Раздавить ядовитую гадину». «Настал час расплаты». «Подлейшие из подлых». «Фашистские волки». «Каждый гад будет уничтожен».

На сточной решетке прилип сиреневый проездной билет, здесь — словно зеленый росток.

Воеет «мотоцикла» — пила, обрезая длинную шпалу. Мастер Савельев спрашивает у своей ноги:

— Играет шпала, нет? — И учит молодого: — Тебе же сказали: с топориком иди!

«На Покровском радиусе будут курсировать усовершенствованные составы. Вагоны окрашены в голубой цвет и комфортабельно оборудованы. Движение на Покровском радиусе откроется 13 марта».

Вечером 12 марта подсудимому Бухарину предоставили последнее слово.

В четыре часа утра 13 марта начали читать приговор. Закончили около половины пятого. Большинству — расстрел.

В шесть утра пошел первый поезд. По рельсам.

14 марта газеты рассказали: «На метро царило вчера большое оживление. Много москвичей пришли задолго до открытия движе-

ния, чтобы первыми проехать по новой линии и осмотреть станции «Площадь Революции» и «Курскую»... На станции «Площадь Революции» пассажиры подолгу останавливались перед скульптурами... Эксплуатационный персонал вновь открытого радиуса, состоящий преимущественно из молодежи, хорошо справлялся со своими обязанностями».

В ночь на 15 марта приговор привели в исполнение.

Я бросаю монетку посреди черных шпал и уходящих в холодный мрак блестящих струн рельсов... Хотя не хочется вернуться. Хочется — не забыть, я иду в сторону «Площади Революции», держась той стороны, которой надо держаться, если хочешь дойти, светоотражающие полосы пылают нежгучими крестами на спине и груди.

«Приговор суда зовет нас к новым победам».

«На снимке: пассажиры на станции «Площадь Революции».

Покровский радиус потому, что Покровские ворота, и потому, что кровь. А восемьдесят статуй на «Площади Революции» — как символ восьмидесяти прожитых нами и еще грядущих лет?

И я шел, как ненужный, чужой комок, проглатываемый голой глоткой тоннеля, в котором только ветер и люди — последние заложники сталинской бессонницы, — по подземной стране, от околотка к околотку, возвращаясь в свое время, а все, что было вокруг...

Вскочили столбами во мраке, бросив курить, четыре смущенных товарища и в лучших армейских традициях изобразили трудовой процесс посредством опоры на ручки лопат, с осторожным любопытством осматривая прохожего...

В убогой пещере за маленькой дверцей, в неровных лужах света копошились, увертываясь от воды, сочащейся с потолка, одетые в фуфайки люди. Один, смущенный, не дыша в мою сторону, еле отошел к стене, облокотился, чуть не упал на трубу неизвестного назначения, и пустил проверки ради громадный вентилятор — тот завыл. Это несчастные «эсмэсы» — слесари по ремонту, самая грязная и мокрая служба, — все руками своими, латают то, что нечего уже латать, коченеют в вентиляционных шахтах, которые против здравого смысла, но в соответствии с технологией зимой гонят стужу в метро, летом — выгоняют наружу тепло. Каждую ночь — тут в субботу не уснешь, если не выпьешь.

Катят свою тележку по рельсам тихие дефектоскописты, идет вдоль своей «нитки» уважаемая Анна Алексеевна — обходчик, двадцать три подземных ночных года ради детей, в правой руке — фонарь, в левой — молоток, на стыке шесть болтов, целые стыки — они звонкие; в пакетике: рабочая книжка, кружка и поесть, все вещи в мешок и на тележку — оставить негде. Чай можно на Арбате попить, можно и к местной дежурной сбегать, но какая дежурная... А то и погонит. Тут выборы были, пришла с работы, проголосовала, чтобы не будили потом, и спать. За кого? А хрен его

знает, он что, квартиру, что ли, даст? Одна беда — в поездах первых ехать страшно, в первый вагон садиться надо, чтоб к машинисту... Если что...

Сначала очередной гирляндой света, потом белесым пятачком, потом белой воронкой появилась впереди станция, величавая, непривычно огромная, светлая, наполненная тишиной и покоем, перекрывающая грустные песни тоннеля веселой, жесточкой радостью. Ногой на мирный пока контактный рельс, и ты уже на платформе, где тягает туда-сюда свою машину механик моющих машин — МУМ, которою в народе жалостно кличут «муму». И она закончит сейчас, поправит косынку и скажет тоже свое:

— Вот раньше давали шесть-пять кусков мыла в месяц! И полведра соды! А теперь? Один кусок, один! На три — три! — месяца. Мешковины и той нету. Кооперативы замучили: сколько бумажек от их пирожков. Машины мои... Тридцатка воду льет, а сорок первую — с места не сдвинешь!

У нее за спиной — вход в тоннель, где прячется ночь, а утро, что же утро — это не пробуждение, это начало сна, когда ты знаешь цену ночи, ты не веришь утру, паузы разрушают жизнь, и что остается, когда мы слишком знаем про себя?

Из последнего слова подсудимого Бухарина:

«Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты умрешь. И тогда представляется вдруг с поразительной ясностью черная пустота».

И выйти на середину станции, где железные люди — крестьянка, склонившаяся над тучными курами, в ее руку чья-то добрая рука поместила сигарету; никогда не бастующий шахтер в резиновых сапогах; бессонный инженер с шестерней, как с яблоком раздора, выставив салфеткой на коленях гнутый свиток; непримиримый матрос; жилистые руки партизана в лаптях; вихрастые девочки над глобусом, поместив палец там, где прекрасная Родина; женщина с винтовкой и женщина с парашютом, ноги в вязаных носках; агроном в лихой кепке уютно сидит на тракторной гусенице с густым пучком запыленного злака в руке — открытые, поразительно не знакомые лица, гранаты, пистолеты, затворы, горящие яичными желтками от касаний, — их так часто трогают руками проходящие внуки их, словно призывая заколдованное поколение встать, подняться по крутым эскалаторам, мертвыми колоннами выйти на площади, захлопнуть затворами тоннели, вернуть ясность заблудшему времени, которое тянется жадными руками вниз, к подземному созвездию, к кольцу, где хранит Кощей свою жизнь, тянется забастовками, грабежами, грязью, пустотой...

А первая любовь... Вся ее рвущая душу сила в ее вечном расположении в весенней сумятице ливней, в апрельских пьянящих просторах, наперекор жрущему все времени, неподвластная праху земли, оставаясь в дыхании каждом, обвале воспоминаний

и бездне отчаянья ангелом-хранителем и змеем-искусителем, в том, что даст возможность человеку оправдаться, когда он поймет среди осени, что кончена жизнь... И не дай Бог встретиться с ней потом, лоб в лоб, и увидеть ее подвластность времени и мирским соблазнам, отвратительное увядание и невозможную раньше телесность, увидеть все, что лишит тебя апрельской муки и наивно-детской веры, что где-то есть, живет, просто встретиться не судьба; и это вычеркнет ее, вырвет, вышвырнет из твоей души, из тайников, где с самого детства победный размах ворот Зимнего, ревущая лава красной конницы, высокие домны и крепкие улыбки, горькая победа в великой войне и покоренная целина, Сибирь и первый, самый первый день, когда мама привела тебя — а ты в колготках с «пузырями» — к памятнику в центре города и сказала: «Вот это...»

Что же остается тогда? Ради чего ты умрешь?

Две женщины — «сооруженцы» — моют швабрами скульптуры. Одна улыбается мне:

— Новые станции — все мел да кафель, поезд прошел, и плитка посыпалась... Вот Арбат — станция, как хрусталь. Уже двадцать пять лет здесь. Пять ночей в неделю. Муж поначалу ярился, а теперь, когда уже пенсия подвалила, — все равно. Прошла жизнь, эх...

Она наклоняется к ведру и прыскает:

— Дренаж мыли... Я говорю: «Тамар, смотри, крыса!» — а она юрк в дренажную канаву, я туда струю! Крыса ка-ак выскочит — я чуть разрыв сердца не получила. Раз даже работа приснилась — дренаж какой-то мыли. Видишь, уж пальцы от воды не ггибаются — прошла жизнь, прошла...

Она уходит в тоннель и просит на прощание:

— Написал бы — вот урны с платформ убрали, бумажки кидают на путь. — И с чувством: — Плохо без урнов.

Проходит последний хозяйственный поезд, оставляя за собой слабый гул, свет меловыми языками лижет стены — здесь всегда полдень, ночи нет, на лавках пластаются усталые товарищи, познав всю старческую ложь зовущей стрелки «Выход в город», — никакого выхода нет, ты не пожалеешь своих ног и отсчитаешь две сотни ступенек до верха, и постовой откроет тебе отвоеванную зимой весеннюю ночь с редкими тенями ранних рабочих или ночевавших любовников, и ты вздрогнешь, ступив на лужу — под ногами лед, — это удивительное счастье хрустеть льдом.

Ты сегодня среди тех, кто идет по пустым улицам, клюет носом в стакан чая, провожает на работу и учебу, чистит зубы с закрытыми глазами, обесточивает кипящий очередным съездом телевизор, с металлическим шорохом запахивает шторы и пускает в свое тело спасительный сон. Чтобы проснуться и со спокойным отчаянием увидеть, как слепым студеным светом ломится в пыльные окна тоскливый полдень.

Дорогие москвичи и гости столицы!

Если вы уже затарились колбасой и продуктом первой необходимости пол-литровой расфасовки и до поезда еще ночь — сдавайте баулы на хранение и бегите к «Икарусам» — покатайтесь!

Посмотрите налево, завернем направо, вот — зоопарк, а вот площадь Восстания, на которой единственный — дом один. Один из высотных домов, которые... Но вот здесь можно вылезти, размять затекшее и задрать голову.

Дом — это, наверное, то, что мы думаем о времени, и то, что время думает о нас. А теперь дом умирает, рушатся «архитектурные венчания», отлетают ручки у могучих скульптур, сто раз в год лопаются трубы, и кипяток каплет на зеленые диваны с золотыми кентаврами, на картины и бюсты и паркет роскошных квартир, и тогда отбойные молотки крушат благородную лепнину; и ставят новые трубы, совершенно точно зная, что через две пятилетки проржавеют и они, — построенное на пятьсот лет стало чахнуть раньше, чем померли младшие строители, тотчас как сгнули старшие, и второе десятилетие именитые ходоки от жильцов мучают ремонтные конторы, а те им шепчут наедине в обремененные золотыми серьгами уши: уедьте, где вы видели такой ремонт такого дома без выезда? Уезжайте — за год сделаем!

А жильцы страдают. И не уезжают.

Смысл высотного строительства, обнародованный в январе 47-го, был такой: это символ — силы народа, величия культуры, могущества государства. Они — уродливые, бездушные небоскребы, а мы — широкие площади, гранитные набережные, светлые дома. Это был поскромневший отголосок Генплана 35-го года, отвергнувшего «город-музей» и наметившего: освободиться от зданий, скрывающих перспективу, пробивать магистрали, выпрямлять изгибы, сносить кварталы и разбить парковый массив на месте Ваганьковского кладбища.

И вознеслись семь домов серыми парусами, кленовыми листьями — эпоха последний раз встала на дыбы, пытаясь доскакать по семи ступенькам до небес.

МИД на Смоленской славился сварщиком, пославшим далеко товарища Хрущева, непланово поинтересовавшегося ходом строительных работ, и восьмиметровой люстрой; у МГУ поражали две монументально-декоративные скульптуры Мухиной; жилой исплин на Котельнической вобрал в свои крылья великосветских штук, могущих заявиться в кабинет директора в ночной сорочке и с болонкой на поводке, и грозных героев НКВД, которые грелись на солнышке, отдыхая от ратных дел, пока не потянулись с окраинных земель их подследственные, и после нескольких радостных нечаянных встреч набережные лавочки быстро опустели.



А директора домов имели машины и кремлевский паек, один из директоров был даже братом Паши Ангелиной — вообще хорошее было время!

А дом на площади Восстания — из поздних, ему роскоши досталось поменьше, он впитал от отечественной архитектуры милую русскому сердцу яркость и шатер вместо костяного шпилья, и публика в нем жила посветлей — «орлы» Министерства авиапромышленности и артисты, и буквой построен он был скромной — «Н», куда уж ему до величественных «Ж» и «П» (МГУ и Красные ворота).

Фундамент под землю на восемь метров, стены — метровые, электрик спрашивает меня в подвале:

— А зачем тащиться наверх-то? Там же знаете, кто сидит? Люди в погонах! Американское посольство рядом, а мы все равно выше, ага? — И он подмигнул.

— Хочется увидеть, как взойдет солнце. Лезут же японцы на Фудзияму ночью кромешной, бормочут: пусть души наши будут чисты, с черной душой не поднимешься, а солнце взойдет и утешит печаль, забудешь о смерти. Правда, некоторые по слабости характера прыгают в кратер, но я все-таки надеюсь увидеть солнце — в шесть ноль две восход.

— Ну-ну, — понял электрик. — Японцы больше других нашему дому удивлены — такая роскошь! Мрамор, гранит, хрусталь. Что ни говори, у нас лучше. У меня мастер был, с родителями в Америке пожил, и фотографии есть: он в шляпе на машине с девочками. Он двигатель с насосом центровал: пятак на ребро ставь — не шелохнется. Вот он говорил: ребята! Ребята, говорил, как хорошо у вас жить, получил свои восемьдесят, взшел на этаж, лег на диван и плюю в потолок! А сейчас возьмись кто центровать: пятак хоть плашмя ложи — слетит. Раз поутру сантехник на этаж пошлепал, пять вечера — его все нету, звонят из квартиры: заберите, он у меня в ванной пьяный спит, постелил себе свежего белья из тумбочки и рухнул! А люди тут какие. Никогда я им не завидовал, да разве я могу себя с ними равнять: Коккинаки, Анохин, Громов, герои, летчики, конструктор секретный — как исчезает, значит, пуск, потом смотрим — из ресторана веселый, значит, удачно. А вдруг не взойдет солнце-то? Вдруг не увидите?

Мы в подвале, ниже — только бомбоубежище, две с половиной тысячи метров площади. На него опирается дом, а что касается родной земли, то были здесь прудик, кладбище и церковь Рождества в Кудрине. И прадеды были не дураки, и правнуки — место для храмов совпало, друг на друге, на костях. А Кудрино — было такое сельцо боярина Кучки, и зачем-то следовал этой стороной князь Юрий Долгорукий, ну а боярин что-то уж «возгордился зело и не почтил князя», князь в лучших отечественных традициях, «не стерпя той хулы», повелел того боярина «ухватить и смерти предать». А сам, значит, чтобы кровь остудить, сходил на гору, огляделся: а

чего, ха-рошее место. Короче, «возлюбил села оные» князь и сделал тут Москву. Хотя, может, и врут. Почему-то для веры в будущее построенного надо, чтобы вначале брызнула кровь. А вот потом тут была дорога в опальный Новгород, а потом...

Хотя хватит, наверное, я начал восхождение из подвала, наверх, увидеть восход, этот рыжий сноп, этот солнечный фонтан, растекающийся над бледными облаками, этот свет...

А пока дом опоясали мерные взмахи метел, в росистом скверике дряхлые старушки с сумами дискутируют о первенстве на найденную бутылку, голодно молчит соседний зоопарк, а дворничиха татарка Нурия ругает моечную машину: опять весь песок на эту сторону. Она десять лет скребет лопатой. У нее муж и трое детей. В скрывающемся на верхотуре технических этажей общежитии у нее комнатка — двадцать четыре метра. У детей есть коридор. Друзей из дома у детей нет.

А тут — счастье! Нурие дают служебную квартиру! Аж три комнаты, и уже ордер и ключи.

А в эту квартиру мигом въехала многодетная семья из соседней квартиры, уставшая ждать, выломала замок, вставила свой, на звонки, стуки, повестки не отвечает. Нурие осталось только небольшая радость: платить за квартиру.

Она сыплет мусор в контейнер, у нее оклад до ста рублей, есть лом и топор:

— Им ведь тоже не позавидуешь. Бегом через вестибюль бегают, все им кажется, про них говорят, хоть и ученые. А что делать?

Ах, Нурия, а вот раньше, как хорошо было раньше, дворником была мордовка, и все сугробы увозили на санках, а тут пожарный генерал оставил машину на ночь, а утром дворничиха орет ему: убирай свой сугроб! Он шинель скинул — и лопатой шуровать! Ей сказали потом: генерал же! Обмерла даже: не разбирается в погонах, малограмотна. А тут вышло так, что подрабатывала дворничиха у генеральской жены, помыть что, почистить, и однажды заходит прямо этот генерал, она думала: все, сейчас в морду пожалует, а он ничего, садитесь, говорит, поешьте. Вот как было!

Небо чуть поднялось вверх, высветив белесой каймой соседние крыши, и бледнело: из фиолетового в грязное.

А ведь были здесь когда-то палисадники и сады, дворянские особняки с рыцарскими гербами, заезжал к сестрам Ушаковым поэт Пушкин, преимущественно ухлестывавший за Екатериной, по соседству с Петром Ильичом Чайковским практиковал доктор Чехов, но, видно, мало замешалось крови в раствор, скрепляющий мостовую, распалась жизнь, рухнула, погнала страшная догадка Чехова на Сахалин, перегородили улицы баррикады, командовал умело Фрунзе, и с местной каланчи палили по любой движущейся фигуре, рабочие совершали подвиги и погибали, восстание проиграло, но дело победило, крови хватило на новое строительство, и

в дом доктора Чехова, говорят, въехала охрана Берии Л. П., и вызвал товарищ Сталин наркома авиапромышленности и сказал мудро ему: «Товарищ нарком, постройте вот тут дом для своих работников. Раньше, когда к Москве подлетаешь, церкви были видны, а теперь пусть будет этот дом. Пусть это будет памятником нашему народу».

Наш народ тогда жил преимущественно по баракам и подвалам и глядел на ноги прохожих, надеясь на лучшую долю и не подозревая, что хоронят его заживо и с таким замечательным памятником на 20 миллионов рублей, который строили без помещений для услуги, будто не жить собирались, — как пирамиду.

А потом дом закончили, и это было время, когда улыбались китайские товарищи, пошла в рост золотая кукуруза и мы сказали: нет — войне, еще не было XX партсъезда, и каждый день рождения печально и предчувственно улыбался с первых полос сосед В. И. Ленина по мавзолею, роднились братские страны и неожиданно догнала смерть академика Вышинского, нормальная человеческая смерть, и вьетнамские партизаны разбирали автоматы ППШ, и тогда еще умели и любили мечтать, и в каждом «Огоньке» было новоселье, новоселье...

— Жильцы-то, — ловит меня за рукав ранняя служащая. — И не здороваются. Будто мы не люди, раз персонал. А я для них сил не жалела. Хоть сижу в конторе, а крыши ходила убирать. Громовых залило, все спасать пошли. Каждые выборы я в комиссии, на избирательном участке у нас бархат кругом, цветы из пера, председатель — адмирал или генерал. Раз как-то один против оказался, исполком приказал все переделывать, до пяти утра сидели!

Первой в дом въехала многодетная мать, зажглись окна, потянулись старушки любоваться цветными витражами, мрамором, коврами и светильниками, падали на колени и молились; не набралось персональных машин, и из подземного гаража сделали кинотеатр, куда можно было проникнуть тайной тропой из центрального подъезда. Была уборщица тетя Шура и молочник дядя Вася с ныне дефицитной «беломориной» в зубах, пианино, скрипки, виолончели делали из дома музыкальную шкатулку, носилась без привязи семья доbermanов, принимал гостей актер Царев, и у жены Жарова при этом свистнули шубу, поклонники втыкали букеты цветов в дверную ручку красавицы Быстрицкой и шатались по холлу веселые фигуры Петра Алейникова и друга его Бориса Андреева, Алейников задалживал квартплату за пять лет, а знаменитый Громов, лошадиник, книгочей, спортсмен, ходил в магазин с авоськой, и побеждал соперников Василий Смыслов, измучив секретаря объединенной парторганизации, электрика, принужденного писать ему характеристику для каждого зарубежного турне, и кучковались загадочные негры, обсуждая пути своих стран к свободе, и приезжал секретный конструктор Мишин, его хмурые ребята провожали до дверей и сидели после этого в сквере, и красавица Светлана

Безродная задумывала свой камерный «Вивальди-оркестр», а в День Победы героини надевали ордена, и юные мамы с колясками шептались: вот этот, а вот этот, а вон...

А какой был «Гастроном», созданный, чтоб переплюнуть Елисейский и Смоленский! Розовый мрамор, резьба по красному дереву, витражи, мраморные плиты на прилавках, шелковые шторы, чешский хрусталь, лепнина, диваны для отдыха!

А как стояли за прилавком! Как в Париже! Шелковые блузки, наколочки, фартуки с кружевами, у мужиков — белые манишки, бостоновые костюмы, голубые галстуки. Говорили как интеллигенты!

Если икра — так паюсная, кетовая, зернистая! А клюква в сахаре? А мармелад в шоколаде, вафли «Таежные» с малиновой прослойкой и варенье киевское? А печенье «Октябренок», зефир сливочный и бело-розовый и пастила рябиновая? А усач холодного копчения и масло — шоколадное, медовое, фруктовое, соленое, несоленое? И сыр рокфор, и зеленый сыр, и рябчики, и тетерева, и окорок воронежский и тамбовский.

Мясо висело на крюках, и говорили: отрежьте мне вот от той туши полкило на борщик. И спрашивали: а свежее? И собственный цех был для буженины и карбоната, и машина была для резки ветчины. А сыр... Сыр давали пробовать с ножа! И это не самое страшное! Самое страшное, что все это — чистая правда!

Вот мне иногда кажется, что мы так серчаем на ребят с алыми бантами и вождей в пыльных фуражках совсем не за то, что они повзрывали церкви, ухайдакали царскую семью, испоганили русскую деревню — совсем не за это. А где-то внутри, неосознанно, мы не можем простить им, что остановились на полпути. Что в невероятном прыжке из России, где высотных зданий было всего два — Петропавловская крепость и Исаакиевский собор, в коммунистическое Отечество чистых, зеленых городов, высокопотолочных квартир, хрустальных дворцов и потрясающих «гастрономов» мы не долетели, мы рухнули посередине и вниз. Не дождалась мы кремлевских пайков поголовно и квартир в высотных домах. Ведь ждали именно этого. Раз столько терпели. И, не в силах признаться в простительном слабодушии, мы ноим теперь: ну чего вы, ребятки, такие беспамятные, города вот переименовывали, церкви взрывали, срамота это и святотатство, а? А ребятки эти, будь бы живы, прошептали бы нам вкрадчиво: а зачем вам это? Даже крохи те, что достались вам, гниют, горят, ветшают и рушатся до сих пор. И слава Богу, что взорвали храм Христа Спасителя — хоть храмом остался, а то был бы овощехранилищем или общественным туалетом. Тут надо разобраться, о чем же мы плачем.

А в «Гастрономе» за шестиметровыми окнами-арками пирамиды луковой икры, и старая продавщица бормочет мне былое:

— Вот на люстрах, глянь, висюльки такие были — утянули, кто скока смог. К вазам тоже ноги поприделали. А мы-то совестливые были. Да и нас никто не хабалил. Как на праздник шли,

со всей зарплатой. Есть у тебя денюжки — покупай себе шоколадный набор за 12.46, если не густо — покупай за 89 копеек. И очень мы боялись всего. А молодежь: пик-фок на один бок и побегла домой. Проворовалась и сидит улыбается: пиши, что хочешь ей. Я и теперь не говорю, где работаю. Соседка у меня врачаха, по больнице целый день мечется, домой придет и не знает, чем семью кормить. А я уже старая, полвека работаю. Не могу я носить. Да и нечего.

— Быстро прошло время?

Она улыбнулась и жестоко сказала:

— Поймешь. Поймешь...

Остервенели бывшие девочки-продавщицы, поумирали летчики-герои, дом стал вдовым. Оторвались бронзовые ручки, охамела прислуга, истрепались и исчезли ковровые дорожки, которые, если по совести, и не новые были, а списанные с гостиниц, запретили выходить на балконы, и тянет из мусоропровода горьким дымом в конце года, когда в «Гастрономе» подступает время подбивать бабки и случаются немедленно пожары, поизмельчали аристократы.

А мне пора подниматься повыше, пора пытаться подняться.

А все-таки повисла над крышами дождливая хмарь, и снова ветер, и без просвета, хоть восток может прятаться за домом и солнце сможет прорваться, проломиться, да хоть бы тенью оранжевой как подо льдом скользнуло бы за облаками, хоть бы отблеском легким...

В подъезде: у вас нет разменять пятьдесят рублей помельче, тут надо на такси... А кофе хотите? Вы нам нравитесь — и уже тащит в свой закуток боевая тройка: розовощекая уборщица Маргарита, почтальонка Олеся Васильевна, кокрушительная, как ударная армия, и вахтерша Борисовна — ветеран, поседевший в подъезде. У них скромное веселье: подруга отчаливает в отпуск, а у меня есть еще полчаса. Я хочу дать солнцу собраться с силами.

Я солнцу не обвиняю. Мы его не особенно заслужили. И ему непросто рваться сквозь серый заслон. Я хочу иметь шанс. Когда еще грозные арендаторы верхних этажей пустят меня на шатер.

— Да не прервал. Мы закончили. Тока гляди, все дипломатично — двести процентов, без фамилий. Ага? Я здесь что — так сложилась судьба, почти каждому в квартиру, у меня в голове компьютер — двести процентов! Можно, я сахар положу руками? У меня стерильно.

— Вот коробки от заказов выбрасывают и пять рублей пихнут на 8 Марта, так лучше не пихай, а то коробок понаставят опять. Где на скрипке играют — почище стараешься.

— А каждую неделю — гражданская оборона. И ты знаешь: у ней очень застойные взгляды. Я просто не понимаю, что она пропагандирует. Мы должны ехать в какую-то деревню. Но мы явно туда не успеваем. Борисовна, лифт стал, скажи: устал, отдыхает!

— Мама, я сейчас упаду! Вон тот кобель — художник-то. Ты жовопись мою любишь, говорит. Всех баб позировать зовет, у него

жена умирала, а он уже с молодой в мастерской жил, грузин этот. А как девок-продащиц обжимал!

— А тут дочка такая, в подвал от мамыши скрывалась, и негры туда же лезут. Что зачем? Зачем девочка с мальчиком? Ха-ха...

— Ха-ха-ха... А вот эта генеральская-то, сколько он ей оставил, иди лови такого. Так все пропила. До коронок. А сама медсестрой была — клизмы ставила.

— Все вижу. Жена от мужа гуляет, к себе кто кого повел. Интеллигентные люди, все делают интеллигентно, а все равно — мимо лифта не пройдут. ЧК не дремлет!

— Нюрка — кошка у нас тут, два раза в год приплод, и котята лазют — жильцы недовольны. Так Борисовна мечтает ей золотую спираль. Для Нюрки, говорит, ничего не пожалею! Чтоб только так себя не вела.

— Пора? Очень жалко. Вы нам для Леськи жениха найдите. Нет, ну чтоб имели в виду. Обеспеченного такого...

— А можно и нет. Сами обеспечим. Двести процентов!

Лифт распахивает беззубую пасть, лифтер топит пальцем предельную кнопку — вверх.

— Стены под дуб, — показывает мне лифтер лифт. — Пишут тут эти, м-да, редакторы да корректоры. Ловил даже. Да что сделаешь, если папа увесистый?

Загорается лампочка, поочередно высвечивая этаж, — выше, вверх.

— Я для чего, — объясняет лифтер. — Чтоб жильцы не ходили пешком. И не опаздывали на работу. Престижная работа. Была. Даже в поликлинике говорили: ого, с высотного? Директор идет, остановится. Я встану, он спросит: как служба? И сад у нас был получше. Только яблок я никогда не видел. Не выдерживает народ. Жрут зелеными. Ну вот. Приехали.

Мне надо подождать инженера, который меня поведет.

Когда-нибудь люди напишут историю следов, как шла эпоха. Как она металась, с молодой силой круша дворцы, а потом неожиданно надулась спесью — Домом на набережной, напряглась последний раз полететь семью высотками, а потом съела ее чахотка, лишающая человека дома и дающая жилплощадь, подкармливающая квартирами пишущих, командующих, играющих, поющих, руководящих, чтобы послужили побольше, а потом и нечем стало кормить, и эпоха уползла умирать в тишайшие склепы дачных поселков, в простенькие внешне дома, внутри которых цепные старушки, готовые грызть чужаку горло, и двухэтажные квартиры с двумя туалетами, и там эпоха помирала, хотя еще не совсем.

И подходит инженер, который начинал в 49-м сантехником, и родная деревня думала, что это вроде ветеринара и даже гордилась, а у него в кабинете стоит стол, за которым работал вроде Молотов, а у лифтеров стоит диван, на котором работал вроде Чичерин, в

хронике видели: похож в общем; и мы идем пару пролетов вверх, этажи позади.

— Допекают жильцы, — жалуется инженер. — Все почки вымотали. Образовали, блин, комитет местного самоуправления. Я им чуть что, а они мне: почитайте пункт такой-то!

В комнате сошлись грудью партия внуков и партия дедов: ставить или не ставить в скверик дармовую швейцарскую детскую площадку? Деды победили: нет. Ах, не везде еще побеждает прогресс, не склоняют консерваторы знамен, да...

Еще выше — и кончилась роскошь: пошла пыль, битый белый кирпич, ноздреватые пятнистые стены, ломти штукатурки, угольные росписи: «Юля, 16 лет, хочет», «Я — хиппи» — с изящными иллюстрациями. Нам, детям пятиэтажек и внукам землянок, насколько свободней дышать на заплеванных лестницах, чем на бархатом стуле, окаймленном золотой пеной. Лестница уже узкая.

— Тут где-то лифт есть, — извиняется инженер, косясь на тайную железную дверь с глазком. — Для тех, кто работает здесь... А на выборах народ голосовал не за своего председателя, а за директора «Гастронома», к ней же все ныряют с записочками. А у нее везде со всеми все схвачено — у нее все в порядке. Мне жилец звонит и докладывает: наблюдаю из окна в бинокль, как в контейнере гниют груши.

Инженер звонит в дверь, мы ждем.

А директор «Гастронома» имеет на изложенное иную точку зрения:

— Я бы архитектора, который построил это, повесила бы на высоком дереве. Чтобы висел всю оставшуюся жизнь. Двери разбитые у нас — 35 лет в них кулаком били. Двери вымениваем на колбасу! Две комнатенки только с окнами, остальное — мрак. Чуть что сделать хочу — идите согласовывать в управление охраны памятников. Я колбасой торгую, какое мне управление? Пока я туда пойду, Ванька, с которым я за бутылку договорилась, уже убежит. Ищи другого Ваньку. А жильцы смотрят на нас через увеличительное стекло. Все ведь — бывшие в употреблении. Привыкли кнопки нажимать. Они не могут понять, что мы работаем с мафией! Машина пришла — дай денег. Мало дашь — товар такой привезут, что сразу выбросишь. Не скульптуры надо восстанавливать, а магазин! Мы через жильцов сидим в окопе, а нам надо встать на ноги и выйти из-под этого дома. Из четырех залов, набитых рухлядью, отдать один американцам, а они нам три отремонтируют. Убьют нас вообще жильцы скоро. Этот дом посыпать бы дустом и взорвать!

Дверь открывает вялый товарищ в спортивных штанах и пропускает нас выше, еще пара пролетов — и лестница уже железная и неожиданно клейкая, как в смоле, руки влипают в поручни.

— Это кооператив тут у нас, — пыхтит инженер. — Антикоррозийным раствором... Ох, и не закрою я им наряды.

Между пролетами — железные площадки, из-под ног пробиваются через дырки искры блеклого света, сужается шатер над головой. Осыпается прах из-под ног, и воет ветер в незримых щелях, тоскливо и холодно, а вот сверху опускается свет, мы немного очищаемся, трем ладони и выходим на круглый балкончик, опоясывающий шатер, вниз метров сто тридцать. Я бреду вокруг, под ногами пляшут ломаные плиты, сырые от дождей, и пытаюсь хоть что-то высмотреть меж пошатывающихся колонн, опираясь на них.

— Не трогайте, не трогайте, — кричит мне инженер. — Раз стоит — пускай пока стоит.

А кругом только туман, и нет утра, готовится дождь, текут ленивые автомобили, да и больше ничего: и здесь, и здесь, и здесь...

— Да, — важно говорит инженер. — Как ужасна наша советская действительность. Ну что, пойдём?

— Можно подняться еще выше?

Инженер без радости смотрит на вертикальную лесенку, ведущую в ночную тьму купола.

— Я один. Подождите, что вам мазаться.

Он соглашается, но потом, мучимый совестью, с надеждой кричит вслед:

— Вы там взрывчатку-то не поставите?

Ладони осторожно перебирают круглые перекладки, лестница прерывается узким люком и площадкой и длится опять, наверное, больше ничего не будет и надо вернуться назад, теснеет шатер, и кажется, что скоро он начнет шататься от ветра, я сажусь отдохнуть на очередной площадке, где есть черные от грязи круглые окошки, за которыми синие мигалки для самолета топорчатся в разные стороны, ну что, наверное, и все?..

Мы родились с врожденным пороком «отдельно взятой страны», и единственное, чему мы научились и можем хорошо, — это отдельно брать. Отдельно брать себе. Хорошо строить для отдельных. Отдельно быть добрыми. Отдельно — честными. Смелыми в отдельных случаях. И поэтому кругом стены, и мы ненавидим друг друга. Но я, дурак, лез на крышу, чтобы увидеть небо, землю и солнце над стенами и вернуть их нашей жизни, и у меня еще есть время, никто не может его отнять.

Еще одна площадка, а следующая вдруг стала последней, я сначала понял, что лестницы вверх больше нет, и только потом уже увидел круглую нору, ведущую на продуваемый простор, на круглую железную площадку, летящую над землей. Ну что ж: я согнулся и, перестав дышать, полез онемевшими ногами, и вокруг уже ветер, и вот теперь надо разогнуться, разгоняя сладковатую боль из коленей, и вот уже звезда — почти рядом, над головой; ну что же, нет солнца, ну что же, не было видно людей, и птицы не перечеркивали серые пятна парков и беспорядочную гурьбу домов, опустивших глаза, как присмирившие



дети; вздохнуло вверх небо, и весь наш дом тянулся ввысь, весь — от смрадного бомбоубежища до загадочных верхних этажей, где вдумчивые товарищи становятся вдумчивей еще; и томилось сердце, будто на пароходе, и отрывает он тебя навек от родной земли, и ты уже смирился с тем, что окошко и лесенка — это теперь твое, отрываешься, и такой вдруг прекрасной стала наша земля из чужого окна — величавой, родной, несчастной и милой до боли, даже той стороной, в которой дом, от которой не уплыть, но уже никогда не вернуться, и все было все же на свету, очищаясь, светлея.

И я полез вниз.

Внизу в «Гастроном» строгим углом изгибалась стометровая очередь за водкой, ее хвост молитвенными взорами провожал поочередно выбравшихся из омута у входа счастливых, которые прижимали к груди белоснежные копытца бутылок, помещали их ласково в теплые пазухи сумок, сразу обретали двух беззаботно смеющихся, как дети, друзей и, задумчиво сцепившись руками, мига умиленно друг другу, отправлялись, согласно покачиваясь, по известному маршруту.

Из омута выбрался помятый товарищ, со скорбно пережатым ртом, узнававший о количестве товара, и твердым шагом отправился в конец очереди. От него все отворачивались, как от прокаженного, и продолжали бормотать свое:

— А цыган говорит: еще три года такой жизни — и мы тогда вставим лошадям золотые зубы.

— А что может сделать Горбачев, когда картошка гниет?

— Но ведь у него есть заслуги в международном смысле...

Скорбный товарищ щетно ловил обращенные на него взгляды и, отчаявшись, ляпнул себе под нос слова, громовым раскатом потрясшие каждую душу:

— Только чекушки остались. И кончаются.

И пошел дождь. Сначала просто синело и громыхало, потом замигала туманная кромка, и небо разорвала огненная нить, и дождь рухнул, как занавес, захлестал ледяной плеткой по лужам, заклокотал о гранит, затопорщился на ступенях битым стеклом, побежали из-под деревьев стойкие собачники, и застигнутые врасплох провинциалы из «Икарусов» потащили свои сумки под стены, и я вслед за ними, а потом набились в предбанник в подъезде огромного дома, жмясь друг к другу, здесь пахло колбасой, отряхивали зонты, как мокрые букеты, шептались, глядя через стеклянные двери то на улицу, где мигал мокрыми ресницами зеленый глаз светофора, то на величественный пустой холл с колоннами, ребристыми, как стиральные доски, на мозаику мрамора и витражей, светильники под свечи, мягкие лавочки. Люди вжимались друг в друга, но никто не решался переступить порог.

— Мамаша, у вас что-то течет, — нервно проговорила толстая женщина припертой к стене старушке. Старушка молчала.

Женщина полезла рукой вниз, потом лизнула руку:

— Сметана.

— А, — поняла старушка и гордо добавила: — Свежая.

Народ набивался еще, и дежурная в холле не выдержала, вскочила со своего места и принялась ходить взад-вперед, заложив руки за спину, как расхаживал, наверное, Наполеон на острове Эльба, готовясь усесться в восемь вечера на корабли со старой гвардией и корсиканским батальоном и отправиться отвоевывать милую Францию обратно.

Я решил и полез к двери.

Все как один оценили величие моего подвига и расступились, замолчав.

— Погонит, — предупредила старушка, у которой текла сметана. — Погонит тебя вахтерша!

Я пробрался к двери, провел ладонью по мокрой башке и потянул на себя высокую створку, она мерно распахнулась, открыв церковный простор, и я сделал шаг.

Дежурная подняла лицо и увидела меня.

## КОММУНАЛКА

### *Песня о счастье*

Вообще-то я согласен, что коммунальные квартиры это тяжелое наследие социализма и до революции большевиков этого, конечно, не было. Но самое счастливое время в своей жизни я прожил в коммунальной квартире.

«Вечером въезжай! — просил предшественник и прятал взор. — Комнатка — восемь метров! У соседки морда — за неделю не переделаешь. Не пожалеешь!»

Затвердив: верхний замок — два оборота, нижний — с нажимом один, шестая дверь налево, я въехал ночью. Протащился во тьме узлами и баулами и упал спать на голый матрас.

На новом месте не спалось. Все время просыпался среди ночи. Поворочаюсь, подумаю — как хорошо! И дальше сплю. Опять просыпаюсь, думаю: человек въезжает в коммуналку отсюда, где еще хуже: с улицы, казармы, тюрьмы, общаги, — поэтому такая радость. И снова сплю. И опять пробуждаюсь среди мрака ночи и приятно понимать, что всему лучшему в себе я обязан коммуналке. Этой мой корень. Это самый лучший корень. От него все самое лучшее у нас: коммуна, коммунистический субботник, коммунистическая сознательность. И я опять дремал.

А потом спать расхотелось вовсе. И я просто чесал живот и прикидывал, что в ближайшее время надо завести: стол, стул, жену, лампу, а потом глянул на часы и сел: полдень. Черт, а почему же так темно?! Ага, оказывается мое окошечко наглухо перекрыва-

ет стена соседнего склада. Ах, вот почему эта сволочь хотела, чтоб я въехал вечером. Ну и ладно.

Почтальонша утром будто кормила птенцов — почтовые ящики на двери — она все знала про нас по газетам, журналам, повесткам, переводам. И мы все знали про нас. Что варится в кастрюлях, что стирается в комнатах.

Соседка все время выходила замуж. Ее немая мать пересидела очередное сватовство на кухне. А жених играл себе на баяне и пел: «Мы парни brave, brave, brave». Он еще приптывал ногой и поэтому получалось очень выразительно. Утром он выходил в пижаме к телефону и звонил очень важно к себе на работу.

А все слушали. Слушали вообще все и всегда. Голоса, считали звонки в дверь — кому сколько и безошибочно узнавали единственный басовитый и долгий звонок «чужого» — участкового, слесаря. Считали шаги и соседские походы на кухню, в ванну, в места общего пользования. Только недавно покинувший деревню дед никак не мог приноровиться к удобствам в квартире и ходил на двор за ближайшим забором, где детсадовцы выращивали укропчик. Его супруга находила прелесть в борьбе и чеканила любовому: «А почему вы присваиваете мои газеты? Что? Тварь — это твоя дочь!» Поздним вечером она любила брести по коридору, вопрошая зловещим голосом у каждой двери: «Это чьи волосы в ванной?»

Одну соседку я увидел только через год. Она всегда приходила очень поздно. Хотя это трудно было назвать приходами. Обняв стену, как добросовестный мастер обойщик, и тыкаясь в каждый угол, она как бы ползла до своей двери. Ко мне она завалилась в шесть утра и твердо скомандовала: «Дай одеколон! Помираю». То, что у меня было, ее не спасло и вспыхнула короткая схватка у дверей, в ходе которой мне удалось вытеснить ее в коридор, а она мне прищемила дверью ногу.

Семейные жили веселее. Дети плакали, если не спали. Спали они мало и поэтому в основном плакали, вызывая у меня мучительные размышления о природе детоубийств. Когда их привозили осенью из деревни, я сам едва сдерживал горькие слезы.

Когда дети спали, супруги проводили разбор полетов и подводили итог прожитым дням. Жена выходила в безопасный коридор и за четверть часа выкрикивала всю свою судьбу и запас матерных слов родной асфальтоукладочной бригады. Муж хватал в охапку телевизор и делал угрожающие шаги к балкону. Жена вызывала милицию. Милиционер, безответно искал свидетелей, у мужа отбились ключи. Он уходил под ливень. И через полчаса начинал швырять камни в мое окно — я его впускал. Если не впускал — жена со мной не здоровалась полгода. Когда муж был трезвый — он ревновал. Говорят, пришивал жену к себе нитками на ночь — чтобы не ушла. Обстановку накаляли походы другого семейного товарища. Он брал вечером чемоданчик с инструментами, говорил

супруге: «Я — в ночную смену», делал четыре шага по коридору и заворачивал на ночную смену к одной одинокой соседке. И все были довольны.

Но однажды ночью, расслабленный трудами и бутылкой принятой на грудь, сосед вышел на кухню попить воды, пошугать тараканов, а на обратном пути сбился с курса и ноги его привели в родную комнату. Жена, обнаружив мужа в трусах рядом с собой, не будь душой взяла утюг и покралась по коридору выяснить какая дверь не заперта — дело чуть не дошло до смертоубийства.

Это была очень непростая, трагическая, бедная, низменная великая жизнь. Такая же как во всей нашей стране. Все знали друг про друга все, только души оставались в потемках. И я так порой жалею, что все это закончилось.

Это было самое счастливое время в нашей жизни, потому что было чего ждать, все мечтали уехать. И все было откуда и от кого ждать, вот придет время, вот нарожаем побольше. И все уезжали. Не сразу. И в этом была какая-то стыдная сладость: что ты уезжаешь, а они — еще нет. Счастье не бывает, когда все сразу. У счастья всегда руки в крови. И счастье кончается тогда, когда мы застреваем там, откуда уже не переехать, как не мечтай, и сами становимся кровью на руках чужого счастья. Поэтому самое счастливое время в моей жизни было в коммунальной квартире.

В новых временах счастья будет побольше. И крови побольше. Ожидание, слезы, бумаги ничего не дадут. Каждый будет стоить, сколько сможет. И кто-то, родившись в коммуналке, — в ней и помрет. То же самое и в дворцах. Наверное, плохо, что это наступило так поздно и мы успели скроиться для других времен. А с другой стороны — как хорошо! Ведь нашего прежнего счастья у нас никто не отнимет.

И когда я буду старым делом, буду дышать, как паровоз средних размеров, и выписывать «Пионерскую правду», я все равно не забуду, что самое страшное отчаяние в моей жизни было, когда плохо повешенный мною на гвоздик тазик в уборной рухнул и расколол смывной бачок в час ночи. Я боролся с водой. Собирал ее тряпкой, подставлял ведро, перекрывал вентиль и знал, что в шесть утра мир проснется и спросит меня: ну что? Я был готов лишиться жизни себя.

Я полетел сквозь ночь по подвалам, принес на себе уже «поужинавшего» слесаря, его чемоданчик, принес как хрустальный ларец с бриллиантовой диадемой, как колыбель цесаревича, как хлеб-соль — бережно и с любовью, — новый бачок, прикуривал слесарю сигаретку, приводил его в чувство, провожал и махал рукой. И, когда он ушел, попробовал: работает? Работает. Я пошел на кухню, попил из чайника воды, посмотрел, в окно и вдруг понял, что таким счастливым я не буду уже никогда. Вот такие дела.

## МОЯ РАБОТА, ГОРЬКАЯ НА ВКУС

### СВАДЕБНЫЙ МАРШ

Хорошее дело — праздники, праздники, праздники.

Ежели собрать все, что были, ведь это и будет чистое время жизни, когда мы лучше, когда любим, когда мы разные и что-то можем дать, помахать ушедшим и грядущим, колокольчиком звеним во тьме — празднуем, празднуем, наш черед, мы на виду — посмотрите, гляньте, какие мы живем.

Только ждешь эти праздники не дождешься, дни подсчитываешь, загадываешь перед сном, ну и что: пришли люди, говорят, кушают, пьют, в телевизор косятся, усиленно ржут — ну все, пора по хатам. Все. Горы невымытого, крошки несъеденного. Усталость, тоска и ночь. Вот опять как-то не так.

И кто его знает, как раньше праздновали? Выбирает что-то по сердцу и душе народ — это темное дело, природное, вековое, казалось бы, вечное. Это казалось, пока с народом не разобрались как следует: все лишние прослоечки, частички, жилочки и клеточки спровалили на все четыре, а кровавые останки уложили гнить в научно осмысленное расписание с днями международной солидарности и праздниками рыбака. И кумача вроде хватает, и оркестров, и концертов, а все равно как-то страшно и жалко, по-сиротски холодно и пусто мы гуляем.

А душа народная нищей тенью является в исконные дни народного бытия — на похороны и свадьбы, глядит через пыльные стекла, шепчет мертвыми губами, незнакомая, страшная, изнуренная — и мы чувствуем это. Или не чувствуем это, утешаясь — все было, как у людей: выпили-закусили.

...Тра-та-та, я вступление отыграл, предоставил слово папаше. Тот лысину вытер, поднялся, ухватил рюмку, рот раскрыл... А тут сверху прорвало канализацию... Прямо ему на башку. Неудачно так получилось.

...Очень просто, имею четверых детей, инженер, двести пятьдесят рублей в месяц, работа с восьми до пяти, жили-жили, и вдруг жена говорит: мне денег не хватает. И так каждый месяц. Хоть вой. Я воровать не могу, бурчу: не умеешь тратить. Взял деньги себе. После работы — за продуктами. Шесть рублей в день, рассчитал. Жена плачет: «Я прямо не баба без копейки». Держался. Зашел с детьми в кафе сок попить — пять копеек не хватило, и ушли, и я больше не смог. Когда-то играл на гармошке. Буду вести свадьбы. Вот не знаю, два месяца сидел, учил тексты, в тетрадку писал. Хорошая программа стоит две сотни, номер — бутылка. Мать и отец — против. Дядя сомневался. В комиссии на исполкоме спросили: а вы где-нибудь учились? Зажмурился: в кружке, при ЖЭКе. Ладно, валяй.

Первую свадьбу на ухах стоял — никто даже рта не раскрыл. Рожи такие интеллигентные, сидят с кислинкой. Махнул рукой, сел

с гостями базарить, они тоже электронщиками оказались. Подошел папаша: «Я смотрю, вы сами себя пришли развлекать? Учитесь работать и с такой аудиторией».

Торчал у магазинов для новобрачных. «Мы играем и поем, мы недорого берем!» Дал объявление в газету — некогда стало кусок хлеба в рот сунуть. Пятнадцать свадеб в месяц! За свадьбу — сотня. Лишних заказов штук пятнадцать в месяц натекает — толкаю их по двадцатнику тем, кто пашет без патента и ищет клиентов по загсам и банкетным залам. Халтурщиков много: «Отцы поздравили! Другие отцы поздравили! Молодожены — горько!» Сам то ест, то пьет, то закусувает, то покурить пошел, то кадрит кого-то — где ему играть-то? Свадьба кончилась — все остатки соберет, сольет и — домой, а сам: «Ох, и пахал я сегодня...».

Обычно папа-мама звонят. Мамаши очень беспомощные бывают. Я объясняю: «А потом вы скажете». А она: «А что я скажу?» Говорю: «Берите бумажку, я продиктую». Ежели звонят молодые — уже интересно, значит, папы-мамы двух слов не вяжут. Записываю имена-отчества, вплоть до бабушек. Ставлю условия: говорю только я. Организую сбор подарков. Люди серьезные просят приехать предварительно, чтоб глянуть — не алкаш? Люди богатые шипят — никаких подарков! Никаких слов! Только играйте. Я играю, а они все шушукаются, одни фирмачи, все про дела, а перед женихом длинное такое блюдо лежит, а на нем — осетрище! Я думал, в России таких уже не ловят. Я сам две курицы подмел — жирные, чертяки.

А раз заказали с утра пораньше. Не опоздайте, говорят. Будете опаздывать — хватайте мотор, мы оплатим. Прискакал чуть свет, звоню. Сначала гармошка с лестницы полетела, потом я. Какой-то шутиливый товарищ в эту квартиру с пяти утра повызывал милицию, «скорую помощь», пожарников, санэпидемстанцию тараканов травить и меня.

...В день свадьбы я нахоливаюсь. Будто пять лет учился и сегодня — диплом.

Здравствуйте, это я. Все готово? Хлеб-соль будем соблюдать? Булка хлеба нужна, солонка наверх и рушничок. Что такое рушничок? Такое льняное простенькое полотенце. На хлебе два надреза сделайте или пусть молодые трудятся — выгрызают. Все встали полукругом! Быстро! Так, играю Мендельсона. Молодые нет чтобы плавно пройти — все когти реут почему-то. Говорил же, чтоб одни шли! Обязательно кто-то следом тащится или мамаша впереди всех бежит, как от паровоза.

Родные, целуйте молодых! Полезли целоваться. Сегодня можно всем целовать жениха и невесту! Все прут ближе к невесте, подхихикивают. Дарим цветы! Мамаша, бокалы из дома брали, а? Бьем бокалы! Осколки крупные — значит, будут

## МОЯ РАБОТА, ГОРЬКАЯ НА ВКУС

### СВАДЕБНЫЙ МАРШ

Хорошее дело — праздники, праздники, праздники.

Ежели собрать все, что были, ведь это и будет чистое время жизни, когда мы лучше, когда любим, когда мы разные и что-то можем дать, помахать ушедшим и грядущим, колокольчиком звеним во тьме — празднуем, празднуем, наш черед, мы на виду — посмотрите, гляньте, какие мы живем.

Только ждешь эти праздники не дождешься, дни подсчитываешь, загадываешь перед сном, ну и что: пришли люди, говорят, кушают, пьют, в телевизор косятся, усиленно ржут — ну все, пора по хатам. Все. Горы немытого, крошки несъеденного. Усталость, тоска и ночь. Вот опять как-то не так.

И кто его знает, как раньше праздновали? Выбирает что-то по сердцу и душе народ — это темное дело, природное, вековое, казалось бы, вечное. Это казалось, пока с народом не разобрались как следует: все лишние прослоечки, частички, жилочки и клеточки спровадили на все четыре, а кровавые останки уложили гнить в научно осмысленное расписание с днями международной солидарности и праздниками рыбака. И кумача вроде хватает, и оркестров, и концертов, а все равно как-то страшно и жалко, по-сиротски холодно и пусто мы гуляем.

А душа народная нищей тенью является в исконные дни народного бытия — на похороны и свадьбы, глядит через пыльные стекла, шепчет мертвыми губами, незнакомая, страшная, изнуренная — и мы чувствуем это. Или не чувствуем это, утешаясь — все было, как у людей: выпили-закусили.

...Тра-та-та, я вступление отыграл, предоставил слово папаше. Тот лысину вытер, поднялся, ухватил рюмку, рот раскрыл... А тут сверху прорвало канализацию... Прямо ему на башку. Неудачно так получилось.

...Очень просто, имею четверых детей, инженер, двести пятьдесят рублей в месяц, работа с восьми до пяти, жили-жили, и вдруг жена говорит: мне денег не хватает. И так каждый месяц. Хоть вой. Я воровать не могу, бурчу: не умеешь тратить. Взял деньги себе. После работы — за продуктами. Шесть рублей в день, рассчитал. Жена плачет: «Я прямо не баба без копейки». Держался. Зашел с детьми в кафе сок попить — пять копеек не хватило, и ушли, и я больше не смог. Когда-то играл на гармошке. Буду вести свадьбы. Вот не знаю, два месяца сидел, учил тексты, в тетрадку писал. Хорошая программа стоит две сотни, номер — бутылка. Мать и отец — против. Дядя сомневался. В комиссии на исполкоме спросили: а вы где-нибудь учились? Зажмурился: в кружке, при ЖЭКе. Ладно, валяй.

Первую свадьбу на ухах стоял — никто даже рта не раскрыл. Рожи такие интеллигентные, сидят с кислинкой. Махнул рукой, сел

с гостями базарить, они тоже электронщиками оказались. Подошел папаша: «Я смотрю, вы сами себя пришли развлекать? Учитесь работать и с такой аудиторией».

Торчал у магазинов для новобрачных. «Мы играем и поем, мы недорого берем!» Дал объявление в газету — некогда стало кусок хлеба в рот сунуть. Пятнадцать свадеб в месяц! За свадьбу — сотня. Лишних заказов штук пятнадцать в месяц настекает — толкаю их по двадцатнику тем, кто пашет без патента и ищет клиентов по загсам и банкетным залам. Халтурщиков много: «Отцы поздравили! Другие отцы поздравили! Молодожены — горько!» Сам то ест, то пьет, то закусувает, то покурить пошел, то кадрит кого-то — где ему играть-то? Свадьба кончилась — все остатки соберет, сольет и — домой, а сам: «Ох, и пахал я сегодня...».

Обычно папа-мама звонят. Мамаши очень бестолковые бывают. Я объясняю: «А потом вы скажете». А она: «А что я скажу?» Говорю: «Берите бумажку, я продиктую». Ежели звонят молодые — уже интересно, значит, папы-мамы двух слов не вяжут. Записываю имена-отчества, вплоть до бабушек. Ставлю условия: говорю только я. Организую сбор подарков. Люди серьезные просят приехать предварительно, чтоб глянуть — не алкаш? Люди богатые шипят — никаких подарков! Никаких слов! Только играйте. Я играю, а они все шушукаются, одни фирмачи, все про дела, а перед женихом длинное такое блюдо лежит, а на нем — осетрище! Я думал, в России таких уже не ловят. Я сам две курицы подмел — жирные, чертяки.

А раз заказали с утра пораньше. Не опоздайте, говорят. Будете опаздывать — хватайте мотор, мы оплатим. Прискакал чуть свет, звоню. Сначала гармошка с лестницы полетела, потом я. Какой-то шустрый товарищ в эту квартиру с пяти утра вызывал милицию, «скорую помощь», пожарников, санэпидемстанцию тараканов травить и меня.

...В день свадьбы я нахоливаюсь. Будто пять лет учился и сегодня — диплом.

Здравствуйте, это я. Все готово? Хлеб-соль будем соблюдать? Булка хлеба нужна, солонка наверх и рушничок. Что такое рушничок? Такое льняное простенькое полотенце. На хлебе два надреза сделайте или пусть молодые трудятся — выгрызают. Все встали полукругом! Быстро! Так, играю Мендельсона. Молодые нет чтобы плавно пройти — все когти рвут почему-то. Говорил же, чтоб одни шли! Обязательно кто-то следом тащится или мамаша впереди всех бежит, как от паровоза.

Родные, целуйте молодых! Полезли целоваться. Сегодня можно всем целовать жениха и невесту! Все прут ближе к невесте, подхихикивают. Дарим цветы! Мамаша, бокалы из дома брали, а? Бьем бокалы! Осколки крупные — значит, будут



девочки! Ржут. Молодые — к столу! *Играю «Легко на сердце от песни веселой».* Родители — к столу! *Играю «Была бы шляпа и пальто из драпа».* *Хлопают в такт.* Убедительная просьба: садимся через одного: мальчик — девочка. *Смеются пожилые.* Гости — к столу! *Родственники садятся: стенка на стенку. Ни-ко-гда развестись не удастся. Хоть застрелись.*

Товарищи, все вы добры молодцы и красны девицы. Кто захочет сказать, поднимайте правую клешню, а не надо сразу бить себя пяткой в грудь.

Глянем, что за народ. Хорошая мамаша сразу накормит, а то тост объявил и торчишь у стеночки. Родители дружные: мамашки хлопочут вместе, ах, сваточки, сваточки. Если нет, то понесется: поспорят на лестнице, потом кубарем вниз, папаша жениха с племянником невесты, мамыши шеи друг другу раскровенили. Папашлон встал посреди праздника и послал всех матом на выход. Гуськом выбрались по-тихому в коридор, стоим по стеночкам, я гармошку к груди прижимаю. Послали дочь на переговоры, ублажила. Открыл дверь: давайте обратно. Тупые такие дела. Я в стороне или в мегафон кричу: успокойтесь!

Так, что там у нас на столе: богато? Бедные мучаются, еле денег собрали, из дома жратву носили, чтобы дешевле вышло, гостей сбились считать, рассчитывали, сели. Откупорили первое шампанское — бах! — в люстру. Весь стол в осколках. Жрать нечего.

Что за народ... этот будет орать «нам в армии надоели команды!», этот схватит за грудки — «ты почему не играешь наших песен?!», этот будет посылать, как лакея, этот — «пей, если друг, или — в морду!» — он уже вон с папашей до свадьбы на кухню ходил «лечиться», знобит его, козла такого, хорошо хоть с женой. Раз играл в «Национале», мужик только подымет, жена его — раз! — под локоть. Он стал как бы к телефону выходить, звонить, сам мне мигал: пойдём «по сухому», на второй этаж. В ресторан. А потом не вернулся. Пошли искать: он уже лежит, и все отлично, под хорошим газом.

Ну все, расселись, поехали!

Зовут меня так. Я буду вести ваше торжество. Не против? Еще бы! Я не тамада, а командир. Все мои команды кавказские, всего шесть. Кто язык знает — поймет: вай-вай-вай-вай-вай-вай. Не поняли? Как так? Открывай, наливай, накладывай, выпивай, закусывай, закрывай. Можно ли под стол? Можно! Встречаться под столом? Тоже можно. Но лучше не надо. Когда говорю я — молчите. Две первые пьем без «горько». Первое «горько» командую я. Еще накричитесь. Подарки после четвертого тоста. Поедим и приступим к песне. Кому невтерпеж ждать тоста — пригубливайте в перерывах.

Наполняем первый бокал! Жена ухаживает за мужем, а муж — за соседкой. На свадьбе не зевай — себе невесту выбери!

*Шепну ближнему: как молодых-то зовут? Как? Ага.*

Итак, аплодисменты!

Молодые — всегда бесцветность. Прошу сказать — рта раскрыть не могут, не-не-не. За всю практику одна пара могла вальс изобразить. Сидят камнями. Она в сторону смотрит, он красный и потный — руки у него, видите ли, отекли на нервной почве, кольцо с пальца не слзигт — вот он сидит и крутит это кольцо под столом, а тут народ вскочил его на руках качать, раз качнули, два качнули, он ногой плафон поддел, тот разбился, осколком кончик носа срезал, нос забинтовали — в рюмку не влазит.

Прошу: выключите магнитофон, мне мешает. Встает женишок: «А мне не мешает! Мать, убери его отсюда или я выброшу его с девятого этажа! Убирайся!» Мать в коридоре шепчет: «Хоть шеей в петлю». А я: «Дай мне, что считаешь нужным, да я пойду».

На других глянешь — обидно. Он из Бангладеш, беззубым ртом шамкает, а она... ах, куда ж ты, девка, лезешь! Или сидят и смотрят в стороны: она беременная, он не отвертелся: крик, зеркало вдребезги. Иду по лестнице: он у лифта со шмарой какой-то целуется, она этажом ниже матом орет.

Я не люблю на квартире работать. Народу жарко, народ нажрался, окна пораскроют — меня в миг продувает, спина ломит — сидишь дома и лечишься водкой с перцем.

...На руках жену носить — до скончания дней любить! Проверим силу любви: надо съесть вдвоем яблоко, не прикасаясь руками. Теперь кричим: молодожены, мо-лод-цы! Три-четыре!

Посидели-погуляли, посидели-погуляли. Товарищи, водку наливаем не по полной, у меня в программе первого дня выпиваем по полной десять раз.

А теперь полное и почетное право дарить подарки! Свидетели несут поднос с двумя рюмками — пейте из них все, у нас все здоровые! Рвите конверты, чтоб видели, сколько кладешь!

Ур-ра! Все кричим!

Пары целуются! Кто без жены — целует соседку!

Пьем за свидетелей и родителей! Улыбаемся, аплодисменты, и до следующего тоста!

Если свидетель — чайник, это сильно сажает свадьбу.

Один пробкой шампанского невестинной мамаше в глаз залепил, другой потерялся. Всей свадьбой прочесывали окрестности. Нашли в телефонной будке. Уперся лбом в аппарат и шепчет в телефон: а сколько время? Работники кухни начинают невесту тырить, никто не знает, зачем и как, невесту рвут на части, она орет, дело доходит до мордобития, а если украли, свидетелю в его туфлю наливают водку. И он пьет. Тьфу!

Горько! Горько! Горько!

Знаю, будете смущаться при народе целоваться!

А вы знаете рекорд поцелуев для этого зала? Тридцать девять с половиной раз! Почему с половиной? А потому что «сорок» сказать не успели, ха-ха-ха. Побьете рекорд — получите ключи от квартиры. Фундамент которой заложат в 2000 году!

А теперь загадка! Как удобней целоваться: стоя или сидя? Вот бабушка сказала: лежа, сразу видно — разбирается товарищ!

Открывайте бутылки, добры молодцы. Можно стрелять шампанским, чтобы было, как на свадьбе. *Сейчас оно, правда, почему-то не пенится.*

Бью тарелку! Кидайте деньги на пол, и все пляшут!

Теща и свекор пьют из одного бокала!

Просим тещу и свекровь молодым не портить кровь!

Делимся на две команды, кто лучше поет и пляшет. Ах, не могу понять: кто же впереди?

Итак, тост: на море шторм, тонут юнга и старый мудрый боцман. Боцман возводит глаза к небу и говорит: давай попросим Бога бросить нам столько бревен, сколько раз изменяли нам наши жены. На юнгу не упало ни щепки. На боцмана свалился целый плот. Так давайте выпьем за женщин, которые выручают нас в трудную минуту!

Веселится публика! Молодежь дрыгалку включила, бабы все дымят, матюги летают, от частушек уши вянут, мужиқи в курилках бу-бу-бу про перестройку, погуливают, задираются молодцы после армии — петушки с куриными задницами — по стакану вмазали, и хорош, заходит нечто с синей мордой, еле по ленте опознали, что свидетель, уже отметили, идут разборки: что ж ты, тварь, с моим мужем? Хрясь в харю! Всклоченные, мятые, мутные.

Когда деревенские есть — очень здорово. Замучают до потери пульса, пилишь — аж рука отваливается. Любимые «Ой, цветет калина», «Ой, мороз», «Вот кто-то с горочки спустился», «Огней так много золотых», «Полным-полна коробушка», «Ромашки спрятались», «Живет моя отрада»...

Молодежь даже на «Катюшу» рта не раскрывает. Если за столом не поют «Ой, цветет калина», это все — сидишь целый вечер и орешь один. Это безнадежно.

От нашего стола — вашему столу!

Помни — сколько ни гулять, а придется мамой стать! Желаю, чтоб родились два бантика и два крантика. Как у меня. Правда, правда, а то разве стал бы вас тут веселить?

Живи ближе к теще — жизнь будет проще!

Ну-ка, а где же звон бокалов? Не звенят? В России все звенит, даже колбаса.

А теперь пригласите танцевать, как поет Алла Пугачева. Цыганочка не с выбыванием, а с выползанием, ха-ха.

*Если цыганочка пошла вразброд, надо играть в такт мамаше, которая расплачивается, если ее нет — то под невесту.*

Давай частушки, кто знает! Только плохие? Давай плохие!

Только рот открываю: да ладно тебе говорить — давайте скорее пить! Профессионалы ходят на свадьбу без шапок — чтоб с головы не падала, когда понесут домой. Пока всего не выпьют — танцевать не встают. Два танца отыграл — уже кто-то под столом, на бетонном полу отдыхает. Идут вразнос.

Начали борьбу с алкоголизмом, а тут женщине на свадьбе плохо с сердцем. Вызвали врача. Тот ее отвез в вытрезвитель. Был я и на безалкогольной свадьбе в пору этой борьбы. Сначала обалдел: хор поет, плакаты висят, с горкома комсомола поздравления и цветы, шарады разгадывают. Потом пригляделся: мужики очень организованно, по трое, выходят подышать на улицу и там залезают в «Жигули». Посидят и выходят. Утром приехал за гостями «Икарус» — полсвадьбы выносили и грузили на руках.

А вот серебро, чтоб водилось в доме добро! А вот бумажки, чтоб не бегал к чужой Машке!

Теперь аукцион! Представьте, что вы в Америке! Идете по авеню и попадаете на аукцион, там они часто. Итак, первый предмет, с помощью которого каждый из вас с легкостью овладеет английским языком. Что? Нет, не словарь. Сколько? Вот здесь, слева — рубль. Один рубль! Сколько? Три? Браво, вот здесь дама — три рубля! Три рубля — раз! Ого — пять рублей? Отлично! Не уступаете — десять. А? Внимание, двадцать пять — раз, двадцать пять — ды-ва, сколько? Тридцать? Сорок? Пятьдесят? Пятьдесят — раз, пятьдесят — два, пятьдесят — три! Продано. Получаете — кирпич. Ударьте любого по голове — и он заговорит по-английски. Оплатите детский труд!

А теперь вещь, нужная в быту практически каждому. Начальная цена — три деревянных рубля! Тридцать — продано! Получайте — семейные трусы!

А теперь — вещь, еще недавно бывшая у каждого, а теперь попавшая в дефицит. Сколько? Сорок — продано! Книга «Малая земля»!

Танго! Нет, товарищи, вы не думайте, что это надо обязательно чем-то вертеть, это просто медленный танец, белый с очень легким розовым оттенком! А теперь вальс для тех, кто родился позже 1812 года!

Товарищи, вот мы веселимся, а это значит — что это значит? Что в Год белой овцы, в тяжелые времена перестройки, несмотря на президентские указы, родилась новая семья!

*И вот тут все начинают хлопать.*

...Какая там моя жизнь...

Как закажут в ресторане, папам-мамам плетут: вы будете одни. Они приходят, а кругом — мальчики в кожаном и девочки —

они, по-моему, там и живут. На кухню, как к себе домой, ходят. Обязательно этот мальчик встанет и полезет именно за спинами жениха и невесты — негде ему больше пролезть. Папаша тоже шевбутной. Папаша ему в морду сует, завязывается общение. Еле расцепили. Посадили этого мальчика за стол, он в карман кому-то полез. Стол перевернули — кровь потекла. Я решаю сматываться. Иду к мамаше за деньгами. Она: ну что вы, еще пятнадцать минут. Мы еще будем веселиться. Я говорю: тут вообще-то как-то не до веселья уже. Ну ладно, стоим, пляшем, я на гармошке играю, пою, на мальчиков невольно посматриваю, на девочек, ничего такие девочки. Тут один мальчик ко мне подходит и шепчет примерно такое, если перевести на цензурный: «Слушай, мужик, уматывай в тот конец зала и больше не пялся в нашу сторону». Я прям тихонько поплыл лебедем по кругу на другой конец зала. Поиграл еще чуток и гармошку положил на место — хватит.

Какая там моя жизнь...

Народ в девять разбрелся, тетки с кухни жратву растаскивают, а хозяйка вышла кого-то провожать — некому расплачиваться, тут на меня какой-то мужичара насел. «Ты куда? Тебе платили до одиннадцати играть?» — «До одиннадцати». — «Вот и играй». — «Так никого нет». — «Для меня играй. Тебя же наняли». — «А что?» Мужик подумал: «Про причал». Еле я от него отмотался, теперь все время ближе к вечеру хожу, как привязанный, за тем, кто расплачивается.

Какая там моя жизнь...

Но зато я теперь совсем другой человек! Руку в карман сунешь — всегда полсотня. Могу пирожок кооперативный купить. К газетному киоску смело подхожу, а ведь там теперь без рубля делать нечего. Теперь совсем хорошо.

А только тащишься вечером со свадьбы, ночь надвигается, добираться из далекого района — в центре люди не женятся, что ли... И маешься: найти бы нормальную работу, разве б занимался этой ерундой? Ведь бывает не до веселья — дома там разные дела, вообще настроения нету, а тут — прыгай, скачи...

Я ж в родной деревне обрывки кинолент собирал. Обещал: стану актером — в ресторан не сяду, все деньги — на школу и детсад для земляков. Пять раз поступал. Картавишь, шепелявишь — не пригоден. Не тратьте время даром — вы бездарны. Я всем членам приемной комиссии на дом открытки слал — когда стану актером и снимусь в главной роли, приглашу на премьеру — убедитесь! Кашу пшеничную одну ел, все копил на аккордеон. Играл в народном театре так, что, если в зале были дети, — остались бы заиками. Премию дали за игру — запонки.

Только ничего не вышло. Не вышло ни-че-го.

Шурую по букве закона, по своей программе: «А теперь слово предоставляется бабушке жениха, пожалуйста!» Никто не встал, все мнутся. Из-за стола шепчут: «Нету бабушки. Померла». Я от-

кашлялся, гармошку поправил и объявил: «Тогда прошу всех встать. Почтим память бабушки минутой молчания». Помолчали. Отец жениха встал и сказал: «Старый ты дурак! Иди отсюда».

...Добираюсь до дома — лезу в холодильник. Жена ворчит: ты вообще откуда пришел-то?

...У меня за все время была одна-единственная свадьба, которой я доволен.

...Утром раскладываю заказы, гадаю: куда бы пойти, чтоб не выгнали?

\* \* \*

Вот мы снова живем без снегов — тепло, и детского весеннего света хватает на всех. Жизнь — это колыбельная песня, она убаюкивает повторами, она шадит, она как река подо льдом — можешь гулять по ней и топтать каблуком, и вовсе не думать, что стережет твой шаг студеная, быстрая вода, рядом, всегда — и можешь свистать соловьем, ездить на работу, ездить с работы, принимать пищу в столовой, нырять в газетные строки — ведь солнце греет, и хорошо!

Лишь бы лед не хрустнул. Лишь бы не дернулась зигзагом, змеиным язычком трещинка из-под ноги — тогда придется просыпаться, открывать глаза, выходить на жесткий, режущий свет времени, которого так много, что хватает на всех, а всех так много, что не хватает на одного...

Я пробирался к Красной площади, выбравшись из подземелий метрополитена у остатков китайгородской стены. Автобусы покачивали людей, двери хлопали, метлы царапали тротуары, набухали бессонные очереди.

Я шел по улице, крайней к гостинице «Россия», похоронившей под собой прекрасное Зарядье, впереди чуть росли с каждым шагом купола и шатры Василия Блаженного. Я хожу здесь так часто, что ушли давно вкус и запах этих мест, если были, конечно, они.

Улица Степана Разина — я прочел табличку и споткнулся. Это улица Степана Разина. Вот, оказывается. Но теперь ее, кажется, переименовали. Теперь это вроде... Варварка. Варварка. Где, интересно, ударение ставить? Ну вот — Варварка, это здесь торговали пряностями и востоком, вон кусок Гостиного двора — купцы на отдыхе двигали шашки по доске, было время.

Постойте, тогда следующая улица уже не Куйбышева, а Ильинка. На Ильинке торговали мехами, серебром, парчой.

А еще дальше... Была «25-го Октября», а теперь? Как же ее? Ничего, узнаем, запомним, мы возвращаемся к покинутым порогам, воскрешаем великую нашу Родину, кланяемся в пояс народу, бежим на зов прошлого беспамятными детьми, чтоб никогда не покидать уже родной очаг, и наполнятся эти улицы прежним

естеством, вернуться к нам песни, трудолюбие, достаток, гордость, язык, терпимость, мудрость наших предков, поднимутся народные устои, возродится веками размеренная жизнь, запляшут веселые праздники.

Да? Да!

Нет. Да ничего этого не будет. Нет больше народа — он умер. И новые таблички — это просто настоящая фамилия на старой могиле, это единственное, что мы в силах вернуть.

Все ушло, и нет возврата, а больно так оттого, что еще совсем недавно, еще и века не прошло, кажется, рукой достать — все были живы, а уже не воротишь. Еще стоят на полках книги, где все описано, еще дышит последние годы русская задушенная деревня, еще сидят за границей ветхие старики с горделивой осанкой и породистыми лицами, еще помнят старухи какие-то песни, еще совсем недавно жила моя бабушка, которая говорила на языке словаря Даля, — а уже все, не добежать, не окликнуть, не вернуть, народ ушел, подхватил всех своих и ушел. И мы даже боли этой не чувствуем. Даже не понимаем, что нет у нас никаких оснований считать себя русским народом потому, что единственное, что мы сохранили из русского, — это водку. И больше ничего.

И не запоет больше русская свадьба на Красную горку и на Святки, не расплетут невесте косу подружки, не снимут с ее головы ажурную с прорезями ленту с самоцветами и перламутровыми плашками, не наденут парчовый кокошник с поднизями, плетеными из речного жемчуга, не посыплется на головы молодых хлеб и хмель, не прозвучат пристойные нравоучения, не запылают в изголовье брачного ложа на ржаных снопах пудовые свечи в кадках с пшеницей — на целый год, не закрутят веселую пирушку дружно и подружье, тысяцкий да третьяк... Никто и не поймет, что невеста — значит неведомая. А суженый — тот, кто Богом сужден, до могилы, на века.

Отлетались пташки небесные, истопились скатерти самобраные, потоптали цветочки лазоревые, съела моль куньи шубы, выродились гости полюбовные.

Нету праздников — нету народа. Хотя все, как у людей, — выпили, закусили.

Пробормотав последнее «прости» жалким переименованиям, мы несемся дальше, что есть сил, по славному революционному пути, трясем друг друга за грудки, заезжаем в ухо, мечтаем отнять у партократов дачи, изъять партийную казну и вынуть продукты оттуда, где они еще есть, мечтаем о шведском пути, о японском пути, дрожим от слова «переворот», сжимаем кулаки на митинге, в спортивном интересе высчитываем — «сколько сегодня было?»...

И какой беззаветной, отважной, прекрасной преданностью мы грудью встаем на защиту национального возрождения Прибалтики — и бастовать готовы, и митинговать, и с мандатами по Красной площади пройтись, прощаем прямые оскорбления и неизбежные

перегибы возрождения прочих наций, спешим на помощь, но когда же руки дойдут до собственной судьбы?

Мы видим на чужом опыте: в эпоху всеобщего распада, кризиса прогнившей идеологии, тяжелых испытаний, недоверия и насилия, противостояния, затаптывания смысла жизни целых поколений нужна точка отсчета, которая была бы близка одинаково всем людям, независимо от их возраста и политических убеждений, которая была бы ясна, проста, притягательна и признавалась бы как конечная цель всеми движениями. И этой точкой отсчета не могут быть сиюминутные вопросы ценообразования, личность премьера Павлова, судьба российского руководства или тем более надуманная трагедия распада Союза. Этой точкой сможет стать лишь возрождение народа. Эта цель доступна, спасительна, понятна и необходима каждому потому, что у каждого есть родные могилы и вечная природная потребность в верности традициям родной земли, которая приносит уверенность в неслучайности твоего личного существования. Ради этой цели можно будет терпеть. Ничего другого людям всем вместе не принять.

Общество, обжегшееся на «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», никогда не поверит в «нынешнее поколение советских людей будет жить при капитализме».

Да, русскому народу труднее — нам неоткуда взять столь пленительный образ «оккупанта». Наши семьдесят лет неподъемней прибалтийских сорока. Мы не можем себе прощать перегибы и неточности, народы в России живут очень тесно — нам нельзя размахивать руками. Но это не значит, что нам не надо начинать.

Мы в худшем положении, но не в безнадежном. Нам придется дотошно и бережно исследовать опыт ранее столь ненавистных нам сионистов. Опыт воссоздания нации по крохам, крупинкам, опыт реанимации языка, собирания остатков народа на Родину, призыва к единению, воскрешению народных традиций, возвращения к разумным формам народного быта. Для этого нужны сильная экономика, привлекательная политика, надо на сухие, мертвые ветви прививать свежие побеги, сажать в землю уцелевшие семена, без усталости поливать свои наделы.

В этом спасение потому, что народные устои всегда здоровы, всегда устойчивы, народная мораль справедлива и зорка, уважительна к другим нациям, это единственное, что поможет нам устоять в искушении пасть перед дешевыми искусстваами мира, куда мы делаем первые шаги. Народы не совершают преступлений. Народы всегда правы. Народы не предают. Они принимают нас назад, даже если мы отреклись. У нас нет другого пути — только домой.

Возрождение русского народа — это не прежние мечты о проливах Царьграда, о православной империи и полунасилованном единении всех стран. Это человеческое, одухотворенное лицо, счастливая семья, родной дом, щедрая земля — этого хватит.



Мы вычеркиваем графы «национальность» из документов не для того, чтобы их не было в душе. А для того, чтобы они были — смело, свободно, осознанно.

И взаимообогащение наций — это очень здорово. Но лишь тогда, когда нациям есть что показать друг другу, кроме пустых вывернутых карманов...

Все это так, это так, но только быстро течет река, не остановишь, а я хотел вам написать про горький вкус своей работы, когда пилишь на гармошке и орешь свои песни, а свадьбы идут своим чередом, пьют, гуляют, закусывают, дерутся, сидят осоловевшие молодые, и мамы не знают, что им сказать, а ты играешь и поешь, пытаешься разглядеть, стоит там кто за пыльными стеклами нанятого кафе. Или нет.

## ЭТО НЕВЫНОСИМО СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

ОНИ. И вот один дед попал сюда из общего интерната для престарелых. Живет, гуляет, питается в столовой и вдруг заметил знакомое лицо: вроде узнает товарища, с которым басмачей гонял и который его, раненого, помирать в пустыне бросил и умотал. Дед к нему подкрался и прямо в лоб: «Ну говори, ты или не ты?!» Тот засмутился, говорит: «Ты погодь, погодь, вот я сейчас за бутылочкой сгоняю, тогда мы и поговорим и выясним». Побежал за коньяком — его инфаркт и догнал по дороге, и все. А дед развыступался: «Не буду я тут лежать, коли у вас тут таких держат!» И уехал обратно. В свой общий интернат.

РАДИО. «Как обычно в этот день в нашем доме ветеранов партии вышел в свет третий номер стенной газеты «Ленин всегда с нами». По традиции в левом верхнем углу портрет В. И. Ленина. Далее отрывок из работы «Что делать?» Пришла весна-красна, и обитатели нашего дома тоже зашевелились, они выходят на природу».

ОН. «Ну, ну, да — это я Татьяна Васильевна, санитарка. Самые тяжелые — мои. Я ему — ложку в миску, хлеб — в левую руку, жуй. А он ведь не понимает: день — ночь. Лежит — радио крутит. Или чудит: «Татьяна Васильевна, я не обедал». Как не обедал — я тебя с ложки кормила! Или зовет: заблудился, ходит по комнате, а кровати нету. Самый первый день дежурила, приходит: «Мне укол утром делали, а иголку забыли». Старики! 87 лет — средний возраст. Рекордсмен к сотне тянет, грозился сто пятьдесят одолеть. Жить можно — комнаты отдельные, телевизоры, телефоны и кормежка — сейчас, правда, хуже, спецбазы закрывают, и вот икры поменьше стало... Трудный народ. И разный. Одна член шведской компартии — Эмма, как ее... Генриховна! Если начинают скандалить: я — секретарь обкома, а я — директор завода, а у меня пенсия больше! А мне все равно: Госплан ты или генерал. Но

раньше покруче был народ: в столовую ходили продукты взвешивать, на подсобном хозяйстве распоряжались — как управиться, а сейчас все больше: по какой программе телевизор смотреть. Или обижаются на глухого, что радио орет. Или ателье плохо платье пошло, или каша ему не нравится. А каша-то нормальная, все же кушают.

Ох, ему же соврали: «Подлечишься, отдохнешь — и домой». И начинается: «Доктор, когда я поеду домой?» А какое домой — жилье сдали давно. И вот лежит он ночью: один на один со своей судьбой.

Вот, опять звонит, ох, дождется он у меня...»

СОН. «Была направлена на подпольную работу в тыл Деникина в г. Ростов. При переходе линии фронта была арестована и направлена в штаб генерала Шкуро. По дороге удалось бежать, в чем помог один из конвоиров».

«Сразу уехал в Оренбург, но там снова был арестован и отправлен в г. Ялуторовск. Там сильно простудился, переболел тифом, у него отнялись ноги. В таком состоянии был выпущен из тюрьмы».

«С 1928 по 1930 год лежал в больнице, так как был парализован ввиду отморожения ног и контузии головы, полученных в боях гражданской войны. С 1936 года потерял зрение».

ОТКРЫТКА 7 НОЯБРЯ. «Будем надеяться, что взбаламученный мир успокоится, пройдет очернительство тех идеалов, которыми мы жили, и справедливость восторжествует, и мы придем в светлое будущее».

ОНИ. «Наш местный общественник так заработался, что стал еле жив. Надо обстановку срочно поменять — врачи и отпустили его на месяц домой, начиная с майских праздников. Ему радость. Старые знакомые достали ему приглашительный на Красную площадь глядеть демонстрацию. Тот, естественно, с внуками пошел, гордый. Глядь — а тут такие плакаты понесли, тако-ого требуют... Не выдержал и — домой. Ночь переспал, наутро велел детям: «Взрите обратно. Все».

ЗАПОРОЖЕЦ П. К., ПОЛКОВНИК. «Про Николая II пишете, а он палач! палач! А ленский расстрел? А Кровавое воскресенье?! Все наши вероятные противники считали: прежде всего разложить изнутри. Вы выполняете заказ Людендорфа! Я два раза перечитал сочинения Карла Маркса и Энгельса — я понял диалектику. А послушаешь этого, по телевизору, — это же балдей! Болванство допускается, наши экономисты обалдуи! Они не знают диалектики! А по телевизору — эти трясуны с гитарами?! Вот так вот, вот так вот! А я на шахте работал, я сто рублей получал, и за эти деньги мог купить лакированные туфли «Скорород» — вы таких не купите нигде! И пиджак за двенадцать рублей! Я войну начал командиром полка. Когда докладывал под Сталинградом, у Рокоссовского румянец играл, как у девушки. Ста грамм водки за жизнь не выпил. Ты мне дай сорок бутылок коньяка — все разобью, ни одной не выпью,

а попробуй мою руку, ну как? Вот товарищ Перекоп штурмовал и каждый год в Фонд мира пятьсот! И я каждый год пятьсот! А есть такие, что один рубль, а сыну тысячу! Он же пропьет! Я своим детям — никогда! Сами работайте! Мы знаем, когда стране плохо, надо подставить плечо!»

ДЕНЬ. Душным пахнет трава на нагретых местах, высокие колени сосен в рыжем пушке, и легкий скрежет отставшей коры, и жаркий рюкзак солнца на спине, и ветер гонит мальчишку на велосипеде — тот бороздит лужу, взметнув серебряные вожжицы брызг, и ветер наполнен слабым скрипом инвалидных колясок, и ветер гнет цветы на крохотных огородиках под корпусами и неумолимым казенным железом кашляет в близкой колокольне, и прыгает сорока, приносящая вести, по огромным серпу и молоту, выложенным кирпичами на газоне, но это не беда, если закрыть глаза, то ветер возьмет тебя в легкое, быстрое, теплое, тесное, где нет места колумбарии Востряковского кладбища и последней, последней стене...

СОН. «Вот ты не обижайся — а жили мы веселей. Стукнут в окошко: «Надька, ты дома? Мы к тебе!» Отварим картошечки, кислая капуста и чай. Песни пели. Засидимся в райкоме, десять парней сидят: «Надька, мы тебя идем провожать». Ни один парень не обидел. Ни словом, ничем, никаких гнусных предложений. Это было невозможно! Все, что у меня тогда было, я готова была отдать, поделиться. Хоть и был 37-й год, приходила на работу и замирала: кого еще? И потом, когда ленинградское дело — ко мне пришла старая большевичка с шестнадцатого года, у нее билет был на процесс, и говорит: «Надя, ты представляешь, Капустин сам во всем сознался!» Мы не знали про этот театр.

А теперь мы в дурацком положении».

МАЛЧЕНКО А. Л. «Скучно, скучно — у многих ведь нет ничего за душой, кроме стажа, работали, руководили, а культуры нет. Соберутся говорить и только о болезнях, как спал, как мочился, завидуют тому, кто здоровей. Я говорю: «Что все о болезнях? Давайте о любви!»

Я 35 лет на партийной работе, я ни разу на работу не устраивалась — меня направляли. Я сто сорок рублей получала. Но чтоб пойти в торгующие организации и что-то себе попросить — никогда! Я трудилась, как рабочая лошадь. Я никогда хорошо не жила. Что я нажила? Вот эти четыре стены! Партия для меня все. Я с ней и умру. Про капитализм не знаю, я при нем не жила. Мы тут все очень страдаем. Был бы жив Ильич, а все так получилось — грустно... Я растила сына, помогала его семье, внуку. Сын теперь развелся, один. Нет, не один, конечно, к нему приходит женщина, а я так не могу. Мне казалось — раз ты с ней, значит — женись. Может, я и не права — я теперь так иногда думаю, но все равно теперь! Здесь лучше всего... Там девятый этаж — как меня хоронить понесут с девятого? Смеетесь, да? Но я хочу вам сказать — я всегда очень верила в светлое будущее. Я и сейчас верю. А вы?»

ОНИ. Сейчас их двести шестьдесят. Две трети женщины. Активных — половина. Когда они «поступают», они рассказывают свою биографию всей парторганизации. Шутят: «Для некролога». Оптимисты поступают доживать, пессимисты — умирать. Довольно легко воспринимают смерть детей. Врачи переживают больше, прежде чем сказать.

Их трудности — все лидеры, генералы — все, а солдат не хватает. Кем командовать? Политкаторжане, вымершие четверть века назад, жили дружно, весело. Нынешние грызутся.

Не утихает мучительная борьба за лидерство в партбюро. Отчетно-выборные собрания идут два дня. Вплоть до инсультов. Директора выживают недолго. Администрация лишь в этом году осмелилась не отчитываться парторганизации проживающих, намекнув, что коммунистам пора сосредоточиться на идеологических вопросах.

Внимательно учитывается, кто сколько не пожалел в Фонд мира. Один дал десять тысяч. Кто совсем мало, на собраниях могут притянуть к ответу. Памятник Ленину отгрохали на свои кровные. Пишут письма в Кремль.

Скончался ветеран партии. Осталась супруга. Не ветеран. Общественность, требованиями выселить доводящая женщину до рыданий, успокоилась лишь после перевода ее в худший корпус. Бывают жестокие споры: у кого весомей стаж. Предмет гордости — до Октября. Один ветеран обвинил другого в раздувании заслуг. Дело о клевете решили слушать на партбюро. Врачи запретили категорически.

ЛЮБОВЬ. Главврач сказал: «Я поощряю дружбу между лицами разного пола».

Люди сходятся, тяжело — вдруг бред ревности или характеры не сошлись. Просят иногда: поселите вместе, без брака. Врачи: «Это безнравственно». Жаль, пили бы чай, говорили, вместо того чтобы дергать звонок. Персонал частично осуждает, но любит подсматривать: как там у «молодых» выходит.

А иногда сбывается, хорошие семьи рождаются, случается, спускается солнце под тяжелые камни, и находится глоток воздуха, которым можно еще задохнуться, и ухватывает тебя на прощание неотвратимый водоворот первого взгляда, первого слова, первого прикосновения...

Привезли женщину на лето. Дети захотели ее подлечить, пока они в отпуске отдохнут. И они встретились. Чай пили вместе, если в кино, то рядом, в театр, он ей цветы носил. Убежало лето, приехали дети: пора домой. А женщина говорит: «Нет. Нет, я не поеду. Это моя последняя любовь. Вы понимаете? Как я могу ее оставить?» И дети отступились.

Они прожили год. Ну и через год ее не стало, случаются, конечно, смерти, как сказал главврач...

А товарищ этот, ну который последняя любовь и все такое, у него потом другая была какая-то, а потом у него была еще острая

непроходимость кишечника, а потом у него была опухоль, и погиб, короче...

И что вам еще сказать?

СТАРКОВ В. В. Его возят на собрания, к нему заходит партгруппор и делает устную информацию, он двигается по комнате, опираясь на стул перед собой, нависнув над ним, как над тяжелой тачкой, он толкает стул вперед и подтягивает вслед свое рыхлое, полунедвижное тело. На нем мятая голубая рубаха, он держит голову боком, ухом ко мне.

— Трудился... Работал... Восстанавливал... Активно участвовал... В комсомоле с 1924-го, в партии с 1929-го. А? Все, все время было счастливым. А что мне будущее? Будущее — это когда работаешь, пользу можешь приносить.

И вдруг он не слышит меня, бросает двигать свой стул и нависает надо мной, весь запнувшись разбухшим горловым комком:

— Яа... Вот я-а... одного понять не могу. Как жена моя умерла?

Он судорожно стискивает зубы, задрожав щеками, из него подраненной птицей рвется легкий стон, оперенный серым хрипом:

— Так. Хорошо. Жили. Пятьдесят лет!

Он объясняет мне, сжимая ватными ладонями спинку стула, обернутого тряпицей:

— Она была активная комсомолка. — И, как налетев с размаху на проволоку грудью, он замирает пошатнувшись и перестает наконец-то видеть меня, и глаза его видят что-то над головой, будто он разгибается, и наливаются силой мертвые клетки. — Вот только во сне, — говорит он протяжно и дышит в перерыве. — Вот, появляется как-то... Но только мелькает, быстро... И уходит сразу. Вот куда? — Он отрешенно молчит и выдыхает. — Неизвестно-о!

У него три фотографии. Внук с невестой плюс белые розы. Жена с внуком, под елкой. Жена одна в саду. Улыбается.

ВАНЕЕВ А. А. У нас тут все явные сторонники компартии. Отступников нету, чтобы на других платформах. Устав со всеми проработали, специального товарища посадили на радио новости читать. Читал генерал, но заменили, слабо читал и выражения допускал. У меня из сорока коммунистов в столовую ходить могут только трое. Часто еще хлеще бывает, приехал, партбилет сдал и помер. Если кому тут не нравится, говорим: не держим, соберай свои манатки, денег на дорогу мы дадим. А то тут один: на год приехал, а уже пять лет живет. А сам, я узнал, двадцать лет на учете в ЖЭКе стоял. Понял? Обсуждаем хозвопросы, медицину, призываем товарищей не опускаться, следить за собой. Хлеб вот возили в столовую незакрытым, черствел. Месяц боролись — и добились. А еще триста человек у нас обслуживающего персонала, на каждого — по белому халату. А не много ли? Тут надо глянуть с партийной точки зрения. На партконференцию выбрали десять делегатов в район, поехали, правда, пятеро — нездоровье. Но вот почему директор на отдельной машине поехал? Что же

бензин не бережет? Устаю, конечно, летом можно было бы и отдохнуть, а то собрания и собрания, но я всем говорю: товарищи, кончилось время, когда все сверху спускали. Пора бороться в партии, работать за идею. А то ведь выпрет нас народ к чертовой матери!

ОНИ. Радость революционера жестока. И старость революционера жестока. Общее дело — это поход, оно любит молодые руки и ноги, у него туго по части пенсий.

Но старость революционера мудра — она собрала их вместе. Последняя шеренга ленинской гвардии сумела дожить до конца похода, и на ее несчастные седые головы пал жестокий, неукротимо осветивший все вокруг пламень этого невыносимого светлого будущего, когда стало больно смотреть по сторонам, увидев разом все. Они собрались еще раз перед последними воротами, узнавая друг друга как однокашников по Промакадемии, Институту красной профессуры, Университету имени Зиновьева, они — как листья, терпевшие под снегом, дождались весны, чтобы прильнуть на помощь к корням любимого дерева, им не хочется видеть, что остался лишь пень, они хотят не замечать этого, дожить в цельности — они уже отдали жизнь, им нечем оплатить перемены, ну зачем им пересчет?

И мне страшно знать, кто садится на стул у их кровати и шепчет, когда ночь путается своими космами в чернеющих кронах, и человек начинает слышать свое неутешительное тело, и жизнь чувствуется, как сосулька в горячей руке, и не поймешь: есть ли еще она или уже просто — мокрая, чуть немеющая рука, и сжимаешь, сжимаешь, пытаешься удержать, ухватить, остаться...

СОН. «Летом 18-го года я пришел в партизанский отряд Некрича — это известная партийная персона. Мне не нравился тогдашний строй на Украине — то петлюровцы, то немцы, то деникинцы — и все резали евреев. А я — еврей. Я хотел избавиться от этого Украину, а люди приходили из Москвы, хвалили ту власть.

Получил два ранения: правое плечо прострелили насквозь и саблей разрубили бок. Белогвардеец ударил саблей через шинель, а уже в госпитале я подхватил тиф... Раны — это не бумажные справки, это — документ.

Шесть лет помощником Кирова был, тут еще один говорит, что был помощником, не верьте — я. Киров выступал против коллективизации и против паспортной системы. Он считал, что это крепостничество! Когда его спрашивали: а как же принимались такие решения, он пожимал плечами: демократический централизм...

Летом к его машине, тогда он ездил на «фордике», хотя в Смольном был и «линкольн», бросилась женщина и крикнула: «Сергей Миронович, на вас готовится убийство!» Потом ее отправили в сумасшедший дом. Через день после убийства группу работников обкома вызвали в ГПУ на Шпалерную — опознать Николаева. На столе лежал человек большого роста с забинтован-

ным окровавленным лицом, а Николаев был невысокого роста. Им сказали подписать, что это он. Тогда еще было посвободней — они отказались. Тогда им сказали: под-пи-ши-те, поняли? Они подписали.

Тут кто-то говорит, что Николаев мстил за связь Кирова с его женой, но Киров был абсолютно чист. Я бывал часто у него дома, я знал подробно его домашние дела. Кроме того, в обкоме были более красивые женщины, зачем ему было искать на стороне? Сталин? Он вроде плакал на похоронах, как будто слезы были на глазах, как будто слезы. Я пять раз был на Политбюро, все говорили: гений. И я говорил: гений.

Ну а в 36-м меня посадили за контрреволюционную агитацию на пять лет. Получилось не пять, девять — в шахте в Воркуте. Ошибка? Что? Ну не такой уж я дурак. Взяли всех без исключения, кто работал с Кировым. Исключение, что я выжил. Вышел на полгода и опять взяли, на семь лет в Красноярский край, село Долгий мост. Пилил лес.

Киров был человеком ленинского склада. Мы приехали в Москву на Политбюро перед 1 Мая. В пятницу он позвонил мне в гостиницу «Националь» и спросил: вы хотите в Москве остаться на праздники или домой, к жене? Я ответил: вообще-то к жене, да билетов где уж взять. Он решил: поедете со мной. В двухместном купе интернационального вагона! Поговорили час о деле. Так, говорит он, а он меня на десять лет старше был, так, где вам удобней спать: вверх или вниз? Это мне говорит: вверх или вниз? Вот какой человек был Киров».

ЦЕДЕРБАУМ Ю. О.

— Вы ничего сейчас не боитесь?

— Нет. Ко мне приходила лет пять назад женщина из Института марксизма-ленинизма, спрашивала про Кирова, ничего не сказал, я не хочу сидеть в тюрьме. А теперь... Умру, что мне жить-то — полгода. Врачей нет, питание отвратительное, у меня язва, я слепой, ноги нет, глухой. У меня нет никого. Жену тоже здесь угробили. Кому я нужен теперь в тюрьме? Когда меня арестовали, сыну было семь лет, когда я увидел его снова, ему было двадцать пять, пьяница, наркоман, семь жен сменил... Что мне осталось в жизни. Жаль, что мог бы сделать больше, лучше... Кого мне бояться, вас, что ли?

— Нет, я просто хотел спросить... Вы не боитесь смерти?

— Смерти? Каждый день в шахте, где я работал, уносили несколько трупов. В селе Долгий мост, где была ссылка, — вешались под мостом, я выжил... Год бы еще хотя бы пожить, но жить страшно тяжело и каждый день хочешь все кончить. Кончать жизнь самому недостойно. Но здесь могут довести до этого. Это даже можно сделать как демонстрацию... Но хотелось бы каждый день знать, что будет завтра. Знать, чем все это закончится. Это меня держит. Нет, нет, я не устал сидеть. Партийные дела для меня важнее, что вы говорите?

— Вы не думали обратиться к религии?  
— Что? Как? Да что вы на самом деле?!  
— Вы не жалеете, что свою жизнь связали с партией? Ведь сейчас говорят по-разному...

— Чепуха! Контрреволюционная болтовня! Я семьдесят лет в партии и считаю: были ошибки, но у нас было особое положение. Мы подняли массы безграмотных людей до таких высот! Ерунда! Сталин, я скажу по-партийному, отбросил страну на полвека назад. Проживи бы Ленин еще с десяток лет, мы бы были совершенно другими, о-о-о, какими мы были бы. На нас бы все равнялись! Но вот случилось так, что Ильич погиб...

СОН. УЛЬЯНОВ В. И.

«Как-то я с одним из делегатов, моим соседом в зале, вышел в коридор покурить. Мы с товарищем стояли у окна и обменивались мнениями о ходе съезда. Вдруг мы увидели в коридоре Владимира Ильича. Приблизившись к нам, он узнал моего собеседника и, обращаясь к нему, воскликнул:

— Товарищ Чурилин, сколько лет, сколько зим! Помните, как мы учились в Париже?..

Великим, мудрым, но простым запечатлелся Ильич в моей памяти».

«Ильич знал, что все мы живем небогато. Будущий наркомздрав Семашко развозил по квартирам бутылки с молоком. Будущий нарком РКИ тоже развозил продукты».

«Если Владимир Ильич приходил, когда Надежда Константиновна была занята, он никогда не позволял себе прерывать ее, а тихо сидел в коридорчике возле кабинета, что-то записывая или читая».

«Трудно описать какое у меня было тяжелое чувство, когда я видела Ленина последний раз. Он был очень слаб, плохо говорил, с перерывами, но все же у него нашлось несколько теплых слов для нас».

КРЖИЖАНОВСКИЙ Г. М. «Я пишу некрологи. Это у меня поручение — писать об умерших. Парторгов же не заставишь — они только биографию мне на стол кладут. И я выбираю наиболее важные эпизоды. Я уже написал штук четыреста. Каждый год, примерно, сорок—пятьдесят. Мою работу читают все. Висит на стенде «Памяти ушедших из жизни». Идут позавтракать и читают. Кто плохо видит — вслух прочтут. Начинается «Партбюро сообщает...» Что вы сказали? Память навечно остается в наших...? Нет, у меня концовка другая — «Выражаем соболезнования родным и близким». Вот так.

Переживать очень не переживают, что вы хотите от этих людей, если выходит человек из кино, спросишь: понравилось? Очень. А про что? Уже не помню. Если умирает человек — надо же проводить — нет возможности людей отобрать, кто поедет в крематорий — полтора часа туда, полтора обратно, и там еще...



И в семнадцать лет, и по сей день мое сердце принадлежит Ленину, партии, Родине. И мы всегда работали честно. Все это... уляжется. Я не сомневаюсь ни минуты. И будущее будет таким, за которое мы боролись. Иначе не стоит жить на земле».

СОН. Погоди, я отвлекусь, тут надо мне с товарищем поработать. Здорово, ты где лошадь свою взял? Я говорю: каталка эта — твоя? Да? Жалоба у меня на тебя — чужую каталку берешь, телевизор перекрутил, гляди! У тебя же есть квартира, езжай туда. Внука там? А чего же тебе не нравится? Нравится? А кто говорил: вас всех скоро отсюда разгонят? Не ты говорил? Точно? Ну гляди, гляди...

Так вот, наскочила банда, и наших прямо на площади и кончили. Марусю с братишкой водили долго, она просила: «Вы меня, конечно рубите, а брата уж не трогайте». Когда мы ее нашли, у ней груди вырезанные. А когда братишку рубили, он, видно, ручонками закрывался, и ему прямо так, с руками...

Буденный шел с вокзала в город в бекеше, и шапка на нем хорошая была, а Троцкий как читал речь... За четыре часа ни разу за бумажкой не потянулся. Я был секретарем комсомольским, чиновцем, к кулакам меры принимали, а тут на Первомай мне секретарь укома говорит перед митингом, на горе у собора, научает меня: «Ты, как поп говорить закончит, цепляй ему на грудь алый бант». Я даже обмер, мы ж тогда и партийные Пасху отмечали и христосовались. А тут поп взял и принародно от Бога отрекся! Я ему — бант! Он потом в укоме консультантом по борьбе с религией работал. Это все Воронежская тогда губерния была, Валуйский уезд...

— Но вы жили не в городе. Вы жили за путями, на Пушкарке, — продолжил я, — все Калашниковы оттуда.

Он притормозил свою речь и пригнул ко мне свою голову:

— А ты откуда знаешь?

ВЕЧЕР.

Вечерними делами ведает служба из одного человека. Пока было место — хоронили на кладбище в Переделкине. Сейчас — Востряково, крематорий, стена.

Санитарка: «И уход хороший, да время — поневоле умирают. Я заранее вижу: вот этот помрет. Нос такой белый становится и вот так вот: нос, подбородок — весь треугольник, белый. А как бредят... Все про детей».

Они завидуют тем, кто умер легко, мигом, стоя.

Один вены пытался резать, напильником себя в область сердца. Ну это смотря кто как понимает, а бывает: не смиряется его душа с этим, смертью, короче, и все. Ресурсы все исчерпаны, а он ходит за врачами, умоляет, помогите пожить, а пошел в сберкассу за деньгами, поволновался там и по дороге умер.

Они по-разному решают для себя вечер. Был такой безногий еще с гражданской войны, сильно пил — сестры ему приносили. А потом попытался поджечь себя электролампой. Не вышло — обуг-

лился только немного. Тогда отказался есть и замолчал. И все время молчал. Так и умер. Молча. От нарушения обменных процессов, а фактически — голодной смертью.

СОН. «В жизни моей мне повезло, учился я в церковно-приходской школе, и был у нас учитель... Он был в партии с шестого года, тогда на нелегальном положении, и он нас учил, и спрашивал, вы книжки читаете? Слушайте, говорит, как надо сделать, вот так: а вы пойдите на свалку, отыщите там ведро дырявое, сделайте ведру этому дно и поставьте к себе в сарайчик. Прочтете книжку одну, пойдите на огород, наберите в рюмочку маленькую плодородной земли и высыпьте в ведро. Тут девочка одна руку подняла: Клавдий Иваныч, а если закон Божий читала, сыпать? И закон Божий. И псалтырь? И псалтырь. А заповеди? И заповеди. Я толкнул в бок друга Петьку Кирпотина — бежим в библиотеку. Дверь отворили, а там сидит такая, такая, и кружева у ней на воротнике...»

Прошел год. У нас с Петькой ведро полное с верхом. Учитель спрашивает: у кого ведро полное? Три руки. У кого ведра нет? Много рук. У того и голова пустая! А вот вы, у кого полное, собирайте костей, лохмотьев, тряпок, отнесите старьевщику — пусть он вам даст взамен вазу какую-нибудь. Потом поработайте немного на армянина — пусть он заплатит вам семенами своими, посадите их в вазы с плодородной землей и вырастут у вас чудесные апельсиновые и лимонные деревья, и наступит светлое будущее...»

#### ВОПРОС.

Я маку палец в прорубь телефонного диска, и диск превращается в карусель, моя бабушка живет в городе, где меловые холмы и от вокзала до центра горят всего два фонаря, где ходят в резиновых сапогах от непрсыхающей грязи и в лисих шапках для форсу, где взорвали церкви и собор и кто-то когда-то копал ночами землю, мечтая о несметных сокровищах, которые из церкви не вынесли, а из кирпичей собора сложили что-то торговое, а потом поломали и это, а сейчас там неформалы и даже кто-то голодал, а река все равно морщит свою зеленую шкуру, отороченная понурым лозняком под горой, на которой стоял домик Петра, а ночи там такие, что можно с крыши пожарной каланчи перелезть прямо на небо и вылавливать звезды шапкой, как рыску из густой, замедленной летом воды, моя бабушка живет теперь у окна, за которым разнообразно маневрируют Дашки, Наташки, Аньки, а дразнильные Алешки выкрикивают «выставка трусов!», имея в виду легкомысленно короткие подолы пятилетних особ, и звонит телефон.

— А ты не помнишь такого Федора Алексеевича Калашникова? — спрашивает внук. — Он не родственник наш?

— Нет, — сразу говорит бабушка. — Но я помню его родителей, хорошие люди, у них было десять детей. Он еще в лавке мальчишкой работал. Я почему его помню: он невесту из города взял.

В голосе бабушки просквозила некоторая обида — невест, по-видимому, хватало и в Пушкарке.

— Ба, — напрямую залепил я, — а это не он моего прадеда в Казахстан услал?

Бабушка припомнила и твердо произнесла:

— Нет. Это было позже.

И она сразу строго и подозрительно спрашивает: по-прежнему мысля меня в заоконном пространстве как одного из Дашек, Анек, Наташек и собирающегося что-то отмочить:

— А что?

И правда: а что? Этот вопрос горбатится водоразделом, набухает кровавым востоком, размыкает пасти мостов, скользит в ножны канала тяжелой крейсерной сталью, щупает прожекторами сектор обстрела, отмечает крестиками квадраты на карте, расписывается в ведомостях за стволы и обоймы, слушает стрекот кузнечика в часах, он готов на все.

Что мы скажем в ответ?

НОЧЬ.

Через дорогу от рыжих глиной огородов с резким навозным ветром, с белой ванной для воды, кучами мусора в густой крапиве, истлевшими венками на нижних ветвях у бесформенного, как облако, кладбища одно плечо выпирает строгим углом. Здесь по вверх идущему склону, лишь кое-где нарушая строгое равнение, как вырванные страницы записной книжки, как серые папахи, — плиты без фотографий: имя и годы. И стаж. Маленькие, как детские, гробницы, тесно, как в патронташе, планомерно, как в мечтах, — все сплошь поросло травой с редкими брызгами незабудок, что как голубые созвездия, колыхается рябина, соловей катает в горле сладостный ком, самолет, с хлопком проткнув наволочку неба, потащил за собой сдвоенную шерстяную нить следа, да старая яблоня тянет к траве свои белые мягкие губы, смаргивая на ветру коровьими желтыми ресницами, — здесь меньше смирения и прощения, чем в хаосе оград и крестов, здесь смерть особенно нелепа — их дело было настолько неземным, что даже смерть не смогла втиснуть свой оскал в крепко сжатые губы, — на гробницах ни конфет, ни цветов в пакетиках из-под молока, ни сухарей для птиц небесных.

Они не успели лечь в братские могилы, осененные знаменами и рыданиями оркестра после великих штурмов, без сомнений; их поджидали другие раны, им пришлось увидеть иное, и что видят сейчас их сомкнутые очи, над которыми витает ветренное, ветровое слово — напрасно! — а ток подземных вод и вечное копошение подземной живности соединяют их с прочими и всеми, и разделятся ли они снова, если сбудется то, во что они не верили, когда позовут нас и восстанем, опираясь на кресты, а они обопрутся на корешки партийных билетов — святые мученики коммунистической церкви, невольные, преступные, героические, несчастные, гордые, жестокие дети, которые читали, учили, со-

бирали тряпки и кости, и ветошь и хотели вырастить лимонные и апельсиновые рощи и увидеть золотые и оранжевые плоды и общее, неслыханное счастье несчастной своей Отчизны и всей Земли.

Мы очень бегло пробормотали покаянные слова, и старые есаулы, которым впору брести в пещеры жевать коренья и ящериц в тяжких думах о незадачливой своей судьбе, опять ступают в стремя, наскоро отерев шашку пуком травы, кашляют в кулак и докладывают, что поскачем теперь в другую сторону и называться будет по-другому. И это что там за старый осел шагает левой? Ну-ка выведите его на обочину и шлепните, чтобы знал, какой шагать! И обоз для скорости бросим. Это такая притягательная доля — быть авангардом, особенно если больше ничем быть не можешь.

Товарищи, давайте не оставим обоз! Не стреляйте в стариков!

Возвысим тех, кто мечтал и строил, содрогнемся тем, кто мечтал и стрелял, проклянем тех, кто служил и стрелял, и всех вместе — простим!

Не надо бегать свирепыми сторожами и выгонять засидевшихся людей из домов под снос перед ножами бульдозеров. Они посидят еще немного, наедине со своей судьбой, в вечной человеческой муке неизбежности и бессмысленности всего — у них вышло вот так, грустно, жаль, что умер Ленин, а по телевизору трясут космами чудовищные рожи, они посидят еще немного с пальцами, приклеенными к наивным фотографиям, со слабыми словами на устах, сгорбленные исполнинскими сроками партийного и человеческого стажа и всего, что сопутствовало ему, и уйдут потихоньку в ту сторону ночную, где ждут их больше, чем здесь, бесследно и бесславно, пройдут годы, снесут памятники, и что останется, кроме участка на кладбище, и нас опять разделят пропасти, в которых туман, — не отпускайте их! Давайте позове́м их сквозь слезы, окликнем себя, искупим будущие муки, подставим плечо, сохраним цельность своего тела, не надо стрелять!

РАССВЕТ.

Сообщаю, что фамилии моих собеседников изменены.

Фамилии мной взяты с одной старой фотографии.

В середине марта 1897 года одного молодого человека освободили из предварительного заключения для сборов в дорогу и советов с врачами. Он собрал своих товарищей, и они все вместе, плюя на конспирацию, заснялись на память в фототелье «Веденберг и К». На полу пластался узорчатый ковер, висела портьера с чужеземными зелеными насаждениями, позади виднелась аристократическая оконная рама. Они опирались локтями на колонны, сидели на стульях с бахромой, на столике лежали две книжки, у всех открытые лбы, и только у одного — челка. И все смотрели вперед, с просветлением, на нас, в будущее.

«В группе слева направо: стоят — Малченко А. Л., Запорожец П. К., Ванеев А. А.; сидят — Старков В. В., Кржижановский Г. М., Ульянов В. И., Мартов-Цедербаум Ю. О.».

Мне кажется, что такая замена справедлива.

УТРО.

«В конце XIX — начале XX века капитализм вступил в последнюю...»

Начался раздел мира между...

До крайности обострились...

Налицо был подъем...

Сделалось возможным и необходимым...

Наступил переломный момент».

«1 марта 1919 года я вступил в партию. Это был день моего рождения в партизанском отряде, в Брусилловском лесу. Партийный секретарь спросил меня: «Хочешь партийный билет?» Я ответил сразу: «Очень хочу». Это было в лесу, летом там ягодные места».

## СЕРЕДИНА ЗИМЫ

### ВДОХ

«Вы санитаром хотите поехать? Санитаров мы берем поздоровей. Тут у нас гантели, штанга, курсы самозащиты: как себе ничего не сломать. И пациенту тоже. А то пришли с тремя мильционерами брать мужика. А он — шкаф, килограммов так под сто двадцать, бредовый, ненависть к белым халатам. Постояли. Он как через три мундира сунул в лоб нашему санитару! Стали ломать и вязать, санитар в аффекте схватил локтем шею в «хомут» — переусердствовал, сломал хрящ — больной помер. Судили санитару. Так вот. Когда больного надо фиксировать, в бригаду летят и вазы, и телевизоры».

«Зашел к нему, начал беседовать. А у него шашка на ковре висела — никто и не углядел. Он как схватил ее, выхватил из ножен и машет ей: вжик! вжик! — я так и остался сидеть за столом с умным видом. Думаю: сейчас покатится моя голова. Доктору Балабанову бабка вон топором по лбу въехала».

Вызывает муж к жене. Вместе пили, а она чертиков на стене ловит. В квартире грязиза, тараканы войсками ходят. Берем жену. Муж ворчит: нет моих больше сил. Проводил нас до лифта и доктора окликнул: вы мимо милиции поедете? Тогда скажите заодно, чтобы наряд милиции прислали, а то тут у меня в спальне кто-то частушки поет: я уснуть не могу. Доктор сходил в спальню и вздохнул: «Да... Ну, тогда собирайся и ты».

«Наша 36-я подстанция — единственная в городе служба скорой психиатрической помощи».

Если пройти весь этот длинный коридор мимо людей, громыхающих кастрюлями, сухо клацающих домино, разложивших пасьянс, утопающих в фуфайках и сне на клавишах больничных лежаков, завороченных пушистой прорубью телевизора, и подойти к туманному окну, можно увидеть синеватое, подсвеченное солнцем тяжелое небо — это зима, во дворе хоровод всплеснувших ветвями деревьев в колючей щетине изморози — и все сковано.

По коридору — голос диспетчера, нам на выезд. Середина зимы.

— Так, халатик одели, ага? Пальто тоже — это наше, спецодежда. Пальто — единственное средство защиты. Ну все? Девятая бригада — выезд! Вася, поехали.

— Чего у нас там? — кричит Вася, забираясь, как на печку, в «рафик» — одной рукой за рычаг, второй — за «Улицы Москвы».

Я в черном пальто, плечистом, как флакон «Шипра», похож на киногероя пятидесятых: бухнув дверь, размещают свои основания на креслицах два санитара: в кепке и без; мы уже трогаемся, качнувшись согласно вперед, и доктор Сычужников кричит мне сквозь мотор:

— Утро — это пик. Родные с больным ночь промучаются, а больше нет сил.

Доктор Сычужников: под сорок, курносый, с несерьезным, «завей ветер» чубчиком, спрятал толстые кулаки в раздувшиеся карманы халата, смотрит, насупившись, в кузов впереди следующей машине, которая перемещает по известному маршруту скромную утварь переезжающего семейства: то ли счастье улыбнулось задолго до заветного двухтысячного, то ли нужда гонит — в кузове зеркало, и в нем отразилась полоска неба цвета сухого асфальта.

— Куда, Дмитрич? — хрипит ему лысоватый санитар Горелов, трогая пальцем острый утиный нос. Вторая его рука поправляет в нагрудном кармане моток парашютной стропы — «вязку», перетянутую резинкой от бигудей. Выяснив, Горелов поворачивается ко мне:

— В милицию. Товарищ один допился. К такому же приехали: он в стене во-от такую дыру выдолбил. Я ему говорю: ты что, милый? Это не есть правильно, зачем? А он пояснил: я товарищей пригласил; войдут они через дверь, а как выйдут. Ха-ха...

Санитар Котовский сваливает на затылок кепку, открывая горбоносое, смуглое лицо — он такой длинный, что голова постоянно клонится вниз, как шляпка перезрелого подсолнуха, — он мрачно смотрит на Горелова, похожий на больного попугая.

Отделение милиции с кисловатым запахом — здравствуйте, здрасти, — дежурный зевает шире окошка, за которым сидит.

— Не появляется больше мужик, что в платье ходил? — бубнит на ходу доктор Сычужников. — Нет?

Нам доставляют худощавого паренька в приличном костюмчике, с аккуратно расчесанными кудрями. Паренек озирается по сторо-

нам, будто стены пылают синим пламенем, пора сматываться, а не вести беседы.

— «Три дня пил. Не спит. Ловит в постели мышей и чертиков», — зачитывает сержант. — Это мать пишет. А зашибает он будь здоров сколько.

— Как зовут? — быстро спрашивает Сычужников, санитары располагаются за спиной паренька: Горелов ухмыляясь, Котовский с отвращением. — Дмитрий? Слесарь, говоришь... И где мы, Дмитрий, сейчас?

— Как где? Дома у матери, — поводит рукой слесарь. — Мы ремонт недавно тут...

— Ага. А ну-ка прочти нам громко, что вот тут про тебя написали, — доктор сует под нос Дмитрию чистую сторону заявления.

Исследуемый мученически склоняется вперед, переставая моргать, глаза его с усилием шевелятся, подрагивая ресницами, будто на листе бумаги что-то плавает, складываясь в причудливые узоры.

Милицейский сержант выпучивается на лист с похожим выражением, громко сопя.

— Вроде «шэ» предпоследнее, — говорит наконец Дмитрий. — А больше не разберешь. Нечетко написано.

Котовский, словно испытывая неодолимое желание сплунуть, отходит к окну, еще больше сгорбившись.

— Ясный веник, — мычит Сычужников и смотрит на Горелова. — Ага.

— Сейчас съездим на экспертизу, — с веселой мезотательностью объясняет слесарю Горелов и выгребает его карманы. — Сигареты «Полет» — одна пачка, автобусные талоны, две связки ключей... Двадцать шесть копеек денег, два лотерейных билета. Диктую номера.

Слесаря Дмитрия подхватывают под руки.

Машина катит по размокшей дороге, распуская усатые брызги, никто не смотрит клиенту в лицо, санитары косятся по окнам, равнодушно придерживая обмякшие локти привычной многолетней хваткой, доктор Сычужников, раздраженно отвесив нижнюю губу, растолковывает мне что-то, и я понимаю лишь частями, будто ветер доносит рваные страницы давно прочитанной книги:

— Кооперативы что... они приезжают покупать запой, вклют ему букет целый, а у него наутро — острейший алкогольный психоз. А они свои шестьдесят рублей получили — и привет... Семейки ведь такие пошли — жена шизофреник, муж олигофрен, сын олигофрен... Нам компьютеры нужны, самостоятельность!

Зима, когда в середине, это такая скука! Одно и то же: заплетающиеся шаги, огромная ночь и заснеженные подоконники, усталые лица и мертвые птицы.

— Приехали!

Больница имени Кашенко: пашет цветной телевизор и немо перемещаются рыбки в рыжевatom аквариумном мирке.

— Санаторий, а не дурдом, — восклицает дежурная сестра, принимающая нашего слесаря. — И что за день: везут и везут.

Я смотрю на клетку с попугаями: там скачут, машут хвостами, общаются. За моей спиной тормозит пожилой фельдшер и поясняет:

— У попугаев тута как в коммуне. Квартирной. Один яйцо отложит, другой немедленно залетит и выбросит — разобьет. Не терпят они этого.

Меня зовут — пора, мы уходим в белесую мглу зимнего полдня.

После машины — дрожащего пола и низкого потолка — хочется земли и неба, и я торчу на крыльце станции: зима вдруг обмякла, словно накануне тепла, в предчувствии проталин мохнатыми крестами проносятся похудевшие горбоносые вороны в серых передниках и, ломко цокая лапами, переступают по заснеженным крышам краснокрестных машин, а мне бибикают, мы опять едем — девятая бригада на выезд, никто не успел пообедать, и огорченный Горелов ворчит:

— Три здоровых мужика, четыре, извините, едем к семилетнему ребенку! Раньше по заду шлепнут, вот тебе и вся психотерапия! Тут и без этого после указа работать не дают. Это есть глупый шутка. Кто хоть этот указ писал, а, доктор?

Сычужников конкретно отвечает:

— Хрен его знает. Я до указа в Приемной Президиума Верховного Совета в штатском сидел. Референт посетителя послушает, почешет затылок и скажет: знаете, товарищ, надо вам пройти в комнату такую, там вас выслушает старший референт. Я с ним общаюсь. Хорошо, говорю, вы тут подождите, я пойду в ваш обком звякну. Потом подъезжает черная «Волга», выходят ребята: это кто тут к Леониду Ильичу? Поедемте за пропуском. И поехали. А вот теперь психиатр представиться обязан, и товарища должны предупредить: хотим, чтобы с вами врач поговорил. И кто ко мне пойдет по желанию? Теперь в приемной и взвыли! Кому стулом по голове стукнули, кому телефоном. А я говорю: указ-то вы писали, вы и расхлебывайте.

— А ведь наши клиенты — с самого дна, процентов восемьдесят бомжей психически больны, а слабоумные старушки? Мы их даже госпитализировать по социальным показаниям не можем, чтобы за ними в стационаре хоть поухаживали, — доктор Сычужников махнул рукой, он не желает больше говорить про указ, наша машина едет по заснеженной дороге, пятая зима свободы.

— Так ведь, — очень умно говорю я, — указ принимался, что бы инакомыслящих не хватало. Ведь... было?

— А мы тут при чем? — взрывается Сычужников. — Вызывают меня в отделение милиции. Схватили человека у посольства США. Поговорите с ним. Слушаю: уволили с работы, жить негде, отовсюду пинают. Безысходное у мужика положение. Помочь ему надо. Ко мне спускается товарищ в штатском: мы бы вам советовали его госпитализировать. Я говорю: нет, нет для этого показаний.



Он мне: вы можете ошибаться. В больнице верней разберутся. Я уперся, а меня опять: как вас зовут, кем вы работаете, для вас это может кончиться очень плохо. Ну, не взял я того мужика, но ведь другие взяли бы. И действительно ошибиться можно, с налету не определишь...

— Слышь, Котовский, — Горелов весь расплылся в нахлынувшем воспоминании, — помнишь, студента как хотели брать?

— К Сахарову в Москву ехал парень, — подтверждает Котовский, и его неподвижные глаза на миг оживают неясным движением. — На шестом курсе был. Почти молодой специалист.

— Его еще такой топтун вел, весь рыжий. И веснушки, вот как сейчас помню, и упустил его. Студент до площади добрался и плакат на грудь вывесил: ленинские какие-то высказывания, но как-то хитро подобранные, что вроде и против того, что было. Его еще майор Кукушкин допрашивал.

— Как минимум подполковник, — кратко добавляет Котовский. — Он с генералом был на «ты».

— Мы приехали, ему объявили: приехали психиатры, повторите показания. Парень повторил, про безобразия в своей области, откуда приехал. Ему говорят: очень хорошо. Ну а за каким ты к Сахарову ехал? Знаешь, как ответил: чтобы знать, как против вас бороться! Кукушкин шепчет доктору: надо госпитализировать. Хоть на три дня. Доктор: нет. А что я скажу генералу? А нас это, хе-хе, знобит?

— Бабушка, этот дом шестой? — высовывается из машины Котовский, приведя в мгновенное оцепенение одинокую старушку на обочине.

Мы выгружаемся, санитары ящик с лекарствами не берут — руки должны быть свободными, лифт крохотный, как спичечный коробок, и Котовскому придется подыматься на своих двоих, он будто уже изначально был уверен в своей незавидной доле, безмолвно скрывается за лестничным пролетом, а мы ползем вверх, притиснутые друг к другу, как связка гранат.

— Дом не перепутали? — блеснул глазами Горелов и обтер ладонью открытый лоб. — Раз вот диспетчер перепутала корпуса: сильно возбужденный больной, заперся в квартире, не открывает, грозит. Примчались — шесть утра! — звоним раз, второй раз, с усилием. Дверь распахнулась, нарисовался мужик в трусах, только глянул на бригаду и уже заорал: «Ах, чтоб вас тут, хулиганы прокля...» — и все, это он только и успел сказать: хватъ за руки-ноги, шею в захват, на ноги вязку и потащили вниз, он только и успел прохрипеть: «Дочка, на помощь!» Только во дворе ошибка и выяснилась. Очень, ха-ха, извинялись.

Под искомой дверью ожидаем Котовского, он уже снизу бурчит повелительно:

— Звоните.

И мы звоним. Дверь открывается — первой из нее робко высовывается пестрая болонка, тычась кудлатой головякой по нашим

ботинкам и изредка вскидывая на нас по-детски испуганные глаза сквозь буйную шевелюру нечесаного рокера.

— А я думал: будет один, — делится своими мыслями местный папа, выявившийся в дверном проеме.

— По одному сантехники ходят, а мы «скорая», — веско чеканит Горелов, и мы неторопливой колонной просачиваемся в квартиру.

В комнате давно усохшие астры на столике, ковры и еще ковры, санитары усаживаются за стол плечом к плечу, как в солдатской столовой.

В соседней комнате неясный топот и детские крики. К нам вошла мать с побелевшим лицом, пронзительно глядя на немного сникшего мужа. Она прикрыла за собой плотно дверь.

— Ну? — качнул головой Сычужников. — Что случилось?

Мать говорит с паузами, в паузах ее руки что-то поворачивают в воздухе, откручивают, меняют местами, опять завинчивают, встряхивают.

— Девочка наша... Маша... Школа с математическим уклоном... Почти отличница... Всегда обидчивая какая-то... Что не по ней, падает, кричит: ты не папа, ты не мама... Сказала: вижу черта... Жить, сказала, не хочу... Пойду возьму таблетки и отравлюсь.

Сычужников монотонно спрашивает про внутри черепное давление, утомляемость, сон, родовые травмы, глазное дно, Горелов критически оглядывает отца.

В комнату протискивается бабушка, кусает нижнюю дряблую губу и добавляет:

— Прямо катается по кровати. — И она пальцами зажимает губы.

— Ну, давайте посмотрим, — вздыхает Сычужников, и стул под ним мученически крикает.

Мама вслед за бабушкой ныряет в коридор, доносятся трогательные упрасивания, легкий топот проносится мимо, и клацает шпингалет.

— Закрылась в туалете, — объявляет бабушкина голова, просунувшись в комнату.

Сычужников шагает из комнаты, я застаю в дверях.

— Открой нам, Машенька, — причитает мама, глядя белую краску двери. Сычужников отодвигает ее в сторону и трубит:

— Маша, не надо бояться. Вот скажи нам: сколько тебе лет?

— Семьдесят! Иди отсюда!

С октябрятской звездочки, нацепленной на короткую школьную форму, на меня смотрит кудрявый Ильич, я трогаю разноцветные буквы магнитной азбуки и возвращаюсь на свой стул в комнату, из коридора доносится скучный бас Сычужникова:

— А вкусовые качества пищи не изменились последнее время, а, Маша? А нет болей в области.

Горелов тычет пальцем в сторону замершего отца:

— Тут вот вся психотерапия висит на поясе — ремень!

Грохает дверь, действие переносится на кухню.

— Самый лучший выход из этого: две пощечины! — твердо произносит Котовский. Он даже здесь не снял своей кепки и смотрит все время в окно, где красногрудая пролетарская птица снегирь терзает вывешенную за форточку авоську, порой подозрительно оглядывая нашу компанию.

Стены на кухне поутихли, заходит, упрятав кулаки в карманы Сычужников и поворачивается к по-прежнему ошарашенной маме, бегавшей за ним, как хвостик:

— Стационарировать смысла нет. Психоневрологу, конечно, надо показаться. Но вообще глаза у нее хитрющие. Когда смотришь на нее, глазки закатывает, ногами дергает, стоит отвернуться: уже подсматривает, что я делаю. Привыкла она, что вы так перед ней... Лучший способ: не обращать на это внимания.

На кухне что-то опять валится на пол, и бабушка истошно кричит, что Машенька потеряла сознание, и мама бросается на кухню, а Сычужников с непонятной гримасой смотрит на понурого отца и, наконец, отчетливо говорит:

— Из вас веревки вьют.

— Так ведь она падает...

— Когда человек падает — он падает. Он идет и — хлоп затылком об землю, а когда он по заборчику сползает и еще подсматривает, он не падает, это концерт. Поехали!

Мы выбираемся в коридор.

— Уже неделю не ест, — жалобно говорит бабушка. — Только соки и пирожные.

— Все правильно, — оживляется Котовский. — Так и надо. Только пирожные, никаких каш. И деньги ей все отдайте, пусть она их вам выдает.

С пронзительным ревом Машенька вырывается из комнаты и запускает в нас ложечкой для обуви, и мы уходим, оставляя двух наперебой хлопчущих женщин, похожих как две капли с тридцатилетним интервалом, не приметного отца и пеструю болонку, сфинксом сидящую в углу.

В лифте Горелов пыхтит:

— А при созревании вообще такой стервой станет. И ведь выйдет замуж, и муж у нее повесится!

Забираемся в машину, и Горелов восклицает:

— Бедный мужик и несчастный, это и есть трагичный судьба.

— Не такой уж он и бедный, — недовольно покрутит головой Котовский. — Что хотел, то и получил. Самый лучший способ: две пощечины. Вот на Сретенке мужик припадок выдал, даже судороги. Толпа и две «скорые помощи»: девчонки сходят с ума — колот, а ему все не лучше. Бабки чай несут и пожрать. А это наркоман. У него ломка, ему бы наркотик. Я подошел, пальцем в глаз ткнул — он зажмурился, значит, реагирует. Две пощечины врезал — он уже на ноги вскочил. Орет: «Ты что, козел?!» Вот и вылечил.

— Ему бы уколоться и залечь на дно колодца, — хохотнул Горелов. — Надо бы курить купить, сбегай, доктор, ты ж в халате.

Обедаем в пельменной. Пресные пельмени и черствые булочки, хрипло кашляет кассовый аппарат. К вечеру на улице метет, люди в очереди смахивают с шапок снег — молчим. Один Горелов успевает говорить:

— Мы ведь кто? Пожарные, спецназ! Только в первый день работы Съезда народных депутатов десять человек с Красной площади сняли. А ведь душа-то болит. Это ведь не аппендицит резать. Забираем мать, а у нее дети — как начинает причитать, эх, — Горелов идет за добавкой, а Котовский признается мне: — Дома никто не знает, где работаю. Зачем?

Метет уже вовсю, и куда мы едем, ведает лишь шофер, и все одинаково: темные толпы у остановок, важные, как беременные бабы, постовые, костлявые шеренги деревьев и машинное текучее стадо — куда...

Я просыпаюсь от того, что Сычужников ругается: в новостройках не сыщешь ни улиц, ни домов: наконец мы находим среди одинаковых, как пчелиные соты, домов свой — идем.

На этаже у мусоропровода покуривает мужик, из-под расстегнутой рубашки — майка, под глазами синеватые мазки бессонницы, он показывает: там налево, открыто. У порога молодая женщина — проходите, сюда...

На диване, наспех застеленном одеялом, разметав черные волосы, выставив отекавшие, слабо поблескивающие ноги из-под черного, траурного платья, лежит пластом пожилая женщина. Указательными пальцами она сдерживает рот — чтобы молчать.

Горелов быстро подходит к окну.

— Как зовут?

— Татьяна Сергеевна. Мама это моя.

— Татьяна Сергеевна, — зовет Сычужников, — кто вам запрещает говорить? Кто сказал вот так держать руки? Что с вами случилось?

В навалившейся тишине мне кажется, что я дышу, как паровоз, и начинаю пятиться к стенке, за спину Котовскому, не отрываясь взглядом от голых ног, которые шевелятся поочередно, будто нажимаемая невидимые педали.

— Всю ночь ходила. Ванну разгромила. Хотела уйти в окно, дверь. Кто-то ей сигналы светом подает. Кашпировского посмотрела — и началось. Я ему уже две телеграммы послала, — и дочь начинает плакать, муж, докурив свое в коридоре, слоняется по кухне, шаркая тапками.

— Татьяна Сергеевна, — Сычужников отрывает пальцы от крепко сжатого рта и усаживает женщину. — Посмотрите на нас, вы же меня слышите.

Горелов кивает дочери: готовьте одежду.

Татьяна Сергеевна открывает глаза. Она смотрит в упор на меня, и у меня уже пересыхает в горле от одной мысли, что она

сейчас что-то скажет. Дочь приносит одежду, Котовский вертит в руках сапоги, разбираясь: правый — левый.

— Кашпировский, меня видел весь мир?

Она проговорила это, наклонившись вперед, и все смолкли.

— Толик, теперь меня узнает весь мир?

Она говорит это, будто просыпаясь, мирно уложив руки на колени. Дочь уходит на кухню, у нее вздрагивают плечи.

— Я ведь делала все правильно? Мы заканчиваем сеанс? Да? Да!

Санитары склоняются к ней.

— Суйте ногу в сапог, — ворчит Горелов. — Вот так.

— Да! Да! Да!

Сычужников дает подписать дочери бумаги.

— Наша группа выходит на связь! Да! Да! Да! Нас — шесть.

— Будем пальто надевать, — командует Горелов.

Она вдруг выпаливает:

— Кто сказал?!

— Анатолий Михайлович, — врет Горелов, нахлобучивая ей на голову шапку, и ее уводят в лифт, я иду последний, переступая через детский велосипед.

На улице уже ночь.

— Одержимость. Как в средневековье, — оборачивается ко мне Сычужников. — На той неделе скрипачку одну брали, первичную, играла-играла, Кашпировского посмотрела — мать полезла душить. Синдром Кашпировского.

Больная в приемном покое — санитары уставились в телевизор, сестра ищет дежурного доктора, Сычужников уселся на лежак и поглядывает снизу на меня:

— Бывают и не такие острые. Процентом десять — пьяные дела. После антиалкогольных указов процентов на тридцать психозы упали, а теперь: все на место! Бабушки, дедушки звонят — старческое слабоумие, газом травят. Один дед вот такую пику отточил, чтобы мальчишку прирезать за то, что тот его лучами обсвечивал. Вот продлеваем жизнь — а как быть с этой жизнью?! И как вообще быть с этими людьми? Вы думаете, нельзя многих выписать из больниц? Я одним по-настоящему занимался — он двадцать лет до меня сидел в больнице, уже в эмбриональной позе лежал, я с ним год поработал — и выписали. А только надо ли? Куда их выписывать? Кругом озверевший народ, люди давятся в очередях, жить негде, работу дать никто не готов, ухаживать некому, да кто просто по-человечески отнесется? А-а, да что тут говорить? Их миллионы, их все больше и больше, сами плодим — а как им жить среди нас?

У самой станции дорогу машине переходит странная тетенька, которую тащат в сторону сразу семь убогих дворняг на поводках.

— Вот. Наверное, наш клиент, — хохочет Горелов.

Бригада торопится к телевизору досмотреть детектив.

Во дворе снег скрипит так, будто кто-то грызет капустный лист под черным небом с редкими звездными восходами.

Поскальзываясь на обочине, я догнал женщину, которую тащили вперед, натягивая поводки, облезлые дворняги, ее окружение — шесть черных и одна рыжая — немедленно вытянулось в моем направлении, изнурительно лая, я кричал ей, и она мне в ответ, как через дорогу:

— Живу одна. Муж умер. Мама умерла. Детей нет. Стали приносить собак — выхаживаю. Кому-то ведь я должна отдавать, хотя тринадцать рублей налога за каждую, а я ничего с этих денег не вижу. И сосед все на меня жалобы пишет, а они совсем не лают. Из милиции пришли, а они окружили меня и молчат. Я говорю: видите? Они же не лают дома!

Она была похожа на солнце, и поводки от нее тянулись лучиками, а потом закручивались косыми струями водоворота или устремлялись на одну сторону, как трава под ветром.

— Они ведь у меня все с тяжелым прошлым, плохой наследственностью. Вот Тютечка — такая нервная, сколько убежала от меня, пока не привыкла. Видите, как лают, поговорить не дают, обижаются. Слева: это девочки, а мальчишек у меня трое. Даже в отпуск из-за них не езжу. А это младшенький...

Младший был в синей фуфайке и робко жался к ногам хозяйки.

— Вот только сосед жалобы пишет, — горько повторила она, и тут ее Тютечка рванула из рук поводок и с захлебывающимся лаем пустилась вослед теленку сенбернару и стала кружить вокруг него, как настойчивая муха у распаренного коровьего бока, сенбернар осоловело оглядывался, а женщина, причитая: «Тютечка, Тютечка!», полезла через сугробы, уговаривая поспешить свою примолкнувшую братию и перетаскивая через трудные места младшенького в синей фуфайке на руках, она махала мне — не подходите, она при вас не вернется — и уходила, а я молча стоял, становясь частью синих теней, разбитой дороги, по которой, качаясь, спешила «скорая» с нахохлившейся фигурой на переднем сиденье, снег пускал редкие струи с ветвей после перелета задубевшей вороны, и куда ни пойдешь — везде была зима, и так далеко до проталин...

#### МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Прообразом доктора Сычужникова послужил Леонид Александрович Умовский. Я могу это раскрыть, не боясь ему повредить. Дежурство со мной стало предпоследним в его жизни. Придя домой после следующего, он умер. На 36-й подстанции редко кто доживает до пенсии.

И еще я обязан рассказать вам следующее: мы заехали во время дежурства к нему домой, в крохотную комнату в подвале, и когда мы собирались уходить и уже поднимались по лестнице, его ма-

ленький сын заплакал: он хотел показать нам свою машинку, но постеснялся, и тогда я спустился к нему, и он протянул мне свой грузовик, я сказал: это хорошая машина, — и сам не могу понять, почему вспоминаю об этом все время...

## КРЕПОСТЬ РОССИИ

Товарищи, постоите пить, поговорим же о вечном: о святом наследстве предков; о согревающей и укрепляющей основе народного бытия; о том, что дороже золота; о том, что насущнее хлеба и незбылемей Родины, — о водке.

От паскудства жизни хочется в ангелы — влететь через камин на заседание высшего руководства, вlepить пепельницей хрустальной в лоб кому поглавнее и утащить в метельную ночь, шепча ему в рыло, которое в пуху так, что аж за ушами торчит: «Хватит реветь. Чего ты тут высиживаешь? Полетели, хоть раз с народом выпей!»

И выпьем — за Валуйки! Это последняя русская крепость, дальше Дикое поле: козы да лисы, волки, выдры, лебеди, журавли; это первая русская крепость, здесь стояла таможня, и посольские караваны наряжались и чистились, приводя себя в божеский вид. Это земля, политая горючими слезами Меншикова, высеченного Петром на площади за покражу кур, и рожавшая генералов да маршалов, земля, не забытая ни одной бомбежкой и не обойденная ни одной сволочью, за исключением высшего партийно-советского руководства. Земля, которая пошла вспять, и снова граница под боком, и снова таможня, и снова вспоминают про герб с «кучей пирамидой покладенных яблок», хотя честнее на гербе поставить пол-литру, но если делать все по честности, то гербы русских городов смогут различаться лишь крепостью и литражом, и негаданное обоснование получит двоящийся в глазах российский орел, и правы, слов нет, предки, уговорившиеся выносить на щиты только закуску — кто чем богат.

И понятно, что именно в этих омытых водами Валуя и Оскола, любимых Николой Чудотворцем меловых холмах и щедрых землях бьет живая вода ликеро-водочного завода, разливается по емкостям песня, которая строить и жить помогает, сколачиваются путеводные костыли от колыбели до могилы, растут волшебные палочки, печатаются чудесные единые проездные, освящаются пол-литровые иконы, наполняются пол-литровые материнские груди, закрываются пол-литровые подозрительные трубы, ступают на снежок стеклянные, сияющие копытца российской хрипящей тройки — здесь водку делают!

В урочный час белая, как невеста, цистерна достигает валуйских пределов. Невесту встречают родители жениха — заводская комиссия и как бы независимое лицо от исполкома. Срывают пломбу и суют за пазуху цистерны прибор: не закис ли дорогой

градус? Есть ли заветные 96 и 6 при двадцати тепла? Есть! Он ли, зерновой, высшей очистки? Он! Завспиртами хватает невесту и увозит.

Жениха — валуйскую водицу, тем временем мутузят по фильтрам, помягче чтоб был. Начинается любовь: молодых сливают, мешают, кидают им сахара, марганца и еще кой-чего, гонят в три шеи чрез кварцевый песок, чрез уголь пережженной березы с разной скоростью: русскую — бегом, пшеничную — шагом, и — в доводящие емкости.

Лаборатория черпает первую чарку. Льет как бы в самогонный аппарат, но, наоборот, разлагает: тот ли альдегид, как там с сивушными маслами, какой эфир летает? Вроде порядок. И пахнет водкой. Машет тогда лаборатория белой косынкой: лей, не жалей! И водка тотчас потекла к заврозливу, а там разинули пасти выдраенные ершиками, ошпаренные щелочами да кислотами бутылки, с христианской неотвратимостью воскресшие к новой жизни или впервые призванные к святому служению — булэк! Машина — шлеп! шлеп! шлеп! — двадцать четыре тысячи колпачков в час — свердловский алюминий на ленинградскую прокладку — и растопыренной пятерней переворачивает бутылки под носом браковщицы: где муть или капает (слабодушные, бросьте читать), откупорить и вылить.

Этикетку — шмяк! В ящик из вологодских досточек — жаж! Пейте: «Русская», «Экстра», «Московская», «Столичная», «Пшеничная», «Андроповская» — 850 тысяч ящиков в год! И пусть земля перевернулась и ящики трещат, пропало золото с этикеток, не сыскать даже женой березы, и рисунок гостиницы «Москва» на «Столичной» двоится, как российский герб, пусть нету бутылки и заливаем в масляные, в пузатые «моськи» «с-под пива» и молочные фляги на 35 литров, но водка-то держится! Крепкая, мягкая, как стук кошечьей лапы, обжигающая, как взор любви, — валуйская водкахватила первое место на всероссийской дегустации!

Выпьем еще за державу! Все нескладушки родного края мирно уживутся, стоит назвать только общий учебник суховато, но точно: «Всероссийская дегустация». А дальше уже подразделы. Советская история в нынешнем газетно-гулящем виде вообще ляжет, как пьяный в канаву — тютельница в тютельку: пьяные матросы хапнули Зимний, возлиания сталинской банды, наркомовские «сто грамм» побеждают в Отечественной войне, удало гуляет брежневская ватага, Андропов — навсегда народный герой, чью благодарную память в народе не затмишь и тремя трезвыми нобелевскими лауреатами, жалко замахивается ручонкой на источник наших побед Горбачев и никогда уже не вылезет из мокрых штанов безвольного красnobая.

Наш путь меряется литрами, и лучший его вид — с горла бутылки, и я истово верю, что в пятилетних планах обязательно была секретная графа, где напротив каждой плотины, фабрики,



крейсера стояло, сколько за это надо поставить выпивки. Партия и народ, армия и народ, профсоюзы, комсомол, ветераны, рабочий класс, народная интеллигенция и крестьяне объединились именно в этом: одной шеренгой пили в подсобке, под валуйским мостом и в Кремле.

И сохнет рука, замахнувшаяся на святое, и женщины на судах начинают рыдать после мычания подсудимого: «Выпимши был...», и безродными побродягами выставляет себя кремлевская шпана, крикнувшая про народного героя Бориса Ельцина: пил он в Америке! Пил? — возмутился народ. — А мы что, нюхаем ее? Ведь не допьяна! Не так чтоб: один ведет — двое ноги переставляют. Не так чтоб: лежит не дышит, собака рыло лижет!

И кровожадные путчисты, гулявшие три августовских дня, когда равнодушно далекая от Москвы Россия горбатилась на огородах, ремонтах и полях, перекрикиваясь через забор: «Клава, кажись, Горбачева убили!» — даже они стали понятны и родственны, как только выяснилось, что все эти три денька закладывали без просыпу.

И сейчас только глянешь на потные вихры и заплывшие глазки новых наших умов, честей и совестей, как тронет сердце тепленькое: а ведь зашибают дрозда, бедняги! Запираются в кабинетах, плачут от страха и поднимают, и поднимают, лишённые того, чего не лишен даже пролетариат, которому опять нечего терять, но у него всегда найдутся пролетарии, даже из всех стран, которые готовы с ним соединиться ради такого дела. А как не пить, когда в стране, зажмурившейся на плахе под секирою цен, точняк перед Новым годом пропадает хлеб? Сколько товарищей сидело, седело и пило в эту ночь по кабинетам, кляня пап и мам, родивших их здесь, и матеря эту проститутку-ситуацию, которой никто по-настоящему никак не овладеет. И это Моисей смог увлечь своих евреев сорок лет таскаться по пустыне, ожидая земли, в которой течет молоко и мед, мы же пошли к коммунизму, но присели сразу же за первым бугром и врезались в сорок градусов, чтобы пропить все для облегчения пути, но себя самого, как известно, не пропьешь, а когда вожатые обернулись и прибежали нас заново звать: подъем, ребята, давите из себя по капле раба, побежимте сокращать инфляцию, — кого тут выжимать, если никто не просыхает и желает идти лишь за тем, кто зовет похмелиться?

Век назад завод всплыл как склад государственной водочной монополии. Брешут, что строили его итальянцы. И что у нас за наука: как что стоящее народится, так обязательно иноземца в папаши! Советская власть хапнула и кран завернула. Народ шевельнулся: а не примкнуть ли к Украине? Советская власть пояснила, что под ее крылом всюду — один хрен, то есть счастье, и есть задачи посильней: как раз управился помереть Ленин, и завод откупорили.

Цедили продукт «скрозь» марлю, руками качали, мешали веслом, мастер глянул в чан, известь — пых! — и глаз нету. Качество

пробовали на вкус. Коли каплю недоливали до полной — стояли и капали. На весь город воняли сургучные пробки. К станции тащились подводы, шарахаясь от редких машин. На заводе пили не шибко — утянут бабы пол-литру и после работы разопьют. Вынести пузырек стыдились. Заядлые были ударники. Водка стояла в каждом буфете и монополии — от шкалика до четверти. На все Валуйки тихо качались два горьких пьяницы, которым сонно улыбались милиционеры.

Закладывать окончательно бросились в год коллективизации: пропадай уж все! Старики только ахали, попы плакали. Но боялись, даже советские праздники отмечали по ночам, при занавешенных окнах, узким кругом. И в то время (я б в жизнь не поверил, хоть плкой мне в глаза, но так утверждает валуйский патриарх — Игнат Васильевич Нечаев) можно было встретить непьющего председателя колхоза! Вот написал — и самому даже неловко, какая-то народная сказка получается, н-да.

Партия рулила, и директорами на ликерку сажались либо опальные, либо пенсионные горкомовцы: руководить особо не надо, только подписывай, а место ключевое, ключ бьет.

В 1942 году свалился приказ эвакуировать производство. Нагрузили бочки на лошадей и поскакали к Дону, а там: повертайте оглобли. Подпер немец к Валуйкам, и герои подожгли спиртохранилище, чтоб не отдать врагу. Но опомнились и потушили. Прибежали толпы людей спасти народное добро — кто сколько мог. Армия тоже спасла, сколько лошади увезли. А остатки местный Герострат (Евтух его кликали) пустил вниз по улице к яру. Уймите вздох, не оскудела милость в руке Господней! Мужики Ахфонька и Конка Рублякины курили на лавке и прятали валенки прочь от откуда ни возьмись заструившегося ручья, и вдруг ветер пахнул им в повлажневшие глаза запах родных полей, верней, полянок: «Погодь, что-то не то течет...» Но ведь текло-то именно то! И они бросились за черпаками.

Немцы и их союзные прихвостни итальянцы не разгадали загадки русского сфинкса, и завод не дал ни капли. А как только фашистов разбили — какие себе хаты отгрохали на раз Ахфонька и Конка Рублякины, сохранившие в подполе заветную бочку.

Восстановили мигом: вынырнул завспиртами, появился заврозлив, гнали урочно и сверхурочно для победы «сотки» и «двести пятьдесят — четвертый номер», армия подвозила посуду и забирала припасы. Отвоевались, и начались строгости: проверки крепости, укупорки, но тут скончался Сталин и унес с собою страх.

Так нальем и выпьем за свободу, она приходит осенним утром, садится на край табурета и задумчиво смотрит на согнутые спины, на облетающую липу, чихает: «Ап-пчки... гад! Гриппую». И, сморкаясь в мятый, как рубль, платок, роняет: «Погода благоприятствует» — солнце золотое протапливает хмарь, и лица одушевляет улыбка, и два пальца тонут в кармане и слипаются, ощутив меж собой ветхую невесомость рублика, — давай!

По рублю! День рождения, с виновника — литр, а потом глянем. Вспашет тракторист, какой-нибудь Пазюк, свой гектар — председатель ему флажок везет, а кассир из портфеля — червонец. Трактор выпрягли — и вперед! Три бутылки! Пили фермами. Загудели знаменитые Дни животновода, в заключение которых мало кто из животноводов был способен хрюкнуть. Пленумы и конференции магнитом вклеи участников к любимому шестому пункту. Пятый пункт — «Разное» — исчерпывал повестку дня. Шестой — исчерпывал запасы водки. Первый секретарь навстречался областных гостей и не пленуме вдруг почувствовал, что может все! Кроме двух вещей: прочесть хоть слово из доклада и отцепиться от трибуны. Как он плакал потом в обкоме!

В сталинское лихолетье мужики выносили пузырьками в рукаве. Дамы — в прическах и... даже стыдно оказывать. Неделю таскаешь — вот тебе и на дрова.

И снова опрокинем — за свободу! Изделия запорхали через забор. Мужик курит в «Жигулях», часы пикнули, он — к забору, руки вверх, а в них уже два изделия. Грузчики носили ящики, как возлюбленных, и перевозили их к станции, как маму-старушку, — и хватали за горла убереженный «бой». Проводники бойкие торговали по пути и часть товара сдавали деньгами, проводники вялые, чтоб не уснуть, протыкали шприцами сургуч и восполняли вытяжки водой по вкусу. Работники торговли дарили труженикам ликерки кофты и джинсы, и теплыми вечерами к задним крыльцам магазинов тянулись сидоры, полные изделий, и глаза продавщиц круглосуточно улыбались старым друзьям, а руки их, вопреки законам физики, разливали пятьсот на шесть по сто, заботясь о мужицкой гордости: «Выпил — и хоть бы что!»

Не хайте и не хулите былое: мы настигли буржуев по вкусу и числу и натянули им нос по общенародности собственности и переходу населения за прилавок — в любом месте Валуек можно было хлопнуть в ладоши, и в твою руку немедленно ложилась пол-литра за рупь восемьдесят, за рупь двадцать при магазинной стоимости два восемьдесят семь (пишу и плачу), и так же радостно текло мясо с мясокомбината, молоко и творог — с молочного, куры и яйца — с птицефабрики, пиво — с пивзавода, семечки и масло — с маслоэкстракционного, с сахарного — сахар, трещали карманы и запасы, и так по всей Руси, эх, как жили бы, кабы не перестройка...

«Конечно, бывали случаи, штоб мы не хотели выпить. Но чаще бывало, што мы хотели. А еще чаще бывало, что не было за што. Был такой день. Игнат говорит: «Скоро День пищевики — сходи-ка на ликерку». Я надел самое просторное пальто. Иду к главному инженеру, а запах кругом — в глазах темнеет. Прошу: «Дайте фамилии трех передовиков для праздничной заметки», а он: «Пойдемте, познакомя вас с производством». «Да не надо знакомить! Фамилии дайте, да и все!» Ни в какую, повел: вот у нас конвейер,

а здесь мы стену долбили, а это посудомоечный цех (а меня там Игнат ждет, и у самого слюны во рту — не проглотишь), а это у нас сортировочные емкости, трубопровод. Два часа водил! Приползли в лабораторию. Тут он сказал: «Теперь можете взять, что хотите». Я блокнот захлопнул и возмутился: «Как мне лучше вынести?» — «Я постою у проходной». Я взял девять бутылок. И мы их с Игнатом уничтожили».

Кроме исторического соревнования с буржуями, завод клал всех в социалистическом, но «пьяный двор» стыдились вешать на почетную доску и на демонстрациях совали за трезвые спины. А завод гнул, то есть гнал, свое, замирая только от перепроизводства, перегнал по богатству мясокомбинат, и весь город знал, что завспиртами носит каждый день домой канистру, купил дочери квартиру, а жену его, что раньше бегала к кассе первой, в день зарплаты не дозовешься. Народ понял, что такое машины, надоело ходить пешком по гудку, и чужого на работу не брали, только: зять, кум, сват, брат. Чтобы обрести рай на земле — стать грузчиком и ходить все время «примерно в одном настроении» — пять тыщ. Водка по рукам течет, и, как сказал ветеран производства, «профиль такой, что спиться можно».

Фронтоников делили. Артиллеристов — на склад готовой продукции, танкисты — к завспиртами, он комиссаром был в танковом батальоне. Ну а пехота и саперы — в розлив.

«Михалыч, — это инженер мне шепчет, когда приходит новенький, — человек вот. Работать у нас хочет. Ты подведи его к этой жидкости без всяких страстей. Двое суток тебе».

Даю ему изработанный фильтр — чини. Снимает он сорок гаек, открывает. Бабы выбирают песок, ведро подставили, чтоб водка наземь не текла. А в фильтре — четыре декалитра грязной водки. Иду обедать. Бабам мигаю: гляньте, человек-то новый. Возвращаюсь — они кричат: забирай, вон на лестнице висит. А он ногой зацепился и повис вниз головой. Бабы, вы б, что ль, попрдержали, чтоб не убили! Снимаем его аккуратно и ложим отсыпаться в цеху. Расчухается, я ему не советую это производство. Лучше на кирпичный.

Но сам завод не пил — на праздник одна песня в лесу за скатертью.

Каждое утро, все мои шестнадцать лет, ровно в 9.30: «Бабы, стоп!», — у каждой под конвейером огурчик, и все — вот постольку. А я — кружку на сто пятьдесят, и на сковородке меня кусок зайца ждет. И жили все долго. Одну только с «четверкой» спирта прищучили на проходной, она дернулась: о плиту разбить? Ах нет, она углем топится. Оп! Выпила. Дома померла.

Про себя скажу: за жизнь пьяным был два раза. Раз: зайца на спор убил и от радости выдул две пол-литровые кружки спирта. Два: цех переносили на второй этаж, одиннадцать человек — бригада. Директор в конце дня ставил ведро водки. За двадцать дней перенесли — каждому пять тыщ.

— Ребята, — тогда сказал я, — поехали на вокзал в ресторан. Давайте хоть раз выпьем за деньги!

Взяли милиционера Мишку Полякова с Тимонова — вот столько-то тебе пятерок, охраняй! Таксиста Колю Девкина — будешь развозить. Заказали индеек, гусей, коньяка, официанткам — по пятьдесят рублей. Дома паника: привозит таксист одного за другим — даже свистнуть не могут. Остались я и кузнец. Вывел нас Мишка и посадил. Обычно я очень ровно хожу, а тот раз зашел — у нас ведро в сенях стоит — я головой прямо в табурет, под ведро. Понял: немного охмелел.

Ветераны «изделие» пробуют после каждого ингредиента: не шибко ли тянет грушевым листом? Раз в месяц приказом по заводу дегустация: химик, начлаб, заврозлив, завспиртами, бухгалтер, директор греют в руке бокал, нюхнут, прихлебнут, рот прополоскают, куснут колбаски — и следующий. Конечно, такую дрянь, как можжевельниковая 30%, никто пробовать не будет, пробуют любимчиков. Ветеранам любимчики снятся: хлещет из крана, а завернуть — никак! У ветеранов — рубль за год. Отработал тридцать лет — тебе подарок на тридцать рублей. И коллектив в ладошки бьет.

А на каждой смене мастер бежит наверх, в кабинете треснет арифмометром: отлично! И подымает над конвейером два пальца: взять по две. Нет плана — выключает рубильник и грозит в тиши: не смей! Сгорите, как шведы. Было время, спирт лишний лили в канализацию — за лишнее судили. Было время — сел править Андропов, и сами стали бегать на работу, ездить в отпуска с выпиской из приказа; тихие люди вдруг возникали среди бела дня у больных, парикмахерских, пивных очередей и трогали за рукав страждущих: а вы в каком народном хозяйстве трудитесь, товарищ?

И когда уселся Горбачев, все опять приготовились чуть-чуть походить строем, не зная, не ведая, что потянулась рука к выключателю, и померкнет белый свет.

Советская Русь подышала обычный старушечий век — за семьдесят. Да кто там трепанулся: «А если б не пила?» Да кто же поднял над нашей землей это похабное «если б», загубил — и века плевали на пашню, грамоту и рубль и сидели по чуланам, печам, гостиным, шалашам, библиотекам, кухням и съездам, ноя: вот если б вырезать царскую фамилию до последнего гаденьша, если б бар передуть, если б мужика понять, поднять, если б доброго монарха, если б не пили, если б взяли власть, если б не было немцев, поляков да и жидов, а если б нэп подольше и Ленин подальше, если б не Сталин, если б не война, если б не воровали, если б пространства наши поменьше, если б острова отдать, если б нам в рынок, а если б по-другому в рынок, ни один боярин, осрамившись, не заплачет: «Виноват. Не управился», — нет, он заржет жеребцом: «Задавили вы меня своей темнотой, а вот если б... Кстати, я-то карман набил, а вы-то землю будете жрать!»

Вся история топчется на «если б», любого, от Мономаха до Столыпина, за бороду и мордой в свои кандидатские корочки: «Что

ж ты, недоумок, вот так и сяк не сделал?! Если б сделал, я б знал, как сейчас жить!»

Погоняя это «если б», мы вперлись в бутылку, вылакали свою долю до стеклянного дна и, запечатанные, брошены в окиян заветным посланием и разеваем немые рты за стеклом: «Ловите нас! В нас силы несметные — если б кто выловил! По сто грамм бы на радостях!»

И царь Михаил, провалившийся в перестройку остатков жизни на тот свет, случайно начал с гашения последней радости — лампочек Ильича сорокаградусного света. Как и положено помирающей старушке, Советская Русь обессилела, врала, обещала: «Я ого как пойду!» — но ходила только под себя. И великая грусть тронула народы, застрявшие меж времен, краешком кружевного покрывала меж гробовых половин.

Завод чах. Усох в четыре раза выпуск. Оживал дважды в неделю. Народ расходился, задушенный зонами трезвости. Опустели бочки для соков. Этикетки свезли на Вторчермет. Во дворе гусеничный трактор давил бутылки. Запасы трав (82 имени трав набирали!) хотели отдать хоть в колхозы, да коровки зубровку и зверобой жевать не стали. Приказали: жгите! Жгли.

Директора потащили в столицу: ты почему двадцать ящиков дал сверх плана? Билет положишь! Значок депутатский сорву! Демонтируй завод! Сироп варить будешь! Директор вздыхал: заводу — век. Восстановить ни у кого ума не хватит. Сироп варили в заводских подвалах. Сироп — нарасхват. Народ из него самогон гнал.

Крестными ходами уныло потащились по городу «добровольные сдачи самогонных аппаратов». Как иконы, несли трубы, чайники, винты, тазы. Из собранного можно было собрать велосипед, укомплектовать банно-прачечный отряд, чайную и квартальную канализацию, но ни одного самогонного аппарата. Первый валуйский токсикоман пришел на заправку и свесил ноги в емкость о бензине. В руке бренчал спичками: тока подойдите! Грустно. Но кто мог тогда представить, что это было самое веселое из того, что нам предстояло?

— Ну, я пойду. Не болейте, дедушка.

А он встает меня провожать, очередной опрошенный свидетель девяноста лет, больше не встречу, хрипит:

— Весной думал: совсем выздоровлю. А тут — опять. Видно, пора-а... На тот свет. А та водка была несравненна. Рюмочку выпьешь — сразу слышно. Дыхание затулит.

Он знает, что будет, он там уже был, где нас ждут батьки, анархисты, Троцкий, атаманы, Гуляй-поле, пожары, бандит Баут и дочь его гулящая красавица Нюрка и ейный муж — пароходный капитан, убитый с ней в яблоневом саду, будет только самогон, и вообще все на «сам» — самосуд, самозванец, самосад, самостийность, самозахват, самозащита и, конечно, самооценка; и, даст Бог, кто-то переживет: увидит землю среди вишневых садов, уз-

колистых лозин, и меловых откосов, и колоколен, где весь город вечером гуляет вдоль дорог, сидит на лавочках, выпивает в павильоне, дремлет квартальный и еще — поют трубы и бьет барабан.

Кто-то дойдет, а нас ждет горелая, безводная пустошь — оглянемся с пригорка, напоследок вдохнув дурман родного разнотравья, вкусив ягодные поцелуи отеческих садов: прощайте, померанцевая, старка и охотничья, прощай, горький и вяжущий горный дубняк. Прощай полевая, стрелецкая и киевская ароматная и предел души моей — перцовка, с секирой и стрельцом на боку, по прозвищу «Человек и закон», прощай, кровавый перчик на солнечном доньшке! Не поминай лихом, южная и восточная, кубанская, любительская, славянская и анисовка, и ты, зубровка: о как же тяжело ты шла! Простимся, дай обниму тебя, могучий зверобой, раздавив которого в овраге, еле добрался до родного Басова охотник Михаил Иванович Макин и стонал неседавшей жене: «Бугай меня в овраге свалил!» Не плачь, спирт, ты — золото, но после тебя уходишь за горизонт, а мы, пока были живы, любили поговорить! Не забывайте, любимые жгучая сибирская и мягкая пшеничная — ты лучшая, мы думали, ты из хлеба, товарищи, долой последний миф сталинской школы историков: пшеничная лучше столичной! Снимаю тебя с руки, катись далеко, в счастливые времена, «Золотое кольцо», ты как любовь: приходишь так редко, что забывается твой вкус. Прощай, капитанский джин и сладкий шартрез. Пишите письма, аперитивы — балтийский, цитрусовый, морской и степной с тысячелистником и польнью, как обижали вы нас своим тридцатиградусным недоверием, призванным отбивать охоту, но только распалывшим кровь. Машу рукой тебе, имбирная горькая, пьешь, как лекарство, но никто не жаловался! Ходи прямо, сладко-кислый спотыкач, и прощай, желто-зеленый бенедиктин. Мы плевали на тебя, шампанское, ты — кобылья моча, только тебя не делали на валуйской ликерке, и что ты можешь против гордости валуйских архивов — рябиновой на коньяке?! Прощайте, петровская, яблочко, дар осени, ранет перцовый, клубничная и мятный, мешают слезы вспомнить всех, не провожайте нас, коньячные хрустального сияния бутылки, в которые завод разливал изделия перед Новым годом, простимся, родной, огромный, горячий и ледяной, спасительный пирожок на троих и запах собственного рукава!

Народ все понял и собран — можно идти. И когда бабушке приснился сон: ночью конец света, — прячьтесь от электропроводки и тикайте на слияние Оскола и Валуя, где у дороги нашли мужики когда-то икону Николы Чудотворца, население хлынуло в церковь, потребовало отключить свет, побегло на Украину, в лес с детьми и чемоданами, спало одетыми, доярки не вышли доить.

Но еще не пора, прядет еще нить Матрена Алексеевна Юхненко, жива ее прялка.

«Жили сусид с сусидом — собака не пробежить. Ни москали, ни хохлы, ни кацапы — николи ни билися. Спивалы «Катя-Катя,

купецка дочь», скрипка, Юхим грав у букало, та Кривой на балабайки. И ни чулы про комсомольцев. Як Ленин бул — трошки пустылы. Як люди зажили! Як заботылы! Подняли крыла, а Сталин ударил тади, и посыпались перья!

Выгнали с хаты. Сынив загнали канал строить: кай кум Сталин купається. Щавель ели, у рику лазили — раков ловыли — усих повыловили. На работу тильки што ходыли. Побьем воши, да идэм до дому — получать у миску. Триста двадцать чоловик сдохло с голоду. Чоловик шел, упав и неживый. Мати умэрла. Мы с сестрой вырыли яму, без гроба. Укрыли свитою, та закидали землей. Вот так заслужили власть, та крепили не».

Включился телевизор: головы суверенных государств разевали рты, как снулые рыбины на прилавке.

«Сейчас дури богато, гибнуть як куры от водки. Отцы — не. Хиба ж вин будэ пить — яму ж плуг вести. Дури богато, капиталисты позалазили у руководство и давят доси. Скольки хозяев, а путного николи. А я баба стара, да негожа».

Сморило, так и не прочухал, что сказал г-н Кравчук про единое культурное пространство. Так живу и не знаю: разрешил сохранять иль нет? Прошу извинять за «г-н», нетрезв, не сдержался.

Если б трезвый, я б нашел народу выпить. Унюхал бы партийную казну, нащупал бы ключик от каменных погребов стратегического запаса. На случай войны, чумы, наводнений и ливней не злато и не курево там, что у нас может быть за пазухой, кроме главного? Стоят бесконечные эшелоны прозрачных изделий, и два вагона с чебуреками — сюда!

Мы бы выпили и достигли столиц, где президенты, «первые в истории выбранные свободным волеизлиянием», вернее, «волеизъявлением», решившие, что мы их уполномочили, то есть послали на три буквы, а именно — СНГ, и мы бы пали на колени перед тронем и зашептали нетвердыми устами: это провинция пришла, вы нас уважаете?

Это та провинция, где ни шагу еще не ступили за столицами с апреля 85-го года, где висят переходящие красные знамена и план — закон, выполнение — обязанность, перевыполнение — честь, где Ленин — на значках, площадях и в сердцах, где можно купить творог, молоко, мясо, яйца, ватрушки, водку, где правят председатели колхозов, которых на выборные собрания вносили на руках, а старушки крестились и клали поясные поклоны, где средь бела дня горят фонари, где на район раз-два фермера — и те собрали арбузов меньше, чем посеяли, где «прадається стол палированный и кравать никелевая с пансирной сеткой», где только нездешний, отдав мелочь, спросит у водителя билет в автобусе, где мужик за тысячу кирпича готов вступить в любую партию, хоть лесбиянок, где местный радикал-демократ вдруг бухнул письмом в датский город Вайле с предложением сотрудничать в благоустройстве валуйской грязи. Это провинция, где живут в родительских домах, подумайте над этим. Это провинция, не бе-



лая, не черная, а живая. Именно здесь был построен развитой социализм общей спайкой, спойкой и распределением — кто откуда несет. И это пьяная, но крепкая жизнь, с которой изначально мешались русские, литовцы, украинцы, немцы, и это вы на Манежной площади можете спеть, как мы были несчастливы в застое. Здесь, где деревня — рядом, где помнят землянки и голод, эти песенки не слышны. Здесь столичная болтовня и манифестации казались выкрутасами акробатов под куполом цирка: забавно, не слышно, непонятно.

И вдруг — как сорвалась стонная махина и посвистела сверху вниз, принесся страх. И эта жизнь вдруг поняла, что становится воспоминанием, как только базары стали длиться полчаса и еле трогались с мест автобусы на Харьков и поезда на Москву: всегда сытые москвичи хлынули за мясными тушами. Как только партийные хлопцы, только вчера закончив коллективизацию, вдруг заорали, глядя в тайные грамоты: «Смирно! Приватизация!» — и тихо, быстро, умно стали хапать все что пожирнее и погуще, как только границы отделили сына от матери, огород от хаты и от грубых таможенников зачесались кулаки, как только мне начальник дорожно-строительного управления признался, что жалеет, что не стал командиром подводной атомной лодки: если резня, у него — палец на кнопке, ну какой там козел его сможет продублировать?

И только здесь стали понятны провидческие возгласы народа в ответ на бойкие самокритики первых поездок генсека: «Да все у нас хорошо. Лишь бы не было войны!» Только здесь понимаешь корни повального отделенчества: куда угодно, с кем угодно, в какой попало век, лишь бы подальше от чумной, зарвавшейся, запыхавшейся, слепой, истеричной столицы, для которой Россия — это Пушкинская площадь и две сотни говорунов.

В России никогда реформы не упреждали кризис. Сначала два века жгли усадьбы, потом давали свободу. Неужели первая попытка реформ на сытый желудок и умную голову приведет к красному петуху, развалу в пыль и триумфальному возвращению красного флага, который не даст протрезветь никогда? «Уходим в бытность», — сказала мастер розлива валуйской ликерки. Столица равняется по собственному носу, думая, что душит Вандею. Вандея непобедима, она прочно выросла, уже и не поймешь, где кожа зада, где кожа кресла, где кожа лица. Жестоко торопясь, мы обижаем Холмогоры, которые могли бы отправить в путь Ломоносова, не слышим Нижний Новгород — Кузьма Минин уже Москву не спасет, гасим вифлеемскую звезду, лишая себя пророческого слова.

А ведь живы мы, пока прядет Матрена Алексеевна Юхненко. Пока пишет краевед Михаил Иванович Сухоруков письмо наследнику престола: надо бы монастырь Валуйский восстановить, он ведь к трехсотлетию дома Романовых. Пока садовод Петр Сыпков, вырвавший килограммовые груши и персики, спит и видит, как бы

достать у директора садоводческого института семян малины с ягодой в спичечный коробок. Он этому директору уже и три бутылки валуйских изделий из портфеля случайно доставал, а тот — никак. Пока стоит хатенка на Пролетарокой, 15. Двести лет. Вся перекосилась. Скоро завалится. Пока нищие наши старушки, обмороженные в очередях, голодающие и забытые, плачут кружком у телевизора: жалко-то как Горбачева, небось пропадет теперь, бедолага. Всех готовы пожалеть, все привыкли отдать, хрустнуть безвестно под очередной столичной машиной.

Господа президенты, не гнушайтесь словом замочившего рыло, и цари слышали юридивых, а я вас очень уважаю, только мутит, когда ваши певчие журчат: «Первый в истории президент! Первый всенародно избранный! Первый свободно избранный!» Советский народ выбирает из жалости, бездумно, как на общественную нагрузку: он в тюрьме посидел — выберем его на царский харч, а вот он — наш, в троллейбусе ездил, жена его по магазинам «руки качает», в поликлинике лечатся районной, выберем его, пошлем в Москву Ваську — хоть жене сапоги купит! По каким маршрутам щелкают усами те троллейбусы... В каких магазинах давятся за водкой те обычные жены... О наша юность... О простота!

Господа президенты, ваши проценты даренные, бездумные, на халяву, они легко расступятся, когда придут люди с длинными ножами, ваш южный брат уже убедился в этом. Кому какая разница, сколько народу голосовало за Ивана Калиту? Лечился ли у повивальных бабок Петр Первый? Кто выбирал Екатерину Великую? Каким был по счету Александр Освободитель? И в каком буфете питался всем ненавистный Ленин? А как трудно будет присесть хотя бы у ножек этой вечной компании, хоть бы небесные тапки пронести вслед, когда не будет подпевал и трудно будет сыскать такой микроскоп, чтоб разглядеть: а чья это вот тут подпись стоит под казавшейся вам бессмертной бумажкой?

Я очень за рынок и буржуизм, я только выпрашиваю, чтоб реформы не делали бронетанковые войска, которые палят из пушек, жуют шоколад и тушенку и глядят в подзорную трубу: как там получается? Я б просил, чтоб, выйдя поголовно из народа еще раньше, чем из партии, вы хоть иногда заглядывали бы обратно: как там народ? Ножкой дрыгает? Узнает своих? Есть ему чем зубы смочить? Я б мечтал, чтоб иногда к вам подводили живого человека ближе чем на пятьдесят метров и чтоб этот человек что-то говорил.

Царисты, угнетатели народа, ей-богу, были доступней. Читаешь, как революционные ребята бомбили и резали вельмож, заранее зачитав им приговоры, и знаете, что умиляет? Место происшествия!

Царь с собакой гулял по Летнему саду. Князя Кропоткина отловили, когда в карете с бала ехал. Кровавого прокурора кончали в момент прогулки по набережной! Главу III отделения собственной его величества канцелярии (по нынешнему, как бы

КГБ) так вообще зарезали на Михайловской площади, и убийца коньки нарезал! В губернатора Трепова Засулич стрельнула на общем приеме, попав на него, уже побывав в лапах жандармов! Столыпина — в театре, в антракте, у оркестровой ямы! Забавно, верно?

И — хоть бы разок: вы, пожалуйста (я с мужиками на ящик спорил, сделаете — пополам!), не на вертолете, а на третьей, багажной полке общего вагона Москва—Валуйки, в темноте, пыли, без одеял, с пресным чайком и вонючей лужей в туалете, доберитесь до Валук, войдите в город пешком, без роты охранников, без трибуны, телевидения и «если б» на устах, просто дойдите до очереди, снимите шляпу перед скорбными лицами и попытайтесь прошептать: «Вот и я. Это я, мужики. Налейте мне!» И посмотрите — нальют?

Примечание для читателей. Автор не пьет. Цены приведены по старому летосчислению. Примечание для валуйчан. Статья основана исключительно на сплетнях, слухах и домыслах и действительно не соответствует.

От автора. Я бы очень хотел, чтобы наследник престола прислал денег для Валуйского монастыря. Деньги используют с умом: восстановят монастырь, построят дюжину дач для начальства, и, может быть, хватит даже на хатенку по улице Пролетерская, 15.

В Валуйках умеют жарить семечки — и с маслом, и с солью. И тот несчастлив в жизни, кто не может сидеть на диване с горячей горкой семечек на газете и тыкаться поочередно в два кулака: брать и сплевывать. Семечки — первое дело в нашей удивительной стране, где можно совершать путешествия, не сходя с дивана, и однажды посреди жизни узнать, что ты еще вчера помер.

Я шел через площадь, снимая шелуху с воротника, отдирая от себя лица, подаренные мне людьми, забывая голоса, на площади стояла елка, шел каменный Ленин, пылал Вечный огонь, за горком торчала церковь, в ресторане гулял народ, а в церкви пели, но сильный дул ветер, и поэтому, кроме «Господи, помилуй», ничего разобрать было нельзя.

## НОЛЬ ЦЕЛЫХ, ШЕСТЬ СОТЫХ

Конечно. По мне этого не скажешь. Но в свое время я еще был здоровым: не спал на эскалаторе, не «мансарда» говорил, а «массандра», иногда отрывал взор от пола и любопытствовал на противоположный пол — шесть соток, как и всякий каюк, подкрались исподтишка: «всем нарезают, а я в стороне?», да еще захрипела под ухо доброжелательная рожа: «Бери — продашь. Земля не дешевет!» — зимой, изумляя лыжников и распугивая зайцев, промесив версту по снежной целине, я отрыл из сугроба ржавый щиток с числом «двести одиннадцать» и вдруг дико зыркнул окрест, обжегшись наступившим безумием: мое это — это мое! И понеслось,

попрыгало — фундаментные блоки, накладные, ригели, каркасный брус, пиление ольхи под иноземный шепот: «Гляди — зажмет и хренакнет!» — «Чего ей, хренакать? Ты веди на скосы, не задирай вишь — играет!», и смертный озноб при виде тела ничком под шиферным штабелем: «Вам плохо?» — «Не, я шифер считаю», и мешки, емкости, арматура, новые, вылупляющиеся нули после цифр в графе «Итого», и сволочное ругательство «ссуда!» — через полгода я застал себя изгвазданного в глине в половине девятого вечера в семидесяти километрах от дома, четвертым в кабине крана на базе автомобиля «Урал», мотающегося от обочины к обочине наискось потому, что пьяный водитель Коля промахивался мимо рычага и попадал на соседкину коленку и сразу валился вслед за рукой, — я затесался в колоду.

И нет мочи обороть болезнь, но я рискну набросать ее черты и видимые причины явления племени «шестисоточников» — смятки, образовавшейся на челе России от лобового знакомства социализма и буржуазности. Прежде прочего: о племенном прозвище.

Шестисоточники, по своему душевному нездоровью, поддались государственному внушению и называют себя «садоводы», хотя садов почти не растят, а если и воткнут в глину четыре прутка с ярлычком «войлочная вишня», то в последнюю очередь, и плодов этой груши им при жизни уж не вкушать, посему: «шестисоточники» — звание точнее, то есть: обладатели шестисот квадратных метров поверхности, хотя и есть в этом именовании печальное дуновение, свойственное, впрочем, всем русским словам, вобравшим в себя библейское число «шесть» — «шестимесячный», «шестисуточный», «шестерка», «шестидесятник», «шестилапый», «шестиконечка» и другие.

Итак, тронем повадку и масть.

Шестисоточник упоенно советует — почему? Потому, что хватан, снаряжен казной сведений и домашнего горожанина положит одной левой, ибо осведомлен, что гвоздь «пятидесятка» равен длиной спичечному коробку, газовые баллоны в Лианозово менять разумней после двух, уровень промерзания почвы — метр сорок, а если животное из комнаты с табличкой: «Завсклада» — правит ваш грузовик перед загрузкой на весовую, то не глупо при взвешивании лечь в кузов и накрыться брезентом, выгадав лишние сто кило, а если вы хотите превратить в человекоподобное существо стропальщика кирпичного завода или отпускаящую цемент в строительном управлении, не забудьте вашу волшебную палочку так обернуть в газету, чтобы пробка осталась видна для точнейшего прояснения — это не самогон.

Богатый не рухнет на шесть соток, ему хватит гектара на Кипре, и шестисоточник получает свой клочок-заплатку как штамп «нищета», хоть и взбадривается двумя мечтами. Первая: построю, поживу, не понравится — продам. И еще вторая: построюсь — буду отдыхать, пить чай с заветной чашки и бить оводов на волосатой груди. И первое вздор, да и второе — несусветно.

Такое в сказках достоверно — «вложить деньги», «а через какое-то время продать» — трясина вкушает человека, и спустя год и помыслить нет возможности о продаже первой и предпоследней собственности, последняя будет еще мельче: метр на два. Да и как можно продать лоскут Отечества, политый твоим потом обильней, чем дождями, просеянный, удобренный, памятный от удара доски по башке до рокового шага на ржавый гвоздь?

Да и в каких пределах, в какой баснословной неметчине выдуманно «поеду на дачу, отдохну»? Наше племя ездит работать: корчевать, пахать, уродоваться, муздыкаться, уходить в лес и в чаще раскапывать еще делянку, наш труд — здесь, а не за теми пыльными окнами, где мы отдыхаем пять дней и ждем выходных, околованные сладостью впервые гнуться лично на себя и осуществленной мечтой: получать из кассы, но не работать; в общем — шестисоточник не может остановиться, пока не упрется в могильный крест, да и негде ему передохнуть: сарай и нужник он выстроит, а дом — никогда-никогда. Труд обеспечивается фронтом работ, а отдыху подавай культуру — воду, свет, обои с разными цветками, занавески и телевизор — откуда? Мы ж сами строимся, урывками, отпусками, никто не тянет за нами газ-воду-свет, никто не вручит через полгода ключи от человеческого жилища — нищета, мы сооружаем шалаши, лачуги, и те — никогда не дождутся ума. Годы спустя дотянемся до крыши — а уж фундамент треснул и просел, мы-то конечны, а стройка без конца, и хоть вслух безысходность стараний своих шестисоточник не признает и не огласит, рассудком отрицает, но чутьем-то постигает вполне — из этого-то признания, как из сытной кормушки, пьтается, растет и кустится следующая черточка племени: злобливость, воинский задор.

Неспроста племя признает лишь военно-полевую одежду, его дух закален сельдевыми давками электропоездов и мечтами засунуть матрас с раскладушкой в стиснутую автобусную пазуху наперекор понятному: «Куда лезешь — тут люди стоят, а он лезет!» По правде, мы признаем, что не являемся людьми, поскольку, посягнули на большее, чем положено обычно проживающему и умеренно пьющему гражданину, а большее желание означает зависимость от большего поголовья быдла, в чьи двери шестисоточники скребутся, имея согбенную спину и бумажку на подпись, — племя ненавидит чиновно-бухгалтерский люд, шоферское загорелое отродье в майках с глубокими вырезами и золотыми цепками на груди и насмешливым обращением «командир», а нас, в обратную, терпеть не могут туземцы осваиваемой местности, склонные винить в похмельных муках, кромешности погоды и замке на магазинных воротах в первую голову зеленых «крокодилов», понаехавших тут.

Что ж еще? Есть и стыдная черточка; бедность — гадкая компания, она научает воровским песням: за честные деньги не выстроишь даже сарая объемом в телефонную будку — и шестистоточник,

прекращая трудиться на рабочем месте, начинает с места этого изымать, открывая непостижимые запасы ошметков социалистической экономики — все видимые вами когорты, легионы, армады ломаных крыш, избушек, хибарок, хатенок, лачуг, натканых тесно вокруг всякого русского города, заложены и возведены не из купленного в нашей упонительной стране, которая может показаться иноземцу состоящей решительно из одних полочек потому, что про каждую вещь чаще всего говорят «достали» — руку протянули, а вещь лежала на полочке и дождалась.

И способность «достать» равная у каждого соплеменника, различная лишь в месте охоты: не всякая контора богата обрезными досками или рубероидом, что и вызывает подчас межплеменную рознь, выраженную воплем на соседскую крышу: «Понакрыли крыши железом, вместо того чтоб самолеты делать!» — с этой сторонки шестисоточник строго государственный муж и патриот, его идеал — держава, где каждый сможет достать вагон хвойного бруса, шестьдесят кубов, и оттого столь не свойственное нашему племени унылое мечтание покрывает наши лица при виде груженых лесом товарных поездов, и, кто знает, быть может, только недостаток лошадей и красной материи для ленточек на папаху сдерживает кучкование и выделение из шестисоточников абреков, махновских ватаг и выход на большую железную дорогу — увидим еще.

«Достают» поголовно, я, по глупости, измучившись думами о сравнительных достоинствах новоиерусалимского, волоколамского и голицынского кирпича, отправился по улице и задавал владельцам кирпичных строений невинный вопрос: где кирпич брал? Ни единая душа не ответила! И каждый спрятал глаза. Но вы, любезный читатель, коль вы еще со мной, не забывайте: доставанье — промысел нищих, и, сколь ни надрывайся, вдосталь не нахапашешь, на замысленные «шесть на шесть» не хватает, и, потому живет племя в строительных вагончиках, фургонах армейских радиостанций, распиленных вагонах электричек, гнилых автобусных кузовах, а к ним пристраивает и приделывает, подтверждая, что Россия — обратная сторона человечества: там богатеющее народонаселение выходит из трущоб, а у нас — заходит, и погрязает.

В своей стороне, островке племя блюдет чистоту взаимных расчетов до последней скобы, гвоздя, горсти цемента и локтя туалетной бумаги, что не избавляет, увы, от бешеной подозрительности и в метке своего материала разными красками, у меня еще картинка имеется в запасе для подтверждения напряженности нравов.

Этим летом, слишком дождливым, я в пять утра потащился провожать своих плотников на ранний автобус — ночной дождь расквасил всю округу, — насилу вылезли на косогор среди тишины полей и сумрака едва разбавляющейся ночи. И уселись на сваленные бревна, чтоб стянуть сапоги и снарядиться в годную для автобуса обувку. Мы сели, а из куста пугалом вскинулся дядя с дрыном:

— Какого вы тут рожна высиживаете, ехидные морды?  
— Что ты, отец, кидаешься — сели люди переобуться.  
— А я думал: бревнам моим хотите ноги поприделать.  
— Да брось ты, кому они сдались, тут на три километра кругом ни одна машина не доедет, иди спи!

— Ага. И я так думал. Неделю назад три шпалы привез, двести метров до участка не доехал. И свалил. Три списанные, гнилые шпалы, одни шепы торчат. Ночь переспал — уже нет, и дядя вновь опустился в кусты. И задумайтесь, сколько ему так сидеть? Пока подсохнет дорога. Пока умолит крановщика. Пока сыщет и умолит шофера. Пока соединит кран и грузовик и умолит дождь — горькая доля единственной собственности!

Имеется и похвальная черта — общинность и вытекающие из этого простота и короткость в обращении меж соплеменников. Покоится сие на общих бедности и заботах, страданиях от «каждый прыщ из себя начальника строит», и хоть селятся шестисоточники чаще всего среди своих же сотоварищей по городской службе — жизнь племенем зализывает должностные различия, да и какие различия штатного расписания уживутся среди переживших эпоху непостроенных туалетов, когда одна девочка, побежавшая в поле за бабочкой, выгоняла из ржи дюжину сконфуженных товарищей, да и какие церемонии, ежели с крыльца преотлично видать, кто раздет, кто нетрезв, а кого жена метелит.

И я не откажу племени нашему в телесной мощи, произошедшей от оздоровительного влияния тяпки и ведра с навозом, но душевная начинка шестисоточников — агонии русского народа в конце века — безумие: как на ладони. Как дважды два.

Это очевидней, ежели размотать клубок и добыть кончик ниточки: государь Никита Хрущев еще шпынял и зуботычил приусадебные хозяйства, но уже государю Брежневу сатана напел в уши: не тужи, бровастый, демон Энгельс писал «идиотизм деревенского труда» — покроши народцу земли, обещанной большевиками, и сможешь из народа веревки вить. Так и вышло. А потом еще лазили под пивными столиками слеповатые любомудры, шупали ладошками кафельный пол: ох ядрена корень, а где ж оттепель? Куда протекла? Только ведь хлюпала в сандалиях. Не могли ж бесследно впитаться бурные, болтливые весенние потоки? Могли! — оттепель впитали и похоронили шесть соток. Тогда, правда, давали по четыре с половиной.

Дьявол науськал Брежнева: ежели желаешь учить животное, не корми его досыта — кидай по кускам; урок услышали и усвоили все последующие цари колена Иосифа — сталинские подколеники, подлокотники, подножки. «Сотки» сулили все, включая сводных братьев Горбачев-Ельцина и самозванца Янаева: дадим земли, продолжая беззвучно — «и похороните себя заживо», ибо «сотка» — размер гвоздя, способного приколотить к месту трудолюбивый народ и заткнуть ему глотки: кто останется митинговать-голосовать, ежели на картохах вылез колорадский жук в волосатой зековской

пижаме, и самое время с фашистской ухваткой пометать его в банку с керосином и потешить себя сожжением на меже горки вонючей падали.

Ну конечно, ссылка народа не в Сибирь, а в Нечерноземье, сначала имела и зерно правды: непогода травит колхозные урожаи, так что — вот вам огородики, кормитесь сами, но рядом же пало зернышко безумия, ибо цари отделили дом от огорода — запретили строиться всерьез, позволялись лишь будки немногим более собачьих, и всякого строителя время от времени манил пальцем скучноглазый товарищ и после демонстрации алой книжечки спрашивал квитанцию вон на ту вот дощечку — даже самым ретивым сушило мозги. Огородник — да, позор для державы социалистического сельского хозяйства, но он еще не безумие, когда в ста метрах от дома, но когда огород отполз на двадцать, пятьдесят, сто, сто пятьдесят километров, ничуть не прибавив в размере: прежние шестьсот квадратов, и на каждом углу пели, что это главное завоевание, достижение и счастье, — тогда безумие пересилило пользу и расцвело — и толпы ловились на эти жалкие крошки хлебного мякиша на стальном крючке, не чувствуя унижения и горького смысла этой подкормки — больше не будет, не успев понять, что размер этот не годен ни для работы, ни для отдыха и отрезает нам путь к дедовским гектарам, а для чего ж нам всучили эти клочки — слушайте дальше, на что они годны.

Что же вышло? Вышло, что живейшая доля народа перестала работать, начала воровать, с радостью опускаясь до первобытно-общинного натурального хозяйства. Люди начали кочевать, все больше уходя в призрачный шалаш, безысходные постройки, махнув на дом и страну. Так плюс к кремлевской России вспухла Атлантидой, градом Китежем и выросла Россия шестисоточников, нищее Дикое поле — кочевники его засеяли, отстроили и обнаружили, что верховная русская идея — иметь свою картошку на всю зиму наконец-то осуществлена, последнее хождение в народ завершилось успешно, пора рубить проклятую смычку города и деревни и отплывать в свой шестисточный мирок, беспартийный, и безбандитский, и бескагэбэшный.

Цифра шесть, душная цифра шесть застит будущее, если б когда-то дрогнула партийная рука и начертала б «пятнадцать», вся русская история двинулась бы другой тропой. Шесть соток слишком малы и слишком далеки, чтобы строить дом. Шесть соток слишком малы, чтобы развести серьезное хозяйство. Шесть соток слишком застроены, чтобы их скупали богатеи: какой дурак отважится купить землю, с квадратного километра которого придется корчевать полторы тысячи бетонных фундаментов наивных надежд? Шесть соток слишком малы, чтобы разделить их между детьми, да и дети уже увидели по телевизору настоящие сады и настоящие дачи, и деревенская кровь уже не стучит им в висок, и посему шестисоточники обречены на тихое, безумное вымирание в очень преклонном возрасте, обозначив неумолимую



судьбу совершенно всего, что начинается в России с большей свободой, с чуть большей волей — так загибалась перестройка, так вырождается в идиота и вымрет рынок, и земля очистится для других племен.

И это верно, что дом похож физиономией на хозяина, на его челе читается судьба, и если с горы глянуть на тесные, как пчелиные соты, участки, кривые, разномастные, жалкие домики тык-впритык, то холодеешь; больше всего это похоже на кладбище и годится лишь для этого, только и всего. И оставшаяся нам, на долю нашу песня безумия поется так: прошу похоронить меня в родовом поместье, участок двести одиннадцать, садоводческое товарищество «Березки», посредине меж дорогой и туалетом, под войлочной вишней.

## ДЕВУШКА С ГУДКОМ

*Посвящается медсестре Ане У.,  
санитарке Маше Щ.,  
быстрым ездокам,  
ранним ныряльщикам,  
девочкам,  
мечтающим броситься с балкона  
от несчастной любви,  
всем любившим или знающим  
светлое чувство поцаслышке*

Жил я до армии бедно — медицинские науки меня не обогатили. Покатался в «скорой помощи» и вылетел: измотали разъезды, торговля возбуждающим раунатином носатым товарищам из при-базарных гостиниц, да и пить я мог самое большее с обеда, с утра — не выдерживаю я таких моментов, ушел санитарить на кафедру, в мединститут.

Я ездил от кафедры на метро до института Склифосовского, а там выменивал на бутылку спирта учебный материал. Головы вез в авоське. Для подготовки занятия по теме «Кишечный шов» брал древний, едва скрепленный клейкой лентой, изоляцией и веревочками чемодан, запиравшийся единственным замком, размыкавшимся внезапно без всякой причины, — более всего я страшился вывалить кишки среди вагона.

Раз меня дернул милиционер: союз помоечного чемодана, сонной рожи и коротковатых брюк его настораживал — «Стойте! Чего в чемодане?». Я показал. И четыре часа прокуковал в отделении — дежурный дозванивался на кафедру и не мог ни черта понять: доставившего меня милиционера рвало, как только он пытался произнести хоть слово.

Завхоз мне спирта жалел и сопровождал сам казенную бутылку с базы, но у шофера глух на светофоре мотор, а я в кузове тем

временем отливал госимущество в два пузыря: шоферу и себе, для оплаты учебного материала, — складно жилось.

Но сперва обозлился на меня кандидат наук за свою бесценную собаку: он на ней десять операций сделал и засунул протез на место желчного протока, получился уже не пес, а диссертация доктора наук, а тут псина за ночь перегрызла привязь и поутру задурила через дорогу во вьетнамское посольство. Кандидат, я и дурак аспирант ворвались в белых халатах на территорию суверенной державы, обрастая попутно схватившейся за пистолеты охраной и разгоняя враспынную малорослых дипломатов, сделавших из страшной картины погони за шавкой трех докторов и вооруженной милиции единственный разумный вывод: пожаловало бесенство!

Угрозами, шепотом «на-на-на» и обломками кирпичей собаку вынудили вернуться восвоеси, но гавкающая диссертация нырнула меж прутков в зарешеченную яму подвального окошка и там скулила, металась и нюхала мусор в углу. Лезть надо.

Кандидат и аспирант взглянули на меня. Я, бормотнув «вот уж хрен», достал три спички: потянем. Короткую вытянул кандидат и залез под решетку, пока я бегал за шваброй в туалет. Кандидат приказал: по знаку я сверху загоняю собачку в угол шваброй, а он хватает.

По знаку я наступил на решетку, и она провалилась! Собачку — насмерть. Кандидат три месяца ходил, буквой «зю» и от меня отворачивал морду. Но уволили меня попозже.

Зимой машина перестала забирать трупы из анатомички на сжигание, негде уж ступить: ящик на ящике. Ну, мне сказали: сам жги. Я вроде все пожег. Землей забросал, что не стгорело, а потом вот наступила весна, сплывила снег — и завкафедрой наступил у ворот на чью-то голову. Тут же меня уволили. И в предармейские времена я устроился дорабатывать в больницу, на пятый этаж, к спинальникам, сдав вступительный экзамен глухому пожарнику, кричавшему, что любит «порядок, а не пародию», а я кричал, что знаю, чем отличается огнетушитель от бензоколонки, и не забуду ни в жизнь обязанности третьего номера пожарного расчета, обязанного подкатывать койки с больными к грузовому лифту, — меня взяли, там я влюбился, и там я узнал страдания от любви.

Спинальники, пятый этаж — все народные названия, а по документам, кажется, вот так: отделение нейрохирургии, комплекс травматологии — видите, не забыл; а еще запах не забуду — спинальника легче легкого упустить. Родственники прозевают один день переворачивать своего горемыку с боку на бок — так за год пролежни не вылечишь, а пролежни широкие, как тарелка.

Дежурства я сдавал бабе Кате — в палатах она ныла: то ее сожгли, то обокрали — и клянчила деньги, вещи и за клизмой не попиналась, пока что-то не падало в ее лапку; а меня гноила как зря: «Ты у нас культурный, ты сыр ешь», — а вот с доктором

Петровичем я задружил. И таскался за ним даже на трепанацию черепа. Ничего диковинного: санитарка выбривает лезвием голову, зажатую особыми тисками, больной не чувствует. Больной в коме, ему час назад по башке лопатой треснули, и теперь пострадавшее место протирают дезраствором, обкалывают новокаином. Подрезают и отдирают лоскут кожи — он здорово смахивает изнанкой на пережаренный блин. Счистив пленочки с черепа, Петрович берет коловорот и буравит дырку, тут главное — не провалиться в мозг. Набурил — и специальной лопаткой доламывает и глядит: попал на гематому? Нет? Ежели нет — ломает дальше кусачками. В общем, ерунда на постном масле.

Пятый этаж не гинекология — ни побазарить, ни потрогать кого-нибудь в углу, народ скучноватый. Во-первых, черепники — избили, подрались, с лестницы убили, со стула, жена скалкой саданула — помирают вдруг. Сами спинальники отходят чаще в реанимации — облегчение для меня: не надо резать трусы и ночные рубашки, выпроваживать родственников и что-то им говорить, перетаскивать на каталку, надрываясь; в реанимации кровати с колесиками: ноги завязал только — и можно сразу везти в холодильник.

История спинальников, история их переломанных позвоночников небогатая: «множественное авто» или «падение с высоты», последние свободные времена добавили еще «огнестрельные ранения». Мужики бьются по пьяни и лихости, машина — кувырком, а водитель — об крышу, об руль, об крышу, об руль. Бабы — почти сплошь малолетки — из-за любви: он кого-то обнял, а она, дура, на глазах застолья шагает за балкон. И ни одна дура, я точно помню, в реанимации не сказала: «Ах, зачем вы меня спасли?» — все радовались, все светились: «Я буду ходить», — читали книжки о чудесных исцелениях, молились, качали мышцы гантелями и гириями, «заряжали» воду, хватали доктора за рукав; но проходила весна, и лето, и осень протирали глаза, и вдруг замечалось, что в палате есть люди еще, и позвоночник их сломан также, и лежат они годами и выписываются лежа, и вот тогда-то: никогда не встану. Я никогда-никогда не встану. А очень скоро могу не быть совсем. Вот тогда-то улетают со стен плакаты культуристов, а с тумбочек иконки, губы забывают улыбку, и появляется особый взгляд за окно, и нехитрое, но неподвижно-свинцовое раздумье запечатывает рассудок, и начинают рыдать по туалетам ухаживающие неотлучно родственники от несправедливых обид, от мух, тараканов, ржавой вечерней рыбы в холодном пюре, от ночевки в одной кровати с больным, от многомесячных готовок на кухне с единственной работающей конфоркой, подарков врачам и бегства от комиссий, выметающих родственников из отделения, от жалости к детям, брошенным на случайных людей, от далекости жизни и близости смерти — над покойным родные не плакали. Отмучился. И они отмучились. И нынче свободны догонять взрослых вдали детей, наверстывать счастье, настичь жизнь, сбежав с пятого

этажа, — ясно, да. И спинальникам ясно, да, но жизнь на отпускают, даже такие: с высохшими ногами, ступнями, отеками синевой, — некуда уколоть, а все же — жить.

Помню только одного, кто захотел умереть. Я его понимал. Только подойти не мог — глаз его боялся. Просил колоть ему лекарства девчонок Машку или Аню.

Особая статья: бродяги и психи. Диву даешься: привезут какую-то рвань с пробитым затылком, открытой формой туберкулеза и тремя видами вшей, несмотря на штампик, проставленный заранее в каждой истории болезни: «Педикулез не обнаружен», а завтра дядя уже сидит, ногами ходит и достал курить, и ущипнул Машку. Отчего живучесть такая? Весь же проспиртован — может, поэтому?

А психи прыгают невредимо с любого этажа, знакомый мне Вася позвоночник сломал только на третьем полете из больницы имени Кашенко — глухой, как пробка, я каждое утро орал: «Вася, я тебя укушу! Почему хлеб и огрызки в кровати? Ты за каким «утку» на простынь вылил и в нее окурков напхал? Зачем подушка в ногах?!» А Вася доводил медсестричку Аню, возвышенное явление, холостое, как патрон. Пациенты Аню кадрили, кто как мог, — кто градусник прятал, кто цветочки дарил; шведы, придя в себя после увиденных железных шприцев и решеток на окнах, шлепали ее с хохотом по заду и дарили валюту, кто-то юлил: «Какая вы изящная, Аня! Наверное, мало кушаете. Посидите со мной. Возьмите меня за руку». Но Вася ухаживал хитрее и интимней всех: вытягивал у себя катетер и клал на подоконник.

Ежели спинной мозг перебит, никакие желания туалетные человека уже не тревожат, спасают клизма и катетер, а раз в три дня еще моется мочевого пузырь теплым фурацилином — так что у Васи катетер каждый день под рукой: вынимает и кладет!

Анечка ныла: «Товарищ Шульгин, вы зачем так делаете?» Вася радостно расплывался: «Я сам не знаю. У меня его кто-то вынимает. Засуньте мне его обратно».

А главное — на пятом этаже никогда не произносить «смерть», «будущее» и не выслушивать исповедей. Выслушаешь — очень обязывает: запомнишь и потом вспомнишь, переживать начинаешь, ежели худые дела; в груди заколет, когда помрет, — ну его, так сил на всех не хватит, а тут еще охватила любовь, совсем не до разговоров — поддежурства сидел на подоконнике, уставясь через двор на окна реанимации: как там доктор Митрофанова? Медсестра Машка шипела: «Глаза не сломай». Машка и сама была очень, ее баба Катя осуждала: «Подхватываешь мужиков», — с хорошо пьющим хирургом с соседнего корпуса у нее постоянно совпадали дежурства. Машка не могла пройти мимо, чтобы мягким не задеть, колени ее постоянно расталкивали лбами халат, и когда она нарядилась в тельняшку и прошла по пятому этажу с такими изгибами и верчениями, что черепник-моряк с атомохода пробурчал: «Давай меняться: мою фуражку на твою тельняшку. Выглядеть

будешь не очень, но хоть фуражкой прикроешься», — но полюбил я все-таки по-настоящему доктора Митрофанову.

Моя любовь Митрофанова имела тридцать пять лет от роду, ребенка мужского пола и супруга неинтеллигентского ремесла и была, что называется, «девушка с гудком», то есть со спины смотрелась крайне основательно и прославилась тем, что сорок минут качала больному искусственное дыхание, а он все равно помер. Злословили: задавила насмерть!

Работа нас соединяла, если только кто-то в реанимации «двигал кони», — тогда и дышал в ее наливную шею, пока она выводила в сопроводиловке: «Зубов желтого металла нет», — лениво смахивая мои лапы: «Да отлепись ты». Я ставил себе дежурства на ее дни и, раскидав дела, возникал в реанимации или один, или с бутылкой сухого, поерзывал от переживаний, затрагивал важные темы: «Муж, говорят, ваш уехал. Доктор, скучаете небось?» — или долбил ее румяную твердь собственноручными стихами на разные темы, которые непременно съезжали к одной: «К ней под глаженный халат так рука и просится, а из ближних из палат бред больных доносится»; писал я здорово и читал также, не отрывая взора от нижней пуговицы распиравшегося халата, но тщетно — ничего за мои чувства не выдавалось: спала Митрофанова в каптерке со вторым доктором, выйти в коридор на пару слов не желала; страдал я, мучился ночи без сна, сочинял новые стихи в бесценное предармейское время, света белого не видел за не стираемым из самого заветного уголка души образом коленок, кругловатых, как дыньки.

Тем временем ближние люди умели вскапывать райские грядки! Доктора мигали санитаркам: «Заходи после ужина — поболтаем», — или хмурились: «Так. У меня к тебе есть очень важный разговор». Лифтер доставал из-под своей кушетки недорогую поллитру для важных разговоров, вручал доктору, и дверь ординаторской захлопывалась, скрывая радостные секреты. А Машка перед ужином звонила своему хирургу в соседний корпус, если того внезапно не «проводывала» жена, и я трескал заодно с влюбленными жареную картошку, сосиски, помидоры, грибки, чокаясь шампанским; хирург сыто уползал, Машка, убравшись, звонила ему: «Вов, ну, я иду», — и пропадала до семи утра, чмокнув меня в губы, оставляя на подокознике любоваться окошками ординаторской, за которыми моя любовь ковыряет в носу и ходит руки в потрясающие боки, подрагивая «гудком». Отчего же я не как все? Отчего так неуспешно обжигающее чувство мое? Где? Как?

Нет, «где» — как раз понятно. Я сплю в коридоре на каталке — так там невозможно: каталка катается, по коридору таскаются полудночные курцы и неурочные искатели отхожего места. Лучше — в процедурной. Если ее днем убрать, капельницы задвинуть в угол и застелить кушетку одеялом — узко, правда. В сестринской удобней — там диван. Но как? Как? Позвать купаться ночью на пруды? Для купаний надо ждать лета, а летом я буду купаться уже в

солдатской бане, и женское общество вокруг будет состоять из дикторши программы «Время» и Родины-матери на плакате. Подышать воздухом весны, ловить майских жуков на лавочке во дворе, под стеной холодильника Митрофанова не пойдет. Как?

— Не мучайся, — придумал доктор Петрович. — Я с тобой пойду. Скажу: у меня день рождения. Извольте на чай с тортом. Сам спущусь в приемное. Ну а ты валяй дуй, наяривай, тусуй, ага?

Петрович — ну хитрая же собака! Мы в феврале с ним дежурили и получаем от милиции страшную весть: вам с сотрясением мозга сию минуту доставят особо опасного бандита — задержите его, очень просим, до прибытия группы захвата. Только трубку телефонную опустили, а уже из лифта за старушкой из приемного вываливается амбал ростом и шириной, как парадная дверь, он, даже сидя, выше Петровича. Я даже сглотнуть не мог, а Петрович пролепетал: «Я тебя отпущу, сейчас ты уйдешь. Только давай-ка я тебе укол сделаю, чтоб душа моя не болела», — и закатал ему две ампулы мочегонного: «Посиди минуту и можешь идти». Да он и минуты не высидел! Группа захвата еще полчаса у туалета ждала — он никак выйти не мог.

Надежда окрылила! Ночь провздыхал и промечтал, а день вышел сухим, теплый ветер принес церковные колокола, я сунул два пальца лифтеру под нос: «Две, розового муската», — и тот заверил: «Будет!» — а глупая Аня испекла Петровичу на «день рождения» пирог. День завязывался из тонких ниточек: на утренней поверке в холодильнике не отозвалась колбаса — третья палата дулась на родственников, родственники грешили на черепников, а я знал: лифтер вынул закусить.

Машка вела допросы и шарила по тумбочкам при содействии усатого мента, подселенного к нам из забитой под завязку ортопедии; мент с первого мгновения волочился за Машкой хвостом, не уставая переставлять костыли и загипсованную ногу, а вечером пыхтел: уморился — и звал Машку в уголок, она хохотала в углу.

Колбаса не нашлась, хотя шкурки, вытащенные из урны, расположенной наискось от лифта, и утренняя мрачность лифтера давали следствию козыри в руки.

— Чё грустная? — кивнул я Ане, схватив «утконос» — сетку из проволоки: в ней в жизни носят яйца, а на пятом этаже — пузырьки мочи на утренний анализ, и шагать надо, как отличник строевой подготовки, чтобы не расплескивать. — Живот болит?

Анька нахохлилась пуще: запоматовала и вылила пузырек черепника-моряка с атомохода. А моряк сдавать больше не желает. Обиделся. Кричал.

— Ну, ты дуй в лабораторию. — Я сунул ей «утконос» и заявился в палату. — Здравствуйте, товарищи!

Моряк сидел у окошка, качая башкой, забинтованной навряде хоккейного шлема. Спинальники шевельнулись, похрипели или только смежили веки.

— День какой, — сказал моряк. — Как, думаете, мои дела?

— За ночь четверо ласты склеило. Я думаю, вы пятым не будете. Петрович говорил: скоро домой. Чего мочу жалуете?

— Я жду жену. Смотрю, как пойдет. Должна прийти в красном. Хотела в зеленом. Я говорю: нет. Придешь в зеленом, не пущу. Ей лучше в красном.

Жена его — приятная такая, учительница; он смотрел, и я любовался весенними просторами: крышей холодильника, стенами станции переливания крови, двумя опиленными деревьями и — главное — окнами реанимации: за ними смотрела в нашу степь моя Митрофанова, еще не зная, что моя; я улыбался: счастье мое, любовь моя, скоро ночь, у Петровича день рождения, какой-то малолетний придурок носился вокруг холодильника на велосипеде, таща по лужам серебряные вожжицы брызг, сказать бы кому!

— Знаешь, — вдруг произнес моряк, — все бы отдал. Чтоб на велосипеде, — негромко сказал, чтоб не казнить спинальников; я для разрядки предложил:

— Книжку какую-нибудь притащить? Чё вы не читаете ничего? Моряк прошептал:

— Никто не читает. Вы не можете понять. Никому нет возможности сосредоточиться. На чем-то, кроме себя. В нашей жизни происходит самое серьезное. Что может быть. Самое важное. Ничего не осталось. Одна прямая дорога. Все, что может быть на ней, ясно. Остаются только шаги. Ты идешь или назад, или вперед. Вот, наконец-то, идет моя жена. Я вижу — моя жена, она в красном. Все, что мне осталось. — Он словно поперхнулся.

Я подумал: хвастануть ему про Митрофанову? Нет? Тут привезли первого ныряльщика по фамилии Локтев.

Май начался — сразу купаются, сразу ныряют наугад и ломают шею. Лучше б не выныривали. Ныряльщики — наихудшие из спинальников: живая только голова, только говорят. А Локтев еще оказался толстый.

Анька подседа шептать о своей любви спинальнику-грузину. Если такая дура, что влюбилась в спинальника, то ж лучше в шведа бы! Пришлось с Локтевым мордоваться мне: он что-то сразу ослаб, кровообращение плохое. Жена, дочка и сын хнычут под руку.

Я весело позавтракал с буфетчицей Клавкой, шутил, а она пускала счастливые слюны на собственные немолодые кулачки, — снова меня вызвала семья Локтевых. Подошел: что? Голова болит. Трудно дышать. «Я боюсь умереть». Он боится умереть. Ну что. Да нету ничего страшного. Все будем делать, как врач прописал.

Я побежал в реанимацию поздороваться.

— Позже приди, — отмахнулась моя Митрофанова. — Мужика привезли, говорят: из Кремля. Чё ты красный такой?

Сегодня узнаешь.

Спустился в ларек и купил сигарет Петровичу, а на лестнице меня заловили взволнованные Локтевы. Он кого-нибудь зовет, а никого что-то нет.

Слушаю. «У меня болит живот». Так. «Руку мою сюда положите. Нет, не туда, сюда. Еще чуть, немного так. И голову поверните мне. Благодарю. Болит. Мне трудно дышать» — твою же мать! Я отцепил Петровича от телевизора. Петрович поспрашивал толстого нырлящика и только мне объявил:

— Да оставь ты его в покое. Месяц еще проживет.

Я обратился к Локтевым с речью:

— Нету ничего страшного. Так бывает, ничего. Поспокойней вы себя ведите, не надо дергать меня без толку. У меня еще вон сколько народа. Капризам его не потакайте, с самого начала не уступайте, а то намучаетесь потом, воспитывайте, понятно?

Через полчаса пятый этаж во главе с операционными сестрами усталился в конце коридора в «Богатые тоже плачут», я вот только-только стул из буфета принес для себя — опять Локтевы! Чего не спится?

Ему трудно дышать. Толстый, гора, жарко ему, потеет, хрипит. Я вколот эуфиллин. Спинальные побросали бычки в консервные банки и перевернулись на удобный бок, чтобы устаться прямо в меня тусклыми мигалками. Ну как? Лучше дышать? Один черт. Говорит:

— Дышать все равно трудно.

Ох, я скуки ради звякнул из ординаторской в реанимацию: может, подыметесь, тут у меня один...

— Ты что, с елки упал? — ответила Митрофанова. — Мы шокowego принимаем. И «Богатые...» идут.

А Локтев вскрикнул и дальше начал покрикивать — в палате все заткнулись мертвую. Только он вскрикивает. Я сделал еще укол. Посидел рядом, да чего ж я здесь буду высидывать: пошел в коридор, из операционной орала доктор, пытаюсь оторвать от телевизора операционную сестру, а она не шла. Что-то душно и в коридоре, я опять набрал реанимацию, только повторил свое, слышу: Локтева-жена и Локтева-дочь заорали уже что есть сил.

Я влетаю: что-то совсем мой Локтев задыхается, губы прыгают — он на меня даже не посмотрел. Хватит кричать! Я схватился щупать пульс — пульс есть. Тут голова нырлящика дернулась, дернулась — изо рта брызнула вода, даже хлынула, Локтева будто рвало водой, я отдернул руки и тупо оглянулся — на пол, на постель лилось, спинальные закрыли все разом глаза, отворилась дверь, впуская реанимацию, Митрофанова уже от дверей пропела:

— Чего ж ты звал, когда уже все?

— Как все?

Реанимация повернулась и ушла — невероятный вид сзади, прям хоть следом иди и трогай, иди и трогай.

Жена Локтева тронула мне рукав:

— Подождите, как же так? — И уже сквозь рыдания: — Как же так?

— А вот так. — И я вышел, и кино кончилось. Петрович спешил по делам.



— Ты какого хрена сказал, что он не умрет?

— Да все равно бы помер.

Тогда нырлящика я свалил на Аньку и спрятался в ванную, хоть руки вымыть — все рукава мне рвотой своей замарал Локтев, — а кто там плачет за стопкой разобранных кроватей? В ванной плакала моряцкая жена в пушистой красной кофте. Родственники выплакиваются обычно на лестнице, сестра-хозяйка ключей от ванной не дает: она бутылки тут хранит.

— И чего такое?

— Славик в меня кинул кружку — такой злой, людей не постеснялся. Из-за ерунды, такой ерунды! Вспыхивает каждую секунду, а я даже показать не могу, как мне сейчас...

— Вы ж все понимаете.

— Да он просто так любит сильно, дня не может без меня, и знает, что моя жизнь без него остановилась. Думаем только друг о друге. Вслух не говорим, но понимаем, а говорим все о чем-то, обижается из-за мелочи, это просто любовь так...

Долго говорила, мне ж неловко сказать: уйди, мать, дай подремлю до обеда на наволочках со старым бельем, таким товарищам нужен слушатель. У нас такой Юрик был. Ездил водителем на мусорке, глядь: с дома девять пышная дама выносит ведро, сама в легком халате, он побибикал — улыбнулись, сдружились, зажили с легкими драками за распитием. Зовут ее Люда. Впервые тяжело разругались после гостей, топали через парк и в подпитии спотыкнулись о заборчик и завалились в кусты — вдруг Юру охватила страсть, он бросился вперед, под танки, а Людка ему туфлем по лбу — шмяк! Она мне потом растолковала, что именно ее оскорбило: «Представь, до дома идти пять минут, а он тут захотел!» Воспитание его отставало — дважды сидел за разбой, и, ежели складывал кулак, на пальцах читалось срамное слово.

Под следующую ругань Юра влез на подоконник: «Щас прыгну». Людмила не смолчала: «Ну и прыгни!» Он сиганул с седьмого этажа и с пересадкой на тротуаре приземлился у нас на пятом, а Людка следом устроилась сестрой-хозяйкой, чтоб ухаживать и плакать рядом с ним. Да недолго: ругались, он то ревновал, то подлизывался, то у меня требовал яда или: «Нет, я передумал. Лучше я повешусь», — то Аньке говорил: «Хорошая ты девка, женился бы я на тебе, если б был здоров». Людка пропадала, он засыпал голодным, но кричал: «Я буду ходить! Своими ногами. Спорим?» Весной Людка вышла замуж за повара-ложкомойника, летом Юра на коляске начал пропадать из больницы, приобретал бутылку и ввязывался, сидя, в разнообразные драки, и — сгинул. Говорят, побирается на Москворецком рынке, живет у баб каких-то, Петрович видел его лежащим мордой в лужу.

Я смылся от рассказов гулять, семью нырлящика уже спустили рыдать в приемное отделение и заодно оформить бумажки, Анька опять приклеилась к грузину — его оперируют завтра.

Если спинной мозг порван, значит, беспросветно. Наши умники пытались нерв из голени класть на место разрыва и ожидали срастания — ничего не выходило. Мозг только больше отмирал. Петрович плевался: «Все равно что бульдозером чинить ручные часы».

Девочку Катю, сломавшую себе позвоночник из дурусти, показавшейся ей единственной любовью, профессор просветил: «Мы тебе, милая, сделаем операцию. В день нерв вырастает на два миллиметра. Разрыв у тебя — семь сантиметров. Вот и сочти».

Катя черкала дни в календаре и тихим вечером порадовала Петровича: «Завтра я встану на ноги!» Петрович опешил: «Как?» — «А мне профессор вот что сказал». Слезы, крик, уговоры не прощаться с жизнью с помощью вытребованного психиатра.

Полегчало после операции на моей короткой памяти лишь одному монголу — операцию ему сделали больше для успокоения души, обещали: через полгода начнем еще электростимуляцию. Вдруг на следующий день (на следующий день!) к Петровичу заявился монголов брат и заявил: ему много лучше. Петрович едва подхватил упавшие с морды очки и переспросил: что-то вы сказали, повторите, пожалуйста? Брат по-нашему говорил туговато и незнакомые слова произносил совсем без гласных звуков: «Я не знаю, как это по-русски... Но мой брат прдт». — «Как?» — «Прдт!» — «А-а...»

Петрович страдал целый месяц, «прдт» просилось на язык в самый неудобный момент. Приехали академики с инспекцией: «Вот больной, ему провели операцию, а какой эффект?» Петрович себе рот затыкал, чтоб не ляпнуть: «Больной прдт».

Ближе к вечеру Петрович посещал палаты — я отправился следом, а он мне поведал:

— Помнишь девку, на мотоцикле долбанулась? Вчера мне призналась: проститутка, что только доллары берет. Но, по-моему, это у нее мания величия. У нее такое лицо, что можно показывать гиперсексуальным людям, чтоб они приходили в норму. Ты когда-нибудь видал гнойные угри на смуглом лице?

На тумбочках валялись ломти хлеба и крошки, в раковинах стояла, не уходя, мыльная вода, спинальники едва повертались навстречу обходу.

— Доктор, я домой хочу.

— Странное совпадение: я тоже хочу.

— Я буду ходить?

— Все будет зависеть от твоего состояния.

— Это моя мечта...

— А моя мечта, чтоб нейрохирург перегнал по зарплате уборщицу метро. Пока денег хватает только на обеспечение унитаза.

— Тут у нас бабка шарит по тумбочкам...

— Бабка, будешь шарить — тебя девки побьют.

— Доктор, как мои дела?

— Знаешь, три волосины на лысине — это мало, а три волосины в борще — много. Так что — все относительно.

Моряк сидел в обнимку с женой: глядели друг на дружку молчком, как впервые, он только поправлял ей волосы на лбу.

Я побежал, отыскал лифтера, и он меня не подвел, я укутал две бутылки в выклянченный у сестры-хозяйки комплект свежего белья и полетел в ординаторскую: разложил диван, вымыл стаканы, шторы сдвинул, попробовал настольную лампу — работает — все готово. Здесь будет Митрофанова. В животе заломили радостные предчувствия.

Сестры курили с ментом на костылях. Машка воспитывала Аню:

— Ты хоть понимаешь, что грузин твой бесперспективный? Ты что, девка, собираешься? Вот он в Тбилиси уедет, а ты?

— И я поеду.

— И замуж пойдешь?

— Пойду.

— Так он же не может ничего, как же это самое?

— А мне этого не нужно.

Машка плюнула и отвернулась, Аня пропищала менту:

— Вам не нужен щеночек? Тут у нас Найда из приемного отделения опять родила.

Мент вздохнул:

— Я, Анечка, сам — такой кобель!

Я счастливо обернулся на Петровича, он кивнул: пойдём, пойдём уже — и добавил:

— Девушки, лежит мальчик в третьей палате, Колпаков фамилия, я там написал: сотрясение мозга, колоть пенициллин. Не надо ничего ему колоть. Это мой мальчик, он от армии қосит.

Мы отправились в реанимацию, Машка погрозила вслед:

— Петрович, опять напрописывал капельниц? Я тебе усишки повыщипаю!

В реанимации чуть не вышибли двери — так стучали, высунулась сестра:

— Нейрохирургия? Надо звонить. Митрофанова велела закрыться и сидеть, как и нет нас. Мы гуляем.

Гуляла реанимация, отгородясь ширмой от больных и ухаживающих, и жарко пылала красными рожами: на столе негде локоть приземлить — одни тарелки, самогон пили из бутылки с надписью «Физраствор». Петрович говорил Митрофановой в ухо, она кивала, но не глядя на меня, смеялась:

— Нас тут Кремль звонками изнасиловал: как состояние их мужика? Я прям их послала далеко и надолго. Они взвились: кто говорит? А я: вам кратко или полную биографию? Они: кто? Я: дед пихто! И бабка с пистолетом.

Я думал: какие же волосы у нее под колпаком, Господи, никогда ж не видел ее без колпака, качались у меня перед глазами ее округлые руки, пахнувшие сладким, важно не дать ей напиться, хотя б до такой степени, чтоб по лестнице можно было вести, вдруг она тронула меня:

— Отгадай загадку! Днем жует, а ночью плавает. Что такое?

От слов, губ ее, рук и глаз я уж сидел дурак дураком, ничего в голову не шло.

— Даже не знаю.

— Вставная челюсть.

Дверь выломалась с жутким треском, я оглянулся и оторопел: за моей спиной выросли четыре мордоворота с автоматами в синих ментовских бушлатах. Петрович насунул выше очки, но они снова съехали по вспотевшему носу. В реанимации стали слышны хрипы и бульканья помирашек и доходяг.

— Сидим. Отряд милиции особого назначения, — пробасил мордоворот поглавнее. Вперед него выступила сухая баба с обезьяньей челюстью и прочеканила:

— Так, ну и с кем я час назад разговаривала по телефону? Повторяю: с кем я говорила? Я же обещала, что все равно узнаю. Так, а что за молчание? Что ж, милиция выяснит личности. И факт пьянки также зафиксирует.

— Никакой пьянки, ужинаем, — выдавила Митрофанова незнакомым мне голосом.

Неожиданно за ширму влетел чей-то ухаживающий и завопил:

— Сын. Скорей. Мне кажется, он умирает! Ну! Бегите! Ну!

Все взлетели, а Митрофанова вдруг заорала:

— Медсестра, срочно физраствор больному!

Догадливая сестра подхватила бутылку самогона и унеслась с ней в неопределенном направлении, а Петрович под шумок изложил старшему милиционеру разницу меж нейрохирургией и реанимацией и необходимость нашего присутствия на дежурстве выше этажом, в крыле напротив; нас перекрестили и отпустили, и я с подоконника своего с мокрой спиной и сухими от горечи губами наблюдал: милиция переписывала присутствующих, вывозили покойника, проверяли персонал на наличие алкоголя в крови, приехал главврач, первые слезы: как же так, Господи, ну как же так, мой день — и так!

— Парень.

Я обернулся к двум разодетым кавказцам: вам-то чего?

— Мы уходим. Со своим не можем больше сидеть. Вторая палата, знаешь, с пробитой головой. Посидишь ночь, не отходя, все ему подашь, поправишь — получишь бутылку водки.

— Две. За всю ночь — две. Но тогда не отойду ни разу. На совесть.

— Ладно. Но тогда — на совесть. Чтоб лежал, как в раю.

Они пожали мою руку и отчалили, а я причалил во вторую палату: товарищ метался, как на сковороде, требовал есть-пить и посыпал матом сквозь бинты, ничего не соображая. Я вколол ему успокоительного, закинул руки за голову, привязал кисти старыми наволочками к спинке кровати, ноги раздвинул и ступни таким же макарон примотал к другой спинке. Товарищ, потрясенный неподвижностью, напрудил в постель, я пожелал ему не простыть и отправился спать, тяжело вздыхая, такие дела...

Свет потушил в коридоре и разложил по каталке одеяло. Лифтер заволок в лифт старую кушетку, через минуту в его гнездышко порхнула буфетчица, лифт стронулся и застрял наглухо меж этажами: спокойной ночи. Подкралась Машка:

— Ты никуда сегодня не идешь? Дай свою бутылку.

Она скрылась в процедурной, подхватив под руку матрас, за ней простучал костылями мент с загипсованной ногой. Анька подседа на кровать к своему грузину, за руку взяла и ворковала: операции на надо бояться, операция поможет встать. Петрович в четвертой палате глядел с узбеком на видео порнографию. Узбек подбегал звать и меня:

— Сядем посидим. Гляди: там мужик с курицей делает. Подохнет ведь курица или нет?

В темном буфете прижались тесно моряк с женой, чему-то улыбались, а я гробом пластался на каталке, захлебываясь тоской, простившись навек с радостью, как жить теперь под черным, тяжким и жестоким — хуже мне не было уже никогда. Вот сейчас вспоминаю и опять худо. Время уходило.

Кто-то внятно простонал. Я приподнял башку и послушал: из какой палаты? Стонет с каким-то придыхом. Сейчас распахнется дверь и позовут. Не зовут, а стонет неслабо. Ясно слышно: агонии, кончается человек.

Я слез с каталки и отправился на звук, как по запаху: где? Тормозил у каждой двери — не тут?

И закусил губу, чтоб не расхохотаться: стонали из процедурной, сволочи, Машка со своим инвалидом почти визжали. Я отодвинул каталку дальше, лег и смеялся в подушку. Только успокоюсь, вдруг вспомню — опять хохочу! Спать не хочется совсем: во дают!

Позвонили из приемного отделения: на полу приемного валялся окровавленный дядя в шапке и пальто. Регистраторша и фельдшер сонно моргали на него с застеленного диванчика, мечтая продлить сон. Петрович щекотал дяде пятки, изучая симптомы, совал пальцы в окровавленную башку — ушиб легкой степени, глюкозу внутренно, подождет до утра.

Возвращаюсь — Машка уже застилает свою каталку.

— Маш.

— Ну?

— Я вот лежал, думал и все представить себе не могу: как же ты управлялась?

— Как?

— У него ж нога в гипсе!

— Да ничего, разобрались.

Легли — по коридору закрипели шаги. Машка пригляделась:

— Опять бабка встала.

Бабка-черепница маршировала в ночнушке, распустив патлы на плечи, и бубнила:

— Четвертый день не кормют. Пойду хоть бутылку сдам, хлеба куплю.

Бутылку она роняла через каждые пять шагов. Машка заняла во тьме:

— Бабка, иди в свою кровать. А то я тебя покусаю, бабка.

Бабка проследовала мимо, уперлась в лифт и вдруг забухала по нему ногой — я свалился с каталки и закричал у лифта:

— Васильич, спокойно продолжайте, это бабка дурит, тревоге отбой! — И уволок бабку спать. Машка каталась со смеху, вообразив прерванные радости буфетчицы, а я больше уже не лег. Проставил температуру больным в зависимости от фантазии: от 36,6 до 37 — и болтал ногами, посматривая на светлеющую ночь. Подошла жена моряка.

— Ага, — сообразил я, — вам я забыл таблетки ночные дать.

— Нет. Можно вас попросить к нему подойти.

Моряк сидел на кровати понуро и вытирал все рот рукой — слюни текли ручьями. Я сходил за тонометром — на всякий пожарный смерить давление. Тонометр зашкалило.

Спинальники все проснулись. Моряк повалился боком на кровать. Я потряс его:

— Эй!

Он что-то не ответил ничего. А руки его полезли в трусы — недобрый знак, выходит, сильно мужик загрузился. Я зачем-то схватил его руки, сжал, он повертелся, изгибался, словно боролся со мной немного, затем тихо полежал, я подождал, глянул в лицо и понял: все. Я отпустил его руки и отступил. Надо ж, целый день ходил бодрячком. Вообще-то весной умирать много лучше. Летом врачи по отпускам — больные без своего врача психуют. Зимой дует в палатах.

Завывшую жену увел Петрович, заодно написал сопроводилку: «Зубов желтого металла нет». Машка разрешила на моряке одежду и вытащила остатки из-под него, привезла мою каталку. Я — за плечи, она — за ноги, мы перекатали моряка на каталку. Я связал полотенцами колени и руки по швам. Челюсть, к моей радости, оказалась сомкнутой. Выкатил в коридор — там уже потягивалась буфетчица, выходит, Машка уже разбудила лифтера. Старался катить тихо, но, как всегда, загремел на порожке напротив процедурной — весь этаж понял: что и куда. Лифтеру по пути я рассказал про бабку, он хмыкал, курил и рассматривал татуировки моряка, на сердце было написано: «Света»; я взял у него ключи от запасного выхода и вывез моряка во дворик, мимо скамеечек, по лужам, под спящими окнами и черной надписью на стенке станции переливания крови: «Ельцин—Иуда!», отворил железную дверь холодильника, включил свет: две каталки стояли уже заполненные, на порожнюю я и перевалил моряка, черт возьми, когда я перестану забывать надевать перчатки! У него ж все руки в грибах. Запер и отнес сопроводилку в приемное отделение — подклеить, куда следует.

Белье моряцкое я выкинул в грязное — прожарка наша давно не работала. Но чистого белья не нашлось, а потому перестилать

пришлось тоже старое, но хоть побелей. Отвязал кавказца, постелил сухое под ним. Только он очухался, я вздохнул:

— Всю ночь не отходил. То воды, то лоб вытереть, то полотенцем на лицо помахать, а «утку» шесть раз носил. Как ты меня замучил, брат! Знал бы — и за две бутылки бы не согласился. Если можешь теперь сам полежать, то позволь я пойду хоть немного посплю.

Он признательно кивнул и шептал, что братья заплатят сколько я скажу за заботу. Тут на меня прыгнула сменщица — баба Катя:

— Мусор не вынес! И пятка у бабки в пятой невымытая.

— Баба Катя, иди ты в зад.

Но мусор — святое. Я попер бачок от буфета к лифту. Меня настигла морякова жена, синеватая, как мой халат, и протянула книжку:

— Я хочу отдать ее вам. У него в тумбочке лежала. Пусть она останется у вас на память о Славике.

Я глянул название: «Три века русской поэзии» — и отмахнулся:

— Не, я книжек не пью. Да-а, вот как получилось. Пошел я, держитесь.

Бачок по двору я волок на веревке с оглушительным грохотом, стал посредине чихнуть, — чихнул! — взглянул на май и подумал: «Как же хорошо, легко, и через два дня — новое дежурство, и наконец-то все сбудется, все будет!» Но почта принесла военкоматовскую повестку, и больше на пятом этаже я не дежурил никогда.

Все имена, заболевания, обстоятельства, числа, события, место и страна, описанные в этой истории, вымышлены от начала до конца, и возможные совпадения случайны.

Митрофанову я больше не видел, но в армии вспоминал его очень часто, со жгучей обидой, что не вышло тогда. Теперь же редко, но все равно вспоминаю свою первую любовь, особенно если вижу на улице девушку с выразительным «гудком». Но странно, печаль неудавшейся любви как-то угасла и сменилась почему-то удивительно светлым, очищающим чувством. Так что, выходит, свет в прошлом исходит не только от достигнутых радостей, но прежде всего от прекрасных, но не случившихся возможностей.

## ПРОЩАЙ

Мы идем с Анькой сначала по Тверскому, а потом вниз — по Герцена, напрямиком в «Оладыи», где нас уже знают главным образом из-за моего аппетита, а дальше мы бредем меж спешащих людей в Пушкинский музей, где шаркают ногами только счастливые люди — в музей с бедой не ходят.

Мы вступаем в Союз Счастливых Людей.

В музее мы с Анькой расходимся: если будем ходить вместе — я буду смотреть не на картины, а на нее.

Я попал в античный мир через ворота, над которыми нависали ангелы с лицами подвыпивших мужиков.

У скульптур обмыленные временем лица, лица смирившихся пленников вечности, лица уставших бороться. Здесь заржавленные мечи похожи на градусники циклопов.

Небольшой барельеф. Женщина сидит в длинном одеянии, рядом стоит мужчина, опустив руки вдоль тела. Я пригнулся к надписи: «Калетия, жена Фракидидиса, прощай». Вот так.

Умерла, значит, жена у этого Фракидидиса. Он ей плиту надгробную соорудил. И стоит сам, руки опустив, смотрит в ее лицо, полуотбитое, полузатертое. Прощай.

Я нагнулся еще раз: «Известняк. Первый век до нашей эры».

Мне трудно уйти отсюда: я не пойму — почему. Он, наверное, ее любил. И стоит.

И руки у него висят, как плети...

Я поднялся наверх.

Теплится сумрак в глазах Богоматери; тонкие кружева на каменной груди Марии-Антуанетты, страдалицы со впалыми висками; героини Ренуара с туманными глазами.

Калетия, жена Фракидидиса, прощай.

Я увидел Аньку и замер, остановился, отвернулся к картинам.

Я смотрел на стекло, не видя своего отражения, а видел румяную крышу сарая и пылающий виноградник Ван Гога, толсторуких баб Пикассо... Девушку Модильяни с жалкими прядками на лбу и узкими восточными глазами.

Калетия, жена Фракидидиса, прощай.

Я обернулся — за моей спиной на раскладном стульчике сидел пожилой мужчина, и в глазах его была спокойная печаль оседлого жителя. Чтобы видеть берег, не надо плыть вдоль него. Надо жить через реку.

Этот человек мог бы пойти вон по этой дороге, по серо-синему простору Голландии, мимо пруда и мельницы, он мог бы дотронуться до немого пиршества натюрмортов и оленя, выпустившего из пасти кровавую струйку языка, он мог бы утопить тоску свою в этом мире. Он мог бы. Я — нет. Разобью себе физиономию о золотую пену рамы или постыжусь чуть ли не умирающих смотрительниц на стульчиках.

Я сел на скамейку, Анька обернулась, сделала круглые глаза и подошла: «Ты что?» — «Ничего».

Рядом с нами присела пара: старик и старуха, и можно было молчать. Старик был весь нервный, худой, в очках на капризном лице. Он горячо говорил, размахивая высохшей рукой, и что-то шепелявил про любовь. Она просто гладила рукой его растрепанные волосы и устало повторяла: «Вот какой же ты у меня дурак, Господи...» И как только она коснулась его головы — он расплылся в беззащитной улыбке и коснулся ее ладони губами. Они были



такие старые. И что-то там внутри их глаз было последнее, неизбывное...

Калетия, жена Фракидиса, прощай!

Мне было неловко рассматривать их, и я стал смотреть на обувь самых счастливых людей столицы, на щучьи морды туфель, на шнурки, завязанные бантиками, похожими на пенсне. Потом, наверное, мне никогда не понять, как каждое мгновение прорастает новым ощущением, словом, мыслью, как не хочется отрываться от солнца, от человека, от легкости в душе и поразительного света. И я никак не пойму, как соотносится любовь и смерть. Что такое любовь: игра в классики на палубе тонущего корабля или это та птица, что улетит с мачты в последний момент и сделает круг над ревущей смертельной воронкой, обнимая себя и воздух, и будет с другими кораблями, но все равно неся в душе и мое. И мое.

## ПЯТЫЙ КУРС

Ну про что ты мне сможешь спеть?

Про то, что пройдет еще совсем немного времени, пройдет еще совсем немного времени...

Пройдет еще совсем немного времени, а я томился в читалке над «Доктором Фаустусом», грозящим перейти количеством страниц в опухоль головного мозга, и ненавидел оружий и ржущий молодежь, а тут еще музыка — ну что там такое? А это тетеньки, дяденьки, лица коснувшихся старости детей — у людей юбилей. У людей тридцать лет выпуска, я их боюсь, и поэтому — за колонну, в холод, но ведь все равно — пройдет еще совсем немного времени, да?

Да! Но пока я макаю себя в тишину факультета, по усталым ступенькам вверх, и высокие двери, и мир белых крыш за окном, и голые сабельки веток под далекой синевой, и мимо скрип чьих-то ног, и до звонка еще жить — да, эти голубые стены и перепончатые окна, и белые крыши, как перевернутые днищами вверх лодки... Этот дом мертв, когда в нем люди, чужие лица стирают твое, но когда тишина и глоток пустоты, тебя достанет его недоступность и равнодушие к игрушечным баталиям экзистенциальных трагедий, скуке, любви, всему, и он сродни лишь незримому, что растет незаметно для нас, серьезному, что в ряду со смертью и жизнью, духовному скелету, что до конца. И мы потом еще пойдем мучительную сладость позолоченных солнцем стен, простора коридоров и запнувшейся пропасти центрального провала, ощущение легкости падающего снега и блаженства свободы почти навсегда, обязательности этого ежедневного праздника и шадяще замаскированную его невечность — эти стены не опустятся до нас, а нам — куда уж вверх, но если б смерть была выбором...

Я бы хотел тогда пасть. Пасть снегом мимо мрамора и балюстрады, вниз, бесконечно и благодарно, чужим, признательным, растворяясь брызгами, вкраплениями роднясь с этими стенами, оставаясь в них, приобщаясь, сживаясь, и даже частью своей ничтожной не коснуться пола, целиком растворяясь, расплавшись в полете.

И ты никогда не любил меня, как и всех, ты тыкал мне в морду, что здесь я из милости, и ногти мои грязны, и я до сих крадусь понуро, как сквозь строй, мимо столичных пенек, смолящих сигаретки и выставляющих ножки у твоего парадного крыльца, и если я и смотрел на тебя — только исподлобья и больше никак. Тебе не до любви, твоя участь странней: принять всех безымянно, но поголовно, и оставить взамен жгучее клеймо ощущения этого паскудного времени.

И на первом курсе я ходил с чемоданом динамита, чтобы взорвать белый свет, и страждущие народы ждали слова моего, и в пяти шагах до экзаменационного стола умещалась вся трусливая жизнь, и люди, что ходили рядом, были вечны и велики: всемогущая, как судьба, Светлана Михайловна с кафедры физвоспитания, и тишайший, как снег, и седой в тубетейке профессор Ковалев, который был секретарем у Фадеева и очень добр, и сморщенная тень Кучборской, что как уголь вечных пожаров и зов прекрасных времен, колокол, чуть дребезжащий; и цепные вахтерши на входе, и озерные глаза Суздальцевой, и неутомимая проповедь Татариновой, которая на всю жизнь разбередила душу нам этими незадачливыми князьями, что отправились на половцев и что из этого вышло, и незадачливо отстраненный, не по-советски бесшумный декан Засурский, и изумительная Ванникова, что как ваза саксонского фарфора и поразительна так, что хотелось прятать под стол свои мужицкие лапы подальше от этих глаз, и тот козел, что поставил мне три балла, что я не прочел страницу в учебнике про «Крошку Доррит», и предельно женщина Белая, которая стояла за кафедрой, как на баррикаде, и печально далекий Бабаев — собеседник великих голосов, и незнакомые красавицы, и непроходимые дураки...

Но что же случилось потом, когда вдруг так ясно и неумолимо подурнели красавицы из читального зала, на которых дембелем смотрел с красными ушами и в горле комком, и в пяти шагах до стола экзаменатора стал умещаться лишь неловкий стыд за обоюдную постыдную игру, когда вдруг с отчаянной резкостью рухнул весь этот молитвенный XIX век, на который мы не дышали и из которого росли, который, оказывается, готовил нам лишь смерть с того самого момента, как отправился Радищев из столицы в столицу, а народ при этом страдал, и пошло, покатило, упекли в деревню Пушкина, нахотелся до смерти и помер от скорби Николай Васильевич — великий сатирик, два богатыря Достоевский и Толстой пошагали да и вырвали к чертовой матери Боженьку, размечтался товарищ Чернышевский, а потом вернулся

из двадцатилетней ссылки да и оцепенел почему-то, примолк и не ответил на письмо Володи Ульянова, и принесло все это плоды, свалилось-таки дерево, допилили, и все бы хорошо, да онемел от догадки Ленин в Горках, его верный соратник замешивал последующий раствор и клал кирпичики уже один, да и тот упал на бегу, а Иван Бунин глянул на все это дело, обозлился, да и уехал подальше от греха в Париж гулять по темным аллеям, и увез с собой ключи от XIX века, и все вроде вышло, как хотели, но странно как-то получили Акакии Акакиевичи шинели, да враз нацепили на них маршальские погоны, и голос у них прорезался, вылезли из желтых домов записки сумасшедшего и стали громить зачем-то морганистов и космополитов, пожалел старушку Раскольников Родион Романович, выучился, в люди вышел, но все на жизнь-то глядел с классового подхода и догляделся, и все вышло, как хотели: взошла она, эта самая звезда пленительного счастья, и на обломках самовластья написали имена, а потом стерли и другие написали, а потом еще приписали, а потом всех стерли, в потом других написали, потом написали «Малую землю» и «Целину», в потом вообще стали обломки собирать, чтобы из них самовластие опять сложить, и взошли над нами проклятые вопросы, повисели, повисели да рухнули, в пыль растерев, — нехорошо как-то получилось!

Мы бросились к книгам, но они нагоняли сон, мы бросились к женщинам, но Пушкин увез по Тверской всех этих Смирновых да Сушковых, Воронцовых да Ростопчиных, оставив лишь нам податливые тела да спутниц жизни, мы углубились в себя, но внутри лишь был животный стон от дикой жестокости судьбы, случайно обрешей нас отсыревшей спичкой кратко мигнуть во мраке от первых слов младенческих губ «мама» до последней судороги посиневших старческих уст «мама», сначала получить жизнь, а потом понять, что ее отнимут, и тогда мы сдались, мы протянули руки — берите нас; мы стали много есть и смеяться, мы научились хохотать, и ты один лишь понимал, что стоит за этим весельем. Ты лишь один знал, как уводили нас поодиночке глухими теплыми ночами во взрослую жизнь, подталкивая под ребра домашними ключами и большими суповыми ложками, и мы, принимая поздравления, все же тянули шеи — ну хоть ты-то видишь, видишь это? И ты это видел — как опускались руки и бумага забывала цвет нашей крови, и вещи, люди, болезни, обстоятельства становились все теснее, теснее, теснее, и нас стал глушить этот слаженный стон: дай! дай! дай! Как уходило на цыпочках лето, будто боясь, что его заметят, не оставляя на губах вкуса вишен и смородины, как зима оставалась лишь холодом, как мечты становились хроническими и вырождались в монстров, как тянула высота больших домов к спасительному асфальту, хотя и это было враньем.

Только что же я хотел сказать? Мой курс уже не соберется вместе. Его уже нет сейчас. Чего собирать-то? Нечего. Наши

отцы еще помнили, что были когда-то вместе, а потом заблудились. Мы уже забыли и об этом, чего аукаться... Но все-таки: что же останется? Когда время поставит мой обмылок для финишной фотографии и вскинет на уровень сердца свой единственный черный глаз и высокомерно разрешит мне: «Можете стать спиной», я соберу все силы и скажу: «Нет. Лицом, пожалуйста...» И что тогда выдуют мои неловкие губы, какую короткую песенку, что уместится в ней, что зацепится: булочки с маком в буфете; прокладное прикосновение кленового листа; диспетчер девушка Наташа, что всегда грустная; шемящая пустота Ленинской аудитории; то, как наш начальник курса в конце семинара проронил: «А вот у меня умирает мать...»; незримое ни для кого прощание, когда я пошел прочь, и навсегда и что-то, что-то еще?..

Что?.. Да, хотя вы правы. Все это такая ерунда.

## UNIVERSITY

*(к 40-летию высотного здания на Ленинских горах)*

Вранье, когда вздыхают: жизнь пуста. Жизнь непуста, она — бесследна. Все уходит нечувствительно. Спросят: где вы получали образование? — и нечего сказать. Не осталось следа. Да и сам мало следишь, не рыпаешься — просторы Отечества столь велики, что некуда деться — сил хватает на один рывок: дед вырвался из колхоза в могилу, отец вырвался из хаты на асфальт, я из провинции прорывался в Москву, сверяя направление по кленовому контуру Московского университета, верхушку которого в ненастье съедает туман — там живут боги. В земле, где все рельсы обрываются в Москве, где с колыбели райским пределом звучало: Москва, МГУ — дальше ехать некуда. В три поколения советское время исчерпало живую воду и пахнуло пустыней.

Москва знала иные райские кущи, умела их отворять магическим заклинанием «Шереметьево», но провинция слепыми кротами прорывалась на Ленинские горы — МГУ звучало священо, как «МОГУ»; и высокий шпиль золотили вовсе не красная профессура, не передовые рубежи советских знаний, не целинные распевы, и не сам дворец, окруженный ботаническими садами и альпинариями — золото светило по наследству, с Моховой, от гранитных имен девятнадцатого столетия, от эпохи мечтаний и первой крови. Русское чутье, благодарное редкому добру, одинаково владело стариком-помещиком, крестьящимся на Моховой в память о Грановском, о стиснуто-сердечных сороковых годах, и нами, задиравшими головы на самые большие в мире часы университета на Ленинских горах. И кто ж знал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, если в слагаемых видеть лишь цифры площадей и вместимости, и не видеть алтаря.

Нас, провинциалов, разгромили на Ленинских горах, где громили всех, кто посягал на Москву: и Наполеона, и гетмана Хоткевича, и хана Казы-Гирея, лишив даже излюбленного русского занятия: наблюдать конец света — свет кончился раньше. И университет-совокупность раздавили совокупления и купли, писания раздавила прописка, общежитие растерзало жизнь — никаких прощальных лучей: одна холодная пустыня. Для обустройства ее и согрева мы начали пить да гулять, не подозревая, что именно в пустыне главные искушения и воздвигаются высокие, как горы, дворцы, и с вершин открываются царства мира.

И сам дворец манил лишь издаലെка — вблизи оказался неуловимым, текучим, многолицым и ветреным — за пять лет так и не позволив понять: какая ж сторона дышит для тебя; остался разлаписто лежать сфинксом в высокой короне. Всем чужой в главном: в значении своего размера. В нашей земле высокими строились лишь церкви — а церковь, как бы ни велика, внутри таит еще больший простор, куполом достающий Бога. Нам никогда не понять исполнения, сдавленного внутри. Мы по бедности не привыкли гулять и любоваться. Мы строим, чтоб молиться, чтоб жить. Чтоб прятаться от зимы. Мы — внутри. Зачем строить такой высокий дом, если под его кровом над головой всегда этажи и нигде — небо?

И дворец навек замерз немцем на русской службе: скопищем столов для постановки на учет; берлогой хитрых органов, приглашающих студентов на неведомых этажах помогать революции без отрыва от учебы; пастями вечно стопорящихся лифтов; без размаха гуляющей аспирантурой; приличными обителями профессуры и тихой гаванью профилактория со мудро зауженными кроватями и цепной старухой на водоразделе меж двух половинок: сильной и прекрасной.

Не будем сочинять для чего строили, не побежим за воспаленными дядями, не умеющими выпить стакан без плевка в сталинские усы. Скажем одно: строили не для жизни. Для жизни дворец бы поставили на бок — тогда клетушки общежития превратились бы в просторные покои, благодаря высоким потолкам. Строили не для жизни — трубы коммуникаций сгнили первыми. Попытки их сменить открыли отсутствие засекреченных чертежей, а вскрытие стен доказало: возможность замены в проекте не предусмотрена. Водопровод и канализацию пришлось проводить снаружи — живым образом перестройки и гласности, ее предвестием и подлинным смыслом: никаких порывов к воле — просто сгнили сталинские артерии.

Я не могу отрестить вчистую от Ленинских гор: было. Было место, смирившее с инвалидностью — но вот что осталось?

Последнее, что остается в памяти от сношенной, нелюбимой вещи — ее цена. Цена — то, что помним после всего.

Все, что осталось в университете: мое «Дело» со вступительным сочинением, юными документами, победными сессиями и справка-

ми о кровавых донорских жертвах. Это «Дело» необходимо лишь мне, от меня и будут его хранить семьдесят пять лет, а потом сожгут на мусорном заводе.

Все, что осталось от университета у меня — студенческий билет. В приемной декана, куда я притащил обходной лист, отпускающий грехи, коровистая секретарша велела:

— И сдавай свой студенческий!

Я глянул на засаленный, серый документ, вросший за пять лет близко к сердцу, и вдруг попросил:

— Можно мне его оставить? Давайте перечеркнем, чтоб я им не злоупотреблял, но оставим.

Секретарша хмыкнула:

— Я собрала пятьсот билетов, почему я должна один оставлять?

Правда, конечно, ее. Я сдал билет и спрятался за шкаф. А она продолжила прерванное дело: один за другим перечеркивала билеты и рвала их пополам, и бросала в урну. Я дождался своей очереди и выудил из урны обрывки: пусть со мной. И только. И никакого студенческого гимна на латыни, хоть и начинающегося столь родственным звуком «гад».

И от Ленинских гор остались лишь несуразные воспоминания: стоял я с девушкой, и далекая электричка стучала пульсом в мертвой руке метромоста, поздно уж было, стояли одни — чего ж я, дурак, ее не обнял?!

Чехов жестоко сочинил: «Кто хочет понять Россию, должен посмотреть отсюда на Москву» — да нет никакого желания смотреть на Четвертый Рим, приговоривший: третьему не бывать; любоваться волшебными полянами первого российского гольф-клуба, открытого мэром Поповым, профессором чистой ленгорской масти — клуб раскинулся по наспех перепаханному свежему кладбищу, но об этом никому не скажу потому, что все сходится. Все справедливо.

## КРАСАВИЦА

Десятого октября хирург Горелов собирался сыграть свадьбу. Дома. Чуть свет четвертого октября, когда верные Ельцину войска подошли к Москве на усмирение мятежного Верховного Совета, Горелов чистил зубы и приговаривался к страшным событиям — сегодня приезжала теща.

Жена, то есть невеста, постучалась:

— Телефон.

Это звонил зав. отделением, Семеныч.

— Ты сегодня выходи поработай за меня. Теща — это тяжело, но нас всех бросают на раненых. Бухгалтерия оплатит. Отделение на тебе.

Горелов подумал про бухгалтерию: «дождешься», скучно глянул на изготовившуюся к обиде жену и спросил Семеныча:

— А насчет Халяпиной?

— Я вчера опять Минаеву два часа долдонил. Он теперь уже не помнит ее... Потом махнул: делайте!

Минаев командовал хирургией в больнице — хороший человек, врач поганый. Они месяц с Минаевым спорили из-за Анастасии Халяпиной, «отказницы», оставленной в роддоме. Гидроцефалия и спинномозговая грыжа, два месяца от роду.

*Она лежала теперь плаксивым полотенцем в детской кроватке в сорок пятой палате — палате, где есть кровать и для матери, но Халяпина лежала одна.*

Добро и зло в ее жизни означали добрая и равнодушная смены медсестер. Добрые меняли пеленки, умывали, трясли перед сморщенным личиком погремушкой. При равнодушных Халяпина кричала и кричала, и засыпала, выбившись из сил.

В ее возрасте младенцы начинают видеть лица, но ей видеть было некого. И хотя на первом этаже, где дежурил ОМОН, в общем температурном списке имелась и ее строка: «Халяпина Настя, утро — 36,6, вечер — 36,7» — некому было это прочесть.

Такой же пацан лежал совсем недавно, тоже «гидрик», та же грыжа. Но — с родителями. Грыжу ему убрали, Горелов подсказал родителям, в какой больнице за две взятки в полторы тысячи долларов можно прооперироваться и поставить ребенку «помпу» — трубку, которая выведет лишнюю жидкость из черепа. Меняя «помпу» через несколько лет, чтобы подходила по росту, «гидрик» может прожить немало, но это нужны герои-родители или родители-богатеи — спинномозговая грыжа означает: ребенок останется неподвижным и выделения у него будут произвольными. У того мальчишки были родители.

У Халяпиной теперь — нет. Первой операцией ей убрали грыжу, но «помпу» Минаев ставить не разрешал по темноте своей — пока обойдется. Горелов с Васильичем атаковали его требовательными бумагами — ведь девочка может развалиться, а Минаев бумаги терял. Вот только теперь позволил оперировать.

Горелов молча завтракал, одевался. Говорила невеста:

— А моя мама? Я буду встречать одна? Нести чемоданы? Ты не слышишь меня? Я для тебя пустое место? Тебе не надо моего мнения? Может, тогда вообще ничего не надо? Тогда я сразу маме и скажу! Говорить? А-а, тебе уже противно на меня смотреть!

В метро, троллейбусе, пешком Горелов думал. О теще. Какая она? О свадьбе. Женюсь. И не буду холостым. Как патрон. Все время жить вместе. Странно. Стоял долго, ждал, пропуская спешащие по проспекту в сторону Красной Пресни боевые машины десанта — в сторону его больницы.

Он опоздал на «конференцию», где дежурные по отделениям докладывались за сутки, доктора дремали и читали газеты, а главврач приветствовал каждую докладчицу: «Слушаю тебя вне-маточно!»

В отделении бегала выздоравливающая малышня. Измученные родители пытались спать в одинаковом положении: сидя на стуле, голову на кровать, в ноги неходящему ребенку. Старшая сестра устроила в холодильнике шмон — выбрасывала еду.

Горелов подошел к сорок шестой — «отказница» Халяпина молчала, спала, не зная, что ей разрешили жить дальше.

Он ждал: кто придет с «конференции». Пришел доктор Рылов. Горелов его не любил за неловкость и неприятное общее воспоминание: как-то они на пару сделали трепанацию черепа ребенку. Операция оказалась ненужной. Такой перелом попался, что «эхом» (электроэнцефалограф — А. Т.), не поймешь: вдавилась кость или только треснула. А компьютера своего нет. Надо везти, надо просить машину и — только по средам. Проще — сразу в морг.

— Одна поступила. Одинцова. Шесть месяцев. Мать говорит: с дивана упала.

— Что там?

— Подозрение на перелом теменной кости. На рентгене ничего. «Эхо» смещения не показало. Повторим?

— Посмотрим твою Одинцову. В сорок шестой?

Соседка Халяпиной тоже молчала. И тоже лежала одна. Девочка с красивыми черными бровями застыла как-то нехорошо на спине, раскинув кулачки. Голову укрывал белый чепец. Виден только темный пушок над лбом.

— Что ж, красавица, одна?

— Мать пьяная была, ее не положили.

— Что-то она сильно загружена...

*Девочка лежала без сознания, почти не открывая глаз. Горелов раздвинул ей веки — глаза не обращали на него внимания, карие глаза расходились в разные стороны. Так.*

Он развел ребенку руки. Левая вернулась на место. Правая повисла как плеть. Ноги. Такая же петрушка. Как же ее дежурный прозевал...

Горелов достал из халата иголку и кольнул в левый локоть. Одинцова слабо дернулась. Совсем слабо. И ни звука. Бледная. Родничок набух. Очень тяжелая...

Такое утро. Шестимесячная красавица быстро двигается в сторону морга Морозовской больницы, куда отвозят на вскрытие такие случаи. И даже матери рядом нет.

Они вздрогнули — за окном что-то лопнуло и громыкнуло, прозвенев в стеклах.

— Стреляют, — определил Рылов — Начали.

— Давай. Группу крови. Гемоглобин.

Горелов следил за тележкой с «эхом». Рылов закричал лаборантам. Сняли чепчик с круглой головы, воткнули шприц в хорошо видную вену на виске. Девочка только вздохнула. Взяли кровь.

Горелов перехватил у лаборанта ее голову, прижал датчик, смазанный вазелином, и посмотрел на экран электроэнцефалографа.



Смещение — шесть миллиметров! Оперируют уже при двух. Значит, есть гематома, скопилась жидкая кровь из раны. И так много, что смещает внутренние структуры мозга...

— Ну что там кровь?

— Первая, резус положительный. Гемоглобин очень плохой, тридцать шесть. Вот это да, ничего себе кровопотеря.

— Операционную пусть, развертывают. Рылов, предупреди реанимацию, что, может быть, спустим им ребенка на аппарате (искусственное дыхание — А. Т.). Я за кровью,

В кабинете переливания крови дежурила сонная бабка. Сейчас, подумал Горелов, выяснится, что все напрасно...

— Первая положительная есть?

Бабка долго искала и вытащила фляжку на двести пятьдесят миллилитров:

— Последняя. Хватит?

Горелов сунул ее, ледяную, в халат и побежал в отделение. За окнами бухало без перерыва, доносились пулеметные очереди.

— Горелов! К телефону.

— Да.

— Значит, я для тебя не авторитет! — спросила невеста.

— Авторитет.

— Почему же ты никогда не слушаешь моих советов? Например, когда делали ремонт?

Когда делали ремонт, они действительно поспорили, что вперед: красить полы или клеить обои. Горелов положил телефонную трубку и крикнул в коридор:

— Готовы? Укол поддерживающий сделали?

— Еще не побрили.

— Какое, к черту, бритье?! На столе станком! Пошли! Несите!

Рылов нес девочку в охапку. Горелов шел следом и смотрел на повисшую ручку, всю в нежных складках, словно перевязанную нитками.

Рылов встал, как пень, перед бабой в синей кофте.

— Вот ее мать.

Горелов протолкнул его вперед, к лифту, а матери коротко бросал:

— На операцию вашу красавицу. Есть гематома. Пока ничего не обещаю. Большая кровопотеря.

— Может, и так рассосется? Чего в голову лазить?

— Проехали, мать!

В операционной разворачивались анестезиологи и шуровали сестры, Горелов курил в комнате врачей и представлял: после свадьбы поедет к ним. В Кострому. Ее родня. Грибы застанем?

— Идите мойтесь. Все готово.

Девочка смотрелась крохотным холмиком на взрослом операционном столе. Она лежала неподвижно, непривязанная ремнями, потому что маленькие дети, когда крепко спят, не шевелятся.

В ключицу ей воткнули катетер для ввода крови и поддерживающих лекарств. В рот вставили дыхательную трубку. У девочки получилось удивленное выражение лица. Одинцова уже умерла. За нее дышал аппарат.

Горелов опять поллюбовался ее рисованными бровями. Вырастет красавицей. А мать — без слез не взглянешь. Он запомнил: здесь ухо, тут нос. Надеюсь, до свидания.

И накрыл лицо девочки простыней с круглым отверстием, оставившим открытой голову над ухом — предполагаемое место гематомы.

Сбрил темный невесомый пух с темени, нарисовал зеленкой будущий надрез. Смазал кожу смесью йода и мыльного раствора.

Сестры поставили на проигрыватель веселую пластинку. Рылов спросил:

— Когда у тебя свадьба-то?

Горелов разрезал по дуге кожу над ухом и еще раз провел скальпелем, чтобы досечь, и ответил:

— Десятого. Так, дома посидим, с родными.

— Выпивки купил? Поедете сразу путешествовать?

Рылов прикладывал к закровавившейся ране коагулянт, и электрический ток с легким треском опалял сосуды, останавливая кровотечение. Горелов отодрал и завернул в сторону надрезанный лоскут и счищал беловатую надкостницу с черепа.

— Потом к ней поедem, в Кострому.

Он бурил отверстия в черепе коловоротом, похожим на коловорот рыбаков, которым они зимой дырявят прорубь. Осторожно. Чтоб не провалиться в мозг. Рылов промакивал кровь в крохотных лунках. Горелов посматривал: глубоко еще?

Он пробурил четыре отверстия — трапецией и покосился на анестезиолога. Тот успокаивающе кивнул.

Одно отверстие раскусили побольше особыми кусачками — в него завели пилку и высунули ее конец в соседнюю дырку. Пилка острая. Можно бедро перепилить. Можно стул.

Сестра промокнула Горелову пот на лбу. Он начал пилить. Снизу вверх. Под углом. Чтобы когда настанет время, отпиленный «фрагмент» черепа возвратит на место, он не проваливался.

Сквозь музыку и орудийную пальбу он слышал еще какие-то звуки — шелкающие. Как птичий посвист.

— Держи. Чтоб не прыгнул, — велел он Рылову, допиливая. — А что это за звуки?

— Пули падают на крышу. Ох, черт!

Рылов перехватил руки, но «фрагмент» все ж выстрелил из его рук и слабо плюхнулся на пол — изнанкой вверх. Кусок черепа размером с мыльницу.

Горелов обругал всех присутствующих. Отдельно крикнул Рылову:

— Что выдупился?! Клади его в формалин! Да выключите нахрен музыку!

— Чё разорался?! — вспыхнула старшая операционная сестра. — У него руки кривые, как моя жизнь. А ты на нас орешь!

Теперь Горелов хорошо слышал, как стреляют пушки. Как там их операция, интересно, движется к концу? И к какому? При какой власти будем жить сегодня вечером?

Опять промокнули пот.

Он увидел в отверстии гематому. Сгусток, массу жидкой темной крови. Он отчерпывал ее инструментом, напоминающим ложку, очищая твердую мозговую оболочку. Кровь выплескивал на простыни, в разные стороны, словно насыщая невидимые рты.

Гематома оказалась огромной — миллилитров на сто пятьдесят. У такой крохи и без этого крови — всего ничего. Надо же было так упасть. Вечная история. Телефон позвонил, на кухне кастрюля зашипела, мать отвлеклась, возвращается — ребенок на полу. Су-дороги.

Сменили простыни. Анестезиолог внимательно посмотрел на Горелова. Да вижу я. И так торопимся.

Из резиновой «груши» Горелов промыл поверхность мозга. Подождал. Показалось: кровь продолжает откуда-то сочиться и накапливаться. Где-то при переломе кости поврежден сосуд. Кровь скапливается по нижней границе выпиленного отверстия.

Он раз за разом вел трубочкой отсоса по накапливающейся кровавой бороздке. Отсос, фыркая, оставлял после себя чистую поверхность. Однако когда Горелов добирался до конца бороздки, опять откуда-то натекала кровь. Откуда? Заново вел отсос.

Теперь все молчали. Самое тяжелое. Умолкли даже пушки. Там, видно, уже пришли к какому-то концу.

Если не найдем, то — все.

— Ничего нет, — прошептал Рылов.

Если перевести на обыкновенный русский язык: он предлагал заканчивать, уходить, считать, что сосуд не поврежден. А кровь имеет другое происхождение. Гематому убрали, и достаточно.

— Закрой рот, — так же тихо попросил Горелов.

И снова повел отсосом по узенькой канавке упрямо натекающей крови.

— Все, — выдохнул анестезиолог. — Остановитесь. Она уходит. Я должен попробовать завести сердце.

Горелов беспомощно ткнулся в поднесенное сестрой полотенце и теперь не знал, куда девать руки.

Анестезиолог скинул простыни с пухлого, полумертвого тельца поджавшего ноги, словно в материнской утробе, подsunул свои кажущиеся огромными ладони девочке под спину и большими пальцами ритмично надавливал на грудь. Массировал маленькое сердце. Размером в спичечный коробок.

Он делал это так долго, что Горелов успел очнуться. Успел понять, что ни о чем не может думать. Что весь мокрый. Пот катится по спине, по ногам. Неподъемные руки. Холодно. Она умерла, красавица. Придется, как приходилось уже не раз, заста-

вить себя остановиться напротив матери, чтобы не говорить на бегу никчемных слов: «Ваш ребенок погиб. Ничего нельзя было сделать». А дальше этот крик, стон, вопль, от которого вздрогнет и замрет все отделение: от поста дежурной медсестры до сорок шестой палаты, которая сегодня ночью будет пуста, а утром в ней сменяет белье, но он уже будет в отпуске.

— Так, — сказал анестезиолог. — Ну ладно. Более или менее. Давайте. Скорей.

Горелов еще раз провел отсосом, еще, — и поймал кровавую пульсирующую точку. — Здесь! Бьет кровь.

— Вяжемся! — Он не попал с первого раза иглой и не смог перетянуть ниткой сосуд, буркнул сестре несправедливо:

— Такими нитками ты будешь дома носки штопать!

— А я не виновата, что у тебя руки из одного места растут!

Теперь он попал, затянул капроновую нитку. Кровь не сочилась!

— Все! Сушимся... Вяжемся... Уходим...

Отмоченный в формалине «фрагмент» ложится на место, пришивается лоскут кожи. Гаснет круглая лампа, не дающая теней.

Девочку Одинцову спускают на лифте в реанимацию. Издали каталка может показаться пустой — лишь сбитые в комочек простыни.

— Ты чего ждешь? — спросил Рылов. — Пошли чай пить.

Горелов долго мылся. По отделению шумно разносили обед. У телефона-автомата плакала девочка с забинтованной головой, второя в трубку:

— Я жду, жду. Жду, жду...

Матери окружили с вопросами старушку — бестолкового невропатолога, трудившуюся в отделении на полставки. На все жалобы старушка отвечала одинаково:

— Побольше водички давайте пить и побольше гулять.

Будем надеяться, не вырастет идиотом.

Он вдруг вспомнил, что забыл сделать важное.

Мать Одинцовой нашел на подоконнике на лестничной клетке. Плохо причесанная, изможденная женщина. Она неузнаваемо взглянула на Горелова.

— Прооперирована ваша дочка. Все нормально, живем дальше. Будем все делать, чтоб без последствий. В таком возрасте они хорошо компенсируют травму...

Женщина скрипуче сказала:

— Лучше бы померла.

Он глупо переспросил:

— Кто?

Так и не нашелся, что сказать, ушел.

— Телефон возьмите!

— Я прощаю тебя, — сообщила невеста. — Посмотрим, как ты дальше будешь. Смотри. Мама уже здесь. Тебе привет. Я показывала твои фотографии. Ты очень понравился. Я для тебя авторитет?

- Да.
- Что «да»?
- Авторитет.

В ординаторской накрыли для чая, каждый выставил свое. На чай из экстренной операционной спустился зав. отделением Семеныч. Рассказал:

— Двоих из Белого дома оперировали. Наш и сириец. Наш умер на столе. Ты как отпуск проводишь?

— Да, Одинцову такую оперировал. Гематома, наверное, миллилитров на сто пятьдесят. Еле вытащили. Ну что, Халяпину будешь готовить? На когда?

Семеныч приподнял брови:

— Тебе не сказали? Так Халяпина ушла. Только сейчас к лифту провезли. Странно, что ты не заметил.

Пили чай: баранки, бутерброды, анекдоты. Поругали дурака Минаева, не давшего вовремя прооперировать «гидрика». Затронули родителей. Что, конечно, они правы. Если взять такого ребенка, значит: к его мучительной жизни добавить свои мучительные жизни. Да и лекарств сколько съедают такие дети. Уж лучше лечить тех, кому жить здоровыми. И как не правы те, кто думает, что такие дети рождаются только у пьяниц...

Горелов молчал, очень устал. Какие фотографии она показала своей матери? Небось хорошие. А в жизни он хуже. И встретить не смог... Какое неприятное ощущение оставляет этот день! Эта Халяпина, «отказница»...

Он сходил в ее сорок шестую палату. В раковине умывальника остались грязные пеленки. Сверху лежал дешевый однотонный чепец с изглоданными завязками. У окна пустая деревянная кровать с круглыми прутиками. Плоская подушечка, еще сохранившая вмятину там, где лежала голова. На протянутой поперек кровати веревке висели две погрешки — красная рыбка и золотой шарик, принесенные доброй сменой сестер.

Больше ничего. Ее уже везут по городу в мешке. И ни одна душа на свете... А ведь кто-то ждал. Назвал Настя. Он вдруг осознал, что не помнит ее лица. Смотрел каждое утро, оперировал, в памяти на месте лица — красный плачущий рот. Вроде черненькая была... Как эта Одинцова. Но без бровей. Вспомнил, что сестры говорили: не красавица. Да откуда они знали? Пока вырастет, сто раз изменится.

С Семенычем они спустились в приемное отделение и там выпили с фельдшером за семейное счастье Горелова. И он остался дежурить до утра, чтоб не ехать выпившим домой. Дежурная сестра, когда он стелил на лежаке нехитрую постель, пересказывала ему отделенческие новости:

— Филатова-то из девятой палаты, все на бедность жаловалась, а муж забирать приехал на БМВ. Насчет вашей Одинцовой из милиции звонили. Ребенка она сама выбросила.

— Как?

— А так. Пили с сожителем, а девочка плакала — мешала. Она сгребла и кинула в окно. Со второго этажа. Эта девочка еще слабо вдарилась. И позвоночник не сломала. Вот так вылечим, отдадим ей, а она напьется — опять выбросит. Да и кто из девчонки может вырасти при такой матери? Оторва какая-нибудь! Лучше бы убились...

Утром он спустился покурить, лягали трамваи, солнце. У температурного листа толпились родители. Охранники отпихивали на вахте лезших без пропуска.

Горелов тоже подошел к температурному листу. «Сорок шестая палата. Халяпина Настя. Два месяца. Вечер — 36,6», напротив слова «утро» стоял прочерк.

Какой-то мужик, как показалось Горелову, рассматривал именно эту строку. Он спросил, сам не зная зачем, будто подтолкнул кто:

— Вы ее отец?

— Кого? Я? Нет, — удивился мужик. — Я водитель, человека сюда одного привез. Просто... А что, у нее не было родителей?

— Были, — с обидой ответил Горелов. — Мы были ее родители.

Прежде чем уйти, он зашел в реанимацию.

Одинцова лежала на спине, уже без трубки — дышала сама. Горелов присел на ее кровать, и девочка остановила на нем глаза, чуть скривив губы, словно раздумывая: поплакать? — насупила пушистые брови.

— Здравствуйте, — сказал Горелов. — Давайте посмотрим...

Он разогнул Одинцову ноги и отпустил. Левая живо поджалась. Правая, словно нехотя, потихоньку подтянулась за ней.

— Вот так! — усмехнулся Горелов.

И опять разогнул ноги. И они опять по очереди поджались. Одинаково. Он опять разогнул и повторял:

— Вот и живи, красавица. Вот и живи теперь! Живи!

Он смеялся, девочка захныкала.

Бухгалтерия так и не заплатила Горелову за этот день.

В этом рассказе я по уважительным причинам изменил некоторые имена и несущественные обстоятельства. Но имя Настя Халяпина — подлинное, судьба ее изложена точно. Она мало кому оказалась нужна при жизни и при смерти. Так что за упоминание ее имени, на меня тем более, обидеться некому.

Я считаю для себя обязательным сохранить ее имя, хотя бы в этих сиюминутных, суетных, напрасных строках, потому что у меня нет другой возможности помянуть эту девочку, безмянью сторевшую в пепел в безмянной печи, и ее прах никогда никто не почтит: ни цветком, ни слезой, ни печеньем в большой праздник.

Только — угасающее имя, пока не забыл, — Настя Халяпина.

Все остальное для нее сделает Бог.

Ее будущее обеспечено.

Когда-нибудь некоторые из нас помрут. А те, что не помрут, — шибко состарятся. И некому будет рассказать о начальных временах свободы. Например: откуда выросли отечественные богачи? Это вообще темновато. Если посветить, то богачей возможно разложить на четыре грубых разряда.

Первый разряд: перепродавшие что-то понятное. Они стеснительны, скованны, староваты, и, ежели прижать их вопросом «откуда?», они ответят с красноречием идиота: «Получили квоту. Продали нефть».

Второй разряд: перепродавшие что-то непонятное. Их карманы способны просветить лишь рентгены Министерства безопасности (если бы ему хватало времени на что-то еще, кроме смены названий, сокращений и перестроек) и органов внутренних дел (если бы они не ограничивались отбиванием внутренних органов алкоголиков и демонстрантов).

Разряд третий: перепродавшие Родину.

И четвертый: заработавшие рай своим горбом, промыслом, промышленностью, своим тазиком намывшие крупинки золота. Всех таких я своим обзором не охвачу. Мой рассказ только о собачьей промышленности места, которое раньше называлось СССР.

Когда не было СССР, собаки уже были. У Александра Македонского была собака. И у Петра I была. И у Байрона (нюйфаундленд). И Наполеона вытащила собака, когда он свалился в воду, убегая с острова Эльба. Почти в каждой русской усадьбе действовал собственный заводик, улучшающий бег и нюх охотничьей своры, и, как вы помните, взятки брали борзыми щенками. Но в советское время жизнь людей сама раза в три живо напомнила собачью. И оттого собак поели. Остались в основном две собаки. Овчарки и неовчарки.

В деревнях каждая хата владела «кабыздохом», «тузиком», «шариком», выбирали из щенков имеющего черное небо: значит, будет злым (заблуждение), собака жила в будке, хлебала помои. Если кусала соседского ребенка, получала от соседа малокалиберную пулю в лоб. Если никого не кусала, хозяйские дети вешали ее в лесу и, когда кончала дергаться, скидывали в яр. В смиренной природной деревне, сызмальства режущей свиней и рубящей кур, даже последнему дураку не пришло бы в голову счесть «тузика» членом семьи и выцеловывать его харю. Но это в деревне.

В городах собак держали «или некрасивые девочки, или придурковатые мальчишки», как заметил один ветеран-собаковод. То есть люди, которые хромали. Да и кто из нас ходит ровно? КЮС — клуб юного собаковода: слова, дорогие многим. Кюсовцы изучали породы, выгуливали собак стариков-инвалидов, никогда не звали собак человеческими именами (называли нечеловеческими, навроде Джек, Бетти) и копили копейки на покупку общего щенка, его растили по месяцу у каждого, учили, а когда выра-

стал — торжественно везли его на заставу в Карелию, ходили в наряд и вручали пса пограничникам. И пес служил, и пес ловил нарушителей. Да, тогда ведь мало кто понимал, что большинство нарушителей шли не к нам, а бежали в обратную сторону, вот кого они ловили...

«Кюсовцы», их ангелы-хранители, подобные патриарху советского собаководства Любви Соломоновне Шерешковской, светились. Среди них мало места было негодяям и стяжателям. Была б моя воля, на высокие кресла я бы сажал лишь выпускников клубов юных собаководов.

Над сим дружным племенем реяла патриотическая служба, армия и милиция, и собака признавалась одна — овчарка. Щенок (самый) стоил полсотни. Из питомника «Красная звезда» — пятнадцать. Собаководство называлось племенной работой — выполняли план, клуб следил за количеством вязок и здоровьем щенков. Много не наживались. Если попробуешь — вышибут из клуба. А он, как Родина, один. Больше негде.

Иноземного собачьего мира мы не касались. Только в «кино про фашистов» из-за спины немецкого генерала выходил дог и глядел дурными глазами на советского разведчика. Диковины попадались только в столице. Так, в 1965 году в Кунцеве (если не врут) видели живого бультерьера. Но подруги ему не нашлось и, возможно, поэтому потомства он не оставил. Два советских гражданина Брежнев и Косыгин ввезли и разводили королевских псов — лабрадоров. Но диковины тонули в море овчарок, которых едва ли не миллион. И в океане дворняг, которых немерено.

И вдруг жизнь достигла семидесятих годов, разрядки, застоя: народ навострился ездить, зарабатывать, брать — не зевать, а некоторые и заворовали. Но тут же из магазинов куда-то делось все. Куда ж девать деньги? Никто ж не думал, что со временем пропадет и мясо — поэтому люди взялись покупать собак.

Люди взялись разводить собак; из некоторых квартир шибко запахло усталостью и загавкало в три голоса, а после успешных «вязок» и родов — в тридцать три. Начальство Москвы, Ленинграда (кратковременное название Санкт-Петербурга) и Киева попыталось грудью лечь на пробойну и постановило одной семье (квартире) иметь одну собаку (или кошку) оттого, что они гадят, жрут мясопродукты, от них блохи, и трудящиеся жалуются. Хотели и вовсе запретить собак в городах, но куда девать собаководов Брежнева и Косыгина с друзьями? Все тщетно — ярмарка началась. Людей обуяло породобесие: воткнулись в телевизоры, вцепились в иностранные журналы с картинками и гостей издали: какую ж собаку почетней иметь?

Влюбились в догов (дог подскочил до трехсот рублей — триста рублей! — если кто помнит, сколько это было), захворали боксерами — ах, лучшая собака для дома, не морда, а человеческое лицо, игрива до старости (на самом деле изрядно тупа в учении). Хватали маленьких, патлатых, расчесанных и голеньких, кривоногих. Хва-



тали борзых, и мучились потому, что борзой бы побегать, борзые задумывались, забывались и бежали, а хозяева клеили жалкие объявления на фонарные столбы. Хватали «афганов», и глупые прапорщики вывозили из Афганистана щенков, пока умные прапорщики не вдолбили в тупые головы: ты кого привез?! Настоящие «афганы» в Европе, а эти аборигены ничуть не краше нашего «среднеазиата», и ты их насильно никому не всучишь! Бросили всех и погнались за бассетами. Что ни певец, что ни актер — в каждом публичном выступлении: да, имею собаку, да, бассетта! А бассетт между тем собака охотничья. Неряшливая — очень. И себе на уме. У нее хозяин не тот, что с миской, а тот, что с ружьем, — она ходит за ружьем.

Отчего ж особачилось население? Марксист сказал бы, что умирала деревня, городские новоселы, треклятые лимитчики, таким макаром старались восполнить уходящую под асфальт Русь серых волков, Иванов-царевичей, говорящих псов и сорок. Кандидат наук написал бы, шо так зрела перестройка, шо люди хотели хоть кому-то высказать свое отношение гневное к социализму.

Мне кажется: то было время связей. Империя требовала службы, а служба состояла из ступенек, все стояли на своих местах. А население требовало жизни и искало пути через ступеньки, наискосок, к нужным братьям и сестрам: через починку автомобилей, собиране марок, увлечение собаками, увлечение воровством, семейное родство, футбол, теннис. Люди учились любить своих и навсегда отделять их от прочих — это была сладость, явность и непостижимость масонской логи. Только знак ее носился не перстнем, не татуировкой под левой рукой, а водился на поводке, и ему кричали «гуляй!».

Сейчас — другое.

Все бывшие солидарности — разнообразные, основанные на любви и работающие на неучтенном человеческом тепле — сменила одна солидарность больших денег. Если сегодня советник президента России покупает щенка шарпея за деньги, которые средний бедный не сможет заработать за год, то имя его хранит в секрете не солидарность собаководов, а солидарность больших денег.

Когда кто-то дернул за веревочку, и нас смыло в свободу, собаководы с точностью ищеек унюхали запах завтрашних улиц. Запах крови. Владельцев собак стало больше, чем собаководов. Жители свободной России спешно вооружались.

В квартиры поселили кавказских и среднеазиатских овчарок — пастушьих собак в теплой шубе, томящихся в городе от жары. «Кавказец» терпит хозяина лишь в единственном числе, остальные обитатели квартиры (и дети) должны говорить шепотом и уступать дорогу. Но и хозяином «кавказца» станет не всякий, а умный и ученый, а таких мало, такие «кавказца» не возьмут, и поэтому сперва гражданин бьет «кавказца» ногами, после первых укусов ходит по дому в кирзовых сапогах, после перелома руки подходит к «четвероногому другу» только с табуреткой в руке, а потом,

подумав о детях и запоздало поумнев, отводит невинного пса на пустырь, и знакомый милиционер стреляет «кавказцу» промеж глаз.

К дрессировщикам поплыли просители с питомцами: научите его «работать по человеку». Даже карликовые породы. Даже декоративные. Кто не знал — обжигался. По темному дворику гуляла девушка, смотрела на звезды, на свою собачку — собачка бегала, пока из-за угла не выступил гражданин криминальной национальности. Гражданин осмотрел окрестности и указал уточняюще мизинцем на собачку: «Пудэл?» — «Пудель». Гражданин больше не сдерживал гнусных намерений, но пудель тут же ему вцепился куда надо!

Люди прошептали: мы слабые, нам страшно. Торговля ответила поставкой из-за границы бешеного числа мастеров «работы по человеку» — бойцовских собак, бультерьеров, питбультерьеров — собак с «генерализованной агрессивностью», у которых проводки в голове часто замыкают. В некоторых странах разведение таких псов запрещено. В некоторых они служат только в полиции. После очередного убийства собакой хозяина или ребенка по Европе катится волна — запретить! Гости из Европы бледнеют у нас, где бультерьеров выгуливают без намордника и цепочки, где двенадцатилетняя девочка гуляет с ротвейлером и рядом бегают подружки, где тщедушные личности гордятся великанами псами, а когда пес бросается — тут же падают на зад, вцепившись в поводок, и лишь визжат: «Берегись! Берегись!» — и в этом визге слышится странное удовольствие.

Кроме облегчения от страха, собаки начали приносить деньги. Отечественные промышленники еще не имеют гектаров земли и питомников, «заводчики» (старые собаководы ставят ударение на «и», после «ч») работают в квартирах.

Покупают двух-трех ходовых собак женского пола. Или берут одну, подрошенную, «в аренду». Или берут «в долг», обещая отдать щенками. На выставках присматривается мощный кобель. Владельцы кобеля всей семьей пашут на своего кормильца, кормят лучше себя, выгуливают, вычесывают, чтоб все ахнули. Кобель вкалывает на износ, как швейная машина. «Вязка» происходит на территории кобеля, чтобы у него было спокойно на душе, на вязке присутствует инструктор, «вязка» повторяется для надежности, особенно перестраховываются гости из провинции, им особенно досадно уехать порожними. Когда кобель урабатывается, его ждет или гибель, или смиренная старость, смотря кто хозяин. Ему на смену ищут другого, для большего шика — ввозят из-за кордона. Не так давно в Россию «на службу» ввезен кобель немецкой овчарки, ценою восемь тысяч американских денег.

«Вязка» средняя стоит сто долларов. Или щенок будущего помета. «Вязка» редкого комондора — пятьсот. Или два щенка. Все зависит от спроса и договоренности. «Вязка» знаменитого в Европе и Африке ротвейлера Лероя в самом захудалом случае тянет на

тысячу, щенок от него оценивается в двадцать тысяч, а сам папаша — в полмиллиона.

«Заводчики» у которых выше шеи располагается человеческое лицо, «вяжут» своих «девочек» раз в год. Все остальные, обладатели рыл и харь, каждые полгода. И надо отметить, что некоторые «холодные» породы сами не рожают, им делают кесарево сечение, понижают, операция за операцией, шрам на шраме. Странно, что и такие деньги руки не жгут.

Одна комната (даже если она всего одна) устилается газетами и вскоре неотличима от звериного логова, смрад и грязь, кровь роже-ниц, гной больных, нечистоты, щенки, люди, блюда, миски, корки черного хлеба, измученные соседи, нашествия ветеринарного врача — это пещера, это каменный век. Это труд. Особенно тяжкий для людей, любящих собак, для них беременная «девочка» такая женщина, только с хвостом. Это труд часто безысходный: взяли трех мопсов, они наражали, а мопсов что-то не берут, а щенки уже сидят, и по сто тысяч не берут, а мужа уволили с работы, а щенков надо кормить — хорошую собаку объедками не выкормишь — вот что делать?

Там, где никогда не было советской власти, щенков оставляют шесть. По числу материнских сосков. Остальным не дают документов. Остальным — не жить. В доброй России оставляют всех, слишком нужны деньги. Деньги идут из рук в руки, без налога (в Голландии только содержание собаки ежемесячно стоит тысячу долларов) и вымогательства разбойников. Доит собственная, «собачья» мафия.

Вкусы русских богатых кроме советского страха питаются еще и видеокассетами: насмотревшись фильмов про бандитов, богатые больше всех полюбили мастифов и всю их родню (собака Баскервилей была помесью мастифа). Символ веры богачей выглядит так: машина «мерседес», часы «Сейко» (или «Роллекс»), собака мастиф. Богачи — единственная надежда России. Любопытно осведомиться об их пристрастиях. Выбор собаки, несмотря на породобесие, удивительно раздевает человека. Как и смерть.

Итак, любимейшие собаки лучших людей свободной России.

**Мастифы.** Цены на щенков от полутора до четырех тысяч долларов.

**Мастино** (неаполитанский мастиф) — любимая собака итальянской мафии, весит до ста сорока килограммов, детям знакома по сказке «Приключение Чипполино», взрослым известна как «живая машина для убийств». В античные времена охраняла рабов и выпускалась против неприятельской кавалерии. Невероятно сильна.

**Аргентинский мастиф** — «белый ангел смерти», водить обязательно только в наморднике и только на цепочке. Выведен для охоты на ягуаров и пантер. Нападает молча.

**Фила бразилейру** — вес до девяноста килограммов, охотилась за рабами, убежавшими с плантации, спиной к этой собаке лучше не поворачиваться. В России их пока четыре. Отца одной из собак

зовут Михаил Горбачев, знак уважения бразильского питомника. Славятся кровожадностью.

Комондор (хозяйка чемпиона породы Елена Лемехова) — щенок стоит тысячу двести долларов. Рост до того места, где сходятся лопатки, почти метр. Работает без хозяина. Ударом пасти перебивает волку позвоночник, человеку ломает нос, ключицу. Длинная шерсть защищает комондора от выстрела газового пистолета, того, кто выстрелил, ждет печальная участь. Испытания в России уже проведены.

Да, таких собак на Западе, Юге и Востоке до сих пор очень немного, там люди думают и считают, прежде чем делать. Но в России таких псов очень скоро будет пруд пруди. Мы всегда даем остальному миру бесплатные уроки на собственной шкуре. Пусть знают. Как может быть худо.

«Заводчики» только-только заполучили в свои пещеры выше объявленный товар, главный навар, самые пенки снимают пока «челночники», посыльные, за которыми прячутся товарищи серьезные, избегающие лучей света, с каждого щенка они имеют тысячу долларов, а щенков ввозится очень много. Порядок прост: собираются заказы, берутся задатки, и купец перелетает границы и приземляется в Чехии, Венгрии, а чаще всего — в Польше. Невольно призадумаетесь: сколько дряни за русскую историю приплыло к нам из Польши! Просто какое-то бесконечное возмездие за польские разделы.

Обратный ручеек замысловат. В Европу мы немного качаем коккерров, догов, далматинов, в Италию гоним английских бульдогов нашенского разведения — на месте им клепают итальянские родословные: примечательно, что Италия — первая страна, где наша собачья мафия обнаружила поделщиков.

Второй ручеек струится через Сибирь в Китай и Вьетнам — в места, где собак уже есть перестали, и власти наконец-то разрешили вместо ограниченных к рождению детей заводить собачек, туда везут маленьких, смешных, особенно пекинесов — пекинских дворцовых собачек.

Свои, домашние породы вроде борзых или сибирских хаски мы или распылили или потеряли навек, остался лишь черный терьер. Он — национальное достояние, к вывозу был запрещен, но не всякий пограничник отличит щенка терьера от щенка ризеншнауцера, тем более если в бумагах черным написано по белому: «ризен». Если нету денег, с терьерами ездят в Польшу, и они зарабатывают «вязками» хозяевам на покупки.

Я вам нарисовал чертеж собачьей добывающей промышленности, она не нуждалась в законе, жажда денег растоптала и разметала советский порядок — единый клуб заживо закопали, заплодился клубы, десятки, сотни, из сотен начали лепить ассоциации, федерации, лиги, союзы, каждая кучка собаководов обзавелась своим поддерживающим крючком в Кремле, и загремела война за деньги и власть. У России, где у собаководов сотни горластых

(порой темных) воевод, где любая родословная продается на Птичьем рынке с любой печатью, где собак разводят безудержно, торгуют бесстыдно, ввозят бездумно, вывозят бесследно, где патриотическую идею собаководства заменила идея «я куплю собаку, и она вас всех съест!» — у нашего Отечества нет надежды вступить в Международную кинологическую ассоциацию, поддерживающую порядок в мире, потому что Россия достаточно большая пучина, чтобы поглотить любой мир.

Кроме производящей собачьей промышленности, в России есть и ветвится обрабатывающая. За русские пространства бьются поставщики собачьего питания, и весной москвичи с опаской рассматривали в небе первый со времен бомбардировок Москвы аэростат. Это оказалась реклама фирмы «Пидигри», заполонившая даже небо. Я спросил у одного из лучших ветеринарных врачей: что хоть за питание? Вот он сказал: кормить собаку «Пидигри» — все равно что человека день-ночь питать сгущенкой и тушенкой. Родились первые собачьи магазины — «Представляешь, купила своему ошейник за сорок долларов, ничего не могла поделывать — ему так идет. Да и кому мне еще покупать?» Есть собачьи парикмахеры, слуги, которые выгуливают и моют, есть собачьи учителя. Последнее ремесло — несладкое.

Один учитель натаскал пса на квартирных воров. Решили испытать: как? Пса заперли дома. Хозяина попросили стать этажом ниже. Сам учитель начал терзать замок, изображая взломщика. Пес неистово залаял. Под шумок бесшумно отворилась соседняя дверь, сосед на цыпочках вышел за спину «взломщику» и точно ткнул его в затылок толстой палкой.

Нет только законных общих собачьих кладбищ с памятниками и фотографиями. Тайные одинокие холмики всегда были и есть. Не все смиряются со сдачей собаки на утиль-завод.

Но удобства и роскоши собачьих услуг доступны лишь богатым, образованным людям. Богатые темные и беднота кормят питомцев костяным бульоном и овсянкой. Оттого национальная болезнь собак России — гастроэнтерит, они худощавы. У многих находятся миллионы, чтобы купить щенка, но, чтоб вырастить его, денег не хватает: собаки грязны, шерсть тусклая, сыпется, ясные следы рахита, «наш» мастиф и «ихний» — как две разные породы. Зарубежные гости, которых изредка клубы заманивают на свои выставки, шалеют от воспитания наших собак — лают на экспертов, кусают зрителей. Выставок, надо отметить, у нас проводится бессмысленно великое количество — клубы гребут деньги с участников.

Лечение — самая черная отрасль собачьего производства в любезном Отечестве. Она недоступна одинаково всем и не подчиняется деньгам. И государственную ветеринарную станцию, где прием ведут пьяные, торгующие наркотиками врачи или фельдшер, которому велели надеть халат и пойти «разогнать очередь», и частные кооперативы, где вызов стоит до ста тысяч рублей, объединяет одно

увлечение: и те, и другие любят лечить здоровых собак. Какой-то смысл в этом есть. Здоровых собак действительно легче вылечить. Причем каждый врач, снимая пальто, вам скажет: «Собак я лечу из удовольствия. Зарабатывать я могу больше другим способом». Ага-ага.

Начальство полудиких клубов соединяется с дикими врачами и потрошит диких владельцев. То требует всех собак кормить пловом, то обязывают всех бесценных шарпеев лечить от демодекоза. Да, говорят, у всех шарпеев такая врожденная болезнь — демодекоз. Врожденная чесотка!

Совсем равняет дворняг и мастифов, богатых и бедных последняя дверь — смерть.

Собака или умирает сама. Или нет сил видеть слепое, истерзанное метастазами животное — и его везут на ветстанцию. Раньше убивали током. Берется такая вилка... Странно, что всех это пугает. Убитая током собака, как и пораженный током человек, ничего не успевает понять. Но народ нынче вежливый. Простят: уколите. Не понимают: никто ж не будет колоть наркотик. Колют дегелин, он действует на дыхательные пути. С виду собака спокойно засыпает. На самом деле кончается в страшных мучениях от удушья: все равно что душить ее руками или повесить на суку. Это мало кто знает. Такой секрет.

Русская обыденная жизнь богата секретами. На одной станции усыпляли по-другому. Принимали обреченных собак: да, усыпим, присутствовать не надо (есть такие, кто очень желает присутствовать). Вместо усыпления всех собак сводили в пустую комнату и держали там (вместе с кошками) без еды и воды. Тех, кто подыхал не сразу, раз в неделю забирали ловцы бродячих животных и отвозили к себе на базу. Удобно для всех: хозяева спокойны; ловцам — план, не надо бегать с петлей по мусоркам, и станции хорошо — на машине ловцов можно подъехать до прачечной, сдать халаты. Неловко получалось, если собака сбегала. Семья отплакала, откапала сердечные капли старикам, утерла слезы безутешным детям, поставила под стекло фотографию, взяла щенка, чтоб заглушить боль, сидят вечером, пьют чай, и вдруг в дверь скребется еще живая — живая, развалина, преданная, это — я.

Да, новая жизнь — она непривычная жизнь, бывшим советским пионерам ее не понять, советскими понятиями не охватить. Совершенно нечему умиляться. Все оказалось воспроизводством или производством. Или торговлей. «Собачники» любят говорить: мы особые люди, если собака болеет, мы можем позвонить среди ночи друг другу: нужен шприц, лекарство! Если болеет человек, я не думаю, что даже «собачникам» есть кому позвонить среди ночи. Теперь следует помнить, что правильно воспитанная собака не любит людей. И не следует верить в то, что собаки (особенно новые для России породы) не тронут ребенка. Даже ребенка своего хозяйина. Все бывает теперь.

Вообще невесело представить, что случится, ежели мы так оголодаем, что выбросим всех своих собак на улицу. Что будет тогда? Хотя, наверное, не так страшно, как если мы так оголодаем, что сами выйдем на улицу.

Это раньше все было просто, ясно. Когда я был мал и, как и все, изнурял бабушку мольбами: возьмем же щенка, овчаренка! — я однажды понял: не уговорю, надо успокоиться и подождать. Собаки не пропадут. Желание мое не пропадет. Единственное, что нужно, — подрасти.

Теперь я так не думаю.

## С САЧКОМ ЗА «МЕРТВОЙ ГОЛОВОЙ»

Как всякий здоровый гражданин Российской Федерации, выпускник средней, а не вспомогательной школы, всю свою жизнь я знал: в России водятся две бабочки — капустница и моль. Поэтому на охоту я собирался весело, свистел и пел, пока накануне отъезда не услышал в вечерних новостях: в Якутии за ловлю охраняемых законом бабочек арестован некто Грибков.

Я почувял нехорошую сухость во рту и позвонил напарнику:

— Сергей, Грибкова повязали. Как же так?

Андреев вздохнул:

— Мне уже звонили ребята из Питера и Воронежа. Грибкова, скорее всего, сдали конкуренты. Якутской милиции бабочки до лампы. Не волнуясь.

В голове моей закружились казенный дом, сума, тюрьма, но заворачивать оглобли поздно. Надо ехать.

Сто десять лет назад вулкан Кракатау вырвало огненной начинкой Земли, и небо над островом Ява усыпали крылатые, разноцветные облака. Люди поднимали головы, вздрагивали: это души тридцати тысяч погибших летят к Господу. Но это летели бабочки.

Бабочки — быстрые, скорость сильнейших ночных достигает пятидесяти километров в час, и законы Божьего мира, придумавшие загадочную цепь «яйцо — гусеница — куколка — бабочка — смерть», велят им лететь за тридевять земель. И «бражник» промахивает полторы тысячи километров, и «монархи» зимуют на единственном плато в Мексике, где под их тяжестью ломаются ветви в руку толщиной, а в Карелии объявляется редкая даже для южных черноморских берегов — страшнейшая из бабочек: «ахеронтия атропос», на ее темном пушистом плащике отчетливо желтеет череп — «мертвая голова», и если она залетает в комнату к больному, значит, все — кончено. Но лучше ее не ловить — «мертвая голова» начинает кричать резким, каким-то кукольным визгом. Ученые мира век полосовали скальпелем эту ничтожную тварь, не в силах понять, откуда исходит этот жуткий крик.

И черт его знает, отчего в южнорусских землях надумали обозвать чешуекрылых «бабочками» — словом, больше подходящим к

сарафанным хоровам и женскому отделению районной бани. То ли дело высокоумные англичане — «баттерфляй»!

Бабочки — маленькие: трехмиллиметровая ненавистная моль, особенно паскудный вид которой — «шубная» — открыт только во время второй мировой, вот-вот.

Бабочки — большие: уроженки Бразилии и Юго-Восточной Азии «совка агриппа» (индейцы убивают ее из луков), «сатурния атлас» и птицекрылка «Александра» — в тридцать сантиметров (особенно драгоценная — десять тысяч долларов). В 1906 году коллекционер Мик, гуляя по Новой Гвинее, вдруг заметил на берегу реки эту летающую «шляпу» и судорожно схватился за дробовик: свалю! Он-то и нарек ее верноподданнически — «Александра», в честь супруги Эдуарда VIII, а уж потом соратник Дарвина Альфред Уоллес заполучил в сачок оранжевую птицекрылку.

И еще десятилетия минули, пока везучий Бернард д'Абрера смог сфотографировать неприступную «Александрю». Без толку пролазив по джунглям, снимаемая с шеи трехсантиметровых муравьев, платя бешеные суммы туземцам, обжигая руки о жгучий кустарник, он сдался, плюнул, а когда в день отъезда вышел промяться на кофейную плантацию — прямо перед ним на ветку опустилась волшебная «Александра». Короче, повезло.

Убийцы бабочек — птицы, их не пугает даже рожа совы на крыльях бабочки «колиго»; убийцы — паучье отродье, муха ктырь, жалящая с лету и высасывающая плоть; убийцы — «наездники», насекомые-упыри, всаживающие свои яйца в гусеницу бабочки. Вылупившийся сынок «наездника» медленно пожирает гусеницу изнутри, не трогая жизненно важных органов — их он оставляет напоследок. Убийцы бабочек — люди.

Там, далеко в зажавшейся Германии профессорам и любителям нечего ловить в своих заасфальтированных и осушенных землях. И там нема дурных выкапывать из кучи конского навоза пуговку жука за ноль целых шесть десятых марки или гоняться с сачком по горным склонам за крохотными крылышками ценой в пять марок. Для этого существуют русские ловцы. Немцы пишут длинный список: надо — наименование, количество, цена. И суют его в лапу коробейника, зевающего посреди зоологического базара в Праге, и коробейник пулей улетает в Москву, согревая душу валютным авансом. И трезвонит межгород в скромной квартирке плотника завода «Полимерконтейнер» города Новомосковска Тульской области Андреева Сергея: послезавтра в Домдедово!

А в Домодедове в наши ладони падают авиабилеты, суточные, список потребной добычи, рукопожатие и, главное: мы получаем кроки. Это только школьникам, дебилам и милиционерам кажется, что бабочки летают повсеместно, ежели написано: «в Таджикистане водится «аполлон», то можно смело разевать рот посреди любого кишлака и туда задует искомую бабочку. Нет, дорогие друзья. Места надо знать — кроки. Надо иметь секретную наводку: Амурская область, поселок Облучье; остановиться для проживания в



школе-интернате — завхоза зовут Степаныч, ему каждый вечер по сто граммов натошак и после еды; на шестом километре дороги на Благовещенск свернуть влево до дубовой рощи, дальше спуститься в овраг, сто шагов вперед от ручья, ловить на северном склоне вокруг серого камня в пасмурный день с шести утра и только в начале августа. Это сокровенное знание. Им и раньше особо не разбрасывались, а теперь, когда ловцы начали обслуживать господ, кроки — главное оружие успешной охоты. И поэтому не стоит переписывать приведенный мною адрес — я сочинил его для примера.

Поселок оказался русско-нанайским, пьяным, грязным. Единственный милиционер кивнул на наши сачки: «Ну что, приехали за новым «мерседесом?» Да. Всем кажется: мы едим легкий хлеб. В шесть утра при полном параде мы уже вступили в дубовую рощу. Что надо? Сачок из тюля на метровой палке. Отдельные ухаки используют трехметровую рукоять и такие колпаки, что можно накрыть теленка. Палка — можно из бамбука, титана, стеклопластика, но у отечественного охотника чаще всего без выкрутас — лыжная палка. На боку висит морилка — банка с куском ваты, смоченной эфиром. Воняет, особенно на жаре, будь здоров, аж башка трещит. Конечно, можно добычу глушить и бензином, и ацетоном, но тогда бабочка костенеет в корявой позе агонии, а от эфира одно удовольствие: крылышки сложила — будто спит.

Еще ловят на приманку: бабочек магнитом манят оструганные доски, древесный сок из свежего надлома, моча, экскременты, распластанные трупы сотоварищей. Заграничные деляги искушают жертву сильным запахом сыра, бананами, ямайским ромом, а последний выверт — создают в пробирках пахучую смесь, смахивающую на всеильный аромат бабочек, ищущих любви. Ну ясное дело, от наивных любовников отбоя нет: летят и — играют в ящик, на острые иголки.

Как охота выглядит со стороны? Со стороны охота напоминает выезд дурдома на природу. Вообразите себе, читатель, заросший склон оврага площадью шесть соток. И вот по этому склону ходят, бегают, прыгают двенадцать русских мужиков, две русские дамы и один гражданин Республики Чехия. Все — в панамках, штормовках и кедах, и у каждого сачок веселенького цвета, размером от известного противозачаточного средства до царь-колокола. Слышны легкое пыхтение, сдавленный мат и женские охи. Каждый желает набить свою сотню бабочек, и у каждого злобный взгляд — кто же ожидал встретить в только ему известном месте такую ватагу! Мы ловим, а сверкающая многометровая лента муравьев отгаскивает в муравейник трупы отбракованных жертв. Муравьи вообще любители причудливо пожрать. Вот понравилась им гусеница «ориона», они скопом таранят ее в муравейник и там — облизывают. Но не убивают: живи!

Длится дневная охота часов до пяти. Врать не буду: я махал сачком только до полудня, потом падал в кусты с ноющими рука-

ми-ногами и с единственным желанием после всего этого быть похороненным на Родине. Бойчей всех был чех. Мы ловили рядом с ним неделю, и на моих глазах чех упал в голодный обморок.

Бабочка, как можно предположить по ее прозвищу, существо довольно безмозглое: не соображает, что сейчас ее будут околпачивать с самыми низменными целями. Но очевидно это, когда ты дома, на диване, листаешь цветной определитель бабочек Пауля Смарта и плюешь семечки в кулек. А когда в поле ты сигаешь с протянутым сачком, как раненая рысь, то веришь: все она понимает, она тебя дурит! Сколько проживу — не забуду, как я ловил своего первого «махаона».

Вышел по весне на поляну — вот он летит, из-под ног! Опытные ловцы бегают лишь в особых случаях, ну а я по дурости немедленно рванул за «махаоном», что есть сил. Почти догнал — осталось-то всего полтора метра! — а ближе никак. Я — лечу. И он, паскуда, машет своими крылышками семь раз в секунду, будто твердо знает, что сачок мой — на метр. Мы так нарезали четыре круга по поляне, что у единственного зрителя, привязанной к колышку козы, начала кружиться голова. Ну а дальше «махаон» махнул в гору, и я — в гору, по каменюкам, отгоняя прочь печальные картины: переломанные ребра и тихое, одинокое умирание в расщелине. На самом гребне я его уже почти доставал и занес для победного взмаха сачок, и «махаон»-то как раз запнулся, как вдруг слизнул его поток воздуха и вмиг унес куда-то вниз. Унесло его. А я не могу слезть с горы: ни тропинки, ни ступенек. Торчу, как религиозный отшельник. Два часа слазил. Старуха, что за козой явилась, удивилась: «Сынок, да у нас тут скалолазы тренируются».

Я присел к луже морду охладить, глядь: над лужей «махаон» заигрался с капустницей, так винтом и кружат: вверх-вниз. У меня ладони зачесались: сядут? бить влет? А если собою, и паршивая капустница в сачке «махаона» оттреплет? Так «махаон» упал пить, а капустница умелась. Я, раскорячившись, как беременный таракан, тихохонько двинулся к «махаону»: в правой руке — сачок, в левой — пинцет, Чем же его хапнуть? Пинцетом? За голову? А ежели взлетит? Старуха сочувственно молчала, коза сочувственно бляела. Вот, рукой подать, но «махаон» метнулся в сторону, я, конечно, махнув впустую сачком, ринулся следом, как вдруг «махаона» сцапала вынырнувшая из куста стрекоза. Ну ее-то я заловил первым же движением, она и растрепать «махаона» не успела — поймал!

Что делает ловца великим? Знания. Какую травку любит бабочка твоей мечты. Где она спит, где греется, где ест, где ищет пару. Что «аполлон» стремителен, но боится леса и падает без чувств от малейшей тени, «фельдерю» же без разницы: кружиться по полю или ломануться в лес. «Сатурния» прячется на высоких кронах и никогда не положит двух яиц на один лист, только по одному, и только на самую нижнюю ветку, уткнувшуюся в траву, чтобы сбегать

речь потомство от трихограммы, и откладывает яйца не на посадки сирени, а на отдельно стоящий куст, в стороне — так надежней. Она все понимает. Надо знать: если бабочка окрашена под кору и села на дерево прямо перед вашим носом, будете хоть два часа лупиться — не увидите ее, а если начнете ходить кругами вокруг дерева, бабочка такими же кругами будет ползать от вас, оставаясь столь же невидимой. В таком случае надо ловить вдвоем. В общем, много чего надо знать!

И посему: каждый ловец еще и коллекционер. Человечество изучало бабочек прежде всего силами любителей с сачками-рампетками — отцом энтомологии был тихий сельский учитель Жан-Анри Фабр. Ловцов подкармливали всякие там венские двory. Русское население заразили коллекционированием бабочек потихоньку-полегоньку заезжие гости: так Карл Федорович Фукс подвигнул на собиpание Сергея Аксакова. В советское время собиратели нарождались в недрах Дворцов пионеров, пленялись книжками «Детгиза» о бабочках и соединялись в тесное братство через переписку: «имею бражников и парусников, некоторые книжки и иголки из Чехии, что вы можете мне предложить?»

«Номер один» советских коллекционеров был вовсе не какой-нибудь там племянник члена Политбюро или посол в Новой Гвинее, как вы успели предположить, — нет, это покойный Анатолий Васильевич Цветков. Собирал он с одиннадцати лет и хоть не достиг высшего образования, но вырос в главного инженера фабрики «Природа и школа» — таким образом имел легальную возможность ездить и ловить. Обычную добычу — для школьных пособий. Редкости — себе. Коллекционеры не собирают все. Это как с марками: кто собирает лениниану, а кто голых баб. Величие Цветкова состояло в том, что он собирал всех бабочек Северного полушария. Маленький шуплый голубоглазый, с вечно обгоревшим носом, с бамбуковой палочкой, он ходил в одиночку, чего избегают даже опытные ловцы, и сумел добыть «автократора» (единственный экземпляр этой бабочки, таинственно похищенный из собрания Санкт-Петербургского университета, всплыл на Дрезденском аукционе и немалыми усилиями был возвращен восвояси).

Цветков дожил до семидесяти семи в деревянном доме, увешенном огнетушителями. Всю коллекцию — сто тысяч экземпляров — он завещал Московскому университету. Нотариус после каждой объявленной цифры стоимости разевал рот: «Новыми деньгами?» Насмерть сразило его, что одни только булавки цветковской коллекции стоили тридцать две тысячи рублей. Общая же стоимость коллекции превысила миллион. Сейчас даже трудно представить, что такое был миллион рублей во времена, когда Горбачев отвечал только за сельское хозяйство.

Перед смертью Цветков мало кого допускал к себе, опасаясь умелых нечистых рук, хотя крупных краж на общей памяти было немного. Стажили выставочные экспонаты во время энтомологиче-

ского симпозиума, да один ученый товарищ выбрал элитные экземпляры из собрания Новосибирска и увез в Санкт-Петербург. Но его-то нашли. Воровство коллекционеров особое: нам с вами трудно понять и не надо судить. Воруют ведь не на продажу. Не для того, чтоб купить ящик одеколона и шерстяной набрюшник. Воруют для коллекции. У каждого в снах порхает «бабочка мечты», какая-нибудь там «голубая морфида» — она может «закруглится» полжизни собираемую коллекцию, и вдруг ты видишь ее в чужих руках, а она прямо шепчет тебе: возьми, возьми скорее!

Зачем они собирают? Во-первых, потому, что тронулись, у каждого свой «бзик». Во-вторых, науки ради: социалистическая энтомология «волокла» и «петрила» только во вредителях — вредная черепашка, яблоневая плодожорка, блохи на сусликах; а любители тащили все остальное. В-третьих, собиранье останавливает время: каждая бабочка воскрешает лес, лето, утро или день, радость. Собиранье напоминает деятельность донжуанов, но только оно долговечней, донжуаны свои коллекции не могут засушить. У любого из нас не наберется и дюжины воспоминаний о радости. У ловцов бабочек их — тысячи.

Трагедия коллекционера: лопнули трубы отопления среди зимы, и всю коллекцию накрыла плесень. Или напал музейный жук. Или кожеед. И безошибочно сожрал все самое дорогое.

Коллекционеры, как и прочие люди, как и бабочки, когда-то умирают — их накрывает невидимый сачок, и смерть прячет в коробочку очередной экземпляр, Смерть — страшно необразованна или необыкновенно трудолюбива: она собирает без всякого направления. Все подряд.

После смерти: счастье, если вырос сын-соратник, если семья догадается отнести дубовые ящики с бабочками в соседнюю школу или детский сад, но скорее всего — мусорный ящик. Радость не поймешь, если умер человек, умевший ее объяснить.

А мы охотились. Андреев набивал свою сотню, а я свои двадцать штук. Бегал я шустрее напарника, но меня охватывала необычайная грусть при виде свежих медвежьих троп и внушительных нагромождений отходов звериной жизнедеятельности, а когда от ручья доносился грозный рев — сачок сам собой выпадал из рук. А к вечеру еще больше скучалось: жрать хотелось, и вообще надоедает «блындать по комарятнику», да еще трава на кочках шурутит: значит, охотятся змеи. Я как-то рассекал за лимонницей и очень так умело захватил ее сачком; не в лобешник вдарил — так можно экземпляр подпортить, а со спины, вдгон — описал сачком положенную петлю и только нащупал в кисее добычу, как чую: кто-то мне в пятку колотит. Глядь: придавил я полосатую такую, как галстук, змейку, всего-то в локоть длиной, она тычется пастью в резиновую кеду, а прокусить не может. Небольшая такая. Щитомордник Палласа. Укус смертелен. Сачок отлетел в одну сторону, я — в другую, бабочка — в третью! Два дня после этого я охотился в сапогах, но больше не осилил — тяжело.

К шести мы возвращались в гостиницу, Андреев вычеркивал из списка выполненный заказ, а я лежал мордой в подушку и бессильно думал про того германского козла, который сейчас дремлет в гамаке, кушает шоколад, щиплет бабу за бока, а мы, понимаешь, тут. Торчим, как сливы в шоколаде. А в десять вечера мы либо выползли на привокзальную площадь под фонари, либо развешивали две гостиничные простыни под забором воинской части, сверху навешивали лампу-переноску, местный лейтенант за бутылку «запихивал» лампу от тайной розетки — и начинался ночной лов. Сидишь в сырой траве, простыни адской пастью мерцают в глухой тьме, и на них белой метелью несет пушистых ночных бабочек. Они сбиваются в единое серебристое мохнатое, шевелящееся одеяло, мы снимаем нужные экземпляры и жмуримся: бабочки осыпают плечи, руки, щекочат глаза, тыкаются в шею, уши, нос. Уже в гостинице, когда вслепую раздеваешься, чтоб залечь на положенные четыре часа, вытряхиваешь бабочек из-за пазухи, из карманов — и они собираются на синих оконных стеклах, легко дребезжат жесткими короткими крылами до самого утра, пока будильник не прозвенит. И так без выходных.

Да, скажете вы, то ли дело на Западе... Да, на Западе другие песни: бабочками торгуют магазины, в питомниках, где растят гусениц, компьютеры отслеживают нужную температуру и влажность, закон охраняет небольшие заповедники с редкими травами и насекомыми, за поимку охраняемой бабочки ловца ждет штраф, а за ловцами стоят могучие торговые фирмы, ибо зооторговля по обороту уступает только торговле наркотиками. На Западе буржуи любят созерцать разноцветные крылья еще с начала века: тогда придумали опрашивать бабочек в золото и драгоценные камни. Семидесятые годы, движение «зеленых» и мечты «назад к природе!» добавили жару. А мы вон даже иголок нержавеющей сделать не можем. Тьфу!

В Советском Союзе не было ни торговли, ни цен. А что ж было? Был натуральный обмен. Люди списывались, договаривались и отправляли посылки. Никто не обманывал, обиды случались лишь из-за добротности товара: я тебе первый сорт послал, а ты мне обтрепанных! Сейчас посылочный обмен помер, поскольку «сухих насекомых» суверенные государства через границы не пропускают, Это ведь огромная ценность, не какой-нибудь там состав с танками или обогащенный уран! В давнишние времена никто по бедности нанять ловца не мог, исключая только сына Никиты Хрущева — на него, говорят, работали бригады.

В семидесятые годы народ расшевелился, сообразил, что неплохая бабочка может стоить пять рублей, некоторые умники слетали за границу и там подержали в руках «не наши» деньги. Эти первопроходцы и основали в вольные времена узкую артель коробейников, начавших зарабатывать бабочками на жизнь. И, видимо, неплохо, если их взаимные «обидки» уже проявились сдачей в руки милиции соперничавших ловцов. Коробейники смикитили:

с какой-то радости мы будем сдавать товар посредникам — надо самим ехать в Европу. И приехали. И разложили на зоологических базарах и аукционах длинные-предлинные «матрасы» насекомых: нате!

На умытом и чистом Западе к тому времени торговля крутилась чинно и благородно, как семейное чаепитие: Латинскую Америку «держали» перуанцы, Азию, конечно, японский клан. Европу и Северную Африку — немцы, а немцам наступали на пятки наглые и жадные чехи. Россия оставалась нетронутыми райскими кущами, где монопольно летает «тенедиус артикус». Никто особо не рвался в страну, измученную политикой, голодом, войнами, ни у кого не чесалась рука половить «глауконому» в Таджикистане. Явление в мировую зооторговлю русских было равносильно заходу на бал дворянского собрания племенного борова. Россия с привычной дурью в один сезон переломала все мировые цены, завалив желающих дармовым товаром. Упали цены даже на «автократора», летающего только над Гиндукушем. А в то время в тех местах еще летали «стингеры» и боевые вертолеты, и появление посредни афганской войны товарища с сачком и в белой панамке сперва бы вызвало легкий смех, потом его обязательно бы подвесили вниз головой и очень долго били бы по ребрам, чтоб он скорей признался: кто его послал? Потому и цены на «автократора» были очень высокими.

Обалдевший Запад завизжал азбучные истины: кто ж так торгует, свиные ваши рыла! Надо цену держать! Надо регулировать! Но разве можно остановить нашу рать, когда хочется есть и произошло первое прикосновение к валюте, крохотное количество которой при пересечении государственной границы вдруг превращается в большое число рублей. Говоря по-марксистски, Россия прицепилась к мировой экономической системе как сырьевой придаток, колония, и завертевшиеся приводные ремни разбросали по окраинам бывшего Союза неутомимых ловцов. Внутренняя торговля не завязалась, поскольку местные золотозубые татуированные буржуи кавказской и других национальностей собирают оружие и трупы бывших друзей, им пока невдомек, почему буржуи Запада считают, что бабочки в кабинете — это и красота, и престиж, и вложение денег. Отечественные представления о красоте у богатых россиян пока на уровне проститутки в норковом манто с бутылкой «Амаретто» за пазухой в салоне «мерседеса».

Ага, скажете вы, собака, красотой попрекнул, сам вон сколько бабочек изничтожил, браконьерская морда! Я не считаю, что коли у нас налево-направо лупцуют всмятку людей, то не время плакать о бабочках. Да, по советским законам мы — браконьеры, волчары, погань, ибо сто четыре вида бабочек Советского Союза пыталась спасти советская Красная книга, и при захвате подобных нам на месте злодеяния за одного «махаона» полагался штраф — червонец, за одного «парнасиуса» — полсотни. При умножении объявленных сумм на уже известную вам дневную

норму и дальнейшем умножении на «кол-во» дней выйдет ущерб, который в советскую эпоху можно было возместить лишь за десять лет исправительно-трудовых работ. Отцы Красной книги грозили: а то будет как в Англии. Там ловцы подчистую выбрали «хеодеса диспар-диспара» — пропал вид, убавилось Божьего мира.

У ловцов символ веры иной: писатели Красной книги бабочек видят лишь в окрестностях университетских Воробьевых гор и в «исчезающие» заносили их наобум. И в Англии «хеодеса» умертвили не коллекционеры, а мелиораторы, осушившие болота, истребившие щавель. Одна бабочка кладет сто яиц, и как бы ни размахивали сачками несколько сотен русских ловцов, весь вид они не переловят. Даже больше; ловцы — единственные, кто может подсказать места для заповедников, незаляпанные человеком. Только в большевистских представлениях заповедник — это сто гектаров леса за зеленым забором, куда генсек заезжал угробить кабана или три «генсека» заехали угробить Союз. Заповедником может быть неприметная поляна, овраг, заросшая обочина, которые ценнее Беловежской пуши.

Бабочек уничтожают, но кто? Десятилетиями новички искали редчайшего «аполлона» в Таджикистане, а люди умные ездили на единственную, заросшую клубникой, болотистую просеку под Козельском. Год за годом ловили, а прошлым летом самолет просыпал ядохимикаты — просека мертва. Трава растет, сосны стоят. А бабочки не летают. Под Серпуховом, на границе Приокско-Террасного заповедника, на крохотном мыске, вдававшемся в поле, порхали «атласы», пока председателю местного колхоза не пришла под кепку идея поле спрямить: всего-то два раза трактор прошел, туда-сюда. И теперь растет свекла. Расширяли Симферопольское шоссе, а на ночь технику собирали на ближайшей поляне, так и не узнав, что уничтожили бабочку-голубянку, которая для нас ценна не меньше поголовья лосей, бобров, спикеров и осетровых. Я вам громогласно назвал три места, существование которых совсем недавно хранилось в тайне. А теперь можно. Никто туда не поедет.

Еще я бы хотел упомянуть великих охотников. Большинство их — чужеземцы, поскольку в Отечестве в основном ловили людей. На ловлю насекомых времени не оставалось. Итак, англичаин Вайят поймал под Кабулом одного из первых «автократоров». Штандфусс написал ценную книжку и за четыре часа ночного лова подле Рима собрал две тысячи насекомых. Легендарный Ле Мульт, начинавший со ста франков в месяц, добыл вторую в мире «хелену» — первая рассыпалась в прах от неосторожного движения музейного работника. Ле Мульт придумал вплетать бабочек женщинам в прически.

На прощание ловцы собрались и немного «отметили». Затем ради развлечения в стеклянной посудине устроили гладиаторский бой фаланги и скорпиона. Скорпион вертелся юлой, отбиваясь

ядовитым хвостом, как плетью. Фаланга подступала к нему, выставив две длиннющие челюсти-кусачки. Изловчилась и броском хватанула скорпиона за основание хвоста. Со слышным треском пережевала его, освободила вторую кусачку, с размаху впоролась ею в брюхо и, жадно раздуваясь, принялась высасывать потроха. Так же «замочила» и второго. Когда фаланга, уже шатаясь от раздутого брюха, подбиралась к третьему, я ушел спать.

На вокзале к нам подошли местные мужики и спросили, откуда мы. Андреев вздохнул, почуввав невероятную тяжесть объяснять, что помимо поселка Облучье есть еще и Тульская область, и город Новомосковск, и выдохнул простейшее: из Москвы.

— Ну вы там Ельцина, Хасбулатова видите?

— Ага. Каждый день.

— Мужики, ну вы скажите, в общем, они там, это, думают-то про нас? Мы тут ведь совсем, да как, ну ты видишь...

Греки называли бабочек — душа. Психея, дыхание. Им казалось: человек умирает, душа бабочкой вылетает из погребального костра в небо или в ад. Души порхают сновидениями, тенями, слетаются на кровь, вихрем призраков движутся за божествами. Так что порой непонятно: кого же мы ловим или кто кого.

Чтоб не расставаться вот так, смутно, я на прощание расскажу, как верно убить бабочку, когдаймаешь. В России делают грубо: сдавливают пальцами грудку, только не следует давить сильно. Европа потоньше: кончик карлсбадской булавки или серебряной проволоочки окунают в раствор никотина и протыкают бабочке грудь. Можно для этого же использовать тонкое стальное перо. Еще способ: наколоть живую бабочку на булавку, а головку булавки поместить в пламя и нагревать, пока бабочка не умрет: ноги ее перестанут двигаться и расправятся. Но если бабочка, почуввав в груди раскаленное железо, от боли поднимает крылья, надо вынести булавку из огня. Дать бабочке успокоиться и начать все сызнова. Еще способ: поместить бабочку в банку к свежим раздавленным листьям лавровишневого дерева или к горькому миндалю — она погибнет от паров синильной кислоты. Еще можно убить струей обжигающего пара, направленного точно в грудь. Свежайшее достижение: укол аммиака. Вот все. Кровь у бабочек белого цвета.

Трудно сказать, кто придумал накалывать небесных бабочек на иглы, мне иногда кажется, что Понтий Пилат.

Самолеты летают удивительно быстро. Я почему-то предполагал, что не смогу первое время легко засыпать: закроешь глаза — и полетят сверкающие бабочки. Но через девять часов мы уже были в Москве, коробейник отсчитал нам причитающиеся пятьдесят процентов, принял товар. Андреев побежал на Павелецкий вокзал — ему в понедельник на работу, а я остался в пустой, обманчивой, неживой Москве и все забыл, и все еще забуду.



## ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ

*О Боже, перед кем везде страдания наши  
Как звезды по небу полному горят,  
Не дай моим устам испить из горькой чаши  
Изгнанья мрачного по капле жгучий яд.*

А. ФЕТ

По всему выходит: скоро вернется Александр Исаевич Солженицын.

Что-то сбилось в работе судьбы, рачительно размещавшей русский золотой запас в иноземные кладбища. Что-то сбилось, и — уже вернувшийся, осмотренный, зачисленный — он вдруг решил приехать сам по себе, поразив всех простой до грубости мыслью: а ведь он еще жив. Это так странно.

Зачем ему ехать? Звезда — она на небе звезда; ей, если и позволительно на землю, так и то падением, закатом, возвращением праха, книжками, юбилейными чтениями — что нам до человека? Ведь он успел взойти в небеса, его далекие от большинства книги сорвали далекие от большинства лавины; все, что суждено великое, — позади, зачем искушать судьбу? Неужто мало мы закрыли в последние годы книг, у в и д е в тех людей, которыми дышали; неужто мало повисали наши приветственные кличи без ответа — убедившись, что грязи не убавилось, гости спешили восвосяи.

Зачем унижаться участием в стране, где пророков не знают, где места в истории берут нахрапом, как места в вагоне гражданской войны: поезд подается под посадку, а там уже сидят! Нет, места еще остались, потеснимся, но только рядышком с нами, милости прошу к нашему шалашу, приезжайте! Зачем унижаться в стране, где высокое имя Сахарова не заслонило от панибратства новоявленных смельчаков и хамства вчерашних бессовестных ухарей?

Зачем размениваться на медь? Даже если он возвращается, не улучая расчетливо момент, чтобы сорвать куш пожирнее и выгодней расторгнуться, даже если он возвращается согласно лишь внутреннему внезапному сердечному толчку, отстранившись от суетных сверганий и судилищ, все равно: его ждут в строй или на плаху. Одни потирают руки: он им вмажет! Вторые точат любовно рогатину: он нам вмажет, а мы ему — под ребро! И все хлопают, согласно молясь: скажи, ну скажи, пусть он только скажет!

Хотя возвращение Солженицына-человека уже есть тревожное, мучительное трагическое слово, каким всегда было возвращение или невозвращение израдника (изменника) в Отечество. И слово — пророческое, поскольку можно предположить, что израдник — последний в славном ряду. Поскольку можно поспорить, какой он писатель, но неоспоримо его крещение церковью великой русской литературы, ее апостолами, святыми, богословами, старцами, еретиками; церковью, от которой остались только ключи — у него, у

старого ключника, и в звоне их ржавой связки в его единственной руке еще явлен дух нашей религии — литературы, искания нашего Христа — Пушкина, которые академик Веселовский назвал — «исканием человечности в царстве силы».

Возвращение Солженицына приговаривает: искания завершены.

А начались искания, когда зашевелилась, застонала в муках приподняться грозная, неведомая махина новой империи — царство силы, и князь Андрей Михайлович Курбский, неудачно сразившись с врагом, отъехал в Великое княжество Литовское и посылал Грозному гневные «эпистолы», уже тогда задав смертельную высоту разговору «израдник — царь», уже тогда отделяя от жестокого государя доброго государя, народ и империю, уже тогда требуя человечности.

Курбский вопрошал от имени «заточенных и прогнанных без правды»: «По что, царю, сильных во Израили побил еси и воевод, от Бога данных ти, различным смертям предал еси?»

Курбский предупреждал: «Он есть — Христос мой... судитель между тобою и мною» — и сулил царю, что увидятся лишь на Страшном суде — там разберутся, лицом к лицу.

Царь, вонзивший посох в ногу посланнику Курбского, тоже закладывал традиции на века. По поводу Страшного суда отшучивался: «Кто же убо восхоцет такового ефопскаго лица видети?» Укорял изменника ставшей в будущем бесценной в таких случаях фразой: «Славы ради мимотекущие нелепотную славу приобрел еси...» На обвинения отвечал вообще вечным утверждением: «Кровию же никакою праги церковные не обагрям; мучеников же в сие время за веру у нас нет...»

Первый изменник, изгнанник, поклявшийся: «И да не мни мене молчаща ти о сем: до скончания моего буду непрестанно вопияти со слезами...» — заставлял царство силы думать, искать ответ, утверждать себя. Начало было положено, а человек Курбский не вернулся. Магические два десятка лет, положенные судьбою русским изгнанникам, прожил на чужбине, переводил книжки, способствовал православию. На год помер раньше Грозного.

Дальше в 1824 году действительный статский советник Тургенев Николай Иванович — семьсот душ в Симбирской губернии — уехал от греха подальше в заграничный отпуск. Был и умница, и масон, и готовая замена Сперанскому, но Александр I уже многое предвидел и отпустил, и советовал через Аракчеева держаться осторожней, и подчеркивал: не как государь советую, а как христианин.

Следующий государь повелел вернуться Тургеневу из чужих краев для объяснения по делу декабристов. «Хромой Тургенев» не явился, попытался объяснить в письменном виде. Его немедленно приговорили к смертной казни, а после конфирмации смягчили до вечной каторги. Тоже в письменном виде. Николай Иванович ответил царству силы книжкой «Россия и русские». И скорбно заключил: «Я никогда не предполагаю вернуться в Россию».

Следующим отправился пробужденный декабром Александр Герцен. После арестов, ссылки подался из царства силы в 1847 году подальше от «зимних глаз» императора, пережить «морозную полосу». Кто-то вспоминал его проводы: «Точно съехались на похороны и ждут выноса». По высочайшему повелению его лишили всех прав состояния и признали вечным изгнанником. Герцен продолжал диалог, прервав столь ненавистную Ленину «рабье молчанье». «Колокол» читали при дворе, все думающие думали про Герцена, ехали на свиданья. А на стене у Герцена висела картина, изображающая «Полярную звезду» в виде дамы в старинном русском костюме, парящей дамы. Император Николай слышал этот голос и писал: «Два мошенника, которые пишут и интригуют против нас».

Герцену говорили возвращающиеся: «До свиданья». А он молчал. Вообще очень сомневался на людях насчет Отечества: «А как подъедешь к границе да увидишь полосатый шлагбаум и маленького солдата в большом кивере...»

И все было не зря: 26 августа 1856 года царь простил декабристов. Слепые, седые старики поехали домой плача. Возвращения на Руси всегда незаметны для общих глаз, но это всегда победа человечности. Ну что ж, пора было просить. Николай Тургенев попросил помиловать. Ему разрешили приехать, вернули чины, ордена. Он проехал по России с сыном Альбертом и дочерью Фанни. А через две недели — назад. Ничего не произошло, а если и было что-то, но не то он потом скажет в сердцах: «До чего ужасна эта страна». Не вышло.

Герцен не попросил. Хоть и писал царю: «Ты победил, Галилеянин!» Хоть надеялся очень: «дело движется, движется, и правительство оказывается втянутым в перестройки, которые когда-нибудь его доконают». Хоть стонал порой: «О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской». Но не просил, только вспоминал иногда, как уезжал, как «вы не догадались, что это были похороны, вечная разлука». Да ронял, что людям свободным достаточно своей правоты. Церковь предложила отлучить его да предать анафеме. Царь не дал.

И потихоньку Герцена — история обычная — перестали слышать. После польского восстания «Колокол» стал терять читателей. Молодежь, поросль Герцена не любила — шампанское, видели ли, пьет, кушать хорошо любит. Следующий изгнанник — Чернышевский, чью фотографию хранили и Маркс, и Ленин, приезжал поговорить, но они друг друга не поняли. Герцену показалось — «себе на уме». Чернышевский ахал про себя: «Как отстал...»

А в 1882 году за Чернышевским притапал полковник в новом мундире, в передней топтался пристав, прислуга печалилась: «Бедный барин». И через два года на помосте черного цвета, у столба черного цвета палач скинул о Николая Гавриловича шапку, поставил на колени да переломил над головою шпагу. А куски бросил в разные стороны. Чернышевский за своими двумя

десятилетиями поисков человечности поехал в Сибирь, но все продолжилось.

И как же мы неправильно понимали этих людей, вязались к ним в родню; и мы их видели именно такими, как мы, людьми ненависти, и с тех пор нам кажется недостаточным возвращения изгнанника, ежели он не полез на вокзале на броневик и не кликнул: «Вперед, ребята!»

И мы вытаскивали их из истории, мы их жалели, мы их вырывали, как дикий мед из древесных дыр, не постигая, что жизнь неотделима от смерти и царство силы неотделимо от исканий человечности в России, а теперь, когда мы оглянулись назад, за помощью, вдруг понимаешь, что эти люди имеют гораздо больше общего со своими собеседниками одноименными, все они Николаи да Александры, они по одну сторону, а мы — по другую. У них есть общая тема для разговора, о чем им с нами-то говорить, когда мы запутались в памятниках, фактах, ругани, топчась по себе, вдруг обнаружив, что идет в нашу сторону одинокий старик Солженицын — что он в нас ищет и хочет найти?

В тех людях, изгнанниках явных, и тех, кого правительство цепко держало; и тех, кого мучила и убивала странная любовь, и в дальних краях, обжитых по своей воле, было много античного рока, судьбы, много от непонятного, неведомого предназначения России, чьи границы и рубежи — это не верстовые столбы и чиновные морды, а то, что нельзя объяснить. Это то, что покидает нас, всегда в любую минуту, как детство, и мы всю жизнь ищем, пытаемся вернуться, — и тщетно.

Они и имена себе какие выбирали, у Герцена — Искандер. Победитель! Македонский, который искал царства по себе, стремился к Океану, преобразовывал время, не крал чужих побед и говорил, что конечная цель победы — не делать того, что делают побежденные. Вот эти люди и были разностью между побежденными и победителями, утверждали ее, с чего мы взяли, что они — варвары, что они ненавидели Империю, и могли бы, возвратившись, тыкать всех высокомерно носом в грязь и цедить: «Ну чё вы тут наворочали без меня?» Да, они были безвозвратными потерями, но нашими; своему времени они были необходимы, ему приносили свою жертву, неустанно споря, а теперь спор между человечностью и царством силы окончен не за явным преимуществом, а просто потому, что некому спорить, и возвращение Солженицына именно в момент упадка и бессилия, безнравственности и оскудения это подчеркивает.

И счастливцев Герцен, мнившийся нам страдальцем, писал: «Мне кажется, что есть нечто в русской жизни, что выше общины и сильнее государственного могущества... Я говорю о той внутренней, не вполне сознательной силе... которая на царский призыв образовываться ответила через сто лет колоссальным явлением Пушкина,

о той... силе и вере, которая живет в нашей груди... Эта сила ненарушимо сберегла русский народ... Сберегла вне всяческих форм и против всяких форм, для чего? Покажет время.

Герцен умер в 1870 году. В ночь на 21 января. Время показало очень скоро.

Герцен простудился на демонстрации. Умирал, а на улице играла военная музыка — он очень ее любил. Ударял рукою в такт. А потом вдруг сказал: «Отчего бы не ехать нам в Россию?» И в бреду все ехал куда-то на дилижансе.

На его похороны придет Николай Тургенев, но на этаж не поднимется — трудно. Прах Герцена из Парижа потом перенесли в Ниццу. На могиле поставили скульптуру.

Тургенев умер через год, на своей вилле под Парижем, похоронен на парижском кладбище.

Ходили сплетни, что Чернышевскому предлагали продаться за сорок тыщ. Он сам каторгу поначалу воспринимал весело: дескать, хорошая реклама, скоро назад. Через двенадцать лет заточения к Чернышевскому прискакал офицер, прискакал в город, где Чернышевский не мог отойти от острога далее пятисот шагов, жаловался на скуку и безделье, тосковал по семье, копал канаву, чтоб подсушить озеро, писал ночами и писал, а потом все сжигал. Ему запретили касаться в переписке посторонних предметов, кругом были гиблые места. Офицер протянул Чернышевскому бумагу: если государственный преступник подаст прошение о помиловании, то будет определенная надежда. Чернышевский сказал: «Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер — а об этом разве можно просить помилования?» Следующий офицер прискакал только через девять лет, подал ему личное письмо, наверное, от государя. Чернышевский прочел и заплакал, засмеялся и заплакал: поздно. Его повезли в строгом секрете, в дровнях, везли быки, подальше от мест, где он ходил по грибы, замотав лицо от гнуса полотенцем. Сначала — в Астрахань, потом — в Саратов. Там молчал, достойно молчал. Переводил «Всеобщую историю», мечтал появиться еще в Москве. Какие века, судьбы скольких изгнанников, борцов коснулись его, когда врач шептал ему, бредящему: «Покажите язык», а он в ответ: «Я бы вам его показал, да вы его вырвете».

Эти вырванные языки наших колоколов...

В гробу он лежал в глубоком покое в окружении роскошных венков. Возвели склеп. Потом — железную часовню.

Вот так они все вернулись.

Так непривычно для нас.

В советскую пору хватало беглецов, да мало было изгнанников, и споры с властью удалились от вековых традиций, спорщики расходились лишь в тактике, в том, в какую сторону ехать броневика, а отношении человечности и силы они стояли друг друга, да и адресат «эпистол» неопределенно и зловеще расплылся — от диктатора до многомиллионной массы, слепо кричавшей «вон!», «и слу-

шать не хотим!» — о таком народе стало трудно заботиться, Отечество вдруг теряло всякую реальность.

Позже изгнанников стали казнить безвестностью, в те времена по обе стороны границы стали плодиться мифы вместо истории, и спор тихонько ушел с извечного направления на долгие и гневные взаимные обличения и споры, чей миф к истории ближе и кто чем занимался в таком-то году; между победителями и побежденными медленно начала стираться разница. И также начала стираться разница и в народе — все ведь связано, и когда мы трагически отделились от реального бытия, и эта пропасть разверзлась, очень сложно стало решить: а кому же каяться, ежели между властью и покорным народом очень плавные и ровные переходы — литая громада, не поймешь, где концы, и выходит: либо всем каяться, либо никому. Выходит — никому. Значит, мы не вернемся вовсе.

И вот тут выяснилось, что последний изгнанник дожил до нас. Жив Солженицын — пример человеческого воскрешения из веры ложной на родные берега русского языка, русской культуры, русской истории — он протоптал эту тропинку, он развелал путь.

И если в свое время Герцен писал, что «тридцать лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между нескольких мальчиков», то теперь Россия будущего существует исключительно между нескольких стариков. Только они смогут показать дорогу мальчикам. Тогда последнее возвращение изгнанника обретет высокий, прекрасный, спасительный смысл и избавится от смирения простого ухода в отчужденную землю.

Провидец — это не тот, кто видит дальше всех. Это тот, кого все вдруг замечают и верят ему. И если мы соединим свои надежды и по достоинству оценим мужество возвращения Солженицына к нам, готовым немедленно заиграть и засалить, надломить, как старую карту, заткнуть в президиумы и коллективные подписи грустных бумаг, если мы сможем подняться и поднять его своей надеждой выше реальных политических черт, симпатий и причуд, тогда мы ощутим главное в его приходе — приход человека, не вождя в португее и не вождя с кошельком, и не вождя с кличем, а человека-путника, на посохе которого еще осталась наша родная, нам неведомая земля, человека, который студеным родником сможет отрезвить разгоряченные души, опьяненные запахом крови и жестокостью воли. Тогда мы выстоим и переждем беду, ощутим единство духовное с предками и потомками, присягнем на верность историческому пути, и этот человек сможет огненной нитью соединить разные полюса свар и обид и осветить нам дорогу, и тогда вновь зазвонят над нами колокола невидимой нашей церкви, русской литературы, которая не оставляла нас никогда, только — мы, и свершится пушкинское видение блудного сына:

Так отрок Библии, безумный расточитель,  
До капли истощив раскаянья фиал,  
Увидев, наконец, родимую обитель,  
Главой поник и зарыдал.

И это только кажется на первый взгляд, что возвращается Солженицын, это мы ищем пути возвращения, не именно к этому человеку, а к той земле, которую ему достало сил не покинуть и сохранить под ногами для нас. И если каждый из нас — слово истории родного края, будь то ругань, призыв, бессвязный лепет, похотливый всхлип, тихая молитва, робкий оклик, то остаток жизни Александра Солженицына может стать не последней точкой написанных им книг, а первым словом на новой странице вечной книги России, которая сможет со следующими словами обрести свою силу и муки неустанного изгнаничества и неутомимых поисков человечности и человека и в себе, и вокруг.

## КОНЕЦ ЦВЕТА

### *Русский рисованный лубок*

Милостивая государыня,

Вы, верно, совсем от других ждали писем? В незримой отсюда дали Вы неутомимо повергаете наземь других несчастных. Не до меня. Да и я все реже думаю о Вас, и, если не врать, личико Ваше совсем точно и не припоминаю, и писать Вам не брался никогда. Пишешь — свое вспоминаешь, читаешь письмо — чужое вспоминаешь, вот и выходит: переписываться — значит старить друг дружку — что за охота? Тем более даме милой и... Впрочем, Вам нет нужды в моих увереньях, да? Кивните головой. Кивнули? Ну-ну.

И я не украшал Вашим именем конверта, пока не отпускала душу тоска, пока жил в точности по стихам Стефана Яворского «Взирай с прилежанием, тленный человеке, како век твой проходит и смерть недалече». А чуть досталось радости — и не сдержался, вспомнил Вас. Про всякую радость думаю: Вы послали. Никак мне от Вас не отделиться, раб.

Радость минутная, детская — книжка с картинками (велите дать Вам платок, чтоб утереть слезы от смеха). Книжка — «Русский рисованный лубок». Издательство (называется «Русская книга») устроило небольшой прием, открыли по такому случаю тихо дряхлеющий в ремонте Исторический музей, там я, во-первых, задираю голову на росписи; во-вторых, спотыкался в захлавленном проходе о самую настоящую пушку и с мальчишеским волнением ощупал ее от казенника до ствола, а потом еще приседал за щитком, представляя за окном фашистские танки — старушка вахтер, глядя на мои приседания и прицелы, просто не знала куда звонить.

А книжку я рассмотрел уже дома. Предисловие про иконописные школы и старообрядцев глянул и дальше уж вздыхал над тем, чего в нас нет, — над краской. Мировой город принимает нас как сирот-погорельцев — работать за жратву и учебу. В

наших котомочках немножко есть: денег, терпения, умишка, силы, но — бесцветные, нету красочки. Той, которой народ рознится от другого. Что хлеба много едим и водку пьем, — это ж не краска.

Вот она играет в лубке: золотая, красная, черная, синяя, зеленая. Вот она — цветет народная душа в справедливости, знании, вере, обрядах, песнях — во всем, что текло от старца к малому: как хату строить, как честно прожить и смерти не убояться. Как беспризорны мы без краски своей, как ночами страшно.

А лубок весел: тесный листочек — спасенье от скуки, где все не зря и подписано: луна, солнце, огонь, смерть праведника и смерть грешника. Праведник ангелам улыбается, а из грешника черт крюком душу вынает, а тот аж руками всплеснул: что ж ты делаешь, собака! Ангел в сторонке плачет. Это — первое, искреннее, не лукавое движенье души, ясно все: раз труба — значит, Божий суд, для — для писания правды, книжка — просвещение; куст, объятый зимой, — старость.

Все немые на лубке, но мне говорят, я ж вижу — пальцами грозят, глазами делают: понял? Этот мир — он твой был, ты — отсюда, какого рожна ты там сидишь? — когда у нас такая радость, и рай за красными стенами, и на любом дереве яблоки висят, и выются узоры: из листа — цветок, из цветка — лист, мчатся гонцы, а мертвые нестрашно лежат, словно дремлют усталые, рыбьими косяками, после битвы, замер пламень из пушек, парят бабочки, жуки, птицы с веточками в клюве, Авраам с жертвой, адское чудовище вяло зевает — все заплясали, прикинулись шаловливыми чертями, лодырями, стрельцами, а блудного сына под руки провожают такие дюжие и румяные молодки, что сдохнуть можно от зависти! Все кажется — так рядом, как книжка — в руках, вот. Вот умоюсь в гремачем ключе, и захлопает крыльями на дереве птица Сирий. А выйдешь в город, вспомнишь себя и задохнешься от бессилия.

Вот у меня племянница Дашка, это она мне говорит о бессилии, о бесцветности моей. Она, моя любимая девчонка, семь лет, в город мировой скачет быстрее, чем я. Я-то еще слышал отголоски смеха зеленоглазых русалок, качавшихся на ветвях, читал про плакун-траву, проросшую из слез Богородицы, про разрыв-траву, вскрывающую засовы, знал, что в середке народной души есть место Алатырь-камню — отцу всех камней — и острову Буяну с девицей, лечащей раны, с ключами воды мертвой и живой, а Дашка знает все виды «жвачек», во сне видит куклу Барби, смотрит только бесконечные американские мультки и по три раза одну серию бестолковых тягомотных фильмов из латиноамериканской жизни; она взахлеб впивается в рекламу, просит купить книжечку комиксов, где у героев дикие для меня имена, и когда я конвоирую ее в школу, она что-то напевает под нос, я вслушиваюсь и с ужасом понимаю, что напевает она салат из ломаных, перековерканных английских слов, выученных с телевизора, — и что я могу ей



сказать? Ее манит сладкий голос мирового города, его форма одежды, язык, ухватки; наша жизнь пала, мы идем в чужую, не оставив за душой даже красочки своей. Душа продана — и не помним когда.

Бреду за Дашкой (еще кто кого ведет!) и злюсь на себя за злость: чего злиться? Просто боюсь бесцветного простора. Откуда-то помню: Вселенная покойная оттого, что внутри ее дрожит уравновешенное противодействие исполинских сил — а вдруг именно нашей красочки не хватит, и весы — тронутся? Вдруг не хватит миру Иван-царевича и дурака, бабы-Яги за забором из человечьих костей, что хватала людей, как цыплят, кладов, «аминь, аминь, рассыпья!», спасительного против ведьм чернобыльщика, и царя, созывающего на совет бояр, генералов да думных людей: голову ему на плахе снять али в ссылку сослать — вдруг не хватит русского духа?

Я, смотря на свою Дашку, вздыхаю: от кроссовок до шапки на ней нет ни одной русской буквы — все это заслуженно. Ну чего злиться, надо было умней жить. А то вечно делили народ и граждан: крещеньем, Батьем, расколом, Петром, образованьем, коммунизмом, капитализмом — запас не вечен, не осталось ничего. Народная культура ушла под воду озера Светлояр, оставив лишь колокольные отголоски, печальные, погребальные, как пение райской птицы Алконост, — «глас ея услышит, пленится мыслями и забудет вся временная и дотоле вслед тоя ходит, дондеже пад умирает, глас ея слышати не перестает» — лишь умереть, но не воскресить. Можно шептать стенам, что это я пробирался на Лысую гору, это я знал спасательные заговоры — от похмелья, на подход под царевы очи, чтоб девицу присушить, и заветный — от тоски неведомой, от грусти недознаемой, от кручины недосказанной в ретивом сердце — все можно бросить за околицу, это я — я! — сосватал цареву дочь, ходил в царевых одеждах в царских хоромах, и пил-ел заодно с ними, да принаторел и взмолился: «Пустите меня на родину, у меня, слышь, есть мать, старушка бедная». Можно рассказывать сказки.

Воскрешать — Божье дело. Это подлая ложь, что, если поднагужиться, явится обратно добрый царь, любивший народ православный, богатые крестьяне, культурные рабочие, гуманные капиталисты, умницы и меценаты (если б не изверги-большевики!). Поэт может восклицать: приди! — усопшей подруге, но он не обрадуется, когда в его окошко стукнет кость в ветхом саване. Опасно звать прошлое — оно может и вправду прийти.

Да, все было совсем недавно. Но — больше нет, никогда.

Моя бабушка — ну да, как и у всякого, у меня была бабушка, для суетных своих работ я записывал ее на магнитофон и морщился, половину слов не понимая — какой засоренный язык, сколько областных слов, перековерканных, жаргона. А когда сел разбираться — все слова эти нашел в словаре Даля. Это я — дикарь, это я забыл свой язык. Через поколение! Никто не вино-

вен, это просто так паскудно стонулась в беспутство российская жизнь и раздавила мою бабушку, и отец поэтому стремился вырваться в город, я стремился вырваться в Москву, Дашка моя, гимнастка, первоклассница, бежит весело дальше — на свободу, воздушным шаром.

А когда моя бабушка умирала — мы собрались вместе, все вернулись обратно в хату, чужими, только Дашки не было — она гуляла свой День рождения. Я приехал позже всех и стоял за спинами трех сыновей моей бабушки, ей говорили, что вот внук приехал, она молчала; так и не знаю: поняла? Она умирала, как умирали предшественники наши веками — от неведомой болезни, когда кругом стоят люди и ждут: чья возьмет, и единственное, что могут — подать воды. Они ее все время спрашивали: «Может, тебе что надо?» Бабушка моя, ее звали Мария Ивановна, раз пришла в себя и с какой-то задорной горечью ответила: «Того, что мне надо, у вас нет».

Да, милая моя, есть сладость в писаниях писем, есть сладость в старении, есть сладость в присоединении к большинству. Как-то в детстве, намучившись от зубной боли, я облегченно подумал: умрешь — и зубы не будут болеть никогда. Хочу вам написать, что время не единогласно. Все люди делятся на учитываемых временем и не учитываемых. Неучитываемых время тащит с собой насильно, без спросу. Остановиться нельзя, не то что назад. Вот такое моё последнее вранье, написал, что вышло, развлек вас, хотя совсем не о том, хотел написать о радости, о книжке.

Совсем уже осень, и утром совсем зима, хотя в этом городе всегда одинаковые улицы, машины, люди, фонари и не видно неба, хотя Вам, любовь моя, совсем нету дел до этого, вы гуляете при любой погоде, моя незабвенная, курносая, смешная, зубастая, путоглазая женщина с железной косой. Меня извиняет лишь то, что не требую от вас ответа. Того, что мне надо, у вас нет.

Желаю Вам всего и всех, с глубоким почтением и совершеннейшей преданностью честь имею быть, милостивая государыня, Вашим покорнейшим слугой.

## ЖАТВА

(А. Дюрер «Апокалипсис»)

Спите, ветер вернул стужу и лед — ночь несет холода, смыкая черную пасть, — ползет озоновая дыра в небесах над Европой и смерть стекает уловимо, водой в незакрученном кухонном кране — кап, кап. Люди спят, их хранят от ночи семьи, дома, праотцы и герои, боги, держава, исписанные листы и раскрашенные полотна, на которых святое семейство и римская стража веками меняют камзолы, латы, кафтаны, и Божья мать дает грудь младенцу Фландрии, Италии, Германии — так спасаются от ночи, спят; и

только здешнему холостому племени грандиозных осечек на постель опускается смерть — и нечем спастись. А смерть уклончива, поет, что далека, но — стоит дотронуться до краешка дня, до перышка минуты — холодеют пальцы: она рядом, и хоть тотчас начнет слепой свой обход — толкать, и хоть слаба, рука иногда соскальзывает, память верна: обязательно вернется. Чтобы доделать. Молчим, слова о ней — бравада, тверди по ночам: «Я — умру», по дням рассчитывай, как шатаются зубы, замолкает сердце, и входись в предбанник земли, как начинает жатву насекомая тварь, прогрызая щеки, как желтеют и рассыпаются кости в прах, запахиваются погосты, стораает солнце и сжигает землю, и блинчик нашей Вселенной сворачивает чья-то, еще смертельной рука и сует в кромешную пасть — ты считаешь это по дням, но не можешь поверить.

Бог сделал меня по своему подобию, и, как и он, верю, что я — Божий сын. И что еще воскресну.

И великая история промахнувшегося народа болела завтрашним воскресением. Мы не просто так! — витало над каждым деянием; не просто так — никогда не жили, а все готовились к жизни; не просто так! — а веру сохранить, земли собрать, успокоение штыками принести, указать спасительный путь, помолиться во вселенской церкви, обогреть нищих мировым пожаром, задавить свастикку; не просто так! — ради золотого щита на воротах Царьграда — а все осечка да осечка, единственный выстрел только и вышел — себе в лоб.

И одинокая смерть. Народам уже наскучили крикливые барактаны в колыбели в крови, молоке и нечистотах, и для Христа мы — рядовая волюсть с ежемесячной отчетностью; и доступный Господь Бог — президент Буш, он решит, перебежусь ли зиму; и только хлопаем дверьми — хоть вздрогнете! — нет, смерть — самое личное дело, она — просто так.

Корявые цифры вгрызаются, держат, а круглые катятся из-под ног, суля Страшный суд. 1000 год — зарыдала Европа: «Некоторые дарили все свое имущество церкви и проводили всю жизнь в покаянии, большинство предавалось распутству...»

Страшный суд встречали первым днем 1500 года. Альбрехт Дюрер, сын ювелира, родившийся и почивший в знаменательном Нюрнберге, посередине жизни рисует «Апокалипсис» — пятнадцать листов. В Германии, опутанной княжескими границами, под дряхлой властью императора Максимилиана, во времена бессильного похода на Рим, принесшего лишь один трофей — сифилис, и рыцарских грабежей, земля устала плодоносить, явился мор, пророки обещали конец света, люди бросали поля и жгли ведьм.

Мы предали теплую пазуху Христа, и наша последняя ладья не покинет пределы церкви с ударом колокола. Мы взорвали закопченный революционный паровоз, в чью топку кидали жизни ради будущих светлых стоянок. И мы одни против тающего тысячелетия и гибели, и забытая книга отворяет на небесах последние строки,

потому что когда мы устаем читать, мы всегда смотрим в конец: чем же кончится?

И тянем руки, как на материнские шаги, к самым неуверенным и темным из библейских слов, где все на ощупь, догадка и лик Христов — едва, едва... чтобы преодолеть изнуряющий, нескончаемый путь от обыденной смерти к Страшному суду — эти неприступные полметра от безнадежной головы к спасительному сердцу по тонкой цепочке нательного креста, — путь, легкий детям и старикам, и неподъемный в полдень жизни, запачканной с небрежностью черновика, и слезным прорицанием, что «начисто» выйдет кратким: инициалы, фамилия, год рождения и еще один год. Когда смерть завораживает слепотой своей силы — она, как ночь, невосомое время; поутру любая ночь — не дольше мгновения; и тогда все, что после нас, хоть века веков, также не больше мгновения. Но так, если проснуться. Если ждет Страшный суд. Если нет — мгновением становится жизнь. Лишь коротким замыканием меж полюсов вечности «до» и «после», пш-шик!

И любим тебя, Апокалипсис, мы — хранившие песни и сказки в церквах, отделенные от них, мычим страсть свою, помогая руками — иди к нам! Для нас ты — Дед Мороз, хоть на самом деле дворник дядя Коля, но мы хотим верить и верим, лишь бы выручил, спас, лишь бы подарок. Твои огненные реки и клокочущая сера для народа моего привычны, как выезд на картошку. Ты — родной, ты — из детства, и ты еще не знаешь, как могут стонать от страха нищие толпы на ползущей, проданной земле, засыпая на ядерных зарядах, от каждого дня годами чувствуя смертный хлад, и что перед этим твои красные драконы и саранча, свернутое небо и шестикрылые звери, что кони — бледный, белый, рыжий и вороной — побеждающий, убийца, мор и смерть — разве новинка, мы знаем их пофамильно! И напрасно пугает ветхозаветный Исайя: «Рыдайте...» — обещает лютого Господа, и каждый побежит в свою землю и будет пронзен, и разграблены дома, и вой гиен в увеселительных заведениях. И напрасно так стонет пророк Даниил: «И восстанет в то время Михаил, князь великий... наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди...» На Руси это скука последних известий. Но лишь ты неслышанно щедр: за обычные муки ты даришь сверкающий град, ты хоронишь смерть, ты — верный будильник, не дашь разоспаться навек.

И запоет труба, и все, что жрало, грызло нас, что хранило прах любви и боли, вернет, раскроются верные книги, и не канет бесследно ничто, а зачтется, и бесы и ангелы растащат пшеничные зерна — по правую руку, плевелы — по левую, мы достигнем сверкающего престола всем колхозом, очередью, демонстрацией с иконами с красными стягами, мы — заочные отличники адских глубин, честно глянem в сверкающий лик: мы хотели как лучше, никогда не трубили, что выше всех, ели только себя и не грабили, за все грехи получили при жизни. А Господь закроет руками лицо,

будто в думе, а сам прошепчет меж пальцев: «Дуйте скорей по правую руку. Живо, пока не хватились!»

«И увидел я новое небо и новую землю...»

Но мы не ломанемся бежать поперед всех, а выберем камушек почище, опустимся и заплачем, глядя со стороны на сверкающий град, где ворота не закрыты, а улицы из чистого золота, где сверкает река жизни: «Апокалипсис» — добрая книга, а в конце добрых книг плачут, но «отрет Бог всякую слезу», и «смерти не будет уже», значит, не кончится все лопушком из могилки, значит, можно раскинуть руки, не чувствуя могильного льда на кончиках пальцев, и мы будем плакать потому, как русский человек, даже сомневаясь, рад посочувствовать.

Ученики пытали Христа: когда? Ну когда жатва-то? А он предвидел: «...Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», — а наш край славен именно тем, что каждый божий день приезжает какая-то новая падла в португее и на ЗИЛе, взлезает на броневик, бочку или трибуну и начинает окончательно разбираться с жизнью, отделив овец от козлов, не зная ни смерти, ни Бога и лишь тыкая револьвером в каждого второго и вопя, что окончательная правда за ним. Страшный суд — это слишком божеское дело, чтобы на земле им кто-то занялся, кроме особенно большого подонка.

«Претерпевший же до конца спасется» — тот, кто вытерпит, сохранит человеческое лицо, которое обращено к черной пасти смерти, кто будет утверждаться наперекор ей любовью, трудом, а не самосудами толпы, кидающей очередного виноватого с колокольни, кто непосильное бремя уходящего времени отдаст Богу, а себе оставит спокойные ночи незапятнанной совести и радость чистых рук даже в смутные времена.

Художник германский Дюрер, наверное, первым среди германцев нарисовал (никого тут нету?) голую бабу. И здорово вышло, и похожа на бабу. Но время было тяжелое, инквизиция, классовые битвы, Реформация не за горами. Поэтому он рисовал голых баб, а подписывал «Ведьмы» — и проходило. А прожив половинку земного срока, он вдруг что-то понял про жизнь и нарисовал пятнадцать листов о бессмертии — о заветных крылах несчастных, обреченных, плачущих людей. Но назвал «Апокалипсис», потому что время было такое.

## ТОТ СВЕТ

Опять я подхожу к девяти утра. Дорога вползает на Швивую горку и зовется утром Верхняя Болвановка — я путаюсь в строках. И в улицах таганского купечества пахнет тополиными почками и пылью. Вот и жду на горе, как самый верхний болван, отгораживаясь отодранной от лавки газетой от дворника, прицельно машущего мне в ноздри, а утро греет спину, и о прохожих гражданых думаешь светло: мастеровой спешит, дедушка доставил

в садик комара с белой косичкой, и кулак его готов «дуплиться» за раздолбанным доминошным столом, стекаются хозяйки в лавки вслед за купцами, гусары смотрят с моста, как катер пихает баржу, а меня лапает за ворот и бросает через дорогу в сырую темную тень тихое «Ну, пошли». — Хороший такой парень, сегодня он Мишка, догоняю и влипаю в его спину, мы прохожие, и какой-нибудь болван думает о нас светло, а мы работаем только в тени. С девяти утра. Когда город умирает. Дочка не знает. Жена боится заразы. А работа моя — мало хорошего. От формалина — беззубый рот, пары нюхаешь от клиента. Читал: энергии много они отбирают! Ходишь-ходишь, шагометром считал: за день — пятнадцать километров.

Вызовы ползут пятнами: соседний район спины не разгибает, а через улицу мы в потолок плюем. Значит: жди. И к нам подвалит. Считай, что беру: шприц на двести пятьдесят «Жане», иглы, скальпели, карцанги, нитки, канистра с формалином. Грим — губки подмазать. Крем «Балет». Одеколон «Шипр». Квартальный проездной. Халат. Я его в ведре с хлоркой кипячу. Не тащить же его в ванну или прачечную.

Клиент пожилой, с заключительного этапа. Кто не велел в морг везти, чтоб не валяться там. Чтоб врачи не резали. В Ленинграде только всех под чистую в морг — с блокады приноровились. А я думаю: дома все-таки по-людски.

Сперва звонок. Диспетчер: где клиент? Домашний? Заморозку будете? Диктуйте. Я поехал. Звоню. «Здравствуйте, заморозочка!» Тут важно дверью не ошибиться.

Весь день солнце. Мишка ест хлеб с розовой колбасой — постелил газету на чемоданчик. Откусывает огурец, третий раз кивает: «Будешь?» И трескает яйцом о чемоданный замок. Скорлупа под нос тяжелобокким голубям.

Хорошо б сейчас арбуз. Чтоб лопнул от первого ножевого стиснутого движения и вывернул наружу студеное искристое нутро. Или дыню с потресканной змеиной кожей. Чтоб легла от колена до колена. Можно ведро черешни — вытаскивать синеватые или золотистые грозди за палочки... Штук пять еще не доспевших груш. Тяжелых. В кулак. Глубокую миску розовощеких абрикосов с темно-коричневыми косточками, с редкой мокрой щетиной. Я бы съел тазик клубники. Она кислая, если сразу столько. Добавить сахара! Малины могу. Много. Если не давленная. Смородины. Литр. Два. Яблоку могу просто очень много. И орехов. Грецкие, правда, скучно колоть и выковыривать. А вот фундука...

— От фундука во рту пахнет. Если больше стакана, — замечает Мишка и свертывает газету. — А помнишь, продавали воду с сиропом? Если богатый — эх, можно было купить с двойным! — и он из кармана достает следующий адрес.

Летом. В палатке стоял грязный газовый баллон с резиновым шлангом и две стеклянные трубки с сиропом. На липких краниках сипели осы и летали тяжело вокруг — продавщица отмахивалась.

...Вот я прихожу: давайте справку о смерти. Позапрошлый год забыл справку глянуть, а старушку дети сами притюкнули, и соседи после доказали — два с половиной месяца меня тягали: заодно с детишками или по дурости своей.

Дальше: хозяин, захоронение свободное или родственное? Родственное? Дайте гляну удостоверение, что имеете право похоронить. Понял. Нет, я не раздеваю. Вам же диспетчер сказала: это не входит в прејскурант. Сами. Разрежьте одежду, снимите. Подложите простыню, клееночку хорошо. Желательно на столе. Так, мне надо тряпочку, тазик с теплой водой, банку с холодной. Теперь я прохожу в комнату, где клиент. Плачут не сильно. Это при социализме концерт давали, чтоб денег меньше спросил, а теперь: плачь не плачь. И я раздеваюсь только в этой комнате, можно у вас стульчик попросить? — иначе шапочка или куртка могут улететь: скорбящие друг у друга берут будь здоров.

У старообрядцев клиент в рубахе с пояском — головой к двери. Мусульман набивается сразу полный дом, старики четки считают, ковер вывешивают с вытканной мечетью, белым углы закрыли, укутали клиента с головой, просят сильно не резать — да не буду я! У настоящих евреев клиент на полу.

А сейчас я скажу: попрошу снять простынку.

Я сам этого не делаю. Народ наш по темноте с клиентом чудит как зря. Говорят: чтоб не гнил. Солью обложат, яйца покладут за голову, в рот пхают иголки и лезвия, я руку совать боюсь — обрежусь! На животе — ножницы или топор. Спотыкаешься о тазики с марганцовкой — черт! Потом глядь: а клиент заземлен. Намотали медную проволоку на палец, а другой конец в цветочный горшок. Ежели другой конец к батарее, значит, какой-то мужичок грамотность проявил.

Все вопросы ко мне: на какой день одежду выбрасывать? Как руки уложить? Даже старушки порют такую отсебятину, я прям не сдерживаюсь: «Мамаша, что ты плетешь? В правую руку — иконку, в левую платочек! Правой — молимся.левой — слезы утираем». Тьфу!

Ну так. Я попрошу снять простынку. Сняли. Ну так.

Вот ночь, теперь ко всему добавляется — последняя: она догоняет по следу, и мертвые автобусы подчищают остановки, я бубню как набитый дурак:

— Михаил, тебе это снится?

Он показал свои всегда вымытые руки:

— Я сделал тысячи клиентов. Это моя работа, понял? Сделал и ушел. Если сняться — не работай.

Опять утром достигаю на прогулочном свадебном катере кинотеатра «Иллюзион» — и тот начинает работать, смывая советские времена, прочищая Владимирскую арестантскую дорогу, и Воспитательный дом для подкидышей, сирот и незаконнорожденных с истуканами. Милосердие и Воспитание на воротных столбах возмездием прорывается сквозь гнет Военной академии имени Дзержинского.

жинского. Свистят согревающие бока на солнышке босяки, на Верхней Болвановке работают справные шапки, сады захлестывают крыши, и ветер лупит сгнившими яблоками дорогу, взбирающуюся до ворот церкви Николая на Болвановке, там ходит кругом строитель Осип Старцев, по старью устроивший церкву не в масть петровскому порыву, и я прячусь, хожу вслед за ним теплым, любезным летом, покуда не зима. Но сразу зима, и колокольни церковей заставили гробами — зимой земли не роют. А если рать, то даже в Геродотовых временах падет та же тень...

Внутренности мыли, перекаладывали кореньями, тимьяном и анисом и влагали обратно в живот, обливали воском. Обрезали уши и волосы. А в наших краях: косточки в кувшин. Кувшин на столбик на распутье. Эх, кабы люди не мерли, и мы б на тот свет дороги не нашли! Помногу живут, а все умирают. Помрешь — так прощай белый свет и наша деревня!

А в деревне — сосновые гробы, кружка меда и хлеб в головах. Осыпали цветами, зарывали под певчих и суток не миновало. Хороший был человек, а после смерти и часа не жил. Усопшему мир, а лекарю пир. Обмывали старушки с округи чистой водицей или с мылом, напевая Святыи Боже, а последняя одежда шьется на изгон — не к себе задергивай нитку, а от себя. Омыли и уложили на лицевую, правую от божницы лавку, головой к иконам.

Унянчили дитятку, что не пикнуло. Жить грустно, а помирать тошно. Как ни вертись, а в могилку ложись. Постель соломенную сожги вместе со щепой и стружками от гроба. В гроб сыпь с веников — березовые листья, гребень уложи и мыло, и денег медных на дорогу. На месте, где гроб постоял, брось кочергу. Чашечку воды — на окно, это на омовение души. И помни: ноги у него теплые — зовет за собой. Гроб великоватый — следующего жди. Переносица свербит — к смерти родни. Одежду раздари на сороковой день. А смерть — воля Божья.

И я по воле у дома этого, еще не гнившие кучера и будочники говорят о нем слепо «синенький такой» — дом, к которому у всех будет дело: утро, девять, серая женщина расчесалась и скорей к машине, кивает: «Вы?»

— Я как бы ученик, — шепчу с заднего сиденья, машина у нее часто ломается, ногти острижены коротко, у светофора она трогает волосы, пепельное лицо, бензин дорожает.

— Вы же Мишку учили?

— Да. Две недели. Дальше сам, на самостоялку.

— Ну и зачем вам этот мрак?

— Муж умер. Сына надо вырастить. Тогда в похоронке еще платили деньги.

— А что самое тяжелое?



— Когда дети. Моргги до шестнадцати лет не берут. Наш диспетчер, если поймет, что ребенок, тоже отпихивает. А уж если пришла... Вообще я тоже отказываюсь: я только попорчу, у меня инструмент на больших. Так, если только сухим льдом обложить и укольчик в легкие.

— Наверное, вы всех забываете...

— Нет! — Она зло собирает вещи. — Мать. Растила одна мальчишку, как я. Он играл в футбол, ему четырнадцать лет. И ударился коленкой — коленка заболела. Коленку мазали йодом. А это оказалась саркома. Ногу отрезали... Я с ней ревела так, что косметика текла вперемешку с формалином. А мать даже слова вымолвить не могла! Она бы сама в петлю залезла, но знает: сына будет некому проводить... Достаточно? Хватит? Мой сын не знает, что я на «похоронке». Он спрашивает: мама, как тебе позвонить? Я говорю: у нас нет телефона.

Я подошла и потрогала живот: как он? Я не обмываю, так, ритуально, тряпочкой протру — и хорош. Разрез делаю на бедре. Сантиметров на пять. Иногда больше распашешь, какая ему разница... Достая артерию, фиксирую. Ввожу шприцем раствор. Набираешь — качаешь.

В бедро иногда тыкаю, а все сосуды шлаками забиты — аж треск стоит, тогда уж вот сюда, в шею, в артерию, как в народе говорят, в сонную... Я стараюсь мечтать при этом. Вот хорошо куда-нибудь поехать... Потом даже вспомнить не могу: что делала, а что нет.

И зашиваю. Кто как любит: кто «елочкой», а кто «через край».

— Работаете молча?

— Чаше молча.

Найдется дурак, спросит: как думаешь, есть жизнь за гробом? Дураки только «ты» говорят. Или просто рядом сопит: интересно ему. А сколько женихов нашла... Прямо тут петушились, над дорогой мамой. Но мне это не надо. Говорю, когда вижу — горе, надо что-то сказать: ну вот портрет висит, это кто, она в молодости? И поговорим: какая была, чем болела. Да горя мало, не сразу же — ах! — случилось, а все уже намучились, для всех только облегчение. Я по клиенту вижу: чистенькая бабуся, ради нее работу бросали, а ухаживали, а этого год не мыли — собака так не выживет. Начинают оправдываться: знаете, он так кричал, он не давал себя переодеть... Люди видны. Прошу: простынку какую-нибудь. Человек отворяет шкаф, постоял и протягивает, что под рукой, — это горе. Другой полчаса ходил, копался, принес половую тряпку — понятно. Я отработала, перчатки сняла, руки в тальке, надо помыть и вытереть, а мне приносят кухонную тряпку и при мне швыряют ее в мусорное ведро — я все вижу. Что еще?

Как мигом высыхают эти самые долгие дни, разделенные ночами с бессонным соловьиным трудом...

— Не хочется уйти?

— Бывает. Ходить тяжело, устаю. Часто ломается машина. Да и дорого ездить стало. Спокойной ночи.

Как скоро раздевает осенний век, и не промахивается время, двигая костяшки, кости, а даже в малости — жестоко, даже мигом — невозвратно, победоносно, и перестали уменьшаться дворы и дома — значит, ты вырос, и мало кто помнит тебя молодым, и красное яблоко и единственный номер телефона вывертывали всю, всю жизнь стороной света, как теперь и сады, и килограммы и тонны яблок, и тома покладистых телефонных книг немощны отстоять даже краюху летнего асфальта от наседающей тьмы. Я пугаюсь своего тела. Я начинаю его стеречь. Я унижаю, изнуряю его трудом. Я ночью прокрадываюсь в его дыхание и подслушиваю, пытаюсь упредить лютый заговор, предательское послабление, заранее встретить чуму, но смиряют короткие ночи с серым потолком: тело также смертно, также слепо, также беззащитно и несчастно, только оно безвольно и не знает за что, только оно предано и брошено, и казнимо, для нас все кончится единым хрипом, все, что называется смертью, останется для него: корявые когти и вонючая пасть.

Утром зябко сидеть, позевываешь и топаешь, как привязанный, за Иваном Матвейчем, за гусарским голубым мундиром и седой косой из-под шляпы с полуаршинным белым плюмажем, вот он не платит за квартиру, пьет и тоскует, радуется, а когда померет, откроет в завещании последнюю волю: сложите из пальцев моей правой руки кукиш, а из пальцев левой — тоже. Все, что в правой руке моей, оставляю дорогим родственникам, все, что в левой, — любимым, многомудрым кредиторам, а сей час бурчит: «Я весь от шеи до ступней в басурманской кровищи», а про графа Каменского и трехбунчужного пашу Куманец-агу, и «сивуху пьешь?», а сам отворяет дворы и указывает в людей: вот он, дворец с раковинами в воротах, львы с приплюсненными головами, флигеля и шестиколонный коринфский портик — крепостной Кисельников это воплощал замыслы Родиона Казакова, а заказал эту радость горнозаводчик Баташев, бивший дорогу лбом из низов, для дочери старался — одна дочка-то, а жениха хватанула — генерала, вот и живите, а эти сыночки, два, наследники папиных трудов: старший лютовал, помер, так в его подвале кости и цепи отрыли, а младший смирен, орден получил от государя и даже дворянство фамилии. Ну что, хороша усадьба?

— Как же не сгорела в двенадцатом году?

— А тут маршал Мюрат квартировал со штабом. Французы!

Иван Матвейч ковыляет вперед за пляшущей юбкой, и чуть отстанешь, так сразу с тобой здороваются еще один встречный француз, Жюль Жане, милый уролог, догадавшийся лечить гоно-

рею соотечественников глубоким промыванием мочеиспускательного канала и приспособил для сего именной шприц — вот французы! Даже болезни от любви, а у нас под каждым окном всходит смертное тесто, и вон он по пятам ступает, здоровяк гробовщик, мастер отечественных кровей, французы и немцы на этом промысле горели, а он, потолкавшись по трактирам, аптекам, пощипав прачек, врывался первым в зарыдавшие дома, шепча с порога, что честь его чувствительно пострадает, ежели заказ проплывет мимо, а гробы для бедноты были тогда дешевле пареной репы, а за порядочным клиентом шли плакальщики и факельщики, под балдахином со страусиными перьями покоился просмоленный гроб с оконцем в верхней крышке, обитый жестью, крытый венецианским бархатом, схваченный бронзовыми позолоченными скобами, украшенный львиными лапами, шнурами чистой канители, с парижским подбоем, пуховыми подушками, с двойными узорчатыми рюшами — как прилично!

И если клиент портился — сию минуту посылали в аптеку за хлорной известью, уксусом, розовым маслом, одеколоном и хлопчатой бумагой — клиента охорашивали для последнего торжества. Гробовщик проходил в дом и осенял себя крестным знаменем! И всякий раз жарко молился. Говорил едва слышно. Именно он одалял клиента последним крепким поцелуем — искренне! Кормильца своего! Очень дорогие похороны, но это понятно — родственники, ошеломленные наследством, могли себе позволить на радостях.

И нищие, дождевые, глинистые, скотские похороны моей Родины... И мои.

Мы будим тычками извозчика, придремавшего на припеке, и звонко катим из стороны торговых улиц и золотых крестов через горбатые мосты над серой, измятой рекой, над гулящими радостными катерами, и Мишка держит чемоданчик на коленях, мы едем, и нас всегда ждут, а он улыбается, он показывает рукой:

— И я плывал на катере. Один раз. До Лужников — как давно! С одной девушкой. У меня была знакомая девушка, светловолосая...

И ничего особенного не запомнил я из этих дней, так, что-то, и воскрешаются они только солнечными, светлыми, без дождей и тени, а все прочее неясной путаницей скрипки с шестого этажа, вздрагивания от лязганий лифта, балкон, запахнутый прямо в древесные жаркие кроны, белые туфли — они натирала ей левую ногу, хождение на катере с палубы вниз, где поменьше народу, косноязычие прикосновений, города, покорно забиравшие ее жизнь и голос в стены, переулки, трамвайные рельсы, светловолосое, не смертельное время, страна белой кожи, я заходил в чужеземный дом и старался разбрасывать ее вещи, чтобы хоть так вцепиться в ее жизнь, сдержать уходящие дни меж ладоней.

Я ждал ее на улице, на подоконнике соседнего дома, и рядом обязательно садились две невозможно противные девчонки и стро-

или мне ужасные рожи и показывали малиновые языки — всего-то несколько необязательных дней. А потом она куда-то делась. Я теперь больше не думаю о ней.

— То есть как куда-то делась? — поперхнулся я. — Замуж? Чё, поссорились, что ль? Она уехала?

Мишка пожал плечами:

— В общем, да. Так.

— Что «в общем»?! — Таксист даже вздрогнул от моего вопля. — Ты сам-то знаешь?

— Я примерно знаю, — твердо ответил Мишка. — А точно знать не хочу.

Мы накидали таксисту безумное число бумажек в руки, сложенные ковшом, и поторопились через дворы.

— Хоть бы письмо написал, — пыхтел я за его спиной. — Болван! Любовь — так редко.

— Что я ей напишу?! Работаю в «похоронке»? У нас завелись рыжие муравьи, и я давлю их пальцами, когда записываю заказ? Что город весь переменялся? Я точно знать не хочу! А примерно, на примерах, я себе очень хорошо представляю, что с ней стало!

— Хватит орать! — выпалил я и вдруг остолбенел в подъезде. — Слушай, так она что... Умерла?

Он пошел подниматься без лифта.

— И ты пошел на похоронку, чтобы увидеть, что с ней стало? Он уже позвонил.

Но клиенты все разные. Сухоньякая старушка, выболевшая — это радость. Беда, если скоростижно, да еще тучный, колбасы нажрался, встал из-за стола и растянулся — живот битком, вспучился, лежит: гора, со рта, с ушей полезла пена... Перевернешь клиента, а под ним опарыши ползают: во такие, на радость рыбаку. Я их на пол смету, потом противно шаг ступить — скрипят.

Уши синие, черные — значит сердечник, лицо желтое — это раковый. Ракового на жаре живо раздувает, а морги нынче очень дорогие.

Я вижу: живот вздут. У раковых часто водянка. Вижу: отслойка кожи и свищи. Вижу: клиент «скороспелка», — тугой, как барабан, со рта кровь сочиться. Или «газовка» — раздуло, как воздушный шар, лицо — луна, глаза вылезли и язык вылез, тело — как мячик. Когда кислород пошел в ткани — клиент в полном цвете, режешь — он шипит. Только пеленать и закапывать закрытым.

Все, я говорю: все, ребята. Консервации ваш клиент не подлжит. Замораживать не имею права. Гарантии не будет. Может потечь ваш драгоценный. Вот тогда народ воет, молит, деньги сует, и пошла работа неквитанционная.

Делаю «втык» — сюда, под живот, вводишь нож — отходит вода и газы. Ничего приятного, верно? «Сделать живот» — еще веселей. Разрезаю клиента. Вынимаю кишечник, вынимаю легкие, желудок, вынимаю кроветворные органы — бросаю в ведро. Затем

ножик в руки и мелко-мелко весь этот набор нарезаешь. После приготовления частями спускаешь в унитаз.

Тогда сплю спокойно: двое суток клиент прокрасуется.

Если, конечно, плакальщики не подымут хай: что-то много он с нас взял! Придется уходить. Не умеешь взять деньги у людей — не работай.

— А люди?

— А лю-ди... Я не ходил с этим чемоданчиком и думал: хорошо живем! А вообще ты знаешь сколько в нас дряни? Нажрут, кидаются бить: «Маму режет, фашист!» Один дурак дверь запер: не выпустит, пока мама его не будет как живая. Да что им мама: я работаю, а за спиной вещи из рук рвут и визжат: ездить не ездил, а ковер берет! Я так однажды зашел, а вся семья по квартире носится — ключ от шкафа ищут, не нашли — в волосы друг дружке вцепились, вдруг меня заметили: «А вы кто?» «Здравствуйте, заморозочка!» Я теперь этот народ не выношу. И помогать мне не надо, я все сам, лишь бы не слышать.

— Они думают о покойнике?

— Когда ж им думать, милый? Они ж клиента боятся. Он лег в комнате, так всей семьей теперь жить негде. Когда им посидеть, всплакнуть, они летом летают: за справкой, за водкой, за мастером, за деньгами. У них душа стонет: а сделают ли гроб? А ведь гроб не пролезет в обычные наши коридоры! Сколько часов они промаются, пока я подскажу, что клиента придется на руках выносить и укладывать в гроб в подъезде. А самым тяжким башка забита: земля будет, нет? Хоронить или жечь? Он за эти три денька увидит скотин больше, чем за всю жизнь. И я — самое хорошее и честное из тех, кому придется кланяться, убажывать. Им не до клиента: он свое отмучился. Боятся. В комнату не хотят зайти. Ну ладно. Спокойной ночи.

А та девушка?.. Мне хочется спросить, но как же, а та девушка, светловолосая девушка, ведь... — нет? Над ночными крышами — нет? Над скудным, бедственным летом — нет? Неужели белокожие наши крыла и боги... — но нет, нет, и все можно свести к умирающую — нет, а как же та девушка? Нет.

Тебе строить светлую светлицу... Только без окон, да и без дверей... В чистое поле полетишь, меж крестами место полюбишь...

Солнце мое — рано заходишь, месяц мой светлый — скоро меркнешь, звезда восточная — почему к западу отходишь? Свет мой светлый, почему ты померк? Гора высокая, как ты рушишься...

Сам знаю, сам ведаю, что с того, да свету белого нет ни конного, ни пешего, нет ни слуху, да ни весточки, нет и скоропечатной грамотки.

Вздохни, отзовись аль ты полюбила сыру мать-землю, забыла свою родную...

Звезда взойдет огнекрупной слезой, на тебя взглянет и падет, а ты, дитя дорогое, одно не шелохнешься. Понеситесь вы, ветры, к Божьей Церкви, разметите вы сырую землю...

У покрытого белым, у длинного тела с тошнотворным недоумением мы жмемся в кучки — взяли еще одного, бессильные перед этой очередью, слепые к смерти, вздымающей высоко, чтобы показать наши низости, глухие, чтобы не слышать приговоры ее.

Смерть приговаривает тело. И в этом натура ее, не скрываема гимнами о воле Божьей, глумливость, бесстыжая жадность и свирепость этой подлой людоедской твари, безвинно уродующей тела наши за все совершенное беглянками душами, мстящей прекрасным светлым глазам, мягким душистым волосам, спасительным рукам, чутким сердцам, чудотворным ликам наших богоподобных обитателей — дорогих наших тел; разве можно простить этой слепой мельнице кроваво чавкающей: разницы нет.

Смерть приговаривает души. Она мертвым потоком покрывает беспамятный народ и раздирает жалкие наши строенья: в дни потерь, в дни решений; стоит ли дальше жить — мы не остаемся одни, мы должны унижаться, мы должны пресмыкаться, ползать в грязи и целовать, лизать лапы не просто дальних, случайных, чужих, мы должны брести на поклон к подзаборному быдлу, к отечественному племени косматых, рыгающих обезьян, в продажные конторы, подымать из-под заборов, совать им последние деньги, вручать им урночки с драгоценным прахом, плакать о бедности своей, задабривать, золотить зубы, молить и радостно покоряться: как по-другому, ведь не поесть мы еще можем, не жить тоже готовы, но ведь не предать земле — никак же нельзя! И дни, которые яркими маяками должны поддерживать в слабостях и искушениях, даруют лишь невыносимый стыд и страх еще раз оказаться в окружении потных лап и мерзких морд, и любимые тела ушедших возлюбленных душ вдруг становятся баскаками, пришедшими за данью из своей черной Орды, и смерть указывает, под каким невыносимым игом мы живем, помимо ига рожденья и смерти, и как всеильно это иго, что и по смерти не оставит нас, а разроет, разбросает и бросит в грязь кого-то еще — оно все может, когда надо выпить! И самое высокое в жизни во власти самого грязного, и мы лишены утешения смерти, мы бессмертны, и так холодно нам потону.

И смерть приговаривает любовь, покойники обнажают ложь, и смерти смешна жвачная наша выносливость. Все клятвы наши: жить без тебя не могу, все тайные слезы в подушку: «Даже представить страшно...», все стенания над порезанным пальчиком, печали из-за непроходящего кашля, озабоченности худо проведенной ночью, метания: дай-ка я подушечку поправлю посправнее — все прерывается меловым ликом в гробу, и любовь, как ребенок, легко забывает и убегает, чтобы снова быть с кем-то, а нам даже

жутко прикоснуться своими губами до этого, постоять рядом с этим, в уголок бы подальше, чтоб лишний раз не взглянуть. Но ведь это же то самое возлюбленное тело, бывшее жизнью нашей, и мы восклицали христианское, иступленное «душа любящего в теле любимого!» — и как мигом у гроба тупеет душа, и как неподъемно это оказывается: любить беспредельно, как быстро начинает мешать этот труп и как явно общее устремление: вынести и зарыть, и никто не в силах понять для себя: что мы с ним сделаем сейчас, куда мы отдали его, мы быстро отдаем: в глиняные окопы, выпроваживаем за железные ворота — прямиком в печку, бежим прочь, еще до дыма, до пепла — в пепел на Руси жгли только особо лютовавших, — и, выходит, с первого дыхания нашей любви мы уже допускали все: и силу смерти, мы готовы были когда-то отдать, оттолкнуть, скормить червям, водянке и опарышам, откупиться, любить, «пока ходит», «пока жует» — и вот цена слезливым уверениям, нашей неразрывности, так убога и бессильна высокая наша страсть, а главным выходит — чистота, перевод смердящего тела в благообразную подыхающую память, и человек может все потому, что может предать все, стоит только перетолкаться эти три шепчущих дня со вкусом водки, с желанием вдруг сказать встречному: «А знаешь... Вот у меня, понимаешь ты...», заранее зная, что ничего кроме в ответ: «Да?.. Сколько лет?» И спасения нет, и любви нет, и можно только лишь единственное: не умирать.

Не умирайте! Не обрекайте своих родимых на ночь и страх, не отпускайте друг друга, когда надвигается тьма, не смиряйтесь, не дайте уговорить себя этой гнилозубой твари, не дайте ей сонными, будьте начеку! Никакое это не утешение и не избавление, ничего там нет, кроме двух лопат навоза и ржавой провололочной сетки, не мажьте слезы по лицу у строчек «ты уже дома, а мы еще в гостях» — разве дом нам эта зловонная пыль, истыканная костями, как пепельница дешевой женщины окурками? Не выпускайте из рук этих серых растрепанных птиц, держите крепче губами свое дыхание и дарите его только любимым, не умолкайте в тиши, не бойтесь, нет ничего сильнее нашего: не хочу! Не умирайте!

Старуха будит меня в троллейбусе: не проедь! — и ругает власть:

— Раньше скока на похороны клали? Две тыщи! — склоняется ближе: — А теперя и восемь не хватит?

И что же за утро — серебрится, и город сухой — и как не вовремя, как скоротечно; и прячется в мохнатую тень безрукий каменный Радищев — да, «покрал омут ярый», да, «Будь блаженна, если ты можешь только быть без любви».

Уходят забвенные воды, забирают цветы яблоневые, мостовые, купола, яблоневые сады, самовары, вензеля, красные яблоки и белые платья, оставив инструкцию для утренней зевоты: да, имеются среди прохожих труженики шприца Жане, мастера, бальзамиров-

шки, заморозчики, гвардейцы коммунальных служб. Частенько с прошлым «фельдшер-медсестра», реже «автослесарь-бухгалтер», все — с трагической трещинкой в прожитом. Горстка, живут тесно, районы делятся на «куски» железным договором: как бы клиент ни наседа — делай сам, на помощь не кличь. Хоть умри. Мастер обрадуется, если дадите денег. Легко намекает: я постараюсь побольше, и формалинчику побольше. Деньгами он поделится с диспетчером, чтоб не совал вечерний заказ. Мастер-гуляка распорядится: для заморозки нужна бутылка водки. Полбутылки вольт в себя, половину жалеючи разбрызгает вокруг клиента. Следите, чтоб не уснул после выполнения заказа: ему надо дальше, на линию.

Оторваться от клиентов трудно: привыкают к однообразию движений, непрерывности заказов, постарев оседают чаще в той же «похоронке», хоть диспетчером.

Этот человек придет в дом ваш. Однажды — к вам лично. Или — уже не к вам.

— Что? Еще не все? — Женщина узнает меня без радости. — Ну, поедем. Напишите о наших подъездах: куда лампочки делись? Со спичками дверь ищут: у вас тут никто?.. Не болеет? Раз уже в милицию забрали. А о чем вы хотите писать?

— Что вы никому не знакомы.

— Зря. Я лиц не помню, а часики интересные или комод узнаю: уже была. И меня помнят, звонят: пусть девочка, что нашего папу замораживала, и к маме придет. Бывает, и через неделю вернешься: опять я к вам. Раз получилось: сразу двое. Через полчаса померли. Бабушка и дедушка — такая любовь. Любовь одна, а два разных счета и две квитанции, а они вот, рядом, он — на столе, она — на диване.

Обмывание-одевание называется «комплекс». Тут не надо быстро. Бабушки готовят узелок с одеждой — очень умно. Я советуюсь, пойдет вашей маме сарафанчик? А кофта? Шарфик повяжем? Если клиента раздуло — одежду разрезаю, она некрасиво смотрится, если внатяг. Да и душе спокойней: не раскопают из-за костюма. Разминаю суставы, затем — носки, белье, брюки без ремня. Одна справляюсь, это кажется, что сложно: через голову рубаху просунешь и ворочаешь: на правый бок, на левый бок, чтоб руки в рукава...

Мужики грубее одевают. Есть же разница. Я или Мишка оденет? Ребенок идет в школу, и сразу же видно, мама или папа собирали.

Очень хотите, волосы я могу помыть. Но лучше тряпочкой пригладить, чтоб полпрически не осталось на расческе. Косу расплетать я отказываюсь! Если на голове не три волосины — стригу. Щипцами накручиваю. Могу побрить, брови подчеркнуть.

Глазки закрываются просто — инструментом веки подтягиваешь с двух сторон. Рот сам закрывается — вату в горло набиваешь и нажимаешь в одном месте — щелк! Порядок. Вообще глазки и рот я могу и зашить, по родственникам этого лучше не знать.



Кремом замазываю синяки. Губки крашу легко, не как себе, зачем мазать, как Петрушку. Ресницы подкрашиваю, как родственники скажут, что клиенту шло больше. А на лицо — компрессик, чтоб порозовел.

Отмечаю в паспорте умершего.

— Что дают, кроме денег?

Женщина промолчала и повернулась спокойно ко мне:

— Знаете, я не просто ширнула иглой и ушла. Я работаю, а сама думаю, что душа, может быть, еще здесь. И она видит, как я делаю. И я хочу, чтоб ей не было жалко своего тела, и работаю так. И труд мой угоден Богу. И деньги, которые я беру, Бог хочет, чтоб я брала. И мне рады дать. Лишь бы я больше не приходила никогда. Вам ясно? Да? Извините, я очень устала. У меня сегодня семь штук. Что вы спросили? Что, кроме денег?.. Ну как что, что и всем: водка, сахар, чай.

— Вот вы приходите домой... Где вы кипятите инструменты?

Она усмехнулась и тряхнула головой:

— Я их не кипячу. Зачем? Кого я могу ими заразить?

— Понял. Спасибо. Мишке передавайте привет.

— Нет, уже не передам. Уволили Мишку — пожаловались пла-  
кальщики. Деньги уж очень любил. Но он за этим и пришел, чего уж...

— Неправда. У него была девушка — он вам не рассказывал? Светловолосая девушка. А потом с ней что-то случилось. Но он не мог не думать о ней. И пришел в «похоронку», чтоб увидеть и не думать, что с ней стало.

— Все наврал, — вздохнула женщина и улыбнулась опять. — И сами вы во всем виноваты. Чего-то необычного от нас ждете. А мы — простые люди. И Мишка сразу говорил: на дачу и пруд с лебедями заработаю и сразу отвалю. Да только лебеди, теперь, наверное, дорогие. — Она вдруг залпом расхохоталась. — А Мишка — он такой придумщик! Так чудил, пока его учила! Решил, что клиента в ванной моют! И понес! На руках! — Она уткнулась в ладони и хохотала до кашля, добавляя сквозь пальцы: — Тер молчалкой! С мылом! Вся кожа отслоилась! И вы-и-нуть не мо-о-ог. Я, как вспомню: катаюсь! Ну хватит. — Она утерла слезы, глянула в зеркальце на глаза и кивнула: — Идете?

— До свидания.

— Я не говорю никогда: до свидания. Я говорю: всего хорошего. Еще увидимся.

Нет, наверное, больше не смогу, когда пустят катера, поплыву на верхней палубе искать дождей. В «Иллюзионе» лисьей красой из тьмы сияла Марлен Дитрих, я кусал крамольно пронесенное эскимо, бессильный определить на вкус, шоколадное или нет, и с завистью следил за активным товарищем: как только погасили свет, он налег на подругу и ринулся в бой: козел, не мог полчаса подождать,

все бы сопереживали: дескать, первый раз, случайное, пугливое счастье, и моя сухонькая соседка металлически прочеканила: «Молодые люди, вы зачем сюда пришли?» И козел интеллигентно ответил: «Закрой пасть!», и тетенька в форменном пиджаке рысью прометнулась вдоль рядов, простуженно хрипя: «Тафариш-ши, шито у фас там?» У нас покидают города, возлюбленные не уходят, они просто видны или не видны, но они уносят ключи от городов на своей белой коже и закрывают сразу время, и некуда отступить, и сразу исчезают теплые лавочки с облетевшей краской, мороженое в вафельных стаканчиках, майские блестящие жуки, киоски, торгующие водой, уносится ветер от черемухи, не встречаешь больше просторные вечера, добрых собак, бессмертных родителей, пустые трамваи, заветные подъезды — города ушли насовсем, не двинувшись с места, не оставив даже липкого запаха тополей, убавили света, подменили соловьев на пыльных птах — дни начали повторяться и сомкнулись в стену, с рыжими муравьями, не разламываясь даже на праздники, — так мы начинаем жить без возлюбленных, и те крохотные десятилетия, оставшиеся от смерти до похорон, мы заняты лишь бальзамировкой — хоть чем-то напомнить себе запретные города, и честно качаем шприцем в мертвые тела: формалин, рубли, чернила, слова, песни — замораживаем трупы — все, что осталось.

И я примерно знаю теперь, где она. Но стараюсь не думать об этом. И когда троллейбус пробегает те края, я ничего не думаю — только прохожу пешком обязательно одну остановку вдоль ржавой ограды. Но никогда не гляжу в ту сторону. И даже если случайно гляну: Господи, да сколько на свете похожих имен! И я не хочу знать точно, зачем мне это знать, если это происходит со всеми. Я не могу туда, где гной — нет. Ничего с ней не сделали. Она просто не здесь, с чего вы взяли, что она могла бы сейчас быть здесь.

Она просто живет на другой странице, ей повезло побыть дольше, чем нам, и мы впечатаны друг в друга, но только с разных сторон бумаги, и это так потому, что она говорит во мне, когда я молчу, и когда среди долгого бульвара меня встречает сорока, я верю, что она там иногда думает обо мне, мы впечатаны друг в друга с разных сторон страницы, но это видно, если только взглянуть на просвет.

И я не могу для нее больше, чем знать все и не понимать того, что знаешь, и жить примерно, отвечая невпопад, в мечтах о короткой очереди, липком лете, в котором мы вязнем, как мухи, об огненной белке в лесу.

И только в исходе весны, в несколько удивительных дней, когда в любой комнате тебя находит солнце, я нахожу в мертвом городе незнакомый подъезд и опускаюсь на подоконник старого дома напротив — и этот подоконник так велик, что бредут и садятся рядом строитель церкви, крепостной, пропойца-гусар, горнозаводчики и шапочники, маршал Мюрат со всем француз-

ским нашествием, колокола и свадьбы, купола и убогие, доктор Жана и Господь наш, и ждем все вместе, пригревшись, и солнце гуляет по нам, и так, на свету, чуть меньше слышно жадное чавканье шприца, с пиявочной жадностью впившегося в шею, в артерию с детским названием «сонная», мы ждем, и вредные девочки не узнают нас потому, что давно уже выросли, и их ждут другие, мы сидим, как надгробия, торчим православными, латинскими крестами, глазеем по сторонам, чтобы она не заметила нас, когда пройдет мимо, с другим, с другими, в другие добрые времена, добрые, как колыбельные песни.

Спи, усни... Угомон тебя возьми. Сон да дрема у тя в сердцах, кунья-то шуба у тя в ногах, соболина-та шапка у тя в головах, мы те шапочку купим, зипун сошьем, боронить сошлем в чистые поля, в зелены луга...

## СОДЕРЖАНИЕ

ЗИМНИЙ ДЕНЬ НАЧАЛА НОВОЙ ЖИЗНИ. <i>Повесть</i> . . . . .	5
МЕМУАРЫ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ. <i>Повесть</i> . . . . .	123
ЛЕТОПИСЬ ЛЕТА. <i>Повесть</i> . . . . .	273

### РАССКАЗЫ

Лето . . . . .	353
Харон . . . . .	358
О счастье . . . . .	362
Про елку . . . . .	368
О мужестве неписателя . . . . .	380

### ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Другой человек . . . . .	385
Край цвета . . . . .	418
Станица без атамана . . . . .	421
Воскресенье . . . . .	430
Осенняя песня . . . . .	438
Свято место . . . . .	441
Абсолютно черная пустота . . . . .	444
Дом I . . . . .	453
Коммуналка . . . . .	463
Моя работа, горькая на вкус . . . . .	466
Это невыносимо светлое будущее . . . . .	476
Середина зимы . . . . .	488
Крепость России . . . . .	498
Ночь целых, шесть сотых . . . . .	510
Девушка с гудком . . . . .	516
Прощай . . . . .	530
Пятый курс . . . . .	532
University . . . . .	535
Красавица . . . . .	537
Деньги пахнут . . . . .	546
С сачком за «мертвой головой» . . . . .	554
Время возвращения . . . . .	564
Конец цвета . . . . .	570
Жатва . . . . .	573
Тот свет . . . . .	576

*Александр Терехов*

## ИЗБРАННОЕ

Редактор *И. Шурыгина*

Художественный редактор *И. Лопатина*

Технический редактор *Г. Шитоева*

Корректор *В. Антонова*

ЛР № 030129 от 23.10.96 г. Подписано  
к печати 10.11.96 г. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.  
печ. л. 37,0. Уч.-изд. л. 44,6. Тираж  
10 000 экз. Заказ 1822. Цена 21 000 р.

Издательский центр «ТЕРРА». 113184,  
Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен ТОО  
«Макет». 141700, Московская обл.,  
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

---

*Книги издательства «ТЕРРА»  
можно купить в магазинах по адресу:*

113399, Москва, ул. Мартеновская, 9/13,  
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 1.  
*Тел. 304-57-98, 304-61-13*

113216, Москва, б-р Дмитрия Донского, 14 б,  
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 2.  
*Тел. 712-34-54*

123022, Москва, ул. Красная Пресня, 29,  
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 3.  
*Тел. 252-03-50*

129110, Москва, пр. Мира, 79, стр. 1,  
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 4.  
*Тел. 281-81-01*

*или заказать по адресу:*

*109033, Москва, а/я 66.*